Ш(Фр)1
521

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

СЦЕНЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

МНИМАЯ ЛЮБОВНИЦА

Посвящается
графине Кларе Маффеи

Одна из самых богатых наследниц Сен-Жерменского предместья, девица дю Рувр, единственная дочь маркиза дю Рувра, в сентябре 1835 года сочеталась браком с графом Адамом Мечеславом Лагинским, молодым польским эмигрантом. Да будет мне дозволено писать фамилии так, как они произносятся,— это избавит читателя от созерцания укреплений из согласных, которые славянские языки воздвигают вокруг гласных, вероятно, боясь, как бы те ввиду своей малочисленности не потерялись. Маркиз дю Рувр почти полностью растратил одно из самых крупных дворянских состояний, которое в свое время дало ему возможность жениться на девице де Ронкероль. Итак, со стороны матери дядей Клемантины дю Рувр был маркиз де Ронкероль, а тетей — г-жа де Серизи. А со стороны отца она имела счастье называть своим дядей большого чудака — шевалье дю Рувра, младшего в семье, холостяка, разбогатевшего на продаже земель и домов. Маркиз де Ронкероль потерял обоих своих детей во время эпидемии холеры. Единственный сын г-жи де Серизи, молодой военный, подававший блестящие надежды, погиб в Африке во время битвы при Макте. В наши дни богатым семьям грозит опасность либо обречь своих детей на бедность, ежели их много, либо, ежели их всего один или двое, примириться с прекращением рода,— таково неожиданное последствие Гражданского кодекса, о чем

не подумал Наполеон. Итак, несмотря на безумные траты маркиза де Ронкероля, который содержал Флорину, одну из самых очаровательных парижских актрис, Клемантина сделалась богатой наследницей. Маркиз де Ронкероль, чрезвычайно искусный дипломат на службе у новой династии, его сестра г-жа де Серизи и шевалье дю Рувр решили, дабы их состояние не попало в руки маркиза дю Рувра, осчастливить племянницу, которой они обещали каждый по десять тысяч ренты со дня ее вступления в брак.

Нечего и говорить, что молодой поляк, хотя он и был эмигрантом, ровно ничего не стоил французскому правительству. Граф Адам принадлежал к одной из наиболее древних и славных польских фамилий, связанной родственными узами с Сапегами, Радзивиллами, Ржевусскими, Чарторыйскими, Лещинскими, Яблонскими, Любомирскими — словом, со всей сарматской знатью, а также с большинством немецких владетельных домов. Но Франция в царствование Луи-Филиппа не отличалась особым знанием геральдики, и знатность происхождения не могла служить рекомендацией для пришедшей в то время к власти буржуазии. К тому же, в 1833 году, когда Адам стал появляться на Итальянском бульваре, у Фраскати, в Жокей-клубе, он вел рассеянную жизнь молодого человека, разочаровавшегося в политике, зато вновь обретшего вкус к беспутству и наслаждениям. Его принимали за студента. В ту эпоху следствием позорной правительственной реакции явилось уннжение польской нации, которую республиканцы чаяли возвысить. Странная борьба «Движения» против «Сопротивления» — два слова, которые через тридцать лет никто не поймет, превратила в забаву то, к чему до́лжно было отнестись с уважением: побежденный народ, которому Франция оказала гостеприимство, в пользу которого устраивали праздники, в пользу которого по подписке пели и танцевали — словом, народ, который в ту пору, когда Европа ополчилась на Францию в 1796 году, предоставил Франции шесть тысяч солдат, и каких солдат! Не делайте отсюда вывода, что я осуждаю императора Николая и оправдываю Польшу или наоборот. Прежде всего глупо заниматься политическими рассуждениями в повести, цель которой

позабавить или заинтересовать. Кроме того, Россия и Польша были в равной мере правы: первая стремилась к единству государства, вторая — к былой свободе. Скажем мимоходом, что Польша могла завоевать Россию не оружием, а мирным путем, повлияв на нее своим бытом и нравами, подобно китайцам, которые в конце концов окитаили татар и, надо надеяться, когда-нибудь окитаят англичан. Польша должна была ополячить Россию. Понятовский попробовал это сделать в наименее спокойной области империи; но этот дворянин, ставший государем, не был понят своими подданными, должно быть, потому, что и сам себя не понимал. Как не возненавидеть несчастных людей, которые послужили поводом для ужасной лжи как раз тогда, когда весь Париж вышел на улицу, требуя оказать помощь Польше? Поляков сочли приверженцами республиканской партии, закрыв глаза на то, что Польша — республика аристократическая. С этой минуты буржуазия с презрением отвернулась от поляков, которых перед тем превозносила до небес. Стоит только подуть ветру восстания, и парижане, какой бы ни был в это время режим, легко переходят от одной крайности к другой. Только такими зигзагами парижского общественного мнения можно объяснить то, что в 1835 году народ, считающий себя самым умным и учтивым на свете, живущий в центре просвещения, в городе, где процветают искусства и литература, превратил в презрительную кличку слово «поляк». Увы, существует два типа поляков-эмигрантов — поляки-республиканцы, сыны Лелевеля, и поляки-аристократы, которые принадлежат к партии, возглавляемой Чарторыйским. Эти два типа поляков так же враждебны друг другу, как вода и огонь. Но разве они в этом виноваты? К какой бы нации ни принадлежали эмигранты, в какой бы стране они ни нашли приют, такая вражда в их среде неизбежна. Родину и ненависть уносят в сердце своем. Два французских священника, эмигрировавшие в Брюссель, питали друг к другу лютую ненависть; когда одного из них спросили о ее причине, он ответил, указав на своего собрата по несчастью: «Он янсенист». Изгнанник Данте охотно бы заколол противника белых. Вот где надо искать причину нападок французских радикалов

на князя Адама Чарторыйского, достойного всяческого уважения, а также неприязни к некоторой части польской эмиграции со стороны Цезарей от торговли и Александров от промыслов. Итак, в 1834 году все парижские острословы изощрялись в шутках по адресу Адама Мечеслава Лагинского. «Хоть он и поляк, а симпатичный»,— говорил Растиньяк. «Все поляки корчат из себя вельмож,— говорил Максим де Трай.— Но Лагинский по крайней мере платит карточные долги; я начинаю верить, что у него были поместья». Не в обиду изгнанникам будь сказано, но легкомыслие, беспечность, непостоянство сарматской натуры давали повод парижанам злословить насчет поляков, хотя в подобных же обстоятельствах парижане вели бы себя ничуть не лучше. Французская аристократия, которая во время революции встретила такой радушный прием со стороны польской аристократии, не отплатила тем же полякам, вынужденным эмигрировать в 1832 году. Не побоимся сказать, что Сен-Жерменское предместье в этом смысле и по сию пору в долгу перед Польшей. Кто такой граф Адам, богат ли он, беден или, может быть, просто авантюрист? Этот вопрос долго оставался неразрешенным. Дипломатические салоны, точно соблюдая инструкции, подражали молчанию императора Николая, для которого в то время каждый поляк-эмигрант перестал существовать среди живых. Тюильри и большая часть тех, для кого слово, сказанное там, закон, доказали, что обладают отвратительным свойством, в политике именуемым мудростью. Там не приняли некоего русского князя на том основании, что он якобы заслужил немилость императора Николая, хотя, будучи в эмиграции, вместе с ним курил сигары. Знатные поляки, которых из осторожности не признавали ни двор, ни дипломатический корпус, жили в библейском одиночестве — так сказать, super flumina Babylonis [1], или же посещали нейтральные салоны, где терпимы ко всяким политическим убеждениям. В таком изобилующем увеселениями городе, как Париж, где развлекаются на любой ступени общественной лестницы, для поляков, ветреных от природы, было слишком много соблазнов. Кроме того, не скроем, наружность и

[1] На реках Вавилонских *(лат.)*.

поведение Адама не вызывали симпатии. Существует два типа поляков, как существует два типа англичанок. Если англичанка не очень хороша собой, она ужасно безобразна; граф Адам принадлежал к этой последней категории. Нездоровый цвет лица, маленькая голова, словно зажатая в тиски, короткий нос, бесцветные волосы, рыжие усы и борода придавали ему сходство с козой, к тому же еще он был худ и мал ростом, а его грязновато-желтые глаза глядели как-то вкось, тем взглядом, который обессмертил своими стихами Вергилий. Как сумел он сочетать с такой неблагодарной внешностью изысканность манер и тона? Объясняется это, во-первых, тем, что он был вылощен, как денди, а во-вторых, тем, что воспитала его мать, урожденная Радзивилл. Храбрость его граничила с беззаветной удалью, зато ум проявлялся только в ходячих и недолговечных остротах, присущих парижской болтовне. Но среди модных львов не так-то легко встретить молодого человека тонкого ума. В наши дни светские люди слишком много говорят о лошадях, доходах, налогах, депутатах, и поэтому французская болтовня осталась прежней болтовней. Для развития ума требуется досуг и неравенство положения. Возможно, что в Петербурге или Вене ведут более умные разговоры. Людям, равным по положению, незачем проявлять свой изысканный ум, они прямо выкладывают друг другу все как есть. Итак, парижские острословы не хотели признавать вельможу в ветрогоне, который смахивал на студента, перескакивал с предмета на предмет в разговоре, жил в вечной погоне за удовольствиями, тем более яростной, что недавно избежал большой опасности; покинув страну, где его семья была известна, он закусил удила и решил, что может, не рискуя обесчестить свой род, вести разгульный образ жизни. В один прекрасный день 1834 года Адам купил на улице Пепиньер особняк. Через полгода после этой покупки он вел такой же образ жизни, как самые богатые парижане. И вот, когда Лагинского начали принимать всерьез, он встретил в Итальянской опере Клемантину и влюбился в нее. Свадьба состоялась год спустя. Сигнал к лестным отзывам исходил из салона г-жи д'Эспар. Матери дочек на выданье слишком поздно узнали, что уже в девятисотом году Лагинские принадлежали к знатнейшим

северным семьям. Из предусмотрительности, не свидетельствующей о патриотизме, мать молодого графа заложила во время восстания свои поместья за огромную сумму, которую ей ссудили два еврейских банкирских дома, и поместила деньги во французские бумаги. У графа Адама Лагинского было восемьдесят тысяч франков ренты. Теперь уже не удивлялись тому, что г-жа де Серизи, старый дипломат Ронкероль и шевалье дю Рувр столь неосторожно, как говорили в некоторых гостиных, уступили безумной страсти своей племянницы. Как всегда, из одной крайности кинулись в другую: зимой 1836 года граф Адам был в большой моде, а Клемантина Лагинская слыла одной из цариц Парижа. Сейчас г-жа де Лагинская принадлежит к той очаровательной и далекой от всяких выскочек, буржуа и творцов новой политики плеяде молодых дам, которую украшают такие жемчужины современного Парижа, как г-жа д'Эсторад, г-жа де Портандюэр, Мари де Ванденес, г-жа дю Геник и г-жа де Мофриньез.

Это предисловие было необходимо, чтобы обрисовать среду, где разыгралась одна из тех возвышенных человеческих драм, не столь уж редких, как это полагают хулители современности; они порождены страданием и муками и, подобно прекрасным жемчужинам, спрятаны под грубым покровом, затеряны глубоко на дне, скрыты изменчивой волной моря, именуемого светом, веком, Парижем, Лондоном или Петербургом, как вам будет угодно!

Ежели когда и была доказана истина, что архитектура является выразительницей нравов, то уж, конечно, после восстания 1830 года в царствование Орлеанского дома. Во Франции уже не осталось прежних крупных состояний, и поэтому все время сносятся величественные особняки наших отцов и на их месте вырастают какие-то фаланстеры, где июльский пэр Франции проживает на четвертом этаже, над разбогатевшим лекарем. Стиль соблюдается весьма условно. В произведениях искусства нет единства, ибо теперь нет ни двора, ни знати и некому задавать тон. Архитектура со своей стороны придумала всякие экономичные способы замены подлинного и прочного и в то же время проявила много изобретательности и остроумия в планировке.

Предложите зодчему уголок в саду снесенного старого особняка, и он построит вам Лувр, изобилующий всяческими украшениями; он найдет место для двора, конюшен и, ежели вы захотите, для сада; в доме он наделает множество комнат и внутренних лестниц, он сумеет создать иллюзию, и вы поверите, что вам тут действительно привольно и удобно; наконец, он налепит там столько квартир, что герцогская семья разместится в помещении не больше прачечной председателя суда. Особняк графини Лагинской на улице Пепиньер — произведение современной архитектуры такого рода — расположен между садом и двором. Во дворе с правой стороны находятся службы, которым с левой соответствуют конюшня и каретный сарай. Швейцарская помещается между двумя изящными воротами. Главная прелесть дома — примыкающий к будуару очаровательный зимний сад в первом этаже, отведенном под парадные комнаты. Некий изгнанный из Англии филантроп создал эту прелестную архитектурную безделушку, устроил оранжерею, разбил сад, покрыл лаком двери, выложил плитками службы, обвил зеленью окна и создал мечту, подобную — разумеется, в совершенно ином масштабе — дворцу Георга IV в Брейтоне. Трудолюбивый, искусный и ловкий парижский мастеровой сделал лепные карнизы над окнами и дверьми. Плафоны скопировали либо с средневековых, либо с венецианских образцов, а фасад щедро украсили мраморными барельефами. Скульптура над дверями и каминами принадлежит Эльшоету и Клагману. Шиннер мастерски расписал плафоны. Чудесная лестница, белая, как рука красавицы, затмевает лестницу в ротшильдовском особняке. По причине неспокойного времени эта безумная затея обошлась только в сто десять тысяч франков. Для англичанина — сущие пустяки. Все это великолепие, казавшееся королевским тем людям, которые никогда не видели настоящих королевских дворцов, умещалось в бывшем саду при особняке некоего поставщика на армию, одного из крезов революции, разорившегося после биржевого переворота и умершего в Брюсселе. Англичанин умер в Париже от Парижа, потому что для многих людей Париж равносилен болезни, а иногда и нескольким болезням. Его вдова, принадлежавшая к секте методи-

стов, питала отвращение к изящному домику набоба: сей филантроп торговал опиумом. Добродетельная вдова распорядилась продать позорящий ее дом в тот период, когда из-за частых мятежей при всем желании трудно было рассчитывать на спокойствие. Граф Адам воспользовался случаем; как это ему удалось, выяснится в дальнейшем, ибо он был отнюдь не делец, а истый вельможа.

Позади дома, построенного из камня с прожилками, расстилается бархатная зелень английского газона, осененного изящной купой экзотических деревьев, на фоне которых вырисовывается китайская беседка с безмолвными колокольчиками и неподвижными золочеными шариками. Оранжерея с фантастическими сооружениями маскирует южную каменную стену, стена напротив скрыта ползучими растениями, образующими портик с помощью мачт, выкрашенных в зеленый цвет и соединенных перекладинами. Лужайка, цветы, усыпанные песком дорожки, игрушечная роща, воздушные, обвитые зеленью арки умещаются на двадцати пяти квадратных першах, которые стоят теперь четыреста тысяч франков, что составляет стоимость настоящего леса. Среди этой тишины, созданной в сердце Парижа, щебечут птицы: дрозды, соловьи, снегири, славки и множество воробьев. Зимний сад напоминает огромную жардиньерку, воздух напоен благоуханием, и зимой там так же тепло, как в солнечный летний день. Калорифер, при помощи которого создается любой климат — тропиков, Китая или Италии,— искусно замаскирован. Трубы, по которым проходит горячая вода, пар или нагретый воздух, обложены землей и предстают перед взором в виде гирлянд из живых цветов. Графинин будуар кажется огромным. Парижская фея, именуемая архитектурой, творит чудеса: несмотря на ограниченное пространство, все представляется большим. Художник, которому граф Адам поручил заново отделать особняк, вложил все свое искусство в будуар молодой графини. Согрешить в нем невозможно: он сплошь заставлен всякими очаровательными безделушками. Амуру негде примоститься, так тесно тут от всякой китайщины, куда ни посмотришь — рабочие столики с оригинальными фигурками. резанными из слоновой кости, над созданием ко-

торых потрудилось всю жизнь не одно китайское семейство; чаши из дымчатого топаза на филигранных подставках; мозаики, которые хотелось бы иметь каждому; голландские пейзажи кисти Шиннера; ангелы во вкусе Стейнбока, который и свои-то замыслы не всегда выполняет сам; статуэтки работы гениев, которых преследуют заимодавцы (вот истинное объяснение арабских мифов!); великолепные наброски наших лучших художников; передние резные стенки ларей, вставленные в виде панелей и перемежающиеся с индийским шелком, затканным фантастическими рисунками; портьеры, золотистым потоком ниспадающие с карнизов черного дуба, на которых вырезана охота; столики, стульчики, достойные г-жи де Помпадур; персидский ковер и еще много разных разностей, и для вящего очарования все собранное здесь богатство тонет в мягком свете, который струится сквозь двойные кружевные занавески. О любви графини к верховой езде свидетельствует хлыст с резной ручкой работы мадемуазель де Фово, который лежит на столике среди разных антикварных безделушек. Вот каким был будуар в 1837 году — выставкой товаров, развлечением для глаз, словно беспокойному и беспокоящему обществу грозила скука. Куда делся уют, обстановка, навевающая грезы, дающая покой? Куда? Никто не был уверен в завтрашнем дне и пользовался жизнью с беспечной расточительностью человека, тратящего не им нажитое добро.

Однажды утром Клемантина полулежала в задумчивой позе на одной из тех чудесных кушеток, расстаться с которыми так трудно, ибо сама форма их располагает к мягкой лени и приятному far niente [1]. Через открытую дверь из зимнего сада доносился аромат тропических растений. Графиня смотрела на Адама, курившего изящный кальян,— в своем будуаре она не разрешила бы курить ничего иного. Портьеры, подхваченные красивыми шнурами, были раздвинуты, и взору открывались два великолепных зала — один белый с позолотой, похожий на зал особняка Форбэн-Жансон, другой в стиле ренессанс. Столовая, с которой в Париже могла бы поспорить только столовая барона

---

[1] Ничегонеделанию *(итал.)*.

Нусингена, была расположена в конце небольшой галереи, отделанной в средневековом стиле. Со стороны двора в галерею вела большая передняя, в зеркальных дверях которой отражалась красавица-лестница.

Граф и графиня только что кончили завтракать, на голубом небе не видно было ни облачка, апрель был на исходе. Их счастливый брак насчитывал уже два года, и всего два дня, как Клемантина обнаружила, что в доме есть что-то, похожее на секрет, на тайну. Поляки, к чести их будь сказано, обычно не могут устоять перед женами, они чувствуют к ним такую нежность, что в Польше находятся у них под башмаком; и хотя польки прекрасные жены, парижанки еще быстрей, чем они, одерживают верх над поляками. И граф Адам, которого Клемантина забросала вопросами, не прибег к невинной хитрости и не потребовал выкупа за секрет. Когда имеешь дело с женщинами, надо извлекать пользу из секрета; они вам за это всегда благодарны, так же как мошенник воздает дань уважения честному человеку, которого он не сумел надуть. Граф был храбр, но не красноречив, поэтому он только попросил дать ему срок докурить свой кальян, полный душистого табака.

— С дороги ты писал только Пазу, при всяком затруднении ты говорил: «Паз это уладит!» — сказала графиня.— Приехали домой, и что же — у всех на устах: «Капитан!» Я хочу покататься?.. Капитан! Надо уплатить по счету?.. Капитан! У моей лошади неудобная рысь — и тут опять капитан Паз! Прямо как в домино — я только и знаю, что *пас* да *пас!* И у нас, я все время слышу: Паз, Паз,— а что это за Паз, не знаю, где этот Паз? Подать сюда нашего Паза.

— Разве ты чем-нибудь недовольна? — спросил граф, отрываясь от мундштука своего кальяна.

— Слишком довольна, но при том образе жизни, какой ведем мы, давно бы уже пора разориться, даже получая двести тысяч дохода, а мы получаем сто десять,— сказала Клемантина. Она дернула за прелестную, вышитую гладью сонетку. Тотчас же появился лакей, одетый не хуже министра.

— Передайте капитану Пазу, что я хочу его видеть.

— Если вы думаете что-нибудь выяснить таким путем...— улыбаясь, заметил граф Адам.

Небесполезно будет сказать, что Адам и Клемантина, поженившись в декабре 1835 года, провели зиму в Париже, а затем в 1836 году путешествовали по Италии, Швейцарии и Германии. Воротившись в Париж в ноябре, графиня этой зимой впервые принимала у себя и за это время заметила присутствие в доме невидимого фактотума, капитана Паза, фамилия которого произносится так, как она написана.

— Ваше сиятельство, господин Паз просят извинить их, им сейчас никак нельзя, они в конюшне и не одеты; как только граф Паз переоденутся, они не заставят себя ждать,— доложил лакей.

— Что он там делает?

— Они показывают, как чистить лошадь вашего сиятельства; Константен не угодил им,— ответил лакей.

Графиня посмотрела на слугу: он был серьезен и не улыбался той фамильярной улыбкой, с которой подчиненные обычно говорят о вышестоящих, если те находятся на одном с ними положении.

— Ах так, он чистил Кору.

— Прикажете, ваше сиятельство, оседлать лошадь? — осведомился лакей и ушел, не дождавшись ответа.

— Он поляк? — спросила графиня мужа, утвердительно кивнувшего в ответ.

Клемантина Лагинская молча смотрела на Адама. Она вытянула ноги на подушке, повернула голову, всей своей позой напоминая птичку, которая, сидя в гнездышке, прислушивается к шумам леса,— самый пресыщенный человек не устоял бы перед ее очарованием. Казалось, она сошла с гравюры — хрупкая блондинка с длинными английскими буклями, в затканном цветами шелковом пеньюаре восточного покроя, пышные складки которого не вполне скрывали прелестные формы и тонкую талию. Яркая ткань скрещивалась на груди, оставляя открытой шею, белизна которой оттенялась богатой гипюровой отделкой. В глазах, осененных черными ресницами, и в полуоткрытом очаровательном ротике читалось любопытство. Красиво очерченный выпуклый лоб говорил о характерных чертах парижанки — своевольной, насмешливой, умной и в то же время не подвластной обычным вульгарным соблазнам. Она

свесила с подлокотников нежные, почти прозрачные руки с сужающимися и чуть загнутыми на концах пальцами; в розовых миндалевидных ногтях отражался свет. Адам улыбался, любуясь женой, его забавляло ее нетерпение. Он еще не пресытился супружеским счастьем, и взор его был по-прежнему пламенным. Эта маленькая хрупкая женщина сумела взять верх в семейной жизни, ибо сдержанно отвечала на восторги Адама. Во взглядах, которые она украдкой бросала на мужа, возможно, уже сквозило осознанное превосходство парижанки над этим бледным, тщедушным и рыжим поляком.

— А вот и Паз,— сказал граф, услышав шаги в галерее.

Графиня увидела рослого статного красавца с мягким выражением лица, свойственным сильным людям, изведавшим горе. Паз поспешил переодеться в так называемую венгерку — сюртук в талию, отделанный брандебурами. Пышные, плохо приглаженные черные волосы обрамляли его квадратный широкий лоб, словно изваянный из мрамора. В руке, которая напоминала руку Геркулеса на статуе, где он изображен с ребенком, Паз держал фуражку. На пышущем здоровьем и силой лице выделялся большой римский нос, который напомнил Клемантине красавцев-транстеверинцев. Черный шелковый галстук еще сильнее подчеркивал военный облик этой тайны пяти футов семи дюймов ростом с угольно-черными, пламенными, как у итальянцев, глазами. Широкие панталоны, из-под которых видны были только носки ботинок, свидетельствовали о пристрастии Паза к польской моде. Поистине женщина, романтически настроенная, почувствовала бы всю гротескность резкого контраста между капитаном и графом, между щуплым поляком с худым лицом и красавцем-военным, между царедворцем и солдатом.

— Здравствуй, Адам,— запросто поздоровался он с графом.

Затем отвесил учтивый поклон Клемантине и осведомился, чем может быть ей полезен.

— Так, значит, вы друг Лагинского? — спросила она.

— До гробовой доски,— ответил Паз, которому граф

ласково улыбнулся, в последний раз выпуская кольца ароматного дыма.

— В таком случае почему же вы не обедаете с нами? Почему не поехали с нами в Италию и Швейцарию? Почему прячетесь, не давая возможности поблагодарить вас за те услуги, что вы постоянно нам оказываете? — сказала графиня, правда, с живостью, но без всякого тепла в голосе.

Действительно, она догадывалась, что Паз добровольно принял на себя обязанности слуги. В то время подобная мысль вызывала некоторое презрение к такой социальной амфибии, к человеку, одновременно являющемуся и секретарем, и управляющим, не совсем управляющим и не совсем секретарем, обычно это бывал либо бедный родственник, либо друг, которого стесняются.

— Дело в том, графиня, что меня не за что благодарить,— ответил он довольно непринужденно.— Я друг Адама и почитаю для себя за удовольствие блюсти его интересы.

— А стоять ты, верно, тоже почитаешь для себя за удовольствие,— заметил граф Адам.

Паз сел в кресло возле двери.

— Я вспоминаю, что видела вас в день моей свадьбы и несколько раз во дворе,— сказала графиня.— Но зачем вы ставите себя в положение подчиненного, раз вы друг Адама?

— Мнение парижан мне безразлично,— ответил он.— Я живу для себя или, если угодно, для вас обоих.

— Но мнение света о друге моего мужа не может быть мне безразлично...

— О, сударыня, свет легко удовлетворить, сказав: он чудак! Скажите же это. Вы не собираетесь на прогулку? — спросил он после минутного молчания.

— Хотите прокатиться в лес? — ответила графиня.

— Охотно.

Паз поклонился и вышел.

— Какой чудесный человек! Он прост, как дитя,— заметил Адам.

— А теперь расскажите мне, почему вы такие друзья,— попросила Клемантина.

— Паз, душенька, принадлежит к столь же древнему и именитому дворянству, как и мы. Их семью по-

стигло несчастье, и один из Паззи бежал с небольшими средствами из Флоренции в Польшу, где он осел и стал основателем рода Пазов, который затем был пожалован графским титулом. Их род отличился в благословенные дни нашей республиканской монархии и разбогател. Отводок от дерева, срубленного в Италии, дал могучие ростки, и теперь фамилия графов Паз насчитывает несколько ветвей. Я не удивлю тебя, сказав, что есть Пазы богатые и Пазы бедные. Наш Паз принадлежит к бедным Пазам. Он сирота, единственное его достояние сабля. Когда началось восстание, Паз служил в полку великого князя Константина. Он тотчас же вступил в польскую партию и дрался как поляк, как патриот, как человек, которому нечего терять: три основания, чтобы хорошо драться. В последнем сражении он бросился на русскую батарею, думая, что увлек за собой своих солдат, и был взят в плен. Я это видел. Такая отвага воодушевила меня. «За мной, на выручку капитана!» — крикнул я своим кавалеристам. Мы, как хищники, налетаем на батарею, и я с шестью солдатами освобождаю Паза. Нас было двадцать, а осталось восемь вместе с Пазом. Когда Варшаву предали, нам пришлось спасаться от русских. По странной случайности мы с Пазом оказались в одно и то же время в одном и том же месте по ту сторону Вислы. Я был свидетелем, как беднягу Паза арестовали пруссаки, ставшие в ту пору охотничьими псами русских. Человек, которого ты вытащил из вод Стикса, тебе дорог. Я не мог остаться равнодушным, когда Паза постигла новая опасность, и, желая помочь ему, пошел за ним в плен. Двое могут спастись там, где один погибнет. Во внимание к моему имени и родственным связям с теми, от кого зависела наша судьба — ведь мы были тогда в руках пруссаков,— на мой побег закрыли глаза. Дорогого мне капитана Паза я выдал за рядового, сказал, что он принадлежит к моей дворне, и нам дали возможность добраться до Данцига. Мы сели на голландский корабль, который шел в Лондон, куда через два месяца и прибыли. Там меня ждала мать, заболевшая в Англии. Паз и я ходили за ней до самой ее смерти, которую ускорила неудача предпринятого нами восстания. Мы покинули Лондон, и я увез Паза во Францию. Пережитые вместе превратт-

ности судьбы сроднили нас. Двадцати двух лет я очутился в Париже, имея шестьдесят с чем-то тысяч годового дохода, не считая остатков суммы, вырученной матерью от продажи фамильных бриллиантов и картин; я решил, прежде чем начать рассеянный образ жизни, обеспечить Паза. Не раз я видел печаль во взгляде капитана, а иногда в глазах его сверкали слезы. У меня были случаи оценить благородство, чистоту, великодушие его души. Может быть, его мучило, что он в неоплатном долгу перед человеком на шесть лет моложе его. Я был легкомыслен и беспечен, как и всякий в моем возрасте, я мог проиграться дотла, запутаться в сетях, расставленных парижанками, в один прекрасный день мы могли расстаться с Пазом. Хоть я и давал себе слово удовлетворять все его нужды, я предвидел всякие случайности и боялся, что позабуду или не смогу выплачивать Пазу его пенсию. Словом, ангел мой, я хотел избавить его от неприятной, стеснительной, унизительной необходимости обращаться ко мне с просьбами денег или тщетно искать в минуту отчаяния своего друга. Итак, однажды утром, после завтрака, когда мы курили трубки, протянув ноги к камину, я, краснея, осторожно, со всякими оговорками, ибо видел, что он с беспокойством смотрит на меня, вручил ему обязательство, обеспечивающее предъявителю две тысячи четыреста франков ренты...

Клемантина встала, подошла к мужу, села к нему на колени, обвила руками его шею и поцеловала в лоб со словами:

— Сокровище мое, как ты благороден! А что сказал Паз?

— Тадеуш побледнел и ничего не сказал... — ответил граф.

— А-а, его звать Тадеуш?

— Да, Тадеуш сложил чек и вернул его мне со словами: «Я думал, Адам, что мы друзья до гробовой доски и никогда не расстанемся; значит, я тебе надоел?» — «А, ты так меня понял,— сказал я,— хорошо, не будем больше подымать этот вопрос. Если разорюсь я, разоришься и ты».— «Твое состояние не позволяет тебе жить так, как подобает одному из Лагинских; разве тебе не нужен друг, который занялся бы твоими делами, был

бы тебе отцом, братом, верным человеком?» Ни взор, ни голос Паза, дружочек мой, когда он произносил эти слова, не выдавали волнения, но за его спокойствием скрывалась любовь матери, признательность араба, преданность пуделя, дружба дикаря, готового, не произнося громких слов, пойти на любую жертву. Я обнял его, как обнимаем друг друга мы, поляки, и поцеловал в губы. «Итак, до гробовой доски! Все, что принадлежит мне,— твое, распоряжайся как хочешь!» Этот особняк купил мне он и, можно сказать, за бесценок. Он продал мои бумаги, когда они поднялись, и снова купил их, когда они упали в цене, и вырученными деньгами заплатил за эту хижину. Он знает толк в лошадях и так хорошо умеет купить и продать их, что моя конюшня досталась мне почти даром, а лошади у меня прекрасные, выезды одни из лучших в Париже. Наши люди — честные польские солдаты — наняты им, они пойдут за нас в огонь и воду. Я мог прокутить все состояние, а Паз так разумно и аккуратно ведет наше хозяйство, что возместил кое-какие мои незначительные проигрыши, пустяки, грехи молодости. Мой Тадеуш хитер, как два генуэзца, жаден до прибыли, как польский еврей, экономен, как образцовая хозяйка. Мне так и не удалось уговорить его жить, как жил я, пока был холост. Иногда даже надо было применять дружеское насилие, чтобы убедить его пойти в театр, если я шел туда один, или принять участие в обедах, которыми я угощал в кабачке веселую компанию. Светскую жизнь он не любит.

— А что же он любит? — спросила Клемантина.

— Он любит Польшу и оплакивает ее. Единственно, на что он тратился, это на поддержку кое-кого из наших неимущих изгнанников, которым посылал деньги, чаще от моего, чем от своего имени.

— Знаешь, я начинаю чувствовать к нему любовь, это такой хороший человек! Он, мне кажется, незлобив, как все действительно большие люди.

— Красивые вещи, что ты здесь видишь, приобретены Тадеушем на распродажах или по случаю,— продолжал Адам, в похвалах которого сквозила благородная уверенность в друге.— Он любого торговца за пояс заткнет. Если ты увидишь, что он стоит во дворе и потирает руки, знай, он выменял хорошую лошадь на луч-

шую. Вся его жизнь во мне, для него радость, что я элегантно одет, что у меня шикарный выезд. Без шума, без громких слов выполняет он добровольно взятые на себя обязанности. Как-то я проиграл двадцать тысяч франков в вист. «Что скажет Тадеуш?» — думал я, возвращаясь домой. Тадеуш вручил мне их, но при этом глубоко вздохнул. Этот вздох оказался сильней увещеваний, к которым прибегают в подобных случаях дядюшки, жены или матери. «Тебе жалко этих денег?» — спросил я.— «Ах, не из-за нас с тобой; нет, я просто подумал, что на эти деньги целый год могли бы прожить двадцать бедных Пазов». Ты понимаешь, род Паззи не уступает роду Лагинских. Поэтому я никогда не считал подчиненным моего дорогого Тадеуша. Я старался не уступать ему в благородстве. Я ни разу не вышел из дома и не возвратился, не повидав Тадеуша, все равно как если бы он был мне отцом. Все, что принадлежит мне,— принадлежит и ему. Словом, Тадеуш уверен, что и сейчас я не испугаюсь никакой опасности, чтобы спасти его, как это уже было два раза.

— Ты много на себя берешь, мой друг,— заметила графиня.— Самоотверженный поступок — это вспышка. Самоотвержение понятно на войне, но не в Париже.

— В таком случае для Тадеуша я всегда на войне,— ответил Адам.— Мы оба резки, у нас есть недостатки, но каждый хорошо знает сердце другого, и это еще крепче спаяло нас дружбой. Можно спасти жизнь человеку и убить его потом, если он окажется плохим товарищем; но наша дружба неразрывна: мы непрестанно делимся всеми впечатлениями, и в этом смысле дружба дает, может быть, больше, чем любовь.

Красивая ручка зажала рот графу таким быстрым движением, что жест этот можно было принять за пощечину.

— Ну да, ангел мой. Дружбе незнакомо банкротство чувства и несостоятельность наслаждения,— сказал он.— Сначала любовь дает больше, чем у нее есть, а затем она дает меньше, чем получает.

— Обоюдно,— улыбнулась в ответ Клемантина.

— Да,— согласился Адам.— А дружба может только расти. Не надувай губок, мой ангел: нас связывает не только любовь, но и дружба; во всяком случае, я на-

деюсь, что в нашем счастливом браке соединились оба эти чувства.

— Я объясню тебе, почему вы так дружны,— сказала Клемантина.— Столь разный, как у вас, образ жизни обусловлен вашими вкусами, а не положением, выбран по собственному желанию, а не принудительно. Знаешь, насколько можио судить о капитане по твоему рассказу и по мимолетному знакомству, я думаю, что тут нижестоящий в иных случаях может превзойти вышестоящего.

— О, Тадеуш действительно превосходит меня,— простодушно ответил Адам.— Все мои преимущества перед ним — чистая случайность.

За такое благородное признание жена вознаградила его поцелуем.

— Поразительное искусство, с которым он скрывает свои чувства, огромное превосходство,— продолжал граф. — Я сказал ему: «Ты скрытный человек, у тебя богатый душевный мир, и ты замыкаешься в нем». Он имеет право называться графом Пазом, а для Парижа — он просто капитан Паз.

— Словом, флорентинец средних веков возродился через три сотни лет,— сказала графиня.— В нем есть что-то от Данте и от Микеланджело.

— Знаешь, ты права: в душе он поэт,—ответил Адам.

— Итак, я, оказывается, замужем за двумя поляками,— сказала графиня, сопроводив свои слова очаровательным жестом, которому могла бы позавидовать талантливая актриса.

— Милая моя детка! — воскликнул Адам, привлекая к себе Клемантину.— Я был бы искренне огорчен, если бы мой друг тебе не понравился: мы оба этого боялись, хотя он и был в восторге, что я женюсь. Он будет безмерно счастлив, если ты ему скажешь, что ты его любишь... Разумеется, как старого друга.

— Я пойду переоденусь, погода прекрасная. Мы поедем на прогулку втроем,— сказала Клемантина, позвонив своей горничной.

Капитан Тадеуш вел такой замкнутый образ жизни, что весь парижский бомонд заинтересовался, с кем это катается Клемантина в Булонском лесу, когда она появилась там в сопровождении Тадеуша и мужа. Во время прогулки графиня потребовала, чтобы Тадеуш обе-

дал с ними. Он подчинился желанию неограниченной властительницы и принарядился к обеду. Воротясь с прогулки, Клемантина оделась с большим кокетством, так что произвела впечатление даже на Адама, когда вошла в гостиную, где ее ждали оба друга.

— Граф Паз, мы вместе поедем в Оперу,— заявила она.

Это было сказано тем тоном, который в устах женщины означает: если вы откажетесь, мы поссоримся.

— Охотно, сударыня,— ответил капитан.— Но поскольку у меня нет графского состояния, зовите меня просто капитан.

— В таком случае, капитан, вашу руку,— сказала она, беря его под руку и уводя в столовую с той восхитительной непринужденностью, которая так умиляет влюбленных.

Графиня посадила капитана рядом с собой, а он держал себя за столом, как бедный лейтенант на обеде у богатого генерала. Он слушал Клемантину с той почтительностью, с которой внимают словам начальника, не возражал ей и ждал, чтобы к нему обратились с вопросом, раньше чем высказать свое мнение. В результате графиня, кокетство которой не могло преодолеть его ледяной серьезности и дипломатической почтительности, сочла его простс глупым. Напрасно Адам старался его подбодрить: «Чего ты так дичишься, Тадеуш. Можно подумать, что ты у чужих! Ты, верно, побился об заклад, что разочаруешь Клемантину!» Но Тадеуш так и не стал разговорчивее и оживленнее. Когда господа за десертом остались одни, капитан признался, что ведет образ жизни прямо противоположный тому, к которому привыкли люди светские: он ложится спать в восемь часов и встает чуть свет; итак, он сослался на сильное желание спать, которым и объяснил свое поведение.

— Приглашая вас в Оперу, я думала, что театр развлечет вас; но вольному воля, капитан,— сказала Клемантина, задетая за живое.

— Я пойду,— ответил Тадеуш.

— Дюпре поет Вильгельма Телля,— подхватил Адам.— Но, может быть, ты предпочитаешь Варьете?

Капитан улыбнулся и позвонил. Вошел лакей.

— Скажите Константену, чтобы он заложил боль-

шую карету,— приказал он.— В двухместной нам будет тесно,— прибавил он, взглянув на графа.

— Француз позабыл бы об этом,— сказала, улыбнувшись, Клемантина.

— Да, но мы, флорентинцы, пересаженные на север,— заметил Тадеуш, сопроводив свои слова такой тонкой улыбкой и таким взглядом, что в его поведении за столом при всем желании нельзя было не усмотреть преднамеренности.

Контраст между этой фразой, вырвавшейся у Паза по неосторожности, правда, вполне понятной, и поведением его за столом был слишком разителен. Клемантина украдкой посмотрела на капитана тем взглядом, который у женщин означает обычно удивление и в то же время интерес. За кофе, который они трое пили в гостиной, воцарилось молчание, смущавшее Адама, потому что он не понимал его причины. Клемантина не кокетничала больше с Тадеушем. И он тоже снова стал официально учтив и молчал и по дороге в театр, и в ложе, где притворился, что дремлет.

— Теперь вы убедились, сударыня, что я очень скучный собеседник,— сказал он во время балетного номера в последнем действии «Вильгельма Телля».— Не был ли я прав, когда не хотел, как говорится, выходить из своего амплуа.

— Знаете, капитан, вы не болтун и не шарлатан— какой же вы поляк?

— Предоставьте мне заботу о ваших развлечениях, деньгах и доме, я только на это и годен.

— Замолчи, лицемер! — улыбаясь, сказал граф Адам.— Дорогая моя, Тадеуш благороден и образован. Если бы он захотел, он мог бы блистать в гостиных. Не верь ему, Клемантина, он из скромности на себя наговаривает.

— Прощайте, графиня, в доказательство хорошего отношения я воспользуюсь вашим экипажем, так как хочу поскорее лечь спать, и пришлю его обратно за вами.

Клемантина молча кивнула головой, и капитан вышел.

— Ну и медведь! — сказала она мужу.— Ты куда любезней!

Адам незаметно пожал жене руку.

— Бедный мой Тадеуш, он старается казаться нелюдимым, а другой мужчина на его месте всячески пытался бы перещеголять меня в любезности.

— Знаешь, я не уверена, нет ли тут расчета,— сказала она,— многие женщины были бы заинтригованы его поведением.

Полчаса спустя Лагинские подъехали к дому. Болеслав, выездной лакей, крикнул, чтобы им открыли, кучер свернул к воротам и ждал, когда они распахнутся. Клемантина спросила мужа:

— А где живет капитан?

— Видишь, вон там,— ответил граф, показав на небольшую изящную надстройку, в виде аттика, с одним окном на улицу, по обе стороны ворот.— Он поселился над каретным сараем.

— А кто живет с другой стороны?

— Пока никто,— ответил Адам.— Другое помещение над конюшней предназначено для наших детей и их гувернера.

— Он еще не лег,— заметила графиня, увидев свет в окне у Тадеуша, когда карета въехала под портик с колоннами, скопированный с Тюильри и заменивший обычную цинковую маркизу, покрашенную под тик.

Капитан, в шлафроке, смотрел, держа в руке трубку, на Клемантину, входившую в вестибюль. Сегодня для него был не легкий день. И вот почему: когда Адам повел его в Итальянскую оперу, чтобы показать мадемуазель дю Рувр, Тадеуш с первого же взгляда почувствовал, как у него затрепетало сердце, затем, когда он снова увидел ее в мэрии и в церкви святого Фомы Аквинского, он узнал в ней ту женщину, которая в каждом мужчине зажигает необычную любовь; ведь даже Дон-Жуан предпочитал одну из числа mille e tre [1]. Поэтому капитан особенно настоятельно советовал Адаму традиционное свадебное путешествие. В течение всего времени, пока Клемантина отсутствовала, он был почти спокоен, но когда супруги вернулись, страдания его возобновились. Вот какие думы одолевали его, пока он курил свою трубку вишневого дерева длиною в шесть футов — подарок Адама: «Никому, кроме меня и бога,

---

[1] Тысяча и три *(итал.)*.

который вознаградит меня за мое безмолвное страдание, не должно быть известно, как сильно я ее люблю! Но как сделать, чтобы она не полюбила и не возненавидела меня?» И он без конца размышлял над этой задачей любовной стратегии. Не следует думать, что Тадеуш только страдал, не зная радостей. Святая ложь, к которой он прибегнул сегодня, была для него источником душевной отрады. После возвращения Клемантины и Адама он чувствовал неизъяснимое удовлетворение, с каждым днем все больше убеждаясь, как он им необходим, ибо не будь у них такого преданного друга, они наверняка разорились бы. Какое состояние может выдержать расточительность парижской жизни? Клемантина выросла в доме отца, промотавшего крупное наследство, и не умела вести хозяйство, а теперь даже самые богатые и знатные дамы принуждены во все входить сами. Кто теперь может себе позволить держать управляющего? Сын польского вельможи, попавшего, подобно многим, в лапы к евреям и не сумевшего как должно распорядиться остатками одного из самых крупных состояний в Польше, где есть огромные состояния, Адам по самой своей натуре был не способен обуздывать прихоти как свои, так и женины. Будь он один, он, вероятно, разорился бы еще до женитьбы. Тадеуш удержал его от игры на бирже, разве этим уже не все сказано? Итак, Тадеуш, почувствовав, что полюбил Клемантину, не мог оставить дом и поехать путешествовать, чтобы забыть свою страсть. Признательность — вот причина того, что он остался тут, ибо только он был тем человеком, который мог управлять делами этой беспечной супружеской четы. Он надеялся, что отсутствие Адама и Клемантины принесет ему успокоение, но за путешествие графиня еще похорошела. Как и все замужние парижанки, она стала свободнее в обращении; от нее исходило очарование молодости и неподдающееся определению обаяние счастливой и независимой женщины, довольной своим браком с таким рыцарски галантным и влюбленным человеком, как Адам. Знать, что ты потрудился над их благосостоянием, видеть Клемантину, похожую на еще не раскрывшийся бутон, когда она возвращается с бала или утром едет в Булонский лес, встречать ее на бульварах в элегантном эки-

паже—вот что давало Тадеушу блаженную негу, которой он упивался в тайне сердца; однако, судя по его лицу, никто не мог бы этого предположить. Не удивительно, что графиня по возвращении из Италии в течение полугода не видела капитана. Он всячески избегал ее, но старался делать это незаметно. Бескорыстная любовь похожа на любовь божественную. Для безмолвного и незаметного самопожертвования надо обладать глубиной чувств, душой, в которой живет гордость отца и бога, любовь ради любви, как для иезуитов существует власть ради власти; такая душа, созданная по образцу таинственных начал мира, в своем божественном самопожертвовании не расточает себя понапрасну. Разве Следствие не есть Природа? А Природа — волшебница, она принадлежит человеку, поэту, художнику, влюбленному; но разве Причина для людей с особенно возвышенной душой и для исполинов мысли не выше Природы? Причина — это бог. В такой сфере причин живут Ньютоны, Лапласы, Кеплеры, Декарты, Мальбранши, Спинозы, Бюффоны, подлинные поэты и христианские отшельники второго века, святая Тереза Испанская и мистики, пребывающие в божественном экстазе. Во всяком человеческом чувстве можно найти аналогичные моменты, когда дух оставляет Следствие ради Причины, и Тадеуш достиг той высоты духа, где на все начинаешь смотреть другими глазами. Упиваясь радостью создателя, Тадеуш переживал в любви величайшее духовное наслаждение. «Нет, она не вполне обманута на мой счет,— раздумывал он, следя за дымом своей трубки.— Если она рассердится, она может раз и навсегда поссорить меня с Адамом; а вдруг она начнет кокетничать, чтоб раззадорить меня, что тогда делать?» Тадеуш сам на себя рассердился за такое фривольное предположение, совсем не вязавшееся с его скромной натурой, с его, можно сказать, германской застенчивостью. Он лег спать с той мыслью, что надо выждать и не принимать пока никаких решений. Утром Клемантина отлично позавтракала без Тадеуша, даже не заметив, что он ослушался ее приказания. Этот день был ее журфиксом, который обычно обставлялся с царской роскошью. Она не заметила отсутствия капитана, на котором лежали все хлопоты, связанные с приемом гостей. «Так! Со сто-

роны графини это было просто капризом или любопытством»,— подумал капитан, когда около двух часов ночи услышал шум отъезжавших экипажей. И он зажил прежней жизнью, на мгновение нарушенной вышеописанным происшествием. Клемантина, поглощенная суетой парижской жизни, казалось, забыла о Пазе. Ведь следует помнить, что не так-то легко царить в столь непостоянном городе, как Париж. Тут необходимо вести тонкую игру, во время которой ставится на карту не только состояние. Зима для женщины, которая сейчас в моде, то же, что поход для военных эпохи Империи. Туалет или прическа, цель которых затмить соперниц,— настоящее произведение искусства! Хрупкая, нежная женщина с девяти часов вечера до двух, а то и до трех часов ночи не снимает твердой сверкающей брони из цветов и бриллиантов, шелка и стали. Она соблюдает диету, дабы являть взорам тонкую талию; она утоляет мучащий ее на вечерах голод вредным для здоровья чаем, сладостями, мороженым, от которого становится еще жарче, или кусочком сдобного пирожного. Желудку приходится подчиняться велениям кокетства. Просыпается светская дама очень поздно. Вся жизнь ее находится в противоречии с законами природы, а природа безжалостна. Не успев встать, модная львица уже озабочена утренним туалетом, уже думает о вечернем. Ведь ей надо принимать гостей, самой делать визиты, ездить на прогулку в лес, верхом или в экипаже. Ей постоянно надо изучать свои улыбки, изощрять ум в искусстве комплиментов, дабы они не были плоскими или вычурными. А это удается не всякой. Чему же удивляться, если здоровая молодая женщина после трех лет светской жизни увядает и блекнет! Могут ли за полгода, проведенные в деревне, излечиться раны, нанесенные зимой? В наше время только и слышишь о гастритах, о непонятных болях, впрочем, незнакомых женщинам, занятым своим хозяйством. Прежде дама выезжала в свет только иногда, теперь она всегда на людях. Клемантина была вовлечена в борьбу; о ней начали говорить, и, озабоченная войной со своими соперницами, она почти не находила времени для любимого мужа. Где уж тут помнить о Тадеуше! Однако месяц спустя, в мае, за несколько дней до отъезда в поместье Рон-

керолей в Бургундии, возвращаясь из Булонского леса, она заметила в боковой аллее на Елисейских полях элегантно одетого Тадеуша, который с восхищением смотрел на свою красавицу-графиню, на коляску, запряженную рысаками, на нарядные ливреи, словом, на дорогую ему любимую чету.

— Смотри, вон капитан,— сказала она мужу.

— Как он счастлив! — ответил Адам.— Для него величайшая радость, что у нас шикарный выезд, что все нам завидуют. Ты только сейчас его заметила, а ведь он бывает здесь чуть ли не ежедневно.

— О чем он думает? — спросила Клемантина.

— Сейчас он думает, что за зиму истрачено много денег и что мы наведем экономию в имении твоего старого дяди, маркиза Ронкероля,— ответил Адам.

Когда коляска поравнялась с Тадеушом, графиня велела остановиться и усадила капитана рядом с собой. Он покраснел до корней волос.

— От меня пахнет табаком, я только что курил.

— От Адама тоже пахнет табаком,— не задумываясь, возразила она.

— Да, но то Адам,— ответил капитан.

— А чем Тадеуш хуже Адама? — сказала она, улыбнувшись.

Очарованный ее божественной улыбкой, капитан позабыл о своем героическом решении; он посмотрел на Клемантину, и в глазах его отразилось пламя его души, но смягченное ангельским выражением признательности — чувством, которым он жил. Графиня скрестила руки под шалью, задумчиво откинулась на подушки, смяв перья на своей прелестной шляпке, и стала смотреть на прохожих. Клемантина была тронута благородством и самоотверженностью его души, вдруг озарившейся для нее, как при вспышке молнии. В конце концов какими достоинствами отличается Адам? Ведь храбрость и великодушие такие естественные чувства! А вот капитан!.. Тадеуш, кажется, во многом превосходит Адама. Такие роковые мысли охватили графиню, когда она отдала себе отчет, как отличается Тадеуш с его прекрасной, цельной натурой от Адама, тщедушие которого свидетельствовало о неизбежном вырождении аристократических семей, не понимающих, какое безумие род-

ниться между собой. Если кто и узнал ее мысли, так только дьявол, ибо Клемантина до самого дома просидела молча с устремленным вдаль задумчивым взглядом.

— Вы обедаете с нами, попробуйте только ослушаться, и я рассержусь,— сказала она.— Вы для меня тоже Тадеуш, как и для Адама. Я знаю, чем вы обязаны ему, но я также знаю, чем мы обязаны вам. За два, правда благородных, но вполне естественных порыва вы проявляете великодушие ежечасно и ежедневно. Сегодня у нас обедают мои родные: отец, дядя де Ронкероль и тетя де Серизи, переоденьтесь к столу,— сказала она, выходя из коляски и опираясь на предложенную капитаном руку.

Тадеуш поднялся к себе, чтобы переодеться, счастливый, но с трепетом в сердце. Он спустился в последнюю минуту и за обедом опять изображал из себя солдата, годного только на роль управляющего. Но на этот раз Клемантина не попалась на удочку Тадеуша, взгляд которого многое разъяснил ей. Ронкероль, самый искусный после Талейрана посланник, так верно служивший де Марсе во время его короткого управления, был осведомлен племянницей, кто такой граф Паз, который держался как скромный управляющий своего друга Мечеслава.

— Как же это так случилось, что я впервые вижу графа Паза? — спросил маркиз де Ронкероль.

— О, он нелюдим да к тому же еще и скрытник,— ответила Клемантина, взглядом прося Паза держаться свободнее.

Увы, рискуя умалить достоинства Паза, надо признаться, что при всем своем превосходстве над Адамом, он все же не был человеком выдающегося ума. Своим превосходством он был обязан несчастью. В Варшаве, в дни одиночества и нищеты, он много читал, приобретал знания, сравнивал, размышлял, но он не обладал даром творчества, которое делает человека большим, а приобрести этот дар вряд ли можно. У Тадеуша было большое сердце — и только, но зато какое сердце! Однако в сфере чувств он был скорее человеком действия, чем мысли, свою мысль он таил про себя. И эта мысль терзала его душу. А кроме того, что такое мысль, не выраженная словами? Услышав отзыв Клемантины о ка-

питане, маркиз де Ронкероль с сестрой многозначительно переглянулись, указав друг другу глазами на племянницу, графа Адама и Паза. Такие молниеносные сценки возможны только в Италии или Париже. Только в этих двух местах, да еще при дворах, взгляды могут сказать очень много. Только при безграничном раболепстве или безграничной свободе можно передать взглядом всю силу души, сделать его столь же понятным, как речь, выразить в нем целую поэму или драму. От Адама, маркиза де Рувра и графини ускользнуло то, что заключалось во взоре таких блестящих наблюдателей, как старая кокетка и старый дипломат. Но Тадеуш в своей собачьей преданности понял, что́ предвещал этот взгляд. Все это, заметьте, было делом нескольких секунд. Описать бурю, которая поднялась в душе капитана, в немногих словах нельзя, а многословие сейчас не в чести. «Как! тетка и дядя уже предполагают, что она может меня полюбить,— думал он.— Теперь мое счастье зависит от меня самого. Да, но как же Адам!..» Идеальная любовь и желание, столь же сильные, как чувство благодарности и дружбы, вступили в борьбу, и на мгновение любовь взяла верх. Бедный, преданно влюбленный капитан не устоял! Он стал остроумным, ему захотелось понравиться, по просьбе старого дипломата он в общих чертах рассказал о польском восстании. И во время десерта увидел, что Клемантина ловит каждое его слово, принимает его за героя, позабыв, что Адам пожертвовал третью своего огромного состояния, а затем подвергся всем превратностям жизни в изгнании. В девять часов, после кофе, г-жа де Серизи попрощалась с племянницей, поцеловала ее в лоб и увела с собой не посмевшего протестовать Адама, покинув маркизов дю Рувр и де Ронкероль, которые тоже ушли минут десять спустя. Паз и Клемантина остались вдвоем.

— Я удаляюсь, сударыня,— сказал Тадеуш,— вы, верно, тоже собираетесь в Оперу.

— Нет, я не любительница танцев, а сегодня дают препротивный балет «Восстание в серале»,— ответила она.

Минуту они молчали.

— Два года тому назад Адам не уехал бы в театр без меня,— сказала она, не глядя на Паза.

— Он безумно вас любит...— заметил Тадеуш.

— Ах, именно потому, что он безумно меня любит сегодня, он может разлюбить меня завтра! — воскликнула графиня.

— Парижанки непостижимы. Когда их любят безумно, они хотят, чтобы их любили разумно; а когда их любят разумно, они упрекают нас, что мы не умеем любить,— сказал капитан.

— И они правы, Тадеуш,— с улыбкой заметила она.— Я отлично знаю Адама и не сержусь на него: он человек ветреный, а главное, он большой барин, он всегда будет доволен, что я его жена, и никогда ни в чем мне не откажет, но...

— Разве есть браки, в которых не было бы *«но»*? — мягко возразил Тадеуш, стараясь дать другое направление мыслям графини.

Даже самому бескорыстному мужчине пришла бы в голову следующая мысль, от которой чуть не лишился рассудка влюбленный Тадеуш: «Я дурак, если не скажу ей, что я ее люблю!» Оба молчали, боясь выдать свои мысли. Графиня украдкой взглядывала на Паза, а Паз тоже украдкой следил за ней в зеркало. Удобно усевшись в глубоком кресле, он сложил руки на животе, как плотно покушавший человек, и стал быстро вертеть большими пальцами, тупо на них уставившись.

— Скажите же мне что-нибудь хорошее об Адаме!— воскликнула Клемантина.— Скажите мне, что он не ветреник, вы же его знаете!

Это был крик души.

«Вот теперь наступила та минута, когда можно воздвигнуть между нами непреодолимую преграду»,— решил бедняга Паз, обдумывая героическую ложь.

— Что-нибудь хорошее? — переспросил он.— Я его слишком люблю, вы мне все равно не поверите. Я не способен сказать о нем что-нибудь плохое. Итак, сударыня, мое положение между вами обоими весьма затруднительно.

Клемантина опустила голову и посмотрела на кончики лакированных ботинок Паза.

— Вы, северяне, храбры только физически, а решения свои вы не доводите до конца,— сказала она, надув губки.

— Как, вы собираетесь коротать в одиночестве сегодняшний вечер, сударыня? — спросил Паз с самым невинным видом.

— А разве вы не составите мне компании?

— Простите, но я должен вас покинуть...

— Как? Вы куда-нибудь собираетесь?

— В цирк, сегодня открытие цирка на Елисейских полях, я не могу не быть...

— А почему? — спросила Клемантина, бросив на него почти сердитый взгляд.

— Вы требуете, чтобы я открыл вам тайну моего сердца, доверил то, что я скрываю даже от Адама, который думает, что я люблю только Польшу?

— Ах, вот как, у нашего благородного капитана есть тайна?

— Мне стыдно в ней признаться, но вы поймете и утешите меня.

— У вас есть тайна, в которой стыдно признаться?

— Да, я, граф Паз, безумно влюблен в девицу, которая разъезжает по всей Франции с семейством Бутор, содержателей цирка, вроде цирка Франкони, но их труппа подвизается только на ярмарках. При моем содействии их ангажировал директор Олимпийского цирка.

— Она хороша собой? — спросила графиня.

— Для меня хороша,— грустно ответил он.— Малага — под этим именем она выступает — сильная, ловкая, стройная девушка. Почему я предпочитаю ее *всем дамам общества*?.. По правде сказать, сам не пойму. Когда я вижу ее — эту ожившую греческую статую — в белой тунике с золотой каймой, в шелковом трико и потертых атласных балетных туфельках, когда я вижу ее схваченные голубой лентой черные волосы, рассыпавшиеся по обнаженным смуглым плечам, когда я вижу, как она с флажками в обеих руках под звуки военного оркестра на всем скаку прыгает через обруч, разрывая бумагу, а затем опять грациозно опускается на спину лошади, когда ей рукоплещут не клакеры, а весь зал,— да, при виде этого сердце мое трепещет.

— Больше, чем при виде красивой дамы на бале? — спросила Клемантина с вызывающим удивлением.

— Да,— ответил Паз сдавленным голосом.— Что мо-

жет быть прекраснее женщины, которая с восхитительной ловкостью и непередаваемой грацией непрестанно преодолевает опасность. Да, сударыня, Чинти и Малибран, Гризи и Тальони, Паста и Эслер, все бывшие и теперешние царицы сцены кажутся мне недостойными развязать ремень на сандалиях Малаги,— она на всем скаку прыгает с седла и снова вскакивает на него, она соскальзывает под брюхо лошади с левого бока и появляется с правого, она, словно белый блуждающий огонек, порхает вокруг самого горячего скакуна, она может стоять на цыпочках на одной ноге и при том же аллюре сразу опуститься на спину своего коня; мало того, она скачет на неоседланной лошади и при этом вяжет чулок, разбивает яйца и приготовляет яичницу, вызывая восхищение народа, подлинного народа, поселян и солдат! При параде всей труппы эта очаровательная Коломбина жонглировала раньше стулом, который держала на кончике своего прелестного греческого носика. Малага, сударыня, воплощенная ловкость. Она сильна, как Геркулес, и может ударом своего маленького кулачка или изящной ножки свалить трех-четырех мужчин. Словом, она богиня гимнастики.

— Должно быть, она глупа...

— О, она забавна, как героиня «Поверила Пика»! Беспечна, как цыганка, она болтает все, что взбредет ей в голову, будущее заботит ее не больше, чем вас те деньги, которые вы даете нищему, а иногда Малага неожиданно говорит золотые слова. Ее ничем не убедить, что старый дипломат — красивый юноша, даже за миллион не изменит она своего мнения. Мужчине ее любовь льстит. Она пышет здоровьем, ее зубы — это тридцать две жемчужины редкого блеска в оправе из коралла. Ее рот, который она сама называет рылом, свеж и вкусен, как у телки, если воспользоваться выражением Шекспира. Я тоскую по ее губам! Она ценит красивых, сильных мужчин, Адольфов, Огюстов, Александров, фигляров, шутов. Ее учитель, отвратительный старик, жестоко бил ее, и только после нещадных побоев она стала гибкой, грациозной, смелой!

— Вы опьянели от Малаги!— заметила графиня.

— Она значится Малагой только на афишах,— отпарировал Паз обиженным тоном. — Она живет на улице

Сен-Лазар, в скромной квартирке на четвертом этаже, как принцесса, в бархате и шелку. Она живет двойной жизнью: жизнью ярмарочной акробатки и жизнью красивой женщины.

— А она вас любит?

— Она меня любит... вам это покажется смешным... только за то, что я поляк! Она представляет себе поляков по гравюре, которая изображает Понятовского, бросающимся в Эльстер, ибо для всей Франции Эльстер — мощный поток, поглотивший Понятовского, тогда как на самом деле в нем не так-то легко утонуть... И при всем том я очень несчастен, сударыня...

Душевная мука, выразившаяся на лице Тадеуша, тронула Клемантину.

— Все вы, мужчины, любите то, что необычно!

— А вы разве не любите? — заметил Тадеуш.

— Я отлично знаю Адама и уверена, что он забыл бы меня ради какой-нибудь акробатки вроде вашей Малаги. А где вы ее увидели?

— В Сен-Клу, в сентябре прошлого года, в праздничный день. Она стояла под парусиновым навесом в углу подмостков, на которых происходит парад труппы. Ее товарищи, все в польских костюмах, играли кто во что горазд. Она стояла молча и показалась мне грустной. О чем могла грустить девушка в двадцать лет? Вот это меня и тронуло.

Графиня сидела в очаровательной задумчивой позе.

— Бедный, бедный Тадеуш! — воскликнула она и с простотой, отличающей истинно светскую даму, прибавила не без тонкой улыбки: — Ступайте, ступайте в цирк!

Тадеуш взял ее руку, поцеловал, уронив на нее горячую слезу, и вышел. Выдумав несуществующую страсть к цирковой наезднице, он должен был придать ей некоторое правдоподобие. Правдой в его рассказе было только то, что на ярмарке в Сен-Клу его внимание на минуту привлекла Малага, знаменитая наездница из семьи Бутор, имя которой бросилось ему в глаза сегодня утром на цирковой афише. Клоун, которому монета в сто су развязала язык, сообщил капитану, что наездница — подкидыш, а может быть, даже украдена в детстве. Тадеуш пошел в цирк и увидел Малагу. За десять

франков конюх, который в цирке приблизительно то же, что костюмерша в театре, рассказал ему, что Малагу зовут Маргаритой Тюрке, что она живет на улице Фоссе-дю-Тампль на шестом этаже.

На следующий день Тадеуш со смертельным отчаянием в сердце пошел в предместье Тампль и спросил мадемуазель Тюрке, летом дублировавшую самую знаменитую наездницу в цирке, а зимой работавшую фигуранткой в бульварном театре.

— Малага! — крикнула консьержка, бегом помчавшись в мансарду,— вас какой-то красивый господин спрашивает! Он сейчас разговаривает с Шапюзо, а тот его нарочно задерживает, чтобы дать мне время вас предупредить.

— Спасибо, мадам Шапюзо; но что он обо мне подумает, я как раз глажу платья!

— Тоже мне, да кто влюблен, тому все в его предмете нравится.

— Это англичанин? Они любят лошадей.

— Нет, мне сдается, что он испанец.

— Тем хуже! Говорят, что испанцы народ безденежный... Побудьте со мной, мадам Шапюзо, а то еще подумает, что до меня никому дела нет...

— Кого вам, господин, угодно? — обратилась консьержка к Тадеушу, открывая дверь.

— Мадемуазель Тюрке.

— Дочка,— позвала консьержка, напыжась,— тут вас господин требует.

Капитан задел головой за веревку, на которой сушилось белье, и уронил шляпу.

— Что вам угодно, сударь? — спросила Малага, подбирая его шляпу.

— Я видел вас, мадемуазель, в цирке, вы напомнили мне покойную дочь, и в память моей Элоизы, на которую вы поразительно похожи, я хочу сделать что-нибудь для вас, конечно, если вы не возражаете.

— Ну как можно! Да вы, ваше превосходительство, присели бы! — всполошилась мадам Шапюзо.— Где еще сыщется такой добрый кавалер!

— Я не кавалер, голубушка,— возразил Паз.— Я несчастный отец и хочу обмануть свое сердце таким неожиданным сходством.

— Значит, я буду вам вместо дочери? — весьма тонко заметила Малага, даже не подозревая, сколько правды в этом предположении.

— Да,— сказал Тадеуш.— Я буду изредка навещать вас и, чтобы иллюзия была полной, найму вам прекрасную квартиру с хорошей обстановкой.

— У меня будет обстановка? — спросила Малага, поглядев на консьержку.

— И прислуга и все, что нужно,— продолжал Паз.

Малага исподтишка поглядела на незнакомца.

— Кто вы по национальности, сударь?

— Я поляк.

— В таком случае я согласна,— сказала она.

Капитан ушел, пообещав вернуться.

— Ну и дела! — воскликнула Маргарита Тюрке, поглядев на мадам Шапюзо. — Знать бы, что у него на уме, чего ради он меня задобрить хочет? Ладно, рискну.

Через месяц после этого странного свидания хорошенькая наездница переехала в квартиру, прекрасно обставленную тем же декоратором, что работал на графа Адама,— ведь в намерения Паза входило, чтобы его безумная страсть обсуждалась в особняке Лагинских. Малаге, которой то, что произошло, казалось сказкой из «Тысячи и одной ночи», прислуживали супруги Шапюзо, исполнявшие одновременно роль наперсников. И чета Шапюзо и Маргарита Тюрке ждали, чем все это кончится; но прошло три месяца, и ни Малага, ни мадам Шапюзо не нашли разгадки странной причуде польского графа. Паз приходил раз в неделю и проводил часок в гостиной, так ни разу не заглянув ни в будуар, ни в спальню Маргариты, хотя его всячески туда заманивали и наездница и супруги Шапюзо. Граф расспрашивал о всякой ерунде, заполнявшей жизнь акробатки, и, уходя, каждый раз оставлял на камине две сорокафранковые монеты.

— У него очень скучающий вид,— вздыхала мадам Шапюзо.

— Да, этот человек холоден, как лед,— соглашалась Малага.

— Что там ни говори, а он очень добрый,— замечал Шапюзо, радуясь на свою ливрею синего эльбефовско-

го сукна, в которой он походил на служителя при канцелярии министра.

Периодические подарки Паза составляли ежемесячный доход в триста двадцать франков. Эта прибавка к скудному заработку Маргариты Тюрке в цирке давала ей возможность вести жизнь роскошную по сравнению с ее прежним нищенским существованием. Между артистами цирка ходили странные рассказы о счастье, выпавшем на долю Малаги. Те шесть тысяч, которые бережливый капитан платил за ее квартиру, превратились в ее хвастливых рассказах в шестьдесят тысяч. Если послушать клоунов и фигурантов, Малага ела на серебре. К тому же в цирк она являлась в прелестных салопах, в турецких шалях, в очаровательных шарфах. Словом, поляк был идеалом мужчины: не придира, не ревнивец, ничем не стесняет ее свободы.

— Везет же некоторым женщинам! — сетовала соперница Малаги. — Даром, что треть сбора по крайней мере делаю я, а вот не привалит же мне такое счастье!

Малага носила хорошенькие шляпки, иногда фигуряла (прекрасное выражение из словаря девиц) на прогулках в Булонском лесу, где на нее начала обращать внимание золотая молодежь. Наконец о ней заговорили в мире женщин с сомнительной репутацией, где стали распускать всякие сплетни насчет ее неожиданного счастья. Рассказывали, что она сомнамбула, а поляк — магнетизер, ищущий философский камень. Кое-какие гораздо более злостные предположения задели Малагу за живое и разожгли в ней любопытство не менее сильное, чем у Психеи; со слезами на глазах пересказала она все эти сплетни Пазу.

— Когда я зла на женщину, я не клевещу на нее, не рассказываю, что ее магнетизирую, чтобы найти в ней камни; я говорю, что она кособокая, и доказываю это. Зачем вы так осрамили меня? — сказала она в заключение.

Паз хранил жестокое молчание. Мадам Шапюзо в конце концов разузнала фамилию и титул Тадеуша; затем она получила в особняке Лагинских и более точные сведения: Паз — холостяк, никто не слышал, чтобы у него умерла дочь ни в Польше, ни во Франции. Теперь на Малагу напал страх.

— Деточка,— сказала тетка Шапюзо,— этот изверг...

Человек, который довольствуется тем, что с притворной улыбкой — исподтишка, не говоря ни слова, спокойно смотрит на такую красавицу, как Малага, в глазах супругов Шапюзо был, конечно, извергом.

— ...этот изверг приучает вас к себе, чтобы склонить либо к беззаконию, либо к преступлению. Еще попадете, боже упаси, на скамью подсудимых или засадят вас — выговорить и то страшно — в исправительную тюрьму да в газетах еще пропечатают... Знаете, что бы я на вашем месте сделала? Я бы на вашем месте для верности предупредила полицию.

Малаге лезли в голову самые невероятные мысли, и вот однажды, когда Паз, как обычно, положил на камин несколько золотых монет, она взяла деньги и швырнула их на пол со словами:

— Мне ворованных денег не надобно!

Капитан отдал деньги супругам Шапюзо, ушел и больше не вернулся. Клемантина проводила как раз лето в бургундском поместье дяди, маркиза де Ронкероля. Отсутствие Тадеуша, которого актеры привыкли видеть в цирке, вызвало много толков среди труппы. Благородное поведение Малаги одни считали глупостью, другие хитростью. Даже самым дошлым женщинам поведение поляка представлялось необъяснимым. За неделю он получил тридцать семь писем от женщин легкого поведения. К счастью для Тадеуша, его непонятное воздержание не возбудило любопытства бомонда и обсуждалось на все лады только в полусвете.

Два месяца спустя красотка-наездница, залезшая по уши в долги, отправила графу Пазу следующее письмо, которое денди в свое время возвели в шедевр эпистолярного стиля.

«Пожалейте меня, мой друг, если только я смею вас так называть после того, что произошло и что вы так превратно поняли! Я отказываюсь от моих слов, показавшихся вам тогда оскорбительными. Приходите попрежнему, если уж мне выпало счастье доставлять вам удовольствие своим обществом. Вернитесь, не то я впаду в отчаяние. Я уже нуждаюсь, вы и представить себе не можете, сколько всяких неприятностей влечет за

собой нищета. Вчера я за весь день только и съела, что селедку в два су да хлебец в одно су. Неужели такой завтрак пристал для вашей возлюбленной? Супруги Шапюзо, казавшиеся столь преданными, покинули меня! Ваше отсутствие помогло мне узнать цену людской привязанности... Собака не покидает хозяина, кормившего ее, а Шапюзо ушли от меня. Судебный исполнитель не внял моим мольбам и описал все за долги домовладельцу, у которого нет сердца, и ювелиру, который не согласился подождать и десять дней; потеряв ваше доверие, я потеряла и кредит. Какое ужасное положение для женщины, которой не в чем себя упрекнуть, разве только в том, что она любит веселье! Друг мой, я снесла в ссудную казну все мало-мальски ценное. У меня не осталось ничего, кроме памяти о вас, а уже наступает холодная пора. Зимой у меня не бывает «разовых», потому что в театрах на бульваре ставят только пантомимы, где я почти не занята, разве только на выходах, а какое же это положение для женщины? Как могли вы не понять благородства моих побуждений? Ведь только одним способом можем мы выразить свою благодарность. Казалось, вас так радует мое благоденствие, как же можете вы покинуть меня в нужде? Вы мой единственный друг на земле, простите меня за то, что раньше чем опять зарабатывать себе на хлеб, странствуя по ярмаркам с цирком Бутор, я захотела узнать, навсегда ли я вас потеряла. Если случится, что я подумаю о вас в ту минуту, когда прыгаю в обруч, я могу сломать ногу, потому что собьюсь с ритма! При всем том остаюсь

преданная вам до гроба *Маргарита Тюрке*».

— За такое письмо стоило заплатить десять тысяч франков! — смеясь, воскликнул Тадеуш.

На следующий день вернулась Клемантина, и капитану она показалась еще красивее, еще привлекательнее, чем прежде. За обедом графиня проявила полное равнодушие к Тадеушу, который под тем предлогом, что ему нужен совет Адама, словно нечаянно оставил у него письмо Малаги, и после его ухода в гостиной между супругами произошла следующая сцена.

— Бедняга Тадеуш! — сказал Адам жене, убедившись, что Паз ушел.— Какое несчастье для такого бла-

городного человека стать игрушкой в руках какой-то комедиантки! Он все потеряет, опустится, через некоторое время его нельзя будет узнать. Вот, дружочек, прочтите,— сказал граф, протягивая жене письмо Малаги.

Клемантина прочитала пропахшее табаком письмо и отбросила его с отвращением.

— Как бы он ни был ослеплен, все же он, верно, что-то заметил. Должно быть, Малага наставила ему рога,— сказал Адам.

— И он вернется к ней! Он простит! — воскликнула Клемантина.— Вы, мужчины, снисходительны только к этим ужасным женщинам!

— Им так нужна наша снисходительность,— сказал Адам.

— Тадеуш правильно делал... оставаясь в своем углу,— заметила она.

— О мой ангел, вы слишком строги,— сказал граф, который с превеликим удовольствием унизил друга в глазах жены, однако смерти грешника он не желал.

Тадеуш, хорошо знавший Адама, просил его никому не выдавать его тайны: по его словам, он только потому открылся другу, что хотел оправдать свою расточительность и попросить Адама дать ему тысячу экю для Малаги.

— Он человек гордый,— сказал Адам.

— В чем же его гордость?

— Истратить на нее только десять тысяч франков и позволить докучать себе таким письмом, а потом отнести ей деньги на уплату долгов, ей-богу, для поляка это...

— Но он, чего доброго, разорит тебя,— сказала Клемантина кислым тоном, который у парижанок свидетельствует об их кошачьей подозрительности.

— О, я его знаю, ради нас он пожертвует Малагой,— ответил Адам.

— Увидим,— сказала графиня.

— Если бы это было необходимо для его блага, я бы, не задумываясь, потребовал, чтобы он с ней расстался. Константен говорил, что, пока длилась их связь, Паз, до того никогда не пивший, возвращался порой домой весьма навеселе.... Если он начнет пить, я буду страдать за Тадеуша, как за родного сына.

— Я не хочу больше слышать о нем,— воскликнула графиня, на лице которой снова выразилось отвращение.

Два дня спустя капитан по обращению графини, по звуку ее голоса, по глазам заметил, что несдержанность Адама возымела свое печальное действие. Презрение вырыло пропасть между ним и этой очаровательной женщиной. И с этой минуты он загрустил, его преследовала следующая мысль: «Ты сам сделал себя недостойным ее!» Жизнь стала ему тягостна, яркий солнечный день померк. И все же, несмотря на охватившую его меланхолию, у него бывали минуты радости: он мог, не рискуя быть замеченным, восхищенным взором следить за графиней, которая не обращала теперь на него никакого внимания, на вечерах он молча любовался ею из укромного уголка, не спускал с нее глаз, ловил всякий ее жест, всякий звук ее голоса, когда она пела. Словом, он жил прекрасной жизнью, сам чистил лошадь, на которой катается она, всей душой был предан дому Лагинских, сберегая их деньги и свято блюдя их интересы. Эти тихие радости были погребены в тайниках его сердца, подобно радостям матери, сердца которой не знает ее дитя; ибо, не проникнув в тайники сердца, его не узнаешь! Разве любовь Тадеуша не была прекраснее целомудренной любви Петрарки к Лауре, ведь Петрарка был все же вознагражден за свою любовь славой и торжеством вдохновленной этой любовью поэзии? Разве в чувстве, которое испытал, умирая, д'Ассас, не заключена целая жизнь? Паз каждый день испытывал это чувство, не умирая, зато и не претендуя на бессмертие. Но, должно быть, в любви есть какие-то особые свойства, потому что, невзирая на все эти тайные наслаждения, Тадеуш страдал. Католическая религия так возвысила любовь, что, можно сказать, неразрывно спаяла с ней уважение и благородство. Любовь возможна только при тех возвышенных качествах, которыми гордится человек, очень редко внушает любовь тот, кого презирают, и Тадеуш умирал от ран, которые нанес себе добровольно. Услышать от Клемантины, что она могла бы его полюбить, и умереть... Несчастный влюбленный счел бы, что жил не напрасно. Он предпочел бы мучиться прежними муками, чем жить рядом с ней, отдавать все

свои силы на служение ей и не быть понятым, оцененным по заслугам. Словом, он ждал награды за свою добродетель. Он побледнел, исхудал, заболел, снедаемый лихорадкой, и в январе слег в постель и пролежал целый месяц, не обращаясь за советом к врачу. Граф Адам был очень обеспокоен состоянием бедного Тадеуша. Графиня же имела жестокость сказать в тесном кругу: «Оставьте его в покое, разве вы не видите, что он терзается олимпийскими воспоминаниями?» Эти слова придали Тадеушу мужество отчаяния, он встал с постели, начал выходить, попробовал развлечься и снова обрел силы. В начале февраля Адам проиграл довольно крупную сумму в Жокей-клубе и, боясь рассердить жену, попросил Тадеуша сказать, что тот израсходовал эти деньги на Малагу.

— Ничего нет удивительного, что эта актриска стоила тебе двадцать тысяч франков! Это касается только меня, а вот если графиня узнает, что я их проиграл, она потеряет ко мне уважение, будет бояться за будущее.

— Еще и это! — воскликнул Тадеуш, глубоко вздохнув.

— Ах, Тадеуш, этой услугой ты отплатишь мне за все, хотя я и так уже твой должник.

— Адам, у тебя будут дети, брось играть,— сказал капитан.

— Малага обошлась нам еще в двадцать тысяч франков! — воскликнула несколько дней спустя графиня, узнав о щедрости Адама по отношению к Тадеушу.— Да те десять тысяч, что раньше, всего тридцать тысяч! Полторы тысячи франков ренты,— ведь это же стоимость моей ложи в Итальянской опере, для многих это целое состояние. О, вы, поляки, непостижимы Ты даже не сердишься? — спросила она, срывая цветы в своем прекрасном зимнем саду.

— Бедняга Паз...

— Бедняга Паз, бедняга Паз,— прервала она.— На что он нам нужен? Я сама буду вести хозяйство. Выплачивай ему сто луи, от которых он отказался, и пусть как хочет, так и устраивается со своим Олимпийским цирком.

— Он нам очень полезен, я уверен, что за год он сэкономил нам больше сорока тысяч франков. Он, мой

ангел, внес на наше имя сто тысяч франков в банкирскую контору Ротшильда, а другой управляющий украл бы их...

Клемантина смягчилась, но с Тадеушем она была все так же холодна. Несколько дней спустя она пригласила Паза к себе в будуар, в тот самый, где год тому назад невольно сравнила его с Адамом; на этот раз она осталась с ним наедине, не видя в этом ни малейшей опасности.

— Дорогой капитан,— сказала она с той ни к чему не обязывающей фамильярностью, с которой обращаются к подчиненным,— ежели ваша любовь к Адаму такова, как вы говорите, вы сделаете то, о чем он вас никогда не попросит, но чего я, его жена, требую...

— Вы имеете в виду Малагу? — спросил Тадеуш с глубокой иронией.

— Да,— подтвердила она.— Если вы хотите до конца ваших дней прожить с нами, если вы хотите, чтобы мы остались друзьями, расстаньтесь с ней. Как можете вы, старый солдат...

— Мне всего тридцать пять лет, и у меня нет ни одного седого волоса.

— Но вид у вас такой, словно они есть, а это то же самое,— возразила она. — Как может столь расчетливый, столь благовоспитанный человек...

Ужаснее всего было то, что эти слова были сказаны с явным намерением пробудить в его душе благородные чувства, которые она считала угасшими.

— Столь благовоспитанный человек и вдруг попасться, как мальчишка! — продолжала она после чуть заметной паузы, вызванной невольным жестом Тадеуша. — Вы создали Малаге известность... Ну так вот, мой дядя захотел ее повидать и повидал. Мой дядя не единственный, Малага очень любезно принимает всех этих господ... Я верила в благородство вашей души... Как вам не стыдно! Неужели эту потерю нельзя будет заменить?

— Сударыня, я не побоялся бы никакой жертвы, только бы вновь приобрести ваше уважение; но расстаться с Малагой — это не жертва...

— Будь я мужчиной, я на вашем месте так бы и

сказала. Ну, а если я сочту это большой жертвой, вам придется смириться.

Паз ушел, боясь, что наделает глупостей, он чувствовал себя во власти безумных мыслей. Он вышел на улицу легко одетый, несмотря на дурную погоду, но даже воздух не мог охладить его пылающих щек и чела: «Я верила в благородство вашей души!» Эти слова звучали в его ушах. «А всего год тому назад в глазах Клемантины я один выиграл бой с русскими»,— мысленно повторял он. Он хотел уехать от Лагинских, поступить в спаги, найти смерть в Африке; но его остановило ужасное опасение: «Что станется с ними без меня? Они разорятся. Бедная графиня! Быть вынужденной существовать на тридцать тысяч ренты, не для такой жизни она создана! Что делать,— решил он,— раз она потеряна для меня, надо взять себя в руки и завершить свое дело».

Всем известно, что с 1830 года в Париже вошел в большую моду карнавал; он стал европейским; оживление и шутовство, царящие на нем, носят совсем иной характер, чем на блаженной памяти венецианском карнавале. Может быть, парижане, ввиду того, что состояния чрезвычайно уменьшились, придумали эти общественные увеселения, ведь создали же они себе из клубов дешевые гостиные без хозяйки дома и без светской учтивости. Так или иначе, в ту пору март месяц был богат балами, на которых танцы, смешные выходки, грубое веселье, безумие, причудливые маски и шутки, сдобренные парижским остроумием, приняли чудовищные размеры. Это увлечение нашло свой Пандемоний на улице Сент-Оноре, а своего Наполеона в Мюзаре, человечке, специально созданном для того, чтобы управлять оркестром, столь же могучим, как беспорядочная толпа, и для того, чтобы дирижировать галопом, этим бесовским хороводом, прославившимся после общего галопа в опере «Густав», где он обрел и свою форму и поэзию. Не может ли этот мощный финал служить символом эпохи, где вот уже полвека все сменяется с той же быстротой, как в сновидении? И вот — серьезный капитан Паз, хранивший в сердце своем божественный и чистый образ, пригласил Малагу, царицу карнавальных балов, в залу Мюзар, ибо узнал, что графиня и две другие

молодые дамы, любопытствуя взглянуть на занятное зрелище таких феноменальных маскарадов, приедут туда, тщательно замаскированные и в сопровождении мужей. Итак, в четверг на масленице 1838 года в четыре часа утра графиня в черном домино сидела на скамье амфитеатра в этом вавилонском зале, где теперь Валентино дает концерты; и тут она увидела, как мимо нее промчались в галопе Тадеуш, одетый Робер-Макером, в паре с подскакивающей выше других, мелькающей, словно блуждающий огонек, наездницей в костюме дикарки, с перьями на голове, как лошадь во время коронации.

— Ах, вы, поляки, люди бесхарактерные,— сказала Клемантина мужу.— Казалось, Тадеушу можно верить. Он дал мне слово, не зная, что я приеду сюда и увижу все, не будучи узнанной.

Несколько дней спустя Паз обедал у нее. После обеда Адам оставил их одних, и Клемантина стала строго выговаривать Тадеушу, чтобы дать ему понять всю нежелательность его пребывания в их доме.

— Да, сударыня, вы правы, я ничтожный человек,— скромно согласился Тадеуш,— я не сдержал слова. Но что поделаешь? Я решил расстаться с Малагой по окончании карнавала... Впрочем, я буду откровенен: эта женщина имеет надо мной такую власть, что...

— Женщина, которую полиция выставляет из зала Мюзар... и за какие танцы!

— Согласен, я достоин осуждения, я покину ваш дом; но вы знаете Адама, если я передам вам бразды правления, вам придется проявить большую энергию. Пусть я опорочил себя страстью к Малаге, но я предан вашим интересам, я слежу за прислугой и вхожу во все мелочи. Разрешите же мне покинуть вас только после того, как я увижу, что вы можете заменить меня и вести дом. Вы уже три года замужем, и вам нечего бояться тех глупостей, которые делают во время медового месяца. Теперь даже самые знатные парижанки отлично умеют управлять имуществом и вести дела .. Ну так вот, как только я буду уверен не столько в вашем умении, сколько в вашей твердости, я покину Париж.

— Вот теперь я слышу варшавского Тадеуша, а не

Тадеуша циркового,— сказала она.— Возвратитесь к нам излечившимся.

— Излечившимся?.. Нет,— сказал капитан, опустив глаза и смотря на очаровательные Клемантинины ножки.— Вы не знаете, графиня, какой у этой женщины пикантный и оригинальный ум.— И чувствуя, что мужество покидает его, он прибавил:— Светским жеманницам далеко до Малаги, очаровывающей своей непосредственностью молодого животного...

— Видите ли, я не хотела бы, чтобы во мне было что-то от животного,— сказала графиня, метнув на него взгляд разъяренной гадюки.

Начиная с этого дня граф Паз ввел Клемантину во все дела, сделался ее учителем, посвятил в трудности управления имуществом, разъяснил истинную цену вещей и дал совет, какие меры принять, дабы прислуга не очень ее обворовывала. Графиня может положиться на Константена и сделать его мажордомом: Константен был выучеником Тадеуша. В мае месяце Паз счел, что теперь графиня вполне подготовлена и может сама управлять своим имуществом, ибо Клемантина была женщиной способной, с правильным взглядом на вещи, прирожденной хозяйкой дома.

Но в этом новом положении, которое Тадеуш подготовил столь естественным путем, произошла роковая для него перемена, и его страданиям не суждено было стать столь сладостными, как он предполагал. Несчастный влюбленный не принял в расчет случай, по воле которого опасно занемог Адам, и Тадеуш не уехал, а остался сиделкой при своем друге. Преданность капитана не знала границ. Женщина, которая захотела бы проявить проницательность, увидела бы в героизме капитана своего рода епитимью, налагаемую на себя людьми благородной души, чтобы подавить дурные мысли, в которых они не вольны; но женщины видят все или не видят ничего, смотря по настроению: для них единственный источник познания — любовь.

Полтора месяца Паз не спал ночей, ухаживая за Адамом, и не вспоминал о Малаге по той простой причине, что он и вообще-то не вспоминал о ней. Видя, что Адам при смерти, Клемантина созвала на консилиум лучших врачей.

— Он может выкарабкаться, только если справится сам организм,— сказал один из наиболее знающих врачей.— Его поправка зависит от тех, кто ходит за ним, надо не упустить минуты и помочь природе. Жизнь графа в руках его сиделок.

Тадеуш сообщил приговор врачей Клемантине, которая сидела в китайской беседке как для того, чтобы отдохнуть, так и для того, чтобы не стеснять врачей и освободить им поле действия. Идя по усыпанной песком дорожке, ведшей от будуара к пригорку, на котором стояла китайская беседка, влюбленный капитан чувствовал себя на дне одной из тех бездн, которые описаны Данте Алигьери. Несчастный не предвидел, что может стать мужем Клемантины, и добровольно вывалялся в грязи. Он предстал перед графиней, подавленный горем, с отчаянием во взоре.

— Он умер?..— вымолвила Клемантина.

— Они приговорили его к смерти; во всяком случае, по их словам, остается положиться на организм. Не ходите, они еще там. Бьяншон хочет сам перебинтовать его.

— Бедный Адам! Я боюсь, не огорчала ли я его,— сказала она.

— На этот счет можете не волноваться, вы дали ему большое счастье и были к нему снисходительны,— успокоил ее Тадеуш.

— Это непоправимая утрата.

— Но, дорогая, предположим, что граф умрет, ведь вы не заблуждались на его счет?

— Я не была ослеплена любовью, но я любила его, как жене надлежит любить мужа.

— Значит, вы должны не так сожалеть о нем, как если бы потеряли такого мужа, которым вы, женщины, гордитесь, которого боготворите, в котором вся ваша жизнь! Вы можете быть откровенны с таким другом, как я... Я буду его оплакивать!.. Задолго до вашего брака я уже любил Адама, как собственное дитя, я посвятил ему свою жизнь. Мир потеряет для меня всякий интерес. Но для двадцатичетырехлетней вдовы жизнь еще полна очарования.

— Ах, вы отлично знаете, что я никого не люблю,— возразила она с резкостью, объясняемой горем.

— Вы не понимаете еще, что значит любить,— сказал Тадеуш.

— Ну, если говорить о замужестве, я достаточно рассудительна и предпочитаю такого ветреника, как мой бедный Адам, человеку более высокого ума. Вот скоро уже месяц, как мы задаем себе вопрос: выживет ли он? Эти мысли подготовили меня, так же как и вас, к возможной утрате. С вами я могу быть откровенна. Ну, так я охотно отдала бы несколько лет жизни, только бы сохранить жизнь Адаму. В Париже независимой женщине так легко обмануться и поверить в любовь разорившегося или расточительного мужчины. Я молила господа бога сохранить мне моего мужа, такого ласкового, такого добродушного, ненадоедливого и начинавшего меня побаиваться.

— Вы искренни, и за это я люблю вас еще больше,— сказал Тадеуш, целуя руку Клемантине, которая не отняла своей.— В такую минуту особенно отрадно, если женщина не лицемерит. С вами можно рассуждать. Давайте взглянем в лицо будущему. Предположим, что бог не внемлет нашим молитвам, я ведь тоже от всей души взываю к нему: «Сохрани мне моего друга!» Да, бессонные ночи не ослабили моих глаз, и если понадобится еще месяц ходить за Адамом днем и ночью, вы, сударыня, будете спать, а я дежурить у его постели. Я вырву его у смерти, если, как они говорят, его может спасти уход. Но предположим, что вопреки нашим с вами заботам граф умрет. Если бы вас любил, мало того, обожал человек благородной души, достойный вас...

— Возможно, что я и мечтала быть любимой, но я не встретила...

— Если вас обманули...

Решив, что им руководит не любовь, а корысть, Клемантина пристально посмотрела на Тадеуша, смерила его презрительным взглядом с головы до пят и уничтожила двумя словами: «Бедная Малага!» — произнесенными с той интонацией, которую умеют найти светские дамы, желая выразить свое пренебрежение. Она встала и, гордо подняв голову, пошла к себе в будуар, а оттуда в спальню к Адаму, даже не оглянувшись на поверженного в прах Тадеуша.

Час спустя Паз вернулся к больному и продолжал

ухаживать за ним, хотя ему и был нанесен смертельный удар. После этой роковой минуты он стал молчалив; он вступил в упорное, вызывающее восхищение врачей единоборство с болезнью. В любой час дня и ночи глаза его горели, как две лампы. Он не проявлял ни малейшей обиды на Клемантину и выслушивал от нее слова благодарности, никак не отзываясь на них; казалось, он оглох. В душе он решил: «Она будет обязана мне жизнью Адама!» — и эти слова начертал огненными письменами в спальне больного. После двухнедельных неусыпных забот о муже Клемантина вынуждена была отдохнуть, она падала от усталости. Паз был неутомим. Наконец в конце августа Бьяншон, домашний врач Лагинских, обещал Клемантине, что ее муж выживет.

— Я, сударыня, тут ни при чем. Не будь у него такого друга, нам бы его не спасти,— сказал он.

На следующий день после ужасной сцены, разыгравшейся в китайской беседке, маркиз де Ронкероль пришел навестить племянника, так как уезжал с секретным поручением в Россию, и Паз, потрясенный тем, что произошло накануне, шепнул несколько слов дипломату. И вот, в тот день, когда граф Адам в первый раз после выздоровления поехал прокатиться с супругой и коляска как раз отъезжала от крыльца, во двор вошел жандарм и спросил графа Паза. Тадеуш, сидевший на передней скамейке, обернулся, взял письмо с печатью министерства иностранных дел и положил его в карман своего сюртука так поспешно, что Клемантина и Адам воздержались от вопросов. Людям светским нельзя отказать в понимании бессловесного языка. Однако, когда они были у заставы Майо, Адам, воспользовавшись привилегией выздоравливающего, все прихоти которого удовлетворяются, сказал Тадеушу:

— Когда два брата любят друг друга так, как мы с тобой, не может быть и речи о назойливости; ты знаешь содержание депеши, скажи мне, я сгораю от любопытства.

Клемантина бросила на Тадеуша сердитый взгляд и сказала мужу:

— Вот уже два месяца, как он на меня дуется, я ни за что не стала бы настаивать.

— Господи боже мой, я открою вам эту тайну, все

равно вы узнаете ее из газет,— ответил Тадеуш.— Император Николай соизволил назначить меня капитаном в полк, который отправляется в поход на Хиву.

— И ты поедешь? — воскликнул Адам.

— Поеду, голубчик. Эмигрировал капитаном, капитаном и вернусь... Из-за Малаги я мог бы наделать глупостей. Завтра мы в последний раз обедаем вместе. Если я не уеду в Санкт-Петербург в сентябре, туда уже нельзя будет ехать морем, а я не богат, я должен обеспечить Малагу. Нельзя же не позаботиться о будущем единственной женщины, которая сумела меня понять! Малага считает меня храбрецом, Малага считает меня красавцем! Малага, возможно, изменяет мне, но за меня она бросится...

— В обруч и преспокойно снова опустится на спину лошади,— перебила его Клемантина.

— О, вы не знаете Малаги,— с горечью сказал капитан, кинув на Клемантину полный иронии взгляд, который обеспокоил ее и заставил призадуматься.

— Я скажу «прости» деревцам этого прекрасного леса, где любят гулять парижанки, где любят гулять изгнанники, нашедшие здесь себе родину. Я уверен, что глаза мои больше не увидят зеленую листву деревьев, которыми обсажены аллея Принцессы и аллея Придворных дам, не увидят акаций и кедра на полянках... Как знать, может быть, когда я буду в Азии, послушный велениям могущественного императора, под знамена которого я встал, когда, явив чудеса храбрости, рискуя собственной жизнью, я, возможно, дослужусь до командования войском, как знать, может быть, тогда я с сожалением вспомню о Елисейских полях, куда однажды был приглашен вами покататься. Так или иначе, я всегда с сожалением буду вспоминать суровость Малаги, той Малаги, о которой я сейчас говорю.

Это было сказано таким тоном, что Клемантина невольно вздрогнула.

— Так вы очень любите Малагу? — спросила она.

— Я пожертвовал ради нее той честью, которой мы никогда не жертвуем...

— Какой честью?

— Честью, которую мы любой ценой хотим сохранить в глазах нашего кумира.

После этих слов Тадеуш замкнулся в неприступное молчание и нарушил его, только когда они проезжали Елисейскими полями. Показав на дощатый балаган, он сказал: «Вот цирк!»

Незадолго до обеда он пошел в русское посольство, оттуда в министерство иностранных дел, а утром, до того как встали графиня и Адам, уехал в Гавр.

— Я потерял друга,— узнав об отъезде графа Паза, сказал Адам, на глазах которого выступили слезы,— друга в подлинном смысле слова, и я не знаю, что заставляет его бежать от нас, как от чумы. Мы слишком большие друзья, чтобы рассориться из-за женщины,— сказал он, пристально глядя на жену,— а между тем все, что он говорил вчера о Малаге... Но ведь он ни разу даже не прикоснулся к этой девице...

— А вы откуда знаете? — поинтересовалась Клемантина.

— Видите ли, мне, конечно, было любопытно повидать мадемуазель Тюрке; она, бедняжка, так и не может объяснить себе абсолютную холодность Тад...

— Довольно, сударь,— прервала его графиня. «Уж не стала ли я жертвой возвышенной лжи?» — подумала она, уходя на свою половину.

Не успела она додумать этой мысли, как Константен подал ей следующее письмо, которое Тадеуш написал ночью.

«Графиня, искать смерти на Кавказе, унося в сердце ваше презрение, выше моих сил: надо исчезнуть полностью. Я полюбил вас с первого же взгляда так, как любят женщину, которая навсегда останется нам дорогой, даже если она нам неверна; я обязан Адаму, избранницей которого вы стали и за которого вышли замуж; я беден, я добровольный и преданный управитель вашего дома. Но моя несчастная доля представлялась мне сладчайшим благом. Чувствовать себя необходимым, полезным, обеспечивать вам роскошь и благосостояние — какой неиссякаемый источник наслаждения! Радость переполняла мне сердце, когда дело касалось Адама, судите, что я испытывал, когда причиной и целью этой радости была обожаемая женщина! В любви я познал радости материнства. Я примирился с такой жизнью. Подобно

бездомному нищему, я построил себе убогую хижину на задворках вашего роскошного владения, не протянув к вам руки за подаянием. Дающим был я — бедный и неимущий, ослепленный счастьем Адама. Да, я окружил вас любовью, столь же чистой, как любовь ангела-хранителя, я бодрствовал, когда вы спали, я следил за вами ласковым взглядом, когда вы проходили мимо, я был счастлив,— короче говоря, вы были солнцем родины для бедного изгнанника, пишущего сейчас эти строки и льющего слезы, вспоминая счастье первых дней. В восемнадцать лет, не будучи никем любим, я избрал себе идеальную любовницу — очаровательную варшавянку; ей принадлежали все мои помыслы, все желания, она была царицей моих дней и ночей! Она этого не знала; но к чему было говорить ей об этом?.. Я любил свою любовь. По этой любви моей молодости вы можете судить, как я был счастлив тем, что живу в вашей сфере, что чищу вашу лошадь, подбираю новенькие золотые для вашего кошелька, радею о роскоши вашего стола и ваших приемов, вижу, как благодаря моим стараниям и умению вы затмеваете людей, куда более богатых, чем вы. С какой радостью устремлялся я в город, когда Адам говорил мне: «Тадеуш, она хочет приобрести то-то или то-то!» Выразить мое блаженство словами невозможно. Вам хотелось поскорее стать обладательницей той или иной безделушки, и я совершал подвиги, я, не жалея сил, рыскал по Парижу, но ведь это делалось для вас, какое наслаждение! Я позабывал, что меня никто не любит, когда тайком глядел на вас, видел вас среди цветов, довольную и улыбающуюся... Короче говоря — в эти минуты мне снова было восемнадцать лет. Бывали дни, когда я сходил с ума от счастья, и тогда ночью я целовал то место, где ваши ножки оставили сиявшие для меня следы, как в свое время, проявляя чудеса ловкости, скрываясь, как вор, покрывал поцелуями тот ключ, которого графиня Ладислава коснулась рукой, отворяя дверь. Воздух, которым вы дышали, был для меня бальзамом; вдыхая его, я вдыхал жизнь; подобно воздуху тропиков, он был насыщен животворными испарениями. Я должен был рассказать вам все это, чтобы объяснить странное самомнение, по временам невольно овладевавшее моими мыслями. Я предпочел бы умереть,

чем признаться вам в моей тайне! Вы, должно быть, помните те несколько дней, когда любопытство подстрекнуло вас познакомиться с творцом тех чудес, на которые вы наконец обратили внимание. Я подумал, простите меня, я подумал, что вы можете меня полюбить. Ваше благосклонное отношение, ваши взгляды, истолкованные влюбленным, показались мне настолько опасными, что я придумал Малагу, зная, что есть такие связи, которых женщины не прощают: я придумал ее в ту минуту, когда увидел, что моя любовь роковым образом передается вам. Теперь убейте меня вашим презрением, на которое вы не поскупились тогда, когда я его не заслужил; но я уверен, если бы я сказал вам в тот вечер, когда ваша тетушка увезла Адама, то, что написал сейчас, я походил бы на прирученного тигра, который вонзает зубы в живую плоть, я почувствовал бы теплую кровь и...

Полночь

Я не мог продолжать; воспоминание о той минуте все еще слишком живо! Да, я обезумел тогда. Ваши глаза сулили мне надежду, мои глаза загорелись бы победой, и ее пламенные стяги заворожили бы вас. Такие мысли, пускай напрасные, были преступлением. Только вы можете судить, был ли я прав в те тягостные минуты, подавив холодной рукой вечной признательности любовь, желание, самые непобедимые силы. Я наказан вашим презрением. Вы дали мне понять, что ни отвращение, ни презрение не позабываются. Я люблю вас до безумия. Я уехал бы, если бы Адам умер; тем больше оснований мне уехать теперь, когда Адам спасен. Нельзя обманывать друга, которого вырвал из объятий смерти. Кроме того, отъезд — это наказание мне за то, что я помыслил о смерти Адама, когда, по словам врачей, его жизнь зависела от тех, кто ухаживал за ним. Прощайте, сударыня; покидая Париж, я теряю все, а вы ничего не теряете от того, что около вас не будет

преданного вам *Тадеуша Паза*».

«Если мой бедный Адам потерял друга, кого же потеряла я?» — подумала потрясенная Клемантина, не отрывая глаз от цветка на ковре.

А вот письмо, которое Константен передал тайно графу.

«Дорогой Мечеслав, Малага сказала мне все. Если тебе дорого твое счастье, не проговорись ни словом о твоих визитах к ней, и пусть Клемантина по-прежнему думает, что Малага стоила мне сто тысяч франков. Графиня при ее характере не простит тебе ни карточных проигрышей, ни визитов к Малаге. Я отправляюсь не в Хиву, а на Кавказ. Меня одолевает сплин, и если все пойдет так, как я полагаю, через три года я буду князем Пазом или погибну. Прощай. Хотя я взял из банкирского дома Ротшильда шестьдесят тысяч франков, мы квиты.

Тадеуш».

«Ну и простофиля же я, чуть не попал впросак»,— подумал Адам.

Прошло три года с тех пор, как уехал Тадеуш, газеты еще не говорят о князе Пазе. Графиня Лагинская страшно интересуется военными походами императора Николая, в душе она русская, она с жадностью прочитывает все сообщения из этой страны. Раза два в зиму она с равнодушным видом спрашивает посла: «Есть ли у вас сведения о нашем бедном графе Пазе?»

Увы, большинство парижанок, которых считают такими умными и проницательными, проходят и, верно, будут всегда проходить мимо Пазов, не замечая их. Да, много таких не оцененных по заслугам Пазов! Но — страшно подумать — их недооценивают даже, когда их любят. Самая простая женщина требует от самого благородного мужчины некоторого шарлатанства, и самая сильная любовь в неприкрашенном виде неинтересна: ее надо уметь подать, она требует шлифовки и отделки.

В январе 1842 года графиня Лагинская, которая казалась особенно очаровательной от налета тихой грусти, внушила пламенную страсть графу де ла Пальферину, одному из самых предприимчивых львов современного Парижа. Ла Пальферин понял, как трудна победа над женщиной, охраняемой мечтой; чтобы увлечь очаровательную Клемантину, он рассчитывал на неожиданность и на преданность одной особы, которая завидовала гра-

фине и готова была помочь создать такои неожиданный случай.

Графиня Лагинская при всем своем уме была не способна заподозрить измену и имела неосторожность поехать с этой женщиной в Оперу на маскарад. Около трех часов ночи, опьяненная бальным весельем, Клемантина, ради которой ла Пальферин пустил в ход все свое искусство опытного соблазнителя, согласилась поехать ужинать и уже садилась в карету своей коварной спутницы. В эту решительную минуту ее подхватили чьи-то сильные руки, и, несмотря на ее крики, она была отнесена в свою собственную карету, которая без ее ведома оказалась тут же.

— Он не уезжал из Парижа! — воскликнула Клемантина, узнав Тадеуша, который убежал, как только тронулась карета.

Пережила ли какая другая женщина такой роман? Клемантина каждую минуту ждет, что Тадеуш вернется.

Париж, январь 1842 г.

АЛЬБЕР САВАРЮС

Г-же Эмиль де Жирарден.

Гостиная баронессы де Ватвиль была одной из немногих, где во время Реставрации появлялся архиепископ Безансонский и где он особенно любил бывать.

Несколько слов об этой даме, возможно, самой выдающейся женщине в Безансоне.

Ее муж, барон де Ватвиль, внучатый племянник знаменитого Ватвиля, самого удачливого и известного из убийц и ренегатов (чьи необычайные приключения вошли в историю, так что о них незачем рассказывать), был столь же тих, сколь его предок неистов. Живя в Конте, точно мокрица в стенной панели, он женился на последней представительнице славного рода де Рюптов. К десяти тысячам франков ежегодного дохода с земель барона де Ватвиля прибавилось еще двадцать тысяч с имений девицы де Рюпт. Герб швейцарского дворянина (Ватвили родом из Швейцарии) соединился с древним гербом де Рюптов. Этот брак, задуманный еще в 1802 году, был заключен лишь в 1815-м, после второй Реставрации. Через три года после того, как у баронессы родилась дочь, дед и бабушка умерли; унаследованные от них имения были проданы. Продали также дом самого г-на де Ватвиля, и супруги поселились на улице Префектуры, в прекрасном особняке де Рюптов с обширным садом, простиравшимся вплоть до улицы дю-Перрон. Г-жа де Ватвиль, набожная и в девушках, стала еще благочестивей, выйдя замуж. Она была одной из вдохновительниц того религиозного братства, которое придавало

великосветскому обществу Безансона мрачный вид и ханжеские манеры, вполне гармонирующие со всем обликом этого города. У барона де Ватвиля, человека сухопарого, худощавого и недалекого, всегда был изможденный вид, неизвестно от каких трудов, так как он отличался редким невежеством; супруга его была рыжевата, а ее худоба вошла в пословицу (до сих пор говорят: худа, как г-жа де Ватвиль), и остряки из судейских утверждали, будто бы барон истерся об эту скалу (имя «Рюпт» происходит, очевидно, от rupes [1]). Мудрые наблюдатели общественной жизни не преминут заметить, что Розали была единственным плодом брака, соединившего семейства Ватвилей и Рюптов.

Барон проводил время в прекрасной токарной мастерской: он увлекался токарным делом! В дополнение к этому занятию была у него другая причуда: собирать коллекции. Для врачей, склонных к философии, посвятивших себя изучению душевных болезней, пристрастие к коллекционированию всевозможных редкостей является первой ступенью умственного расстройства. Г-н де Ватвиль собирал раковины, насекомых и образчики безансонской почвы. Кое-какие сплетницы говорили о бароне: «У него прекрасная душа! С первых же дней брака он увидел, что жена возьмет над ним верх, и поэтому спокойно занялся токарным мастерством и заботами о хорошем столе».

Особняк де Рюптов был отделан с пышностью, достойной эпохи Людовика XIV и знатности обеих семей, соединившихся в 1815 году. Там царила старинная роскошь, давно вышедшая из моды. Люстры из граненых хрустальных пластинок в форме листьев, узорчатые шелковые ткани, ковры, золоченая мебель — все это гармонировало со старыми слугами в старинных ливреях. Хотя фамильное серебро уже потускнело, но столовые приборы были из саксонского фарфора и хрусталя, а еда отличалась изысканностью. Вина, подаваемые к обеду, славились на всю округу; их выбирал сам г-н де Ватвиль, лично занимавшийся погребом, чтобы заполнить чем-нибудь свою жизнь и внести в нее разнообразие. Состояние баронессы было значительным, тогда как ее муж

---

[1] Скала *(лат.)*.

владел лишь имением Руксей, дававшим около десяти тысяч ливров годового дохода; новых же наследств он не получал.

Нет особой надобности подчеркивать, что в доме г-жи де Ватвиль, благодаря ее тесной дружбе с архиепископом, постоянно бывало несколько умных, известных всей епархии аббатов, любителей хорошо поесть.

В начале сентября 1834 года у Ватвилей был дан парадный обед по случаю чьей-то свадьбы. Женщины сидели кружком у камина в гостиной, а мужчины группами стояли у окон, когда доложили о приходе аббата де Грансей; раздались восклицания.

— Ну, как ваш процесс? — спрашивали его.

— Выигран! — ответил главный викарий.— Судебная палата решила дело в нашу пользу, хотя мы совсем было потеряли надежду, вы знаете, почему...

Аббат намекал на состав королевского суда после 1830 года, когда подавляющее большинство легитимистов ушло в отставку.

— Мы выиграли тяжбу по всем пунктам; решение первой инстанции отменено.

— Все считали ваше дело проигранным.

— Так оно и было бы, если б не я. Отослав нашего адвоката обратно в Париж, я в самом разгаре борьбы пригласил другого; ему мы и обязаны успехом. Это необыкновенный человек.

— Он живет в Безансоне? — простодушно спросил г-н де Ватвиль.

— Да, в Безансоне,— ответил аббат де Грансей.

— Ах, это Саварон! — заметил красивый молодой человек по имени де Сула, сидевший возле баронессы.

— В течение пяти — шести ночей наш новый поверенный изучал кипы бумаг и связки с делами,— продолжал аббат, который уже недели три не заходил к де Рюптам.— И, наконец, он разбил в пух и прах известного юриста, выписанного нашими противниками из Парижа. По словам членов суда, Саварон был великолепен. Итак, капитул победил вдвойне: в суде и в политике, одолев либерализм в лице представителя городского управления. «Наши противники,— сказал мой поверенный,— напрасно надеются, что их стремление разорить епархии будет встречено снисходительно». Председатель вынуж-

ден был призвать зал к порядку: все безансонцы аплодировали. Таким образом, право собственности на здание бывшего монастыря остается за капитулом безансонского собора. Выйдя из суда, господин Саварон пригласил своего парижского коллегу отобедать с ним. Охотно согласившись, тот сказал: «Честь и слава победителю!» — и искренне поздравил своего противника.

— Где вы разыскали этого адвоката? — спросила г-жа де Ватвиль.— Я никогда не слыхала о нем.

— Отсюда вы можете видеть окна его дома,— ответил главный викарий.— Господин Саварон живет на улице дю-Перрон, его сад примыкает к вашему.

— Он не из Конте? — спросил барон.

— На жителя Конте он совсем не похож, и трудно сказать, откуда он,— заметила г-жа де Шавонкур.

— Но кто же он такой? — спросила баронесса, принимая руку г-на де Сула, чтобы идти к столу.— Если он не из наших краев, то почему поселился в Безансоне? Странно, что такая мысль пришла в голову юристу.

— Очень странно! — повторил молодой Амедей де Сула, с биографией которого нам необходимо теперь познакомиться, чтобы понять содержание этой повести.

Франция и Англия всегда обменивались веяниями моды; этот обмен облегчается тем, что он ускользает от таможенных придирок. Мода, которую мы в Париже считаем английской, в Лондоне называется французской. Оба народа перестают враждовать, когда дело касается модных словечек или костюмов. Музыка God save the King [1], национального английского гимна, написана композитором Люлли для хора в «Эсфири» или «Аталии». Фижмы, привезенные в Париж одной англичанкой, были, как известно, придуманы в Лондоне француженкой, пресловутой герцогиней Портсмутской; сначала над ними издевались, и толпа чуть не раздавила в Тюильри первую англичанку, появившуюся в фижмах, но все-таки они были приняты. Эта мода тиранила европейских женщин целых полвека. После заключения мира в 1815 году долго смеялись над удлиненными талиями англичанок, и весь Париж ходил смотреть Потье и Брюне в «Смешных англичанках»; но в 1816 и 1817 годах пояса

---

[1] Боже, спаси короля *(англ.)*.

француженок, подпиравшие им грудь в 1814 году, мало-помалу спустились до бедер. А десять лет тому назад Англия подарила нам два новых словечка. Вместо «щеголь», «франт», «модник», сменивших «птиметр» (этимология этого термина довольно неприлична), стали говорить «денди», затем — «лев». Однако «львица» произошла не от «льва». Слово «львица» обязано своим появлением известной песенке Альфреда де Мюссе: «Вы не видали в Барселоне... мою владычицу и львицу?». Два разных понятия слились, или, если хотите, смешались. Когда какая-нибудь глупость забавляет Париж, который одинаково падок как на глупости, так и на шедевры, то провинции трудно воздержаться от того же. Поэтому, лишь только в Париже замелькали гривки, бородки и усики «львов», их жилеты и монокли, держащиеся в глазной впадине без помощи рук, посредством сокращения мускулов лица, тотчас же главные города нескольких департаментов обзавелись местными «львами», которые изяществом своих штрипок как бы протестовали против небрежной одежды сограждан.

Итак, в 1834 году в Безансоне имелся собственный «лев» в лице г-на Амедея-Сильвена-Жака де Сула, имя которого во времена испанского владычества писалось «Сулейас». Амедей де Сула был, возможно, единственным во всем Безансоне дворянином испанского происхождения. Испанцы часто бывали в Конте по различным делам, но редко кто из них там поселялся. Де Сула остались здесь благодаря своим связям с кардиналом Гранвеллем. Молодой г-н де Сула постоянно говорил, что уедет из Безансона, этого скучного, богомольного, чуждого литературе города, где всему задает тон военный гарнизон (хотя нравы, обычаи и характер безансонцев достойны описания). Намерение уехать позволяло г-ну де Сула, как человеку, не знающему, где он будет жить завтра, нанимать три весьма скудно обставленные комнаты в конце Новой улицы, где она скрещивается с улицей Префектуры.

Молодой «лев» не мог обойтись без собственного «тигра». Этим «тигром» был сын одного из его фермеров, коренастый малый лет четырнадцати, по имени Бабиля. «Лев» очень изысканно одевал своего «тигра»: короткий суконный сюртук стального цвета, стянутый лакирован-

ным кожаным поясом; плисовые темно-синие панталоны, красный жилет, лакированные сапоги с отворотами, круглая шляпа с черным шнурком, желтые пуговицы с гербом де Сула, белые нитяные перчатки. Амедей платил этому парню тридцать шесть франков в месяц, на всем готовом, со стиркой. Безансонским швейкам подобное жалованье казалось огромным: четыреста тридцать два франка в год такому мальчишке, не считая прочих доходов! Ему перепадало и от продажи поношенного платья, и от продажи навоза; а когда де Сула выменивал одну из своих лошадей, Бабиля получал на чай. Пара лошадей, как ни урезывались расходы на них, обходилась средним числом в восемьсот франков ежегодно. Стоимость выписываемых из Парижа духов, галстуков, безделушек, ваксы и платья достигала тысячи двухсот франков. Если прибавить к этой сумме шестьсот франков платы за квартиру, содержание «тигра» и лошадей, то итог будет равен трем тысячам франков. Отец же молодого де Сула оставил ему не более четырех тысяч годового дохода от нескольких захудалых ферм, которые требовали изрядных издержек, и поэтому приносимая ими прибыль имела, к несчастью, довольно непостоянный характер. У «льва» оставалось на еду, игру и мелкие расходы едва ли три франка в день. Вот почему он часто обедал в гостях, а завтрак его отличался чрезвычайной умеренностью. Когда же приходилось обедать за свой счет, он посылал своего «тигра» в трактир за двумя блюдами, не дороже двадцати пяти су. Молодой де Сула слыл мотом и безрассудным человеком, а между тем бедняга сводил концы с концами так изворотливо, что это сделало бы честь хорошей хозяйке. В Безансоне еще не все понимали, что штиблеты или сапоги, вычищенные шестифранковой ваксой, желтые перчатки ценою всего в пятьдесят су (их чистят в глубочайшей тайне, чтобы надеть еще раза три), галстуки в десять франков, которые можно носить целых три месяца, четыре жилета по двадцати пяти франков и панталоны, плотно охватывающие обувь, могут придать вполне столичный вид. И как может быть иначе, если мы видим, что парижанки особо благоволят к глупцам? Последние одерживают верх над самыми выдающимися людьми только благодаря подобным мелочам, которые можно приобрести за пятнадцать

луидоров, включая в эту сумму стоимость завивки и рубашки из голландского полотна!

Если вам кажется, что этот небогатый молодой человек стал «львом» слишком дешевой ценой, то знайте, что Амедей де Сула трижды ездил в Швейцарию на перекладных и в карете, дважды — в Париж и один раз — в Англию. Он считался опытным путешественником и мог небрежно ронять: «В Англии, куда я ездил...» — и так далее. Вдовушки говорили ему: «Вы, бывавший в Англии...» Посетил он и Ломбардию, объехал итальянские озера. Де Сула читал все новинки. Наконец, когда он чистил перчатки, «тигр» Бабиля говорил посетителям: «Мсье занят!». Поэтому, когда пытались бросить тень на репутацию молодого г-на де Сула, то говорили: «О, это вполне передовой человек!». Амедей обладал талантом излагать с чисто безансонской важностью избитые, но модные общие места, благодаря чему он по праву считался одним из наиболее просвещенных дворян. На нем всегда были изящные безделушки, а в голове — лишь мысли, одобренные прессой.

В 1834 году Амедею исполнилось двадцать пять лет. Это был брюнет среднего роста, с сильно развитой грудью, такими же плечами, несколько округлыми ляжками, уже довольно толстыми ногами, белыми пухлыми руками, круглой бородкой; его усы соперничали с усами гарнизонных офицеров. Красноватое широкое лицо, нос лепешкой, карие невыразительные глаза — словом, ничего похожего на испанца. Он начал полнеть, что могло стать пагубным для его притязаний. Его ногти были изящно отделаны, бородка — тщательно подбрита, все детали костюма были выдержаны в английской манере. Поэтому Амедей де Сула считался самым красивым мужчиной в Безансоне. Куафер, являвшийся в определенный час причесывать «льва» (еще одна роскошь, которая обходилась ежегодно в шестьдесят франков), восхвалял его как непревзойденного арбитра во всех вопросах моды. Амедей вставал поздно, занимался туалетом и около полудня отправлялся верхом на одну из своих ферм, чтобы поупражняться в стрельбе из пистолета. Он придавал этому занятию столь же большое значение, как и лорд Байрон в последние годы жизни. Затем к трем часам он возвращался обратно, повожаемый восхищенными

взглядами швеек и дам, которые почему-то оказывались у окон. После так называемых «занятий», продолжавшихся до четырех часов, он одевался и отправлялся в гости обедать; вечера он проводил в гостиных безансонских аристократов, играя в вист, и, вернувшись в одиннадцать часов вечера, ложился спать. Его жизнь протекала на виду у всех, была благонравна и безупречна; ведь он, вдобавок, исправно посещал церковь по воскресеньям и праздникам.

Чтобы вы могли понять, насколько необычен такой образ жизни, нужно сказать несколько слов о Безансоне. Ни один город не оказывает столь глухого и упорного сопротивления прогрессу. Чиновники, служащие, военные — словом, все, кто прислан правительством из Парижа и занимает какую-нибудь должность, известны в Безансоне под общим и выразительным именем «колония». «Колония» — это нейтральная почва, единственная, где, кроме церкви, могут встречаться высшее общество и буржуазия города. В Безансоне нередко из-за одного слова, взгляда или жеста зарождается вражда между семьями, между знатными и буржуазными женщинами, вражда, которая длится до самой смерти и еще более углубляет непроходимую пропасть, разделяющую оба сословия. Если не считать семейств Клермон-Мон-Сен-Жанов, Бофремонов, де Сэев, Грамонов и еще кое-каких аристократов Конте, живущих в своих поместьях, то безансонскому дворянству не больше двухсот лет; оно восходит ко временам, когда провинция была завоевана Людовиком XIV. Это общество целиком во власти сословных предрассудков; его спесивость, чопорность, надменность, расчетливость, высокомерие нельзя сравнить даже с венским двором; в этом отношении венским гостиным далеко до безансонских. О знаменитых уроженцах города — Викторе Гюго, Нодье, Фурье — здесь не вспоминают, ими не интересуются. О браках в знатных семьях договариваются, когда дети еще в колыбели; порядок всех церемоний, сопровождающих как важные, так и незначительные события, установлен раз навсегда. Чужой, посторонний человек никогда не попадет в эти дома, и чтобы ввести в них полковников, титулованных офицеров, принадлежащих к знатнейшим семьям Франции и попавших в местный гарнизон, нужно было проявлять чудеса дипло-

матии, которым охотно поучился бы сам князь Талейран, чтобы использовать их на каком-нибудь конгрессе.

В 1834 году Амедей был единственным человеком в Безансоне, носившим штрипки. Это показывает, что молодой г-н де Сула был настоящим «львом».

Наконец, один анекдот позволит вам понять Безансон. Незадолго до того дня, когда начинается наша повесть, префектуре понадобилось пригласить из Парижа редактора для своих «Ведомостей», чтобы защищаться от маленькой «Газеты» (появившейся благодаря большой парижской «Газете») и от «Патриота», вызванного к жизни республикой. Из Парижа явился молодой человек, не имевший никакого представления о Конте; он дебютировал передовой статьей в духе «Шаривари». Глава партии центра, член городского самоуправления, пригласил к себе журналиста и сказал ему: «Да будет вам известно, милостивый государь, что мы серьезны, даже более чем серьезны: мы любим скучать, вовсе не хотим, чтобы нас забавляли, и терпеть не можем, когда нас заставляют смеяться. Пусть ваши статьи будут столь же мало доступны для понимания, как многоречивые писания из «Ревю де Де Монд», и лишь тогда, да и то вряд ли, вы окажетесь во вкусе безансонцев». Редактор зарубил это себе на носу и стал писать самым непонятным философским языком. Он добился полного успеха.

Если молодого г-на де Сула все же весьма ценили в безансонских гостиных, то исключительно из-за тщеславия: аристократия была очень довольна, что не чужда современности хотя бы с виду и может показать приезжающим в Конте знатным парижанам молодого человека, почти похожего на них.

Старания г-на де Сула, пыль, пускаемая им в глаза, кажущееся безрассудство и скрытое благоразумие имели определенную цель, без которой безансонский «лев» не был бы признан «своим». Амедей стремился к выгодной женитьбе; в один прекрасный день он собирался доказать всем, что его фермы не заложены и что у него есть сбережения. Он хотел завоевать Безансон, приобрести репутацию самого красивого, самого элегантного мужчины, чтобы завладеть сначала сердцем, а затем и рукой девицы Розали де Ватвиль. Вот в чем было дело. Большинство «львов» становится ими по расчету.

В 1830 году, когда молодой г-н де Сула начал свою карьеру денди, Розали было тринадцать лет. Таким образом, в 1834 году мадемуазель де Ватвиль достигла того возраста, когда ее уже можно было поразить причудами, обращавшими на Амедея внимание всего города.

Доход де Ватвилей уже лет двенадцать был равен пятидесяти тысячам в год, но тратили они не более двадцати четырех тысяч, хотя принимали по понедельникам и пятницам все высшее общество Безансона. По понедельникам у них обедали, по пятницам они давали вечера. Таким образом, из двадцати шести тысяч франков ежегодных сбережений, отдаваемых под проценты с обычной для старинных семейств осторожностью, за двенадцать лет должна была образоваться изрядная сумма. Предполагали, что г-жа де Ватвиль, обладавшая довольно богатыми поместьями, поместила в 1830 году свои сбережения так, что они приносили три процента в год. Приданое Розали достигало таким образом сорока тысяч франков ежегодного дохода. И вот уже пять лет наш «лев» трудился, как крот, чтобы завоевать благосклонность суровой баронессы, стараясь в то же время польстить самолюбию девицы де Ватвиль. Ее мать была посвящена в тайны тех ухищрений, при помощи которых Амедею удавалось поддерживать свое положение в Безансоне, и весьма его за это уважала. Де Сула приютился под крылышком баронессы, когда ей было тридцать лет; он имел тогда смелость восхищаться ею и даже обожать ее; он один получил право рассказывать ей игривые историйки, которые любят слушать почти все святоши, убежденные, что благодаря своим великим добродетелям они могут заглядывать в пропасти, не падая туда, и в сети дьявола, не попадая в них. Понятно ли вам теперь, почему наш «лев» не позволял себе ни малейшей интрижки? Он старался, чтобы его жизнь протекала, так сказать, на глазах у всех; это давало ему возможность играть роль преданного поклонника баронессы и услаждать ее ум теми соблазнами, которые она запретила своему телу. Мужчина, обладающий привилегией нашептывать вольности на ухо святоше, всегда будет казаться ей обворожительным. Если бы этот образцовый «лев» лучше знал человеческое сердце, то мог бы, не подвергаясь никакой опасности, позволить себе несколько мимолет-

ных любовных связей с безансонскими красотками, в сердцах которых он царствовал; от этого он только выиграл бы в глазах суровой и неприступной баронессы. Перед Розали сей Катон разыгрывал мота: говорил о своем пристрастии к красивой жизни, описывал, какую блистательную роль играют светские женщины в Париже, и намекал на то, что станет когда-нибудь депутатом.

Эти искусные маневры увенчались полным успехом. В 1834 году все матери в сорока аристократических семействах, принадлежавших к высшему безансонскому обществу, считали Амедея де Сула самым очаровательным молодым человеком в Безансоне; никто не осмеливался оспаривать у него первое место в особняке де Рюптов, и весь Безансон смотрел на него как на будущего мужа Розали де Ватвиль. Баронесса и Амедей уже обменялись несколькими словами насчет задуманного брака. Это имело тем большее значение, что барон слыл полным ничтожеством.

Розали де Ватвиль со временем должна была стать чрезвычайно богатой и поэтому привлекала всеобщее внимание. Она воспитывалась в доме де Рюптов, который ее мать редко покидала из любви к милейшему архиепископу. Розали жила здесь под двойным гнетом: ханжески-религиозного воспитания и деспотизма матери, державшей ее, согласно своим принципам, в ежовых рукавицах. Розали не знала решительно ничего. Разве прочитать под бдительным надзором старика-иезуита географию Гютри, священную и древнюю историю, историю Франции и узнать четыре правила арифметики — значит чему-нибудь научиться? Рисование, музыка и танцы были запрещены, ибо считалось, что они скорее развращают, чем украшают жизнь. Баронесса выучила дочь всевозможным тонкостям вышивания по канве и прочим женским рукоделиям: шитью, вязанию, плетению кружев. К семнадцати годам Розали не прочла ничего, кроме «Нравоучительных писем» и сочинений по геральдике. Никогда ни одна газета не оскверняла ее взоров. Каждое утро она слушала обедню в кафедральном соборе, куда ее отводила мать; вернувшись к завтраку, Розали после короткой прогулки в саду вплоть до обеда занималась рукоделием и принимала гостей вместе с баронессой; затем, кроме понедельников и пятниц, Розали со-

провождала ее, если та ехала в гости, но и в гостях не смела молвить слово без разрешения матери.

К восемнадцати годам мадемуазель де Ватвиль была белокурой, хрупкой, тоненькой, худенькой, бледной девушкой, ничем не выделявшейся среди прочих. Ее светло-голубые глаза казались красивыми благодаря ресницам, таким длинным, что они отбрасывали тень на ее щеки. Несколько веснушек портило ее красивый, открытый лоб. Ее лицо очень походило на лица святых, какими их рисовали Альбрехт Дюрер и предшественники Перуджино: те же тонкие, хотя чуть-чуть округленные очертания, та же нежность с оттенком печали, вызванным экзальтацией, то же выражение суровой простоты. Все в ней, даже ее обычная поза, напоминало тех мадонн, чья красота открывается во всем своем таинственном блеске лишь глазам внимательного знатока. У нее были красивые, хоть и красноватые руки и прелестные ножки, ножки принцессы. Обычно она носила простые бумазейные платья, но по воскресеньям и праздникам мать позволяла ей надевать и шелковые. Наряды Розали шились в Безансоне, и поэтому она выглядела почти уродливой, тогда как ее мать выписывала из Парижа все мелочи туалета, стремясь казаться грациозной, красивой и изящной. Розали никогда не носила ни шелковых чулок, ни туфелек, а только нитяные чулки и кожаные башмаки. По праздникам она надевала муслиновое платье и ботинки бронзового цвета, но ходила без шляпки.

Скромный внешний вид Розали скрывал железный характер, не сломленный воспитанием. Физиологи и глубокомысленные исследователи человеческой природы скажут вам (быть может, к великому вашему удивлению), что нрав, характер, ум, гениальность повторяются в некоторых семьях через большие промежутки времени, подобно так называемым наследственным болезням. Талант, как и подагра, проявляется обычно через два поколения. Блестящим примером этого является Жорж Санд; в ней возродилась сила, мощь и ум маршала де Сакса, незаконной внучкой которого она была. Решительный характер и романтическая отвага славного де Ватвиля воскресли в душе его правнучки, усугубленные вдобавок упрямством и гордостью, свойственными де Рюптам. Но эти достоинства или, если хотите, недостатки, были глу-

боко скрыты в душе этой девушки, тщедушной и вялой с виду; так клокочущая лава таится в вулкане, пока не начнется извержение. Возможно, одна лишь г-жа де Ватвиль догадывалась, какое наследство досталось ее дочери от предков. Она была до того строга к своей Розали, что однажды на упрек архиепископа, зачем она так резко обращается с дочерью, ответила: «Предоставьте мне воспитывать ее, ваше преосвященство! Я ее знаю, в ней сидит несколько Вельзевулов».

Баронесса с тем бóльшим вниманием присматривалась к дочери, что тут, по ее мнению, была замешана ее материнская честь. К тому же, ей больше было нечего делать. Клотильде-Луизе де Рюпт было тогда тридцать пять лет, и она могла считать себя чуть ли не вдовой, имея мужа, который вытачивал из всевозможных пород дерева рюмки для яиц, изготовлял табакерки для всех знакомых и пристрастился делать обручи из железного дерева с шестью спицами. Баронесса кокетничала с Амедеем де Сула, имея самые благие намерения. Когда этот молодой человек бывал у них, мать то отсылала Розали, то снова звала ее назад, стараясь подметить в юной душе проблески ревности, чтобы иметь повод обуздать их. Она поступала с дочерью, как полиция с республиканцами; но все было напрасно, Розали не проявляла никаких признаков возмущения. Тогда черствая святоша обвиняла дочь в бесчувственности. Розали достаточно знала мать и понимала, что если похвалит молодого де Сула, то навлечет на себя резкие упреки. Поэтому на все ухищрения матери она отвечала фразами, обычно неверно называемыми иезуитскими, ибо иезуиты были сильны, а подобные недомолвки служат рогатками, за которыми укрывается слабость. Тогда баронесса упрекала дочь в скрытности. Но если бы, на беду Розали, у нее обнаружился истинный характер Ватвилей и Рюптов, то мать с целью добиться слепого послушания стала бы разглагольствовать о почтении, с которым дети обязаны относиться к родителям.

Эта тайная борьба происходила в сокровенных недрах семьи, за закрытыми дверями. Даже главный викарий, добрейший аббат де Грансей, друг покойного архиепископа, несмотря на всю свою проницательность главного исповедника епархии, не мог догадаться, возбудила

ли эта борьба вражду между матерью и дочерью, была ли баронесса ревнива и до этого и не перешло ли ухаживание Амедея за Розали, а вернее, за ее матерью, границы дозволенного. Будучи другом дома, аббат не исповедовал ни мать, ни дочь. Розали, которой приходилось переносить из-за молодого де Сула массу неприятностей, терпеть его не могла, говоря попросту. Поэтому, когда де Сула обращался к ней, пытаясь застать ее врасплох, она отвечала ему очень сухо. Это отвращение, заметное только баронессе, было поводом для постоянных нотаций.

— Не понимаю, Розали,— спрашивала мать,— почему вы обращаетесь с Амедеем с такой подчеркнутой холодностью,— не потому ли, что он друг нашего дома и нравится вашему отцу и мне?

— Но, маменька,— ответила однажды бедная девушка,— если я буду лучше относиться к нему, то разве вы не поставите это мне в вину?

— Это еще что значит? — воскликнула г-жа де Ватвиль.— Что вы хотите этим сказать? Может быть, ваша мать пристрастна и, по-вашему, несправедлива при любых обстоятельствах? Чтоб я никогда больше не слышала от вас подобных ответов! Как! Вашей матери...— И так далее.

Нотация продолжалась три часа с лишним, и Розали запомнила ее. Баронесса побледнела от гнева и отослала дочь в ее комнату, где Розали задумалась над тем, что означает эта сцена, но ничего не могла понять, так велико было ее простодушие.

Итак, молодой г-н де Сула, хотя весь Безансон считал его близким к цели, к которой он стремился с помощью пышных галстуков и баночек ваксы,— цели, заставлявшей его покупать столько всяких средств для вощения усов, столько красивых жилетов, подковок и корсетов (ибо он носил кожаный корсет, употребляемый «львами»), итак, Амедей был дальше от этой цели, чем первый встречный, хотя на его стороне и был сам достойный аббат де Грансей. Впрочем, в то время, когда начинается наша повесть, Розали еще не знала, что графу Амедею де Сулейасу предуготовлена роль ее мужа.

— Сударыня,— начал г-н де Сула, обращаясь к баронессе в ожидании, пока остынет горячий суп, и стара-

ясь придать рассказу оттенок романтичности,— как-то утром почтовая карета привезла в гостиницу «Националь» одного парижанина. Он занялся поисками квартиры и в конце концов поселился на улице дю-Перрон, в первом этаже, в доме девицы Галар. Затем приезжий побывал в мэрии и подал заявление о том, что остается здесь на постоянное жительство. Наконец, представив все нужные документы, оказавшиеся в полном порядке, он был внесен в список поверенных при суде и разослал визитные карточки всем своим новым коллегам, должностным лицам, советникам и членам суда. На этих карточках стояло: *Альбер Саварон.*

— Фамилия Саварон весьма известна,— заметила Розали, сведущая в геральдике.— Саварон де Саварюсы — одно из самых старинных, знатных и богатых бельгийских семейств.

— Но он француз и трубадур,— возразил Амедей де Сула.— Если он возьмет герб Саварон де Саварюсов, то ему придется провести на нем поперечную полосу. В Брабанте осталась лишь одна девица Саварюс, богатая невеста.

— Хотя поперечная полоса — признак незаконного происхождения, но и побочный потомок графа де Саварюса знатен,— возразила Розали.

— Довольно, Розали! — сказала баронесса.

— Вы хотели, чтобы она знала толк в геральдике,— заметил барон,— и она отлично в ней разбирается!

— Продолжайте, Амедей.

— Вы понимаете, что в таком городе, как Безансон, где все строго определено, оценено, сосчитано, обозначено номером, взято на учет, где все знают друг друга, Альбер Саварон был принят нашими стряпчими без особых возражений. Они подумали: «Вот еще один бедный малый, не знающий нашего Безансона. Кто, черт побери, мог посоветовать ему приехать сюда! Что он намеревается тут делать? Послать чиновникам свои карточки, вместо того, чтобы лично нанести визиты? Какой промах!» Поэтому через три дня о Савароне больше не говорили. Он нанял себе слугу по имени Жером, умевшего немного стряпать и бывшего камердинером покойного г-на Галара. Альбер Саварон был забыт с той большой легкостью, что никто с тех пор не видал и не встречал его.

— Разве он не ходит к обедне? — спросила г-жа де Шавонкур.

— Ходит по воскресеньям в церковь св. Петра, к ранней обедне, в восемь часов утра. Новый адвокат встает ежедневно около двух часов ночи, работает до восьми, завтракает и опять садится за письменный стол. Затем он прогуливается по саду, обходит его раз пятьдесят—шестьдесят; вернувшись, обедает и ложится спать около семи часов вечера.

— Откуда вам все это известно? — спросила г-на де Сула г-жа де Шавонкур.

— Во-первых, сударыня, я живу на углу Новой улицы и улицы дю-Перрон и мне виден дом, где проживает сия таинственная личность. Затем мой «тигр» иногда перекидывается несколькими словами с его Жеромом.

— Вы сами, значит, тоже болтаете со своим Бабиля?

— А что же мне еще делать, когда я гуляю?

— Как же вы пригласили постороннего человека в поверенные? — спросила баронесса аббата де Грансей.

— Председатель суда решил подшутить над новым адвокатом и назначил его защищать одного придурковатого крестьянина, обвинявшегося в подлоге. Господин Саварон добился оправдания этого бедняка, доказав, что он не виноват и был лишь орудием в руках настоящих преступников. Доводы защитника не только восторжествовали, но и привели к необходимости арестовать двух свидетелей; их признали виновными и осудили. Защитительная речь поразила и судей и присяжных. Один из последних, коммерсант, поручил на другой день господину Саварону трудный процесс, который тот выиграл. Видя, в каком положении мы очутились из-за того, что господин Берье не мог приехать в Безансон, господин де Гарсено посоветовал нам пригласить этого Альбера Саварона, ручаясь за удачу. Лишь только я его увидел и услышал, я проникся к нему доверием и не ошибся.

— Значит, в нем есть что-то необыкновенное? — спросила г-жа де Шавонкур.

— Да,— ответил главный викарий.

— Объясните же нам это толком! — сказала г-жа де Ватвиль.

— В первый раз, когда я был у него,— начал аббат де Грансей,— он принял меня в комнате, расположенной

за передней; это бывшая гостиная старика Галара. Саварон велел отделать ее под мореный дуб; она вся заставлена книжными шкафами, также отделанными под старое дерево и полными книг по юриспруденции. Дубовые панели и книги — вот все, что там было замечательного. Из мебели там стояло ветхое бюро резного дерева и шесть подержанных кресел, обитых простой материей; на окнах висели светло-коричневые занавеси с зеленой каймой; на полу лежал зеленый ковер. Комната отапливается той же печью, что и передняя. Эта странная обстановка вполне гармонирует с внешним видом господина Саварона, который оказался гораздо моложе, чем я представлял себе, ожидая его. Он вышел ко мне в халате из черной мериносовой ткани, подпоясанном красным шнурком, в красных туфлях, в красном фланелевом жилете и красной же ермолке.

— Одежда дьявола! — воскликнула баронесса.

— Да,— сказал аббат.— И у него необычное лицо: черные, кое-где подернутые сединой волосы, как у святых Петра и Павла на картинах, ниспадающие густыми и блестящими прядями, но жесткие, точно конские; шея белая и круглая, как у женщины; великолепный лоб, прорезанный той мощной складкой, какую оставляют на челе незаурядных людей грандиозные планы, великие мысли и глубокие размышления; крупный нос, впалые щеки, изборожденные морщинами, следами пережитых страданий; сардонически улыбающийся рот, небольшой круглый подбородок; гусиные лапки на висках, пламенные, глубоко сидящие глаза, вращающиеся в своих впадинах, словно огненные шары; но, несмотря на эти признаки чрезвычайной страстности, у него спокойный вид, говорящий о глубокой покорности судьбе. Голос мягкий, но проникновенный, поразивший меня еще в суде своей гибкостью, настоящий голос оратора, то искренний, то лукавый и вкрадчивый; когда нужно — громогласный, а когда нужно — с оттенком язвительного сарказма. Альбер Саварон среднего роста, ни толст, ни худ, руки у него, как у прелата. Когда я пришел к нему вторично, он принял меня в другой комнате, смежной с библиотекой, и улыбнулся, видя, что я с удивлением смотрю на убогий комод, скверный ковер, постель, простую, как у школьника, и коленкоровые занавески на окнах. Адвокат вы-

шел из кабинета, куда никто не допускается, как сказал мне Жером; даже он туда не входит, ограничиваясь стуком в дверь. Господин Саварон при мне сам запер эту дверь на ключ. Во время моего третьего визита он завтракал в библиотеке; трапеза его была весьма скромной. На этот раз, так как он потратил всю ночь на изучение наших бумаг и со мной был другой наш поверенный, нам пришлось провести много времени вместе; благодаря тому, что милейший господин Жирарде многоречив, я мог позволить себе присмотреться к новому адвокату. Поистине, это человек необыкновенный. Не одна тайна скрывается за чертами его лица, похожими на маску, наводящими страх и в то же время мягкими, округленными и вместе с тем резкими, выражающими и покорность и нетерпение. Он показался мне немного сутулым, как люди, у которых на душе тяжесть.

— Зачем же столь талантливый адвокат покинул Париж? — спросила красивая г-жа де Шавонкур.— С какими намерениями он приехал в Безансон? Разве ему не говорили, как мало у посторонних здесь шансов на успех? Его услугами воспользуются, но сами безансонцы не сделают ему никаких одолжений. Почему, приехав сюда, он палец о палец не ударил, чтобы выдвинуться, и его узнали только благодаря прихоти председателя суда?

— После того, как я внимательно рассмотрел его необычное лицо,— продолжал аббат де Грансей, пристально взглянув на задавшую этот вопрос и давая тем самым понять, что он кое о чем умалчивает,— и особенно после того, как я услышал сегодня утром его спор с одним из светил парижской адвокатуры,— я пришел к убеждению, что этот человек — ему должно быть лет тридцать пять — в будущем заставит говорить о себе.

— Хватит о нем! Процесс выигран, и вы ему заплатили за это,— сказала г-жа де Ватвиль, косясь на дочь, не спускавшую глаз с главного викария все время, пока тот рассказывал.

Беседа приняла другой оборот, и об Альбере Савароне речь больше не заходила.

В портрете, который был нарисован умнейшим из главных викариев епархии, Розали ощутила тем больше романтической привлекательности, что здесь и в самом

деле была какая-то тайна. Впервые в жизни она встретилась с чем-то замечательным, необыкновенным, что всегда притягивает молодое воображение и влечет к себе любопытство, столь сильное в возрасте Розали. Каким идеальным мужчиной казался ей этот Альбер, задумчивый, страдающий, красноречивый, трудолюбивый, особенно когда мадемуазель де Ватвиль сравнивала его с толстым, полнощеким графом, который чуть не лопался от здоровья, сыпал комплиментами, осмеливался говорить об изяществе в великолепном доме старинного рода графов де Рюптов! Ей приходилось сносить из-за Амедея и выговоры и брань, к тому же она слишком хорошо его знала, а этот Альбер Саварон был сплошной загадкой.

— Альбер Саварон де Саварюс! — повторяла она про себя. Видеть его, взглянуть на него! Таково было первое желание девушки, до сих пор не испытавшей никаких желаний. В ее памяти, в ее сердце, в ее воображении вновь мелькало все сказанное аббатом де Грансей, ибо ни одно из его слов не пропало даром.

«Красивый лоб,— думала Розали, рассматривая лбы сидевших за столом мужчин.— А тут нет ни одного красивого! Лоб г-на де Сула слишком выпукл, лоб г-на де Грансей красив, но ведь аббату семьдесят лет, он лыс, и трудно сказать, где его лоб кончается».

— Что с вами, Розали? Вы ничего не едите.

— Мне не хочется есть, маменька!

«Руки, как у прелата...— продолжала девушка про себя.— Не помню, какие руки у нашего славного архиепископа, а ведь он меня конфирмировал...»

Наконец, блуждая в лабиринте своих мыслей, Розали вспомнила, что как-то раз, проснувшись ночью, видела с постели освещенное окно, блестевшее сквозь деревья двух смежных садов.

«Значит, это был свет в его окне,— подумала она.— Я могу его увидеть! Я увижу его!»

— Господин де Грансей, закончен ли уже процесс капитула? — внезапно спросила Розали у главного викария, воспользовавшись минутой молчания.

Баронесса обменялась быстрым взглядом со старым аббатом.

— Что вам за дело до этого, дитя мое? — обрати-

лась она к дочери с такой притворной мягкостью, что та решила с тех пор соблюдать бóльшую осторожность.

— Приговор можно обжаловать, но наши противники едва ли решатся на это,— ответил аббат.

— Я бы никогда не подумала, что Розали может в продолжение всего обеда размышлять о процессе,— заметила г-жа де Ватвиль.

— Я тоже,— сказала Розали с мечтательным видом, вызвавшим общий смех.— Но господин де Грансей так много об этом говорил, что я заинтересовалась. Нет ничего проще!

Все встали из-за стола, и общество вернулось в гостиную.

Весь вечер Розали прислушивалась к беседе, надеясь, что еще будут говорить об Альбере Савароне; но, хотя каждый новый гость обращался к аббату, поздравляя его с выигрышем процесса, о поверенном не упоминали, речь о нем больше не заходила.

Мадемуазель де Ватвиль с нетерпением ожидала прихода ночи. Она решила встать около трех часов утра и посмотреть на окна кабинета Альбера. Когда это время наступило, она испытала чуть ли не счастье, увидев сквозь ветви, уже лишенные листьев, мерцание свечей из комнаты адвоката. Благодаря свойственному молодым девушкам превосходному зрению, острота которого еще более увеличилась любопытством, она разглядела Альбера за письменным столом и даже различила цвет мебели, как будто бы красный. Над крышей подымался густой клуб дыма из камина.

— Когда все спят, он бодрствует... точно господь бог...— прошептала она.

Воспитание девушек является столь важной проблемой (ведь будущее нации — в руках матерей!), что французский университет уже давно старается избегать ее. Вот одна из сторон этой проблемы: нужно ли развивать ум девушек, или же следует его ограничивать? Очевидно, религиозная система воспитания имеет сдерживающее влияние. Если вы будете развивать девушек, они превратятся в демонов, прежде чем вырастут; но если вы будете мешать им думать, то может произойти внезапная вспышка, как у Агнессы, так хорошо изображенной

Мольером; и этот ум, сдерживаемый в развитии и неопытный, но проницательный, быстрый и решительный, как ум дикаря, будет отдан на волю случая. Такой же роковой кризис был вызван в душе девицы де Ватвиль неосторожным рассказом одного из благоразумнейших аббатов благоразумного безансонского капитула.

На другой день мадемуазель де Ватвиль, одеваясь, неожиданно заметила Альбера Саварона, в то время как тот прогуливался в своем саду, смежном с садом де Рюптов.

«Я могу его видеть! — подумала она.— Что было бы со мной, если бы он жил где-нибудь в другом месте? О чем он размышляет?»

Когда Розали увидела, хоть и на расстоянии, этого необыкновенного человека, чье лицо так резко выделялось среди всех лиц, попадавшихся ей до сих пор в Безансоне, у нее тотчас же возникло желание проникнуть в его душевный мир, услышать его выразительный голос, заглянуть в его прекрасные глаза. Она хотела всего этого, но как осуществить желаемое?

Весь день она вышивала с невнимательностью девушки, которая как будто ни о чем не думает, подобно Агнессе, а на самом деле так усердно размышляет обо всем, что ее уловки всегда приводят к цели.

В результате столь глубоких раздумий Розали возымела желание исповедаться. На другое утро она переговорила в церкви с аббатом Жиру и хитростью добилась, что он назначил ей исповедь на воскресное утро, в половине восьмого, перед ранней обедней. Розали придумала множество предлогов, чтобы хоть раз очутиться в церкви в то самое время, когда туда придет адвокат. Наконец, на нее напал прилив нежности к отцу; она отправилась к нему в мастерскую, долго расспрашивала о токарном искусстве и в конце концов дала совет изготовлять какие-нибудь крупные предметы, например, колонны. Заинтересовав отца витыми колоннами, точить которые особенно трудно, Розали посоветовала воспользоваться пригорком, находившимся у них в саду, и велеть сделать там грот, над которым можно было бы построить небольшую беседку вроде бельведера, где витые колонны нашли бы применение и восхитили бы все общество.

Видя, какую радость эта затея доставляет праздному добряку, Розали сказала, целуя его:

— В особенности не говори маменьке, от кого исходит эта мысль, а то она будет меня бранить.

— Будь покойна,— ответил г-н де Ватвиль, не меньше дочери страдавший от тирании грозной представительницы рода де Рюптов.

Таким образом, Розали получила уверенность, что вскоре построят удобный наблюдательный пункт, откуда можно будет заглядывать в кабинет адвоката. Случается, что девушки пускаются на подобные чудеса дипломатии ради мужчин, которые большей частью, как Альбер Саварон, даже не подозревают об этом!

Наступило столь нетерпеливо ожидаемое воскресенье, и Розали оделась так тщательно, что вызвала улыбку у Мариэтты, горничной де Ватвилей.

— Я впервые вижу, что мадемуазель так заботится о своей внешности,— сказала она.

— Однако мне кажется,— возразила Розали, бросив на Мариэтту взгляд, от которого щеки горничной залились краской,— что бывают дни, когда и вы сами стараетесь выглядеть лучше обычного!

Когда Розали сходила с крыльца, пересекала двор, выходила за калитку, шла по улице, ее сердце билось усиленно, словно предчувствуя важное событие. Она еще никогда этого не испытывала; ей казалось, что мать узнает о ее намерениях, точно они были написаны на лбу, и запретит идти на исповедь; кровь прилила к ее ногам, она шла словно по раскаленным угольям. Розали должна была исповедоваться в четверть девятого, но для того, чтобы дольше побыть возле Альбера, она сказала матери, будто бы исповедь назначена в восемь. Придя в церковь до начала обедни, Розали после краткой молитвы пошла посмотреть, в исповедальне ли аббат Жиру; на самом деле она хотела лишний раз пройтись по церкви, чтобы найти подходящее место, с которого она увидела бы Альбера в тот самый момент, когда тот войдет.

Нужно было быть большим уродом, чтобы не понравиться девице де Ватвиль, если принять во внимание, в какое настроение ее привело любопытство. Альбер Саварон, и без того видный собой, произвел на Розали тем

более сильное впечатление, что в его манере держаться, в походке, в наружности, во всем, даже в одежде, было что-то таинственное. Он вошел. Церковь, до тех пор темноватая, вдруг показалась Розали ярко освещенной. Девушку восхитила медленная, почти торжественная походка этого человека, как будто несущего на плечах целый мир, человека, движения и взгляды которого одинаково выражали одну и ту же мысль, стремящуюся не то к разрушению, не то к владычеству. Розали поняла весь глубокий смысл слов главного викария. Да, в этих желтовато-карих глазах с золотыми искорками таилось пламя, выдававшее себя внезапными вспышками. Неосторожно, дав заметить это даже Мариэтте, Розали встала на пути адвоката так, чтобы обменяться с ним взглядами. Его взор, которого она искала, потряс ее; кровь в ее жилах заволновалась и закипела, словно став вдвое горячее. Лишь только Альбер сел, мадемуазель де Ватвиль переменила место с таким расчетом, чтобы как можно лучше его видеть, пока ее не позовет аббат Жиру. Через некоторое время Мариэтта заметила: «А вот и господин аббат». Розали показалось, что промелькнуло лишь несколько мгновений. Когда она вышла из исповедальни, обедня окончилась, Альбера уже не было в церкви.

«Главный викарий прав,— подумала Розали,— он страдает! Почему этот орел — ведь у него орлиные глаза! — прилетел к нам в Безансон? О, я хочу это узнать! Но как?»

Охваченная пылом нового желания, Розали прикинулась простушкой, чтобы обмануть мать. Она с наивным видом сидела за вышиванием и удивительно точно делала стежки; на самом же деле она размышляла. С того воскресенья, когда мадемуазель де Ватвиль поймала взгляд Альбера или, если хотите, приняла огненное крещение (чудесные слова Наполеона, применимые и к любви), она стала торопить отца с сооружением бельведера.

— Маменька,— сказала она, когда две колонны уже были готовы,— отцу пришла в голову странная мысль: он вытачивает колонны для беседки, которую собирается построить на большой куче камней, что посреди сада. Хорошо ли это, по-вашему? Мне кажется...

— Я одобряю все, что делает ваш отец,— сухо перебила мать.— Ведь обязанность жены — слушаться мужа, даже если она не согласна с его намерениями. Почему я должна противиться этой невинной затее, тем более, что она доставляет ему удовольствие?

— Но ведь мы оттуда увидим все, что происходит у господина де Сула, и нас тоже заметят, когда мы будем бывать в беседке. Пойдут разговоры...

— Не собираетесь ли вы, Розали, указывать родителям, как им следует себя вести? Не думаете ли вы, что смыслите в жизни и в приличиях больше, чем они?

— Молчу, маменька. Впрочем, отец сказал мне, что в гроте будет прохладно и туда можно будет приходить пить кофе.

— Вашему отцу пришла в голову превосходная мысль,— ответила г-жа де Ватвиль и даже захотела пойти взглянуть на колонны.

Она одобрила все придуманное бароном и нашла для сооружения беседки такое место в саду, откуда можно было прекрасно разглядеть все, что делалось у Альбера Саварона, не будучи замеченными из квартиры г-на де Сула. Приглашенный подрядчик взялся устроить грот, на вершину которого можно было бы подняться по тропинке шириною в три фута; среди камней грота собирались посадить барвинки, ирисы, калину, плющ, жимолость и дикий виноград. Баронесса затеяла украсить внутренность грота древесными ветвями (тогда вошли в моду подставки для цветов из этого материала), поставить там зеркало, диван и стол, выложенный мозаикой. Г-н де Сула предложил сделать пол из асфальта, Розали подала мысль повесить над сводом фонарь, также из древесных ветвей.

— Ватвили затеяли что-то очень красивое в своем саду,— говорили в Безансоне.

— Они богаты, им легко истратить тысячу экю на какую-то причуду.

— Тысячу экю! — воскликнула г-жа де Шавонкур.

— Да, тысячу экю! — ответил де Сула.— Они выписывают из Парижа мастера, чтобы облицевать стены грота диким камнем; это будет очень красиво. Де Ватвиль сам делает фонарь, он принялся за резьбу по дереву.

— Говорят, Берке будет рыть там подвал,— сказал один аббат.

— Нет,— возразил де Сула,— он ставит беседку на бетонном фундаменте, чтобы в ней не было сыро.

— Вы знаете до мелочей все, что делается у них в доме! — едко заметила г-жа де Шавонкур, поглядывая на одну из своих взрослых дочерей, уже целый год бывшую на выданье.

Мадемуазель де Ватвиль, испытывавшая некоторую гордость от успеха задуманного ею бельведера, почувствовала явное превосходство над окружающими. Никто даже не догадывался, что молоденькой девушке, считавшейся неумной, даже глупенькой, просто-напросто захотелось заглянуть в кабинет поверенного Саварона.

Блестящая защитительная речь, произнесенная Альбером Савароном в пользу капитула, была забыта тем скорее, что возбудила зависть остальных юристов. К тому же, продолжая вести уединенный образ жизни, Саварон нигде не показывался. Его никто не хвалил, он ни с кем не видался, и это увеличивало для него шансы на забвение; а их в таком городе, как Безансон, для всякого новичка было и без того более чем достаточно. Тем не менее он трижды выступал в коммерческом суде по трудным делам, перенесенным впоследствии в Палату. Его клиентами стали также четверо крупнейших местных негоциантов; найдя, что Альбер обладает умом и тем, что в провинции называют здравым смыслом, они доверили ему свои тяжбы.

Пока в саду де Ватвилей строился бельведер, Саварон также возводил свое сооружение. Сумев обзавестись кое-какими связями в торговых кругах Безансона, он основал журнал, выходивший два раза в месяц и названный им «Восточным Обозрением». Для этого он выпустил сорок акций, по пятисот франков каждая, и разместил их между десятью главными клиентами, убедив их, что необходимо содействовать развитию Безансона, как важнейшего пункта между Рейном и Роной, где должен сосредоточиться весь транзит между Мюльгаузеном и Лионом.

Чтобы соперничать со Страсбургом, Безансон должен был сделаться не только центром торговли, но и центром просвещения. В журнале можно было бы поднять важ-

ные вопросы, касающиеся интересов Востока. Какая честь — лишить Страсбург и Дижон их литературного влияния, просвещать весь восток Франции и бороться с парижским централизмом! Эти соображения, высказанные Альбером, были повторены всеми десятью негоциантами, приписавшими их себе.

Адвокат Саварон не сделал ошибки и не выставил напоказ свое имя: денежные дела журнала он поручил главному своему клиенту, г-ну Буше, бывшему в родстве с одним из крупных издателей церковных книг, но Альбер оставил за собой редактирование, с правом участия в доходах, в качестве основателя. Коммерсанты дали знать своим коллегам в Дижоне, Доле, Салене, Невшателе, в городах Юры, Бурге, Нантуа, Лон-де-Сонье. Ко всем образованным людям трех провинций: Бюже, Бресс и Конте — обратились с просьбой оказать содействие своими познаниями. Благодаря коммерческим связям и корпоративному духу, а также дешевизне («Обозрение» стоило восемь франков в квартал) было найдено сто пятьдесят подписчиков. Чтобы не задевать самолюбия провинциалов отказами в печатании статей, поверенный благоразумно решил поручить ведение дел редакции журнала старшему сыну г-на Буше, Альфреду, молодому человеку лет двадцати двух, весьма падкому до славы, но совершенно незнакомому с интригами и неприятностями, связанными с должностью редактора. Втайне Альбер, конечно, сосредоточил все в своих руках и сделал Альфреда Буше своим сеидом. Альфред был единственным лицом во всем Безансоне, с кем светило адвокатуры обращалось запросто. Молодой Буше приходил по утрам советоваться с Альбером насчет содержания очередного номера. Стоит ли говорить, что в первом номере были помещены, с согласия Саварона, «Размышления» Альфреда! Беседуя с ним, Альбер порою высказывал глубокие мысли, а молодой Буше пользовался ими для своих статей. Поэтому сын негоцианта считал общение со столь выдающимся деятелем весьма выгодным. Альбер был для Альфреда гениальным человеком, тонким политиком. Коммерсантам, очень довольным успехами «Обозрения», пришлось внести только треть стоимости акций. Еще двести подписчиков, и «Обозрение» стало бы приносить пять процентов прибыли, если учесть,

что редактору ничего не платили. Такой редактор был неоценим.

Начиная с третьего номера, «Обозрение» стали посылать в редакции всех французских газет, которые читал Альбер. В третьем номере была помещена повесть под инициалами А. С. Полагали, что она принадлежит перу адвоката, уже ставшего известным в городе.

Хотя в высших кругах Безансона этому «Обозрению» уделяли мало внимания (его обвиняли в либерализме), все же как-то зимой у г-жи де Шавонкур зашел разговор об этой первой повести, появившейся в Конте.

— Папенька,— сказала на другой день Розали,— в Безансоне издается журнал; ты должен на него подписаться. Так как маменька не позволит мне его читать, то я буду брать его у тебя.

Спеша повиноваться своей милой Розали, уже с полгода проявлявшей к нему необычную нежность, барон лично выписал «Обозрение» на целый год и дал дочери четыре уже полученных номера. Ночью Розали с жадностью прочла эту повесть, первую повесть в ее жизни; но ведь она только два месяца назад начала по-настоящему жить! Поэтому не следует прилагать общепринятую мерку к впечатлению, произведенному этой вещью на Розали. Каковы бы ни были недостатки или достоинства творения парижанина, принесшего в провинцию блестящую манеру новой литературной школы, оно не могло не показаться Розали шедевром: ведь ее девственный разум и чистое сердце впервые встретились с такого рода литературным произведением. К тому же на основании слышанного у Розали по интуиции появилась мысль, из-за которой ценность этой повести становилась для нее особенно велика: девушка надеялась найти здесь описание чувств и, может быть, событий, связанных с жизнью самого Альбера. С первых же страниц эта надежда перешла в уверенность, а прочтя повесть, Розали окончательно убедилась, что не ошибается.

Вот эта исповедь, где Альбер, по словам критиков из гостиной де Шавонкуров, подражал кое-каким современным писателям, которые, не отличаясь богатым воображением, рассказывают о собственных радостях, о собственных печалях или же о происшествиях, случившихся с ними самими.

ЧЕСТОЛЮБЕЦ ИЗ-ЗА ЛЮБВИ

В одно прекрасное июльское утро 1823 года двое молодых людей, решивших объехать всю Швейцарию, отправились из Люцерна на лодке в сопровождении трех гребцов. Они ехали в Флюэлен, намереваясь осмотреть достопримечательные места Фирвальдштетского озера. Им предстояло, любуясь прибрежными пейзажами между Люцерном и Флюэленом, увидеть все, что только может потребовать самое взыскательное воображение от гор и рек, озер и скал, ручьев и зелени, деревьев и потоков. Перед их взорами представали и гордые одинокие вершины, и живописные мысы, и красивые, дышащие свежестью поляны, и деревья, украшавшие, подобно султанам, отвесные гранитные скалы; перед их глазами внезапно появлялись уединенные прохладные бухточки и долины, казавшиеся издали еще красивее.

Проезжая мимо очаровательного местечка Жерсо, один из друзей обратил внимание на деревянный домик, построенный сравнительно недавно. Он был окружен изгородью, стоял на мысу и почти что омывался водами озера. Из окна верхнего этажа выглянула женская головка, любуясь плывущей по озеру лодкой. Равнодушный взгляд незнакомки упал на одного из молодых людей.

— Давай остановимся здесь,— сказал тот своему другу.— Хотя мы собирались обосноваться в Люцерне и оттуда предпринимать поездки по Швейцарии, но ведь ты не будешь возражать, Леопольд, если я изменю нашим планам и останусь в этом местечке? Ты можешь ехать дальше, но мое путешествие окончено! Гребцы, поверните к берегу и высадите нас в этой деревне, мы там позавтракаем. Я съезжу в Люцерн за вещами, и, прежде чем продолжать свой путь, ты узнаешь, где я поселился и где найти меня по возвращении.

— Здесь или в Люцерне,— ответил Леопольд,— не все ли равно? Я не стану мешать твоему капризу.

Двое молодых людей были друзьями в полном смысле слова. Сверстники, они учились в одном и том же колледже и, окончив курс юридических наук, отправились на каникулы в классическое путешествие по Швейцарии. По желанию отца Леопольд собирался поступить в контору парижского нотариуса. Его прямота, кротость, спокой-

ный характер и сметливость служили порукою тому, что из него выйдет хороший чиновник. Леопольд уже видел себя нотариусом в Париже, жизнь расстилалась перед ним, как большая дорога, одна из тех, что пересекает французские равнины; он с философским спокойствием окидывал ее взором на всем протяжении.

Характер его товарища — назовем его Родольфом — представлял собою полную противоположность; этот контраст, конечно, еще больше укреплял связывавшие их узы дружбы. Родольф был незаконным сыном одного аристократа, которого постигла преждевременная смерть; он не успел написать завещания в пользу своей возлюбленной и сына. Мать Родольфа, когда ее постиг этот удар судьбы, решилась на героический поступок: продала все, что ей подарил щедрый отец ребенка, и вырученную сумму в сто с чем-то тысяч франков поместила под хорошие проценты, чтобы получать пожизненный доход. Имея, таким образом, около пятнадцати тысяч франков в год, она решила целиком посвятить себя воспитанию сына, выработать в нем те качества, которые помогли бы ему впоследствии сделать карьеру, и, наконец, экономя во всем, скопить ко времени его совершеннолетия небольшой капитал. Это было смело, это означало: рассчитывать лишь на собственные силы; но без этой смелости любящая мать вряд ли смогла бы прожить и прилично воспитать ребенка, бывшего ее единственной надеждой, ее будущностью, источником ее радостей. Будучи сыном одной из прелестнейших парижанок и выдающегося представителя брабантской аристократии, плодом взаимной сильной любви, Родольф был наделен чрезвычайной чувствительностью. С самого детства он во всем проявлял величайшую пылкость. Мечты были для него движущей силой, стимулом его жизни, возбуждали его воображение, руководили всеми его поступками. Несмотря на старания умной матери, с испугом заметившей это предрасположение, Родольф отдавался мечтам с тем же жаром, с каким поэт творит, ученый мыслит, художник пишет, музыкант создает мелодии. Нежный, как и мать, он с небывалой страстностью мысленно устремлялся к тому, о чем грезил; время не существовало для него. Мечтая, он вовсе не думал о том, как привести в исполнение свои планы. «Когда у моего сына будут дети,—

говаривала его мать,— он захочет, чтобы они сразу стали взрослыми». Эта пылкость, разумно направляемая, помогла Родольфу блестяще окончить курс наук и сделаться «безупречным джентльменом», по выражению англичан. Мать гордилась им, но все же опасалась катастрофы, могущей произойти, если страсть когда-либо завладеет этим сердцем, нежным, чувствительным, пылким и добрым. Поэтому благоразумная женщина поощряла дружбу, связывавшую Родольфа и Леопольда, видя в будущем нотариусе, сдержанном и преданном своему другу, опекуна, товарища, который мог бы до известной степени заменить ее Родольфу, если, на беду, ее не станет. Еще красивая в сорок три года, мать Родольфа внушила Леопольду глубокое чувство. Это обстоятельство еще теснее сближало молодых людей.

Итак, Леопольд, хорошо знающий Родольфа, нимало не удивился, что последний из-за одного взгляда, брошенного на верхний этаж какого-то дома, решил остановиться в этом местечке и отказался от задуманной поездки на Сен-Готард. Пока в трактире «Лебедь» приготовляли завтрак, друзья обошли деревню, расположенную по соседству с красивым новеньким домиком. Гуляя и разговаривая с жителями, Родольф нашел дом, принадлежавший людям среднего достатка, где его согласились взять на пансион, как это обычно принято в Швейцарии. Ему предложили комнату, откуда были видны озеро, горы и открывался великолепный ландшафт одного из чудесных уголков, так восхищающих посетителей Фирвальдштетского озера. От того домика, где Родольф заметил прекрасную незнакомку, его новое жилище отделялось лишь перекрестком и небольшой пристанью.

За сто франков в месяц Родольф был избавлен от необходимости думать о нуждах повседневной жизни. Но супруги Штопфер, принимая во внимание предполагаемые расходы, попросили заплатить им за три месяца вперед. Поскребите любого швейцарца, и он окажется ростовщиком. После завтрака Родольф тотчас же принялся устраиваться на новом месте, отнес в свою комнату вещи, взятые для поездки на Сен-Готард, и проводил Леопольда, решившего для порядка совершить эту поездку и за Родольфа и за себя.

Когда лодка Леопольда скрылась из глаз, Родольф,

сидя на прибрежном утесе, стал разглядывать домик в надежде увидеть незнакомку. Увы, ему пришлось вернуться, не обнаружив там никаких признаков жизни. За обедом он стал расспрашивать Штопфера, бывшего невшательского бочара, об окрестностях и в конце концов выведал все, что ему хотелось узнать. Этому помогла болтливость хозяев, которые наговорили ему с три короба, не заставляя себя просить.

Незнакомку звали Фанни Ловлас, или, правильнее, Ловлес. Есть такой старинный род в Англии, но образ Ловласа, созданный Ричардсоном, прославил это имя в ущерб всякой другой известности. Мисс Ловлес поселилась на озере из-за нездоровья отца; врачи рекомендовали ему мягкий климат Люцернского кантона. Эти двое англичан прибыли в сопровождении только одной служанки, четырнадцатилетней немой девушки, очень привязанной к мисс Фанни и преданно служившей ей; минувшей осенью они заключили договор с четой Бергманов. Бергман-муж был прежде главным садовником у графа Борромео, в имениях последнего на Isola Bella и Isola Madre[1] на Лаго-Маджоре. Эти швейцарцы, получавшие около тысячи экю дохода, сдали Ловлесам на три года весь верхний этаж своего дома за двести франков в год. Отец Фанни, дряхлый, чуть не девяностолетний старец, редко выходил из дому. Его дочь зарабатывала на жизнь переводами английских романов и сама, как говорили, писала книги. Ловлесы были слишком бедны, чтобы позволить себе много тратить, поэтому они не могли нанимать ни лодку для прогулок по озеру, ни лошадей, ни проводников для осмотра окрестностей. Бедность, влекущая подобные лишения, вызывает у швейцарцев тем больше сочувствия, что они теряют при этом возможность поживиться. Служившая в доме кухарка готовила пищу для всех трех англичан; они платили за пансион сто франков в месяц. Но все в Жерсо были уверены, что именем кухарки прикрывались сами хозяева, желавшие, несмотря на свойственные им буржуазные претензии, извлечь выгоду из этой сделки. Бергманы устроили возле своего дома великолепный сад и превосходную оранжерею. Цветы, фрукты, ботанические дико-

---

[1] Красивый остров и Остров матери *(итал.)*

винки Бергманов и побудили молодую девушку при проезде через Жерсо остановить свой выбор именно на этом доме. Мисс Фанни, младшей дочери старика, который ее обожал, можно было дать на вид лет девятнадцать; она, по-видимому, очень любила музыку, так как месяца два назад выписала из Люцерна фортепьяно, взяв его напрокат.

«Она любит цветы и музыку,— подумал Родольф,— и она не замужем! Какое счастье!»

На другой день Родольф попросил у Бергманов разрешения осмотреть их оранжереи и сад, уже пользовавшиеся известностью. Ответ был получен не сразу. Бывший садовник потребовал — странное дело — у Родольфа паспорт, что было тотчас же исполнено. Паспорт вернули на другой день через кухарку, сообщившую, что ее хозяева охотно покажут Родольфу свои владения.

Родольф отправился к Бергманам не без некоторого трепета, знакомого только впечатлительным людям, вкладывающим в минутное переживание столько страстности, сколько другие не тратят за всю жизнь. Изысканно одетый, чтобы понравиться бывшему садовнику Борромейских островов и его жене, в которых Родольф видел хранителей своего сокровища, он обошел сады, поглядывая время от времени на дом, но с осторожностью: старая чета проявляла к нему явное недоверие.

Внимание Родольфа было вскоре привлечено юной немой англичанкой; его проницательный взгляд угадал, что она родом из Африки или, по крайней мере, сицилианка. У этой девушки был золотистый, как гаванская сигара, цвет лица, огненные глаза, веки тяжелые, как у армянки, с длинными ресницами, что не часто встречается у англичанок, почти оливковая кожа, волосы, как вороново крыло; чувствовалось, что она чрезвычайно нервна, почти лихорадочно пылка. Немая испытующе, с любопытством поглядывала на Родольфа и следила за каждым его движением.

— Что это за мавританочка? — спросил он у почтенной госпожи Бергман.

— Она служит у англичан,— ответил г-н Бергман.

— Но родилась-то она не в Англии!

— Может быть, они привезли ее из Индии,— заметила г-жа Бергман.

— Мне сказали, что мисс Ловлес любит музыку, и я буду в восторге, если она разрешит мне музицировать вместе с нею, пока я вынужден жить на этом озере из-за предписаний врачей.

— Они никого не принимают и никого не хотят видеть,— возразил старый садовник.

Родольф вышел, кусая губы, не получив приглашения ни войти в дом, ни осмотреть цветники, разбитые между его фасадом и берегом. С этой стороны над первым этажом была устроена деревянная галерея с покатым навесом, шедшая, по швейцарскому обычаю, вдоль всего здания. Родольф похвалил изящество постройки и выразил предположение, что с галереи открывается чудесный вид, но все было напрасно. Простившись с Бергманами и оставшись один, он почувствовал себя дураком, как всякий одаренный умом и воображением человек, обескураженный неудачей плана, на успех которого рассчитывал.

Вечером Родольф катался на лодке по озеру, вокруг мыса; добрался до Брюнена, Швица и вернулся с наступлением ночи. Издалека он заметил открытое, ярко освещенное окно, слышал звуки фортепьяно и мелодичный голос. Молодой человек велел остановиться, чтобы насладиться чудесно исполняемой итальянской арией. Когда пение прекратилось, Родольф велел причалить к берегу, а затем отослал лодку и обоих гребцов. Рискуя замочить ноги, он уселся на куче изъеденных волнами камней, над которой возвышалась частая изгородь из колючих акаций; вдоль нее тянулась аллея молодых лип. Через час над головой Родольфа послышались шаги и разговор; долетевшие слова были итальянскими, их произносили два молодых женских голоса. Воспользовавшись моментом, когда собеседницы находились у одного конца изгороди, Родольф бесшумно проскользнул к противоположному концу. После получасовых усилий ему удалось найти место, откуда можно было, оставаясь незамеченным и неуслышанным, увидеть обеих женщин, когда они приблизятся к нему. Каково же было удивление Родольфа, когда он узнал в одной из женщин маленькую немую! Она говорила по-итальянски с мисс Ловлес. Было одиннадцать часов вечера. На озере и вокруг дома царила такая тишина, что обе женщины, долж-

но быть, чувствовали себя в безопасности; лишь они одни не спали во всем Жерсо. Родольф сообразил, что немота служанки была вынужденной хитростью. Судя по тому, как они говорили по-итальянски, это был их родной язык. Родольф заключил из этого, что они выдавали себя за англичанок из каких-то тайных побуждений.

«Это итальянки-эмигрантки,— подумал он,— изгнанницы, без сомнения, имеющие основания опасаться австрийской или сардинской полиции. Они ожидают наступления ночи, чтобы гулять и разговаривать в полной безопасности».

Тотчас же Родольф лег на землю и пополз вдоль изгороди, как змея, пока ему не удалось найти проход между двумя кустами акаций. Рискуя разорвать платье и оцарапать спину, он пробрался сквозь изгородь, когда мнимая мисс Фанни и ее мнимонемая служанка находились на другом конце аллеи; затем, когда они приблизились на расстояние двадцати шагов, по-прежнему не видя его, так как он скрывался в тени изгороди, довольно ярко освещенной луной, Родольф внезапно поднялся.

— Не бойтесь меня,— сказал он по-французски,— я не шпион. Вы эмигрантки, я догадался об этом. А я француз; один ваш взгляд приковал меня к Жерсо.

Внезапно Родольф почувствовал острую боль от стального лезвия, вонзившегося ему в бок, и упал навзничь.

— Nel lago con pietra [1],— шепнула ужасная немая.

— Ах, Джина! — воскликнула итальянка.

— Она промахнулась,— сказал Родольф, извлекая из раны стилет, натолкнувшийся на ребро.— Но чуточку повыше, и он попал бы прямо в сердце. Я виноват, Франческа,— продолжал он, вспомнив имя, несколько раз произнесенное маленькой Джиной,— я не сержусь, не браните ее! Счастье говорить с вами стоит удара кинжалом. Только покажите мне дорогу, мне надо вернуться в дом Штопферов. Будьте спокойны, я никому ничего не скажу.

Франческа, придя в себя от удивления, помогла Родольфу подняться и сказала несколько слов Джине, глаза которой наполнились слезами. Обе женщины усадили

---

[1] В озеро, с камнем! *(итал.)*

Родольфа на скамью, сняли с него верхнее платье, жилет, галстук. Джина расстегнула его рубашку и высосала из раны кровь. Франческа, оставив их на минуту вдвоем, вернулась с большим куском английского пластыря и приложила его к ране.

— Вы можете теперь дойти до дому,— сказала она.

Они взяли его под руку, и Родольф был отведен к калитке, ключ от которой находился в кармане передника Франчески.

— Говорит ли Джина по-французски? — спросил он ее.

— Нет. Но не волнуйтесь,— сказала Франческа с некоторым нетерпением.

— Позвольте мне посмотреть на вас! — продолжал с нежностью Родольф.— Ведь я, быть может, долго не смогу прийти.

Он прислонился к одному из столбов калитки и взглянул на прекрасную итальянку, позволившую любоваться ею целую минуту, среди дивной тишины, при свете луны, озарявшей красивейшее из швейцарских озер.

Франческа, в самом деле, представляла собой классический тип итальянки, именно такой, какой воображение представляет себе. Прежде всего Родольфу бросились в глаза изящество и грациозность ее фигуры, крепкой и сильной, несмотря на внешнюю хрупкость и гибкость. Легкая бледность, покрывшая ее лицо, выдавала внезапное волнение, но не могла скрыть неги, которою дышали ее влажные, бархатисто-черные глаза. Руки, столь красивые, что вряд ли какой-либо греческий скульптор мог изваять подобные, покоились на руке Родольфа; их белизна выделялась на черном фоне его сюртука. Неосторожный француз лишь мельком успел заметить овальную, слегка удлиненную форму лица Франчески, полуоткрытый, чуточку грустный рот со свежими, яркими губами, позволявший видеть блестящие зубы. Очертания ее лица были так прекрасны, что служили порукой долговечности ее ослепительной красоты; но больше всего поразили Родольфа восхитительная непринужденность и чисто итальянская искренность, с какими эта женщина отдавалась чувству сострадания.

Франческа сказала несколько слов Джине; последняя

отвела Родольфа под руку до самого дома Штопферов и, позвонив, скрылась, подобно ласточке.

«Однако эти патриоты скоры на руку! — подумал Родольф, почувствовав сильную боль, когда остался один, и лег в постель.— Nel lago! Джина бросила бы меня в озеро с камнем на шее!»

С рассветом он послал в Люцерн за лучшим хирургом; когда тот приехал, Родольф попросил его соблюдать строжайшую тайну, дав понять, что этого требует честь.

Леопольд вернулся из своей поездки в тот самый день, когда влюбленный юноша встал с постели. Родольф придумал предлог, объяснявший его нездоровье, и поручил другу поехать в Люцерн за вещами и письмами. Оттуда Леопольд привез ужасное, трагическое известие: мать Родольфа умерла. Роковое письмо, отправленное отцом Леопольда, пришло в Люцерн уже после их отъезда.

Несмотря на принятые Леопольдом предосторожности, Родольф заболел нервной горячкой. Лишь только будущий нотариус увидел, что его друг вне опасности, он уехал во Францию с доверенностью от него. Таким образом, Родольф остался в Жерсо, единственном месте, где его скорбь могла утихнуть. Положение молодого француза, его отчаяние и обстоятельства, вследствие которых потеря матери была для него тяжелее, чем для кого-нибудь другого, стали известны и привлекли к нему внимание и сочувствие всех жителей Жерсо. Каждое утро мнимая немая навещала француза, чтобы сообщить своей госпоже, как он себя чувствует.

Лишь только Родольф смог выходить, он отправился к Бергманам поблагодарить мисс Фанни Ловлес и ее отца за участие, с каким они отнеслись к нему. Старый итальянец впервые с тех пор, как поселился у Бергманов, позволил иностранцу посетить его жилище; Родольфа приняли очень радушно, сочувствуя постигшему его несчастью, а также потому, что он был французом, а это отводило от него всякие подозрения. Франческа была так красива этим вечером, при свечах, что в подавленное горем сердце Родольфа снова проник луч света. От ее улыбки в душе молодого человека, несмотря на траур, расцветали розы надежды. Она пела, но не веселые арии, а серьезные и торжественные мелодии, отвечавшие на-

строению Родольфа, который заметил эту трогательную предупредительность. В восемь часов вечера старик оставил их вдвоем, не проявляя никаких опасений, и удалился к себе. Когда пение утомило Франческу, она позвала Родольфа на внешнюю галерею, откуда открывался чудесный вид на озеро, и знаком предложила сесть рядом с ней на простой деревянной скамье.

— Не будет ли нескромностью спросить, сколько вам лет, cara [1] Франческа? — спросил Родольф.

— Двадцатый год,— ответила она.

— Если что-нибудь может облегчить мою скорбь,— продолжал он,— то это надежда, что отец позволит вам выйти за меня замуж. Богаты вы или бедны, вы так красивы, что кажетесь мне лучше дочери любого князя. Я трепещу, признаваясь вам в том чувстве, которое вы мне внушили, но оно глубоко и вечно.

— Zitto [2]! — сказала Франческа, приложив палец к губам.— Не говорите об этом. Я не свободна, я замужем, вот уже три года...

Несколько мгновений царило полное молчание. Когда итальянка, испуганная странной позой Родольфа, придвинулась к нему, то увидела, что он в обмороке.

«Povero [3]! — подумала она.— А я-то считала его хладнокровным!»

Она принесла нюхательную соль и с ее помощью привела Родольфа в чувство.

— Замужем! — воскликнул молодой человек, глядя на Франческу. И по его лицу обильно заструились слезы.

— Дитя! — сказала она.— Есть все же надежда. Моему мужу...

— Восемьдесят лет? — спросил Родольф.

— Нет,— ответила она, улыбаясь,— шестьдесят пять. Он притворяется дряхлым стариком, чтобы обмануть полицию.

— Дорогая,— сказал Родольф,— еще несколько подобных открытий, и я умру от волнения. Только после двадцатилетнего знакомства со мной вы поймете, сколько страстности в моем сердце, как оно жаждет счастья. Даже это растение,— продолжал он, указывая на виргин-

---

[1] Дорогая *(итал.)*.
[2] Тише! *(итал.)*
[3] Бедный! *(итал.)*

ский жасмин, обвивавший балюстраду,— не тянется так жадно к солнцу, чтобы расцвести под его лучами, как я привязался к вам за один этот месяц. Я люблю только вас одну. Это чувство будет тайным смыслом всей моей жизни, и я умру от него, быть может!

— Ох, уж эти мне французы! — воскликнула она, сопровождая слова недоверчивой улыбкой.

— Может быть, мне придется ждать и надеяться на время,— продолжал он серьезно,— но знайте: если слова, только что вырвавшиеся у вас, были искренни, то я всегда буду верен вам и не позволю никакому другому чувству проникнуть в мое сердце.

Она исподтишка взглянула на него.

— Ни одному,— продолжал он,— даже тени его. Мне нужно будет разбогатеть: вам необходима роскошь, ведь вы рождены быть принцессой...

При этих словах Франческа не могла удержаться от легкой усмешки, и ее лицо приняло восхитительное выражение, подобное тому, какое великий Леонардо так чудесно изобразил в Джоконде. Эта усмешка заставила Родольфа на миг умолкнуть.

— Да,— продолжал он.— Вы должны страдать от бедности, вызванной изгнанием. О, если вы хотите сделать меня счастливейшим из людей, освятить мою любовь, обращайтесь со мною, как с другом. Разве я не должен быть вашим другом? Бедная матушка оставила мне свои сбережения, целых шестьдесят тысяч франков; возьмите половину!

Франческа пристально взглянула на него. Этот быстрый взгляд проник в самую глубь души Родольфа.

— Мы ни в чем не нуждаемся,— ответила она серьезно.— Моего заработка нам хватает.

— Как я могу допустить, чтобы моя Франческа работала? — воскликнул он.— Когда-нибудь вы вернетесь на родину и вновь обретете все, что оставили там...

Молодая итальянка снова взглянула на Родольфа.

— Тогда вы отдадите то, что заняли у меня... оказав мне этим честь,— прибавил он, бросив на нее взгляд, говоривший о его чуткости.

— Оставим этот разговор,— сказала она. Ее движения, поза, взгляд были полны непередаваемого благородства.— Сделайте блестящую карьеру, станьте выдаю-

щимся человеком на родине, я так хочу. Слава — это мостик, по которому можно перейти через пропасть. Будьте честолюбивы, это необходимо. Я верю, что вы благородны, что у вас блестящие способности; но пользуйтесь ими не для того, чтобы заслужить мою любовь, а для блага человечества; от этого вы только выиграете в моих глазах.

Во время дальнейшего разговора, продолжавшегося около двух часов, Родольф обнаружил, что Франческа была восторженной сторонницей либеральных идей и свободы, совершившей тройную революцию в Неаполе, Пьемонте и Испании. Когда он уходил, Джина, мнимая немая, проводила его до дверей. В одиннадцать часов вечера на улицах не было ни души, нечего было бояться нескромных ушей; Родольф отвел Джину в сторону и обратился к ней шепотом на плохом итальянском языке:

— Скажи, кто твои хозяева, дитя мое? Я дам тебе эту новенькую золотую монетку.

— Мой господин,— ответила девушка, взяв золотой,— известный книготорговец Лампорани из Милана, один из вождей революции, заговорщик, которого австрийцам особенно хотелось бы заточить в Шпильберг-ский замок.

«Жена книготорговца! — подумал Родольф.— Тем лучше! Мы с нею равны».

— Из какой она семьи? — спросил он.— Ведь она выглядит как королева.

— Все итальянки таковы,— с гордостью ответила Джина.— Ее отца зовут Колонна.

Скромное общественное положение Франчески придало Родольфу смелости. Он велел натянуть над лодкой тент, а на корме положить подушки. Когда это было сделано, влюбленный предложил Франческе покататься по озеру. Итальянка приняла приглашение, продолжая играть для жителей деревни роль молодой мисс, но взяла с собой Джину. Все поступки Франчески Колонна говорили о том, что она получила превосходное воспитание и принадлежала к высшим кругам общества. В позе итальянки, усевшейся на корме, Родольф почувствовал какое-то отчуждение. Он собирался обращаться с ней непринужденно, но эта непринужденность сразу улетучилась при виде гордого, как у аристократки, выражения ее

лица. Стоило Франческе надменно взглянуть, как она превращалась в принцессу, обладающую всеми привилегиями, какие ей полагались в средние века. Она как будто угадывала тайные мысли своего вассала, имевшего дерзость считать себя ее покровителем. Еще до того, в обстановке гостиной, где принимала его Франческа, в ее туалете, в вещицах, которыми она пользовалась, Родольф замечал признаки высокого положения и большого богатства. Все эти обстоятельства одновременно пришли ему на память; подавленный достоинством, с каким держалась Франческа, он впал в задумчивость. Казалось, даже Джина, эта молоденькая наперсница, искоса посматривала на него не без насмешки. Явное несоответствие между манерами итальянки и ее званием было новой загадкой для Родольфа, заподозрившего какую-то новую хитрость, вроде мнимой немоты Джины.

— Куда вам угодно ехать, *синьора Лампорани?* — спросил он.

— К Люцерну,— ответила Франческа по-французски.

«Хорошо! — подумал Родольф.— Она не удивилась, услыхав от меня свою фамилию; хитрая, она, наверное, предвидела вопрос, заданный мною Джине».

— Что вас так восстановило против меня? — спросил он, усаживаясь рядом с ней и пытаясь взять ее за руку, но Франческа отдернула пальцы.— Вы холодны и церемонны; я сказал бы — даже резки.

— Это правда,— ответила она, улыбаясь.— Я виновата перед вами. Это нехорошо и слишком по-мещански. Вы, французы, сказали бы, что это — притворство. Но лучше объясниться, чем таить друг от друга враждебные мысли, а ведь вы уже доказали мне свою дружбу. Возможно, я зашла с вами слишком далеко. Должно быть, вы приняли меня за самую обыкновенную женщину...

Родольф отрицательно покачал головой.

— Да,— продолжала жена книготорговца, не обращая на это внимания.— Я заметила это и, конечно, призадумалась. Так вот, объясню все в двух словах, и это будет сущая правда. Знайте, Родольф: я достаточно сильна, чтобы задушить свое чувство, если оно не будет отвечать моим понятиям и взглядам на истинную лю-

бовь. Я могу любить так, как умеют любить лишь у нас в Италии; но я помню о долге; никакое опьянение не заставит меня забыть о нем. После того, как меня выдали замуж за этого бедного старика, не спросив моего согласия, я могла бы воспользоваться свободой, которую он предоставляет мне с таким великодушием; но после трехлетнего замужества я примирилась с брачными узами. Итак, даже под влиянием самой пылкой страсти, даже невольно, я не стану мечтать о свободе. Эмилио знает мой характер, знает, что мое сердце принадлежит мне, что я вольна отдать его, кому захочу; но он знает также, что я никому не позволю даже дотронуться до своей руки. Вот почему я только что не дала вам этого сделать. Я хочу, чтобы меня любили, чтобы меня терпеливо, верно, страстно ожидали; но на эту любовь я могу ответить лишь безграничной нежностью, не переступающей разрешенные для нее пределы. Теперь, когда вы все это поняли,— продолжала она с девически юным движением,— я вновь стану кокетливой, веселой, шаловливой, как ребенок, не видящей никакой опасности в фамильярности.

Это откровенное, чистосердечное признание было сделано таким тоном и сопровождалось таким взглядом, что нельзя было не поверить в его полную искренность.

— Княгиня Колонна не могла бы изъясняться лучше,— сказал Родольф, улыбаясь.

— Вы упрекаете меня за низкое происхождение? — высокомерно спросила она.— Разве для вашей любви нужен герб? В Милане над простыми лавками начертаны прекраснейшие имена: Сфорца, Канова, Висконти, Тривульцио, Урсини; есть Аркинто-аптекари; но поверьте, что хоть я только лавочница, но способна на такие же чувства, как и герцогиня.

— Упрекать? Нет, сударыня, я хотел только похвалить вас.

— Путем сравнения? — спросила она лукаво.

— Не мучьте меня,— продолжал он.— Хоть мои слова и плохо выражают чувства, но знайте, что моя любовь беззаветна, полна безграничной покорности и благоговения.

Франческа кивнула головой с довольным видом.

— Итак, сударь, вы принимаете мои условия?

— Да,— сказал Родольф.— Я понимаю, что желание любить не может исчезнуть из страстной и богато одаренной женской души, но чувство долга заставляет вас подавить это стремление. Ах, Франческа! В моем возрасте любить и быть любимым такой дивной, такой царственно прекрасной женщиной, как вы,— разве это не значит видеть все мои мечты сбывшимися? Любить вас той любовью, какою вы хотите,— разве это не значит быть застрахованным от всяких сумасбродств? Разве это не значит отдаться всецело благородной страсти, которою потом можно будет гордиться, страсти, оставляющей такие чудные воспоминания! Если бы вы знали, какую новую прелесть, какую поэтичность приобрели для меня благодаря вам эти горы — и Пилат, и Риги, и это чудесное озеро...

— Я хочу это знать,— сказала она с чуть лукавым простодушием итальянки.

— Знайте же, что эти дни всегда будут сиять в моей памяти, подобно бриллианту в диадеме королевы.

Вместо ответа Франческа положила свою руку на руку Родольфа.

— О дорогая, скажите: вы никогда не любили?

— Никогда!

— И вы позволите мне любить вас благородной любовью, ожидая, пока волею судьбы вы не станете моей?

Франческа слегка кивнула головой. Две крупные слезы скатились по щекам Родольфа.

— Что с вами? — спросила итальянка, на миг утратив свой царственный вид.

— У меня уже нет матери, и я не могу сказать ей, как я счастлив... Она покинула наш мир, не увидев того, что облегчило бы ее агонию...

— Чего же именно?

— Что ее любовь ко мне заменила другая, равная любовь.

— Povero mio! — воскликнула растроганная Франческа.— Поверьте мне,— продолжала она, помолчав,— когда женщина знает, что она для любящего — все на свете, что он одинок, лишен семьи, что у него в сердце нет ничего, кроме любви к ней, и он целиком, весь ей принадлежит,— это большое счастье, побуждающее к верности.

После такого разговора сердца влюбленных объемлет дивный покой, глубочайший душевный мир. Любовь нуждается в уверенности; такая уверенность присуща религиозному чувству, когда человек твердо знает, что бог ему воздаст. Только при таком сходстве с любовью к богу приобретает уверенность и земная любовь. Нужно самому испытать блаженство этих единственных в жизни минут, чтобы постичь его; оно не возвращается, как не возвращаются волнения юности. Верить женщине, сделать ее земным божеством, основой своей жизни, сокровенным предметом всех помыслов! Разве это не все равно, что родиться вторично? К любви юноши примешивается тогда частичка той любви, какую он питает к матери.

Некоторое время Родольф и Франческа хранили полное молчание, обмениваясь лишь взглядами, полными глубокого значения. Они без слов понимали друг друга, и красота окружающей природы, воспринятая их сердцами, помогала им навсегда запечатлеть в памяти даже самые мимолетные переживания этого часа, единственного в своем роде. Поведение Франчески было благородно, возвышенно, без всяких задних мыслей и кокетства. Это величие глубоко поразило Родольфа, понявшего всю разницу между француженкой и итальянкой. Водная гладь, земля, небо, любимая женщина — все это было величественно и в то же время дышало мягкостью; их любовь расцветала среди грандиозного и роскошного ландшафта. Суровость снежных вершин, их резкие линии, отчетливо выделявшиеся на лазурном фоне, напоминали Родольфу об условиях, ограничивавших его счастье; оно казалось ему такой же прекрасной страной, окруженной снежными горами.

Но это сладостное упоение было вскоре нарушено. Из Люцерна навстречу им плыла лодка: Джина, уже давно внимательно вглядывавшаяся в нее, сделала радостное движение, не забыв, однако, свою роль немой. Лодка приближалась, и наконец Франческа могла различить лица сидевших в ней людей.

— Тито! — воскликнула она, заметив среди них молодого человека.

Она вскочила, рискуя свалиться в воду, и, размахивая платком, продолжала кричать:

— Тито! Тито!

Тито приказал лодочникам грести быстрее, и вскоре обе лодки поравнялись. Итальянка и итальянец заговорили так быстро, на диалекте, столь мало знакомом человеку, знающему этот язык лишь по книгам и никогда не бывавшему в Италии, что Родольф ничего не мог ни понять, ни угадать из их разговора. Но красота Тито, фамильярность Франчески, радость Джины — все это его огорчило. Впрочем, тот не влюблен по-настоящему, кто не испытывает недовольства, видя, что его покидают ради кого бы то ни было. Тито торопливо бросил Джине кожаный мешочек, вероятно, с золотом, а Франческе передал пакет с письмами, за чтение которых она и принялась, махнув Тито рукой в знак прощания.

— Скорее возвращайтесь в Жерсо,— сказала лодочникам молодая женщина.— Я не хочу, чтобы мой бедный Эмилио томился лишних десять минут.

— Что случилось? — спросил Родольф, когда итальянка прочла последнее письмо.

— La liberta! [1]— воскликнула она с энтузиазмом.

— E denaro! [2] — ответила, как эхо, Джина, обретя дар слова.

— Да,— продолжала Франческа,— конец невзгодам! Я работаю уже почти целый год, и это уже начинает мне надоедать. Право, в писательницы я не гожусь.

— Кто этот Тито? — спросил Родольф.

— Секретарь финансового отдела бедной лавочки Колонна, иначе говоря, сын нашего ragionato [3]. Бедняга! Сюда нельзя было приехать ни через Сен-Готард, ни через Мон-Сенис, ни через Симплон; он добрался морем, через Марсель, а затем ему пришлось пересечь всю Францию. Через три недели мы будем в Женеве. Конец нашим бедам! Ну, Родольф,— прибавила она, подметив облачко грусти на лице парижанина,— чем Женевское озеро хуже Фирвальдштетского?

— Мне все-таки трудно будет забыть прелестный домик Бергманов! — вздохнул Родольф, указывая на мыс.

---

[1] Свобода! *(итал.)*
[2] И деньги! *(итал.)*
[3] Умника *(итал.)*.

— Приходите обедать к нам, чтобы у вас осталось побольше воспоминаний, povero mio,— ответила Франческа.— Сегодня для нас праздник, мы вне опасности. Мать пишет, что через год, возможно, мы будем уже амнистированы. O cara patria! [1]

Эти слова вызвали слезы у Джины.

— Еще одна зима, и я умерла бы здесь! — заметила она.

— Бедная сицилийская козочка! — воскликнула Франческа, проведя рукой по голове Джины так нежно, что Родольфу невольно захотелось этой ласки, хотя в ней и не было любви.

Лодка причалила к берегу, Родольф соскочил на песок, подал итальянке руку, проводил ее до ворот дома Бергманов и побежал переодеваться, горя желанием вернуться как можно скорее.

Найдя книготорговца и его супругу на наружной галерее, Родольф еле сдержал удивленное восклицание при виде чудесной перемены, происшедшей с девяностолетним старцем благодаря хорошим вестям. Он увидел перед собою человека лет шестидесяти, прекрасно сохранившегося сухопарого итальянца, прямого, как палка. Его волосы оставались черными, хотя уже поредели и сквозь них просвечивал череп. У него были живые глаза, белые, целиком сохранившиеся зубы, лицо Цезаря, рот дипломата, улыбающийся слегка сардонической, обманчивой улыбкой, которою хорошо воспитанный человек маскирует свои настоящие чувства.

— Вот мой муж в его истинном облике,— сказала важно Франческа.

— Но это совсем другой человек,— возразил озадаченный Родольф.

— Совсем другой,— подтвердил книготорговец.— Я играл комедию, ведь я прекрасно умею гримироваться. Да, мне приходилось играть в Париже времен Империи с Бурьеном, княгиней Мюрат, госпожой д'Абрантес e tutti quanti [2]. Все, чему даешь себе труд научиться в молодости, даже пустяки, впоследствии пригодится. Если бы моя жена не получила почти мужского воспитания, в про-

---

[1] О дорогая родина! *(итал.)*

[2] И многими другими *(итал.)*.

тивоположность обычно принятому в Италии, мне пришлось бы сделаться дровосеком, а то не на что было бы здесь жить. Povera Франческа! Кто бы мог подумать, что ей придется когда-нибудь добывать для меня средства к жизни?

Слушая этого достойного книготорговца, столь непринужденного, приветливого и бодрого, Родольф вновь почуял какую-то мистификацию и настороженно молчал, как человек, которого провели.

— Che avete, signor? [1] — простодушно спросила его Франческа.— Разве наше счастье огорчает вас?

— Но ваш муж еще молодой человек! — шепнул он ей на ухо.

Она залилась смехом, таким искренним и заразительным, что Родольф еще более смутился.

— Ему всего лишь шестьдесят пять лет, если хотите знать,— сказала она,— но, уверяю вас, это еще довольно... утешительно.

— Мне не нравится, что вы подшучиваете над святостью любви, условия которой поставили сами.

— Zitto! — воскликнула итальянка, топнув ногой и оглянувшись, не слушает ли их муж.— Никогда не нарушайте спокойствия души этого славного человека, чистосердечного, как ребенок: я делаю с ним все, что хочу. Он под моим покровительством,— прибавила она.— Если бы вы знали, как великодушно мой муж рисковал и жизнью и богатством из-за моего либерализма! Ведь он не разделяет моих политических взглядов. Разве это не любовь, господин француз? Но такова уж вся их семья. Та, которую любил младший брат Эмилио, изменила ему с красивым молодым человеком; мой деверь пронзил себе сердце кинжалом, сказав своему камердинеру за десять минут до смерти: «Я мог бы убить соперника, но это слишком опечалило бы mia diva» [2].

В эту минуту Франческа казалась необычайно привлекательной: в ее поведении смешивались и благородство, и шутливость, и серьезность, и ребячливость. За обедом и в течение остального вечера царило веселье,

---

[1] Что с вами, сударь? *(итал.)*
[2] Мою божественную *(итал.)*.

объяснявшееся возвращением четы эмигрантов на родину, но огорчавшее Родольфа.

«Неужели она легкомысленна? — спрашивал он себя, возвращаясь в дом Штопферов.— Но она приняла участие в моей скорби, а я не разделяю ее радости!»

Родольф стал укорять себя, оправдывая эту женщину, сохранившую всю непосредственность девушки.

«В ней нет ни малейшего притворства, она вся отдается настроению минуты,— сказал он себе.— Разве можно ожидать от нее, чтобы она вела себя, как парижанка?»

И другой день и следующие, целых три недели, Родольф проводил все свое время в доме Бергманов: он невольно наблюдал за Франческой, хотя и не собирался этого делать. Иногда любовь не может обойтись без анализа. Молодой француз увидел, что Франческа неосторожна, как молодая девушка, и непосредственна, как женщина, еще никем не покоренная, которая иногда борется с любовью, а по временам не противится ей. Старик обращался с нею, как отец с дочерью, и Франческа явно испытывала к нему глубокую признательность, инстинктивно пробуждавшую в ней благородство. Эти отношения, эта женщина представляли для Родольфа непостижимую загадку, которую ему все более и более хотелось разгадать.

Последние дни были полны тайной радостью, смешанной с печалью, протестами и маленькими ссорами, имевшими для Родольфа и Франчески еще больше прелести, чем часы мирного согласия. Все больше и больше его пленяло чистосердечие любви, лишенной рассудочности, верной себе во всем, любви, уже способной вызывать ревность даже из-за пустяков!

— Вы очень любите роскошь! — сказал он однажды вечером Франческе, выражавшей желание поскорее уехать из Жерсо, где ей многого не хватало.

— Роскошь? — возразила она.— Я люблю ее, как люблю искусство, картины Рафаэля, красивых лошадей, чудную погоду, Неаполитанский залив... Эмилио,— обратилась она к мужу,— жаловалась ли я хоть на что-нибудь, пока мы нуждались?

— Ты не была бы сама собой, если б стала жаловаться — серьезно ответил старый книготорговец.

— В конце концов ведь стремление к роскоши вполне естественно для буржуа,— продолжала Франческа, лукаво взглянув на Родольфа и мужа.— Разве мои ноги (она протянула вперед прелестную ножку) созданы для того, чтобы уставать? Разве мои руки (она подала Родольфу одну из них) созданы для работы? Оставьте нас вдвоем,— попросила она мужа,— я хочу с ним поговорить.

Старик спокойно вернулся в гостиную; он вполне доверял жене.

— Я не хочу,— сказала итальянка,— чтобы вы поехали с нами в Женеву. Это город, где любят сплетничать. Хотя я выше подобных пустяков, но не желаю, чтобы мое имя порочили, это нужно не ради меня, а ради *него*. Моя гордость в том, чтобы этот старик, мой единственный покровитель к тому же, мог также гордиться мною. Мы уезжаем, а вы останьтесь здесь еще на несколько дней. Когда приедете в Женеву, повидайтесь сначала с моим мужем, пусть он представит вас мне. Скроем от взоров света нашу глубокую, неизменную любовь. Я люблю вас, вы знаете, и докажу это: в моем поведении вы не заметите ничего, что могло бы пробудить вашу ревность.

Она увлекла Родольфа в угол галереи, взяла обеими руками его голову, поцеловала в лоб и скрылась, оставив молодого человека в оцепенении.

На другой день Родольф узнал, что рано утром жильцы дома Бергманов уехали. С этой минуты пребывание в Жерсо показалось ему невыносимым, и он отправился в Веве самой длинной дорогой, но все же путешествуя быстрее, чем следовало бы. Плененный красотами озера, на берегах которого его ожидала прекрасная итальянка, он приехал в Женеву лишь к концу октября. Желая избежать неудобств, связанных с жизнью в городе, Родольф нанял комнату в доме, расположенном на О-вив, за городской чертой. Поселившись там, он первым делом спросил хозяина, бывшего ювелира, не приезжали ли недавно в Женеву итальянские эмигранты, миланцы.

— Нет, насколько мне известно,— ответил хозяин.— Князь и княгиня Колонна, из Рима, сняли недавно на три года виллу Жанрено, одну из красивейших на озере.

Она находится между виллой Диодати и виллой Лафендедье, которая сдана виконтессе де Босеан. Князь Колонна приехал сюда, чтобы встретиться с дочерью и зятем, князем Гандольфини, неаполитанцем или, скорее, сицилийцем, бывшим сторонником короля Мюрата и жертвой последней революции. Гандольфини только что приехали в Женеву, но ведь они не миланцы. Пришлось много хлопотать и прибегнуть к покровительству папы, благоволящего к роду Колонна, пока иностранные державы и неаполитанский король не согласились, чтобы князь и княгиня Гандольфини поселились здесь. Женева ничего не хочет делать против воли Священного Союза, которому она обязана своей независимостью. Раздражать иностранные дворы не в наших интересах. Здесь много иностранцев: русских, англичан.

— Но есть же и женевцы?

— Да, сударь. Наше озеро так красиво! Лорд Байрон жил здесь около семи лет на вилле Диодати; ее теперь все посещают, как посещают Коппе и Ферней.

— Не можете ли вы узнать, приехал ли сюда с неделю назад миланский книготорговец с женой, по имени Лампорани, один из вождей последней революции?

— Постараюсь узнать это в Иностранном клубе,— ответил бывший ювелир.

Первая прогулка Родольфа имела, конечно, своей целью виллу Диодати, где жил когда-то лорд Байрон. Недавняя смерть великого поэта придавала этой вилле еще больше обаяния: ведь человека признают гением лишь после смерти. Дорога из О-вив, идущая вдоль берега Женевского озера, довольно узка, как и все дороги в Швейцарии; кое-где местность так гориста, что две кареты с трудом могут разъехаться. Недалеко от виллы Жанрено, мимо которой, сам того не зная, Родольф проходил, он услыхал за спиной стук колес и вскарабкался на утес, чтобы дать экипажу проехать. Разумеется, Родольф взглянул на приближающуюся карету: это была изящная коляска, запряженная парой великолепных английских лошадей. У молодого человека закружилась голова, когда он увидел в коляске превосходно одетую Франческу, рядом со старой дамой, чье лицо было неподвижно, как у камеи. Сверкающий галунами грум стоял на запятках.

Франческа узнала Родольфа и улыбнулась, видя, что он замер, точно статуя на пьедестале. Карета, за которой влюбленный следил взглядом, преодолела подъем и въехала в ворота виллы. Родольф подбежал туда.

— Скажите, кто здесь живет? — спросил он садовника.

— Князь и княгиня Колонна, а также князь и княгиня Гандольфини.

— Княгини только что вернулись?

— Да, сударь.

В один миг завеса спала с глаз Родольфа: ему стало ясно все, что произошло.

«Лишь бы это была последняя мистификация!» — подумал он, совершенно потрясенный.

Родольф затрепетал при мысли, что сделался, быть может, игрушкой каприза; ведь он слыхал, что такое capriccio [1] итальянки. К тому же он совершил преступление в глазах женщины: принять княгиню, урожденную Колонна, за простую мещанку! Принять особу, принадлежащую к одному из знатнейших семейств средневековья, за жену книготорговца! Сознание наделанных промахов усилило у Родольфа желание узнать, не будет ли он теперь отвергнут. Влюбленный велел передать князю Гандольфини свою карточку и был тотчас же принят мнимым Ламporани, который вышел к нему навстречу, обошелся с ним чрезвычайно любезно, по-неаполитански приветливо и повел его на террасу, откуда открывался вид на Женеву, Юру с ее холмами, усеянными виллами, и на уходящие вдаль берега озера.

— Как видите, моя жена верна озерам,— сказал князь, показав гостю пейзаж во всех подробностях.— Сегодня вечером у нас будет нечто вроде концерта,— прибавил он, возвращаясь с Родольфом к великолепной вилле Жанрено,— и я надеюсь, что вы доставите мне и княгине удовольствие, посетив нас. Два месяца невзгод, проведенных вместе, равны нескольким годам дружбы.

Хотя Родольфа и обуревало жгучее желание увидеть княгиню сейчас же, он не решился просить позволения и медленно вернулся в О-вив, поглощенный мыслями о предстоящем вечере. За несколько часов его любовь, как

---

[1] Каприз *(итал.)*.

велика она ни была, выросла еще более из-за душевной тревоги, с которой он ожидал новых событий. Теперь Родольф понимал, как необходимо ему приобрести славу, известность, чтобы занять в обществе место, достойное его кумира. Простота и непринужденность прежнего обращения Франчески теперь еще больше возвышали ее в глазах влюбленного. Надменный от природы вид княгини Колонна приводил Родольфа в трепет: отец и мать Франчески могли отнестись к нему враждебно, по крайней мере он имел основания так думать. Но то, что его просили соблюдать тайну, казалось несомненным подтверждением любви. Не желая подвергать их будущее опасности, итальянка тем самым давала понять, что любит его.

Но вот пробило девять часов, Родольф мог сесть в экипаж и велеть, сдерживая хорошо понятное для нас волнение:

— На виллу Жанрено!

Он вошел в гостиную, полную знатных иностранцев, но вынужден был остановиться у дверей, так как в этот момент пели дуэт Россини. Зато он смог увидеть Франческу, будучи сам незамеченным. Княгиня стояла в двух шагах от рояля. Золотой обруч охватывал ее чудные волосы, густые и длинные. Лицо, озаренное свечами, сияло белизной, свойственной итальянкам и особенно выделяющейся при искусственном свете. Она была в бальном платье, позволявшем любоваться обворожительными плечами, девически юной талией и руками античной статуи. Эта дивная красота не имела себе равных, хотя здесь были прелестные англичанки и русские, красивейшие женщины Женевы, а также другие итальянки; среди них блистали княгиня Варезе и знаменитая певица Тинти, которая как раз в эту минуту пела.

Родольф, прислонившись к двери, смотрел на княгиню Гандольфини, устремив на нее пристальный, упорный, магнетизирующий взгляд; в него была вложена вся сила человеческой воли, какая только может быть сосредоточена в желании, принимающем иногда характер властного приказа. Заметила ли Франческа этот пламенный взор? Ждала ли она сама с минуты на минуту появления Родольфа? Но через некоторое время ее глаза обратились к дверям, как будто их достиг этот ток люб-

ви, и, не колеблясь, встретились с глазами Родольфа. Легкая дрожь пробежала по ее чудному лицу и прекрасному телу: душа молодой женщины испытала ответное потрясение. Франческа покраснела. Родольф ожил от этого обмена взглядами, столь быстрого, что его можно сравнить лишь с молнией. Но с чем можно было сравнить счастье Родольфа? Он был любим! Величественная княгиня и здесь, в прекрасной вилле Жанрено, окруженная блестящим обществом, осталась верною слову, данному бедной изгнанницей, капризницей из дома Бергманов! Упоение такой минуты делает человека рабом на всю остальную жизнь. Едва заметная улыбка, прелестная и лукавая, искренняя и торжествующая, пробежала по губам княгини Гандольфини; улучив момент, когда на нее не смотрели, она взглянула на Родольфа с таким видом, словно просила прощения за то, что скрыла свое настоящее звание.

Когда дуэт кончился, Родольф мог подойти к князю, который учтиво подвел его к своей супруге. Молодого француза с соблюдением всех церемоний официально представили Франческе, а затем князю и княгине Колонна. Когда с этим было покончено, Франческа приняла участие в знаменитом квартете «Mi manca la voce» [1], исполняемом ею, Тинти, прославленным тенором Дженовезе и известным итальянским князем, бывшим тогда в изгнании; если бы он не был князем, то стал бы благодаря своему голосу одним из властителей сцены.

— Присядьте здесь,— сказала Франческа Родольфу, указывая ему на свое собственное кресло.— Oime! [2] Кажется, в моем имени была маленькая ошибка: с минуту назад я почувствовала себя княгиней Родольфини!

Это было сказано так грациозно, очаровательно и чистосердечно, что признание, скрытое за шуткой, напомнило счастливые дни, проведенные в Жерсо. Родольф испытал сладостное упоение, слушая голос обожаемой женщины, находившейся так близко, что его щека почти касалась ткани ее платья и газового шарфа. И если в подобный момент поют «Mi manca la voce» и квартет этот исполняется лучшими певцами Италии, то

---

[1] «Мне изменяет голос» *(итал.)*.

[2] Ой! *(итал.)*.

легко понять, почему на глазах Родольфа выступили слезы.

В любви, как, может быть, и во всем другом, есть мелочи, маловажные сами по себе, но вызванные множеством предшествующих им незначительных обстоятельств; такие мелочи приобретают огромное значение, подводя итог прошлому, приближая будущее. Можно много раз чувствовать, как дорога́ любимая женщина, но какой-нибудь пустяк, тесное соприкосновение душ, вызванное каким-либо словом во время прогулки, каким-либо неожиданным знаком любви, доводит это чувство до наивысшей степени. Если воспользоваться образом, имеющим бесспорный успех с того времени, как существует мир, то можно сказать, что в длинной цепи обязательно бывают точки, где сцепление больше, чем в остальной гирлянде звеньев. Взаимное признание, которым, невзирая на присутствие общества, обменялись этим вечером Родольф и Франческа, было одним из таких кульминационных моментов; они связывают будущее с прошлым и словно гвоздями прибивают к сердцу настоящую любовь. Быть может, об этих-то гвоздях и думал Боссюэ, говоря о том, сколь редки счастливые минуты в нашей жизни, Боссюэ, любивший сам так горячо и затаенно!

За наслаждением, какое испытываешь, восхищаясь любимой женщиной, следует другое — видеть, как ею восхищаются все: Родольф вкусил и то и другое. Любовь — сокровищница воспоминаний, и хотя у Родольфа она была уже полна, он присоединил к своему кладу еще новые, самые драгоценные жемчужины: улыбки, брошенные мимоходом ему одному, беглые взгляды, модуляции голоса, когда Франческа пела; они были предназначены для него и заставили Тинти побледнеть от зависти — так все аплодировали. Всей силой страсти Родольф устремился к прекрасной римлянке; в этом желании выливалась вся его душа; Франческа навсегда стала неотъемлемой основой, началом и концом всех его мыслей и поступков. Родольф любил такой любовью, о которой мечтают все женщины, любил так горячо, постоянно, упорно, что итальянка стала частицей его сердца, вошла в его кровь, сделав ее чище, вошла в его душу, сделав ее совершеннее; думы о Франческе таились под всеми его побуждениями, как золотистый песок —

под волнами Средиземного моря. Словом, надежды воодушевляли Родольфа.

Через несколько дней Франческа поняла всю беспредельность его любви: это чувство было столь искренне, что вполне заслуживало отклика, но Франческу оно не удивляло: она была достойна такого поклонения.

Прогуливаясь по террасе сада с Родольфом и подметив в нем выражение самодовольства, часто встречающееся у французов, когда они изъясняются в своих чувствах, она сказала:

— Если бы вы любили молодую, красивую женщину, в достаточной мере талантливую, чтобы зарабатывать себе средства к жизни, подобно Тинти, и могущую польстить вашему тщеславию, в этом не было бы ничего особенного, ничего необычного. Какой дурак не постарался бы тогда стать Амадисом *? Не об этом идет речь у нас с вами: нужно любить годами, на расстоянии, храня верность и постоянство и не имея никакой другой отрады, кроме мысли, что вы любимы.

— Увы,— сказал Родольф,— когда вы заметите, как я целиком поглощен ненасытным честолюбием, не покажется ли вам, что моя верность ничего не стоит? Или, по-вашему, я захочу, чтобы вы когда-нибудь переменили славное имя княгини Гандольфини на фамилию ничего не значащего человека? Я намерен стать у себя на родине одним из выдающихся людей, богатым, великим, чтобы вы могли так же гордиться моим именем, как именем Колонна.

— Я была бы очень огорчена, не найдя в вашем сердце подобных чувств,— ответила Франческа с обворожительной улыбкой.— Но не сжигайте себя на огне честолюбия, оставайтесь молодым. Говорят, от политики мужчины рано стареют.

Редко случается, чтобы врожденная веселость женщины не отражалась на ее способности любить. Но именно подобное сочетание глубокого чувства с шаловливостью, свойственной юному возрасту, и придавало сейчас Франческе такую прелесть. В этом был ключ к ее характеру: она смеялась и в то же время могла казаться растроганной, восторгалась и тут же переходила, с непринужденностью и непосредственностью, к тонкой насмешке. Благодаря этому она и была обворожитель-

ной, прелестной женщиной, известной ныне далеко за пределами Италии. Но под чисто женской обаятельностью таилось серьезное образование, полученное благодаря крайне монотонной, почти монашеской жизни в старом замке Колонна. Этой богатой наследнице предстояло принять постриг, так как она была четвертым ребенком в княжеской семье, но из-за смерти обоих братьев и старшей сестры Франческа внезапно вернулась к светской жизни и стала одной из красивейших невест Италии. Ее старшая сестра была помолвлена с князем Гандольфини, богатым сицилийским землевладельцем; чтобы не расстраивать семейные связи, Франческу выдали за него замуж (Колонна и Гандольфини всегда роднились между собой). С девяти до шестнадцати лет Франческа под руководством домашнего капеллана прочла всю библиотеку семьи Колонна; изучением наук, искусств и литературы она обманывала свое пылкое воображение. Но учение развило в ней любовь к свободе и внушило ей либеральные идеи, заставившие ее вместе с мужем принять участие в революции. Родольфу не было известно, что, кроме пяти современных языков, Франческа знала греческий, латынь, древнееврейский. Прелестная итальянка отлично понимала, что хорошо образованной женщине непременно нужно хранить свои знания в тайне ото всех.

Родольф провел в Женеве всю зиму. Она промелькнула, словно один день. С приходом весны наш влюбленный, несмотря на наслаждение, доставляемое ему обществом молодой, веселой, умной, превосходно образованной женщины, начал испытывать жестокие страдания, хотя мужественно переносил их. Но все же они отражались на его лице, проглядывали в его обращении и разговоре, быть может, потому, что Франческа, как ему казалось, не разделяла этих мук. Иногда его раздражало ее восхитительное спокойствие: подобно англичанкам, она считала вопросом самолюбия, чтобы ее лицо оставалось непроницаемым, как будто бросая своей безмятежностью вызов любви. Родольфу хотелось бы своими глазами видеть волнение Франчески, и он обвинял ее в бесчувственности, веря предрассудку, приписывающему итальянкам лихорадочную экспансивность.

— Я римлянка,— важно ответила ему однажды

Франческа, приняв всерьез несколько шуток, отпущенных Родольфом по этому поводу.

Ответ был сделан серьезным тоном, но с оттенком едкой иронии, приведшей Родольфа в трепет.

Наступил май, распускалась молодая листва, солнце иногда светило по-летнему. Оба влюбленных стояли, облокотившись на каменную балюстраду; там, где край террасы спускался отвесно к озеру, балюстрада заканчивалась лестницей, по которой обычно сходили вниз, чтобы сесть в лодку. От подобной же пристани, видневшейся у соседней виллы, отделился похожий на лебедь ялик с разноцветным шатром, вымпелом и пунцовым тентом в виде балдахина. Под ним на красных подушках небрежно сидела красивая дама с цветами в волосах. С нею был молодой человек, одетый по-матросски; он греб с тем большей грациозностью, что дама не отрывалась от него взглядом.

— Они счастливы!—промолвил Родольф с горечью.— Клара Бургундская, последняя представительница единственного рода, могущего соперничать с родом французских королей...

— О, она принадлежит к побочной ветви, да еще по женской линии...

— Все-таки она виконтесса де Босеан, и она не побоялась...

— Не побоялась уединиться с Гастоном де Нюэйль в глуши,— подхватила дочь князя Колонна.— Но она француженка, а я итальянка!

Франческа отошла от балюстрады, оставив Родольфа, и удалилась на другой конец террасы, откуда открывалась обширная гладь озера. Видя, как медленно она идет, Родольф понял, что причинил боль этой женщине, чистосердечной и умной, гордой и скромной в одно и то же время. Встревоженный, он последовал за Франческой; та сделала ему знак, чтобы он оставил ее одну, но Родольф не обратил на это внимания и, подойдя, увидел, что она вытирает слезы. Плакать при таком твердом характере!

— Франческа,— сказал он, взяв ее за руку,— неужели я чем-нибудь обидел тебя?

Она промолчала, высвободила руку, комкавшую вышитый платок, и снова вытерла глаза.

— Прости! — повторил Родольф и в горячем порыве стал целовать ее глаза, осушая слезы поцелуями.

Франческа была так сильно расстроена, что не заметила этого порыва страсти. Приняв это за разрешение, Родольф набрался смелости, обнял итальянку за талию, привлек к себе и поцеловал в губы; но она освободилась движением, полным оскорбленного целомудрия, отошла на несколько шагов и сказала, глядя на него без гнева, но решительно:

— Уезжайте сегодня же вечером, мы увидимся только в Неаполе.

Несмотря на всю суровость этого приказания, оно было безропотно выполнено, ибо такова была воля Франчески.

Вернувшись в Париж, Родольф получил портрет княгини Гандольфини, кисти Шиммера, написанный со свойственным этому художнику искусством. Отправляясь в Италию, Шиммер проезжал через Женеву; Родольф, зная, что он наотрез отказался написать портреты нескольких дам, не мог себе представить, как это князю, при всем его желании иметь портрет жены, удалось победить упрямство знаменитого живописца. Оказалось, последнего пленила Франческа и добилась (что граничило с чудом) даже двух портретов: оригинала — для Родольфа и копии — для Эмилио. Об этом ему рассказывали в прелестном и нежном письме, где Франческа вознаграждала себя за сдержанность, к которой до сих пор ее принуждала необходимость соблюдать приличия. Так завязалась переписка между Родольфом и Франческой, длящаяся до сих пор, единственная отрада, какую они позволяли себе.

Родольф, исполненный честолюбия (оправдываемого, впрочем, любовью), тотчас же принялся за дело. Прежде всего он решил разбогатеть и отважился на рискованную затею, вложив в нее все свои деньги и силы; но его молодая неопытность была побеждена обманом. На это широко задуманное дело ушло три года, поглотивших много усилий и бодрости.

В то самое время, когда Родольф потерпел неудачу, министерство Виллеля пало. Тотчас же неутомимый влюбленный решил добиваться на политической арене того, чего ему не удалось достичь в области промыш-

ленности. Но прежде, чем вступить на новое, бурное поприще, он отправился, страдая и томясь, в Неаполь, чтобы залечить раны и почерпнуть новое мужество. При восшествии на престол нового короля князь и княгиня Гандольфини были призваны ко двору и восстановлены во всех правах. Дни, проведенные в Неаполе, были для Родольфа сладостным отдыхом среди борьбы; он прожил три месяца на вилле Гандольфини, вновь лелеемый надеждами.

Затем Родольф снова принялся добиваться успеха. Уже его таланты были отмечены, уже готовы были осуществиться честолюбивые мечты, уже ему был обещан важный пост в награду за преданность и оказанные услуги, как разразилась гроза 1830 года, и его корабль опять потерпел крушение...

Бог и любимая женщина были свидетелями мужественных усилий, смелых попыток одаренного молодого человека, которому до сих пор не хватало лишь удачи, столь часто выпадающей на долю дураков! Но неутомимый борец вновь бросается в схватку, поддерживаемый любовью, ободряемый дружеским взглядом, уповая на верное сердце любимой женщины...

Влюбленные, молитесь за него!

Розали с жадностью проглотила этот рассказ; щеки ее пылали, она горела, как в лихорадке, и чуть не плакала от боли. Эта повесть, отразившая модное тогда литературное течение, была первой вещью в этом роде, прочитанной Розали. В ней изображалась любовь рукой хоть не мастера, но, по крайней мере, человека, делившегося, видимо, собственными переживаниями; искренность рассказа, правда, написанного неумело, не могла не тронуть еще девственную душу. Но не в этом была причина ее волнения, лихорадки и слез: Розали ревновала к Франческе Колонна. Мадемуазель де Ватвиль не сомневалась в правдивости повествования, полного поэзии. Альбер хотел доставить себе удовольствие, поведав о возникновении своей любви; при этом он, разумеется, изменил имена, а может быть, и места действия. Девушку охватило непреодолимое любопытство. Да и какая другая женщина не захотела бы в ее положе-

нии узнать настоящее имя соперницы? Ведь Розали полюбила! Читая эти страницы, заразившие ее страстью, она произнесла торжественные слова: «Я люблю!». Она любила Альбера и испытывала в глубине сердца жгучее желание бороться, отнять его у неизвестной соперницы. Ей пришло на ум, что она не училась музыке и некрасива. «Он никогда не полюбит меня!» — сказала она себе. Эта мысль удвоила ее желание узнать, не ошибается ли она, в самом ли деле Альбер любил итальянскую княгиню и был любим.

В эту роковую ночь Розали полностью проявила тот быстрый и решительный ум, каким отличался ее знаменитый предок. В ее голове зарождались причудливые планы, которые почти всегда витают в воображении девушек, оставленных неблагоразумными матерями в одиночестве; их фантазия воспламеняется каким-либо необычайным происшествием, чего не может ни предвидеть, ни предотвратить тот систематический гнет, которому они подвергаются. То Розали собиралась с помощью лестницы спуститься из беседки в сад дома, где жил Альбер, воспользоваться его сном, чтобы заглянуть через окно в кабинет, то она искала предлог, как написать ему, как преодолеть косность безансонского общества, введя Альбера в гостиную де Рюптов. Наконец, у нее появилась мысль, как осуществить этот план, который даже самому аббату де Грансей показался бы верхом невозможного.

«Ах, да,— подумала Розали,— ведь у папеньки есть тяжба, связанная с имением Руксей. Я поеду туда; если процесс еще не ведется, я заставлю начать его, и Альбер появится в нашей гостиной! — воскликнула девушка, кидаясь к окну, чтобы увидеть свет, горевший по ночам у Альбера и притягивавший ее. Пробил час ночи, адвокат еще спал.— Я увижу его, когда он встанет; может быть, он подойдет к окну».

Тут Розали оказалась свидетельницей происшествия, которое доставило ей возможность узнать тайны Альбера. При свете луны она увидела, как из беседки протянулись две руки и помогли Жерому, слуге Альбера, перелезть через стену и пробраться в беседку. В соучастнице Жерома Розали тотчас же узнала горничную матери, Мариэтту.

«Мариэтта и Жером! — подумала она.— А ведь Мариэтта такая дурнушка! Как им не стыдно!».

Хотя тридцатишестилетняя Мариэтта и была очень некрасива, но зато получила в наследство несколько участков земли. В течение семнадцати лет службы у г-жи де Ватвиль, ценившей ее за набожность, честность и долгое пребывание в доме, Мариэтта, конечно, кое-что скопила, откладывая на черный день свое жалованье и другие доходы. Считая по десяти луидоров в год, она должна была обладать, если учесть проценты на проценты и полученное наследство, суммой тысяч в пятнадцать. В глазах Жерома пятнадцать тысяч франков меняли все законы оптики: он находил, что Мариэтта прекрасно сложена, не замечал рябин и рубцов, оставленных оспой на ее худом и плоском лице; форма ее искривленного рта казалась ему правильной. Поступив на службу к адвокату Саварону и оказавшись поблизости от особняка де Рюптов, Жером повел правильную осаду набожной горничной, которая была так же угловата и добродетельна, как и ее госпожа, и, подобно всем некрасивым старым девам, более привередлива, чем самые хорошенькие женщины.

Если ночная сцена в беседке и понятна теперь для проницательных людей, то она далеко не была понятна для Розали; последняя, тем не менее, получила наихудший урок, какой может дать дурной пример. Мать строго воспитывает дочь, держит ее под крылышком целых семнадцать лет, а служанка за какой-нибудь час одним словом, часто одним движением разрушает весь этот долгий и тяжелый труд...

Розали снова легла, думая о выгодах, какие можно было извлечь из своего открытия.

На другое утро, отправляясь к обедне в сопровождении Мариэтты (баронессе нездоровилось), Розали взяла горничную под руку, чем крайне удивила уроженку Конте.

— Мариэтта,— спросила мадемуазель де Ватвиль,— пользуется ли Жером доверием своего хозяина?

— Не знаю, право, мадемуазель.

— Не стройте из себя невинную,— сухо возразила Розали.— Нынче ночью вы позволили себе целоваться с ним в беседке. Я больше не удивляюсь, почему вы

так хвалили намерение маменьки разукрасить беседку.

По дрожанию руки Мариэтты Розали почувствовала, что служанка охвачена волнением.

— Я не хочу вам зла,— продолжала девушка,— успокойтесь, я не скажу маменьке ни слова, и вы будете видаться с Жеромом сколько душе угодно.

— Но, мадемуазель,— возразила Мариэтта,— у нас самые честные намерения; Жером собирается жениться на мне.

— Зачем же тогда назначать свидания по ночам?

Испуганная Мариэтта не знала, что ответить.

— Слушайте, Мариэтта, я тоже люблю! Люблю тайком, без взаимности. Вам следует рассчитывать на меня больше, чем на кого бы то ни было: я ведь единственная дочь.

— Конечно, мадемуазель, вы можете положиться на меня по гроб жизни! — воскликнула Мариэтта, довольная неожиданной развязкой.

— Во-первых, молчание за молчание,— сказала Розали.— Я не желаю выходить замуж за г-на де Сула и хочу, непременно хочу, чтобы вы помогли мне в одном деле, только при этом условии я окажу вам покровительство.

— Что же вам угодно? — спросила Мариэтта.

— Мне нужны письма, которые господин Саварон будет отправлять по почте через Жерома.

— Да на что они вам? — спросила пораженная Мариэтта.

— Только для того, чтобы прочитывать их; а потом вы сами будете относить их на почту. От этого они немного запоздают, вот и все.

В это время Розали и Мариэтта вошли в церковь, где каждая из них предалась своим мыслям, вместо того, чтобы читать обычные молитвы.

«Господи, какой это грех!» — думала Мариэтта.

Розали, душа, ум и сердце которой были все еще поглощены прочитанной повестью, решила, что повесть эта написана для ее соперницы. Думая все время, как ребенок, об одном и том же, она в конце концов пришла к мысли, что «Восточное Обозрение», наверное, посылается возлюбленной Альбера.

«Как бы узнать через отца, кому высылается этот журнал?» — размышляла она, стоя на коленях и опустив голову на руки, как будто целиком погруженная в молитву.

После завтрака она гуляла с отцом по саду, болтая с ним, и повела его к беседке.

— Как ты думаешь, милый папочка, посылают ли наше «Обозрение» за границу?

— Но оно только что начало выходить.

— Все-таки держу пари, что посылают.

— Вряд ли это возможно.

— Пожалуйста, выясни это и узнай имена заграничных подписчиков.

Через два часа барон сказал дочери:

— Я был прав, за границей нет еще ни одного подписчика. Надеются, что они будут в Невшателе, Берне, Женеве. Правда, один экземпляр посылают в Италию, но бесплатно, одной даме из Милана, в ее поместье на Лаго-Маджоре, около Бельджирате.

— Как ее зовут? — живо спросила Розали.

— Герцогиня д'Аргайоло.

— Вы ее знаете, папенька?

— Я, конечно, слыхал о ней. Она дочь князя Содерини, из Флоренции, очень знатная дама; она так же богата, как и ее муж, обладающий одним из крупнейших в Ломбардии состояний. Их вилла на Лаго-Маджоре— одна из достопримечательностей Италии.

Два дня спустя Мариэтта передала Розали следующее письмо.

«Альбер Саварон — Леопольду Анкену.

...Ну да, дорогой друг, я в Безансоне, тогда как ты думаешь, что я путешествую. Мне не хотелось ничего тебе сообщать, пока я не добьюсь успеха, и вот его заря занимается. Да, дорогой Леопольд, после стольких неудачных попыток, испортив себе столько крови, израсходовав столько сил, лишившись изрядной доли мужества, я решил поступить, как ты: пойти по торному пути, по большой дороге, самой длинной, но самой верной. Воображаю, как ты подскочил в своем кресле нотариуса! Но не думай, что произошли какие-нибудь перемены в моей личной жизни, в тайну которой посвя-

щен лишь ты один, да и то с теми ограничениями, какие потребовала *она*. Жизнь в Париже меня страшно утомила, хоть я и не говорил тебе об этом, мой друг. Мне стала ясна безрезультатность моего первого предприятия, на которое я возлагал все свои надежды, предприятия, не принесшего плодов из-за коварства обоих моих компаньонов: они сговорились обмануть и разорить меня, хотя были обязаны своим успехом моей деятельности. Увидев это, я решил отказаться от попыток приобрести состояние; напрасно были потеряны три года, причем целый год ушел на тяжбу. Может быть, я не выпутался бы так легко, если б мне не пришлось в двадцатилетнем возрасте изучать право. После этого я решил стать политическим деятелем, главным образом для того, чтобы попасть когда-нибудь в палату пэров с титулом графа Альбера Саварон де Саварюса, и, несмотря на то, что я незаконного происхождения и даже не усыновлен,— возродить во Франции прекрасное имя, угасающее в Бельгии».

— Ах, я была в этом уверена, он знатного рода! — воскликнула Розали, уронив письмо.

«Ты знаешь, что я добросовестно изучил политику, был малоизвестным, но верноподданным и полезным журналистом и неплохим секретарем одного государственного деятеля, покровительствовавшего мне в 1829 году. Вновь превращенный в ничто Июльской революцией в то самое время, когда мое имя начинало приобретать известность, когда я должен был стать наконец как докладчик Государственного совета необходимым колесиком правительственного механизма, я сделал промах, сохранив верность побежденным, борясь за них, хотя они уже исчезли со сцены. Ах, почему мне было тогда только тридцать три года, почему я не попросил тебя выставить мою кандидатуру на выборах? Я скрыл от тебя и опасности, угрожавшие мне, и свое самопожертвование. Чего же ты хочешь, раз я верил в себя! Мы не сошлись бы во мнениях. Десять месяцев назад, когда тебе казалось, что я весел и доволен, занят писанием политических статей, на самом деле я был в отчаянии: я предвидел, что в тридцать семь лет останусь с двумя тысячами франков в кармане, не пользуясь ни малейшей известностью, предвидел неудачу своей очередной

затеи — ежедневной газеты, сообразующейся лишь с интересами будущего, а не с политическими страстями данной минуты. Я не знал, на что решиться. Как плохо мне было! Я бродил, мрачный и угнетенный, по пустынным закоулкам ускользавшего от меня Парижа, размышляя об обманутых мечтах своего честолюбия, но будучи не в силах отказаться от них. О, какие письма, проникнутые жестокой болью, писал я тогда *ей*, моей второй совести, моему второму «я»! Иногда я говорил себе: «Зачем строить такие грандиозные планы? Зачем желать всего? Почему не ожидать счастья, посвятив себя какому-нибудь простому занятию, убивающему время?»

Я начал подумывать о скромном месте, могущем дать мне средства к жизни, и собирался было стать редактором одной газеты, издатель которой, честолюбивый денежный мешок, ничего не смыслил в этом деле. Но меня объял ужас.

«Захочет ли *она*, чтобы ее мужем сделался человек, опустившийся так низко?» — спросил я себя. При этой мысли мне показалось, будто мне снова только двадцать два года. О дорогой Леопольд, как слабеет душа, находясь в нерешительности! Как должны страдать орлы в клетках, львы, лишенные свободы! Они страдают так же, как страдал Наполеон, но не на острове Св. Елены, а на набережной Тюильри десятого августа, когда видел жалкую защиту Людовика XVI и мог легко подавить мятеж, что он и сделал на этом самом месте позже, в вандемьере. Так вот, и я испытал эти страдания одного дня, растянувшиеся на четыре года. Сколько речей, предназначенных для Палаты депутатов, произнес я в пустынных аллеях Булонского леса! Эти бесполезные импровизации все же изощрили мой язык и приучили ум свободно излагать мысли. Пока я мучился втайне от тебя, ты успел жениться, уплатить все долги и стать помощником мэра округа, получив вдобавок крест за рану на улице Сен-Мерри.

Слушай: когда я был еще малышом и мучил майских жуков, движения этих бедных насекомых иногда приводили меня в трепет. Это бывало, когда я видел, как они делают все новые и новые усилия взлететь, но все-таки не могут подняться, хотя им удавалось рас-

править крылья. Мы говорили про них: «Они собираются». Было ли это сострадание или я предчувствовал свое будущее? О, распустить крылья и не быть в состоянии лететь! Это и случилось со мной после замечательной затеи, от которой меня отстранили, а теперь она обогатила четыре семьи.

Наконец, с полгода назад, заметив, сколько вакансий осталось в парижской адвокатуре после назначения многих юристов на важные должности, я решил попытаться выдвинуться в суде. Но вспомнив о соперничестве, виденном мною в прессе, зная, как трудно добиться чего-нибудь в Париже, на этой арене, где встречается столько бойцов, я принял решение, жестокое, но могущее привести к верному и, быть может, более быстрому успеху, чем все остальные. Беседуя со мной, ты часто описывал общественную жизнь в Безансоне, говорил о невозможности для всякого пришельца выдвинуться там, произвести хоть малейшее впечатление, жениться, попасть в это общество, одержать в нем какой бы то ни было успех. Но именно там я и решил водрузить свое знамя, правильно рассудив, что там удастся избежать конкуренции и что кроме меня там никто не станет домогаться места депутата. Жители Конте не хотят знать «чужака»; ладно, «чужак» на них и смотреть не будет! Они отказываются допустить его в свои гостиные; ну что же, он никогда не пойдет туда! Он нигде не будет показываться, даже на улице! Но есть еще один слой общества, тоже выбирающий депутатов; это — коммерсанты. Я подробнее изучу торговое право, с которым и так знаком, буду выигрывать процессы, улаживать споры, сделаюсь лучшим безансонским адвокатом. Впоследствии я постараюсь основать журнал, где буду защищать интересы края; я сумею создать или возродить эти интересы и сделать их жизненными. Когда я приобрету, один за другим, достаточно голосов, мое имя появится в избирательных списках. Долгое время к безвестному адвокату будут относиться пренебрежительно, но благодаря какой-нибудь случайности на него обратят внимание; этой случайностью может стать защитительная речь, произнесенная безвозмездно, какое-нибудь дело, за которое другие адвокаты не захотят взяться. Если я выступлю с речью хоть раз, успех обеспечен.

И вот, дорогой Леопольд, я велел упаковать свою библиотеку в одиннадцать ящиков, накупил юридических книг, могущих мне пригодиться, и отправил все это вместе с мебелью гужом в Безансон. Я взял свои дипломы, достал тысячу экю и простился с тобою. Почтовая карета высадила меня в Безансоне. Через три дня я отыскал себе квартирку, выходящую окнами в сад, и роскошно обставил таинственный кабинет, где провожу дни и ночи, где сияет портрет моего кумира — той, кому посвящена вся моя жизнь, той, которая придает ей смысл и является первопричиной моих усилий, источником моего мужества, душой моего таланта. Затем, когда обстановка и книги прибыли, я нанял смышленого слугу и провел пять месяцев, как сурок зимой. Впрочем, меня внесли в список адвокатов. Наконец, мне предложили защищать в суде присяжных одного бедняка, наверное, только для того, чтобы послушать, как я выступаю. В числе присяжных был один из влиятельнейших безансонских негоциантов; у него, между прочим, велась в суде запутанная тяжба. В этом процессе я сделал для подзащитного все, что мог, и одержал крупный успех; мой клиент был признан невиновным, и я не без драматизма заставил арестовать настоящих преступников, игравших роль свидетелей. Словом, даже члены суда были восхищены так же, как и публика. Я сумел пощадить самолюбие следователя, указав, что обнаружить столь хитро сплетенные козни было почти невозможно. Я приобрел нового клиента в лице этого толстяка-негоцианта и выиграл его тяжбу. Капитул собора поручил мне защищать его интересы в большом процессе с городом, длившемся уже четыре года; я выиграл и этот процесс. Благодаря этим трем делам мне удалось стать известнейшим адвокатом во всем Франш-Конте. Но моя жизнь окружена глубочайшей тайной, мои намерения никому не известны. Я усвоил привычки, позволяющие мне не принимать ничьих приглашений. Советоваться со мною можно лишь от шести до восьми часов утра; после обеда я ложусь спать, работаю же ночью. Разумеется, главный викарий, очень умный и влиятельный человек, поручивший мне дело капитула, уже проигранное в первой инстанции, говорил со мной о вознаграждении.

«Милостивый государь,— сказал я,— ваше дело я выиграю, но мне не нужен гонорар, я хочу большего».— Аббат взглянул на меня с удивлением.— «Знайте, что я очень много потеряю, выступая против городского управления; я приехал сюда, чтобы сделаться депутатом, и хочу заниматься только коммерческими делами, так как депутатов выбирают коммерсанты, а последние не окажут мне доверия, если я буду защищать *попов*, ибо вы для них — *попы*. Если я берусь за ваш процесс, то лишь потому, что в 1828 году был личным секретарем министра (жест удивления со стороны аббата), докладчиком Государственного совета под именем Альбера де Саварюса (новый жест). Я остался верен монархическим принципам; но так как вы не составляете в Безансоне большинства, то мне нужно приобрести голоса среди буржуазии. Итак, просимое мною вознаграждение — это голоса, которые могли бы быть поданы за меня в благоприятный момент. Сохраним в тайне этот разговор, и я буду безвозмездно вести все дела вашей епархии. Ни слова о моем прошлом, и будем верными друзьями». Придя поблагодарить меня после выигрыша процесса, главный викарий передал мне банковый билет в пятьсот франков и шепнул: «Голоса у вас будут». Побеседовав с ним раз пять, я, кажется, стал его другом. Теперь, будучи завален делами, я берусь только за те из них, которые касаются негоциантов, говоря, что коммерческие вопросы — моя специальность. Благодаря этой тактике меня ценят в торговом мире и я знакомлюсь с влиятельными лицами. Таким образом, все идет хорошо. Через несколько месяцев я подыщу в Безансоне подходящий для покупки дом, чтобы получить избирательный ценз. Надеюсь, ты одолжишь мне необходимые для этого деньги. Если я умру или потерплю неудачу, твой убыток будет не так уж велик, чтобы стоило обращать на это внимание. Квартирная плата обеспечит тебе проценты, и к тому же я постараюсь выждать хорошей оказии, чтобы ты ничего не потерял на этой необходимой для меня торговой сделке.

Ах, дорогой мой Леопольд! Даже у игрока, делающего ставку на последние крохи своего состояния в ту роковую ночь, когда он должен либо обогатиться, либо разориться, не бывает такого непрерывного звона в

ушах, такой нервной дрожи, такого лихорадочного возбуждения, какие я испытываю каждодневно, играя последнюю партию в игре с честолюбием! Увы, мой дорогой, единственный друг, вот уже скоро десять лет, как я борюсь. В этой борьбе и с людьми и с обстоятельствами я беспрерывно тратил бодрость и энергию, истощил свои душевные силы; борьба эта совершенно изнурила меня внутренне, если можно так выразиться. Будучи на вид силен и крепок, я чувствую, что мое здоровье подорвано. Каждый новый день отрывает клочок от моей жизни. При каждом новом усилии я чувствую, что не в состоянии его возобновить. Моих сил и способностей хватит лишь на то, чтобы быть счастливым; и если мне не удастся возложить на голову венок из роз, то я перестану существовать, сделаюсь развалиной, ничего на свете не буду желать и никем не захочу стать. Ведь ты знаешь, что власть, слава, богатство, которых я так добиваюсь, имеют для меня лишь второстепенное значение: они лишь средство добиться успеха, лишь пьедестал для моего кумира.

Достигнуть цели, умирая, как античный гонец! Видеть, как счастье и смерть одновременно вступают на твой порог! Завоевать любимую женщину, когда любовь уже гаснет! Не быть в силах наслаждаться, когда право быть счастливым наконец приобретено! Это было уделом уже стольких людей! Бывают, наверно, минуты, когда Тантал останавливается, скрестив руки на груди, и бросает вызов преисподней, отказываясь от своей участи — быть вечно обманутым. Я поступлю точно так же, если мой план почему-либо не удастся, если после того, как я пресмыкался в провинциальной пыли, бродил, как голодный тигр, вокруг этих коммерсантов, этих избирателей, чтобы заполучить их голоса, после того, как вел в судах их скучные тяжбы, тратя на это свое время (вместо того, чтобы провести его на Лаго-Маджоре, отдыхая под взглядами любимой, слушая ее, любуясь той же водной гладью, на которую она смотрит),— словом, если после всего этого я не взойду на трибуну и не завоюю тот ореол славы, который должен окружать мое имя, чтобы оно могло заменить имя д'Аргайоло. Мало того, Леопольд, иногда меня охватывает гнетущая тоска; в глубине души я чувствую смертельное отвра-

щение ко всему, в особенности, когда заранее представляю себе в мечтах блаженство счастливой любви. Не ограничена ли мощь желания и не влияет ли на него пагубно чрезмерная затрата душевных сил? Но все-таки сейчас моя жизнь прекрасна, она озарена верой, трудом и любовью. Прощай, мой друг! Целую твоих детей и шлю привет твоей милой жене.

Ваш Альбер».

Розали дважды прочла это письмо; его содержание запечатлелось в ее памяти. Ей внезапно стало известно прошлое Альбера; быстрый ум помог ей разобраться в подробностях его жизни, которую она знала теперь всю. Сопоставив признания, сделанные в письме, с рассказом, напечатанным в журнале, она постигла тайну Альбера целиком. Разумеется, Розали преувеличивала достоинства этого замечательного человека, и без того немалые, и силу его могущественной воли; и ее любовь к Альберу превратилась в страсть, особенно бурную из-за молодости, скуки, одиночества и скрытой энергии характера. Для девушки любовь — следствие закона природы, но когда предметом ее чувства становится человек не совсем обыкновенный, к любви добавляется восторженность, переполняющая молодое сердце. Поэтому Розали вскоре дошла до болезненного и весьма опасного состояния любовной экзальтации.

Баронесса была очень довольна ею; Розали, вся во власти охватившей ее озабоченности, больше не противоречила матери, прилежно занималась различными рукоделиями и олицетворяла идеал покорной дочери.

Поверенный выступал в суде два-три раза в неделю. Будучи завален делами, он все же успевал вести и процессы в судебной палате и тяжбы в коммерческом суде. Не забывал он и о журнале и продолжал жить под покровом глубокой тайны, понимая, что чем сокровеннее будет его влияние, тем больше плодов оно даст. Но он не пренебрегал никакими средствами, чтобы достичь успеха, изучал список безансонских избирателей и внимательно исследовал их интересы, характеры, симпатии и антипатии. Кардинал, стремящийся стать папой, вряд ли прилагал когда-нибудь столько стараний.

Однажды Мариэтта, одевая Розали к вечернему

приему и вздыхая по поводу того, что ее преданностью злоупотребляют, вручила Розали письмо. Увидев адрес, мадемуазель де Ватвиль вздрогнула, побледнела, затем покраснела.

«Ее светлости герцогине д'Аргайоло, урожденной княжне Содерини.

Бельджирате, Лаго-Маджоре, Италия».

Этот адрес засверкал перед глазами Розали, как «*Мане, Тэкел, Фарес*» перед глазами Балтасара. Спрятав письмо, она сошла вниз, чтобы отправиться с матерью к г-же де Шавонкур. В течение всего вечера ее мучили раскаяние и угрызения совести. Девушке было стыдно уже и тогда, когда она проникла в тайну письма Альбера к Леопольду. Розали несколько раз спрашивала себя: станет ли ее уважать благородный Альбер, узнав об этом проступке, который сам по себе бесчестен и вдобавок остался безнаказанным? И совесть решительно отвечала ей: «Нет!» Она старалась искупить свою вину, налагая на себя различные наказания: постилась, умерщвляла плоть, стоя на коленях со скрещенными руками и читая молитвы по нескольку часов сряду. Она и Мариэтту принуждала к раскаянию. К страстному чувству Розали примешивался аскетизм, делая его еще опаснее.

«Прочесть это письмо или нет?» — спрашивала она себя, слушая болтовню девиц де Шавонкур. Одной из них было шестнадцать лет, а другой семнадцать с половиной. Розали относилась к подругам, как к маленьким девочкам, потому что те не любили, как она, втайне ото всех.— «Если я его прочту,— сказала она себе после целого часа колебаний,— то это будет, конечно, в последний раз. Ведь я уже столько сделала, стараясь узнать, что он пишет своему другу; почему же не узнать, что он пишет и ей? Если это и большой грех, то разве он не служит в то же время доказательством моей любви? О Альбер! Разве я не жена твоя?»

Уже лежа в постели, Розали распечатала письмо; оно писалось несколько дней подряд, так что герцогиня должна была получить полное представление о жизни и чувствах Альбера.

25-е.

«Душа моя, все идет хорошо. К одержанным мною победам только что прибавилась еще одна, и немаловажная,— я оказал услугу одному лицу, имеющему огромное влияние на выборы. Подобно критикам, которые создают для других репутации, но не могут создать ее для себя самих, он помогает людям стать депутатами, не имея возможности быть избранным сам. Добряк хотел выразить мне свою благодарность подешевле, не раскошеливаясь, и сказал:

— Хотите попасть в Палату? Я могу устроить так, что вас выберут депутатом.

— Если бы я решился избрать поприще политического деятеля,— ответил я ему довольно-таки лицемерно,— то, конечно, с тем, чтобы посвятить себя Конте; я полюбил этот край, где меня оценили.

— Отлично! Мы вас выберем и таким образом получим влияние в Палате, ведь вы будете там блистать.

Итак, моя любимая, мой ангел, упорство мое увенчается успехом, что бы ты там ни говорила. В скором времени я буду держать речь с трибуны французского парламента, обращаясь ко всей стране, ко всей Европе, мое имя будет подхвачено сотней голосов французской прессы.

Да, ты сказала правду, я приехал в Безансон уже немолодым и в Безансоне постарел еще больше; но, подобно Сикусту V, я вновь помолодею на другой день после избрания. Я буду жить настоящей жизнью, войду в свою сферу. Разве мы не будем тогда на равной ноге? Граф Саварон де Саварюс, став где-нибудь посланником, может, наверное, жениться на княгине Содерини, вдове герцога д'Аргайоло! Победа омолаживает людей, закалившихся благодаря беспрерывной борьбе. О жизнь моя! С какой радостью я выбежал из библиотеки в кабинет, к твоему дорогому портрету и рассказал ему об этом успехе, прежде чем написать тебе о нем! Да, голоса́, собранные мною самим и главным викарием, голоса́ людей, обязанных мне чем-либо, и, наконец, те голоса́, которые я буду иметь благодаря этому клиенту, наверняка обеспечивают мое избрание.

26-е.

Вот уже двенадцатый год пошел с того счастливого вечера, когда прекрасная герцогиня одним взглядом подтвердила обещания, данные изгнанницей Франческой. О дорогая! Тебе тридцать два, а мне тридцать пять; добрейшему герцогу семьдесят семь, иначе говоря, на десять лет больше, чем нам обоим вместе, и он по-прежнему прекрасно чувствует себя! Поклонись ему от меня. Мое терпение равно моей любви. Мне нужно еще несколько лет, чтобы достичь столь же высокого положения, как и твое.

Ты видишь, сегодня я весел, смеюсь; так ободрила меня надежда. И печаль и радость — все исходит от тебя одной. Надежда добиться успеха вновь напомнила мне тот день, когда я увидел тебя впервые, когда моя жизнь стала неразрывно связана с твоею, как земля со светом! Qual pianto [1] эти одиннадцать лет,— ведь сегодня 26-е декабря, годовщина моего приезда в виллу на Констанцском озере. Вот уже одиннадцать лет, как я мучаюсь после короткого счастья, а ты сияешь, подобно звезде, на такой высоте, что человек не может ее достичь...

27-е.

Нет, дорогая, не езди в Милан, останься в Бельджирате. Милан пугает меня. Не люблю этой ужасной миланской привычки болтать по целым вечерам в La Scala с дюжиной мужчин, каждый из которых должен сказать тебе какую-нибудь любезность. По-моему, одиночество подобно куску янтаря, внутри которого бабочка сохраняется вечно, в неизменной красоте. Лишь в одиночестве душа и тело женщины остаются чистыми и молодыми. Или ты жалеешь, что не увидишь этих tedeschi [2]?

28-е.

Когда же скульптор кончит твой бюст? Мне хотелось бы, чтобы ты была у меня, воплощенная и в мраморе, и в красках, и в миниатюре, словом, по-разному, это обманет мое нетерпение. Ожидаю присылки вида Бельд-

---

[1] Как жаль *(итал.)*.
[2] Немцев *(итал.)*.

жирате в полдень и вида галереи; это все, чего мне не хватает. Я так занят, что сегодня ничего не могу написать тебе. Но это «ничего» — все. Разве бог не создал мир из ничего? Это «ничего», это слово, божественные слова: «Люблю тебя!».

30-е.

Получил твой дневник. Спасибо за аккуратность! Значит, тебе доставило удовольствие описание нашего знакомства, сделанное в такой форме? Увы, маскируя подробности, я все же боялся тебя оскорбить. У нас совсем не было повестей, а журнал без повести — все равно, что лысая красавица. Не будучи от природы находчивым, я взял единственный поэтический случай, запечатлевшийся в моей душе, единственное приключение, хранящееся в моей памяти, и придал ему форму рассказа; я не переставал думать о тебе, пока писал это единственное литературное произведение, вылившееся не столько из-под пера, сколько из сердца. Позабавило ли тебя превращение сурового Сормано в Джину?

Ты спрашиваешь, как мое здоровье? Гораздо лучше, чем в Париже. Хотя я страшно много работаю, но спокойная обстановка благотворно действует на меня. Дорогой мой ангел, больше всего утомляют и старят муки обманутого тщеславия, вечное возбуждение парижской жизни, борьба соперничающих честолюбий. Спокойствие действует, как бальзам. Если бы ты знала, сколько радости доставило мне твое письмо, твое славное, длинное письмо, где ты так хорошо описываешь мельчайшие подробности своей жизни! Нет, вы, женщины, никогда не поймете, как все эти пустяки интересуют человека, который по-настоящему влюблен. Образчик материи твоего нового платья также доставил мне огромное удовольствие. Разве мне безразлично, как ты одеваешься? Часто ли хмурится твой высокий лоб? Развлекают ли тебя наши писатели? Приводят ли тебя в восторг стихи Каналиса? Я читаю те же книги, что и ты. Все, даже описание твоей прогулки по озеру, растрогало меня. Твое письмо так же прекрасно, так же нежно, как и твоя душа. О мой небесный, вечно обожаемый цветок! Как я мог бы жить без этих писем, дорогих моему сердцу, уже одиннадцать лет поддерживающих меня в трудном пути,

словно свет, благоухание, стройное пение, изысканная пища,— все, что утешает и пленяет в жизни! Пиши мне аккуратно! Если бы ты знала, как я томлюсь накануне того дня, когда должен получить твое письмо, и как мне больно, когда оно опаздывает хотя бы на один день! «Не заболела ли она? Не болен ли ее муж?» — думаю я. Мне кажется тогда, что я не то в аду, не то в раю, я теряю рассудок. О mia cara diva, продолжай заниматься музыкой, развивай голос, учись! Я в восторге, что благодаря сходству нашего времяпрепровождения мы живем совершенно одинаковой жизнью, несмотря на то, что нас разделяют Альпы. Эта мысль и радует и ободряет меня. Я еще не сказал тебе: впервые выступая в суде, я старался вообразить, что ты меня слушаешь, и внезапно почувствовал вдохновение, возвышающее поэта над толпой. Когда меня выберут в Палату, ты приедешь в Париж, чтобы присутствовать на моей первой речи.

30-е, вечером.

Боже мой, как я тебя люблю! Увы, я слишком много вложил и в свою любовь и в свои надежды. Если этот слишком тяжело нагруженный корабль случайно опрокинется, то это будет стоить мне жизни. Вот уже три года, как я не видал тебя, и при мысли о поездке в Бельджирате сердце начинает биться так сильно, что я вынужден останавливаться... Видеть тебя, слышать твой по-детски ласковый голос! Взглянуть на твое лицо, белое, как слоновая кость, такое ослепительное при свечах! Угадывать твои благородные мысли, любоваться твоими пальчиками, касающимися клавиатуры, ловить твою душу в брошенном на меня взгляде, в оттенке голоса, когда ты восклицаешь «Oimè!» или «Alberto!». Гулять с тобой под цветущими апельсиновыми деревьями, прожить несколько месяцев на лоне этой дивной природы! Вот в чем жизнь! О, какой вздор — вся эта погоня за властью, именем, успехом! Ведь всё — в Бельджирате: и поэзия и слава! Мне следовало бы сделаться твоим управляющим или, как предлагал этот добрейший тиран, которого мы никак не можем возненавидеть, жить у вас на правах твоего «чичисбея», чего, однако, наша пылкая страсть не могла дозволить. Неужели твой герцог — итальянец? По-моему, он сам бог-отец, и вечен,

как он! Прощай, мой ангел! Тебе придется простить мне уныние следующих писем за эту веселость, этот луч, кинутый факелом надежды, казавшимся до сих пор блуждающим огоньком».

— Как он любит ее! — воскликнула Розали, уронив письмо, точно оно было непомерно тяжелым.— Писать так через одиннадцать лет!

— Мариэтта,— шепнула Розали служанке на другое утро,— снесите это письмо на почту и скажите Жерому: я узнала все, что мне нужно было знать, пусть он по-прежнему верно служит своему хозяину. Мы исповедаемся в грехах, не упоминая о том, чьи были письма и кому посылались. Я скверно поступила и одна виновата во всем.

— Вы плакали, мадемуазель? — заметила Мариэтта.

— Да, я не хотела бы, чтобы моя мать заметила это, дайте мне холодной воды.

Хотя душу Розали и обуревала страсть, но все же она часто слушалась голоса совести. Тронутая поразительной верностью двух сердец, она ходила в церковь и говорила себе, что ей остается только покориться и щадить счастье двух людей, достойных друг друга, послушных судьбе, всего ждущих только от бога, не позволяя себе греховных поступков и желаний. После этого решения, внушенного чувством справедливости, свойственным ее возрасту, Розали показалось, что она стала как будто лучше, и она даже испытала в глубине души некоторое удовлетворение. Ее воодушевляла мысль, могущая прийти в голову только молодой девушке: принести себя в жертву ради *него!*

«*Она* не умеет любить,— думала Розали.— Если бы я была на ее месте, я бы всем пожертвовала ради человека, так горячо любящего меня. Быть любимой! Когда и кто меня полюбит? Этот жалкий де Сула любит только мое богатство; если бы я была бедна, он не обращал бы на меня ни малейшего внимания».

— Розали, о чем ты мечтаешь? Ты сделала лишний ряд стежков! — сказала баронесса (Розали вышивала туфли для отца).

Всю зиму 1834 года Розали провела в беспрерывном тайном волнении; весной же, в апреле, когда ей ис-

полнилось восемнадцать лет, она начала подумывать, что неплохо было бы одержать верх над герцогиней д'Аргайоло. В одиночестве (ей не с кем было слово молвить) перспектива этой борьбы вновь разожгла ее страсть и дурные мысли. Мадемуазель де Ватвиль отдалась своему романтическому безрассудству и строила планы за планами. Хотя такие характеры редки, но все же, к несчастью, есть немало таких Розали, и эта повесть должна послужить им уроком.

В течение этой зимы Альбер де Саварюс мало-помалу добился в Безансоне больших успехов. Уверенный в удаче, он с нетерпением ожидал роспуска Палаты. Он привлек на свою сторону в числе других представителей партии центра одного безансонского дельца, богатого предпринимателя, пользовавшегося большим влиянием.

Римляне всюду затрачивали массу труда и денег, чтобы во всех городах их империи имелось вволю хорошей питьевой воды. В Безансоне они пользовались источниками Арсье, горы, расположенной на довольно большом расстоянии от города. Безансон находится внутри подковообразной излучины, образуемой рекой Ду. Нелепо было восстанавливать римский акведук для того лишь, чтобы провести в город, орошаемый рекою, ту самую воду, какую пили римляне; такая нелепость может иметь успех лишь в провинции, где ко всему относятся донельзя серьезно. Эта причуда, прочно засевшая в умах безансонцев, была сопряжена с большими издержками, небезвыгодными для нашего влиятельного лица. И вот Альбер Саварон де Саварюс установил, что Ду годится лишь на то, чтобы протекать под мостами, а для питья непригодна никакая другая вода, кроме источников Арсье. В «Восточном Обозрении» по этому поводу появились статьи; впрочем, они лишь выражали мнение безансонских торговых кругов. Дворяне и буржуа, партия центра и легитимисты, сторонники правительства и оппозиционеры — все сошлись на желании пить воду римлян и иметь висячий мост. Вопрос о воде из Арсье стал у безансонцев злободневным. В этом случае, так же как и тогда, когда решался вопрос о проведении версальской железной дороги и другие вопросы, вызвавшие в наше время злоупотребления, в Безансоне

кое у кого нашлись скрытые интересы, придававшие этой затее чрезвычайную живучесть. Благоразумных людей, выступавших против этого проекта — впрочем, таких нашлось немного,— называли тупицами. Все только и говорили, что об этих двух планах адвоката Саварона.

Таким образом, после полутора лет тайных происков честолюбцу удалось заинтересовать жителей самого косного и неблагосклонного к «чужакам» города Франции, удалось, как говорят в народе, заставить всех плясать под свою дудку, приобрести большое влияние, даже не выходя из дома. Он разрешил трудную задачу: как стать где-либо могущественным, не имея популярности. За зиму он выиграл семь процессов для безансонского духовенства. Поэтому он иногда заранее предвкушал, как войдет в Палату. Его сердце замирало при мысли о будущей победе. Это всепоглощающее стремление, вынуждавшее его проявлять столько изобретательности, придумывать столько уловок, исчерпывало последние силы его души, и без того измученной до предела. Все хвалили его бескорыстие, он не торговался с клиентами из-за вознаграждения. Но за этим бескорыстием скрывалась своего рода корысть: он ожидал награды, бывшей для него ценнее всякого золота. В октябре 1834 года, будто бы для того, чтобы оказать услугу запутавшемуся в делах коммерсанту, он купил на деньги Леопольда Анкена дом, давший ему избирательный ценз. Выгодная операция была произведена так, словно о ней ранее не думали и ее не домогались.

— Вы поистине выдающийся человек,— сказал Саварюсу аббат де Грансей, который, естественно, приглядывался к поверенному и угадывал его замыслы. Главный викарий пришел представить Альберу каноника, нуждавшегося в советах адвоката.

— Вы служитель церкви, идущий не по своему пути! — прибавил он.

Эти слова поразили Саварюса.

Со своей стороны, Розали, эта твердая характером, хоть и хрупкая на вид девушка, решила устроить так, чтобы Саварюса пригласили в их гостиную и ввели в общество, собиравшееся в особняке де Рюптов. До сих пор она ограничивалась желанием видеть Альбера и

слышать его. Розали, так сказать, пошла на мировую сделку с самой собою, а такие сделки недолговечны.

Руксей, родовое поместье Ватвилей, приносило в год десять тысяч франков; но в других руках оно давало бы гораздо больше. Ежегодный доход баронессы равнялся сорока тысячам; поэтому беззаботный барон поручил управлять имением Руксей старому слуге Ватвилей, по имени Модинье, бывшему у них в доме чем-то вроде мэтра Жака. Тем не менее, когда барону и баронессе приходило желание поехать в деревню, они отправлялись именно в Руксей, местоположение которого было очень живописно. К тому же и замок, и парк, и все остальное было создано знаменитым Ватвилем; на склоне лет, будучи все так же деятелен, он воспылал любовью к этим красивым местам. Между двумя остроконечными горами с обнаженными вершинами, похожими на Альпы в миниатюре (они назывались большим и малым Руксей и оканчивались зубцом Вилар), поперек ущелья, по которому низвергаются горные потоки, впадая в спокойное верховье Ду, покойный Ватвиль вздумал построить большую плотину с двумя водоспусками. Выше плотины образовалось красивое озеро, а ниже — два водопада; соединившись вместе, они текли дальше прелестной речкой, которую Ватвиль использовал для орошения сухой и невозделанной долины, опустошавшейся до тех пор потоками с обоих пиков Руксей. Озеро, долину и обе горы Ватвиль окружил оградой и построил небольшой дом на плотине, ширина которой равнялась трем арпанам, так как он приказал свозить туда всю землю, выкопанную при прокладке русла для реки и оросительных каналов. Когда барон де Ватвиль обзавелся озером над плотиной, он был собственником обеих гор Руксей, но затопленная им верхняя долина, служившая для проезда и имевшая у подножия зубца Вилар подковообразную форму, ему не принадлежала. Однако нелюдимый старик наводил на всех такой страх, что при его жизни обитатели Рисей, деревушки, расположенной по другую сторону зубца Вилар, не предъявляли никаких претензий. Перед смертью барон соединил склоны обеих гор у подножия зубца Вилар прочной стеной, чтобы не затоплять двух долин, выходивших в ущелье Руксей справа и слева от

зубца. Итак, он умер, завладевши зубцом Вилар. Его наследники взяли на себя роль покровителей деревни Рисей, но не вернули присвоенной земли. Старый убийца, старый ренегат, старый аббат Ватвиль закончил свой жизненный путь, посадив деревья и устроив прекрасную дорогу, которая начиналась на склсне одной из гор Руксей и соединялась с большим трактом. К парку и дому прилегали плохо обрабатываемые земли и запущенные леса; по склонам гор лепились хижины. Все это было дико, заброшено, растительность была предоставлена заботам природы, но в этой глуши было много живописных мест. Теперь вы имеете представление о Руксей.

Не стоит затягивать эту повесть, описывая замысловатые старания и гениальные хитрости, посредством которых Розали добилась цели, не возбудив ни в ком подозрений. Достаточно сказать, что она ничем не нарушала материнской воли, покидая Безансон в мае 1835 года и отправляясь с отцом в Руксей в старой дорожной карете, запряженной парой добрых наемных лошадей.

Любовь открывает девушкам глаза. У Розали вырвался крик восторга, когда, встав на другое утро после приезда в Руксей, она увидела из окна своей комнаты широкий водный простор; над ним поднималась легкая дымка тумана, который, задевая верхушки елей и лиственниц, всползал по склонам обеих гор к их вершинам.

«*Они* любили друг друга на озерах! *Она* живет на берегу озера! Решительно, озера имеют что-то общее с любовью»,— подумала Розали.

У озера, питаемого снегами, вода опалового цвета, и оно так прозрачно, что походит на огромный алмаз; когда же оно, подобно озеру Руксей, стиснуто двумя гранитными массивами, поросшими елями, когда вокруг царит безмолвие, как в саваннах или в степях, у кого не вырвалось бы при взгляде на него восторженное восклицание, как у Розали?

— Все это устроил знаменитый Ватвиль,—сказал ей отец.

— Право же,— заметила молодая девушка,— он хотел получить отпущение грехов. Сядем в лодку и поедем на тот конец озера, нагуляем аппетит к завтраку.

Барон послал за двумя молодыми садовниками, умев-

шими грести, и взял с собою своего премьер-министра, Модинье. Озеро имело в ширину шесть арпанов, в некоторых местах десять — двенадцать и в длину четыреста арпанов. Вскоре они достигли конца озера, где возвышается зубец Вилар — Юнгфрау этой миниатюрной Швейцарии.

— Вот мы и приехали, господин барон,— сказал Модинье, делая садовникам знак привязать лодку.— Не угодно ли вам пойти посмотреть...

— На что посмотреть? — спросила Розали.

— Ничего особенного,— ответил барон.— Ты девушка не из болтливых, у нас с тобой есть общие секреты, и я хочу рассказать тебе, что меня беспокоит. С тридцатого года между общиной Рисей и мною возник спор из-за зубца Вилар, и мне хотелось бы уладить это дело без ведома твоей матери, так как она слишком непокладиста и будет метать громы и молнии, в особенности если узнает, что мэр общины Рисей, республиканец, начал эту тяжбу в угоду избирателям.

Розали благоразумно скрыла свою радость, чтобы не пробуждать у отца подозрений.

— Какую тяжбу? — спросила она.

— Видите ли, мадемуазель,— начал Модинье,— жители Рисей давно уже пользуются правом выпаса и рубки леса на противоположном склоне зубца Вилар. Но господин Шантони, их мэр с тридцатого года, утверждает, будто зубец принадлежит общине целиком, и уверяет, что сотню с чем-то лет назад по нашей земле все проезжали свободно. Вы понимаете: если признать это, мы уже здесь не хозяева. Ведь потом дойдут до утверждения, что вся территория, занимаемая озером, была захвачена аббатом де Ватвилем. Так говорят старожилы Рисей. Это был бы конец для Руксей.

— Увы, дитя мое,— сказал простодушно барон,— между нами говоря, это правда. Захват этой земли освящен только временем. Поэтому, чтобы раз навсегда избавиться от хлопот, я собираюсь предложить с полюбовного согласия установить границы моего имения на этом склоне зубца Вилар и построить здесь стену.

— Если вы будете уступать республиканцам, они вас проглотят. Вы сами должны пригрозить судом жителям Рисей,— сказала Розали.

— То же самое я говорил вчера вечером господину барону,— заметил Модиньe.— Чтобы доказать правильность моего мнения, я и предложил поехать посмотреть, не сохранилось ли по ту или другую сторону зубца следов ограды.

Зубцом Вилар, который представляет собою нечто вроде стены между общиной Рисей и имением Руксей, обе стороны пользовались уже сотню лет, не доходя до серьезных столкновений, тем более, что он не приносил почти никакого дохода. Будучи в течение полугода покрыт снегом, предмет спора сам по себе охлаждал страсти. Поэтому понадобилось жаркое дыхание революции 1830 года, чтобы защитники народа вспомнили о старой тяжбе. Этим путем Шантони, мэр деревни Рисей, хотел сделать более драматичной мирную жизнь на границе с Швейцарией и увековечить эру своего управления. Шантони, как видно по его имени, был родом из Невшателя.

— Дорогой папенька,— сказала Розали на обратном пути, сидя в лодке,— я согласна с Модиньe. Если вы хотите закрепить за собой право на общность владения зубцом Вилар, то нужно действовать энергично и добиться от суда постановления, ограждающего вас от происков этого Шантони. Чего вам бояться? Пригласите поскорее поверенным знаменитого Саварона, пока Шантони не поручил ему защищать интересы общины. Тот, кто выиграл процесс капитула против городского управления, выиграет, конечно, и процесс Ватвилей против жителей Рисей. К тому же,— добавила она,— Руксей когда-нибудь перейдет ко мне (надеюсь, еще очень не скоро); не оставляйте же мне в наследство тяжбу. Мне очень нравится это поместье, я буду часто сюда приезжать и по мере возможности заботиться о его благосостоянии. На этих берегах,— сказала она, показывая на подножия обеих гор,— я разобью клумбы и устрою чудные английские сады. Поедем в Безансон и вернемся сюда с аббатом де Грансей, господином Савароном и маменькой, если она захочет. Тогда вы примете окончательное решение; но на вашем месте я уже давно сделала бы это. Вы носите имя Ватвилей, не вам бояться борьбы! Если процесс будет проигран,— ладно, я не скажу вам тогда ни слова в упрек.

— Ну, если ты так на это смотришь,— сказал барон,— я согласен и повидаюсь с адвокатом.

— К тому же процесс — очень занимательная штука, он придает жизни интерес, приходится ездить то туда, то сюда, хлопотать. Разве вам не придется пускаться на всякие уловки, пока дело дойдет до суда? Вспомните, ведь мы не видели аббата де Грансей больше трех недель, до того он был занят.

— Но ведь дело шло о самом существовании капитула,— сказал г-н де Ватвиль.— Притом здесь было замешано и самолюбие и достоинство архиепископа — словом, все, что имеет для духовенства жизненное значение. Этот Саварон даже не знает, что им сделано для капитула; он его прямо-таки спас!

— Послушайте,— шепнула Розали отцу,— если господин Саварон будет за нас, мы выиграем дело, не правда ли? Так вот, позвольте дать вам совет: вы можете привлечь господина Саварона на свою сторону только при помощи аббата де Грансей. Если вы согласны со мной, то поговорим с нашим добрейшим викарием, не приглашая пока маменьку участвовать в этом совещании; я знаю, как убедить его привести к нам Саварона.

— Будет довольно трудно не рассказывать об этом твоей матери.

— Аббат де Грансей впоследствии сам ей сообщит. Пообещайте только подать голос на ближайших выборах за Саварона, и вы увидите результат!

— Участвовать в выборах! Приносить присягу!—воскликнул барон.

— Что ж тут такого?

— А что скажет твоя мать?

— Она сама, может быть, велит вам принять участие в выборах,— ответила Розали, знавшая из письма Альбера к Леопольду об обещании главного викария.

Через четыре дня аббат де Грансей в очень ранний час явился к Альберу Саварюсу, предупрежденному накануне об этом посещении. Старый священник собирался попросить известного адвоката заняться тяжбой Ватвилей. По этому шагу уже можно судить, сколько такта и хитрости проявила Розали.

— Чем могу служить, господин главный викарий? — спросил Саварюс.

Аббат с обычным добродушием выложил, в чем дело, но Альбер выслушал его весьма холодно.

— Господин аббат,— ответил он,— я не могу взять на себя защиту интересов Ватвилей, вы сейчас поймете, почему. Моя роль требует сохранения строжайшего нейтралитета. Мне нельзя становиться на чью-либо сторону; я должен оставаться для всех загадкой до самого дня выборов. Выступать в пользу Ватвилей в Париже — это еще куда ни шло; но здесь... здесь, где все истолковывается по-своему, стали бы думать что я — защитник аристократов из Сен-Жерменского предместья.

— Неужели вы полагаете,— возразил аббат,— что останетесь в неизвестности, когда накануне выборов начнется борьба кандидатов между собой? Ведь тогда все узнают, что ваше имя — Саварон де Саварюс, что вы были докладчиком Государственного совета, что вы деятель Реставрации!

— В день выборов,— сказал Саварюс,— я буду тем, кем мне понадобится быть. Я намерен выступать на предвыборных собраниях.

— Если де Ватвиль и его партия поддержат вас, то у вас будет сотня голосов, сплоченных и более надежных, чем те, на которые вы рассчитываете. Всегда можно посеять несогласия на почве различных интересов, но нельзя рассорить людей, питающих одинаковые убеждения.

— Ну, черт побери,— ответил Саварюс,— я вас люблю и готов многое сделать для вас, мой отец. И с дьяволом можно войти в соглашение: В чем бы ни заключался процесс де Ватвиля, можно затянуть дело до самых выборов, пригласив Жирарде и руководя им. Но я согласен выступать лишь на другой день после избрания.

— Сделайте еще одно,— сказал аббат,— посетите особняк де Рюптов; там есть молодая особа лет восемнадцати, у которой со временем будет сто тысяч ливров ежегодного дохода; поухаживайте за нею.

— Ах, это та девушка, которую я часто вижу в беседке?

— Да, это мадемуазель Розали,— продолжал де

Грансей.— Вы честолюбивы. Если вы ей понравитесь, вам удастся осуществить все свои дерзкие мечты и даже стать министром. Всегда можно занять министерский пост, имея сто тысяч ливров годового дохода, да еще при ваших необыкновенных способностях.

— Господин аббат,— ответил Альбер с живостью,— даже если бы мадемуазель де Ватвиль была втрое богаче и любила меня, я все равно не мог бы предложить ей руку.

— Вы женаты? — спросил де Грансей.

— Мой брак еще не освящен церковью и не записан в мэрии, но я не свободен.

— Тем хуже, особенно если придавать этому большое значение, как, по-видимому, делаете вы,— заметил аббат.—Все, что еще не совершилось, можно расторгнуть. Не допускайте, чтобы удача ваших планов зависела от воли женщины; умный человек, отправляясь в дорогу, не рассчитывает на чужие башмаки.

— Оставим в покое мадемуазель де Ватвиль,— сказал серьезно Альбер,— и вернемся к делу. Я вас люблю и уважаю и ради вас готов выступить по делу барона, но лишь после выборов. До тех пор тяжбу будет вести Жирарде по моим указаниям; вот все, что я могу сделать.

— Но ведь есть вопросы, которые можно разрешить лишь после осмотра местности,— сказал главный викарий.

— Вместо меня поедет Жирарде,— ответил Саварюс.— В этом городе — а я его отлично знаю — нельзя позволить себе пойти на шаг, могущий подвергнуть опасности важные интересы, связанные с моим избранием.

Аббат де Грансей ушел от Саварюса, бросив на него лукавый взгляд, в котором, казалось, сквозила и насмешка над твердой политикой молодого борца и восхищение перед его решительностью.

«Вот как! Я вовлекла папеньку в тяжбу, я так добивалась, чтобы *он* появился у нас,— думала Розали, глядя из беседки на кабинет адвоката через несколько дней после разговора последнего с аббатом де Грансей, о результате которого ей сообщил отец,— я совершила из-за тебя ряд смертных грехов, и ты все-таки не придешь в гостиную де Рюптов, и я не услышу твой звучный голос...

Ты еще ставишь условия, вместо того, чтобы оказать содействие, когда Ватвили и Рюпты просят тебя об этом! Хорошо же! Видит бог, я удовольствовалась бы скромным счастьем: видеть тебя, слышать, поехать с тобой в Руксей, чтобы твое присутствие освятило эти места... Большего я и не хотела. Но теперь я стану твоей женой! Да, да, любуйся *ее* портретами, разглядывай изображения *ее* гостиных, *ее* комнаты, *ее* виллы со всех четырех сторон, виды, открывающиеся из *ее* сада! Ты ожидаешь, чтобы тебе прислали *ее* бюст! Я превращу в мрамор *ее* самое! В сущности, эта женщина тебя не любит. Искусства, науки, литература, пение, музыка поглотили половину ее чувств и способностей. Вдобавок она стара, ей за тридцать лет, и мой Альбер был бы несчастен с нею!»

— Что вы делаете здесь, Розали? — осведомилась вдруг ее мать, прерывая своим приходом размышления дочери.— Господин де Сула в гостиной, он заметил, что у вас в голове бродит больше мыслей, чем должно быть в вашем возрасте.

— Разве господин де Сула — враг размышлений?— возразила Розали.

— Вы, значит, размышляли? — спросила баронесса.

— Ну да, маменька.

— Нет, вы не размышляли! Вы заглядывали в окна этого адвоката — занятие неуместное и нескромное; в особенности не должен был его подметить господин де Сула.

— Почему же? — спросила Розали.

— Пора вам уже узнать наши намерения,— ответила мать.— Вы нравитесь Амедею и, надеюсь, будете счастливы, став графинею де Сула.

Побледнев, как мел, Розали ничего не ответила, потрясенная противоположными чувствами, ее обуревавшими. Но в присутствии де Сула, которого она с этой минуты глубоко возненавидела, на ее губах появилась улыбка, подобная той, с какой танцовщицы улыбаются публике. Розали стала смеяться и нашла в себе силы скрыть досаду, стихшую, как только она решила использовать этого толстого и глуповатого молодого человека в своих интересах.

— Господин де Сула,— сказала она ему в то время,

как баронесса прошла в сад, притворившись, будто оставляет молодых людей вдвоем,— известно ли вам, что Альбер Саварон де Саварюс — легитимист?

— Легитимист?

— До тридцатого года он был докладчиком Государственного совета и секретарем председателя совета министров; ему покровительствовали дофин и его супруга. С вашей стороны очень мило, что вы не отзывались о нем дурно; но было бы еще лучше принять участие в предстоящих выборах, подать за него голос и помешать господину де Шавонкуру сделаться представителем Безансона.

— Почему вы внезапно стали проявлять такой интерес к этому Саварону?

— Господин Альбер де Саварюс — внебрачный сын графа де Саварюса, но сохраните это в тайне, я говорю вам по секрету. Если его выберут депутатом, он будет нашим поверенным в тяжбе с Рисей. Руксей, по словам папеньки, перейдет в мою собственность; мне хотелось бы там жить, это чудесный уголок; я буду в отчаянии, если замечательное создание великого Ватвиля на моих глазах придет в упадок.

«Черт возьми,— подумал Амедей, выходя из дома де Рюптов,— эта девушка неглупа!»

Г-н де Шавонкур был роялистом, он принадлежал к пресловутой группе, состоявшей из двухсот двадцати одного депутата. На другой же день после Июльской революции он стал сторонником тех, кто благоразумно решил принять присягу и в дальнейшем бороться с установившимся режимом на манер борьбы тори против вигов в Англии. Это решение не было поддержано легитимистами, которые, потерпев фиаско, разделились на враждующие группы и всецело положились на силу косности и на волю провидения. Г-н де Шавонкур, не снискавший доверия собственной партии, показался прекрасной находкой членам партии центра; торжество его умеренных взглядов они предпочли победе республиканца, поддерживаемого крайне левыми «патриотами». Г-н де Шавонкур, весьма уважаемый в Безансоне человек, был представителем старинного рода, всегда посылавшего своих членов в парламент; его состояние, дававшее около пятнадцати тысяч франков ежегодного дохода,

никому не резало глаза, тем более, что у него были сын и три дочери. При наличии такой обузы пятнадцать тысяч франков в год — ничто. И если при подобных обстоятельствах глава семьи остается неподкупным, то избирателям трудно не оценить его. Избиратели увлекаются идеалом парламентской добродетели, точно так же, как зрители увлекаются изображением благородных чувств, которые они сами в жизни не испытывают.

Г-же де Шавонкур было тогда лет под сорок, и она слыла одной из красивейших женщин Безансона. Во время парламентских сессий она скромно жила в одном из своих имений, стараясь возместить своей бережливостью те расходы, какие г-ну де Шавонкуру приходилось делать в Париже. Зимой же она честь честью принимала гостей; хоть это бывало лишь раз в неделю, по вторникам, но она прекрасно справлялась с ролью хозяйки дома.

Молодой Шавонкур, лет двадцати двух, был в тесной дружбе с молодым дворянином, по имени Вошель, не более богатым, чем Амедей, с которым Вошель учился в коллеже. Они вместе ездили в Гранвиль, вместе охотились и были всем известны, как неразлучные друзья, и даже в гости их приглашали всегда вместе. Розали, дружившая с сестрами Шавонкур, знала, что молодые люди не имели друг от друга никаких секретов. Она сказала себе, что если де Сула проболтается, то лишь своим закадычным друзьям. У де Вошеля, как и у Амедея, имелись матримониальные планы: он хотел жениться на Виктории, старшей из сестер Шавонкур, которой старая тетка должна была оставить в наследство имение, приносившее семь тысяч франков дохода, и дать сто тысяч наличными при заключении брачного договора. Виктория была крестницей этой тетки и пользовалась особой ее любовью.

Очевидно, что молодой Шавонкур-сын и Вошель должны были предупредить старого Шавонкура об опасности, грозившей ему со стороны Альбера. Но и этого было недостаточно для Розали. Она написала левой рукой анонимное письмо префекту, за подписью «Друг Луи-Филиппа»; в нем она уведомляла префекта о кандидатуре Альбера де Саварюса, хранимой до сих пор в тайне, указывала на то, что красноречивый роялист

будет опасным соперником для Берье, и открывала префекту тайный смысл поведения адвоката в течение двух лет, прожитых им в Безансоне. Префект был человек смышленый, личный враг роялистов и в силу своих убеждений преданный правительству; словом, он был одним из тех людей, о которых в министерстве внутренних дел, на улице Гренель, говорят: «В Безансоне у нас хороший префект». Итак, этот префект прочел письмо и, по просьбе писавшей, сжег его.

Розали хотела помешать избранию Альбера, чтобы еще на пять лет удержать его в Безансоне.

В то время выборы были борьбой партий, и, чтобы победить, министерство подготовляло почву, выбирая для этой борьбы наивыгоднейший момент. Поэтому выборы должны были состояться не ранее, чем через три месяца. Когда человек всю жизнь ожидает избрания, то в период между появлением указа о созыве избирательных коллегий и самими выборами повседневный ход событий для него как бы приостанавливается. Розали поняла, сколько свободы для ее действий дадут эти три месяца, когда Альбер будет чрезмерно занят. Она заставила Мариэтту (пообещав взять ее к себе на службу вместе с Жеромом) снова приносить ей письма, посылаемые Альбером в Италию, а также и ответные. Затевая подобные козни, эта удивительная девушка с самым простодушным видом продолжала вышивать туфли для отца. Она даже удвоила старания казаться наивной, понимая, какую службу ей может сослужить простоватый и наивный вид.

— Розали становится очень мила,— говорила баронесса.

За два месяца до выборов у г-на Буше-отца состоялось совещание, в котором участвовали: предприниматель, рассчитывавший получить подряд на постройку моста и водопровода из Арсье; г-н Гране, тесть г-на Буше (влиятельное лицо, которому Саварюс оказал услугу, за что тот соглашался поддержать его кандидатуру); поверенный Жирарде, издатель «Восточного обозрения» и председатель коммерческого суда. Кроме того, на этом совещании можно было насчитать двадцать семь человек из тех, кого в провинции называют «шишками». За каждым из них стояло в среднем шесть голо-

сов; но они считали по крайней мере десять, так как собственное влияние всегда кажется преувеличенным. Среди этих двадцати семи был подосланный префектом лазутчик, втайне ждавший благосклонности министерства. На этом первом собрании, с воодушевлением, какого от безансонцев никто не мог бы ожидать, было решено выбрать Саварюса кандидатом.

Ожидая, пока Альфред Буше придет за ним, Альбер беседовал с аббатом де Грансей, который проявлял большой интерес к его непомерному честолюбию. Альбер ценил большую опытность священника в политических делах, и тот, тронутый просьбой молодого человека, охотно согласился помочь ему наставлениями и советами в предстоявшей серьезной борьбе. Капитул недолюбливал г-на де Шавонкура, так как из-за его шурина, председателя суда, пресловутый процесс в первой инстанции был проигран.

— Вас предали, сын мой,— сказал умный и почтенный аббат тем мягким и спокойным голосом, какой бывает только у старых священников.

— Предали! — воскликнул Альбер, пораженный в самое сердце.

— Кто вас предал, не знаю,— продолжал аббат.— Но префектуре известны все ваши планы, она заглянула в ваши карты. Сейчас я ничего не могу вам посоветовать. Подобные дела нуждаются в тщательном изучении. Что касается этого вечера и собрания, то идите навстречу ударам, которые хотят вам нанести. Расскажите о своем прошлом; таким путем вы смягчите впечатление, которое это открытие произведет на безансонцев.

— О, я этого ожидал,— сказал Саварюс изменившимся голосом.

— Вы не захотели воспользоваться моим советом; надо было посетить де Рюптов; вы не знаете, как много выиграли бы от этого.

— Что же именно?

— Единодушие роялистов, кратковременное примирение в их рядах перед выборами; наконец, больше сотни голосов! Если добавить к ним голоса духовных лиц, то даже, еще не будучи выбранным, вы стали бы хозяином выборов благодаря системе баллотирования. В

таких случаях вступают в переговоры и можно добиться успеха.

Вошел Альфред Буше и с энтузиазмом сообщил о решении комитета; но главный викарий и адвокат остались холодны, спокойны и серьезны.

— Прощайте, господин аббат,— сказал Альбер,— после выборов мы подробнее поговорим о вашем деле.

И поверенный, выразительно пожав руку г-ну де Грансей, взял Альфреда под руку. Священник посмотрел на честолюбца, лицо которого приняло то вдохновенное выражение, какое бывает у полководца, услыхавшего в начале битвы первый пушечный выстрел. Де Грансей поднял глаза к небу и вышел, подумав:

«Какой прекрасный служитель божий вышел бы из него!»

Красноречие нынче — редкий гость в суде. Не часто адвокат вкладывает в речь все свои душевные силы, иначе его не хватит и на несколько лет. Редко слышится теперь красноречивая речь и с церковной кафедры; ее можно услышать разве что на заседаниях Палаты депутатов, когда какой-нибудь честолюбец все ставит на карту и, подстрекаемый тысячью уколов, вдруг начинает витийствовать. Но еще чаще проявляется ораторский талант у некоторых одаренных людей в те роковые мгновения, когда должны свершиться или же потерпеть неудачу их сокровенные желания, когда эти люди вынуждены говорить. Так и на этом собрании Альбер Саварюс, почувствовав, что необходимо завербовать союзников, использовал все свои способности, все силы души и ума. Он вошел в гостиную непринужденно и в то же время без всякого высокомерия, с сознанием своей силы и не проявил ни малодушия, ни смущения, очутившись в обществе тридцати с лишним человек (слухи о собрании и о принятой резолюции уже успели привлечь несколько баранов, привыкших идти на зов колокольчика). Прежде чем выслушать г-на Буше, который хотел произнести *спич* по поводу решения комитета, Альбер знаком призвал всех к молчанию и крепко сжал руку г-на Буше, как бы предупреждая его о внезапной опасности.

— Мой юный друг Альфред сообщил мне, что вы почтили меня своим доверием,— сказал адвокат.— Но

до того, как вы окончательно решите голосовать за меня, я считаю своим долгом рассказать, кто такой ваш кандидат, чтобы предоставить вам свободу взять свои голоса обратно, если мои слова вас смутят.

В результате подобного вступления воцарилась глубокая тишина. Некоторые нашли, что такой поступок весьма благороден.

Альбер сообщил свое настоящее имя, рассказал о своем прошлом, о своей деятельности во время Реставрации, добавил, что после приезда в Безансон он стал другим человеком, и сообщил, какие обязательства принимает на себя. Все слушали эту импровизированную речь, затаив дыхание. Люди с совершенно различными интересами были покорены изумительным красноречием честолюбца. Восторг помешал им рассуждать. Они поняли лишь одно, а именно то, что Альбер хотел им внушить.

Не лучше ли для всякого города вместо механически голосующего депутата иметь представителем в парламенте одного из тех людей, которым предназначено править всем обществом? Такой государственный деятель— это настоящий представитель власти; посредственный же депутат, даже если он неподкупен, всего лишь добросовестен. Какая честь для Прованса, что он выдвинул Мирабо и что после 1830 года им был послан в Палату один из вдохновителей Июльской революции!

Покоренные этим красноречием, все слушатели подумали о том, каким великолепным орудием политики оно будет в устах их депутата. В Альбере Савароне все они увидели министра Саварюса. Угадывая тайные мысли слушателей, умный кандидат дал им понять, что они первые приобретут право пользоваться его влиянием.

По словам единственного человека, который оказался способен оценить Саварюса по достоинствам и занял впоследствии видное положение в Безансоне, эта исповедь, это признание честолюбца, этот рассказ о своей жизни и характере были верхом искусства; они были полны чувства, пылкости и захватывающего интереса. Всех избирателей словно увлек водоворот. Никогда оратору не удавалось одержать большей победы. Но, к несчастью, действие слова, этого оружия, которым можно биться только в упор, крайне недолговечно. Размышление убивает слово, и тогда оно уже не может восто-

жествовать над рассудком. Если бы тотчас стали голосовать, то Альбера наверняка избрали бы. В ту минуту он был победителем. Но ему следовало так побеждать каждый день еще два месяца!

Альбер вышел с бьющимся сердцем. Снискав рукоплескания безансонцев, он добился крупного успеха, заранее обезвредив злословие, повод к которому могло подать его прошлое. Торговые круги Безансона выбрали своим кандидатом Саварона де Саварюса. Но энтузиазм Альфреда Буше, вначале заразительный, должен был со временем стать неуместным.

Префект, испуганный этим успехом, начал подсчитывать голоса приверженцев министерства и устроил тайную встречу с г-ном де Шавонкуром, чтобы в общих интересах заключить союз. С каждым днем голоса, собранные комитетом Буше, таяли по непонятным причинам. За месяц до выборов Альбер увидел, что у него осталось едва шестьдесят голосов. Ничто не могло устоять перед упорным натиском префекта. Трое или четверо расторопных людей говорили клиентам Саварюса: «Разве депутат станет защищать вас в суде и выигрывать ваши процессы? Разве он станет давать вам советы, заключать ваши договора, ваши мировые сделки? Вы можете закабалить его еще на пять лет, если вместо того, чтобы посылать его в Палату сейчас, дадите ему только надежду попасть туда годиков через пять». Эти расчетливые соображения тем более вредили Саварюсу, что жены некоторых коммерсантов еще раньше внушали такие мысли своим мужьям. Лица, заинтересованные в постройке моста и водопровода из Арсье, не устояли после переговоров с ловким представителем министерства, доказавшим, что им следует искать поддержки у префектуры, а вовсе не у какого-то честолюбца. Каждый день приносил Альберу новое поражение, хотя каждый день был битвой, идущей под его руководством; эту битву вели его помощники посредством разговоров, речей, интриг. Он не решался обратиться к главному викарию, а тот, в свою очередь, не заходил к нему. Альбер вставал и ложился как в лихорадке, его мозг пылал.

Наконец наступил день первой борьбы, день так называемого предвыборного собрания, когда подсчиты-

ваются голоса, кандидаты взвешивают шансы и знающие люди могут предсказать им успех или неудачу. Это сцена честного hustings'a [1], без участия простонародья, но не менее сурового; страсти, не проявляясь здесь внешне, как в Англии, все же не менее сильны. Англичане действуют с помощью кулаков, французы же — с помощью красноречия. Наши соседи бросаются врукопашную, французы же играют судьбой посредством хладнокровных, спокойно продуманных комбинаций. Словом, этот политический акт происходит не так, как следовало бы ожидать, зная характер обоих народов, а как раз наоборот.

У радикальной партии был свой кандидат; потом появился г-н де Шавонкур, затем Альбер, которого радикалы и шавонкуровский комитет обвиняли в том, что он является приверженцем непримиримых правых, вторым де Берье. У правительственной партии был свой кандидат, подставной человек, нужный лишь для того, чтобы собрать вместе голоса сторонников министерства. Разделенные таким образом голоса никому не принесли большинства. Кандидат радикалов собрал двадцать голосов, правительственный — пятьдесят, за Альбера было подано семьдесят, за г-на де Шавонкура — шестьдесят семь. Но коварная префектура, чтобы обмануть противника, велела тридцати наиболее верным своим приверженцам голосовать за Альбера. Голоса, поданные за г-на де Шавонкура, вместе с восемьюдесятью имевшимися на самом деле голосами префектуры решали исход выборов, если бы префекту удалось привлечь на свою сторону нескольких радикалов. Сто шестьдесят голосов не были поданы совсем, а именно голоса, которыми располагал аббат де Грансей, и голоса легитимистов.

Предвыборное собрание — то же самое, что генеральная репетиция в театре, то есть самая обманчивая вещь на свете. Альбер Саварон вернулся домой с виду спокойный, но на самом деле полуживой. За последние две недели он сумел (или же ему просто посчастливилось) приобрести еще двух сторонников: тестя Жирарде и старого, очень умного негоцианта, к которому ему

---

[1] Предвыборная борьба *(англ.)*.

посоветовал обратиться г-н де Грансей. Эти двое честных людей, став его лазутчиками в противоположном лагере, притворялись ярыми врагами Саварюса. В конце предвыборного собрания они сообщили ему через г-на Буше, что тридцать неизвестных голосов играли в его партии ту же роль, какую они сами выполняли для него в других партиях. Преступник, идущий на казнь, страдает меньше, чем страдал Альбер, возвращаясь из залы, где решалась его судьба. Охваченный отчаянием, он не хотел, чтобы его кто-либо провожал, и шел по улицам в одиночестве; было около полуночи.

Спустя час Альбер, не смыкавший глаз уже трое суток, сидел в вольтеровском кресле в своей библиотеке, бледный, как смерть, бессильно опустив руки; его беспомощная поза была достойна Магдалины. Слезы навернулись на его длинные ресницы; эти слезы увлажняли глаза, но не скатывались по щекам: мысли поглощали их, душевный жар сушил. Оставшись в одиночестве, Альбер мог плакать. В беседке он заметил чью-то белую фигуру, напомнившую ему о Франческе.

«Вот уже три месяца, как я не получал от нее писем! Что с нею? Я сам два месяца не писал ей, но ведь я ее предупреждал. Не больна ли она? О моя любовь! О моя жизнь! Узнаешь ли ты когда-нибудь, сколько я выстрадал! Какое слабое у меня здоровье! Нет ли у меня аневризмы?» — спрашивал он себя, прислушиваясь к биению сердца, настолько сильному, что в окружавшей тишине его удары напоминали звук от падения камешков на большой барабан.

В эту минуту раздался легкий троекратный стук в дверь. Альбер поспешно пошел отворять, и ему стало почти дурно от радости, когда он увидел главного викария, у которого был веселый, торжествующий вид.

Альбер молча обнял аббата де Грансей, прижал его к себе и уронил голову на плечо старика. Снова став ребенком, он расплакался, как в тот момент, когда узнал, что Франческа Содерини замужем. Только перед этим священником, чье лицо словно излучало надежду, адвокат мог обнаружить свою слабость. Этот старик был и великодушен и умен.

— Простите, дорогой аббат, но вы пришли в одну

из тех минут, когда человек не владеет собой. Ведь вы не считаете меня заурядным честолюбцем?

— Нет, я все знаю,— ответил аббат,— ведь это вы написали «Честолюбца из-за любви». Я сам, сын мой, из-за несчастной любви стал священником в восемьдесят шестом году, двадцати двух лет. В восемьдесят восьмом я уже был кюре. Я знаю жизнь. Я трижды отказывался от поста епископа и хочу умереть в Безансоне.

— Взгляните же на *нее!* — воскликнул Саварюс, взяв свечу и введя аббата в роскошный кабинет, где находился портрет герцогини д'Аргайоло.

— Это одна из женщин, созданных, чтобы царить! — сказал викарий, понимая, что это безмолвное признание доказывало привязанность Альбера к нему.— Но какое гордое лицо! Она неумолима, не прощает обид! Это архангел Михаил, ангел карающий, непреклонный. Все или ничего — таков девиз этих ангельских характеров. В этом лице есть что-то божественно-дикое.

— Вы хорошо ее разгадали! — воскликнул Саварюс.— Но, дорогой аббат, вот уже двенадцать лет, как она царит в моей душе, и я не могу упрекнуть себя ни в одной дурной мысли.

— Ах, если бы вы столько сделали для бога! — откровенно воскликнул аббат.— Но поговорим о ваших делах. Вот уже десять дней, как я стараюсь для вас. Если вы настоящий политик, то на этот раз последуете моим советам. Вы не очутились бы в таком положении, как сейчас, если бы посетили де Рюптов, когда я советовал вам это сделать; но вы пойдете к ним завтра вечером. Я представлю вас. Имению Руксей угрожает опасность, нужно выступить в суде через два дня. Выборы состоятся не раньше чем через три дня. Мы позаботимся о том, чтобы избирательную комиссию не успели сформировать в первый день выборов; будет несколько перебаллотировок, и вы победите при голосовании.

— Каким же образом?

— Выиграв процесс о Руксей, вы приобретете восемьдесят голосов легитимистов; прибавьте их к тем тридцати голосам, которыми я располагаю, будет сто десять. Так как у вас остается еще двадцать голосов комитета Буше, то в итоге вы обладаете ста тридцатью голосами.

— Так что ж? — возразил Альбер.— Нужно еще семьдесят пять!

— Да,— сказал священник,— так как все остальные голоса принадлежат правительственной партии. Но, сын мой, у вас будет двести голосов, а у префекта только сто восемьдесят.

— У меня двести голосов?! — воскликнул ошеломленный Альбер, вскочив, словно его подкинуло пружиной.

— У вас будут голоса, поданные за господина де Шавонкура,— ответил аббат.

— Но каким образом?

— Вы женитесь на мадемуазель Сидони де Шавонкур.

— Никогда!

— Вы женитесь на мадемуазель Сидони де Шавонкур,— повторил священник.

— Но ведь вы же знаете, *она* неумолима! — сказал Альбер, указывая на портрет Франчески.

— Вы женитесь на мадемуазель де Шавонкур,— в третий раз спокойно повторил священник.

На этот раз Альбер понял. Главный викарий не хотел быть замешан в планы, которые могли наконец спасти отчаявшегося политика. Лишнее слово скомпрометировало бы достоинство, сан и порядочность священника.

— Завтра вы встретитесь у де Рюптов с госпожой де Шавонкур и ее младшей дочерью; поблагодарите ее за то, что она собирается сделать для вас; скажите ей, что ваша признательность безгранична, что вы принадлежите ей душою и телом, что ваше будущее отныне связано с будущим ее семьи, что вы бескорыстны и вполне уверены в себе; наконец, что избрание депутатом заменит вам приданое. Вам придется побороться с госпожой де Шавонкур; она захочет, чтобы вы дали ей слово. От этого вечера, сын мой, зависит все ваше будущее. Но знайте, я тут ни при чем. Мое участие выражается лишь в том, что я обеспечу вам голоса легитимистов: я привлек на вашу сторону г-жу де Ватвиль, а значит, и всю безансонскую аристократию. Амедей де Сула и Вошель будут голосовать за вас и поведут за собой молодежь; госпожа де Ватвиль повлияет на стариков. Что касается моих голосов, то они обеспечены.

— Кто же воздействовал на госпожу де Шавонкур? — спросил Саварюс.

— Не расспрашивайте меня,— ответил аббат.— Господину де Шавонкуру нужно выдать замуж трех дочерей; увеличить же свое состояние он не может. Если Вошель и женится на старшей без всякого приданого, рассчитывая на старую тетку, дающую деньги на их свадьбу, то что делать с двумя остальными? Сидони шестнадцать лет, а ваше честолюбие — целый клад. Кто-то сказал госпоже де Шавонкур, что лучше выдать дочь замуж, чем снова посылать мужа в Париж проедать деньги. Кто-то влияет на госпожу де Шавонкур, а та вертит своим супругом, как хочет.

— Довольно, дорогой аббат, я понял. Когда меня выберут депутатом, я должен буду кому-то помочь сделать блестящую карьеру и тем самым сдержу слово. Я ваш сын и буду обязан вам своим счастьем. Господи! Что такое я сделал, чем я заслужил эту подлинную дружбу?

— Вы помогли капитулу победить,— сказал аббат, улыбаясь.— А теперь храните гробовое молчание обо всем. Мы, духовные лица, здесь ни при чем, наше дело — сторона. Если узнают, что мы вмешиваемся в выборы, то пуритане из левых партий, сами поступающие еще хуже, съедят нас живьем, а кое-кто из наших будет сильно нас бранить — ведь они хотят добиться всего. Госпожа де Шавонкур не подозревает о моем участии. Я доверился только госпоже де Ватвиль, на которую мы можем положиться, как на самих себя.

— Я приведу к вам герцогиню, чтобы вы благословили нас обоих! — воскликнул честолюбец.

Проводив старого священника, Альбер лег спать, мечтая о будущей власти.

На другой день, к девяти часам вечера, в гостиной баронессы де Ватвиль было, как легко себе представить, полно безансонских аристократов, собравшихся по чрезвычайному случаю. Толковали о том, что надо на этот раз участвовать в выборах в угоду семье де Рюптов. Всем было уже известно, что собравшихся познакомят с бывшим докладчиком Государственного совета, секретарем одного из министров, наиболее преданных старшей линии Бурбонов. Г-жа де Шавонкур приехала с дочерью

Сидони, прелестно одетой, тогда как другая, уверенная в женихе, не стала прибегать ни к каким ухищрениям в своем туалете. Так часто бывает в провинции. Красивое, умное лицо аббата де Грансей можно было увидеть то в одной, то в другой группе; он слушал всех, как будто ни во что не вмешиваясь, но роняя острые словечки, решающие суть дела и направляющие нить разговора.

— Если старшая линия вернется,— замечал он бывшему государственному деятелю лет семидесяти,— то где она возьмет политиков?

Другим главный викарий говорил: «Берье остался в одиночестве и не знает, что делать. Будь у него голосов шестьдесят, он во многом мог бы мешать правительству, он свергнул бы не одно министерство!». «В Тулузе собираются выбрать герцога Фиц-Джемса». «Вы поможете де Ватвилю выиграть его процесс». «Если вы подадите голос за Саварюса, то республиканцы скорее будут голосовать вместе с вами, чем с партией центра». И так далее, и так далее.

К девяти часам Альбера еще не было. Г-же де Ватвиль такое опоздание показалось дерзостью.

— Дорогая баронесса,— сказала г-жа де Шавонкур,— не будем ставить столь серьезные дела в зависимость от какого-нибудь пустяка. Может быть, господина де Саварюса задерживает важное совещание, или просто вакса на его башмаках не успела высохнуть.

Розали искоса взглянула на г-жу де Шавонкур и вполголоса сказала матери:

— Она очень снисходительна к господину де Саварюсу!

— Очень просто,— ответила баронесса, улыбаясь.— Ведь дело идет о браке Сидони с господином де Саварюсом!

Розали внезапно отошла к окну, выходившему в сад.

К десяти часам Саварюс еще не появлялся. Надвигавшаяся гроза разразилась. Кое-кто из аристократов сел играть в карты, находя, что такое положение нестерпимо. Де Грансей не знал, что и думать. Подойдя к окну, где пряталась Розали, он громко воскликнул, столь велико было его удивление:

— Должно быть, Саварюс умер!

В сопровождении Розали и ее отца главный викарий вышел в сад. Они поднялись в беседку. У Альбера все было заперто, в окнах не виднелось света.

— Жером! — позвала Розали, увидев во дворе слугу.

Аббат де Грансей посмотрел на мадемуазель де Ватвиль.

— Где ваш хозяин? — спросила она Жерома, подошедшего к подножию стены.

— Уехал на почтовых, мадемуазель.

— Он либо погиб,— воскликнул аббат де Грансей,— либо счастлив!

Розали не успела скрыть выражения торжествующей радости, мелькнувшего на ее лице. Главный викарий это заметил, но притворился, будто ничего не видел. «Какое участие Розали могла принимать во всем этом?» — спрашивал он себя.

Все трое вернулись в гостиную, и барон сообщил странную, поразительную, необыкновенную новость об отъезде Альбера Саварона де Саварюса на почтовых; причины этого исчезновения были покрыты мраком неизвестности. К полуночи из всего общества оставалось не более пятнадцати человек, в том числе г-жа де Шавонкур и аббат де Годенар (другой викарий, лет сорока, стремившийся получить место епископа), обе девицы де Шавонкур, г-н де Вошель, аббат де Грансей, Розали, Амедей де Сула и один отставной чиновник, весьма влиятельное лицо в высших кругах Безансона, желавший, чтобы Альбер Саварюс был избран.

Аббат де Грансей сел рядом с баронессой, но так, чтобы видеть Розали, лицо которой, обычно бледное, было на этот раз залито лихорадочным румянцем.

— Что могло случиться с господином де Саварюсом? — спросила г-жа де Шавонкур.

В эту минуту одетый в ливрею слуга подал аббату де Грансей письмо на серебряном подносе.

— Читайте,— сказала баронесса.

Главный викарий прочел про себя письмо и увидел, что Розали внезапно сделалась белее своей косынки.

«Она узнала почерк!» — подумал он, взглянув на девушку поверх очков. Затем он сложил письмо и хладнокровно сунул его в карман, не говоря ни слова. За

эти три минуты он поймал три взгляда Розали; их было достаточно, чтобы догадаться обо всем. «Она любит Альбера!» — подумал главный викарий.

Он поднялся. Розали пришла в волнение. Он раскланялся, сделал несколько шагов к дверям. В следующей же комнате Розали догнала его и воскликнула:

— Господин де Грансей, письмо от Альбера?

— Откуда вы так хорошо знаете этот почерк, что различаете его на столь большом расстоянии?

Девушка, пойманная в сети собственного нетерпения и гнева, ответила словами, не лишенными величия, как подумал аббат.

— Потому что я люблю его!.. Что с ним? — спросила она после некоторой паузы.

— Он отказывается от участия в выборах,— ответил аббат.

Розали приложила палец к губам.

— Прошу вас сохранить мою тайну, как на исповеди,— сказала она, прежде чем вернуться в гостиную.— Если нет больше речи об избрании, то не будет и брака с Сидони!

На другое утро, отправившись к обедне, Розали узнала от Мариэтты кое-какие подробности, объяснявшие исчезновение Альбера в самый критический момент его жизни.

— Оказывается, мадемуазель, утром в гостиницу «Националь» приехал из Парижа старый господин в собственной прекрасной карете, запряженной четверкой лошадей, с лакеем и курьером. По мнению Жерома, видевшего, как они уезжали, это был по крайней мере князь или граф.

— Был ли на карете герб в виде короны? — спросила Розали.

— Не знаю,— ответила Мариэтта.— Ровно в два часа он явился к господину Саварону и велел передать ему свою визитную карточку. Жером говорит, что его хозяин, увидев ее, побледнел, как полотно, и велел тотчас же впустить посетителя. Дверь была заперта на ключ, и нельзя было узнать, о чем они говорили. Они пробыли вместе около часа, после чего старый господин вышел в сопровождении адвоката и позвал своего лакея. Затем Жером видел, как этот лакей вышел с огром-

ным свертком, длиною около четырех футов, похожим на свернутую в трубку картину. Старый господин держал в руках большой пакет с бумагами. Господин Саварюс был бледен, как смерть; его вид внушал жалость, а ведь он всегда держится так гордо, с таким достоинством! Но он обращался со стариком почтительно, точно имел дело с самим королем, проводил его вместе с Жеромом до кареты, уже запряженной четверкой лошадей. Курьер уехал раньше, ровно в три часа. Хозяин Жерома отправился прямо в префектуру, а оттуда — к господину Жантийэ, у которого купил старую дорожную коляску покойной госпожи Сен-Вье; затем он велел на почте приготовить ему лошадей к шести часам. Он вернулся домой, чтобы уложиться, написал, кажется, несколько писем; затем приводил в порядок дела вместе с господином Жирарде, который пришел к нему и оставался до шести часов. Жером отнес записку к господину Буше, где его хозяина ждали к обеду. Наконец, в половине восьмого господин Саварон уехал, оставив Жерому жалованье за три месяца вперед и велев ему искать себе новое место. Ключи он отдал господину Жирарде, которого проводил домой, и съел у него тарелку супа, так как господин Жирарде в это время собирался обедать. Садясь в карету, господин Саварон походил на мертвеца. Жером, конечно, провожал хозяина и слышал, как тот сказал почтальону: «На Женевскую дорогу!»

— Не узнавал ли Жером в гостинице «Националь», как звали приезжавшего?

— Так как старый господин был тут лишь проездом, то его имени не спрашивали. Лакей делал вид, что не говорит по-французски; но ему, наверное, так велели.

— А что за письмо получил в столь поздний час аббат де Грансей? — спросила Розали.

— Его, наверное, передал господин Жирарде; Жером говорит, что бедный господин Жирарде, который очень любил адвоката, был так же поражен, как и сам Саварон. По словам мадемуазель Галар, кто таинственно появился, тот и уезжает столь же таинственно.

После этого рассказа Розали погрузилась в глубокую задумчивость, что всеми было замечено.

Нужно ли говорить, сколько шума наделало в Безан-

соне исчезновение Саварона? Стало известно, что префект чрезвычайно охотно согласился тотчас же выдать ему заграничный паспорт, ибо избавлялся таким образом от единственного противника. На другой день г-н де Шавонкур был сразу избран большинством в сто сорок голосов.

— Был, да сплыл,— сказал один избиратель, узнав о бегстве Альбера Саварона.

Это происшествие только укрепило предубеждение, с каким в Безансоне относились к «чужакам», предубеждение, вызванное за два года до этого республиканской газетой. Спустя десять дней никто уже не вспоминал об Альбере Савароне. Только трех человек: стряпчего Жирарде, главного викария и Розали — серьезно огорчило его исчезновение. Жирарде, видевший визитную карточку седовласого иностранца, знал, что это был князь Содерини; он сказал об этом и главному викарию. Розали, будучи гораздо осведомленнее их, уже около трех месяцев знала о смерти герцога д'Аргайоло.

До апреля 1836 года никто ничего не знал об Альбере Саварюсе. Жером и Мариэтта хотели пожениться, но г-жа де Ватвиль конфиденциально посоветовала своей горничной подождать замужества Розали, чтобы обе свадьбы состоялись одновременно.

— Пора уже выдать Розали замуж,— сказала однажды баронесса мужу.— Ей девятнадцать лет, и за последние месяцы она так изменилась, что на нее глядеть страшно.

— Не знаю, что с ней такое,— пожал плечами барон.

— Когда отец не знает, что творится с дочерью, то мать догадывается об этом,— сказала баронесса.— Ее надо выдать замуж.

— Согласен,— ответил барон.— Со своей стороны я даю за ней в приданое Руксей. Ведь суд помирил нас с общиной Рисей, установив границы в трехстах метрах от подножия зубца Вилар. Там роют канал для стока воды, чтобы спускать ее в озеро. Община не обжаловала это решение, и оно является окончательным.

— Вы еще не догадались,— сказала баронесса,— что это решение обошлось мне в тридцать тысяч франков, которые пришлось дать мэру Шантони. Этот мужлан не брал меньше: он был уверен, что община выиграет тяж-

бу, и помирился за деньги. Если вы отдадите Руксей, у вас ничего не останется.

— Мне много и не нужно,— возразил барон,— я проживу недолго.

— Однако у вас аппетит людоеда!

— Действительно, но, сколько я ни ем, ноги у меня все больше и больше слабеют.

— От работы на токарном станке,— заметила баронесса.

— Право, не знаю!

— Мы выдадим Розали за господина де Сула. Если вы подарите ей Руксей, то следует сохранить за собой право пользоваться имением, а я дам им восемьдесят тысяч франков в процентных бумагах. Дети останутся с нами; думаю, что они будут счастливы.

— Нет, я отдам им Руксей совсем. Розали любит его.

— Что за пристрастие к дочери! Вы даже не спросите меня: может быть, я тоже люблю Руксей?

Немедля позванная Розали узнала, что в первых числах мая состоится ее свадьба с г-ном Амедеем де Сула.

— Благодарю вас, маменька, и вас также, папенька, за то, что вы стараетесь устроить мою судьбу; но я не хочу замуж, мне и с вами хорошо.

— Фразы! — сказала баронесса.— Вы не любите господина де Сула, вот и все.

— Если хотите знать правду, то за господина де Сула я никогда не выйду.

— О, эти «никогда» девятнадцатилетней девушки!— воскликнула баронесса, язвительно улыбаясь.

— Но это «никогда» девицы де Ватвиль! — ответила Розали.— Надеюсь, папенька, вы не намерены выдать меня замуж без моего согласия?

— О, конечно, нет! — сказал бедный барон, с нежностью глядя на дочь.

— Отлично,— сухо закончила баронесса, сдерживая свою досаду, досаду святоши, внезапно встретившей непослушание,— потрудитесь же, господин де Ватвиль, сами пристроить свою дочь! Подумайте хорошенько, Розали: если вы не выйдете замуж по моей воле, то не получите от меня ни гроша.

Ссора, возникшая таким образом между баронессой и бароном, ставшим на сторону дочери, зашла столь далеко, что Розали пришлось провести лето вместе с отцом в Руксей: жизнь в особняке де Рюптов стала для нее невыносимой. В Безансоне узнали, что мадемуазель де Ватвиль наотрез отказала господину де Сула. Жером и Мариэтта, поженившись, поехали в Руксей, чтобы впоследствии заменить Модинье. Барон восстановил и переделал дом по указаниям дочери. Узнав, что эти переделки обошлись почти в шестьдесят тысяч франков, что Розали и ее отец велели построить даже оранжерею, баронесса поняла, что ее дочь не так-то проста. Барон купил несколько участков, вдававшихся клином в его земли, и еще одно именьице стоимостью в тридцать тысяч франков. Г-же де Ватвиль сообщили, что, оставшись без нее, Розали показала себя настоящей хозяйкой: она изучала способы извлечения дохода из Руксей, сшила себе амазонку и ездила верхом; отец чувствовал себя с нею счастливым, не жаловался больше на нездоровье, даже потолстел и сопровождал ее во всех прогулках.

Незадолго до именин баронессы главный викарий приехал в Руксей, посланный, наверное, г-жою де Ватвиль и г-ном де Сула, чтобы содействовать примирению матери с дочерью.

— Эта маленькая Розали неглупа,— говорили в Безансоне.

Сделав благородный жест, заплатив девяносто тысяч за работы, произведенные в Руксей, баронесса посылала теперь мужу на расходы около тысячи франков в месяц: она не хотела, чтобы ее в чем-нибудь упрекали. Отец и дочь согласились вернуться к пятнадцатому августа в Безансон и остаться до конца месяца. После обеда главный викарий отвел Розали в сторону, чтобы поговорить с ней о замужестве и дать ей понять, что не следует больше рассчитывать на Альбера, о котором уже с год не было никаких известий. Розали прервала его резким движением. Своенравная девушка взяла г-на де Грансей за руку и повела его к скамейке в роще рододендронов, откуда открывался вид на озеро.

— Слушайте, дорогой аббат! Я люблю вас так же, как и папеньку, потому что вы питаете привязанность к

«МНИМАЯ ЛЮБОВНИЦА».

«БЕАТРИСА».

моему Альберу. И я должна наконец признаться вам: я совершила много грехов для того, чтобы сделаться его женой, и он должен стать моим мужем... Вот прочтите!

Вынув из кармана передника газету, Розали протянула ее главному викарию, указав на статью, датированную 25 мая и сообщавшую из Флоренции:

«Вчера с большой пышностью была отпразднована свадьба герцога де Реторе, старшего сына герцога де Шольё, бывшего посланника, с герцогиней д'Аргайоло, дочерью князя Содерини. Благодаря многочисленным торжествам по случаю этого брака во Флоренции наступило большое оживление. Герцогиня д'Аргайоло — одно из самых богатых лиц в Италии, так как покойный герцог завещал ей все свое имущество».

— Та, которую он любил, вышла замуж,— сказала Розали,— я разлучила их!

— Вы? Каким же образом? — воскликнул аббат.

Розали собиралась было ответить, но ее прервали шум падения тела в воду и последовавшие за этим громкие крики двух садовников. Она вскочила и бросилась бежать, зовя отца. Барона не было видно.

Желая достать обломок гранита, где, как ему показалось, он заметил отпечаток раковины (а это наносило удар какой-то геологической теории), г-н де Ватвиль, стоявший на откосе, потерял равновесие и упал в озеро, бывшее у плотины, разумеется, особенно глубоким. Садовники, бросившись к месту, где бурлила вода, протянули барону шест. Наконец с огромным трудом его вытащили, всего покрытого тиной, в которой он глубоко увяз и увязал еще больше, стараясь выбраться. Барон недавно плотно пообедал; начавшееся пищеварение внезапно прервалось. Когда его раздели, счистили с него грязь и уложили в постель, он был уже в таком тяжелом состоянии, что двое слуг поскакали верхом: один в Безансон, другой за ближайшим доктором. Когда через восемь часов после происшествия приехала г-жа де Ватвиль с лучшими безансонскими врачами, положение ее мужа, несмотря на все старания доктора из Рисей, было уже безнадежным. Испуг вызвал воспаление мозга, а перерыв в пищеварительном процессе ускорил кончину бедного барона.

Эту смерть г-жа де Ватвиль приписала упрямству

дочери; по словам баронессы, ничего не случилось бы, останься ее муж в Безансоне. Она возненавидела Розали, предавалась явно преувеличенной скорби и угрызениям совести и даже называла барона «своим бедным ягненочком». Последний Ватвиль был похоронен в Руксей, на одном из островов озера, и вдова велела воздвигнуть над ним небольшой памятник в готическом стиле из белого мрамора, похожий на так называемый памятник Элоизы на Пер-Лашез.

После этого события баронесса переехала с дочерью в особняк де Рюптов. Прошел месяц; обе хранили угрюмое молчание. Розали была охвачена глубокой печалью, которая, однако, наружно не проявлялась. Она обвиняла себя в смерти отца и опасалась другой беды, еще более тяжелой для нее и также бывшей делом ее рук, ибо ни стряпчий Жирарде, ни аббат де Грансей не имели никаких сведений о судьбе Альбера. Это молчание пугало Розали. В приливе раскаяния девушка почувствовала потребность рассказать главному викарию о тех ужасных махинациях, посредством которых она рассорила Франческу с Альбером. Все это было просто и в то же время ужасно. Мадемуазель де Ватвиль перехватила письма Альбера к герцогине, а также то письмо, где Франческа извещала возлюбленного о болезни мужа и предупреждала, что не будет в состоянии ему писать все время, пока ей придется оставаться у ложа умирающего. Поэтому, пока Альбер был занят выборами, герцогиня послала ему только два письма: в одном из них она сообщала, что герцог д'Аргайоло при смерти, а в другом,— что она овдовела. Эти письма, полные благородного и возвышенного чувства, Розали оставила у себя. Проведя за работой несколько ночей, она достигла того, что в совершенстве научилась подражать почерку Альбера. Подлинные письма верного влюбленного она подменила тремя другими, черновики которых, показанные старому священнику, привели его в содрогание: гений зла предстал перед ним во всем своем блеске. Розали, подделываясь под руку Альбера, подготовляла герцогиню к измене француза, будто бы неверного ей, а в ответ на весть о смерти герцога д'Аргайоло мадемуазель де Ватвиль ответила письмом от своего имени, в котором сообщала о своем пред-

стоящем браке с Альбером. Оба письма должны были разминуться, и они разминулись. Дьявольский замысел, с каким было написано последнее письмо, так поразил главного викария, что он еще раз прочел его. На это письмо Франческа, раненная в самое сердце соперницей, стремившейся убить ее любовь, ответила простыми словами: «Вы свободны, прощайте».

— Грехи против нравственности, не дающие повода к вмешательству человеческого правосудия,— самые отталкивающие, самые гнусные грехи,— сурово сказал аббат де Грансей.— Господь часто наказывает за них уже здесь, на земле. Вот где причина многих ужасных несчастий, кажущихся нам необъяснимыми. Из всех грехов, схороненных в тайниках личной жизни, один из самых бесчестных — это распечатать чужое письмо или обманным путем прочесть его. Всякий человек, кто бы он ни был, какими бы побуждениями он ни руководствовался, позволяя себе этот поступок, наносит непоправимый ущерб своему доброму имени. Понимаете ли вы, как трогательна, как прекрасна повесть о том ложно обвиненном молодом паже, который везет письмо, содержащее приказ его убить? Он отправляется в путь без всякой задней мысли. Провидение берет его под свою защиту и спасает его, совершая чудо, как мы говорим. Знаете ли вы, в чем сущность этого чуда? Величие добродетели так же могущественно, как и ореол, окружающий невинное детство.

Я говорю вам все это не с целью сделать выговор,— продолжал с глубокой грустью старый священник.— Увы! Я сейчас не исповедник, вы не стоите коленопреклоненной перед распятием; я только ваш друг, и меня страшит возмездие, которое вас постигнет. Что сталось с бедным Альбером? Не покончил ли он с собой? Под его напускным спокойствием таилась исключительная страстность. Теперь я понял, что старый князь Содерини, отец герцогини д'Аргайоло, явился потребовать обратно портреты и письма дочери. Это было ударом грома, разразившимся над головой Альбера, и он, наверное, уехал с целью добиться оправдания. Но почему он не подает о себе никаких известий вот уже больше года?

— О, если он женится на мне, то будет счастлив!

— Счастлив? Но он не любит вас! К тому же вы не принесете ему сколько-нибудь значительного богатства. Мать питает к вам глубочайшее отвращение, вы резко ответили ей; ваш ответ оскорбил ее и разорит вас.

— Какой ответ? — спросила Розали.

— Когда она заметила вам вчера, что послушание— единственное средство загладить вашу вину, и напомнила, упомянув об Амедее, о необходимости выйти замуж, разве вы не бросили ей в лицо: «Коль он так вам нравится, выходите за него сами, маменька!» Было это сказано или нет?

— Да,— ответила Розали.

— Ну так вот,— продолжал де Грансей,— я ее знаю. Через несколько месяцев она станет графиней де Сула. У нее, без сомнения, могут еще быть дети, господин де Сула будет получать от нее тысяч сорок франков в год; сверх того, она окажет ему предпочтение и уменьшит, насколько возможно, вашу долю в наследстве. Вам грозит бедность, пока она жива, а ведь ей только тридцать восемь лет. У вас будет всего-навсего имение Руксей и то немногое, что оставил после себя ваш папенька, да и то при условии, что баронесса откажется от своих прав на Руксей. Таким образом, ваши дела складываются неудачно, что же касается личной жизни, то и она, по-видимому, не удалась. Вместо того, чтобы пойти навстречу матери...

Розали резко дернула головой.

— Да, матери,— продолжал главный викарий,— а также религии, которые в ответ на порыв вашего сердца вразумили бы вас, дали бы вам совет, наставили бы вас на путь истинный, вместо всего этого вы захотели действовать самостоятельно, не зная жизни и слушаясь только голоса страсти!

Эти разумные слова испугали Розали.

— Что же мне делать? — спросила она, помолчав.

— Чтобы загладить свою вину, нужно прежде всего узнать, насколько она велика,— ответил аббат.

— Хорошо! Я напишу единственному человеку, могущему дать сведения об участи Альбера, его другу детства, парижскому нотариусу Леопольду Анкену.

— Пишите теперь только то, что имеет целью восстановить истину,— ответил главный викарий.— Отдайте

мне подлинные письма и черновики поддельных, признайтесь во всем подробно, как духовному отцу, прося меня научить вас, как искупить грехи, и во всем положитесь на меня. Я решу, что делать. Прежде всего докажем, что этот злополучный не виновен перед той, которая была для него земным божеством. Даже утратив счастье, Альбер должен добиться оправдания.

Розали обещала аббату де Грансей слушаться его во всем, надеясь, что его попытки. может быть, в конце концов вернут ей Альбера.

Спустя некоторое время после признания Розали клерк Леопольда Анкена приехал в Безансон с доверенностью от Альбера и явился прежде всего к г-ну Жирарде с просьбой продать дом, принадлежащий г-ну Саварону. Стряпчий взялся за это дело из расположения к адвокату. Клерк продал также и мебель, а вырученные деньги употребил на уплату того, что Альбер оставался должен г-ну Жирарде; последний в день неожиданного отъезда адвоката ссудил ему пять тысяч франков и взял на себя уплату различных долгов уехавшего. Когда Жирарде спросил, что сталось с благородным политиком, которому он весьма сочувствовал, клерк ответил, что это известно только его хозяину; нотариуса, кажется, чрезвычайно расстроило содержание последнего письма, полученного им от г-на Альбера де Саварюса.

Узнав об этом, главный викарий написал Леопольду. Вот ответ достойного нотариуса:

«Господину аббату де Грансей,
главному викарию Безансонской епархии.

Увы, милостивый государь, уже никто не властен вернуть Альбера к мирской жизни: он отрекся от нее и поступил послушником в картезианский монастырь возле Гренобля. Вы знаете лучше меня (мне только сейчас стало это известно), что за порогом тамошнего монастыря все мирское отмирает. Предвидя мое посещение, Альбер просил настоятеля монастыря препятствовать всем моим попыткам увидеть его. Я хорошо знаю благородство его сердца и уверен, что он стал жертвой какой-то гнусной, неведомой мне интриги; но теперь все кончено. Герцогиня д'Аргайоло, ныне герцогиня де Реторе, за-

шла в своей жестокости, по-моему, слишком далеко. В Бельджирате, где ее уже не было, когда Альбер примчался туда, его уверили, будто бы ее местопребывание — Лондон. Из Лондона Альбер отправился на поиски возлюбленной в Неаполь, из Неаполя — в Рим, где она обручалась с герцогом де Реторе. Только во Флоренции, в ту самую минуту, когда совершалось бракосочетание, Альбер встретил, наконец, герцогиню д'Аргайоло. Наш бедный друг лишился чувств в церкви, но так и не мог, даже будучи на волосок от смерти, добиться объяснения с этой женщиной, сердце которой, должно быть, глубоко задето. Альбер странствовал свыше полугода, стараясь отыскать жестокую женщину, которая играла с ним, ускользая от него: он не знал, где и как встретиться с ней. Будучи проездом в Париже, наш бедный друг навестил меня, и если бы вы видели его, то заметили бы, подобно мне, что ему нельзя было сказать ни одного слова о герцогине, не рискуя вызвать нервное потрясение, угрожавшее его рассудку. Если бы он знал, в чем его вина, то сумел бы оправдаться: но, обвиненный без его ведома в женитьбе на другой, что он мог поделать? Альбер умер для мира, умер навсегда. Он хотел покоя; будем надеяться, что глубокая тишина и молитвы, в которые он теперь погрузился, сделают его по-своему счастливым. Если вы его знали, милостивый государь, то должны глубоко сожалеть как о нем, так и о его друзьях. Примите и проч.».

Тотчас же по получении этого письма добрый главный викарий написал приору картезианского монастыря, и вот что ответил Альбер Саварюс:

«Брат Альбер — г-ну аббату де Грансей,
главному викарию Безансонской епархии.

Гранд-Шартрез.

В письме, только что переданном мне преподобным отцом, настоятелем нашего монастыря, я увидел, дорогой и горячо любимый главный викарий, вашу нежную душу и еще молодое сердце. Вы угадали единственное желание, сохранившееся в тайниках моей души, чуждой отныне всему мирскому: заставить ту, которая так

дурно поступила со мной, воздать должное моим чувствам. Но, предоставляя мне полную свободу воспользоваться вашим предложением, настоятель захотел узнать, насколько твердо мое намерение постричься; видя мое упорное молчание, он поделился со мной своими мыслями на этот счет. Если бы я уступил искушению восстановить свою честь, то мне пришлось бы уйти из монастыря. Благодать божья не могла не подействовать на меня; но короткая душевная борьба была все же тяжелой и жестокой. Теперь вам понятно, что я никогда уже не вернусь к мирской жизни? Поэтому я охотно, без всякого гнева даю испрашиваемое вами прощение для виновницы стольких несчастий. Я буду молиться богу, чтобы он простил этой девушке, как прощаю ей я, и буду также молить его даровать счастье г-же де Реторе. Является ли причиной нашего горя смерть, или случайный удар судьбы, или упрямая рука молодой девушки, во что бы то ни стало решившей добиться своего, не следует ли всегда повиноваться воле божьей? Иногда несчастье опустошает душу, она становится обширной пустыней, где раздается глас божий. Я слишком поздно понял связь между этой жизнью и жизнью, ожидающей нас: все во мне умерло. Я уже не могу служить в рядах воинствующей церкви и проведу остаток своих дней у подножия алтаря. Это — мое последнее письмо. Лишь вы, привязанный ко мне и столь любимый мной, могли принудить меня нарушить обет забвения, данный мною, когда я поступал в монастырь св. Бруно. Вас всегда будет поминать в молитвах

брат Альбер.

Ноябрь 1836 г.».

«Быть может, все это к лучшему!» — подумал аббат де Грансей.

Дав прочесть это письмо Розали, с благоговением поцеловавшей те строки, где ее прощали, он сказал ей:

— Итак, теперь, когда он потерян для вас, не помиритесь ли вы с матушкой, выйдя замуж за графа де Сула?

— Нужно, чтобы Альбер приказал мне это сделать,— сказала она.

— Вы же видите, что переписываться с ним невозможно. Настоятель этого не позволит.

— А если я поеду повидаться с ним?

— Картезианских монахов посещать нельзя. К тому же ни одна женщина, кроме французской королевы, не может войти в их монастырь,— возразил аббат.— Таким образом, ничто вам больше не мешает выйти замуж за господина де Сула.

— Я не хочу, чтобы маменька стала из-за меня несчастной,— ответила Розали.

— О, черт! — воскликнул главный викарий.

В конце той же зимы добрейший аббат де Грансей умер. Баронесса и ее дочь лишились друга, мешавшего столкновению их железных характеров. Как предвидел главный викарий, так и случилось: в августе 1837 года г-жа де Ватвиль сочеталась браком с г-ном де Сула в Париже, куда она переехала по совету Розали, ставшей неожиданно доброй и нежной с матерью. Та поверила в привязанность дочери, но Розали хотела жить в Париже только для того, чтобы доставить себе удовольствие жестоко отомстить за Саварюса, причинив мучения своей сопернице.

Подошло совершеннолетие девицы де Ватвиль, которой исполнился двадцать один год. Мать, чтобы покончить все денежные счеты с дочерью, отказалась в ее пользу от своих прав на Руксей, а дочь дала матери расписку в получении своей доли наследства, оставшегося после отца. Розали сама побудила мать выйти замуж за графа де Сула и щедро его обеспечить.

— Предоставим друг другу полную свободу,— сказала она.

Г-жа де Сула, вначале обеспокоенная намерениями дочери, была приятно удивлена столь благородным поведением и для очистки совести подарила Розали облигации казначейства на сумму, дававшую шесть тысяч франков ренты. Так как графиня де Сула получала сорок восемь тысяч франков дохода со своих земель, не имея права их отчуждать и уменьшать долю Розали, то мадемуазель де Ватвиль все же обладала приданым в миллион восемьсот тысяч франков. Имение Руксей мог-

ло приносить (при условии некоторых улучшений) двадцать тысяч, помимо возможности там жить и не считая доходов с аренды. Поэтому Розали и ее мать, усвоив вскоре парижские привычки и моды, были охотно приняты в великосветском обществе. Золотой ключик: слова «миллион восемьсот тысяч», как будто вышитые на корсаже Розали, оказали графине де Сула больше услуг, чем ее притязания на древность рода де Рюптов, неуместная кичливость и даже бог весть откуда взявшаяся родня.

В феврале 1838 года Розали, за которой усердно ухаживало множество молодых людей, выполнила, наконец, намерение, приведшее ее в Париж. Ей хотелось встретить герцогиню де Реторе, увидеть эту необыкновенную женщину и заставить ее вечно мучиться угрызениями совести. Поэтому Розали одевалась с поразительной изысканностью и кокетничала напропалую, чтобы быть на равной ноге с герцогиней. Их первая встреча произошла на балу, который ежегодно, начиная с 1830 года, давался в пользу пенсионеров цивильного листа. Один молодой человек по наущению Розали сказал герцогине, показывая на нее:

— Вот замечательная, чрезвычайно умная девушка. Из-за нее ушел в картезианский монастырь выдающийся человек, некто Альбер де Саварюс: она разбила его жизнь. Это известная в Безансоне мадемуазель де Ватвиль; ей предстоит получить крупное наследство.

Герцогиня побледнела. Они быстро обменялись одним из тех взглядов, которые у женщин смертоноснее выстрелов на дуэли. Франческа Содерини, и без того догадывавшаяся, что Альбер перед ней не виновен, тотчас же покинула бал, внезапно оставив собеседника; последний так и не узнал, какую ужасную рану он нанес прекрасной герцогине де Реторе.

«Если хотите узнать кое-что об Альбере, то будьте во вторник на балу в Опере, с незабудкой в руке».

Эта анонимная записка, посланная герцогине, побудила несчастную итальянку приехать на бал, где Розали вручила ей все письма Альбера, письмо главного викария к Леопольду Анкену, ответ нотариуса и даже то письмо, где Розали признавалась во всем аббату де Грансей.

— Я не хочу страдать одна, потому что мы обе были одинаково жестоки! — заметила она сопернице.

Насладившись ужасом, отразившимся на прекрасном лице герцогини, Розали скрылась и не появлялась больше в обществе; она вернулась с матерью в Безансон.

Мадемуазель де Ватвиль стала жить одна в своем поместье Руксей, ездить верхом, охотиться. Два — три раза в год она отказывала женихам, три — четыре раза в течение зимы приезжала в Безансон. Занятая заботами о процветании своего имения, она прослыла за весьма оригинальную особу и стала одной из знаменитостей восточных департаментов.

У г-жи де Сула двое детей, мальчик и девочка; она помолодела, зато де Сула значительно постарел.

— Богатство дорого мне обошлось,— говаривал он молодому Шавонкуру.— Чтобы как следует узнать святошу, нужно, на беду свою, жениться на ней!

Мадемуазель де Ватвиль, действительно, вела необычайный для девушки образ жизни. Про нее говорили: «Она с причудами». Ежегодно Розали бывала у стен картезианского монастыря. Быть может, она хотела, подражая своему предку, проникнуть за ограду монастыря, чтобы найти себе мужа, подобно тому, как Ватвиль перескочил стену обители, желая вернуть себе свободу.

В 1841 году Розали покинула Безансон, намереваясь, как говорили, выйти замуж; но истинная причина ее поездки осталась неизвестной. Вернулась же мадемуазель де Ватвиль в таком состоянии, что больше никогда не могла показываться в обществе. Благодаря одной из тех случайностей, на какие намекал старый аббат де Грансей, она плыла по Луаре на пароходе, котел которого взорвался. Розали была жестоко изувечена, лишилась правой руки и левой ноги; ее лицо покрылось ужасными шрамами, навсегда лишившими его былой привлекательности. Здоровье ее совершенно расстроено, редкий день она не испытывает страданий и больше не покидает свой дом в Руксей, где ведет жизнь, целиком посвященную религии.

Париж, 1842 г.

БЕАТРИСА

Посвящается Сарре.

В ясный тихий день у берега Средиземного моря, там, где некогда простиралось владение, носившее ваше милое имя, сквозь прозрачные покровы волн можно иногда разглядеть морской цветок, дивное создание природы: кружевные листья и сеть жилок пурпуровых, коричневых, розовых, фиолетовых и золотистых тонов, бархатистую ткань, свежесть живой филигранной драгоценности; но все это блекнет, лишь только любопытный извлечет растение из моря и бросит на песок. Вот так же и яркое солнце гласности оскорбило бы вашу святую скромность. Поэтому, посвящая вам свое произведение, я не решаюсь называть вашего имени; но благодаря этому умолчанию ваши прелестные руки могут благословить мой труд, ваше светлое чело может задумчиво склониться над его страницами, ваши глаза, полные материнской любви, могут ему улыбнуться,— ведь вы останетесь в той глубине, где расцвела ваша прекрасная жизнь, так же как таится на ровном и светлом песчаном дне жемчужина морской флоры, сокрытая лазурной волной и доступная лишь дружественному скромному взгляду.

Мне хотелось бы положить к вашим ногам произведение, достойное вашей душевной прелести, если же это мне не удалось, буду надеяться в утешение себе на вашу врожденную склонность покровительствовать слабым.

Де Бальзак.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Во Франции, особенно в Бретани, еще и поныне встречаются города, которых не коснулся социальный прогресс, придающий XIX веку его характеристические черты. Из-за отсутствия постоянного и удобного сообщения с Парижем такие города, связанные даже с супрефектурой или департаментом лишь скверными, почти

непроезжими дорогами, прислушиваются или присматриваются к шествию новой цивилизации как к некоему зрелищу, достойному удивления, но отнюдь не рукоплесканий. Потешаясь над ней или остерегаясь ее, богоспасаемые города эти хранят верность старым обычаям, наложившим свой отпечаток на все их бытие. Если вы отправитесь в путь в качестве археолога провинциальных нравов с целью наблюдать живого человека, вместо того чтобы изучать мертвые камни, вы можете обнаружить в полной неприкосновенности картину жизни времен Людовика XV в какой-нибудь деревеньке Прованса, Людовика XIV — в глуши Пуату и картину еще более давних веков — в самом сердце Бретани. Большинство тамошних городов, лишившись своего блеска, ничего уже не говорит ни уму, ни сердцу историка, которого более, нежели нравы, интересуют факты и даты; однако воспоминание о былом величии и поныне живет в памяти провинциальных обывателей, и в первую очередь в памяти бретонцев, которые в силу своего национального характера не склонны предавать забвению прошлое родного края. Многие из этих городов некогда служили столицами маленьких феодальных государств — графств или герцогств,— перешедших под власть короны или поделенных между многочисленными наследниками вследствие угасания мужской линии. Отставленные от прежней деятельности, эти головы со временем превратились в руки. А рука, лишенная питательных соков, слабеет и сохнет. В последние тридцать лет эти еще уцелевшие картины старины понемногу исчезают и становятся редкостью. Современная промышленность, выпускающая свои изделия тысячами, оказалась пагубной для древнего искусства ремесленников, произведения коих создавались в расчете на определенного покупателя, носили на себе отпечаток личности и мастера и заказчика. Мы теперь производим, но не создаем. Большинство наших памятников относится к числу творений далекого исторического прошлого. Для современного промышленника подобного рода памятниками стали каменоломни, селитровые копи или склады хлопка. Пройдет еще лет десять, и такие города потеряют свои самобытные черты, и след от них сохранится только в литературных летописях, подобных нашей.

Одним из городов, наиболее верно передающих дух феодальных веков, является Геранда. Уж одно слово «Геранда» вызывает тысячи воспоминаний в памяти художника, поэта, мыслителя, которым привелось посетить берег, где покоится этот алмаз феодальной Франции, горделиво венчающий полукружье моря и дюн и как бы образующий вершину треугольника, в углах которого лежат две не менее примечательные жемчужины — Круазик и местечко Батц. Только Витрэ, расположенный в сердце Бретани, да Авиньон — на юге Франции, так же как и Геранда, хранят в наши дни в полной неприкосновенности средневековый облик. Еще и сейчас Геранду опоясывают мощные крепостные стены; широкие рвы наполнены водой, все зубцы сохранились, бойницы не заросли кустарником, плющ не одел покровом своей листвы круглые или четырехугольные башни. В Геранду вы можете попасть через одни из трех ее ворот, пройдя по деревянному подъемному мосту, окованному железом; правда, этот мост больше не подымают, но поднять его можно. Обыватели Геранды горько сетовали на мэрию, вздумавшую в 1820 году насадить тополя вдоль рвов, чтобы осенить тенистыми ветвями любимое место прогулок герандцев. Градоправители заявили в свое оправдание, что еще сто лет назад великолепная площадь, идущая со стороны дюн вдоль прекрасно сохранившихся укреплений, была превращена в площадку для игры в мяч, и посаженные здесь развесистые вязы уже давно полюбились горожанам. Здешние дома не претерпели ни малейших изменений — не стали ни выше, ни ниже. Ни одного фасада не коснулся молоток каменщика или кисть маляра, ни одна балка не осела под тяжестью вновь возведенного этажа. Все здания остались такими же, какими вышли из рук строителей. Некоторые дома покоятся на деревянных столбах, образующих галереи, и горожане расхаживают под этими перекрытиями, которые хоть и гнутся, но никак не рухнут. Купеческие дома, низенькие и приземистые, облицованы по фасаду изразцами. Дерево, теперь уже полусгнившее, шло преимущественно для резных наличников: под окнами то гримасничают с выступающих балок страшные физиономии, то вдруг на углах вытягиваются фигуры невиданных зверей, оживленные вол-

шебной силой искусства, которое некогда умело вдыхать жизнь и в мертвую природу. Эта старина, торжествующая над временем, открывает глазу художника все богатство тускло-коричневых тонов и полустертых фигур, которые так и просятся на полотно. Улицы остались такими же, какими они были четыре столетия тому назад. Но уже давно Геранда порядком опустела, прежняя общественная энергия иссякла, и любопытствующий путешественник, осматривая прекрасный, как древние доспехи, город, не без грустного раздумья пройдет по безлюдной улице, где его взгляд привлечет каменная облицовка оконных проемов, заложенных кирпичом, во избежание налога. Эта улица упирается в потайную заколоченную дверь, пробитую в каменной стене, за которой виднеется купа деревьев, изящно подобранных руками бретонской природы, великой искусницы выращивать самую пышную, самую изобильную растительность во всей Франции. Художник или поэт просидит не один час под этими не тронутыми временем сводами, наслаждаясь глубокой тишиной: из мирного города не доносится в этот уголок никаких шумов, и цветущие деревья просовывают совсем по-деревенски свои ветви из бойниц, некогда укрывавших лучников и арбалетчиков и напоминающих окна бельведеров. Невозможно, прогуливаясь здесь, не вспоминать на каждом шагу обычаи и нравы прошедших времен: каждый камень говорит вам о них; самый дух средневековья живет в суевериях нынешней Геранды. Если, паче чаяния, дорогу вам перейдет жандарм в расшитой галунами треуголке, вы невольно возмутитесь — таким анахронизмом покажется на этих улицах его фигура; впрочем, редко-редко современность напомнит вам здесь о себе, о своих людях, о своем быте. Даже современное платье здесь в диковину: местные жители выбирают из нынешней одежды то, что легче всего приспособить к их неизменным привычкам и всему их старомодному укладу. На рыночной площади то и дело попадаются бретонцы в национальных костюмах немыслимого покроя, приводящих в восторг заезжих художников. Белоснежные балахоны *болотарей*, как зовут здесь людей, работающих на соляных озерах, представляют резкий контраст с синими и коричневыми тонами крестьянского платья, со старин-

ными женскими нарядами, которые свято хранятся в бретонских деревнях. Эти два класса местного населения — болотари и крестьяне — и третий — моряки в матросских куртках и шапках из лакированной кожи, с маленькими полями — отличаются друг от друга, как индийские касты, и до сих пор сами делают строгое различие между буржуазией, дворянством и духовенством. Слои эти еще резко разграничены: рубанок революции, натолкнувшись здесь на человеческую массу, слишком косную и упорную, остановился: иначе он зазубрился бы, а пойди дальше — мог бы и сломаться. Неподвижность — свойство, которым природа наделила некоторые низшие виды животного мира,— здесь стала свойством людей. Даже после революции 1830 года Геранда осталась тем, чем была: исконным бретонским городком, приверженным католической церкви, все той же тихой, ушедшей в себя Герандой, глухой к новым веяниям.

Особенности Геранды объясняются ее географическим положением. Этот очаровательный город господствует над цепью соляных озер, откуда добывается знаменитая по всей Бретани герандская соль; именно ей местные жители приписывают прекрасные качества бретонского масла и сардинок. Геранда связана с остальной Францией всего двумя дорогами: одна ведет в Савенэ — округ, куда входит Геранда, и достигает Сен-Назера; вторая дорога через Ванн связывает город с Морбиганом.

Окружная дорога идет все время посуху, а через Сен-Назер можно добраться морем до Нанта. По первой дороге ездят только чиновные лица. Самый короткий и самый излюбленный путь — сен-назерский. Однако между Сен-Назером и Герандой есть участок, не менее шести лье, где почтовая карета не ходит, да здесь ей и некого возить: за год не наберется и трех путешественников. Сен-Назер отделен от Пембефа устьем Луары, которая достигает здесь четырех лье ширины. Песчаные отмели Луары не допускают регулярного движения паровых судов; в довершение всего в 1829 году на сен-назерском мысу еще не было пристани — море у берега усеивали голые скользкие утесы, гранитные рифы и огромные каменные глыбы, окружавшие неприступной стеной здешнюю живописную церковь; путешественни-

кам приходилось дожидаться прилива, чтобы погрузиться вместе со своими пожитками в баркасы, а в тихую погоду, перепрыгивая с камня на камень, они добирались до мола, который в ту пору только еще строился.

Все эти помехи и преграды могли обескуражить самого заядлого путешественника; вероятно, они существуют и поныне. Во-первых, власти обычно не очень торопятся с завершением начатых работ; во-вторых, население этой территории, которая, как острый зуб, выпирает на карте Франции между Сен-Назерским портом, местечком Батц и Круазиком, вполне приспособилось к неудобствам, преграждающим сюда доступ чужеземцу. Итак, из Геранды, заброшенной на самый край континента, нет выхода никуда, и, следовательно, никто в нее и не ездит. Счастливая этим забвением, она печется только о самой себе. Рынком сбыта продукции богатейших соляных промыслов, которые облагаются миллионными налогами, служит Круазик. Дорога из этого городка, расположенного на полуострове, ведет в Геранду через зыбучие пески, которые в течение одной какой-нибудь ночи засыпают путь, проложенный накануне; но в Геранду можно попасть и на баркасах, через круазикскую гавань — длинный заливчик, врезающийся в песчаный берег. Этот своеобразный городок является как бы Геркуланумом феодализма, хотя и не покрыт саваном лавы. Он уцелел, но не живет; он существует только потому, что не разрушен. Если вы следуете в Геранду со стороны Круазика, то после утомительного однообразия соляных озер вас охватит неподдельное волнение перед зрелищем внушительных крепостных стен, в которых жив и посейчас каждый камень. Не менее живописна Геранда и со стороны сен-назерской дороги, где путника очарует наивная прелесть окрестностей описываемого нами города. Все вокруг восхищает глаз, живые изгороди усеяны цветами, благоухает жимолость, шиповник, зеленеет самшит; повсюду растительность самая роскошная. Вы невольно вспомните английский парк, разбитый искусным художником. Этот роскошный, нетронутый оазис, напоминающий своей нежной прелестью кустик фиалок или ландышей в лесной чаще, окружен поистине африканской пустыней, омываемой океаном; в этой пустыне вы не встретите ни деревца,

ни травинки, не услышите пения птиц, и в яркие солнечные дни белые балахоны болотарей, бродящих меж унылых озер, кажутся арабскими бурнусами. Именно поэтому Геранда, утопающая в свежей изобильной зелени среди бесплодной пустыни, которая одним своим краем подходит к Круазику, а другим упирается в местечко Батц, не похожа ни на какой другой уголок французской земли. Такая разительная близость двух крайностей природы, слившихся в этом заповеднике феодализма, производит неизгладимое впечатление. Геранда успокаивает душу, как успокаивает тело опий; она, подобно Венеции, полна тишины. В городе имеется только одна почтовая карета — дряхлая колымага, которая доставляет пассажиров на судно, развозит и товары, а при случае и письма из Сен-Назера в Геранду и из Геранды в Сен-Назер. В 1829 году некий Бернюс, владелец кареты, был единственным благодетелем всей округи. Он выезжал из города и прибывал к месту назначения, когда ему вздумается, был знаком со всеми жителями края, выполнял все их поручения. Появление его кареты — всегда огромное событие, пусть даже в ней прибудет одна-единственная дама, пробирающаяся сухопутной дорогой через Геранду в Круазик, или немощный старец, который направляется к морю, ибо морские купания на этом скалистом полуострове значительно превосходят своими целебными свойствами прославленные Булонь, Дьепп и Сабль. Крестьяне обычно приезжают в Геранду верхами, приторочив к седлу мешок с припасами. Здесь они, как и болотари, выбирают на свой деревенский вкус дешевенькие колечки и сережки, которые, по местному обычаю, дают за каждой бретонской невестой в придачу к беленым холстам или домотканому сукну. На десять лье в округе Геранда остается Герандой, то есть прославленным градом, где был подписан знаменитый в истории договор; она страж этого морского берега и наравне с местечком Батц хранит остатки былого величия канувшего во мглу времен. Драгоценности, шерстяные и бумажные ткани, ленты, шляпки доставляют сюда со стороны, но для покупателей они — герандские. Любой художник, даже любой буржуа, заглянувший проездом в Геранду, на минуту почувствует, подобно путешествен-

нику, посетившему Венецию, желание окончить свои дни в герандской тиши, прогуливаясь на солнышке по просторной площади, что тянется со стороны моря вдоль городской стены от одних ворот до других. Иной раз образ Геранды вдруг возникнет в тайнике ваших воспоминаний, она встанет перед вами в роскошном убранстве башен, опоясанная крепостными стенами; она расправит свой плащ, затканный прекрасными цветами, горделиво встряхнет золотым покрывалом дюн, она опьянит вас всем богатством своих ароматов — смолистым запахом нагретых солнцем сосновых перелесков, колючего дрока, тропинок, над которыми в беспорядке склоняются цветущие ветви боярышника; она завладеет вами и поманит вас за собою, подобно прекрасной незнакомке, встреченной мельком в дальней стране и навсегда запечатлевшейся в вашем сердце.

Возле герандской церкви стоит дом, который для Геранды то же самое, что Геранда для этого края,— точный образ минувшего, символ утраченного величия, словом, сама поэзия. Дом этот принадлежит знатнейшему в Бретани роду дю Геников, которые во времена дю Гескленов превосходили последних богатством и знатностью, подобно тому, как жители Трои превосходили в этих двух отношениях римлян. Гесклены, которые некогда писались также «дю Глекены», откуда и получилось впоследствии «Геклены», происходили от Геников. Основатели древнего, как бретонские камни, рода дю Геников — ни франки, ни галлы; они бретонцы, или, точнее, кельты. Говорят, что они были некогда друидами, собирали омелу в священных лесах и приносили в долменах человеческие жертвы. Описывать их не стоит. Род дю Геников, не уступающий Роганам, хотя и пренебрегший княжеским титулом, прославил себя еще в то время, когда никто и не слыхал о предках Гуго Капета, а ныне этот беспримесно чистый род имеет лишь около двух тысяч ливров ренты, дом в Геранде да небольшой замок в Генике. Все земли, принадлежавшие геникским баронам, первым в Бретани, отданы под залог фермерам, которым они приносят около шестидесяти тысяч ливров дохода, несмотря на низкий уровень земледелия. Конечно, Геники остаются владельцами своих земель, но так как они не могут вернуть капитал, который

двести лет назад им внесли арендаторы, доходами с земель они не пользуются. Они находятся в том же положении, в каком был перед 1789 годом французский королевский дом в отношении своих «залогодателей». Где и когда добудут дю Геники миллион, который они получили от своих фермеров? До 1789 года доходы с земель, находившихся в вассальной зависимости от Геникского замка, расположенного на высоком холме, давали пятьдесят тысяч ливров, но Национальное собрание отменило подати, которые сеньоры получали с крепостных при вводе в наследство и разделе владений. Семья Геников, ныне ничего не значащая во Франции, стала бы из-за бедности посмешищем всего Парижа; но для Геранды она была воплощением Бретани. Для Геранды барон дю Геник — первый барон во Франции, выше его был только французский король, некогда избранный главой государства. Ныне имя дю Геников, полное для бретонцев глубокого смысла, что, впрочем, уже было объяснено в романе «Шуаны, или Бретань в 1799 году», подверглось изменениям, коих не избегли и дю Геклены. Сборщик податей, как, впрочем, и все остальные герандцы, пишет теперь просто: Геник.

Вдоль тихой узкой улицы, где стоит прохладная и сырая тень, идут старинные дома с высокими островерхими крышами, и заканчивается она аркой, в глубине которой виднеются ворота, достаточно широкие и высокие, чтобы пропустить всадника, из чего явствует, что в те времена, когда строился дом, карет еще не существовало. Эта арка, целиком из гранита, покоится на двух устоях. По всей поверхности растрескавшихся дубовых ворот набиты огромные гвозди, шляпки которых образуют геометрические фигуры. В арочном своде высечен герб дю Геников такого четкого, такого ясного рисунка, как будто только вчера его закончил ваятель. Этот герб приведет в восхищение любителя геральдики своей простотой, свидетельствующей о благородстве и древности рода дю Геников. Он таков, каким был герб дю Геников в те дни, когда крестоносцы стали изображать эмблемы на щитах, чтобы опознавать друг друга, и дю Геники никогда не делили его на четверти: он сохранился в первоначальном виде, подобно гербу французской династии, фигуры которого знатоки обнаруживают с пер-

вого взгляда в «сердце» большого герба на гербах старинных дворянских фамилий. Герб дю Геника вы и поныне можете увидеть в Геранде: на червленом поле рука натурального цвета, облаченная в горностай и вертикально держащая серебряный меч с грозным девизом: «Fac!» [1]. Разве это не прекрасно и не величественно? Зубцы баронской короны служат завершением этого простого щита, а выпуклые вертикальные линии, идущие по пурпурному полю, еще до сих пор не потеряли своего блеска. Художник сумел придать руке непередаваемо гордый и благородный поворот. С какой энергией держит она меч, которым еще вчера пользовались дю Геники! Право же, если вы, прочитав нашу повесть, побываете в Геранде, вы испытаете некоторое волнение при виде этого герба. Даже самого сурового республиканца тронет эта верность, это благородство и величие, таящиеся в глубине заброшенной улочки. Дю Геники действовали вчера, они готовы действовать и завтра. Действовать — это великое слово рыцарей. «Ты хорошо действовал в эту битву»,— говаривал коннетабль, великий полководец дю Геклен, на время изгнавший англичан из Франции. Подобно тому как скульптурное изображение герба уцелело от мороза и непогод под защитой округлого выступа арки, девиз его свято сохранился в душе дю Геников. Того, кто знает дю Геников, растрогает этот герб. Через открытые ворота виден довольно просторный двор, по правой стороне которого стоят службы, а слева расположена кухня. Стены дома от подвалов до чердака сложены из тесаного камня. Во двор выходит крыльцо с каменными перилами, и к нему примыкает открытый помост с остатками резьбы, полустертой временем; но зоркий глаз любителя старины различит и тут среди неясных фигур очертания руки, держащей меч. Под этим изящным помостом с потрескавшимся и отполированным временем красивым резным обрамлением находится небольшая ниша, некогда служившая собачьей конурой. Каменные перила разошлись; какие-то цветочки, трава и мох пробиваются из расщелин, а также между ступеней лестницы, которые столь же прочны, как и триста лет назад. Дверь в свое время, должно быть,

---

[1] Действуй! *(лат.)*

была просто хороша. Судя по сохранившейся кое-где узорной резьбе, она сработана руками вдохновенного мастера, принадлежавшего к великой венецианской школе XIII века. Здесь самым причудливым образом смешаны византийские и мавританские мотивы. Вверху дверь увенчана полукруглым выступом, который природа украсила зеленью и цветами; в зависимости от времени года розовые и голубые тона сменяются здесь желто-коричневыми. Дубовая дверь, испещренная крупными шляпками гвоздей, ведет в просторную залу, в противоположном конце которой имеется другая дверь и другое крыльцо, выходящие в сад. Поистине чудесно сохранилась эта старинная зала! Стены ее снизу обшиты каштановым деревом, сверху их покрывает великолепная испанская тисненая кожа, с которой местами слезла позолота, оставив красноватые проплешины. Потолок сделан из досок, искусно подогнанных в стык и покрытых краской и золотом. Впрочем, и здесь позолота почти не видна: ее постигла та же участь, что и позолоту, украшавшую испанскую кожу, но кое-где еще заметны красные цветы и зеленые листья. Основательно расчистив потолок, верно, можно было бы обнаружить роспись, подобную узорам мозаичных полов во дворце Тристана, в Туре, и нет сомнения, что эти потолки подновлялись или переделывались во времена Людовика XI. В огромном камине, сложенном из резного камня, видна кованая железная подставка для дров, прекрасной работы. Целый лес можно навалить в этот камин. Мебель в зале дубовая; на спинках стульев и кресел вырезан фамильный герб. На стене висят три английских ружья, пригодные и для охоты и для войны, три сабли, две кожаные сумки, а также разная охотничья и рыболовная снасть.

Рядом — столовая; она сообщается с кухней через дверь, пробитую в угловой башне. На углу противоположного крыла дома возвышается другая башенка, внутри которой идет винтовая лестница, ведущая в два верхних этажа. Стены столовой обиты ковровыми обоями, восходящими к XIV веку, судя по стилю и орфографии надписей, вытканных на ленточках, изгибающихся под каждым изображением; поскольку текст их написан соленым языком фаблио, воспроизвести их тут невозмож-

но. Обои эти, сохранившие яркость красок в темных углах столовой, куда не проникает солнечный свет, окаймлены багетом из резного дуба, которому время придало блеск черного дерева. Потолок столовой — с выпуклыми балками, причем каждая украшена сложным орнаментом из листьев. В промежутке между балками пущены по голубому полю золотые гирлянды. У стен высятся друг против друга два поставца. На полках, которые с бретонским упорством натирает воском кухарка Геников Мариотта, стоят четыре старинных кубка, столь же древняя, помятая суповая миска, две серебряные солонки, а также стопка оловянных тарелок и с дюжину жбанов из серого и голубоватого песчаника с причудливыми резными рисунками, с гербами дю Геников и с оловянными крышками на шарнирах — словом, все то, что красовалось в королевских покоях в 1200 году, когда короли были так же бедны, как Геники в 1830-м. Камин переделывался в более поздние времена. И по его виду можно заключить, что в этой гостиной охотно сиживало несколько поколений дю Геников. Камин сделан из камня, со скульптурными орнаментами в стиле Людовика XV. Над камином — зеркало в рамке, разукрашенной круглыми позолоченными шишечками. Этот контраст, которого, очевидно, не замечают сами хозяева дома, наверно, покоробил бы художника. На каминной доске, покрытой красным бархатом, стоят часы, отделанные черепахой и медными инкрустациями, а по сторонам часов — два диковинных серебряных канделябра. Большой квадратный стол на витых ножках занимает середину столовой. Стулья из резного дерева обиты штофом. Возле большого окна, выходящего в сад, на круглом столике об одной ножке, изогнутой наподобие виноградной лозы, находится лампа старинной формы. Резервуаром лампы служит шар из простого стекла, размером со страусовое яйцо, вставленный с помощью стеклянного же шпенька в подсвечник. Из отверстия в верхней части резервуара выходит плоский фитиль, вправленный в медную трубочку; конец фитиля, свернувшийся петлями наподобие солитера, сосет ореховое масло, налитое в шар. Окно в сад и противоположное ему — во двор окаймлены каменными наличниками, свинцовый переплет делит их на шестигранники; занавески сшиты из

старинной шелковой красной ткани с желтоватым отливом, именовавшейся в былые времена полупарчой; они задрапированы наверху поперечным полотнищем и обшиты по краю бахромой с крупными помпонами.

На обоих верхних этажах тоже только по две комнаты. Второй этаж занимает глава семейства, третий с давних пор отведен под детские. Гостей размещают на антресолях. Прислуга ютится в надстройках над кухнями и конюшней. Островерхая, со свинцовыми углами крыша прорезана стрельчатыми окнами прекрасного стиля, выходящими в сад и во двор; соленый морской ветер уже давно разъел резные узоры на тонких и изящных консолях. Над тимпаном, в котором пробиты эти окна с крестообразными каменными переплетами, до сих пор скрипит резной флюгер с баронским гербом.

Упомянем еще об одной прелестной детали, наивность которой привлечет внимание археолога. Высокая глухая стена заканчивается угловой башенкой, в которой, как мы уже говорили, идет винтовая лестница. Через низкую стрельчатую дверь можно попасть во дворик, отделяющий дом от каменной ограды, вдоль которой выстроились службы. На противоположном углу стены, со стороны сада, расположена пятигранная башенка, она увенчана колоколенкой, тогда как башенка, описанная выше, заканчивается круглой каменной караулкой. Вот с каким искусством зодчие умели изящно и непринужденно вносить разнообразие в симметрию. На уровне второго этажа обе эти башенки соединены каменной галереей, которую поддерживают выступы с лепными изображениями человеческих лиц. Вдоль всей галереи идет балюстрада, выполненная с чудесной грацией и тонкостью. Кроме того, над продолговатым оконцем, прорезанным под щипцовой крышей, нависает каменный балдахин,— под такими балдахинами обычно стоят статуи святых в порталах церкви. Из обеих башенок в галерею выходят красивые стрельчатые двери. Так искусно умела архитектура XIII века украсить поверхность голых и холодных стен,— в нынешних домах ее, увы, ничто не разнообразит! Разве не возникает в вашем воображении красавица,— вот она ранним утром прохаживается по галерее и вглядывается туда, где за Герандой лучи восходящего солнца золотят песок

и играют на безбрежной поверхности океана? Разве не восхититесь вы островерхой кровлей с резным коньком, украшенной по краям двумя башенками с каннелюрами,— правую строитель решил округлить наподобие ласточкина гнезда, а в левой пробил изящную стрельчатую дверцу, с готической аркой, на которой высечена рука, держащая меч? Другим своим скатом крыша обращена к соседнему дому. Мысль о гармонии руководила средневековым зодчим, когда он возвел на углу фасада, выходящего во двор, другую башенку, парную той, где проходит винтовая лестница, по-старинному называвшаяся просто «винт»; эта вторая башня соединяет столовую с кухней и заканчивается ажурным сводом, где помещена почерневшая статуя святого Каллиста.

За старинной оградой лежит пышно разросшийся сад, занимающий приблизительно пол-арпана; по стенам вьются шпалеры роз. Сад разбит на четырехугольные гряды, занятые под овощи, которые выращивает слуга по имени Гаслен, и обсаженные пирамидально подстриженными плодовыми деревьями; на попечении Гаслена находится также барская конюшня. В глубине сада — грот со скамейкой. Посреди сада возвышаются солнечные часы. Дорожки аккуратно посыпаны песком. Со стороны сада нет второй башни, которая могла бы служить парной к той, где водружена статуя. Зато здесь стену украшает витая колонна, на которой некогда развевался флаг семьи дю Геников, о чем свидетельствует заржавевшая железная трубка, в которую вставлялось древко,— теперь из нее торчат пучки чахлой травы. Эта последняя деталь, чудесно гармонирующая с уцелевшими скульптурными украшениями,— доказательство того, что дом построен архитектором-венецианцем. Изящество этой колонны сразу, как собственноручная подпись мастера, говорит о ее происхождении, напоминает Венецию, рыцарские времена и изысканный вкус XIII века. Если у кого-либо возникнут сомнения на этот счет, характер орнамента убедит самого придирчивого знатока. Дом дю Геников украшают лепные четырехлистники, а не обычный трехлистный клевер. Вот эти-то четырехлистники и выдают венецианскую школу, потерявшую свою самобытность при соприкосновении с Востоком. полумавританская архитектура коего не особенно ще-

петильна насчет основных догматов католицизма и потому смело придает трехлистнику четвертый листок, тогда как христианское зодчество свято блюдет троичность. Так воображение художника-венецианца ввело его в ересь. Если жилище дю Геников привлечет вас, вы, быть может, задумаетесь над тем, почему в наши дни не возникают подобные чудеса зодческого искусства. Нынче прекрасные здания продаются, сносятся, уступают место новым улицам и переулкам. Никто не уверен, останутся ли его дети под прадедовским кровом, и каждый живет как на постоялом дворе; а некогда, строя дом, трудились или по крайней мере думали, что трудятся для грядущих поколений, на вечные времена. Оттого-то так хороши старинные постройки. Вера в себя способна творить такие же чудеса, как вера в господа бога. Что касается расположения и обстановки двух верхних этажей, то о них вы можете судить по описанию нижнего этажа, укладу и нравам семейства дю Геников. Вот уже полстолетия дю Геники принимают посетителей только в нижних двух покоях, которые, так же как и дворовые службы, как и внешняя отделка дома, дышат изяществом и наивным духом старой и благородной Бретани. Без полного топографического описания города и без столь же подробного описания жилища дю Геников читатель, пожалуй, не мог бы понять удивительного облика представителей этого рода. Итак, решив изучить портреты, мы прежде изучили рамку. И теперь всякий поймет, как вещи воздействуют на людей. Ведь памятники прошлого накладывают свой отпечаток на тех, кто живет в их близости. Мудрено быть неверующим, обитая под сенью такого собора, как, скажем, собор в Бу́рже. Когда душе человека на каждом шагу предстает в осязаемой форме ожидающий ее удел, ей легче удержаться от искушения. Такого мнения придерживались наши предки, но не нынешнее поколение — для него не существует ни знамений, ни примет, и нравы его меняются каждое десятилетие. А вы, читатель, разве не ждете вы, что перед вами вот-вот появится барон дю Геник с мечом в руке? Если это не так, значит я не сумел убедить вас в правдивости рассказа.

В то время, с которого начинается наш рассказ, а именно в начале августа 1836 года, семейство дю Гени-

ков состояло из четырех человек — барона и его жены, старой барышни дю Геник, старшей сестры главы дома, и единственного чада дю Геников — юноши двадцати одного года, носящего по старинному обычаю тройное имя Годбер-Каллист-Луи. Барон, его отец, звался Годбер-Каллист-Шарль. Таким образом, в семействе дю Геников меняли только последнее имя святого. Святой Годбер, равно как и святой Каллист издавна считались покровителями дома дю Геников. Барон-отец покинул родную Геранду в те дни, когда Вандея и Бретань взялись за оружие, и воевал бок о бок с Шаретом, Кателино, Ларошжакленом, д'Эльбе, Боншаном и князем де Лудоном. Уходя на войну, он продал все свои поместья старшей сестре, девице Зефирине дю Геник, проявив в этом случае неслыханную в анналах революционных лет предусмотрительность. После гибели всех главарей вандейского восстания барон, чудом избежавший той же участи, не подчинился Наполеону. Он не складывал оружия вплоть до 1802 года, когда, чуть не попав в руки врага, вернулся в Геранду, из Геранды выехал в Круазик, а оттуда перебрался в Ирландию, ибо он, как истый бретонец, питал ненависть к Англии. Жители Геранды делали вид, что ничего не знают о судьбе барона: за все двадцать лет никто не проронил неосторожного слова. Девица дю Геник получала доходы с имения и пересылала деньги брату с оказией, через рыбаков. В 1813 году в один прекрасный день он вдруг вновь появился в Геранде с таким видом, будто ездил на лето куда-нибудь в окрестности Нанта. Во время своего пребывания в Дублине старый бретонец, несмотря на свои пятьдесят лет, влюбился, как юноша, в очаровательнейшую ирландку, единственную дочь одного из самых знатных, но бедных семейств этого злополучного королевства. В ту пору мисс Фанни о'Брайен шел только двадцать второй год. Г-н дю Геник собрал все бумаги, требующиеся для вступления в брак, выехал в Ирландию для бракосочетания и возвратился оттуда на родину через десять месяцев, в начале 1814 года, вместе с молодой супругой, которая подарила ему сына Каллиста в тот самый день, когда Людовик XVIII вступил в Кале, чем и объясняется, что к имени новорожденного Годбер-Каллист было добавлено еще имя Луи. Теперь старому

честному бретонцу уже исполнилось семьдесят три года; гражданская война, тяготы, перенесенные во время скитаний по бретонским болотам, жизнь в Дублине оставили на нем свой тяжелый след: барон казался столетним старцем. И еще никогда ни один представитель рода Геников не подходил столь полно к их ветхому жилищу, возведенному еще в те далекие времена, когда в Геранде был герцогский двор.

Барон был высокий, худой, жилистый старик; держался он еще прямо. Продолговатое его лицо бороздили глубокие морщины, которые полукругом шли вокруг скул и бровей, что придавало ему сходство со стариками Ван-Остаде, Рембрандта, Миериса и Герарда Доу,— эти портреты, выписанные с такой любовью, хочется рассматривать в лупу. Характерные особенности его лица были как бы скрыты под сетью морщин, которые проложила жизнь под открытым небом и привычка настороженно озирать окрестность на рассвете или на заходе солнца. И все же наблюдатель подметил бы в нем нетленные черты человеческого облика, которые так много говорят нашей душе, хотя глаз наш видит уже только безжизненный череп. Резкие очертания подбородка, рисунок лба, строгость черт, твердая линия носа, вся скульптурная лепка лица, которую могли изменить лишь глубокие шрамы,— все обличало отвагу, не знающую корыстных расчетов, веру, не знающую границ, умение повиноваться беспрекословно, верность, не идущую на сделки, любовь до гроба. Это был бретонский гранит в образе человека. Барон уже давно растерял все зубы. Губы его, некогда ярко-красные, а ныне лилово-синие, запали, что придавало беззубому рту сердитое и надменное выражение, однако крепкие десны надежно служили старику; впрочем, заботливая супруга обычно завертывала хлеб во влажную салфетку, чтобы сделать его мягче. Подбородок почти сходился с носом, но и поныне этот нос с благородной горбинкой свидетельствовал о чисто бретонской энергии и упорстве. Кожа была, как обычно у всех людей сангвинического, необузданного темперамента, усеяна красными пятнышками, проступавшими сквозь сетку морщин. И в самом деле, барон был создан для утомительных трудов, которые не раз и спасали его от апоплексического уда-

ра. Серебристо-белые волосы спадали крупными кольцами до плеч. Жизнь, почти угасшая в его лице, еще светилась в черных глазах, которые блестели из-под тяжелых век, бросая последние искры огня, теплившегося в этой благородной и честной душе. Брови и ресницы вылезли. Складки выдубленной временем кожи никогда не разглаживались. Бритва не брала его жесткой щетины, и старик отпустил окладистую бороду. Любуясь этим бретонским львом, этим стариком с мощным торсом и мускулистой грудью, художник прежде всего обратил бы внимание на его прекрасные руки, руки воина, какие, верно, были у настоящего дю Геклена,— большие, широкие, волосатые; эти руки сжимали рукоятку меча, и, подобно Жанне д'Арк, дю Геник поклялся не складывать оружия, пока не взовьется над Реймским собором королевский стяг; в эти руки впивались и рвали их в кровь шипы терновника в Бокаже; эти руки орудовали веслом в болотах, когда надо было застать врасплох «синих», или в открытом море, чтобы ускорить прибытие Жоржа; руки верного рыцаря, пушкаря, простого солдата, вожака; руки, которые стали теперь белыми и мягкими, хотя старшая линия Бурбонов находилась в изгнании. Но, приглядевшись получше, вы могли бы по свежим шрамам заключить, что совсем недавно барон выступал в числе сторонников герцогини Беррийской в Вандее. Сейчас этого можно уже не скрывать. Руки эти являлись живым комментарием к прекрасному девизу, которому не изменил ни один Геник: «Fac!». Было странно видеть светло-золотистую кожу на висках рядом с бурым оттенком низкого, упрямого, сдавленного с боков лба, который из-за лысины казался выше и придавал еще больше величия этой великолепной руине. Во всем облике барона, впрочем вполне земном — да и могло ли быть иначе? — как у всех окружавших барона бретонцев, чувствовалось какое-то дикое, какое-то грубое спокойствие, бесстрастие гурона, и нечто просто глуповатое, что объяснялось, должно быть, полным покоем, который приходит на смену безграничной усталости и подчас возвращает человека к животному состоянию. Не часто бороздила мысль это чело. Казалось, она стоила ему больших усилий, гнездилась скорее где-то в сердце, а не в мозгу, проявлялась скорее в действии, чем в идее. Но, внима-

тельно наблюдая за этим величественным стариком, вы разгадали бы тайну, вы поняли бы барона дю Геника, это воплощенное противоречие духу времени. У него и верования и чувства были, если так можно выразиться, прирожденными: ему незачем было размышлять. С первого же дня своего появления на свет он уже знал свои обязанности. За него думали нравы, религия. Вот так он и его сотоварищи берегли ум для действия, не растрачивая его на бесполезные, по их мнению, пустяки, которыми тешились другие. Он хранил свою мысль в сердце, как шпагу в ножнах, зато, появляясь на свет, она блистала простодушной чистотой, как меч в фамильном гербе дю Геников. Разгадав эту тайну, вы узнавали о нем все. Вы понимали твердость решений, рожденных мыслью прямой, искренней, ясной, незапятнанной, как горностай. Вы понимали, почему перед войной он продал своей сестре имение; а этот поступок уже предвещал все: смерть, бедность, изгнание. Душевная красота этих двух стариков — ибо сестра жила только братом и ради брата — непонятна во всей своей глубине нашему эгоистическому веку, непостоянному и не уверенному ни в чем. Сам архангел не обнаружил бы в их сердцах ни одной своекорыстной мысли. Когда герандский кюре в 1814 году уговаривал дю Геника отправиться в Париж хлопотать о пенсии, старушка, сестра барона, соблюдавшая дома жесточайшую экономию, воскликнула:

— Фи, братец, неужели вы протянете руку за подаянием, как нищий?

— Еще могут подумать, что я служил королю ради денег,— сказал старик.— Пусть он сам обо мне вспомнит. Бедный наш король, его замучили все эти попрошайки! Да раздай он им по кусочкам всю Францию, они еще будут клянчить добавки.

Честный слуга короля, столь рьяно соблюдавший интересы Людовика XVIII, был пожалован в чин полковника, награжден орденом Святого Людовика, и ему назначили пенсию в две тысячи франков.

— Король обо мне вспомнил! — воскликнул он, принимая бумаги.

Никто не рассеял заблуждение старика. В действительности же этим он был обязан герцогу де Фельтрско-

му, который, при просмотре состава вандейских войск, обнаружил в списках, среди прочих бретонских фамилий, оканчивающихся на «ик», имя дю Геника. Как бы желая отблагодарить короля, барон оборонял в 1815 году Геранду, осажденную батальонами генерала Траво, и отказался сдать крепость; когда пришлось все же оставить ее, он скрылся в лесах с отрядом шуанов, которые не складывали оружия вплоть до второй реставрации Бурбонов. Геранда до сих пор хранит память об этой последней осаде. Соберись тогда старые бретонские отряды, пламя войны, зажженное этими упорными роялистами, охватило бы и Вандею. При всем том мы должны признаться, что барон дю Геник был совершенно необразован и в этом мало отличался от крестьян; он умел читать, писать и немного знал счет; зато в совершенстве постиг военное искусство и разбирался в гербах; но, кроме молитвенника, за всю жизнь не прочел и ста страниц. Старик продолжал по привычке заботиться о своем костюме, но одевался неизменно строго — он носил грубые туфли, шерстяные чулки, панталоны из темно-зеленого бархата, суконный жилет и сюртук с широкими отворотами, к которому он прицеплял крест св. Людовика. Его лицо, которое как бы уже готовилось застыть в вечном сне, дышало чудесной умиротворенностью; последний год старик все чаще и чаще впадал в глубокую дремоту, являющуюся предвестником смерти. Эти приступы сонливости, все более и более продолжительные, не беспокоили ни его супругу, ни слепую сестру, ни друзей, так как все они были несведущи в медицине. Они считали, что эта безупречно чистая, но утомленная душа замирает временами в возвышенном небытии просто потому, что барон уже выполнил свой долг. Этим словом сказано все.

Интересы дю Геников вращались вокруг судеб свергнутой династии. Будущее изгнанных Бурбонов, равно как и будущее католической церкви, влияние последних политических событий на Бретань занимали все помыслы барона и его домочадцев. И только любовь к единственному сыну Каллисту — последней надежде славного рода дю Геников — могла соперничать с их привязанностью к королю и Бретани. Несколько лет назад старый вандеец, старый шуан как будто пережил

вторую молодость,— он решил самолично приохотить сына к упражнениям в силе и ловкости, приличествующим молодому дворянину, которого ждет поле битвы. Когда Каллисту минуло шестнадцать лет, отец стал сопровождать его в поездках верхом по лесам и болотам и среди охотничьих забав приучал сына к бранным трудам; старик, не знающий усталости, неутомимый в седле, без промаха бьющий дичь влет, посылающий коня на любое препятствие, служил юноше образцом и примером и подвергал единственное дитя всем опасностям, будто у него было десять сыновей. Когда герцогиня Беррийская вернулась во Францию, намереваясь завоевать королевский престол, отец привел к ней своего сына, чтобы Каллист мог делом доказать свою верность девизу, начертанному на фамильном гербе. Барон собрался за одну ночь тайком от жены, не желая видеть ее слез, и повел в огонь свое бесценное дитя, как повел бы его на праздник; их сопровождал Гаслен, единственный «вассал» Геников, с радостью удравший вместе с господами. Полгода отсутствовали мужчины семьи дю Геников, не подавая о себе вестей, и баронесса не могла без дрожи взять в руки «Котидьен». Не сообщал барон ничего и своей сестре; Зефирина держалась героически стойко, и даже ни разу не нахмурился ее старческий лоб, когда она слушала чтение газеты. Итак, три ружья, висевшие на стене зала, еще совсем недавно побывали в деле. Считая, что дальнейший поход не приведет ни к чему, барон покинул стан сражающихся еще перед боем под Пенисьером, в противном случае — кто знает — его род мог бы прекратиться.

Бурной ночью отец, сын и слуга, простившись с герцогиней, вернулись домой, и вот тогда-то, обрадовав своим появлением друзей, баронессу и девицу Зефирину, которая чутьем, свойственным всем слепым, еще издали узнала шаги дорогих путников, барон оглядел взволнованные лица близких, освещенные старинной лампой, и, не дожидаясь, когда Гаслен развесит по местам ружья и сабли, промолвил с феодальной наивностью: «Не все бароны выполнили свой долг!» — и тут голос его дрогнул. Затем, поцеловав жену и сестру, он уселся в свое любимое старое кресло и приказал подать ужин сыну, слуге и себе. Гаслен был ранен ударом

сабли в плечо, так как в бою прикрыл своим телом Каллиста; поступок этот казался дамам дю Геник столь естественным, что они даже не особенно и благодарили верного слугу. Ни барон, ни его гости не хулили и не проклинали победителей. Сдержанность — одна из характерных особенностей бретонца. За сорок лет никто никогда не слыхал, чтобы барон произнес хоть одно бранное слово по адресу своих противников. Пусть делают свое дело, как он выполняет свой долг! Глубокая молчаливость есть также свидетельство несокрушимой воли. Это последнее усилие, эта последняя вспышка энергии и явилась причиной неодолимой слабости, овладевшей бароном дю Геник. Дом Бурбонов, сначала по воле провидения низложенный, а затем столь же чудесно восстановленный, снова был в изгнании, и это повергало старика в горькое уныние.

В шесть часов вечера того дня, когда начинается наше повествование, старик, отобедав, по давнишней привычке, в четыре часа, мирно дремал под чтение «Котидьена». Голова его покоилась на спинке кресла, стоявшего около камина, напротив окна в сад.

Рядом с этим кряжистым, как дуб, стариком баронесса, сидевшая на ветхом стуле возле камина, являла собой тот обаятельный тип женской красоты, который встречается лишь в Англии, Ирландии и Шотландии. Только на этой земле и рождаются лилейные, златокудрые девы, чьи локоны вьются, должно быть, от прикосновения нежных перстов ангела, ибо, когда ветерок играет ими, в них горит небесный отблеск. Красивая и изящная Фанни о'Брайен была настоящей ирландской сильфидой, сильной духом и доброй, стойкой перед лицом несчастья, кроткой, как музыка ее речи, чистой, как ясная синева ее глаз. Природа наделила ее нежной кожей: для руки — это шелк, а для глаза — наслаждение, которое не в состоянии передать ни кисть художника, ни слово поэта. Она была прекрасна даже в сорок два года, и многие сочли бы за счастье назвать своей супругой эту женщину, прелести которой напоминали жаркую красу августа, богатого цветами и плодами, восхитительно освежаемого небесными росами. Баронесса держала газету прекрасной рукой с милыми ямочками; кончики пальцев ее слегка загибались кверху, а ног-

«БЕАТРИСА».

«БЕАТРИСА».

ти были продолговатые, как у античных статуй. Слегка откинувшись на спинку стула в изящной и непринужденной позе, баронесса вытянула ноги поближе к пылающему камину; на ней было черное бархатное платье, потому что последние дни похолодало. Корсаж плотно облегал великолепные плечи и все еще прекрасную грудь, не испорченную материнством, хотя баронесса сама кормила сына. Голову она убирала на английский манер, спуская вдоль щек длинные букли. Черепаховый гребень поддерживал тяжелый узел волос, нимало не потускневших, отливавших на солнце темно-золотыми нитями. А непокорные локоны, которые вьются на затылке и служат верным признаком породы, она заплетала в трогательную косичку и высоко подкалывала ее вместе со всей массой волос, открывая гибкую шею, красиво переходившую в линию плеч. Эта незначительная деталь свидетельствовала о том, что баронесса неизменно заботилась о своем туалете. Она старалась порадовать взгляд старого барона. Какая милая и очаровательная заботливость! Если вам посчастливится встретить женщину, расточающую у домашнего очага все то кокетство, которое у других представительниц прекрасного пола рождается только под влиянием одного определенного чувства,— смело доверьтесь ей: она— достойная мать и супруга, она свято блюдет свои обязанности, она — радость и украшение дома, ее душа и чувства столь же совершенны, как ее внешность, она творит добро втайне, ее любовь не запятнана ни одной задней мыслью, она любит своих ближних, как любят бога, без всякого расчета и корысти. И невольно казалось, что сама дева рая, хранительница Фанни, вознаградила эту непорочную юность, эту светлую жизнь, отданную благородному старику, и наделила ее лучезарной красотой, над которой бессильна суровая рука времени. Те изменения, что претерпела с годами красота Фанни, Платон прославил бы как проявление новой прелести. Кожа Фанни, некогда белоснежная, приобрела теплые золотистые тона, которые так любят художники. Ее высокий лоб прекрасного рисунка, казалось, вбирал в себя свет, любовно скользивший по его шелковистой блестящей поверхности. Бирюзовые глаза сияли из-под бархатистых светло-каштановых бровей, на

редкость мягких очертаний. Непередаваемой грустью дышали ее нежные веки, изящно округленные виски. Под глазами и на переносице кожа была матово-белая, с тончайшими голубыми жилками. Орлиный, тонкий нос свидетельствовал о высоком, почти королевском, происхождении этой дочери Ирландии. Чистых и четких очертаний рот красила непринужденная, бесконечно приветливая улыбка. Зубы у баронессы были очень белые и некрупные. С годами она слегка располнела, однако время пощадило ее гибкую талию. В этой по-осеннему зрелой красоте чувствовались еще прелестные цветы весны и пламенный разгар лета. Руки Фанни стали благородно округлыми, а гладкая упругая кожа поражала теперь особой нежностью; все формы приобрели роскошную законченность. Открытое, ясное, нежно-розовое лицо и чистые голубые глаза, которые оскорбил бы брошенный на них нескромный взгляд, неизменно выражали доброту и ангельскую кротость.

По другую сторону камина сидела в кресле восьмидесятилетняя сестра барона, как две капли воды похожая на брата, и слушала чтение газеты, не прерывая вязания,— труда, для которого зрения не требуется. Оба ее зрачка заволокли бельма, но Зефирина дю Геник, вопреки настояниям невестки, упорно отказывалась от операции. Только одна она знала, почему: старуха уверяла домашних, что боится ножа, а на самом деле просто не желала тратить на себя двадцать пять луидоров,— ведь от этого могло пострадать хозяйство. А меж тем ей очень хотелось видеть брата. Оба дю Геника, брат и сестра, выгодно оттеняли красоту баронессы. Да и какая женщина не показалась бы молодой и прелестной бок о бок с такими стариками? Девица Зефирина, потерявшая зрение уже давно, не подозревала, как изменилась к восьмидесяти годам ее внешность. Бледное лицо со впалыми щеками казалось мертвой маской, и сходство это усугублял пустой взгляд незрячих глаз, обведенных красной каемкой; три — четыре торчавших вперед зуба придавали Зефирине угрожающий вид; на подбородке и в углах рта вились седые волоски — признак мужественной натуры. Это холодное и спокойное лицо обрамляли белые коленкоровые оборки стеганого коричневого чепчика, завязанного под под-

бородком порыжевшими тесемками. Старуха носила юбку из грубой шерсти, а под нею — стеганую нижнюю юбку, пухлую, как матрац, где у нее хранились червонцы; она каждое утро надевала и только на ночь снимала пояс с пришитыми к нему карманами. Узкий казакин, такой, как носят бретонские крестьянки, и из той же грубой, что и юбка, шерсти, туго обтягивал ее грудь, у шеи он заканчивался белым воротничком, собранным в мелкие складочки. Этот воротничок служил единственной причиной раздора между золовкой и невесткой: старуха ни за что не соглашалась отдавать его в стирку раньше субботы. Из широких, подбитых ватой рукавов казакина выходили сухие и жилистые, пожелтевшие кисти рук, по сравнению с которыми кожа запястья казалась белой, как сердцевина тополя. Пальцы скрючились от постоянной работы спицами, и беспрерывное их мелькание напоминало движение вязальной машины; не верилось, что эти руки бывают когда-нибудь неподвижны. Время от времени девица дю Геник вытаскивала из-за корсажа длинную спицу и ловко запускала ее под чепчик, чтобы почесать свою седую голову. Человек непривычный не мог бы глядеть без смеха, как старуха бесстрашно втыкает обратно за корсаж спицу, не боясь уколоться. Держалась она прямо, как палка. Ее величественная осанка могла показаться невинным кокетством старости, ибо, как известно, тщеславие умирает после нас. Улыбка у нее была веселая. Девица дю Геник тоже выполнила свой долг.

Заметив, что барон уснул, Фанни перестала читать. Закатный луч заглянул в окно, золотым лезвием прорезал спертый воздух в зале и заиграл на почерневшей мебели. Солнечный зайчик скользнул по резному полу, пробежал по поставцам, растекся по дубовому столу, и сразу же тихий, темный зал повеселел, а голос Фанни отдавался в душе восьмидесятилетней старухи радостной, веселой, как этот луч, музыкой. Золото заката мало-помалу обратилось в пурпур, и все постепенно окрасилось в грустные предвечерние тона. Баронесса умолкла и погрузилась в то глубокое раздумье, которое уже две недели наблюдала старуха Зефирина.

Она не задала невестке ни одного вопроса, хотя ей очень хотелось узнать, откуда эта печаль. Как и многие

слепые, она, казалось, умела читать мысли окружающих, будто они, подобно белым литерам, выступали из книги мрака, ибо в душе слепца каждый звук отдается эхом, несущим разгадку чужих тайн. Слепая старуха, для которой сумерки не были помехой, продолжала вязать, и в зале воцарилась такая глубокая тишина, что слышно было мерное постукивание стальных спиц.

— Вы уронили газету, сестрица,— произнесла проницательная старуха,— а ведь вы не спите!

Когда совсем стемнело, Мариотта внесла зажженную лампу и поставила ее на стол; затем, как и каждый вечер, она взяла прялку, кудель, пододвинула низенькую скамеечку к окну, выходившему во двор, и начала прясть. Гаслен все еще хлопотал по хозяйству: заглянул на конюшню, где стояли лошади барона и Каллиста, проверил, есть ли в яслях овес, накормил двух прекрасных псов. Их веселый лай был последним звуком, на который откликнулось эхо, спящее в почерневших стенах старого дома. Эти две гончие да пара лошадей— вот и все, что осталось от былой рыцарской пышности дю Геников. Присев на каменное крыльцо, человек, наделенный воображением, невольно поддался бы поэзии минувшего, которое жило под этой ветхой кровлей, и, вероятно, вздрогнул бы, услышав лай охотничьих псов и нетерпеливое ржание коней, бьющих копытом в деннике.

Гаслен был, как и подобает бретонцу, низкорослый, плотный, коренастый и смуглый брюнет, отличался медлительностью движений, молчаливостью и упрямством мула,— такой человек ни за что не свернет с раз предуказанного ему пути. Гаслену исполнилось сорок два года, из которых двадцать пять он прожил у дю Геников. Мадемуазель Зефирина взяла его в дом пятнадцатилетним подростком, ожидая возвращения брата, который в ту пору уже женился на Фанни. Слуга считал себя членом семейства Геников; он играл с Каллистом, любил хозяйских псов и лошадей, холил их и говорил с ними, как с людьми. Зиму и лето он ходил в синей холщовой блузе-расстегайке с небольшими карманами, доходящей до бедер, в таких же штанах и жилете, в синих чулках и грубых башмаках с подковками. В холод-

ную погоду или в дождь он, по местному обычаю, накидывал поверх блузы козью шкуру. Мариотта, которой тоже уже стукнуло сорок, была настоящим Гасленом в юбке. Трудно представить себе более подходящую пару: оба черноволосые, низенькие, у обоих карие проницательные глазки. Непонятно, как Гаслен и Мариотта не поженились: впрочем, это показалось бы кровосмешением, ибо они походили друг на друга, как брат и сестра. Мариотта получала тридцать экю в год, а Гаслен сто ливров. Но и за тысячу экю жалованья они не оставили бы дома дю Геников. Оба состояли под началом старой барышни, которая со времени вандейского восстания и вплоть до возвращения брата самовластно управляла домом. Узнав о намерении барона ввести в дом хозяйку, мадемуазель Зефирина огорчилась, что ей придется выпустить из рук бразды правления, передать свои полномочия новой баронессе дю Геник и стать лишь первой из ее подданных.

Каково же было приятное разочарование Зефирины, когда она убедилась, что мисс Фанни о'Брайен рождена для высшего удела, что мелочные заботы по грошовому хозяйству бесконечно претят ей и что, подобно многим возвышенным душам, она предпочитает питаться черствым хлебом, купленным в лавке, чем есть самые вкусные блюда, которые надо готовить своими руками; старуха скоро поняла, что ее невестка, с охотой выполнявшая все самые тягостные обязанности, налагаемые материнством, стойко сносившая все лишения, отступает перед обыденными занятиями. Когда барон попросил сестру от имени жены — сама Фанни не осмеливалась обратиться к золовке с подобной просьбой — по-прежнему вести хозяйство, старая девица нежно расцеловала невестку; она относилась к Фанни, как к родной дочери, она обожала ее и была счастлива, что может по-прежнему полновластно управлять домом, который она и вела твердой рукой, соблюдая по привычке строжайшую экономию, нарушаемую только ради исключительных событий, таких, как роды, кормление малютки Каллиста, и уж, конечно, ради самого Каллиста, баловня и кумира всей семьи. Хотя Гаслен и Мариотта привыкли к строгому распорядку дома и без всяких напоминаний пеклись об интересах хозяев больше, чем о своих

собственных,— мадемуазель Зефирина неустанно следила за всем. От нее ничто не ускользало: не поднимаясь на чердак, она знала, велика ли груда насыпанных там орехов, и, не запуская в рундук своей жилистой руки, могла сказать, сколько осталось на конюшне овса. У пояса ее казакина висел на шнурке свисток, и она, как боцман на судне, вызывала слуг свистком, одним — Мариотту и двумя — Гаслена.

Величайшей утехой Гаслена был сад, где он прилежно трудился, выращивая прекрасные плоды и столь же прекрасные овощи. Обязанности его были, впрочем, необременительны, и, лишись своих грядок, он заскучал бы. Почистив на зорьке лошадей, он затем натирал полы и приводил в порядок барские покои в нижнем этаже: больше ему «при господах» нечего было делать. Поэтому самый зоркий глаз не обнаружил бы в саду ни сорной травинки, ни вредного насекомого. Гаслен мог часами стоять неподвижно, не замечая, как пекут его непокрытую голову палящие лучи,— это он выслеживал мышь-полевку или мерзкую личинку майского жука; поймав, наконец, свою жертву, которую он подстерегал целую неделю, Гаслен зажимал ее в кулаке и, счастливый, как дитя, бежал к господам похвастаться удачей. Не меньшим удовольствием для иего было отправиться в постные дни за рыбой в Круазик, где она была дешевле, чем в Геранде. Можно смело сказать, что редкая семья была так сплочена, дружна и жила в таком добром согласии, как это почтенное и благородное семейство. Казалось, что хозяева и слуги созданы друг для друга. За двадцать пять лет ни разу они не поссорились, ни разу между ними не пробежала черная кошка. Единственным их огорчением были легкие недомогания маленького Каллиста, единственное, что устрашило их,— это события 1814 и 1830 годов. И пусть одни и те же действия совершались неизменно в одни и те же часы, пусть одни и те же кушанья сменялись на столе с той же закономерностью, с какой сменяются времена года, однообразие это, подобное однообразию природы, где друг за другом следуют непогода и вёдро, покоилось на любви, царившей во всех сердцах, тем более плодотворной и благодетельной, что проистекала она из законов естественных.

Когда совсем стемнело, в залу вошел Гаслен и почтительно осведомился, не понадобится ли он хозяину.

— После молитвы можешь погулять и ложиться,— сказал пробудившийся от сна барон,— если только барыня и барышня тебя отпустят.

Обе дамы в знак согласия молча наклонили голову. Гаслен, видя, что хозяева поднялись и стали на колени, тоже преклонил колени. Мариотта пристроилась в молитвенной позе на своей скамеечке. Старая девица дю Геник вслух прочитала молитву; когда смолк ее голос, раздался стук в калитку, выходящую на улочку. Гаслен пошел отпирать.

— Это, наверно, господин кюре; он всегда первым приходит,— заметила Мариотта.

И в самом деле, присутствующие узнали твердые шаги герандского кюре, гулко отдававшиеся во дворе. Кюре почтительно раскланялся с хозяевами и обратился к барону и дамам со словами елейного привета, на что священники такие мастера. Услышав рассеянный ответ Фанни, гость устремил на нее инквизиторский взгляд духовника.

— Уж не больны ли вы, баронесса, или, быть может, вас что-нибудь расстроило? — осведомился он.

— Благодарю вас, так, пустяки,— ответила баронесса.

Господину Гримону шел уже шестой десяток, роста он был среднего; из-под сутаны, мешком сидевшей на нем, торчали огромные туфли с серебряными пряжками, белоснежные брыжи оттеняли жирное, очень белое, но сейчас слегка тронутое загаром лицо. Руки у него были пухлые. Чисто монашеской своей физиономией г-н Гримон напоминал и голландского бургомистра — та же невозмутимость, тот же сытый блеск кожи — и бретонского крестьянина — те же гладкие черные волосы, те же карие глазки, живой блеск которых приглушало христианское смирение. Он любил повеселиться, как человек, у которого совесть чиста, и не чуждался шутки. В нем не было ничего суетливого и желчного, как у тех неудачливых священнослужителей; чей образ жизни или власть, которой они облечены, лишь раздражают прихожан; такие священники не только не умеют стать, по образному выражению Наполеона, духовными настав-

никами народа и его естественными судьями, но, напротив, вызывают к себе ненависть. Любой путешественник, даже самый завзятый маловер, встретив г-на Гримона на улицах Геранды, сразу же угадывал в нем правителя сего благочестивого града; но сам правитель безропотно признавал превосходство феодальной власти дю Геников над своим духовным авторитетом. В этой зале он чувствовал себя как капеллан в замке феодального сеньора. В церкви, благословляя паству, он осенял крестным знамением прежде всего скамью, принадлежавшую дю Геникам, на спинке которой был вырезан их фамильный герб — рука, держащая меч.

— Я думал, что мадемуазель Пеноэль уже пришла,— сказал священник, целуя руку баронессы и усаживаясь подле нее.— Она изменяет своим правилам. А все нынешний рассеянный образ жизни,— ведь и Каллист не вернулся еще из Туша.

— Ничего не говорите об этих визитах при мадемуазель Пеноэль! — тихо воскликнула Зефирина дю Геник.

— Ах, мадемуазель,— вмешалась Мариотта,— да разве запретишь всему городу судачить!

— А что говорят? — осведомилась баронесса.

— Все в один голос твердят, и молоденькие девушки и старые сплетницы, что наш кавалер влюблен в мадемуазель де Туш.

— Для такого молодца, как наш Каллист, влюблять в себя дам — самое подходящее занятие,— заметил барон.

— А вот и мадемуазель Пеноэль,— объявила Мариотта.

И действительно, гравий во дворе заскрипел под мелкими шажками гостьи, которая явилась в сопровождении слуги, освещавшего ей путь фонарем. Увидев знакомого слугу, Мариотта решила перенести свою прялку в соседнюю залу, чтобы поболтать при свечке, которая горела в фонаре богатой и скупой гостьи, что позволяло экономить свечи дю Геников.

Гостья была сухонькая и тоненькая пожилая девица с серыми глазками, с лицом желтым, как пергамент старых судейских грамот, морщинистым, как вол-

нуемая ветром гладь озера, и по-мужски большими кистями рук; передние зубы ее выдавались; вдобавок мадемуазель де Пеноэль была кривобока, а быть может, и горбата; но никто не хотел знать ее физических достоинств и недостатков. Одевалась она на манер девицы дю Геник, и, когда ей требовалось вынуть что-нибудь из кармана, она начинала судорожно шарить в своих шуршащих юбках, которых на ней был добрый десяток. Эти поиски сопровождались приглушенным перезвоном ключей и серебряных монет. В одном кармане мадемуазель де Пеноэль держала ключи от всех служб и построек, а в другом—серебряную табакерку, наперсток, спицы и прочие звонкие предметы. Но вместо стеганого чепчика, которому отдавала предпочтение девица дю Геник, гостья носила зеленую шляпку и, должно быть, в ней отправлялась на огород проведывать свои дыни, и вместе с этими плодами ее шляпка меняла тон, становясь из зеленой желтого цвета. Такие шляпки были в моде лет двадцать назад и назывались в Париже «биби». Эту шляпку смастерила собственноручно племянница мадемуазель де Пеноэль и под зорким наблюдением тетки убрала ее зеленой тафтой, купленной в Геранде; тулья каждые пять лет обновлялась в Нанте, ибо срок носки был строго определен: от одних муниципальных выборов до других. Племянницы сами шили ей и платья, следуя раз навсегда указанному фасону. Старая девица подпиралась тростью с крючком,— такими тросточками щеголяли модницы времен Марии-Антуанетты. Мадемуазель де Пеноэль принадлежала к высшей бретонской аристократии. На ее гербе были все знаки герцогского достоинства. С ней и с ее сестрой угасал старинный бретонский род Пеноэлей. Младшая Пеноэль была замужем за г-ном Кергаруэтом, который, невзирая на всеобщее негодование, смело присоединил к своему имени славное имя Пеноэлей и звался теперь виконтом Кергаруэт-Пеноэль.

— Его бог наказал,— любила говорить старая девица,— сыновей-то у него нет, одни дочери; значит, род де Кергаруэт-Пеноэль все равно угаснет.

Земельные угодья приносили Жаклине де Пеноэль около восьми тысяч ливров годового дохода. Оставшись тридцать шесть лет назад старшей в доме, она самолич-

но вершила дела, объезжала свои владения верхом на лошади и выказывала даже в мелочах непреклонную волю, что, впрочем, свойственно всем горбунам. Ее скупость была известна на десять лье в окрестности и ни в ком не вызывала осуждения. Мадемуазель де Пеноэль держала только одну служанку и слугу-подростка, который сопровождал ее всюду. Тратила она, если не считать налогов, не более тысячи франков в год. Не удивительно, что семейство Кергаруэт-Пеноэль, проводившее зиму в Нанте, а на лето переселявшееся в имение на берегу Луары, заискивало перед старухой. Всем было известно, что весь свой капитал и сбережения Жаклина откажет той из племянниц, которая сумеет ей угодить лучше прочих. Каждые три месяца одна из четырех девиц Кергаруэт, младшей из которых исполнилось только двенадцать лет, а старшей минуло уже двадцать, гостили поочередно у тетки. С тех пор как на свет появился Каллист, Жаклина де Пеноэль, воспитанная в преклонении перед бретонской доблестью дю Геников и дружившая с Зефириной, задумала передать юному барону свои богатства, женив его на одной из своих племянниц Кергаруэт-Пеноэль.

Она намеревалась выкупить лучшие земли дю Геников, расплатившись с «фермерами-залогодателями». Когда скупость ставит себе определенную цель, она уже перестает быть пороком, она становится почти добродетелью, а чрезмерные лишения — непрерывными жертвами; и настоящий скупец, в сущности, лишь вынашивает большие замыслы, скрытые под мелочными проявлениями скаредности. Быть может, Зефирина была посвящена в тайну мадемуазель де Пеноэль. Быть может, и баронесса, все чувства и разум которой поглощала любовь к сыну и нежность к старику-мужу, тоже догадывалась кое о чем,— недаром лукавая Жаклина упорно приводила с собой каждый вечер к дю Геникам свою любимую племянницу, пятнадцатилетнюю Шарлотту Кергаруэт. И уж, конечно, в заговоре был и кюре Гримон, который являлся советчиком старухи по части выгодного помещения капитала. Но, имей мадемуазель де Пеноэль триста тысяч франков золотом — сумма, в которую оценивали ее сбережения; владей она в десять раз бóльшими земельными угодьями, чем теперь, дю Геники и то-

гда не сделали бы ни одного жеста, который позволил бы предположить их заинтересованность в ее богатстве. Именно из чувства великолепной бретонской гордыни Жаклина Пеноэль с радостью признавала превосходство своей старой подружки Зефирины и вообще семейства дю Геников и всякий раз чувствовала себя крайне польщенной, когда ее удостаивала визитом внучка ирландских королей и ее золовка. А как тщательно скрывала она от друзей, какую жертву приносит им каждый вечер: ведь поджидая свою госпожу у дю Геников, ее слуга сжигал по целой свечке цвета пеклеванного хлеба; такие свечи еще и посейчас распространены кое-где на западе Франции. Итак, эта богатая и старая девица была живым олицетворением бретонского дворянства, его гордости и важности. Теперь, когда вы прочли ее описание, узнайте же то, что узнала вся Геранда по вине болтливого кюре Гримона: в тот вечер, когда барон, юный его сын и верный Гаслен, вооруженные саблями и ружьями, отправились в Вандею, к великому ужасу Фанни и к великой радости бретонцев, Жаклина Пеноэль вручила барону десять тысяч ливров золотом,— неслыханная жертва с ее стороны,— и в добавление к ней такую же сумму, собранную в качестве десятины священником; эти деньги старый вояка должен был преподнести матери Генриха V от имени семейства Пеноэлей и герандской паствы. К Каллисту Жаклина относилась как будущая родственница, имеющая на него права; она почитала себя обязанной следить за его нравственностью, и вовсе не потому, что разделяла предубеждение некоторых против холостых проказ,— наоборот, в этом отношении она отличалась снисходительностью старых дам прошлого века; но она трепетала перед злокозненной революционностью новых нравов. Она, пожалуй, простила бы Каллисту шашни с бретонками, зато он сильно повредил бы себе в ее мнении, если бы поддался тому, что она называла новыми веяниями. У Жаклины Пеноэль всегда отыскалась бы небольшая сумма, чтобы откупиться от девицы, соблазненной Каллистом, но она сочла бы юношу мотом и расточителем, увидев его в тильбюри или услышав, что он собирается в Париж. А если бы старая девица застала Каллиста за чтением нечестивых журналов или газет, она натвори-

ла бы бог знает что. К новым веяниям она причисляла трехпольный севооборот и вообще «всякий раззор» под видом улучшений и нововведений, не говоря уже о закладе поместий, к которому неизбежно приводили подобные опыты. По ее убеждению, разумный человек всегда сумеет разбогатеть; хороший хозяин вовремя свезет в амбары рожь, овес, коноплю и будет упрямо сидеть на мешках, выжидать повышения цен, даже рискуя прослыть спекулянтом. По счастливой случайности ей самой почти всегда удавалось удачно проводить свои коммерческие операции, что еще больше укрепляло мадемуазель де Пеноэль в ее принципах. Ее считали хитрой, в действительности же она была недалекой особой, зато была аккуратна в делах, как голландский купец, осторожна, как кошка, настойчива, как поп, а подобные качества в этом косном краю почитались признаком величайшего глубокомыслия.

— А господин дю Альга нынче будет? — осведомилась старая девица, здороваясь с хозяевами и снимая шерстяные вязаные митенки.

— Непременно придет, сударыня; я его встретил на площади, он прогуливал свою собачку,— ответил священник.

— Значит, сегодня можно будет как следует поиграть в мушку,— продолжала мадемуазель де Пеноэль,—а то вчера пришлось играть вчетвером.

При слове «мушка» священник поднялся и достал из ящика поставца маленькую круглую корзиночку из ивовых прутьев. Там хранились фишки слоновой кости, ставшие после двадцати лет употребления желтыми, как турецкий табак, и засаленные карты, которыми как будто играли сен-назерские таможенники, а те, как известно, пользуются колодой не меньше двух недель. Священник собственноручно положил перед каждым игроком кучку фишек, поставил корзиночку посреди стола рядом с лампой; по его движениям чувствовалось, что этот невинный обряд он проделывает ежевечерне и с ребяческим нетерпением предвкушает радость игры. В эту минуту кто-то громко, по-военному, постучался, и стук отдался во всех уголках старого дома. Юный слуга девицы Пеноэль торжественно отпер двери. И в сгущавшихся сумерках на пороге вырисовалась длинная, сухая

закутанная фигура кавалера дю Альга, сражавшегося некогда под флагом адмирала Кергаруэта.

— Входите, кавалер! — громко воскликнула мадемуазель Пеноэль.

— Алтарь воздвигнут...— провозгласил священник.

Кавалер дю Альга отличался слабым здоровьем и посему носил фланелевое белье, предохранявшее его от ревматизма, черную шелковую ермолку в защиту от вредоносного тумана и теплую фуфайку, которая должна была уберечь его драгоценную грудь от шквалов, внезапно налетающих на Геранду. Он не расставался с толстой палкой, увенчанной золоченым набалдашником, и с ее помощью разгонял псов, которые имели неосторожность не вовремя сунуться к его любимой собачке. Этот человек, холивший себя как самая завзятая щеголиха, терявшийся перед малейшим препятствием, говоривший полушепотом, чтобы не утруждать надорванных связок, был некогда одним из самых неустрашимых и искусных моряков французского флота. Его удостаивал своим вниманием бальи де Сюфрен и своей дружбой граф де Портандюэр. О мужественном поведении кавалера на посту капитана в эскадре адмирала Кергаруэта красноречиво гласили шрамы, бороздившие его лицо. Сейчас никто бы не поверил, что много лет назад этот голос перекрывал завывания бури, что этот взгляд витал над морями, что в этой груди жила неукротимая отвага бретонского моряка. Кавалер не курил, никогда не сквернословил; он был невозмутим и кроток, как юная дева, и по-старушечьи терпеливо возился со своей любимой Тисбой, потакая всем ее собачьим прихотям. Кавалер дю Альга был самым высоким воплощением любезных нравов, давно отошедших в прошлое. Он никогда не упоминал о своих необычайных подвигах, которые в свое время удивляли самого графа д'Эстена. И хотя кавалер казался немощным и бережно нес свое тело, словно боялся разбиться, хотя он сетовал на ветер, зной и туман, его улыбка и поныне обнажала великолепные белые зубы и ярко-красные десны; должно быть, не так уж был опасен недуг г-на дю Альга, хотя и обходился недешево самому больному, ибо требовал не менее четырех, по-монастырски обильных, трапез в день. Его несокрушимо мощное и костистое, как у барона дю Геника, тело обтягивала

пергаментно-желтая кожа, под которой выступали мышцы, как выступает под блестящей кожей арабского коня переливающаяся на солнце сетка сухожилий. Его лицо еще сохранило индийский загар, но это был единственный след путешествия в Индию, откуда он не вывез ни единой мысли, ни единого воспоминания. Он эмигрировал, потерял все свое состояние, впоследствии был награжден орденом св. Людовика и получал пенсию в две тысячи франков, как моряк-инвалид. Мнительность, заставлявшая его изобретать тысячи воображаемых недугов, объяснялась бездействием старости. Он служил в русском флоте вплоть до того дня, когда император Александр решил употребить его в деле против Франции; тогда дю Альга подал в отставку и поселился в Одессе при герцоге Ришелье; с ним он и возвратился на родину; герцог помог сему почтенному потомку старинных бретонских моряков выхлопотать пенсию. После смерти Людовика XVIII кавалер дю Альга вернулся в родные места и стал мэром Геранды. В течение пятнадцати лет священник, кавалер и девица де Пеноэль проводили вечера в доме дю Геников, где кроме них собиралось несколько представителей городской и окрестной знати. Нетрудно понять, что семейство дю Геников возглавляло Сен-Жерменское предместье Геранды, и ни одно должностное лицо, назначенное новым правительством, не смело переступить порог этого дома. Последние шесть лет кюре Гримон, провозглашая в церкви «Боже, спаси короля», каждый раз кашлял, запнувшись на столь щекотливых словах молитвы. Дальше этого герандские политики не шли.

При игре в мушку сдается по пяти карт и оставляется прикуп. По прикупу назначают козырей. В каждом круге игрок волен ставить ставку или воздержаться. Воздерживаясь от игры, он теряет только свой взнос, ибо каждый игрок ставит лишь небольшую сумму, а ставки делаются в зависимости от карты. Игрок должен взять не меньше одной взятки, которая оплачивается в соответствии с банком. Если в корзине, скажем, имеется пять су, то взятка дает одно су. Игрок, не взявший ни одной взятки, проигрывает мушку; в этом случае он вносит ставку, равную всей сумме банка, что увеличивает банк на следующий круг. Записываются все проигранные мушки; их кладут в корзиночку одну за другой в за-

висимости от стоимости, сначала бóльшую, потом мелкие. Те игроки, которые не участвуют в данном круге, тоже ходят, но их карты в счет не идут. Нижнюю карту прикупа подменивают, как в экарте, но в порядке достоинства. Каждый игрок берет из колоды столько карт, сколько хочет, причем сидящие по руке два первых игрока могут взять хоть всю колоду. Прикуп принадлежит сдающему, который играет последним; он имеет право обменять свои карты на прикуп. Одна из карт называется «мистигри» и побивает все остальные карты. Обычно мистигри — трефовый валет. Игра эта при ее исключительной простоте довольно занимательна. В ней проявляются и присущая человеку алчность и его дипломатические таланты, не говоря уже о богатстве мимики. У дю Геников каждый партнер брал обычно по двадцать фишек и вносил за них пять су, так что ставка не превышала пяти лиаров на круг — сумма непомерная в глазах наших игроков! При самой баснословной удаче счастливец мог выиграть пятьдесят су, а в Геранде никто не расходовал в день таких капиталов. Охотник, идущий по следу зверя, не так увлечен своей страстью, как бывала увлечена девица Пеноэль, когда садилась за мушку — эту невиннейшую из карточных игр, если верить Академии, которая ставит мушку на второе место после безобидного «дурака». С не меньшим пылом отдавалась игре и мадемуазель Зефирина, игравшая в половинной доле с баронессой. Поставить один лиар и разом взять впятеро бóльшую сумму,— да это для старой скопидомки было крупнейшей финансовой операцией, и она вкладывала в нее все силы своей души, подобно биржевику, играющему на понижение и повышение процентных бумаг. После рокового случая, происшедшего в сентябре 1825 года, когда девица де Пеноэль за одну партию проиграла тридцать семь су, было заключено дипломатическое соглашение: игра прекращалась по желанию игрока, проигравшего десять су. Вежливость требовала в таком случае немедленно оставить карты, чтобы не мучить незадачливого партнера, иначе ему пришлось бы смотреть сложа руки, как играют другие. Но каждой страсти присуще коварство. Кавалер дю Альга и барон в качестве испытанных политиков нашли способ обойти суровый закон. Когда игро-

кам не терпелось продолжить увлекательную партию, неустрашимый кавалер дю Альга, принадлежавший к породе расточительных холостяков, которые ничего не расточают, неизменно предлагал десять фишек девице Пеноэль или Зефирине, если те проигрывали свои положенные пять су, при условии, что они вернут долг в случае удачи. Старый холостяк мог позволить себе подобную любезность в отношении старых барышень. В свою очередь, и барон в критическую минуту ссужал обеих девиц фишками,— ради того, уверял он их, чтобы партия продолжалась. Обе скупердяйки соглашались принять фишки только после долгих уговоров и просьб, как и подобает порядочным девицам. На такую расточительность барон и кавалер решались только после выигрыша, без чего их дар мог бы показаться дамам оскорбительным. Партия мушки приобретала особый блеск, когда тетка приводила с собой одну из девиц Кергаруэт,— да, да, Кергаруэт, ибо здесь никто не присоединял к имени Кергаруэтов славное имя Пеноэлей, в том числе и слуги, коим на этот счет был дан особый приказ. Тетка внушала племяннице, что играть в мушку у дю Геников — ни с чем не сравнимая честь и наслаждение. Девушке раз навсегда было предложено вести себя здесь особенно почтительно, что, впрочем, достигалось ею без труда: один вид прекрасного Каллиста сводил с ума всех четырех барышень Кергаруэт. Эти юные особы, воспитанные вполне в духе современной цивилизации, не придавали никакого значения проигрышу в пять су и ремизились без конца. Именно в такие вечера случались знаменитые мушки, когда банк возрастал до ста су и каждая ставка подымалась с двух половиной су до десяти. Для слепой Зефирины это были вечера незабываемых, волнующих переживаний. Взятка в Геранде называлась «взятко́м». Баронесса тихонько толкала под столом золовку столько раз, сколько, по ее мнению, было верных взяток. Ставить или не ставить,— особенно когда корзиночка полна,— вот какой вопрос терзал душу игроков, разрывавшихся между алчностью и страхом! «А вы ставите?» — спрашивал сосед соседа в отчаянии, что должен воздерживаться, тогда как счастливцу привалила богатая карта. Если Шарлотта Кергаруэт, которую все дружно упрекали в безумии, выиг-

рывала именно благодаря своей смелой игре, тетка, возвращаясь с ней домой, особенно если сама была в проигрыше, держалась с племянницей подчеркнуто холодно и всю дорогу читала ей нравоучения. Шарлотта-де слишком самоуверенна, юная девица не должна так дерзко вести себя с людьми почтенными; противно смотреть, как она бесцеремонно хватается за корзиночку или швыряет на стол карты; порядочной девице пристали скромность и сдержанность; очень неприлично смеяться над чужим несчастьем, и т. д., и т. д. Тысячу раз в году повторялись одни и те же шутки, не терявшие своей прелести для игроков, а именно: на какой тройке увезти переполненную корзиночку — на тройке волов, слонов, мулов, ослов, собак? И хотя острили на эту тему в течение целых двадцати лет, никто не замечал, что шутки не новы. Каждое упоминание о тройке вызывало улыбки. Существовали также особые словечки, которые выражали досаду по поводу того, что, мол, ставил-ставил, а другой взял да и забрал полную корзинку. Карты тасовались и раздавались с бесстрастной медлительностью. Говорили вполголоса. Эти достойные и благородные особы имели милую слабость: они не особенно доверяли соседу и зорко следили за каждым чужим ходом. Девица Пеноэль всякий раз, когда выигрывал кюре, во всеуслышание заявляла, что он плутует.

— Странное дело,— возражал тот,— почему это, когда я проигрываю, вы не говорите, что я плутую.

Прежде чем положить на стол карту, каждый игрок долго рассчитывал, прикидывал, бросал на соседа проницательный взгляд, делал тонкие и глубокомысленные замечания. Не скроем, партнеры нередко прерывали игру и начинали обсуждать последние герандские события или спорили о политике. Иной раз, увлекшись разговором, они болтали чуть не полчаса, плотно прижимая к груди распущенные веером карты. Если после такого перерыва вдруг обнаруживалось, что в банке не хватает фишки, каждый спешил уверить, что он свою ставку давно поставил. Почти всегда в этом преступлении обвиняли кавалера: фишку не поставил именно он,— конечно, задумался о своих мигренях, шуме в ушах, о ревматизмах. Когда же кавалер безропотно ставил фишку, девица Зефирина или коварная горбунья вдруг впада-

ли в раскаяние: им начинало казаться, что не кавалер, а они сами забыли поставить фишку; обе принимались высчитывать, соображать, но в конце концов, решали они, кавалер достаточно богат и как-нибудь перенесет это несчастье, тем паче, что не так уж оно велико. А когда заговаривали о злоключениях, выпавших на долю королевской семьи, барон начинал сбрасывать не те карты. Иногда результат игры удивлял всех партнеров, в равной мере рассчитывавших на выигрыш: после известного количества партий каждый отыгрывал свои фишки и, ссылаясь на позднее время, уходил домой, ничего не выиграв и ничего не проиграв, но зато наволновавшись вволю. В такие трагические вечера на несчастную мушку сыпались тысячи упреков: ну уж и мушка! Скучнейшая игра! Игроки обвиняли мушку подобно тому, как дикари в бурю секут отражение луны в воде. И вечер-то прошел бесцветно. Сидели-сидели, и все зря. Когда в свое первое посещение Геников виконт и виконтесса Кергаруэт стали превозносить вист и бостон и хулить неинтересную мушку, баронесса, которой мушка до смерти надоела, попросила их показать новые игры, и наши игроки, поворчав немного, сели за стол. Но оказалось, что растолковать герандцам правила новомодных игр невозможно; когда чета Кергаруэт удалилась, весь кружок в один голос заявил, что вист и бостон — головоломка, путаница, хуже всякой алгебры. И все единодушно сошлись на том, что их мушка, их славная, их миленькая мушка — самая интересная игра. Так мушка одержала верх над современными играми,— впрочем, как мы уже знаем, во всей Бретани старое торжествовало над новым.

Пока священник сдавал карты, баронесса расспрашивала кавалера дю Альга о здоровье, совершенно в тех же выражениях, что и накануне. Кавалер считал за доблесть приобретение новых недугов. Вопросы баронессы оставались неизменными, зато ответы кавалера были до чрезвычайности разнообразны. Сегодня, например, он жаловался на печеночные колики. Но удивительное дело, достойный кавалер никогда не вспоминал о своих ранах! Он прекрасно знал свои подлинные недуги и примирился с ними. Зато его тревожила всякая чертовщина: то у него раскалывался от боли череп, то мучила «грызь в животе», то в ушах стоял страшный звон; он

считал свои страдания неизлечимыми, тем более что ни один врач не мог прописать никакого лекарства против несуществующих болезней.

— Помнится, вчера вас беспокоила ломота в ногах? — с серьезным видом осведомился священник.

— Сегодня здесь болит, а завтра уже в другом месте. Так и переходит,— ответил кавалер.

— Значит, у вас колики теперь перешли в печенку? — вмешалась девица Зефирина.

— А на полпути они не задерживаются? — спросила, улыбаясь, мадемуазель де Пеноэль.

Кавалер важно склонился перед дамами, отрицательно помахав ручкой; этот забавный жест сказал бы опытному наблюдателю, что в молодости моряк был весел и умен, много любил и был любим. Быть может, ныне, закоснев в герандской глуши, он предавался воспоминаниям. И когда кавалер дю Альга нелепо, как цапля, торчал посреди площади, не замечая палящего зноя, и мечтательно любовался морским прибоем или же следил за игрой своей любимой собачки, кто знает, в эту минуту он, быть может, жил в земном раю минувших лет?

— Значит, старый герцог Ленонкур скончался? — сказал барон, вдруг вспомнив статью из «Котидьена», среди чтения которой он заснул.— Итак, первый слуга короля последовал за своим господином. Скоро и я присоединюсь к ним.

— Полно, друг мой! — воскликнула баронесса, нежно поглаживая костлявую, жилистую руку мужа.

— Пусть себе говорит, сестрица,— вмешалась Зефирина,— пока я *здесь*, он не будет *там:* он ведь младший.

Веселая улыбка пробежала по губам старой девицы. Когда барон высказывал подобные мысли, игроки и гости взволнованно переглядывались, их беспокоила постоянная грусть властителя Геранды. Люди, навещавшие дю Геников, расходясь по домам, печально переговаривались: «Господин дю Геник что-то загрустил. Вы заметили, он все время дремлет?» И на следующее утро вся Геранда обсуждала это происшествие: «Барон дю Геник слабеет!» Такой фразой начинались все разговоры в каждом герандском доме.

— А как ваша Тисба? — спросила кавалера дю Альга девица де Пеноэль, когда карты были сданы.

— И не говорите! Бедная собачка не лучше своего хозяина,— ответил кавалер,— у нее тоже больные нервы, она, когда бежит, все подымает ножку. Вот так, посмотрите!

Желая представить, как собака подымает лапку, кавалер вывернул и вздернул локоть, открыв все свои карты сидевшей рядом с ним горбунье, которая воспользовалась благоприятным случаем, чтобы разглядеть, нет ли у соседа мистигри или туза. Кавалер впервые попался в ловушку, подставленную ему лукавой девицей.

— Смотрите-ка,— произнесла баронесса,— у господина Гримона кончик носа побелел, значит, у него мистигри.

Радость священника, которому пришел мистигри, была столь велика, что он не мог ее скрыть, как, впрочем, и все остальные игроки. Каждый человек движением бровей, век или губ выдает свои душевные волнения, и наши игроки, привыкшие наблюдать друг за другом, обнаружили, наконец, слабое место священника: когда к нему приходил мистигри, у него действительно бледнел кончик носа. В таких случаях партнеры опасались делать ставки.

— А к вам кто-нибудь заходил сегодня? — спросил кавалер у мадемуазель де Пеноэль.

— Да, заходил. Двоюродный брат моего зятя. Он меня удивил: сказал, что графиня де Кергаруэт, в девичестве де Фонтэн, выходит замуж.

— Дочь «Большого Жака»! — воскликнул кавалер, который во время своего пребывания в Париже не отходил от адмирала.

— Графиня его наследница, она вышла замуж за бывшего посланника. Кузен еще рассказал мне удивительные вещи про нашу соседку мадемуазель де Туш, такие вещи, что я просто верить не хочу. Если бы это было правдой, Каллист не ходил бы к ней каждый день. Слишком он умен, чтобы не заметить все эти ужасы!

— Ужасы? — спросил барон, очнувшись при этом слове от своей дремоты.

Баронесса и кюре обменялись понимающим взглядом, карты были сданы, мистигри на сей раз пришел к

старой девице, и она не пожелала продолжать разговор, радуясь, что может скрыть свое торжество под общим замешательством, вызванным ее словами.

— Вам ходить, барон,— сказала она.

— Мой племянник не похож на нынешних молодых людей, он не любит разных ужасов,— произнесла старуха Зефирина, почесывая спицей голову.

— Мистигри! — вскричала девица де Пеноэль, пропустив мимо ушей замечание своей подружки.

Священник, который, казалось, был посвящен в тайну отношений Каллиста и мадемуазель де Туш, решил не вмешиваться в разговор.

— А что же она делает такого необычайного, эта мадемуазель де Туш? — осведомился барон.

— Курит! — отрезала девица де Пеноэль.

— Что ж, это полезно для здоровья,— возразил кавалер.

— А ее имения? — осведомился барон.

— Имения? — переспросила старая дева.— Она их проедает.

— Не стоит играть, кончено! И все обремизились, у меня на руках козыри, король, дама и валет, мистигри и еще один король,— сказала баронесса.— Мы выиграли, сестрица.

Этот выигрыш без игры сразил девицу де Пеноэль, которая сразу забыла и про Каллиста и про мадемуазель де Туш. В девять часов в зале остались только баронесса и кюре. Старики пошли спать. Кавалер дю Альга отправился, по обыкновению, провожать де Пеноэль до ее дома, стоявшего на главной площади Геранды; по дороге он делал глубокомысленные замечания насчет тонкого хода, принесшего выигрыш баронессе, насчет удачи и невезения, насчет того, как мадемуазель Зефирина с нескрываемым удовольствием прячет в карман выигранные деньги,— ведь уже давно лицо слепой старухи с полной откровенностью выдавало ее радости и огорчения. Поговорили они и об озабоченном виде баронессы. Кавалер подметил, что прелестная ирландка была нынче крайне рассеянна. У дверей дома, когда малолетний слуга поднялся наверх, старая девица доверительно сообщила кавалеру дю Альга причину беспокойства г-жи дю Геник:

— Я-то знаю, почему она беспокоится. Если Каллиста немедленно не женят, он погиб. Он влюблен в мадемуазель де Туш, в эту актерку.

— В таком случае немедленно вызывайте Шарлотту.

— Я уже написала сестре — она завтра получит мое письмо,— ответила мадемуазель де Пеноэль, прощаясь с кавалером.

Теперь, когда вы провели обычный вечер в геранд-ском доме, судите же сами, какой переполох должен был вызывать среди жителей этого славного града приезд, отъезд или просто случайное появление незнакомого лица.

Когда все стихло в спальне барона и в комнате его сестры, г-жа дю Геник взглянула на священника, который задумчиво складывал кучками фишки.

— Я вижу,— начала она,— что теперь и вы разделяете мои опасения относительно Каллиста.

— А вы заметили, как раздражительна была нынче мадемуазель де Пеноэль? — спросил священник.

— Конечно, заметила.

— Мадемуазель де Пеноэль,— продолжал священник,— питает самые лучшие намерения относительно вашего милого Каллиста, она любит его, как родного сына; а его поведение в Вандее, где он сражался бок о бок с отцом, лестные отзывы королевы-матери удесятерили ее привязанность к Каллисту. Она откажет все свое имущество той из племянниц, на которой Каллист женится. Я прекрасно понимаю, что в Ирландии вы могли бы найти для вашего любезного Каллиста куда более выгодную партию, но запас, как говорится, денег не просит. В том случае, если вашей родне не удастся устроить брак Каллиста, не следует пренебрегать капиталами мадемуазель де Пеноэль. Вы без труда найдете для нашего общего любимца невесту, которая принесет ему годовую ренту в семь тысяч ливров; но вряд ли вам удастся отыскать где-либо сбережения за целых сорок лет да еще в придачу поместья, благоустроенные, прекрасно управляемые и в таком безупречном порядке, как земли де Пеноэлей. А вдруг эта нечестивая женщина, эта де Туш, все дело испортит! Но, слава богу, мы знаем теперь о ней все.

— Что же именно? — спросила баронесса.

— Это распутница,— вскричал священник,— женщина более чем сомнительного поведения, она сочиняет для театра, помешана на актерах и актрисах, она проедает свое состояние вместе со всеми этими писаками, художниками, музыкантами, с самим нечистым! Она печатает свои книги под псевдонимом и больше известна под чужим именем, чем под своим собственным — Фелисите де Туш. Да что и говорить, просто шутиха какая-то! Со времени первого причастия она в церкви ни разу не показывалась, а если и заходила случайно, так вместо того, чтобы молиться, любовалась статуями и живописью. Все деньги она истратила, лишь бы придать блеск своему поместью, но какой же это блеск! Срамота, магометанский рай какой-то, только гурии там мужского пола. У нее за один месяц выпивают дорогих вин больше, чем во всей Геранде за целый год. В прошедшем году девицы Буньоль пустили к себе на квартиру ее гостей,— каких-то бродяг с козлиными бородами; хорошо еще, если они не *синие*. Соберутся и целые дни распевают непристойные песни. Добродетельные девицы Буньоль прямо плакали от стыда. Вот предмет страсти юного кавалера дю Геник! Если этой особе придет сегодня в голову купить какую-нибудь нынешнюю мерзкую книгу, в которой безбожники высмеивают все и вся, наш Каллист оседлает лошадь и поскачет хоть в Нант, а вряд ли он проявил бы такое рвение ради святой церкви. К тому же эта бретонка не роялистка. Если б понадобилось послужить ружьем правому делу, эта мадемуазель де Туш (да, вспомнил теперь: она пишет под мужским именем «Камилл Мопен») захочет удержать его при себе, и он преспокойно допустит, чтобы старик отец один отправился в поход.

— Не думаю,— промолвила баронесса.

— Я вовсе не желаю подвергать его испытанию,— возразил священник,— это причинило бы вам слишком чувствительные муки. Вся Геранда взбудоражена. Еще бы, наш кавалер дю Геник влюблен в эту, в этого... не поймешь, не то женщину, не то мужчину: она ведь курит, как гусар, пишет, как газетчик, у нее гостит сейчас самый вредный из нынешних писак,— так по крайней мере уверяет директор почты, а он ведь наш первый умник, журналы читает. В Нанте об этом уже

известно. Нынче утром этот самый кузен де Кергаруэт, который нашел Шарлотте жениха с шестьюдесятью тысячами ливров годового дохода, просидел семь часов у мадемуазель де Пеноэль и совсем расстроил ее своими рассказами о мадемуазель де Туш. Слышите, бьет десять, а Каллиста все нет,— он в Туше, и кто знает, может быть, вернется только под утро.

Баронесса молча слушала священника, который, сам того не замечая, разглагольствовал один, не давая своей собеседнице вымолвить ни слова; время от времени он взглядывал на Фанни дю Геник, прекрасное лицо которой отражало мучившие ее мысли. Баронесса то вспыхивала, то бледнела, ее била нервная дрожь. Когда г-н Гримон заметил, что в голубых ее глазах показались слезы, он смягчился.

— Не беспокойтесь, я завтра же увижусь с мадемуазель де Пеноэль,— сказал он, стараясь утешить огорченную мать,— быть может, беда еще не так велика, я разузнаю всю правду. Ведь мадемуазель Жаклина мне верит. К тому же Каллист — наш воспитанник, и он не поддастся чарам демона. Он не захочет смутить ваш покой, он не позволит себе разрушить планы, которые мы строим насчет его будущего. Не плачьте, прошу вас, ведь не все потеряно: помните, ошибка еще не преступление.

— Все это лишь подробности, а главное я и без того знаю,— возразила баронесса.— Ведь я первая заметила, как изменился Каллист. Спросите любую мать, и она скажет вам, как невыносимо горько быть второй в сердце собственного сына, как печально делить его с кем бы то ни было. Я знала, что такая пора в жизни юноши всегда тяжелое испытание для чувств матери, и все же никогда не думала, что все это наступит так скоро. Пусть бы сердцем Каллиста овладело благородное и прелестное создание, но только не эта шутиха, не эта актерка, писательница, привыкшая играть и притворяться, скверная женщина, которая обманет и погубит моего сына. Ведь у нее, наверное, были приключения.

— Да не с одним, а со многими,— подтвердил г-н Гримон.— И подумать только, что эта нечестивица рождена под небом Бретани! Она опозорила свою ро-

дину. В следующее воскресенье я изобличу ее в проповеди.

— Не делайте этого! — воскликнула баронесса.— Наши болотари, наши крестьяне, чего доброго, пойдут приступом на поместье Туш. Каллист не уронит имени дю Геников, он истинный бретонец, и если он в это время окажется в Туше, может произойти несчастье,— ведь он будет защищать ее, как пресвятую деву.

— Уже одиннадцатый час, позвольте пожелать вам доброй ночи,— сказал аббат, зажигая фонарь с чисто промытыми стеклами и ярко начищенной крышкой, что свидетельствовало о неизменной заботливости его домоправительницы.— Кто бы мог поверить,— добавил он,— что молодой человек, ваш родной сын, мой ученик, воспитанный в строгих заветах христианства, пламенный католик, невинное дитя, наш непорочный агнец, и вдруг попал в такую трясину!..

— Да верно ли это? — спросила баронесса.— Впрочем, как может женщина не влюбиться в Каллиста?

— И вам еще нужны доказательства? Ведь недаром эта колдунья зажилась тут. Вспомните-ка, она впервые за двадцать лет, прошедшие со дня ее совершеннолетия, так долго остается в своем поместье. К счастью для нас всех, она наезжала раньше в наши края только на короткий срок.

— Женщина в сорок лет! — произнесла баронесса.— Помнится, мне еще в Ирландии говорили, что сорокалетняя женщина самая опасная любовница для молодого человека.

— Ну, в таких делах я не сведущ,— возразил священник.— И умру несведущим

— Увы, и я тоже! — наивно воскликнула баронесса.— Вот когда мне хотелось бы знать, что такое страстная любовь! Тогда бы я могла следить за Каллистом, утешать его, дать ему нужный совет.

Аббат пересек маленький опрятный дворик; провожавшая его баронесса задержалась у ворот, все еще надеясь услышать на герандских улицах легкую походку Каллиста; но тишину спящего города нарушали только размеренные шаги священника, да и они постепенно затихли вдалеке; стук двери, захлопнувшейся в доме аббата, был последним звуком, долетевшим до ба-

ронессы. Несчастная мать печально возвратилась в залу; ей была невыносимо тяжела мысль, что весь город знает ее тайну. Она подрезала старыми ножницами фитиль чадившей лампы, уселась в кресло и взялась за вышивание, как всегда, когда поджидала сына. Она надеялась, что ее Каллист не захочет, чтобы мать ждала его, не спала по ночам, и не станет засиживаться у мадемуазель де Туш. Но тщетны были ревнивые расчеты материнского сердца. Каллист все чаще и чаще посещал Туш и все позже и позже возвращался домой: не далее как вчера он вернулся только в полночь. Баронесса, погруженная в материнские заботы, клала стежок за стежком с той старательностью, с какою работают люди, всецело занятые своими мыслями. Как хороша была эта женщина, склонившаяся над канвой при свете старой лампы, слабо освещавшей высокие своды, которым минуло четыреста лет! У Фанни было такое ясное, светлое лицо, такой редкостной прозрачности кожа, что, казалось, сквозь этот тончайший шелк просвечивают все ее мысли.

Иногда ее, как всех безупречно честных женщин, вдруг охватывало острое любопытство, и она пыталась понять, какими же дьявольскими чарами эти дщери Ваала обольщают мужчин, вытесняя из их помыслов мать, семью, родину, дела! Иногда ей даже хотелось повидать эту женщину, поговорить с нею, узнать ее ближе. Фанни старалась измерить разрушительную силу современного духа,— столь опасного для юношества, по словам священника,— понять, что угрожает ее единственному сыну, столь чистому и непорочному, что самая прекрасная девушка не могла сравниться с ним.

Каллист, этот блистательный отпрыск старинной бретонской семьи, в жилах которого текла и благородная ирландская кровь, воспитывался под неусыпным наблюдением матери. Баронесса была уверена, что до того дня, когда она передала Каллиста герандскому священнику, ни одно дурное слово, ни одна нечистая мысль не коснулись слуха и души ее мальчика. Мать, вскормившая грудью сына и, так сказать, дважды отдававшая ему свою кровь, вручила целомудренного, как девочка, Каллиста пастырю, а тот, глубоко почитая семейство дю Геников, обещал дать ему вполне христиан-

ское воспитание. Аббат Гримон передал Каллисту все познания, полученные им в семинарии. Баронесса обучила его английскому языку. Среди чиновников Сен-Назера не без труда подыскали учителя математики. Каллист остался в полном неведении касательно современной литературы, равно как прогресса и распространения современных знаний.

Его образование ограничилось изучением географии и истории в пределах, установленных для женских пансионов, он знал латынь и греческий язык в объеме курса семинарий, а также древнюю литературу и кое-какие избранные произведения французских писателей. На семнадцатом году, когда Каллист приступил к изучению того, что аббат Гримон называл философией, он был так же чист, как и в тот день, когда Фанни впервые привела его к священнику. Церковь стала ему второй матерью. Не будучи ни ханжой, ни маньяком, этот прекрасный юноша был ревностным католиком. Баронесса мечтала устроить своему невинному и прекрасному Каллисту счастливую, тихую и безбедную жизнь. Она надеялась получить от старой тетки наследство в две — три тысячи фунтов стерлингов, а может быть, и клочок земли. При таких средствах плюс состояние дю Геников Каллист мог найти себе жену, которая принесла бы ему двенадцать — пятнадцать тысяч ливров годового дохода. А будет ли это Шарлотта де Кергаруэт, которой старуха-тетка откажет свои капиталы, или состоятельная ирландка, или еще какая-нибудь богатая наследница, не все ли равно? — думала Фанни дю Геник; не познав любви в своей жизни, она, как и все ее окружавшие, видела в женитьбе лишь путь к благосостоянию. Страсть оставалась неведомой верующим людям прошлого века, все их помыслы устремлялись к богу, к королю, а главной их заботой было спасение души и приумножение достатков. Итак, не удивительно, что самые практические мысли жили бок о бок с материнской обидой, и сердце матери вмещало и заботу о материальном благополучии сына и безграничную к нему нежность. Если бы молодая чета вняла голосу мудрости, то новое поколение дю Геников, отказывая себе во всем, скопидомничая, как умеют скопидомничать только в провинции, могло бы выкупить земли и вернуть былое богатство. Баронесса надеялась

прожить достаточно долго, чтобы самой увидеть, как заря благосостояния забрезжит над дю Гениками. Девица дю Геник вполне одобряла планы своей невестки, которые нынче грозила разрушить мадемуазель де Туш. Пробило полночь, баронесса тоскливо вслушивалась в бой часов, и долго еще она томилась черными мыслями, ибо Каллист все не возвращался.

«Неужели он остался там? — думала она.— Этого никогда еще не было. Бедное, бедное мое дитя!»

В это время на затихшей улице гулко раздались шаги Каллиста. Баронесса, забыв свои недавние волнения, радостно бросилась в переднюю и отперла сыну.

— Как! Вы, маменька, еще не спите? — воскликнул огорченный Каллист.— Зачем же вы меня ждете? Ведь у меня есть ключ и огниво.

— Ты же знаешь, голубчик, что пока ты не вернешься, я не усну,— сказала она, целуя сына.

Вернувшись в залу, мать пристально посмотрела на Каллиста, стараясь угадать по выражению его лица, что происходило нынче вечером, но всякий раз при виде Каллиста ее охватывало огромное волнение,— годы и привычка тут были бессильны. Это чувство испытывает каждая мать, любуясь тем несравненным сокровищем, которое она сама произвела на свет и при виде которого всякий раз сладко замирает ее сердце.

От отца Каллист унаследовал только черные глаза, сверкавшие энергией, а прекрасные белокурые волосы, орлиный нос, рот очаровательного рисунка, тонкие пальцы и ослепительный цвет лица, белизна кожи и нежный вид достались ему от матери. И хотя Каллист напоминал переодетую в мужской наряд девушку, он обладал силой Геркулеса. Его мышцы были гибки и крепки, как стальная пружина, а выразительные глаза таили в себе какое-то очарование. Борода и усы у него еще не росли. Говорят, что эта запоздалая мужественность — примета долголетия. На юном бароне был недлинный черный бархатный сюртук из той же дорогой материи, что и платье Фанни, застегивающийся на крупные серебряные пуговицы; он носил голубой шейный платок, высокие изящные гетры и панталоны из светло-серого тика. Белоснежный лоб уже отражал, казалось, усталость, но это были лишь следы печальных

дум. Мать, неспособная понять тревоги, пожиравшие сердце Каллиста, решила, что эта тень, набегавшая на чело сына,— свидетельство пережитого счастья. Но даже и сейчас Каллист был прекрасен, как юный греческий бог, и в нем не чувствовалось ни капельки фатовства: во-первых, он привык видеть перед собой красавицу-мать, а кроме того, очень мало думал о своей красоте, так как считал, что она бесполезна.

«Неужели,— думала мать,— эти прелестные щеки столь чистых очертаний, неужели эта нежная кожа, под которой играет и переливается из жилки в жилку молодая и горячая кровь, неужели они принадлежат чужой женщине и ей покорилось это непорочное, девичье чело? Страсть замутит эту спокойную гладь и погасит блеск его влажных, чудесных, как у ребенка, глаз!»

Горькие думы, от которых сжималось сердце баронессы, отравили радость встречи с сыном. Людям положительным, умеющим считать чужие расходы и доходы, быть может, покажется странным, что семья из шести человек жила на годовой доход в три тысячи франков, а между тем сын носил бархатный сюртук, у матери было платье из бархата. Но у Фанни О'Бриен были в Лондоне богатые тетки и прочие родственники, которые время от времени, вместе с весточкой о себе, посылали ей в Бретань дорогие подарки. Сестры ее, вышедшие за состоятельных людей, живо интересовались судьбой Каллиста и подыскивали ему богатую невесту, так как знали, что он столь же прекрасен и благороден, как прекрасна и благородна его мать, их любимица, их изгнанница Фанни.

— Нынче ты еще позже вернулся из Туша, чем вчера,— произнесла наконец баронесса взволнованным голосом.

— Да, маменька,— ответил он.

Этот сухой и краткий ответ омрачил безмятежное чело баронессы, но она сочла благоразумным отложить объяснение до утра. Когда мать испытывает беспокойство, подобное тому, какое охватило в эти минуты баронессу, она дрожит в присутствии сына, она инстинктивно чувствует, что лишается своего детища, что его уводит от нее сила любви, но в то же время она испы-

тывает и радость при мысли, что сын ее счастлив: в сердце матери идет в такие минуты борьба. И хотя из этих испытаний сын выходит мужчиной, взрослеет, мужает, любящей матери всегда тяжело это первое отречение от своей власти: ей во сто крат милее ее дитя слабым и беззащитным. Быть может, именно поэтому матери особенно нежно любят болезненных, незадачливых, некрасивых детей.

— Ты устал, мой мальчик, иди ложись,— произнесла баронесса, с трудом удерживая слезы.

Когда мать не может уследить за поступками сына, ей кажется, что все погибло, особенно если она обожает свое дитя и горячо любима им. Возможно, всякая другая мать была бы взволнована не меньше, чем баронесса. Двадцать лет безропотных лишений могли пойти прахом. Ее сын, ее дорогой Каллист, это совершенство в образе человека, это чудо разумного, благородного и религиозного воспитания, стоял на краю пропасти, счастье всей ее жизни могла разрушить рука женщины.

На следующий день Каллист спал до полудня, так как баронесса запретила его будить; Мариотта подала завтрак своему любимчику в постель. Строго, как в монастыре, установленные часы завтраков и обедов нарушались только в угоду избалованному Каллисту. Всякий раз, когда требовалось выманить у девицы дю Геник связку ключей, чтобы добыть еды в неурочный час, приходилось вступать с суровой домоправительницей в долгие объяснения, но можно было без труда добиться успеха, сославшись на желание Каллиста. Около часа дня барон, его супруга и девица дю Геник собрались в зале, где они всегда проводили время до обеда, который подавали ровно в три. Баронесса снова взялась за «Котидьен» и начала читать вслух, так как перед обедом старик чувствовал себя несколько бодрее. Когда Фанни уже заканчивала чтение, наверху послышались шаги, она выронила газету и произнесла:

— Каллист, очевидно, сегодня опять обедает у де Туш. Слышите, он одевается!

— Ну и пусть идет, молодому человеку надо развлекаться,— возразила Зефирина и, нащупав свой серебряный свисток, свистнула один раз.

Появилась Мариотта и стала в дверях, ведущих в

залу и задрапированных такой же шелковой тканью, как и окна.

— Звали меня, мадемуазель? — спросила она.

— Кавалер не обедает сегодня дома, рыбы не готовить.

— Ведь мы этого, наверное, еще не знаем,— ответила прекрасная ирландка.

— Вы, кажется, сердитесь, сестрица? Я слышу это по вашему голосу,— сказала слепая.

— Господин Гримон сообщил мне вчера очень серьезные вещи насчет мадемуазель де Туш, да мы и сами видим, что она за год совершенно изменила нашего Каллиста.

— А в чем именно? — осведомился барон.

— Да он теперь читает разные книги.

— Ах, так! Вот почему он забросил охоту и лошадей.

— Она предосудительного поведения и, кроме того, носит мужское имя.

— Это просто кличка,— пояснил старик.— Я тоже во время войны назывался «Ответчик», графа де Фонтэна звали у нас «Большим Жаком», а маркиза де Монторана — «Молодцом». У меня был друг «Фердинанд», тоже не подчинявшийся новой власти. Право, славное было времечко! Мы воевали, а в свободное время развлекались, как могли.

Видя, что старик, увлеченный воспоминаниями о былых своих подвигах, позабыл родительскую тревогу, Фанни огорчилась. Внушение священника, сдержанность и скрытность сына лишили ее сна.

— Ну и что тут такого, что кавалер влюбится в мадемуазель де Туш? Беда не велика,— вмешалась Мариотта.— У нее, у негодяйки, тридцать тысяч экю годового дохода, да и собой она еще красивая.

— Что ты говоришь, Мариотта? — воскликнул старик.— Чтобы дю Геник женился на какой-то де Туш! Ведь де Туш не были даже нашими оруженосцами в те времена, когда сами дю Геклены считали за великую честь породниться с нами.

— К тому же эта девушка носит мужское имя, она зовется Камиллом Мопен,— добавила баронесса.

— Что ж, Мопены старинного рода,— заявил старик,— они из Нормандии, герб у них пурпурный, трех-

частный... (Он помолчал.) Но ведь не может же она быть в одно и то же время и де Туш и Мопен!

— Ее в театре называют Мопен.

— Никогда де Туш не станет комедианткой,— продолжал старик.— Если б я не знал вас, Фанни, я решил бы, что вы, чего доброго, не в себе.

— Ну, она пишет пьесы, книги,— пояснила баронесса.

— Как так «пишет»? — переспросил старик, глядя на жену с таким удивлением, будто она сообщила ему невесть какое чудо.— Я, правда, слышал, что мадемуазель Скюдери и мадам де Севинье что-то писали, и, говорят, это лучшее, что они сделали в своей жизни. Да мало ли какие несуразности творились при дворе Людовика Четырнадцатого!

— Вы нынче в Туше обедаете, сударь? — спросила служанка Каллиста, который в эту минуту показался в дверях.

— Возможно,— коротко ответил тот.

Мариотта не отличалась любопытством, и, кроме того, она была членом семьи; поэтому она вышла из комнаты, не интересуясь продолжением разговора, и не слыхала вопроса, с которым г-жа дю Геник обратилась к Каллисту:

— Значит, ты опять обедаешь в Туше, мой сын? — Баронесса сделала многозначительное ударение на слове «мой».— Но ведь этот дом — непотребное, нехорошее место. Его хозяйка ведет беспутную жизнь, она испортит нам нашего Каллиста. Камилл Мопен дает тебе всякие книги, у нее в жизни было бог весть сколько приключений. И ты все это отлично знаешь сам, скверный мальчик, но ни словом не обмолвился своим старым родителям.

— Каллист молчалив, как и подобает рыцарю,— сказал отец.— Он верен старым правилам.

— Уж слишком верен! — ревниво воскликнула ирландка, видя, что бледное лицо ее любимого сына вдруг зарделось.

— Маменька, дорогая моя маменька,— промолвил Каллист, опускаясь на колени перед баронессой,— к чему разглашать свои неудачи? Мадемуазель де Туш, или, если вам угодно, Камилл Мопен, отвергла мою лю-

бовь еще полтора года назад, во время своего последнего пребывания в наших краях. Она даже подтрунивала тогда надо мной: «Я вам в матери гожусь»,— говорила она.— Сорокалетняя женщина, влюбившись в юнца, совершает, по ее словам, просто преступление, и она на это не способна. Она осыпала меня шутками, язвительными шутками, ибо она умна, как ангел. Когда же она заметила на моих глазах слезы, она стала утешать меня; у нее благороднейшее сердце, и она предложила мне свою дружбу. Она так же великодушна, как и талантлива; она такая же добрая, как и вы, маменька. Она относится ко мне, как к ребенку. Теперь, когда она снова приехала в Туш, я узнал, что она любит другого, и я смирился. Молю вас, не повторяйте той клеветы, которая распространяется здесь в Геранде на ее счет: Камилл Мопен — художник, она талант, и она живет особой жизнью, о ней нельзя судить, как о всех смертных.

— Дитя мое,— возразила благочестивая Фанни,— ничто на свете не может освободить женщину от тех обязанностей, которые налагает на нее святая церковь. Она пренебрегает своим долгом перед богом, перед людьми, ибо отрекается от тех смиренных обязанностей, которые положены ее полу. Женщина, посещающая театр, уже совершает грех. Но писать безбожные вещи, которые повторяют со сцены актеры, разъезжать по всему свету то с заклятым врагом папы, то с каким-то музыкантом,— нет, Каллист, ты не убедишь меня, что эти поступки есть деяния веры, надежды или милосердия. Ее состояние дано ей, чтобы делать добро, а скажи, какое употребление находит она своим деньгам?

Каллист вдруг поднялся с колен, взглянул на мать и произнес:

— Маменька, Камилл Мопен — мой друг; я не могу слышать подобных вещей. Я готов отдать за нее жизнь!

— Отдать жизнь? — повторила баронесса, испуганно глядя на сына.— Но ведь твоя жизнь — это наша жизнь.

— Мой прекрасный племянник наговорил здесь столько, что мне и не понять,— тихо произнесла слепая Зефирина, поворачиваясь к Каллисту.

— А где он научился всему этому? — сказала баронесса.— У мадемуазель де Туш!

— Но, милая маменька, она находит, что я невежествен, как дикарь.

— Ты знаешь достаточно, раз ты усвоил обязанности, которые предписывает нам религия,— ответила баронесса.— Ах, эта женщина разрушит твои благородные и светлые верования!

Старая девица вдруг поднялась с места и торжественно протянула руку к брату, который в продолжение всего разговора мирно дремал в креслах.

— Каллист,— произнесла она голосом, идущим из глубины сердца,— твой отец никогда не открывал ни одной книжки, он говорит по-бретонски, но он рисковал жизнью, сражаясь за короля и бога. А образованные люди совершали дурные поступки, и ученые дворяне покинули свою родину. Вот она, наука!

И, усевшись на место, старуха снова взялась за вязанье; спицы быстро-быстро заходили в морщинистых руках, выдавая ее волнение. Каллист был потрясен словами этой пифии.

— Словом, мой ангел, я предчувствую, что тебя в том доме ждет беда,— сказала мать. Голос ее дрожал, по щекам катились крупные слезы.

— Отчего плачет моя Фанни? — воскликнул барон, которого разбудил голос жены.

И он обвел взглядом плачущую жену, сестру и сына.

— Что случилось?

— Ничего, друг мой,— ответила баронесса.

— Маменька,— тихо прошептал Каллист на ухо матери,— сейчас я не могу объяснить вам всего, но нынче вечером мы поговорим. Когда вы узнаете всю правду, вы первая будете благословлять мадемуазель де Туш.

— Нет такой матери, которая прокляла бы женщину, любящую ее сына,— ответила баронесса.— Как могу я проклинать ту, что любит моего Каллиста?

Юноша попрощался с отцом и вышел из комнаты. Барон и его супруга поднялись с места, подошли к окну и проводили взглядом сына, который пересек двор, открыл калитку и исчез из виду. Баронесса не возобновила чтения, она была слишком взволнована. В их мир-

ной, безмятежной жизни даже такой короткий спор был равносилен бурной семейной ссоре. И хотя слова Каллиста несколько успокоили баронессу, тревога ее не совсем улеглась. «Куда заведет сына эта дружба, не потребует ли она в самом деле его жизни, не погубит ли его? Почему и за что я должна благословлять мадемуазель де Туш?» Эти вопросы для неискушенной души баронессы дю Геник были столь же сложны, как для дипломата опасность самой грозной революции. Камилл Мопен внесла революцию в их тихий и мирный дом.

— Боюсь, как бы эта женщина не испортила нам нашего Каллиста,— произнесла баронесса, берясь за газету.

— Дорогая моя Фанни,— игриво ответил барон,— вы — ангел и посему не можете разбираться в подобных вопросах. Если верить слухам, мадемуазель де Туш черна, как галка, здорова, как турок, ей сорок лет, вот наш Каллист и адресовался к ней. Что же тут худого, если наш Каллист и прибегнет к невинной лжи, желая скрыть свое счастье? Оставьте его в покое, пусть тешится своими первыми мужскими хитростями.

— Хоть бы это была какая-нибудь другая женщина...

— Но, дорогая моя Фанни, если бы эта женщина была святой, она не стала бы принимать нашего сына.

Баронесса развернула газету и приготовилась читать.

— Я сам поеду к ней,— заявил старик,— и дам вам полный отчет об этой особе и о ее поведении.

Чтобы понять всю прелесть этого замечания, вспомните, кем был барон и кем была Камилл Мопен, и представьте себе схватку престарелого барона с этой прославленной женщиной.

В течение двух месяцев вся Геранда, видя, как ее гордость, ее цвет — Каллист дю Геник то вечером, то утром, а чаще всего и утром и вечером шагает по направлению к Тушу, не сомневалась, что мадемуазель Фелисите де Туш безумно влюблена в этого красавца и что на нем она испытывает свои чары. Не одна юная девица, не одна молодая дама безуспешно старалась понять, каким же волшебством старая женщина могла покорить своей властью их ангела. Итак, когда Каллист

шел по Главной улице, направляясь к Круазикским воротам, немало женских глаз украдкой следило за ним.

Здесь мы должны разъяснить ходившие по городу слухи относительно той особы, к которой направлялся сейчас Каллист. Эти слухи, удесятеренные бретонскими сплетниками, раздутые невежеством герандцев, дошли до священника. Сборщик налогов, мировой судья, директор сен-назерской таможни и прочие просвещенные особы Геранды и ее окрестностей лишь усилили тревогу аббата Гримона, рассказав ему о странной жизни женщины-писателя, укрывшейся под мужским именем— Камилл Мопен. Правда, она, благодарение богу, не пожирала маленьких детей; не убивала рабов на манер Клеопатры; по ее повелению мужчин не сбрасывали с утеса в реку, в чем совершенно несправедливо упрекали героиню «Нельской башни»,— но в глазах аббата Гримона это ужасное создание, слывшее сиреной и безбожницей, являло страшное и безнравственное сочетание женщины и философа и разрушало все социальные законы, изобретенные для того, чтобы держать в повиновении представительниц прекрасного пола или обращать на пользу их слабости и несовершенства.

Подобно тому, как женское имя Клара Гасуль было псевдонимом мужчины великого ума, а мужское имя Жорж Санд — псевдоним женщины великого таланта, под именем Камилла Мопена долгое время скрывалась очаровательная девушка хорошего рода, бретонка по происхождению, звавшаяся Фелисите де Туш, женщина, которая причинила столько страданий баронессе дю Геник и столько беспокойства герандскому священнику. Семейство де Туш не имело ничего общего с де Тушами из Турени, от которых происходил посланник Регента, прославившийся более своим литературным именем, нежели дипломатическими талантами. Камилл Мопен — псевдоним одной из наиболее знаменитых женщин XIX века — долгое время считался реально существующим автором, столь мужественны были по духу первые его произведения. Ныне все знают два сборника пьес, не рассчитанных на сценическое воплощение, хоть и написанных в манере Шекспира или Лопе де Вега; они вышли в свет в 1822 году и произвели своего рода революцию в литературе, ибо как раз в тот момент

все газеты, все литературные кружки и даже сама Академия страстно обсуждали великую проблему романтизма и классицизма. С тех пор Камилл Мопен написала еще несколько пьес и опубликовала роман, которые поддержали славу ее первых произведений, ныне не совсем заслуженно забытых. Благодаря стечению каких обстоятельств произошло перевоплощение юной девушки, каким образом Фелисите де Туш стала мужчиной и писателем, почему, более счастливая, чем г-жа де Сталь, она сохранила свою свободу (а это заставляло снисходительней отнестись к ее славе),— объяснить все это нужно хотя бы для того, чтобы удовлетворить законное любопытство толпы в отношении к целой плеяде прославленных женщин, которые выделяются как некое исключительное, почти противоестественное и вместе с тем величественное явление в истории человечества, ибо в течение двадцати веков вы не насчитаете и двадцати великих женщин. И хотя мадемуазель де Туш является второстепенным действующим лицом в этой повести, ее огромное влияние на Каллиста и та роль, которую она играет в истории литературы нашего времени, позволяют нам остановиться на этой особе несколько дольше, чем того требуют законы современной поэтики.

Мадемуазель Фелисите де Туш осталась сиротой в 1793 году. Таким образом ее владения избежали конфискации, что непременно произошло бы, останься в живых ее отец и брат. Но отец Фелисите погиб десятого августа,— он был убит у входа во дворец вместе с другими защитниками короля, при котором состоял в чине начальника дворцовой охраны. Ее юный брат, служивший в лейб-гвардии, был убит в Кармелитском монастыре. Фелисите де Туш исполнилось два года, когда ее мать, не выдержав второго удара — смерти сына, угасла в несколько дней. Умирая, г-жа де Туш поручила дочку своей сестре, монахине Шельского монастыря. Монахиня, г-жа де Фокомб, из осторожности перевезла малютку в Фокомб, большое поместье, расположенное неподалеку от Нанта и принадлежавшее покойной г-же де Туш. Здесь тетка поселилась с малюткой-племянницей и тремя монахинями своего монастыря. В последние дни террора замок был разрушен, а монахинь заключили

в тюрьму по навету людей, утверждавших, что они принимали у себя эмиссаров Питта и Кобурга; вместе с ними была взята и мадемуазель де Туш. После девятого термидора их выпустили. Тетка Фелисите умерла от испуга, две монахини покинули пределы Франции, за ними последовала и третья, поручив девочку попечению самого близкого теперь ее родственника, двоюродного деда с материнской стороны, г-на де Фокомба из Нанта. Г-н де Фокомб, в ту пору шестидесятилетний старик, женился на молодой женщине и передал ей бразды правления. Сам он занимался только археологией, которая стала его страстью или, вернее, манией,— такие мании поддерживают в стариках иллюзию жизни. Воспитание малютки было предоставлено случаю. Молодая жена старика Фокомба, следуя нравам Империи, занята была только развлечениями. Девочка росла, как мальчик, без присмотра; она целые дни проводила вместе с дедом в его библиотеке и читала все, что попадалось под руку. Таким образом, она познала жизнь в теории, но, утратив невинность мысли, оставалась чистой. Ее ум погрузился в запретные для девушки сферы науки, а сердце оставалось нетронутым. Знания Фелисите были поразительно обширны, ею двигала страсть к чтению, а прекрасная память помогала усваивать прочитанное. В восемнадцать лет она обладала такими познаниями, которые не мешало бы приобрести нашим теперешним молодым писателям, прежде чем браться за перо. Невероятная начитанность Фелисите гораздо надежнее сдерживала ее страсти, чем жизнь в монастыре, разжигающая воображение девушек. Ее моэг, начиненный знаниями, которых он не мог ни переварить, ни систематизировать, господствовал над ее полудетским сердцем. Этот любопытный случай умственной порчи, которая не коснулась целомудрия, удивил бы философа или опытного наблюдателя, если бы только во всем Нанте нашелся хоть один человек, способный оценить достоинства мадемуазель де Туш. Но результат был самый неожиданный: Фелисите не имела ни малейшей склонности ко злу, все постигала умом и воздерживалась от дурных поступков; она очаровала старика деда и помогала ему в его научных. изысканиях; она написала три работы за этого благодушного

дворянина, который охотно счел их своими собственными, ибо авторское тщеславие так же слепо, как и любовь. Усиленные занятия, мешавшие развитию юного организма, оказали свое действие: Фелисите слегла в постель. Ее кровь воспламенилась, опасались грудной болезни. Врачи прописали больной ездить верхом и вести более рассеянный образ жизни. Мадемуазель де Туш стала превосходной наездницей и через два — три месяца была совершенно здорова. В восемнадцать лет тетка вывезла ее впервые в свет, и Фелисите имела такой головокружительный успех, что в Нанте ее не называли иначе, как прекрасной барышней де Туш; но восхищение мужчин оставляло ее холодной. Причина ее увлечения светскою жизнью крылась в тщеславии, от которого не свободны даже самые незаурядные женщины. Задетая насмешками тетки и двоюродных сестер, трунивших над ее ученостью и намекавших на то, что она сторонится поклонников просто потому, что не умеет нравиться мужчинам, Фелисите решила быть кокетливой и легкомысленной, словом, стать настоящей женщиной. Она рассчитывала встретить людей, с которыми возможен обмен мыслей и чувств, надеялась даже, что соблазны будут хотя бы достойны ее высоких умственных качеств, ее обширных знаний; а ей приходилось с отвращением выслушивать общие места и пошлые комплименты; особенно же ее коробило самодовольство и высокомерие военных, которые в ту пору были властителями дум и сердец. Естественно, что в детстве она пренебрегла изучением салонных искусств и теперь живо почувствовала пробелы своего воспитания, видя, как великосветские куклы бойко бренчат на фортепьяно и мило распевают романсы. Она тоже решила стать музыкантшей, снова удалилась от света и начала упорно заниматься музыкой у лучшего в Нанте учителя. Фелисите была богата и, к великому удивлению своих сограждан, выписала самого Стейбельта. До сих пор в Нанте говорят об этой «безумной прихоти». Пребывание прославленного немецкого маэстро в Нанте и его уроки обошлись мадемуазель де Туш в двенадцать тысяч франков. Зато она стала прекрасной музыкантшей. Позже в Париже она изучала гармонию, контрапункт и написала две оперы, которые имели шумный

успех, хотя публика так и не узнала имени автора. Считалось, что эти оперы создал Конти, один из выдающихся композиторов нашего времени; но это обстоятельство относится уже к области сердечных дел Фелисите и будет разъяснено в свое время и на своем месте. Посредственность провинциального общества до того опостылела ей, в ее воображении теснились такие грандиозные идеи и замыслы, что она бежала из нантских салонов, промелькнув в них как метеор, затмив всех женщин блеском своей красоты, а всех салонных музыкантш прелестью своей игры и очаровав всех умных людей. Но, доказав силу своих женских чар двум кузинам и разбив сердца двум воздыхателям, Фелисите вновь взялась за книги, за Бетховена, за археологические изыскания вместе со стариком Фокомбом. В 1812 году, когда ей минул двадцать один год, старый археолог сложил с себя опекунские обязанности и дал полный отчет по опеке; с этого времени она стала самостоятельно распоряжаться своими капиталами, состоявшими из пятнадцати тысяч ливров годового дохода от отцовского имения Туш, из двенадцати тысяч франков, которые приносили земли де Фокомбов (доход с этих земель возрос на одну треть при возобновлении аренды), и из трехсот тысяч франков, нажитых для нее опекуном. Провинциальная жизнь научила Фелисите только одному, а именно: ценить богатство и вести дела, что восполняет состоятельным провинциалам утечку их капиталов в столицу. Она вынула триста тысяч франков из банка, куда поместил их старый археолог, и вложила в государственную ренту как раз во время разгрома Наполеона и его отступления из Москвы. Таким образом, годового дохода у нее стало на тридцать тысяч ливров больше. За вычетом всех расходов у Фелисите оставалось пятьдесят тысяч свободных денег, которые можно было пустить в оборот. Девушка двадцати одного года, обладающая такой силой воли, стоит любого тридцатилетнего мужчины. Ее ум развился до чрезвычайности, а ее критическое чувство помогало ей здраво судить о людях, об искусстве, делах и политике. Она решила было покинуть Нант, но тут старика Фокомба сразил смертельный недуг. Фелисите стала для деда как бы преданной супругой, она ухаживала за ним в течение по-

лутора лет, как самая заботливая сиделка, и закрыла ему глаза в тот момент, когда Наполеон воевал со всей Европой на трупе Франции. Она отложила свой переезд в Париж до окончания войны. Будучи роялисткой, она торопилась попасть в столицу, чтобы присутствовать при возвращении Бурбонов. В Париже она поселилась у Гранлье, с которыми состояла в отдаленном родстве, но разыгрались события двадцатого марта, и снова почва ушла у нее из-под ног. Фелисите стала свидетельницей последней драмы Империи и восхищалась войсками, когда они, проходя по Марсову полю, как римские гладиаторы по арене цирка, приветствовали цезаря, перед тем как сложить головы под Ватерлоо. Это зрелище поразило благородную душу Фелисите. Политические бури, вернее, та феерия, которая вошла в историю под именем «Ста дней», захватили ее и уберегли от всех страстей, когда эти потрясения обрушились на роялистскую среду, где Фелисите начала свою парижскую жизнь. Семейство Гранлье последовало за Бурбонами в Гент и предоставило свой особняк в распоряжение мадемуазель де Туш. Однако Фелисите, не желая жить на положении провинциальной кузины у знатных родственников, купила за сто тридцать тысяч франков великолепный особняк на улице Монблан. Один его сад оценивается нынче в два миллиона. Здесь она и жила в 1815 году, когда Бурбоны возвратились во Францию. Привыкнув с детства к полной свободе и самостоятельности, Фелисите прекрасно справлялась со всеми делами, которые издавна почитаются мужскими. В 1816 году ей исполнилось двадцать пять лет. Она не могла представить себе супружеской жизни и лишь в мыслях допускала возможность вступить в брак; раздумывая о браке, она видела только побуждающие причины, а не следствия и подчеркивала его темные стороны. Ее исключительный ум не мог примириться с тем, что женщина, выходя замуж, вынуждена отказаться от всех своих прав; она слишком живо чувствовала цену независимости, а материнские заботы казались ей скучными. Мы говорим обо всех этих вещах, чтобы объяснить непонятные черты характера Камилла Мопена. Фелисите не помнила ни отца, ни матери. Она сама с детских лет была полной хозяйкой своей судьбы, опекуном ее ока-

зался старый археолог, случай бросил ее в царство науки и воображения, в литературный мир, вместо того чтобы ограничить ее обычным кругом поверхностного воспитания, которое у нас дается девушкам,— то есть материнскими наставлениями касательно туалетов, лицемерных приличий и великого искусства охотиться за женихами. Еще задолго до того, как мадемуазель де Туш стала знаменитостью, легко было угадать, что она никогда в жизни не играла в куклы. К концу 1817 года Фелисите вдруг заметила, что она не то что поблекла, но что в ее лице проглядывает усталость. Она поняла, что, упорно отказываясь от брака, рискует потерять красоту, а она хотела быть прекрасной, ибо в те годы дорожила своей внешностью. Изучение наук открыло ей, что природа равно мстит как тем своим чадам, которые пренебрегают ее законами, так и тем, которые, следуя им, нарушают меру. Вспоминая иссохшее лицо своей тетки-монахини, она вздрагивала от ужаса. Если уж выбирать между браком и свободной страстью, лучше сохранить свободу, думала Фелисите и на всякий случай перестала пренебрегать окружающим ее поклонением. К тому моменту, с которого начинается наш рассказ, Фелисите почти не изменилась, хотя с 1817 года прошло восемнадцать лет. В сорок лет она казалась двадцатипятилетней. Поэтому ее портреты 1836 и 1817 годов удивительно походят друг на друга. Представительницы прекрасного пола, знающие, сколь трудно защитить женщине свои чувства и красоту от руки времени, поймут, как достигла этого Фелисите де Туш, когда вглядятся в ее портрет, для которого мы не пожалели ни самой богатой рамы, ни самых ярких красок.

Странно, но в Бретани, находящейся в столь близком соседстве с Англией и столь сходной с ней климатическими условиями, преобладают темные волосы, темные глаза и смуглый цвет лица. От чего это зависит? От такого важного фактора, как национальность, или тут играет роль какое-либо природное, еще не изученное воздействие? Быть может, когда-нибудь позже ученые дознаются о причинах этого неразгаданного явления, которое не распространяется уже на соседнюю с Бретанью провинцию, а именно на Нормандию. Но так

или иначе, мы являемся свидетелями причудливой игры природы: белокурые женщины—величайшая редкость среди бретонок; у всех уроженок Бретани живой, как у южанок, взгляд, но они не обладают змеиной гибкостью итальянок или испанок; бретонки по большей части невысоки, плотно сбиты, но ладно скроены,— исключение составляют представительницы высших классов, где скрещивается несколько аристократических линий. Как истая дочь Бретани, мадемуазель де Туш была среднего роста — футов около пяти, но производила впечатление высокой, что объяснялось осанкой Фелисите, придававшей ей роста. При дневном свете лицо ее имело смугло-оливковый оттенок, а при свечах казалось бледным,— отличительная черта итальянской красоты; вы сравнили бы цвет ее кожи со слоновой костью, в которую вдохнули жизнь; солнечный луч скользил по коже Фелисите, как по гладкой поверхности зеркала, и зажигал ее своим блеском; только глубокое волнение вызывало на щеках два слабых розовых пятна, которые тут же исчезали. Эта особенность придавала ее чертам какую-то дикарскую невозмутимость. Лицо у нее было слегка удлиненное, не овальное, и напоминало изображение прекрасной Изиды на египетских барельефах. Вам невольно вспомнилась бы также голова сфинкса, отполированная огненным дыханием пустыни, обласканная жгучим полуденным солнцем. Итак, цвет лица был в полной гармонии с правильностью черт. Черные и густые волосы косами спускались на шею, как двойная повязка, украшающая мемфисские статуи, и превосходно оттеняли ее строгие линии. Лоб был открытый, широкий, выпуклый у висков, той же формы, что у Дианы-охотницы, мощный и волевой лоб, спокойное и невозмутимое чело, на блестящей глади которого играл дневной свет. Резко очерченные брови крутыми дугами лежали над черными глазами, которые порою мерцали, как звезды. Глазной белок не отливал голубизной, не поражал ослепительной белизной; его не прорезала сетка красных прожилок,— он был плотен, как рог, и светился теплым блеском. Зрачок был обведен золотистой каймой; он напоминал бронзу, оправленную в золото, но золото было живое, а бронза дышала. В этих глубоких глазах не было того холодного, зер-

кального отражения света, которое придает глазам человека кошачье или тигриное выражение; они не отпугивали людей впечатлительных странной неподвижностью, но в них таилась бесконечность более притягательная, чем властность хищного взора. Взгляд человека наблюдательного мог потонуть в этой душе, которая проливалась из бархатных глаз, то застывая в их взгляде, то вдруг покидая его. В минуты страстного волнения взгляд Камилла Мопена становился небесным: золото зажигало легкую желтизну белка, и взгляд пылал, как факел; но в спокойные минуты он тускнел, в часы глубокого раздумья мог показаться даже глуповатым; когда потухала душа, лицо становилось печальным. Ресницы у Фелисите были короткие, но густые и черные, как хвост горностая. Темные веки с тончайшими красными прожилками придавали ее лицу и грацию и силу — два качества, столь редко сочетающиеся в женщине. Кожа вокруг глаз была гладкой, без единой морщинки. И здесь тоже вы сравнили бы ее с гранитом древних египетских статуй. Однако скулы, хотя и нежных очертаний, выступали сильнее, чем обычно выступают они у женщин, и довершали впечатление силы, которую выражало лицо Фелисите. Резко очерченные, страстно раздувавшиеся ноздри позволяли видеть их нежную, розовую, как раковина, глубину. Лоб изящно переходил в линию прямого носа тонкой лепки и ослепительно белого от переносицы до самого кончика,— этот милый кончик забавно шевелился, когда Фелисите негодовала, гневалась или возмущалась. Именно к кончику носа советовал присматриваться Тальма тем, кто наблюдает, как зарождается на лице гения гнев или насмешка. Неподвижные ноздри отличают черствую натуру. Ноздри скупца сводит та же судорога, которой сжаты его губы, так что все лицо его кажется наглухо замкнутым. Изогнутые, как полукружье лука, яркие губы Фелисите, к которым живым пурпуром приливала кровь, складывались в прелестную, задумчивую улыбку, и самый робкий поклонник, отпугнутый величественной важностью лица, не мог отвести глаз от этого рта. Верхняя губа была тонкая, бороздка, идущая от носа, глубоко врезалась в нее, что придавало лицу какое-то высокомерное выражение. Фелисите не требо-

валось хмурить бровей, чтобы выразить свой гнев. Красивая верхняя губка едва касалась припухлой нижней губы, которая говорила о доброте и любви; казалось, из-под резца самого Фидия вышел этот ярко-красный, как половинка сочного граната, рот. Подбородок сильно выдавался; пожалуй, он был несколько тяжел, но выражал решимость и прекрасно довершал этот профиль богини. Заметим, что верхняя губа была покрыта легким прелестным пушком. Природа совершила бы непростительный промах, забудь она затенить губы этой сладостной дымкой. Извилины ушных раковин были мягких очертаний, что указывало на скрытую нежность характера. Торс у Фелисите был широкий, грудь невысокая, но пышная, а бедра узкие и изящные. Великолепный изгиб спины и талии скорее напоминал Бахуса, чем Венеру Каллипигийскую. Именно это отличает знаменитых женщин от прочих представительниц их пола, и именно этим они отчасти схожи с мужчинами: нет у них тех широких могучих бедер, какими природа одаряет женщину-мать; их походка не напоминает плавную дамскую поступь. Впрочем, наблюдение это, так сказать, обоюдоострое, ибо мужчины хитрые, коварные, фальшивые и трусы как раз напоминают линией бедер женщин. Шея Фелисите переходила в плечи ровно, как колонна, даже без ямки у затылка,— явственный признак силы. Иногда на этой шее проступали мышцы, великолепные, как у атлета. Разворот плеч и предплечие были бы под стать великанше. И так же мощно вылепленные руки оканчивались прелестной чисто английской кистью, пухлой, маленькой, в ямочках, а красивые выпуклые миндалевидные ногти с ярко-белыми лунками свидетельствовали, что это округлое, упругое, складное тело окрашено совсем иначе, чем лицо. Холодное и замкнутое выражение лица смягчал подвижной рот, то и дело менявший выражение, а ноздри трепетали, выдавая художественную натуру. Но вопреки этим волнующим и сулящим блаженство приметам, впрочем, понятным только посвященному, на лице лежала печать какого-то вызывающего спокойствия. Грусть, рожденная постоянными размышлениями, доброта, а еще более меланхолия и серьезность — вот что читалось на этом лице. Мадемуазель де Туш чаще слушала, чем го-

ворила. Это молчание смущало, особенно когда она вперяла в собеседника остановившийся глубокий взгляд. При виде Фелисите любой образованный человек сравнил бы ее с Клеопатрой, с этой черноволосой маленькой женщиной, чуть было ие изменившей лицо мира; но в Камилле плотское начало было столь властно выражено, столь совершенно, исполнено такого львиного благородства, что мужчина несколько турецкого склада характера, желая видеть в ней женщину, и только женщину, пожалел бы, что в этом роскошном теле живет высокий ум. Каждый содрогается, когда ему приходится повстречаться с дьявольски-причудливой человеческой душой. Быть может, страсти Фелисите были разъяты холодным анализом и ясностью мысли? Быть может, она рассуждала, вместо того чтобы чувствовать? Или, что еще страшнее, уж не чувствовала ли она и рассуждала одновременно? Постигая все умом, не переходит ли она той грани, перед которой останавливаются другие женщины? Сохранилось ли в ней при этой силе интеллекта слабое женское сердце? Да и была ли в ней женственность? Снисходила ли она до тех трогательных пустячков, которыми женщина развлекает, занимает, очаровывает любимого человека? Не разрушала ли она своей рукою чувство, требуя, чтобы оно вмещало в себя ту бездну, которую она умела охватить внутренним оком? Что могло бы заполнить бездну ее собственного взора? В ней чувствовалось что-то девственное, непокорное. Пусть сильная женщина останется для нас только символом; как реальное существо, она отпугивает! Камилл Мопен была отчасти живым воплощением шиллеровской Изиды: скрытая от нечестивых глаз, высится она в глубине храма; у ног богини жрецы находят на заре трупы смельчаков, посмевших вопрошать о своей судьбе. Некоторую загадочность облика Камилла Мопена поддерживала молва, приписывавшая ей множество любовных похождений. Фелисите не опровергала россказней. Кто знает, может быть, эта клевета была ей по душе? Даже самый характер ее красоты способствовал такой репутации, так же как ее состояние и положение выдвинули ее в обществе. Если бы скульптор решил изваять статую Бретани, он не иашел бы лучшей модели, чем мадемуазель де Туш. Этот сангвинический, желчный темперамент как нельзя на-

дежнее противостоял действию времени. Природа дала женщинам только одно-единственное оружие, которое защищает их от морщин,— а именно как бы покрытую глазурью кожу, непрерывно питаемую внутренними соками. Впрочем, хозяйку Туша уберегла от преждевременных примет старости неподвижность ее лица.

В 1817 году эта очаровательная девушка открыла двери своего дома артистам, знаменитым писателям, ученым, известным журналистам,— ее тянуло к этой среде. В ее салоне, как и у барона Жерара, бывали аристократы, знаменитости, прославленные парижские красавицы. Создать в Париже свой собственный круг — дело нелегкое, и если Фелисите удалось добиться успеха, то в этом ей помогли ее родня и богатство, которое еще возросло после смерти тетки-монахини, отказавшей племяннице все свое состояние. Независимость мадемуазель де Туш была не последней причиной ее успеха. Не одна маменька питала в глубине сердца честолюбивый замысел соединить Фелисите узами брака со своим детищем, счастливым обладателем пышного герба и куда менее завидного состояния. Не один пэр Франции, прельщенный годовым доходом в восемьдесят тысяч ливров, приводил в салон мадемуазель де Туш своих несговорчивых и чванливых тетушек. Дипломаты, которые всегда и везде ищут развлечений, охотно посещали дом Фелисите. Перед мадемуазель де Туш, ставшей центром стольких чаяний и вожделений, разыгрывались многообразные комедии, где заглавные роли выполняли баловни нашего общества, вдохновленные страстью, алчностью или честолюбием. Фелисите увидела вскоре свет таким, каков он есть, и радовалась, что ее не захватила слишком рано та всепоглощающая любовь, которая оттесняет на задний план ум, способности и мешает здравым суждениям. Обычно женщина сначала живет чувством, затем наслаждениями и, наконец, рассудком: таким образом, в жизни женщины существуют как бы три различные эпохи, последняя из которых обычно совпадает с печальной порой увядания. Но мадемуазель де Туш нарушила этот незыблемый порядок. Ее юность была укрыта снегом науки и одета льдом размышлений. Этот обратный ход и объясняет некоторые странности ее поведения и характер ее та-

ланта. Она наблюдала многих мужчин, будучи в том нежном возрасте, когда юная дева видит перед собой только одного — своего избранника. Она презирала то, что восхищало других; под льстивыми словами, которым верили ее подруги, она чувствовала ложь, она смеялась над тем, к чему они прислушивались. Это отклонение длилось долгое время, и закончилось оно трагически: ей довелось испытать чувство первой любви во всей его свежести тогда, когда сама природа вынуждает женщину смирять свое сердце. Первая ее связь сохранялась в такой тайне, что никто о ней ничего не знал. Фелисите, как и все женщины, доверилась голосу сердца, по телесной красоте судила о красоте души и влюбилась в прекрасную внешность, но вскоре познала она всю глупость обольстителя, который видел в ней только женщину. Ей потребовалось немало времени, чтобы оправиться от горечи отвращения, которую оставила в ней эта безрассудная связь. Ее печаль разгадал один человек и стал утешать ее без всякой задней мысли, или, во всяком случае, умело скрывая свои замыслы. Фелисите решила, что здесь она наконец нашла благородное сердце и ум, которых так недоставало ее красавцу. Человек, о котором идет здесь речь, был одним из самых своеобразных умов того времени. Он тоже писал под псевдонимом и в первых же своих произведениях показал себя страстным поклонником Италии. Фелисите решила путешествовать, чтобы пополнить единственный пробел в своем образовании. Новый друг Фелисите, скептик и насмешник, повез ее в классическую страну искусства. В сущности, этот знаменитый незнакомец был учителем и создателем Камилла Мопена. Он помог ей привести в порядок ее огромные знания, развил их изучением шедевров, которыми так богата Италия; это от него она переняла искусный и тонкий, насмешливый и глубокий стиль — характерную особенность его таланта, несколько необычного по форме выражения,— зато мягкостью чувства и обычной у женщин изобретательностью Камилл Мопен была обязана только самой себе; это он привил ей вкус к немецкой и английской литературе и научил ее во время их путешествия этим двум языкам. В Риме в 1820 году он бросил мадемуазель де Туш для прекрасной итал-

янки. Не испытай Фелисите такого удара, кто знает— сумела ли бы она прославиться? Наполеон недаром называл неудачу повитухой гения. Это новое крушение научило мадемуазель де Туш презирать человеческий род, и презрение стало ее силой. Фелисите умерла, и родился Камилл. В Париж она возвратилась вместе с Конти, крупным композитором, к двум операм которого она написала либретто; но Фелисите не питала более иллюзий и стала, тайком от света, своего рода Дон-Жуаном в юбке, только без долгов и без любовных побед. Ободренная первым успехом, она выпустила два тома пьес, сразу же завоевавших Камиллу Мопену первое место среди прославленных анонимов. Свою страсть и свои страдания она рассказала в небольшом очаровательном романе, который по праву считается шедевром того времени. Ее книга в качестве опасного примера ставилась рядом с «Адольфом», но страшную скорбь Бенжамена Констана Камилл превратила в своего рода анти-Адольфа. Утонченность ее литературной метаморфозы и поныне еще понятна далеко не всем. Только несколько тонких умов угадали в этом акте великодушный жест,— мужское имя отдавало писателя на произвол критики и избавляло пишущую женщину от славы, позволяя ей оставаться в тени. Но вопреки желанию Фелисите слава ее росла с каждым днем, чему причиной было влияние ее салона, равно как и ее меткие и острые словечки, правильность ее суждений, обширность ее познаний. Она становилась авторитетом, ее остроты повторялись многими, она не могла отказаться от обязанностей, которые на нее налагало парижское общество. Она стала признанным исключением. Свет склонился перед талантом и богатством этой необычной девушки; он признал, он санкционировал ее независимость; женщины восхищались ее умом, а мужчины — ее красотой. Впрочем, Фелисите ни в чем не преступала светских приличий. Все ее дружеские связи считались чисто платоническими. Она была женщиной-писателем, и только. Мадемуазель де Туш слыла очаровательной светской дамой, в нужные минуты слабой, праздной, кокетливой, занятой нарядами, восторгающейся пустячками, которые так милы женщинам и поэтам. Она прекрасно понимала, что после г-жи де Сталь в нашем

веке нет места для Сафо и что Нинон не могла бы существовать в нынешнем Париже, где нет ни вельмож, ни сластолюбивого двора. Она была Нинон в области интеллекта, она обожала искусство и художников, она дружила то с поэтом, то с музыкантом, то со скульптором, то с романистом. Она была само благородство, само великодушие и не раз становилась жертвой обмана, так переполняла ее жалость к несчастным и презрение к счастливчикам. До 1830 года она жила в избранном кругу испытанных друзей, связанных любовью и уважением. Равно далекая от оглушительной славы г-жи де Сталь и от политических битв, она сама подтрунивала над Камиллом Мопеном, младшим братом, Жорж Санд, которую она называла своим Каином, ибо ее молодая слава затмила славу Фелисите. Мадемуазель де Туш восхищалась успехами счастливой соперницы с ангельской кротостью, без малейшей зависти, безо всякой задней мысли.

До того времени, когда начинается наша повесть, Фелисите жила самой счастливой жизнью, какая только может выпасть на долю женщины, достаточно сильной, чтобы постоять за себя. С 1817 по 1834 год она раз пять или шесть наезжала в Туш. Первый раз она посетила это имение после первой своей любовной драмы, в 1818 году. Барский дом в Туше был вовсе не пригоден для жилья; она поселила управителя в Геранде, а сама заняла его квартиру в Туше. Она не подозревала тогда, что ее ждет слава, была печальна, ни с кем не встречалась, ей хотелось после крушения приглядеться к самой себе. Она написала одной парижской приятельнице письмо, в котором сообщала о своем желании обосноваться в Туше и просила прислать мебель, чтобы обставить сельский дом. Мебель прибыла водой в Нант. Оттуда на барже ее доставили до Круазика, а из Круазика не без труда довезли через пески до Туша. Фелисите выписала из Парижа рабочих и поселилась в имении, которое понравилось ей до чрезвычайности. Здесь, как в своем собственном монастыре, она могла размышлять о том, что сделала с нею жизнь. В начале зимы Фелисите выехала в Париж. Геранда сгорала от любопытства; в маленьком городке не было иных разговоров, как о восточной роскоши в доме маде-

муазель де Туш. Нотариус, который вел ее дела, разрешил желающим посещать Туш. Любопытные приезжали из Батца, из Круазика, из Савенэ. Эти посещения принесли за два года неслыханное богатство семьям сторожа и садовника — целых семнадцать франков. Сама хозяйка появилась в Туше только два года спустя, по возвращении из Италии, и проехала в свое имение через Круазик. Геранцы долгое время оставались в неведении относительно того, что мадемуазель де Туш уже среди них, а с нею и композитор Конти. Ее наезды из Туша в Геранду не возбуждали особого любопытства у жителей этого богоспасаемого городка. Только управляющий да еще нотариус хозяйки Туша были посвящены в тайну прославленного Камилла Мопена. Но в те дни поветрие новых идей понемногу распространилось даже в Геранде, и многие горожане узнали о второй ипостаси мадемуазель де Туш. Директор почты получал письма, адресованные в Туш на имя Камилла Мопена. Наконец завеса разорвалась. В этом ревностно католическом, отсталом краю, где так живы предрассудки, странная жизнь прославленной женщины должна была стать предметом сплетен и пересудов, которые до смерти перепугали аббата Гримона и не могли найти здесь ни оправдания, ни снисхождения; нет ничего удивительного, что все единодушно сошлись во мнениях: Фелисите — чудовище. На этот раз мадемуазель де Туш также приехала в имение не одна: она привезла с собою гостя. Этим гостем был Клод Виньон, все презирающий и надменный литератор, который хоть и писал только критические статьи, тем не менее сумел внушить публике и своим собратьям по перу высокое мнение о самом себе. В течение семи лет он посещал салон мадемуазель де Туш вместе с другими писателями, журналистами, художниками и светскими львами, и хозяйка изучила его характер, лишенный силы, знала его леность, его вечную нищету, его беспечность и его отвращение ко всему иа свете. Тем не менее, судя по тому, как она вела себя с Клодом, можно было предположить, что она собирается выйти за него замуж. Свое поведение, непостижимое для ее друзей, она объясняла честолюбием и страхом перед надвигающейся старостью: ей хотелось посвятить остаток своих дней

человеку незаурядному, которому ее состояние послужило бы первой ступенькой в карьере и который помог бы ей сохранить влияние в литературном мире. Итак, она, как орел, уносящий в когтях ягненка, похитила из Парижа Клода Виньона и увезла в Туш, чтобы изучить его на досуге и принять наконец твердое решение; но она обманывала одновременно и Клода и Каллиста: она не думала о замужестве, ее душу терзали мучительные страдания, знакомые лишь сильным натурам; она понимала, что ум обманул ее, что жизнь ее слишком поздно озарило солнце любви, той пламенной любви, которая горит в сердце двадцатилетних.

А вот и обитель той, что околдовала Каллиста.

Шагах в ста от Геранды природа положила границу плодородным почвам Бретани — тут начинаются соляные озера и дюны. По узкой непроезжей дороге пешеход вступает в песчаную пустыню, которая пролегала между морем и бретонскими черноземами. Среди бесплодных песков лежат озера причудливых очертаний, окруженные бурыми гребнями; здесь добывают соль, сюда вдается морской залив, отделяющий Круазик от континента. Хотя с точки зрения географа Круазик — полуостров и соединен с континентом плоским перешейком, идущим вплоть до местечка Батц, вернее было бы называть его островом, так как пробраться по зыбучим и бесплодным пескам перешейка — предприятие не из легких. В том месте, где тропинка, ведущая в Геранду, выходит на проторенную дорогу, стоит дом, окруженный большим садом; главная примечательность его — кривые, изогнутые сосны; одни раскинули свои ветви широким зонтом, зато другие почти вовсе голы, местами из-под ободранной коры проступает гладкий красноватый ствол. Этот сосняк, жертва злых ураганов, поднявшийся вопреки ветру и прибоям, если можно так выразиться, подготовляет душу к грустному и странному зрелищу: перед путником возникают соляные озера и дюны, напоминающие вздыбленные и застывшие волны. Дом, сложенный из сланца, скрепленного известковым раствором, стоит на гранитном фундаменте, построен без всякого архитектурного замысла и являет взору голые стены, прорезанные через равные промежутки проемами окон. На втором этаже в окна встав-

лены большие стекла, а в нижнем они переделаны на маленькие квадратики. Под высокой островерхой двухскатной крышей со слуховым окошком, над обоими фасадами тянется вдоль всего второго этажа длинный чердак. Под каждым из треугольных скатов крыши имеется окно, похожее на глаз циклопа. Одно смотрит на запад — на море, а другое на восток — на Геранду. Одним своим фасадом дом выходит на дорогу, ведущую к Геранде, а другим — к пустыне, которая подбирается к самому Круазику. За Круазиком начинаются морские просторы. Из-под каменной ограды парка пробивается ручеек, он течет вдоль дороги, идущей к Круазику, пересекает ее и теряется в песках, может быть, впадает в маленькое соляное озерцо, оставленное среди дюн и болот морем, отступившим от пустыни. Проезжая дорога длиной всего в несколько туазов ведет к усадьбе, в которую входят через большие ворота. Двор окружен службами непритязательного вида; здесь имеются конюшня, каретный сарай, домик садовника, а за ним — птичий двор, которым пользуется не столько сама хозяйка, сколько сторож. Сероватые тона дома чудесно гармонируют с окружающим пейзажем. Парк зеленым оазисом лежит среди этой пустыни, и она первая встречает путешественника, когда тот минует глинобитный домишко, где круглые сутки дежурят таможенники. Усадьба де Туш не имеет земли,— вернее, земли ее расположены на территории Геранды; соляные озера приносят десять тысяч ливров дохода, а остальной доход поступает от арендаторов-земледельцев. Таково владение де Тушей, которых революция лишила феодальных поборов. Ныне Туш — просто господский дом, но болотари продолжают по-прежнему называть его замком; они бы и владельца усадьбы называли сеньором, если бы земли не перешли в руки женщины. Когда Фелисите решила восстановить Туш, она, как истый художник, не позволила ничего изменить во внешнем облике этого уединенного дома, похожего на тюрьму. Было допущено только одно отступление: главные ворота украсила арка с двумя кирпичными колоннами, под которой могла проехать карета. Двор был засажен деревьями и цветами.

Расположение комнат нижнего этажа такое же, как

и в любом помещичьем доме, построенном в прошлом веке. Очевидно, это здание было возведено на развалинах небольшого замка, который возвышался здесь, владычествуя над соляными озерами, и был как бы соединительным звеном между крепостью Геранды и двумя замками сеньоров, в Батце и Круазике. Перед лестницей устроен перистиль. В просторную прихожую с паркетным полом Фелисите велела поставить биллиард; из этой комнаты попадали в огромную гостиную с шестью окнами; два из них, по торцовой стороне, доходили до самого пола, образуя двери, ведущие в сад, в который спускались по двенадцати ступенькам; две противоположные двери гостиной соединяли ее с биллиардной и столовой. Кухня, помещавшаяся в другом конце дома, сообщалась со столовой через буфетную. Лестница отделяла биллиардную от кухни; прежде из кухни можно было попасть прямо в перистиль, но Фелисите приказала заложить дверь и прорубить другую, во двор. Высокие потолки, огромные комнаты — все это позволило Фелисите убрать нижний этаж с благородной простотой. Она благоразумно решила не ставить здесь никаких роскошных вещей. Гостиная, выкрашенная в серый цвет, была обставлена старинной мебелью красного дерева, обитой зеленым шелком, на окнах висели белые коленкоровые занавески с зеленой каймой; кроме того, там стояли две консоли и круглый столик, на полу лежал ковер в крупную клетку; на высоком камине с огромным зеркалом красовались часы в форме колесницы Аполлона и два канделябра в стиле времен Империи. В биллиардной занавеси были из серого коленкора, тоже с зеленой каймой, и там стояли два дивана. Обстановку столовой составляли стол, четыре больших буфета красного дерева, дюжина таких же стульев, с мягкими волосяными подушками; по стенам висели великолепные гравюры Одрана в палисандровых рамках. С потолка спускался изящный фонарь с двумя лампами, вроде тех, какие ставят на лестницах в богатых домах. Во всех комнатах потолки, с выступающими балками, были выкрашены под цвет дерева. На старой лестнице с толстыми деревянными балясинами перил лежала зеленая дорожка.

В верхнем этаже было две половины, разделенные

площадкой лестницы. Для себя Фелисите облюбовала ту половину, которая выходила на озера, на море и дюны, и устроила здесь гостиную, спальню, туалетную комнату и рабочий кабинет. Во второй половине по ее приказанию были устроены две спальни, и при каждой из них имелась своя прихожая и туалетная комната. Прислуга жила в горенках, расположенных под крышей. Комнаты, предназначенные для гостей, сначала были обставлены скромно, в них поставили только самую необходимую мебель. Роскошная обстановка, выписанная из Парижа, украшала собственные апартаменты Фелисите. Она решила собрать здесь, в этом унылом и печальном жилище, стоявшем среди унылых, печальных дюн, самые редкостные произведения искусства. Маленькая гостиная была обтянута гобеленами, заключенными в чудеснейшие резные багеты. Старинные занавеси из дорогой парчи, обшитые пышной бахромой, подхваченные шнуром с великолепными кистями, спадали тяжелыми складками до самого пола и отливали золотом и пурпуром, янтарем и изумрудом. В гостиной стоял резной ларь, который нашел для Фелисите ее управляющий,— сейчас такой ларь стоит не меньше семи — восьми тысяч франков; стол из чёрного дерева, весь покрытый резьбой, привезенный из Италии секретер с бесчисленными ящичками, инкрустированный слоновой костью, и еще несколько вещей в готическом стиле. Картины и статуэтки—всё редкости — отыскал для Фелисите один из ее друзей, художник: в 1819 году антиквары еще не подозревали, в какой цене будут эти сокровища через несколько лет. На столе стояли прекрасные японские вазы с фантастическими рисунками. Пол устилал настоящий персидский ковер, приобретенный у контрабандиста и доставленный сюда через дюны. Спальня Фелисите была выдержана в стиле Людовика XV. Здесь стояла кровать белого, с резьбой дерева под шелковым золотистым одеялом; на выгнутых спинках кровати деревянные амуры осыпали друг друга цветами; пышный балдахин украшали по углам четыре плюмажа; стены спальни были обиты персидской тканью, простеганной шелковыми шнурками; камин — с лепными украшениями в форме раковин; меж двух огромных ваз из синего севрского фарфора, оправленных в позо-

лоченную медь, стояли золотые, с чеканными узорами часы, рамка зеркала была выдержана в том же духе; обстановку довершали задрапированный кружевами туалетный столик в стиле Помпадур с овальным зеркалом и затем различная мебель причудливой формы: козетки, низкие кресла, жесткие диванчики, пуфы со стеганными спинками, лакированные ширмы; занавеси были из того же шелка, которым была обита мебель, на розовой атласной подкладке и с толстыми шнурами; на полу лежал савонрийский ковер; повсюду были разбросаны изящные, богатые, хрупкие и роскошные вещицы, среди которых развлекались любовью красавицы XVIII века. Кабинет красного дерева, убранный в современном духе, являл полную противоположность галантному стилю Людовика XV; а огромная библиотека походила на будуар,— здесь тоже стояли диваны. Эту комнату заполняли очаровательные пустячки в современном вкусе, столь милые женскому сердцу: книги с застежками, шкатулки для перчаток и носовых платков, раскрашенные абажуры и статуэтки, китайские болванчики, письменные принадлежности, два —три альбома, пресс-папье и, наконец, множество модных безделушек. Возможно, что случайный посетитель бывал удивлен и даже встревожен, увидев здесь пистолеты, кальян, хлыст, гамак, трубки, охотничье ружье, табак, кисет — странную смесь предметов, которые как нельзя лучше живописуют характер Фелисите.

Человек, способный чувствовать природу, попав в комнаты мадемуазель де Туш, был бы поражен особой прелестью пейзажа, открывавшегося из окна: за парком, последним оазисом плодородной земли, расстилались дюны. Среди унылых четырехугольников соленой воды, разделенных узенькими беленькими тропками, с утра до вечера бродит болотарь в белом балахоне, подгребая граблями соль и складывая ее в кучи; птицы не пролетают над этими пространствами, от которых подымаются тяжелые, насыщенные солью испарения; здесь ничто не произрастает, лишь изредка взоры, утомленные однообразием песков, порадует низенькая жесткая травка, ухитряющаяся даже в этой пустыне расцвести бледно-розовыми цветочками, да кое-где подымает свои головки дикая гвоздика; дальше — озеро, на-

полненное морской водой, пески и дюны, и на горизонте — Круазик, миниатюрный городок, вдающийся в открытое море, подобно Венеции, и, наконец, безбрежный океан, окаймляющий бахромой пены гранитные утесы, что еще резче подчеркивает их причудливые очертания; это зрелище уводит ввысь мысли человека и одновременно навевает грусть; впрочем, перед величественными образами природы душа всегда с невольной тоской устремляется к неведомому, которое открывается нам в недоступных далях. Первобытная гармония понятна только великим умам и великой скорби. Вот почему эта холмистая пустыня, где солнечные лучи, отраженные водами соляных озер и песками, вдруг зальют ярким светом местечко Батц и заиграют нестерпимым блеском на крышах Круазика, так часто занимала воображение Фелисите. Почти никогда не обращала она взоров в сторону Геранды, к очаровательным зеленым лугам, рощицам и цветущим изгородям, к милому городку, похожему на новобрачную, убранную лентами, цветами, вуалями и оборками. Зрелище это причиняло Камиллу Мопену ужасные, непонятные страдания.

Как только в конце обсаженной терновником дороги, над верхушками кривых сосен, показались два флюгера, украшавшие с двух концов крышу, Каллист вздохнул полной грудью,— так легок показался ему здешний воздух; Геранда была ему тюрьмой, жизнь начиналась в Туше. Кто не поймет, какое очарование черпал здесь чистый юноша? Любовь, подобная любви Керубино, бросила Каллиста к ногам той, что стала для него великой, прежде чем стать просто женщиной. Но чувство юноши наталкивалось на необъяснимую холодность Фелисите. Со свойственной ей проницательностью Фелисите поняла, что это не любовь, а скорее потребность любить — вот чем, пожалуй, объяснялось ее благородное упорство, которого не мог оценить Каллист. Кроме того, в Туше его ослепляли чудеса современной цивилизации, представлявшие резкую противоположность с Герандой, где даже нищета дю Геников почиталась роскошью. Здесь перед восхищенными взорами несведущего юноши, знавшего только дрок Бретани да вереск Вандеи, открывался некий новый мир, все богатство современного Парижа, и здесь также он впер-

вые услышал незнакомую и благозвучную столичную речь. Здесь Каллист наслаждался поэтическими напевами прекраснейшей музыки, удивительной музыки XIX века, где мелодия и гармония одинаково мощны, где голосоведéние и инструментовка достигли нèслыханного ранее совершенства. Здесь он увидел творения богатой французской живописи, которая стала ныне наследницей итальянской, испанской и фламандской школ, но талант сделался в Париже явлением заурядным: все взоры, все сердца, пресытившиеся талантами, с тоской взывают о гении. Здесь он познакомился с удивительными созданиями современной литературы, которые производят глубокое впечатление на неискушенные сердца. Одним словом, наш великий XIX век представал перед Каллистом в своем разнообразном блеске; он узнал критический дух, свойственный веку, его стремление обновить все сферы жизни, его головокружительные замыслы, под стать властителю, который пытался водрузить свои знамена над колыбелью века, баюкая его звуками воинственных песен, сопровождаемых рыкающим басом орудий. Приобщенный к прославленным произведениям, великого мастерства которых, быть может, не замечали даже те, кто над ними трудился, кто создавал их, Каллист удовлетворял в Туше склонность к необычному, столь настоятельную в его возрасте; им владело наивное восхищение, которое, подобно первой, полудетской любви, глухо ко всем критическим суждениям. Это так же свойственно юности, как пламени свойственно подыматься вверх. Он внимал этой блестящей парижской иронии, изящной сатире, и ему открывалась сущность французского ума, пробуждались тысячи мыслей, мирно спавших в тихом оцепенении родительского дома. Каллист считал мадемуазель де Туш своей духовной матерью, матерью, которую он мог любить невозбранно. Фелисите была так добра к нему; женщина всегда хороша с мужчиной, которому она внушила любовь, пусть даже она, по-видимому, и не разделяет его чувств. Теперь Фелисите занималась с Каллистом музыкой. Для юноши этот дом, высокие и просторные покои нижнего этажа, казавшиеся еще просторнее благодаря широкому виду из окон на искусно расположенные лужайки и массивы кустов в парке, площадка

лестницы, уставленная творениями итальянских мастеров, вся в резном дереве, во флорентийских и венецианских мозаиках, с барельефами из слоновой кости и из мрамора, с занятными безделушками, как будто вышедшими из-под палочки средневековой волшебницы, изящно убранные комнаты самой Фелисите свидетельствовали о смелом вкусе хозяйки, они были овеяны дыханием творчества, озарены необычным светом ума живого и щедрого. Современный мир, с его поэзией, резко противостоял мертвенному и патриархальному миру Геранды; здесь столкнулись лицом к лицу два начала: с одной стороны, многоликое разнообразие, с другой — монотонность дикой Бретани.

Теперь понятно, почему бедного юношу, которому тонкости «мушки» наскучили не меньше, чем его матери, охватывал радостный трепет всякий раз, как он приближался к этому дому, звонил у ворот, шел по двору. Следует заметить, что подобные ощущения неведомы человеку зрелому, познавшему тяготы жизни, человеку, которого ничто больше не удивляет и не страшит. Открыв дверь, Каллист услыхал звуки рояля и решил, что Камилл Мопен в гостиной, но, когда он пересек биллиардную, музыка стала тише. Значит, Фелисите играла наверху, у себя на маленьком своем рояле, который привез из Англии композитор Конти. Толстый ковер, покрывавший лестницу, заглушал шаги, и, чем выше подымался Каллист, тем нерешительнее они становились. Музыка, доносившаяся сверху, поразила его своей необычайностью, как откровение. Фелисите играла для себя, она беседовала сама с собой. Юноша не посмел войти в гостиную, он остановился на площадке лестницы и присел на обитую зеленым бархатом готическую скамью у окна, красивые наличники которого были искусно выточены из дерева, отделанного под орех и покрытого лаком. Услышав импровизацию Камилла, вы невольно бы сравнили эти звуки с воплем души, взывающей из гроба к господу, так таинственно печальна была эта музыка. Влюбленному юноше слышались в этих звуках моления безнадежной любви, покорная нежная жалоба, стенания сдерживаемой грусти. Фелисите импровизировала, развивая и усложняя вступление к каватине «Пощада мне, пощада и тебе», в кото-

рой, по существу, выражен весь четвертый акт «Роберта Дьявола». Она запела этот отрывок трагическим голосом и вдруг замолчала. Каллист вошел в гостиную и понял, почему пресекся голос певицы. Несчастная Камилл Мопен, прекрасная Фелисите, без тени кокетства повернула к нему залитое слезами лицо, взяла носовой платок, вытерла глаза и просто сказала:

— Добрый день!

В утреннем туалете она была восхитительна. Из-под модной сетки, сплетенной из красной синели, спадали блестящие пряди черных волос. На Фелисите был коротенький казакин, напоминавший греческую тунику, из-под него выглядывали батистовые панталоны, вышитые у щиколотки, и очаровательные турецкие туфельки, красные с золотом.

— Что с вами? — спросил Каллист.

— Он не вернулся,— ответила она и, подойдя к окну, стала смотреть на пески, морской залив и озера.

Этот ответ объяснял изысканность ее одежды. Фелисите, должно быть, ждала Клода Виньона, она была обеспокоена, как женщина, понявшая, что усилия ее более не достигают цели. Мужчина в тридцать лет сразу понял бы это. Каллист видел только страдание.

— Вы встревожены? — спросил он.

— Да,— ответила Фелисите, и в голосе ее прозвучала печаль, которой не мог разгадать этот юноша.

Быстрыми шагами Каллист направился к двери.

— Куда же вы?

— Искать *его*, — ответил Каллист.

— Дорогое мое дитя...— сказала Фелисите.

Она взяла юношу за руку, притянула к себе и бросила на него увлажненный слезами взгляд. Может ли быть лучшая награда для неискушенной души?

— Вы сошли с ума! Где же вы отыщете его в здешних местах?

— Я его найду.

— Вы напугаете вашу матушку... Не надо, оставайтесь. Идите-ка сюда, слышите! — произнесла Фелисите, усаживая его рядом с собой на диван.— Не жалейте меня. Слезы, что вы видели сейчас, приятны нам, женщинам. Они служат проявлением тех свойств, которыми обделен мужчина,— мы охотно поддаемся нашей нер-

вической натуре, доводя любое чувство до предела. Подчас мы даем волю своему воображению и, увлекаемые игрой мысли, доходим до слез, а в серьезных случаях даже до смятения души. Но наши причуды — не игра ума, они — игра сердца. Вы явились как нельзя более кстати; одиночество нынче не по мне. Я отнюдь не обманываюсь, я понимаю, почему Клоду вдруг пришло желание ознакомиться без меня с Круазиком, побродить по пескам и озерам. Я так и знала, что он исчезнет на несколько дней. Он хотел оставить нас наедине; он ревнив или, вернее, играет роль ревнивца. Вы молоды, вы красивы...

— Зачем вы не сказали мне это раньше? Значит, мне больше не приходить? — спросил Каллист, и слеза, сорвавшаяся с его ресниц, скатилась по щеке, тронув до глубины души Фелисите.

— Вы ангел! — воскликнула она.

И она запела «Останься!» — арию Матильды из «Вильгельма Телля», запела весело, чтобы не слишком многозначительно прозвучал великолепный ответ принцессы своему подданному.

— Клод хочет, чтобы я поверила в его любовь,— сказала она, прерывая пение,— но я отлично чувствую, что он не любит меня. Он знает, что я желаю ему добра,— добавила Фелисите, пристально глядя на Каллиста,— но его, должно быть, унижает мысль, что я великодушнее его. Быть может, он возымел подозрения на ваш счет и решил застать нас врасплох. Пусть я даже не права, он виновен уже тем, что ушел один, без меня наслаждается бретонскими дебрями, не желает приобщить меня к своим прогулкам, не хочет поделиться со мною мыслями, которые породит в нем наша дикая природа, и нисколько не думает о том, что я о нем беспокоюсь. Разве этого не достаточно? Этот великий критик любит меня не больше, чем любил музыкант, военный и один из умнейших наших писателей. Нет, прав Стерн: имена даются человеку не зря, и мое имя является величайшей надо мной насмешкой[1]. Я так и умру, не найдя в мужчине той любви и поэзии, что живут в моем сердце.

---

[1] Фелисите (Félicité) — радость, блаженство *(франц.)*.

Фелисите умолкла в тяжелом раздумье, откинувшись на подушку, руки ее бессильно упали, а взгляд уперся в узоры ковра. В скорби людей необыкновенных есть нечто, вызывающее уважение, они открывают нам безбрежную ширь своей души,— и как мы верим в эту безбрежность! Такие люди обладают привилегией тех королей, недуги которых сказываются на судьбе государства и потому волнуют народ.

— Почему же вы тогда?..— спросил Каллист, не смея закончить фразу.

Прекрасная горячая рука Камилла Мопена легла на его руку; это прикосновение было красноречивее всяких слов.

— Природа нарушила ради меня свои законы, подарив мне лишних пять—шесть лет молодости. Я отвергла вас из эгоизма. Рано или поздно годы разлучили бы нас. Я на тринадцать лет старше Клода, и то уже много.

— Но вы будете прекрасны и в шестьдесят лет! — отважно заявил Каллист.

— Да услышит вас бог! — ответила она, улыбаясь.— К тому же, дитя мое, я хочу его любить. Пусть он бесчувствен, пусть лишен воображения, пусть он позорно беззаботен и снедаем завистью,— мне хочется верить, что под жалкой оболочкой живет величие, я надеюсь гальванизировать его сердце, спасти его от самого себя, внушить ему любовь к себе... Увы! У меня слишком проницательный ум, а сердце слепо.

Способность Фелисите ясно видеть в своей душе просто пугала. Она страдала и анализировала свои страдания, подобно тому, как Кювье и Дюпюитрен разъясняли своим друзьям роковой ход точившего их недуга, который неуклонно вел к смерти. Мадемуазель де Туш изучила себя самое в страстных движениях сердца, как эти ученые изучили себя в области анатомии.

— Я нарочно приехала сюда, чтобы составить о нем более ясное суждение, а он уже соскучился. Ему недостает Парижа, я говорила ему об этом: у него тоска по критике, у него нет под рукой писателей, чтобы было с кого сбить спесь, нет книг, чтобы он мог познакомиться с новыми философскими взглядами, нет бедных поэтов, чтобы охладить их пыл, и он не смеет предаться

здесь парижскому разгулу, чтобы сбросить тяжелое бремя — мысль. Увы! Быть может, и моя любовь к нему недостаточно сильна, чтобы разрядить напряжение его мозга. Словом, я не вдохновляю его! Пейте с ним нынче вечером вино, а я скажусь больной и останусь в спальне; тогда я узнаю, права я или нет.

Каллист зарделся, как вишня, краска залила все его лицо ото лба до подбородка, даже уши запылали.

— Боже мой! — воскликнула Фелисите.— И я, я развращаю тебя, забыв, что ты невинен, как девушка! Прости меня, Каллист! Когда ты полюбишь, ты узнаешь, что любящий способен зажечь реку, лишь бы доставить удовольствие «своему предмету», как говорят гадалки.

Она помолчала.

— Я знаю, что есть самодовольные и последовательные люди, которые, достигши известного возраста, говорят: «Если бы я вновь начинал жизнь, я прожил бы ее точно так же». Я человек не слабый,— и все же я говорю: «Я хотела бы быть такой женщиной, как ваша матушка, Каллист, и иметь сыном Каллиста». Какое это счастье! Пусть моим мужем стал бы самый ничтожный человек, я была бы ему покорной и послушной женой. Я не совершила никакого проступка против общества, и если я виновата, то только против себя самой. Увы, дорогое мое дитя, женщина не может прожить одна не только в первобытном обществе, но и у нас. Чувства, которые не находятся в гармонии с законами общества или природы, не для нас. К чему страдать бесцельно, уж лучше быть полезной кому-нибудь! Что мне дочери моих кузин Фокомбов! Да они уж и не Фокомбы; я не видела их целых двадцать лет, и, говорят, они вышли замуж за каких-то коммерсантов. Вы для меня сын, не причинивший мне мук материнства, вам я оставлю все мое состояние, и вы будете счастливы или хотя бы богаты благодаря мне. Ведь вы — чудесное сокровище красоты и очарования, и я хочу, чтобы ничто дурное не коснулось вас.

При этих словах, произнесенных глубоким голосом, Фелисите прикрыла глаза, чтобы Каллист не мог прочесть их выражения.

— Вы ничего не пожелали от меня,— сказал Каллист.— Я верну ваше богатство вашим наследникам.

— Дитя! — промолвила Фелисите все тем же глубо-

ким голосом, не вытирая слез, катившихся по ее щекам.— Значит, ничто не спасет меня от меня самой?

— Вы хотели давеча что-то рассказать мне и прочесть письмо...— сказал славный юноша, стараясь отвлечь Фелисите от мрачных мыслей, но она не дала ему докончить.

— Вы совершенно правы,— всегда надо честно выполнять обещания. Вчера было слишком поздно; но сегодня, надеюсь, нам хватит времени,— произнесла она шутливым и одновременно горьким тоном.— Однако мне легче будет вести рассказ, если я буду видеть дорогу к этим утесам.

Каллист распахнул окно и пододвинул к нему большое готическое кресло. Камилл Мопен, разделявшая восточные вкусы другой нашей прославленной писательницы, взяла великолепное персидское наргиле,— подарок посланника,— наполнила трубку пачулями, прочистила мундштук, вставила в него надушенный наконечник из гусиного пера, которым она пользовалась не больше одного раза, разожгла светло-желтые листья, поставила на столик поодаль от себя сосуд с водой, составляющий часть наргиле,— вазу с длинным горлышком, покрытую синей эмалью и позолотой,— и позвонила слуге, чтобы подали чай.

— Хотите папироску? Ах, я все забываю, что вы не курите. Так редко встретить в наш век подобную чистоту! Мне кажется порой, что лишь рука Евы, только что сотворенной богом, достойна погладить шелковистый пушок на ваших щеках.

Каллист покраснел и уселся на табуретку; он не заметил, как глубокое волнение залило краской лицо Фелисите.

— Особа, от которой я вчера получила письмо и которая, возможно, уже завтра будет здесь,— не кто иная, как маркиза де Рошфид,— начала Фелисите.— Выдав свою старшую дочь замуж за португальского вельможу, навсегда поселившегося во Франции, старый Рошфид, ~~род коего~~ куда менее древен, чем ваш, решил найти своему сыну невесту из высшей знати, чтобы тот мог получить таким образом звание пэра, что не удалось самому Рошфиду. Графиня де Монкорне сообщила ему, что в департаменте Орн проживает некая мадемуазель Беат-

риса-Максимилиана-Роза де Катеран, младшая дочь маркиза де Катерана, который хочет выдать своих дочерей замуж без приданого, так как все состояние он решил передать сыну. Катераны же, как говорят, ведут свой род чуть ли не от Адама. Беатриса родилась и выросла в замке Катеран; за Рошфида она вышла замуж в 1828 году — в двадцатилетнем возрасте. Она славилась тем, что вы, провинциалы, называете оригинальностью и что в действительности есть возвышенность мысли, восторженность, чувство прекрасного, а также тяга к искусству. Поверьте же моему печальному опыту: нет ничего более опасного для женщины, чем отдаться таким склонностям; если бедная женщина уступает им, она приходит туда, куда пришла я и куда пришла маркиза,— к бездне. Только мужчина может удержаться над пропастью, упираясь о края ее посохом, и этот посох — та сила, которой лишены мы, женщины, а если мы наделены ею, мы — чудовища. Вдовствующая маркиза де Катеран радовалась, что внучка ее вышла замуж за человека, которого она превосходит знатностью и благородством образа мыслей. Рошфиды устроили все как нельзя лучше, Беатриса не могла на них пожаловаться; со своей стороны и Рошфиды тоже были довольны Катеранами: воспользовавшись связями с Верней, д'Эгриньонами, Тревилями, Катераны добыли своему зятю звание пэра во время последней выпечки пэров Франции, предпринятой Карлом Десятым, что, впрочем, было отменено во время Июльской революции. После смерти старика-отца Рошфид унаследовал все его состояние. Рошфид человек недалекий, но он начал с того, что завел себе сына. Однако же самодовольная и назойливая глупость мужа вскоре стала ясна для Беатрисы, и Рошфид ей опротивел. Первые дни брака являются пробным камнем как для мелких душ, так и для великой любви. Будучи дурачком, Рошфид счел неведение своей юной супруги за холодность и причислил Беатрису, которая, кстати сказать, блондинка, к породе вялых, бестемпераментных женщин; мало-помалу он зажил на стороне холостяцкой жизнью, решив, что его супружескую честь надежно охраняет мнимая холодность маркизы, ее высокомерие и тот роскошный образ жизни, который отделяет светскую женщину от простых смертных

неприступным барьером. Когда вы побываете в Париже, вы поймете мои слова. Те, кто рассчитывал воспользоваться беспечностью невозмутимого маркиза, говорили ему: «Вам на редкость повезло: ваша жена холодная женщина. Увлечения ее чисто головные; она любит блистать в обществе, все ее причуды не выходят из области искусства; ее тщеславие и все прочие желания будут удовлетворены, если она заведет салон, куда сумеет привлечь все прославленные умы, ее разгул — в музыке, оргии — в литературе». И супруг попался на эти шуточки, на которые в Париже ловят простаков. Однако никто не назовет Рошфида глупцом: он суетен и полон гордыни, как самый умный человек, с той только разницей, что умный человек прикидывается скромником и, как кошка, ластится к вам, добиваясь ответной ласки; а наш Рошфид не таков,— он тщеславен в открытую, он сияет самодовольством и на людях сам первый восхищается собой. Его тщеславие оглушительно бьет копытами и с громким хрустом пережевывает свой незатейливый корм. Недостатки таких людей обычно познаются только в близком общении и проявляются лишь при закрытых дверях, в тайниках частной жизни, а в обществе и для общества такой человек просто очарователен; но Рошфид, решивший, что его семейный очаг под угрозой, такой Рошфид стал бы невыносим, ибо он ревнив мелочной и трусливой ревностью, которая, будучи однажды обнаружена, становится звериной; она подло таится в течение первых шести месяцев брака, а на седьмой убивает всякое чувство. Рошфид потихоньку изменял жене и боялся ее — вот вам целых два источника домашней тирании, и она должна была проявиться в тот день, когда маркиз понял, что супруга из милости к нему делает вид, что не замечает его измен. Видите ли, я лишь затем так подробно разбираю этот характер, чтобы лучше объяснить поведение Беатрисы. Маркиза питала ко мне величайшее восхищение; но ведь от восхищения до зависти всего один шаг. Мой салон, пожалуй, один из самых интересных в Париже; она пожелала создать себе такой же и пыталась переманить к себе моих завсегдатаев. А я не умею удерживать тех, кто хочет меня покинуть. Ей удалось привлечь к себе людей легкомысленных, которые от безделья готовы дружить со всеми, они

перепархивают из салона в салон и в этом видят цель жизни; но, устроив у себя салон, Беатриса не успела создать себе свой круг. В ту пору, как мне кажется, ее пожирало страстное желание чем-нибудь прославиться. Тем не менее в Беатрисе есть величие души, царственная гордость, она не глупа, она с чудесной легкостью рассуждает обо всем и все усваивает; она может поговорить и о метафизике, и музыке, и богословии, и живописи. Я знала ее еще невестой, а вы увидите сложившуюся женщину; но в ней чувствуется некоторая наигранность, слишком ей хочется показать, что ей нипочем китайский или древнееврейский язык, что она разбирается в иероглифах и может прочесть вам папирусы, в которые заворачивали мумии. Беатриса — блондинка; по сравнению с такими блондинками наша праматерь, белокурая Ева, показалась бы чернушкой. Беатриса тонка и стройна, как свеча, бела, как облатка для причастия; лицо у нее длинное, черты острые; цвет лица меняется чуть не каждый день,— нынче она свежа, как цветок, а назавтра встанет изжелта-серая и на щеках выступят пятнышки, как будто за ночь в кровь ее набились песчинки; лоб у нее великолепный, правда слишком открытый; глаза серые с зеленоватым отливом, а белок — белый-белый; брови не густые, веки тяжелые, ленивые. Очень часто вокруг глаз залегает синева. Нос у нее острый, с поджатыми ноздрями, очень тонкий, но дерзкий, злой. Рот, что называется, австрийский,— нижняя губа презрительно изогнута и тоньше верхней. Щеки у Беатрисы бледные, розовеют они только в минуты сильного волнения. Подбородок довольно пухлый, почти такой же, как у меня,— и уж простите за откровенность, но я все-таки скажу вам: женщины с пухлым подбородком требовательны в любви. Более грациозной, гибкой талии, чем у Беатрисы, я никогда не видела; спина и плечи ослепительной белизны, хотя несколько плоски; говорят, что сейчас линии смягчились, расправились; но бюст не так хорош, как плечи, да и руки худые. Однако у маркизы такие непринужденные манеры и изящные движения, что они с избытком окупают эти небольшие недостатки и выставляют все ее прелести в самом выгодном свете. Беатриса с виду прирожденная принцесса, именно прирожденная, в ней все выдает высо-

кое происхождение: и чересчур узкие бедра, правда, изящно очерченные, и прелестнейшая в мире ножка, и роскошные волосы, подобные волнам света,— знаете, как у ангелов Жироде. Про нее не скажешь, что она безупречно красива или даже очень хорошенькая, но когда Беатриса захочет, она производит неизгладимое впечатление. Достаточно ей надеть вишневое бархатное платье с богатой кружевной отделкой и украсить прическу пурпуровыми розами — и вот она уже божественна. Я представляю себе Беатрису, одетую по старинной моде — узкий корсаж мыском,— на груди он расходится и зашнурован лентами,— тонкую и хрупкую талию охватывает широкая парчовая юбка, лежащая пышными и тяжелыми складками; воротник высокий, гофрированный, рукава с прорезями, манжеты широкие, кружевные, и нежная кисть руки выходит из них, как изящный пестик цветка из венчика; волосы завиты в локоны и покрыты сеткой, унизанной жемчугом. В таком костюме Беатриса поспорила бы с самой первой тогдашней красавицей. Посмотрите-ка.

Фелисите показала Каллисту прекрасную копию с картины Миериса, на которой была изображена во весь рост женщина в белом атласном одеянии, держащая в руке ноты и распевающая дуэт с каким-то брабантским сеньором, в то время как на заднем плане негр наливает в бокал старое испанское вино, а пожилая служанка раскладывает печенье.

— Блондинки,— продолжала Фелисите,— имеют перед нами, брюнетками, огромное преимущество — они чудесно разнообразны; у блондинок целая сотня оттенков, а брюнетки все на один лад. И блондинки больше женщины, нежели мы; мы, черноволосые француженки, похожи на мужчин. Однако,— добавила она,— я нарисовала вам слишком заманчивый портрет,— смотрите, не влюбитесь в Беатрису, как некий принц из «Тысячи и одного дня». Ты опоздал, бедное дитя. Но утешься. В данном случае кости достаются не последнему, а первому прибывшему.

Эти слова Фелисите произнесла не без умысла. Она угадала, что восхищение, написанное на лице юноши, вызвано скорее оригиналом портрета, нежели мастерством художника, которое осталось незамеченным.

— Несмотря на то, что Беатриса блондинка,— продолжала мадемуазель де Туш,— она не обладает свойственной этой породе женщин нежностью; в ее облике, если хотите, чувствуется жесткость, она изящна, но резка. Черты ее, пожалуй, суховаты, и кажется, что душа ее спалена полуденным зноем. Это ангел, который, пылая, иссушает себя. Да и глаза у нее ненасытные. Кстати сказать, лучше всего она в анфас; в профиль лицо и фигура у нее, между нами говоря, такие, словно их дверью расплющили. Вы сами увидите, права я или нет. А вот как мы с ней стали задушевными подругами. В течение трех лет, с 1828 по 1831 год, Беатриса, наслаждаясь последними празднествами Реставрации, порхала по салонам, бывала при дворе, блистала на костюмированных балах в Елисейском дворце, с самой возвышенной точки зрения судила о людях, вещах и событиях жизни. Ум ее был вечно чем-нибудь занят. Парижский свет в первое время оглушил ее, и поэтому сердце еще не проснулось, оно как бы оцепенело от первых тягот семейной жизни: роды, ребенок — словом, все эти докуки материнства, которые я лично не терплю. В этом отношении я совсем не женщина. Дети причиняют тысячи огорчений и вечные тревоги. И я считаю, что одна из главных привилегий современного общества, которой нас чуть было не лишил этот лицемер Жан-Жак Руссо, то, что оно оставляет за нами право выбора — быть женщине матерью или не быть. Уверена, что я не одна держусь такого мнения, но только я одна выражаю его вслух. Бури 1830—1831 годов Беатриса переждала в имении мужа и скучала там, как святые скучают в своем райском заточении. Возвратившись в Париж, маркиза вполне справедливо рассудила, что революция не ограничится областью политики, как то думали многие, а вторгнется в область нравов. Пятнадцать лет Реставрации явились поистине нечаянной радостью для того общества, к которому принадлежала Беатриса, возродиться же оно не могло, и маркиза хорошо понимала, что ему предстояло рассыпаться в прах под ударами буржуазной дубинки. От нее не ускользнули меткие слова г-на Ленэ: «Уходят короли!» Мне даже кажется, что мысль, высказанная им, повлияла на поведение Беатрисы. Она увлеклась новыми доктринами, которые в три года, последовавшие за

Июльской революцией, расплодились, как мошкара на солнце, и вскружили не одну женскую голову; но, как и все представители ее сословия, Беатриса, хоть и была очарована всей этой новизной, все же хотела спасти дворянство от гибели. Беатриса видела, что отныне личные заслуги ничто, видела, что аристократы возобновили ту молчаливую оппозицию, которая была их единственным занятием в период Наполеоновской империи, основанной на делах и реальности, видела она также, что в эпоху преобразования нравов этот немой протест равносилен уходу в отставку, и предпочла ему заботу о личном счастье. Когда мы чуть отдышались, маркиза познакомилась у меня с человеком, с которым я рассчитывала окончить свои дни,— с талантливым композитором Дженаро Конти, неаполитанцем по происхождению, но родившимся в Марселе. Конти очень умен и даровит, хотя никогда не будет причислен к выдающимся композиторам. Не будь Мейербера и Россини, он, возможно, прослыл бы гением. Однако он имеет перед ними преимущество,— прекраснейший голос, а своей виртуозностью в пении он равен Паганини в игре на скрипке, Листу в игре на рояле, Тальони в танце и знаменитому Гарà в опере,— говорят даже, что у них голоса похожи. Да, мой друг, это уже не голос, это сама душа. Если женщина услышит пение Дженаро в ту минуту, когда ею владеют мысли и чувства, которых невозможно передать словами,— она погибла. Маркиза воспылала к Конти безумной страстью и похитила его у меня. Поступок в высшей степени провинциальный, но не нарушающий законов женского соперничества. Она сумела повести себя так, что именно в это время завоевала мое уважение и мою дружбу. Беатриса полагала, что я из тех женщин, которые защищают свое добро; она не знала, что для меня в этом положении самым смешным был объект нашей борьбы. Она пришла ко мне. Беатриса, женщина, преисполненная гордости, была так влюблена, что доверилась мне и отдала свою судьбу в мои руки. Она была восхитительна: в моих глазах она осталась женщиной и маркизой. Знайте же, мой друг, что женщины иногда способны на дурные поступки, но в их душе скрыто величие, которое никогда не поймет и не оценит мужчина. Я стою на пороге старости, так выслушайте же мое признание: я была верна

Конти и была бы верна ему до самой смерти, хотя отлично знала его. Он очарователен внешне и мерзок в душе. Он шарлатан в сердечных делах. Среди мужчин нередко встречаются такие типы, как Натан, о нем я уже вам говорила,— они шарлатанят без задней мысли. Эти люди лгут самим себе. Они взбираются на ходули, а уверены, что стоят на ногах; они проделывают свои фокусы с самым невинным видом, тщеславие у них в крови, они рождены комедиантами,— они хвастуны, они причудливы, как китайская ваза, и, быть может, сами смеются над собой. Впрочем, они не лишены великодушия и навлекают на себя беды именно из-за своего тщеславия, подобно тому как кричащая пестрота королевских одежд на Мюрате навлекала на него опасность. Но только любовница Конти может знать, какой это лицедей. Он завистлив даже в искусстве — той знаменитой итальянской завистью, которая заставила Карлоне убить Пьоля, из-за которой Паэзьелло был сражен ударом стилета. Эту чудовищную зависть Конти скрывает под самыми милыми товарищескими отношениями. Он труслив и только поэтому не совершает преступления, он улыбается и льстит Мейерберу, а сам готов его растерзать. Он чувствует свою слабость, а делает вид, что очень силен; кроме того, он из тщеславия рисуется чувствами, которые на самом деле бесконечно далеки от его сердца. Он выдает себя за вдохновенного художника. Послушать Конти, так выходит, что для него искусство—святая святых. Конти необуздан, но он великолепен, когда издевается над людьми светскими; красноречие его удивительно, и кажется — все, что он говорит, исполнено глубокого убеждения. Он ясновидец, демон, бог, ангел! И хотя я вас предупредила, Каллист, он вас обязательно покорит. Этот южанин, этот пылкий артист холоднее, чем полярная стужа. Он скажет вам, что художник — это апостол, искусство — это религия, у которой есть свои пророки и свои мученики. Раз начав свою декламацию, Дженаро может вознестись на вершину такого пафоса, что забьет даже профессора немецкой философии, оглушающего свою аудиторию. Вы начинаете уважать его убеждения, а он не верит ни во что. Увлекая вас на небеса своим пением, которое, подобно таинственному флюиду, изливает самое любовь, он бросает на вас взгляды, горящие экс-

тазом, а сам зорко следит за вашим впечатлением: «Стал ли я для него богом или нет?» И в то же самое время он думает: «...А пожалуй, я объелся макаронами». Вы считаете, что он вас любит, а он вас ненавидит, и вы не понимаете, откуда эта ненависть; но я-то понимала: это значило, что вчера он встретил женщину, полюбил ее из-за минутной прихоти, и вот теперь оскорбляет меня фальшивыми уверениями в любви, лицемерной лаской. Так он заставлял меня дорогой ценой расплачиваться за свою вынужденную верность. Наконец, его страсть к славе, к восторгам публики ненасытна; он, как обезьяна, подражает всему, он издевается надо всем; с такой же легкостью он изобразит перед вами радость, с какой за минуту до того изображал грусть; но любая роль прекрасно удается ему. Он умеет нравиться, его любят, и он покорит всякого, если захочет. Когда мы с ним расстались, он ненавидел свой голос, ибо прославился больше как певец, чем как композитор, а меж тем ему хочется быть творцом, как Россини, а не исполнителем, как Рубини. Я совершила ошибку, привязавшись к нему, и все же покорно ублажала своего кумира. Как и большинство артистов, Конти — лакомка, он ценит удобства, удовольствия; он кокетлив, выхолен, прекрасно одевается; ну, вот я и потакала всем его страстям,— я любила это слабое и лукавое создание. Мне завидовали, а я подчас не могла скрыть улыбку жалости. Однако я уважаю его за смелость; он храбр, а говорят, что храбрость — единственная добродетель, чуждая лицемерия. Во время нашего путешествия я сама имела случай убедиться в этом: он способен рискнуть жизнью ради того, кого любит. Но странное дело! В Париже мне не раз приходилось подмечать за ним то, что я называю трусостью мысли. Да, мой друг, я знала все это,— и я говорила бедной маркизе: «Вы не понимаете, что идете прямо к бездне. Вы — Персей, а я — я бедная Андромеда, которую вы освобождаете от уз. Если он любит вас, тем лучше! Но я сомневаюсь в этом,— он любит только самого себя».

Дженаро был на седьмом небе от гордости: во-первых, я не маркиза, во-вторых, я не урожденная де Катеран. Я была забыта в один день. Я разрешила себе варварское удовольствие проникнуть до самого дна в эту темную душу. Зная, какова будет развязка, я следила за

всеми увертками Конти. Милое мое дитя, я прожила неделю среди самого недостойного кривляния и ужаснейших проявлений лицемерия. Не буду вам рассказывать подробнее, вы сами убедитесь в правоте моих слов. Конти знает, что я вижу его насквозь, и теперь он ненавидит меня. Если бы он мог вонзить исподтишка мне в грудь кинжал, о, верьте, я бы уже давно была мертва. Ни разу я не сказала об этом Беатрисе ни слова. И, наконец, последнее оскорбление, которое нанес мне Дженаро, было, пожалуй, самым тяжким: он решил, что я способна поделиться с маркизой моими печальными наблюдениями. Он стал беспокоен, рассеян; он не верит, не может верить в человеческую порядочность. Теперь он разыгрывает передо мной новую роль — он, видите ли, глубоко огорчен нашей разлукой. Вы, конечно, сочтете его сердечным человеком; он ласков, он рыцарь; в его глазах каждая женщина — мадонна. Надо прожить с ним очень долго, чтобы понять, что скрывается под этим напускным добродушием, и обнаружить за его постоянной игрой отточенный кинжал. Его убежденный вид обманул бы самого господа бога. Предвижу, что вы будете очарованы его кошачьими повадками и не разглядите того, как быстро и безошибочно он производит в уме арифметические выкладки чувств. Ну, довольно говорить о Конти. Видите, насколько я к нему равнодушна — они приезжают ко мне вместе. Именно поэтому общество наиболее проницательное — я подразумеваю парижский свет— ничего не знало об этой интриге. Хотя Дженаро опьянел от гордости, он, без сомнения, должен был показать себя Беатрисе с самой лучшей стороны: он проявил восхитительную скрытность. Признаюсь, я была удивлена, я думала, что он потребует огласки. Но маркиза сама скомпрометировала себя после года тайного счастья, зависящего от тысяч превратностей и случайностей парижской жизни. Как-то Беатриса довольно долго не виделась с Дженаро, и я пригласила его к себе на обед,— маркиза должна была приехать позже и провести у меня вечер. Рошфид, конечно, ни о чем не догадывался; но Беатриса настолько хорошо изучила своего супруга, что, как она мне не раз сама признавалась, предпочла бы жить в самых тяжелых лишениях, лишь бы не оставаться вместе с мужем, буде она даст ему повод презирать и

мучить ее. Я нарочно выбрала день, когда у нашей общей приятельницы графини де Монкорне был званый вечер. Когда Беатриса увидела, что ее супругу подали кофе, она вышла из гостиной и поспешила к себе одеваться, хотя обычно никогда не занималась своим туалетом заранее.

— Ваш парикмахер, кажется, еще не пришел,— заметил Рошфид, когда узнал, почему его жена удалилась в свой будуар.

— Меня причешет Тереза,— возразила Беатриса.

— Но куда вы собрались? Ведь не явитесь же вы к графине де Монкорне в восемь часов.

— Конечно, нет,— ответила Беатриса,— но я поеду в Оперу, послушаю первый акт.

Любознательный бальи, выведенный в вольтеровском «Простаке», кажется просто глухонемым по сравнению с нашими праздными мужчинами. Беатриса поторопилась уйти, чтобы не подвергаться дальнейшим расспросам, и не слыхала, как муж бросил ей вслед:

— Что ж, поедем вместе.

Сказал он это отнюдь не из хитрости, у него не было никаких оснований подозревать жену, ведь она пользовалась неограниченной свободой. Он старался просто из самолюбия не стеснять ее ни в чем. Впрочем, поведение Беатрисы выдержало бы самую суровую критику. Маркиз Рошфид собирался провести вечер вне дома, быть может, даже у любовницы. Он закончил свой туалет еще до обеда, ему оставалось только надеть перчатки и шляпу, а тут вдруг он услышал, что к крыльцу, выходящему во двор, подъехала карета его жены. Он прошел к Беатрисе, она была совсем готова и бесконечно удивилась, увидев его.

— Куда это вы собрались? — спросила Беатриса мужа.

— Я же сказал, что я поеду вместе с вами в Оперу.

Маркиза еле сдержалась, чтобы не дать отпора этой навязчивости, но на щеках ее выступило два ярко-розовых пятна, как будто она подрумянилась.

— Что же, едемте,— сказала она.

Рошфид последовал за женой, не заметив волнения, прозвучавшего в голосе Беатрисы, которая вся кипела от затаенного гнева.

— В Оперу! — приказал муж кучеру.

— Нет! — воскликнула Беатриса.— К мадемуазель де Туш. Мне надо сказать ей несколько слов,— добавила она, когда дверца кареты захлопнулась.

Лошади тронули.

— Впрочем, если хотите,— продолжала Беатриса,— я завезу вас в Оперу, а потом заеду к де Туш.

— Зачем же? — возразил маркиз.— Ведь вы хотите поболтать с ней только минутку; я подожду в карете. Еще только половина восьмого.

Если бы Беатриса просто сказала мужу: «Поезжайте в Оперу и ни о чем не беспокойтесь»,— он повиновался бы ей самым мирным образом. Но как и всякая умная женщина, Беатриса боялась пробудить подозрение мужа, чувствовала себя виновной и поэтому подчинилась. Когда она из Оперы собралась ехать ко мне, ее супруг увязался за ней. Беатриса вошла, красная от гнева и нетерпения, и шепнула мне с самым невозмутимым видом:

— Дорогая моя Фелисите, завтра я уезжаю с Конти в Италию; передайте ему, пожалуйста, чтобы он собрался и был здесь с каретой и паспортом.

Она уехала домой вместе с мужем. Бурные страсти любой ценой ищут свободы. Целый год Беатриса страдала от своего подневольного положения, от случайных и редких встреч, она считала себя навеки связанной с Дженаро. Поэтому я не удивилась. На ее месте я бы, с моим характером, поступила точно так же. Беатриса решилась на такой скандал при самом, казалось бы, невинном принуждении со стороны мужа. Она старалась избежать несчастья ценой еще большего несчастья. Конти был вне себя от радости, а я огорчалась — я знала, что все это только тщеславие.

— Да, я любим, подлинно любим,— твердил он мне в восторге.— Не каждая женщина согласится поставить на карту всю свою жизнь, свое состояние, свое положение в свете.

— Да, она вас любит,— сказала я ему,— а вот вы ее не любите!

Он рассвирепел и устроил мне сцену: он разглагольствовал, он бранил меня, описывал мне свою любовь, уверял, что никогда и не думал, что способен так любить. Меня все это нисколько не тронуло; я одолжила ему де-

нег, которые могли понадобиться во время путешествия,— ведь он уезжал неожиданно. Беатриса оставила Рошфиду письмо и на следующий день укатила в Италию. Там она прожила два года; она писала мне много раз, письма ее полны самых дружеских чувств, очаровательно нежны; бедное дитя привязалось ко мне, как к единственной женщине, которая может ее понять. По ее словам, она меня обожает. Им потребовались деньги, и Дженаро написал оперу, которая, однако, не принесла ему в Италии тех доходов, которые получают композиторы в Париже. Вот письмо Беатрисы, теперь вы поймете его, если только юноша в ваши годы может разбираться в сердечных делах,— добавила Фелисите, протягивая Каллисту письмо.

В эту минуту в комнату вошел Клод Виньон. При его внезапном появлении Каллист и Фелисите умолкли—она от неожиданности, он от смутного беспокойства. Огромный, высокий и мощный лоб этого двадцатисемилетнего, уже облысевшего человека, казалось, был омрачен облаком раздумья. В очертаниях рта чувствовался ум и холодная ирония. Внешность Клода Виньона поражала, и лицо его, должно быть, еще недавно было прекрасно, теперь же его мертвенная бледность говорила о преждевременном увядании. В двадцатилетнем возрасте он напоминал божественного Рафаэля, но теперь нос—эта часть лица меняется у человека прежде всего — заострился; само лицо было помято, как бы под воздействием некоего таинственного разрушения, если так можно выразиться; черты расплылись, кожа приобрела болезненный, свинцовый оттенок, и на всем облике лежала печать усталости, хотя никто не знает, в сущности, от чего устал этот молодой человек, постаревший, очевидно, от горького одиночества и бесплодных раздумий. Он копается в чужих мыслях без видимой цели и системы, все разрушает острием своей критики и не создает ничего. Это не усталость зодчего, а отупение того, кто не способен творить. Глаза его, бледно-голубые и некогда блестящие, ныне подернулись дымкой неведомых забот, потухли от угрюмой печали; разгульная жизнь обвела их темными тенями. Виски давно потеряли свежесть. Подбородок несравненного изящества округлился, но это не придало Виньону приятного благородства. Голос его, и прежде не особенно звучный, стал еще глуше: нельзя сказать, что он хрипит или шеп-

чет, вернее—он и хрипит и шепчет одновременно. Невозмутимость этого поблекшего красавца, неподвижность его взгляда не могут скрыть нерешительности и слабости, которую особенно выдает умная и насмешливая улыбка. Слабость эта мешает ему действовать, но отнюдь не мыслить; его мысли доступно все,— об этом свидетельствует не только высокое чело, но и вся игра лица, какого-то детского и вместе с тем надменного. Одна особенность его внешности пояснит вам странности этого характера: Виньон высокого роста, слегка сутулится, как и все люди, живущие в мире идей. Именно при худобе и высоком росте часто замечается недостаток настойчивости, а также и творческой энергии. Карл Великий, Нерсес, Велизарий, Константин являются исключениями из этого правила, и исключениями чрезвычайно знаменательными. Конечно, Клода Виньона не так-то легко разгадать. Он очень прост и в то же время очень сложен. Хотя Клод изменчив, как куртизанка, разум его непоколебим. Этот ум может одинаково тонко разбираться в искусствах, науках, литературе, политике, но беспомощен в житейских делах. Сам Клод смотрит на себя сквозь призму своего незаурядного интеллекта и посему относится к внешней стороне своей жизни с чисто диогеновской беспечностью. С него довольно его проницательности, его способности все понимать, и он презирает вопросы материальные; но когда нужно создавать, его тут же охватывают сомнения, он видит только препятствия, не замечая красоты созидания, и так долго выбирает средства, что в конце концов теряет возможность действовать, опускает руки. Это ум, погруженный в чисто турецкую пассивность, дремотный и мечтательный. Критика — его опиум, книги — его гарем, и именно это внушило ему отвращение к действию. Равнодушный ко всему на свете, к малому и к великому, он вынужден временами предаваться разгулу, чтобы скинуть на минуту бремя мысли, отречься хотя бы на мгновение от власти своего всемогущего анализа. Его слишком занимает оборотная сторона гения, и понятно теперь, почему Фелисите пыталась направить Клода на истинный путь. Соблазнительнейшая задача! Клод Виньон почитает себя не только великим писателем, но и великим политиком, однако сей непризнанный Макиавелли смеется в душе над тщеславными и преуспевающими, он знает меру

своих сил и в соответствии с этим ясно представляет себе возможное будущее: ну что ж, вот он стал великим, а сколько еще препятствий! А как глупы выскочки! Ему становится страшно, противно, время уходит, а он так и не берется за дело. Подобно фельетонисту Этьену Лусто, подобно прославленному драматургу Натану, подобно журналисту Блонде, он вышел из среды буржуазии: именно ей современное общество обязано большинством крупных писателей.

— Как вы сюда попали? — спросила мадемуазель де Туш, вспыхнув не то от радости, не то от изумления.

— Через дверь,— сухо ответил Клод Виньон.

— Оставьте,— сказала Фелисите, пожимая плечами,— будто я не знаю, что вы не такой человек, чтобы влезать в окно.

— Почему бы нет? Подобный штурм всегда лестен для любимой женщины, она должна гордиться им, как почетной наградой.

— Довольно,— перебила его Фелисите.

— Я вам помешал? — осведомился Клод Виньон.

— Сударь,— вмешался наивный Каллист,— вот это письмо...

— Оставьте его при себе, я ничего от вас не прошу; *в наши годы такие вещи понятны без слов*,— насмешливо прервал юношу Клод.

— Но, сударь!..— с негодованием воскликнул Каллист.

— Успокойтесь, молодой человек, я более чем снисходителен ко всякому чувству.

— Мой дорогой Каллист,— произнесла Фелисите, желая вмешаться в разговор.

— «Дорогой»? — переспросил Клод, не дослушав ее.

— Клод шутит,— продолжала Фелисите, обращаясь к Каллисту,— и очень неуместно, ведь вы не понимаете парижских шуток.

— Я не умею шутить приятно,— с серьезным видом возразил Виньон.

— Каким путем вы шли? Я целых два часа глаз не спускала с дороги на Круазик.

— Боюсь, вы все-таки спускали с нее глаза,— ответил Виньон.

— Ваши насмешки утомительны.

— Насмешки?

Каллист поднялся с места.

— Вы уходите? Вам здесь не так уж плохо,— сказал Виньон.

— Зачем вы так говорите?— возразил пылкий юноша; он нагнулся к руке Фелисите, и она почувствовала горячую слезинку, упавшую из его глаз.

— Как бы мне хотелось быть этим молодым человеком,— сказал критик, усаживаясь и беря мундштук наргиле.— Как он умеет любить!

— Вы правы,— слишком даже, потому что таких не любят,— сказала мадемуазель де Туш.— Да, кстати, завтра приезжает госпожа Рошфид.

— Отлично!— воскликнул Виньон.—Вместе с Конти?

— Он только привезет маркизу, но у меня она будет жить одна.

— Они поссорились?

— Нет.

— Сыграйте мне сонату Бетховена, я плохо знаю его фортепьянные произведения.

Клод стал медленно набивать трубку наргиле табаком и незаметно следил за Фелисите; одна мысль его ужасала: ему вдруг показалось, что впервые в жизни порядочная женщина оставляет его в дураках.

А Каллист, шагая по дороге домой, не думал больше ни о Беатрисе де Рошфид, ни о ее письме; он негодовал на Клода Виньона, сердился на себя за то, что, как ему казалось, совершил неделикатный поступок. он жалел бедную Фелисите. Как! Быть любимым этой несравненной женщиной и не молиться на нее, не верить ее улыбке, ее взгляду? Теперь, когда Каллист убедился собственными глазами, как страдала Фелисите, поджидая счастливца Виньона, когда вспомнил, как неотрывно смотрела она в сторону Круазика, ему хотелось растерзать этот холодный и бледный призрак, ибо, как правильно заметила Фелисите, он ничего не понимал в тех комедиях, которые разыгрывают с наивными людьми остроумцы-журналисты. Для Каллиста любовь была религией, но не божественной, а человеческой. Заметив во дворе фигуру сына, баронесса не могла сдержать радостного возгласа, а старая девица дю Геник свистнула Мариотте.

— Мариотта, мальчик идет, готовь сладкое..

— Да, мадемуазель, я уже его видела,— ответила повариха.

Баронессу дю Геник немного встревожила грусть, омрачавшая чело Каллиста; мать, конечно, и не подозревала, что причиной тому явилось недостаточно уважительное, по мнению ее сына, отношение Виньона к Фелиците; чтобы успокоиться, Фанни взялась за вышивание. Старуха Зефирина еще быстрее задвигала спицами. Барон уступил сыну кресло и медленно зашагал по залу, как будто хотел поразмять ноги, прежде чем выйти на ежедневную прогулку в сад. Ни в одном фламандском или голландском интерьере не найдем мы ни таких коричневых тонов, ни такой пленительной гармонии человеческих образов. Красивый юноша в черном бархатном сюртуке, его мать, такая же прекрасная собой, и старые брат и сестра дю Геник, собравшиеся в этой старинной зале, являли собой трогательнейшую картину семейного благолепия. Фанни очень хотелось порасспросить сына, но он вытащил из кармана письмо Беатрисы, которое, быть может, таило в себе угрозу счастью этого благородного дома. И, разглядывая белый листок, Каллист представил себе маркизу в том наряде, который так красочно нарисовала мадемуазель де Туш

Письмо Беатрисы к Фелисите.

«Генуя, 2 июля.

Последний раз я писала вам, дорогой мой друг, из Флоренции; но с тех пор Венеция и Рим поглотили все мое время, и потом, вы сами знаете, что счастье тоже занимает немалое место в нашей жизни. Одним письмом больше или меньше, разве это изменит что-либо в наших отношениях? Я немного устала. Я хотела видеть все, а для тех, кто не знает быстрого пресыщения, постоянные наслаждения утомительны. Наш общий друг имел блестящий успех в театре «Ла Ска́ля», в «Фениче», а в последнее время в «Сан-Карло». Три итальянских оперы за два года! — согласитесь же, что любовь не развила в нем лени. Нас повсюду встречали великолепно, но, не скрою, я предпочла бы одиночество и покой. Разве уединенная жизнь не лучший удел для женщины, которая восстановила против себя свет? Я на это и надеялась. Любовь,

дорогая моя, куда более требовательный хозяин, нежели брак, но как сладко повиноваться ей! Сделав любовь сущностью всей своей жизни, не думала я, что мне вновь придется увидеть свет,— хотя бы мимоходом, хотя бы случайно; даже знаки внимания ранят меня. Ведь я уже не на равной ноге с женщинами высшего общества. Чем больше мне оказывали внимания, тем чувствительнее было унижение; Дженаро не понимает всех этих тонкостей, и он сам так счастлив, что я сочла бы преступлением не принести мои женские чувства в жертву тому великому, что есть в жизни художника. Мы, женщины, живем лишь для любви, тогда как мужчины живут и для любви и для действия; в противном случае они не мужчины. Однако женщине, поставившей себя в такое положение, как мое, приходится переживать немало тяжелых минут; вы избегли этого,— вы остались великой в глазах света, он не имеет на вас никаких прав; ваша воля оставалась свободной, но, увы, этого нельзя сказать обо мне. Говорю об этом только применительно к нашим сердечным делам, а отнюдь не к тому положению в обществе, которым я пожертвовала. Вы могли быть кокетливой и своевольной, в вас было все очарование женщины, в чьей власти дарить любимому сокровища чувств или лишить его их; вы сохранили огромное преимущество — вы могли своевольничать, чтобы оттенить свою благосклонность и еще больше нравиться человеку, которого вы отличили. Словом, вы и поныне свободны в своих мнениях, а я потеряла свободу сердца, которая, на мой взгляд, одно из наслаждений любви, пусть даже любовь эта — вечная страсть. Я не имею права мило ссориться, смягчая свое недовольство смехом, а мы, женщины, так ценим это преимущество: разве не этим зондом мы прощупываем свое и чужое сердце? Я не смею угрожать. Вся моя притягательность в покорности, в безграничной кротости, я должна внушать уважение величием своей любви; я предпочла бы умереть, нежели расстаться с Дженаро, ибо единственное оправдание моей страсти — это святое постоянство. Ведь я, не колеблясь, сделала выбор между уважением ко мне со стороны общества и моим собственным уважением к себе, которое является тайной моей совести. Если подчас меня охватывает грусть, подобная облачку, набежавшему на чистое небо, и которой мы, женщины, предаем-

ся иной раз с такой охотой, я молчу о ней, я не желаю, чтобы ее приняли за признак раскаяния. Бог мой, я так хорошо изучила круг своих обязанностей и поняла, что мой щит — всепрощение, но по сей день Дженаро ни разу не потревожил моей настороженной ревности. Право же, я до сих пор не обнаружила в моем дорогом гении, в моем добром Дженаро, уязвимого или слабого места. Кажется, ангел мой, я похожа на ханжу, которая вступает в спор с богом,— ибо разве не вам обязана я всем своим счастьем? Итак, надеюсь, вы не сомневаетесь в том, что я часто думаю о вас. Наконец-то я повидала Италию, так же как видели ее в свое время вы, как нужно и должно видеть эту прекрасную страну,— всю освещенную лучами нашей любви, как освещена она своим роскошным солнцем и великими произведениями искусства. И потому я жалею любопытствующих путешественников: попав в страну, где каждый шаг готовит нам новые очарования, они не имеют близ себя дорогого друга, чтобы пожать ему руку, близкой души, которой можно было бы излить преизбыток волнений, которые будит и успокаивает Италия. Эти два года важнее всей моей жизни, и память моя надолго будет переполнена ими. Разве в свое время не мечтали вы, подобно мне, поселиться навсегда в Кьявари, купить дворец в Венеции, домик в Сорренто, виллу во Флоренции? Разве я исключение? Ведь все влюбленные женщины боятся враждебного им света; понятно, что я, выброшенная из общества, почувствовала желание навсегда похоронить себя в каком-нибудь дивном уголке Италии, среди благоухающих цветов, на берегу синего моря или в долине, которая еще лучше моря, как, например, в Фьезоле? Но, увы, мы с Конти только бедные художники, и нужда в деньгах гонит двух детей богемы в Париж. Дженаро не хочет, чтобы я жалела о покинутой роскоши, и направляется в Париж, где уже начали репетировать его большую оперу. Вы, конечно, сами понимаете, моя прелесть, что ноги моей не будет в Париже. Ради моей любви я не желаю стать убийцей, а я непременно стану ею, если замечу первый брошенный на меня косой взгляд женских или мужских глаз. Да, да, я готова растерзать любого, кто удостоит меня своей жалостью, окажет мне снисхождение, подобно тому, как очаровательная Шатонеф, если не ошибаюсь, при Генрихе III,

затоптала копытами своего коня купеческого старшину за преступление подобного рода. Итак, пишу, чтобы сообщить, что я вскоре приеду к вам в Туш и буду ждать в этой обители возвращения из Парижа нашего Дженаро. Видите, как я смела со своей благодетельницей и сестрой. Но, верьте, я не похожа на тех, кто платит неблагодарностью за оказанные им благодеяния. Вы так много рассказывали мне о трудностях пути, что я решила добраться до Круазика морем. Эта мысль пришла мне в голову, когда я узнала, что в ваши края отплывает небольшое датское судно, груженное мрамором,— приняв груз соли, оно отправится затем в Балтику. Таким образом, я избегну утомительного и дорогого путешествия в почтовой карете. Я знаю, что в Туше вы не одни, и я счастлива: иначе мне было бы стыдно за свое блаженство. Вы единственный человек в мире, с которым я могу быть одна, без Конти. И разве вам не будет приятно иметь подле себя женщину, которая поймет ваше счастье и не будет завидовать ему? Итак, до скорого свидания. Дует попутный ветер, и я отправляюсь в путь, посылая вам тысячу поцелуев».

«Увы! И эта тоже любит»,— подумал Каллист, печально складывая письмо.

Грусть его отозвалась в сердце матери и лучом яркого света озарила тьму неведения. Барон вышел в сад. Фанни затворила дверь, ведущую в башенку, и, подойдя к сыну, оперлась на спинку кресла, в котором он сидел; в этой позе она похожа была на сестру Дидоны с знаменитой картины Герена, она поцеловала Каллиста в лоб и спросила:

— Что огорчает тебя, родной мой, отчего ты так грустен? Ты обещал мне объяснить, почему ты зачастил в Туш. И помнишь, ты сказал, что я должна благословлять его владелицу?

— Да, это верно, дорогая маменька! — воскликнул юноша.— Она показала мне, как несовершенно мое образование, а ведь нынче дворянин только личными заслугами может возродить блеск своего имени. Я так же далек от нашего века, как Геранда от Парижа. Право, Фелисите отчасти моя духовная мать.

— Ну, за это я не могу благословлять ее,— промолвила баронесса, и глаза ее наполнились слезами.

— Маменька! — продолжал Каллист, почувствовав, что на его лоб скатились две горячие слезинки, две жемчужины наболевшей материнской души.— Маменька, не плачьте, если бы вы знали... Вот только что я хотел оказать ей услугу и обрыскать весь берег — от таможни до Батца, а она сказала мне: «Ведь ваша матушка будет беспокоиться».

— Она сказала это? За эти слова я многое могу простить ей,— промолвила Фанни.

— Фелисите желает вашему сыну только добра,— заговорил Каллист,— она удерживается при мне от слишком резких и смелых слов, на которые так быстры художники, она не хочет поколебать моей веры, хотя ничто не может ее поколебать. Она рассказала мне, что молодые люди из самых знатных, но небогатых семей, приезжая из провинции в Париж,— ну, как, скажем, приехал бы туда я,— прокладывают себе силой своей воли, своего ума дорогу к богатству и высокому положению. Ведь я могу добиться того же, чего добился барон де Растиньяк,— а он нынче стал министром. Фелисите дает мне уроки музыки, учит меня итальянскому языку, поверяет мне тысячи тайн, составляющих силу в современном обществе, о которых в Геранде не имеют и представления. Она не может подарить мне сокровища своей любви, но она рассыпает передо мной сокровища своего ума, своей души, своего таланта. Она хочет быть для меня не наслаждением, а светочем; она не касается моих убеждений: она верит в дворянство, она любит Бретань, она...

— Она подменила нам нашего Каллиста,— вдруг произнесла слепая старуха,— ибо я не поняла ни слова из того, что ты наговорил. У тебя, милый племянничек, хороший дом, старые родители, которые тебя обожают, старые добрые слуги; ты можешь жениться на славной бретоночке, на верующей и превосходной девушке; такая жена составит твое счастье, а твой старший сын осуществит твои честолюбивые чаяния, ибо он будет втрое богаче тебя; если только ты будешь бережливым, согласишься жить спокойно, скромно, под милосердным покровом господа,— ты сможешь выкупить наши земли. Все это просто, как бретонское сердце. Пусть не так скоро, но ты станешь богатым, по-настоящему богатым дворянином.

— Тетушка права, мой ангел, она печется о твоем сча-

стье не меньше, чем я сама. Если мне не удастся женить тебя на мисс Маргарет, дочери твоего дяди лорда Фитц-Вильяма, я не сомневаюсь, что мадемуазель де Пеноэль откажет все свое состояние той из ее племянниц, которую ты предпочтешь.

— Да и мы для тебя наскребем малую толику,— вполголоса произнесла старая тетка с самым загадочным видом.

— Жениться! В мои годы? — воскликнул Каллист, бросая на Фанни молящий взгляд, способный побороть в материнском сердце доводы рассудка. «Значит, я так и проживу, не изведав прекрасной и безумной любви?— думал он.— Значит, не суждено мне узнать трепета сердца, сладостного страха, я не паду к ногам любимой, сраженный неумолимым взглядом, и не сумею его смягчить? Значит, я не узнаю свободной красоты, взлетов души, облачков, которые затмевают чистую лазурь счастья и рассеиваются при первом дуновении ласки? Значит, не красться мне по тайным тропинкам, влажным от утренней росы? И никогда не стоять мне у заветного окна, не замечая, что идет дождь, как те влюбленные, которых описал Дидро? Значит, я не положу на ладонь, подобно герцогу Лотарингскому, пылающий уголь? Не буду взбираться по шелковой лестнице? Не притаюсь у старой, сгнившей решетки, стараясь не выдать себя даже скрипом? Не спрячусь в шкаф или под постель? Неужели женщина будет для меня только покорной супругой, а пламень страстной любви — ровным горением лампы? И все влекущие тайны откроются мне слишком легко? И я проживу, не изведав неистовства сердца, которое дает зрелость и силу мужчине? Значит, мне суждено быть монахом в супружестве? Нет! Я уже вкусил от древа парижской премудрости. Разве не видите вы, что ваши чистые и бесхитростные нравы уготовили в моей душе тот огонь, который пожирает меня, но я зачахну, так и не успев познать божество, разлитое повсюду,— а я вижу его в зелени листвы, и в песке, зажженном золотыми лучами солнца, и в каждой прекрасной, благородной, изящной женщине, воспетой в поэмах, которыми я наслаждаюсь в библиотеке Камилла. Увы, таких женщин нет в Геранде. или, вернее, есть только одна, но это моя мать! Мои грезы, мои прекрасные синие птицы,

прилетают из Парижа, они выпархивают из страниц Байрона и Вальтера Скотта: это Паризина, Эффи, Минна! И, наконец, та герцогиня, та королева, которую я видел в ландах, среди дрока и вереска; от одного взгляда на нее у меня замирало сердце!»

Баронесса угадывала мечты сына, мать понимала, что они подсказаны юношеской жаждой жизни; никакое перо не может передать эти мысли, промелькнувшие в горящем взоре Каллиста быстрее стрелы, пущенной из лука. Даже женщина, никогда не читавшая Бомарше, и та поняла бы, что женить такого Керубино — просто преступление!

— Дорогое мое дитя,— произнесла она, обнимая сына и целуя его кудри, такие же прекрасные, как у нее самой,— женись на ком знаешь, только будь счастлив. Я не хочу, чтобы ты страдал.

Вошла Мариотта и стала накрывать на стол. Гаслен не показывался,— он прогуливал лошадь Каллиста, которую тот за последние два месяца совсем забросил. Все три женщины дома Геников — мать, тетка и служанка, не сговариваясь, руководимые чисто женской хитростью, всякий раз, когда Каллист обедал дома, старались придать семейной трапезе праздничный вид. Бретонская бедность, взяв себе за оружие воспоминания и милые привычки детских лет Каллиста, пыталась вступить в единоборство с парижской цивилизацией, столь полно представленной всего в двух шагах от Геранды — в имении Туш. Мариотта стремилась отвратить молодого господина от изысканных ухищрений поварской кухни Камилла Мопена, подобно тому, как мать и тетка превосходили друг друга в ласковых заботах, заманивая свое обожаемое детище в тенета такой нежности, которой, как им казалось, ничто не страшно.

— У нас сегодня, сударь, будут окуни, бекасы и блинчики; уж, поверьте на слово, нигде вам таких блинчиков не едать, как дома,— заявила Мариотта с лукавым и торжествующим видом, любуясь скатертью белее снега горных вершин.

После обеда, когда старуха-тетка снова взялась за нескончаемое свое вязанье, когда явились герандский кюре и кавалер дю Альга, предвкушая прелести ежевечерней мушки, Каллист отправился в Туш под тем предло-

гом, что ему якобы необходимо вернуть Фелисите письмо Беатрисы.

Клод Виньон и мадемуазель де Туш еще не вставали из-за стола. Великий критик был и великим гастрономом; Фелисите поощряла в нем этот порок, ибо знала, что, потакая слабостям мужчины, женщина приковывает его к себе. Уже внешний вид столовой, обстановка и убранство которой обогатились за этот месяц новыми приобретениями, свидетельствовал о том, с какой гибкостью и быстротой женщина умеет приноровиться к положению и характеру, к страстям и наклонностям мужчины, которого она любит или хочет полюбить. Обеденный стол являл собой богатое и блистательное зрелище. Здесь было все, что предлагает к услугам светского общества современная роскошь, которой промышленность дарит все свои усовершенствования. Родовитое, но бедное семейство Геников не знало, с каким соперником оно имеет дело и какое состояние требуется для того, чтобы состязаться с серебряной посудой, переделанной по последней парижской моде; с фарфором, который, по мнению хозяйки, пригоден был только в сельском уединении; с камчатными скатертями и салфетками, с позолоченными вазами, с безделушками столового убранства, с умением искусного повара. Каллист отказался от ликера, который подали в великолепном деревянном поставце, похожем на церковный ковчежец.

— Я принес письмо,— сказал Каллист, с наивным хвастовством поглядывая на Клода, медленно цедившего заморский ликер.

— Ну, а что вы о нем скажете? — спросила мадемуазель де Туш и перебросила письмо Виньону, который не спеша принялся читать, прихлебывая из рюмки.

— Скажу... что парижанки на редкость счастливы, вокруг них столько гениев, которых они могут обожать и которые любят их.

— Вот как,— смеясь, сказала Фелисите.— Оказывается, вы простодушны, как деревенская пастушка. Неужели вы не поняли, что Беатриса уже охладевает и что...

— Это чувствуется в каждой строчке! — ответил Клод Виньон, не дочитав даже первого листка.— Разве человек, если только он действительно влюблен, замечает свое положение? Бывает ли он таким проницатель-

ным, как маркиза? Рассчитывает ли он? Так тонко во всем разбирается? Наша милая Беатриса привязана к Конти своею гордыней и осуждена любить его вопреки всему.

— Бедная женщина! — вздохнула Фелисите.

Каллист пристально глядел на роскошное убранство стола, но ничего не видел. Прекрасная дама в фантастическом наряде, нарисованном нынче утром Фелисите, вставала перед ним в сиянии своей прелести; она улыбалась ему, она медленно обмахивалась веером; а другая ее рука, выходящая из кружевного обшлага и пурпурного бархата, пряталась, ослепительно белая и тонкая, в тяжелых складках великолепного платья.

— Значит, вам придется ею заняться,— сказал Клод Виньон, с сардонической улыбкой взглянув на Каллиста.

Каллиста оскорбило слово «заняться».

— Не сбивайте с толку наше дорогое дитя, подобные интриги не для него. Ваши шутки опасны. Я знаю Беатрису, она не может быть непостоянной, у нее возвышенная душа, да к тому же и Конти будет здесь.

— Ага! — насмешливо воскликнул Клод Виньон.— Ревность заговорила!

— Надеюсь, вы шутите?—гордо спросила Фелисите.

— Нимало. Вы чрезвычайно проницательны, редкая мать могла бы сравниться с вами,— ответил Клод.

— Да разве это возможно? — произнесла де Туш, указывая на Каллиста.

— А почему бы и нет? — возразил Клод.— Они прекрасно подходят друг к другу. Она на десять лет старше его, а он похож на юную деву.

— Однако эта «юная дева», сударь, дважды понюхала пороху в Вандее. Если бы нашлось двадцать тысяч таких девиц, то...

— Я воздаю вам должное,— сказал Виньон,— и заранее отпускаю ваши грехи, что мне, впрочем, гораздо легче, чем вам отпустить бороду.

— У меня есть шпага, которая сбривает слишком длинные бороды.

— А у меня способность отбрить любого эпиграммой,— ответил, улыбаясь, Виньон,— мы оба с вами французы, как-нибудь сговоримся.

Мадемуазель де Туш бросила на Каллиста умоляющий взгляд, который разом смирил его гнев.

— Почему это,— начала Фелисите, желая положить конец спору,— почему юноши вроде моего Каллиста всегда начинают свою сердечную жизнь, влюбляясь в дам на возрасте?

— А по-моему, нет чувства более наивного, более великодушного,— произнес Виньон,— это естественное следствие пленительной юности. Впрочем, что стали бы делать стареющие дамы без этой любви? Вы молоды и прекрасны и будете такой еще и через двадцать лет, при вас не страшно это говорить,— добавил критик, бросив на мадемуазель де Туш лукавый взгляд.— Во-первых, полувдовы, к которым адресуются молодые люди, умеют лучше любить, нежели молодые женщины. Юноша сам слишком похож на молодую женщину, чтобы они могли ему нравиться. Подобная страсть напоминала бы миф о Нарциссе. Помимо этого взаимного отвращения, их разделяет, на мой взгляд, присущая им обоим неопытность. Таким образом, естественно, что сердце молодой женщины может понять только тот мужчина, у которого под истинной или напускной страстью скрывается опытность; что касается женщин, то, если не говорить об особенностях женского и мужского ума, даме «на возрасте» легче удается очаровать юношу: он отлично понимает, что здесь его ждет успех, ведь тщеславию женщины весьма льстят ухаживания юнца. И, наконец, вполне понятно, что юности свойственно лакомиться зрелыми плодами, а ими богата щедрая осень женщин. В самом деле, разве не прекрасны эти взгляды, и смелые и осторожные, при случае томные, увлажненные последними отблесками любви, такие горячие и такие сладостные? А это искусное изящество слов, эти ослепительные, золотистые, роскошные плечи, эти округлые линии, эти волнистые очертания пышных форм, эти руки все в ямочках, эта кожа, нежная, как мякоть плода, питаемого мощными соками, это светлое чело, отражающее всю полноту расцветших чувств; искусная прическа с милым ровным пробором, эта шея с великолепными складками, этот волнующий изгиб затылка, где искусство парикмахера ловко подчеркивает контраст иссиня-черных волос и ослепительно белой кожи,— во всем чувствуется пере-

полненная чаша жизни и дерзость любви. Даже брюнетки приобретают в эту пору тона, свойственные блондинкам, цвет амбры, цвет зрелости. Такие женщины умеют показать улыбкой и словами свое знание света: они прекрасные собеседницы, они не пощадят человечества, лишь бы вызвать у вас усмешку, в них есть высокие достоинства и гордость; а как они умеют испускать душераздирающие крики, прощаясь с любовью, хотя отнюдь не собираются прощаться с ней, и будят в нас тем самым заснувшую было страсть; они молодеют у нас на глазах, до бесконечности разнообразя самые, казалось бы, безнадежно простые вещи; они кокетливо твердят о своем увядании, они опьяняются своим успехом, и это опьянение передается нам; их преданность безгранична; они слушают вас, они любят вас, наконец, они хватаются за любовь, как приговоренный к смерти цепляется за какой-нибудь пустяк, связывающий его с жизнью; они напоминают тех адвокатов, которые умеют добиться полного помилования своему подзащитному, не докучая судьям; они пускают в ход все допустимые средства; словом, абсолютную любовь можно узнать только через них. Таких женщин забыть невозможно: все великое и возвышенное незабываемо. Молодую женщину очень многое отвлекает от ее чувства, а с годами это проходит, исчезает самолюбие, тщеславие, мелочность, и любовь зрелых женщин — это Луара, широко разлившаяся в устье: она необъятна, она приняла в себя все разочарования, все светлые и темные потоки жизни, и вот почему... моя юная дева молчит,— добавил Клод, видя, с каким восторженным лицом сжимает мадемуазель де Туш руку Каллиста, как бы желая отблагодарить его за то, что он вызвал Клода на хвалу, столь торжественную, что на сей раз ей можно было верить.

В течение всего вечера Клод Виньон и Фелисите блистали как никогда, они рассказывали Каллисту анекдоты и сценки из жизни парижского общества, и юноша даже увлекся Клодом, ибо острота ума особенно действует на людей, живущих чувством.

— Полагаю, что маркиза де Рошфид вместе с Конти явятся к нам завтра,— сказал Клод на прощание.— Когда я был в Круазике, моряки говорили, что должно прибыть не то датское, не то норвежское, не то шведское

судно.— При этих словах невозмутимая Фелисите вспыхнула.

Нынче г-жа дю Геник опять поджидала сына до часа ночи и никак не могла понять, что же делает ее Каллист в Туше, раз Фелисите его не любит.

«Он их просто стесняет»,— думала эта наивная женщина.

— О чем это вы так долго беседовали? — спросила она появившегося в дверях Каллиста.

— Ах, маменька, никогда еще я не проводил более восхитительного вечера. Талант — нечто великое, нечто возвышенное. Почему не одарили вы меня талантом? Обладая талантом, можешь выбрать среди женщин ту, которую любишь, и она непременно будет твоей.

— Но ты хорош собою, Каллист.

— Моя красота видна только здесь, дома. Впрочем, и Клод Виньон красив. У людей, отмеченных печатью гения, лучезарное чело, глаза мечут молнии; а я, несчастный, умею только любить.

— Говорят, что этого вполне достаточно, мой ангел,— сказала Фанни, целуя сына в лоб.

— Правда?

— Так мне по крайней мере говорили, сама я этого не испытала.

Каллист благоговейно прильнул к руке матери.

— Я буду любить тебя, маменька, я заменю тех, кто мог бы тебя боготворить.

— Милое мое дитя, это ведь отчасти твой долг, ты унаследовал свои чувства от меня. Но постарайся быть благоразумнее: раз уж тебе пришло время любить, люби только чистых женщин.

Какому юноше, жаждущему любви и вынужденному вести скромную жизнь, не пришла бы в голову, подобно Каллисту, сумасбродная мысль отправиться в Круазик, чтобы присутствовать при прибытии маркизы де Рошфид и тайком насладиться ее красотой? Каллист несказанно удивил родителей, которые, понятно, не подозревали о приезде прекрасной маркизы: рано поутру, даже не позавтракав, их сын ушел из дома. Один бог знает, с какой поспешностью наш юный бретонец вскочил с постели! Казалось, какая-то неведомая сила ведет его, он не чувствовал своего тела, как тень, он проскользнул мимо забора,

окружавшего Туш, боясь, чтобы его не заметили. Это очаровательное дитя стыдилось своего нежданного пыла и еще больше опасалось, что его поднимут на смех,— Фелисите и Клод Виньон были так проницательны и такие острословы! Ведь в подобных случаях молодые люди считают, что все их мысли написаны у них на лице. Каллист шагал по тропинке, извивавшейся среди лабиринта соляных озер, и чуть ли не бегом пересек пески, хотя солнце уже сильно припекало и глазам было больно от нестерпимо яркого света. Он добрался до берега, вымощенного камнем; здесь возле самой воды стоял домик, где путешественники находили приют от грозы, морских шквалов, дождя и урагана. Не при всякой погоде можно сразу перебраться через небольшой заливчик, не всегда можно сразу достать баркас, и поэтому, поджидая лодочников, приходится иногда укрывать от непогоды лошадей, ослов, товары или багаж. Отсюда открывается вид на море и на город Круазик; и отсюда Каллист скоро заметил два баркаса, нагруженные сундуками, ящиками, свертками, саквояжами и баулами, форма и внешний вид которых являл для местных жителей редкостное зрелище и свидетельствовал о том, что владельцы всех этих богатств — путешественники необычные. В одном баркасе сидела рядом с мужчиной молодая женщина в соломенной шляпке. Они подплыли первыми. Каллист задрожал; но когда лодка приблизилась, он понял, что это слуга и горничная, но не осмелился обратиться к ним с расспросами.

— Вы едете в Круазик, господин Каллист? — спрашивали юношу моряки, которые знали семейство дю Геников. Каллист вместо ответа отрицательно качал головой,— ему было стыдно, что они выдали его инкогнито.

Каллист пришел в восторг при виде сундука, обтянутого просмоленным брезентом, на котором было выведено: «Маркиза де Рошфид». Это имя блистало в его глазах, как талисман, ему чудилось в нем что-то роковое; он знал, он не сомневался, что полюбит эту женщину; самые ничтожные пустяки, имевшие к ней хоть какое-то отношение, уже занимали его, интересовали, возбуждали его любопытство. И понятно. Разве юность, среди пылящей пустыни беспредельных и беспредметных желаний, не направляет все свои силы на первую же привлекательную женщину? К Беатрисе перешла, как бы по наслед-

ству, любовь, которой пренебрегла Фелисите. Каллист следил, как разгружают на берегу вещи, и время от времени бросал взгляд на Круазик, в надежде увидеть лодку, которая отойдет от порта, приблизится к мысу, где ревело море, и привезет ему его Беатрису, ставшую для него тем, чем была Беатриса для Данте,— бессмертной мраморной статуей, к ногам коей он сложит и цветы и лавры. Юноша стоял, скрестив на груди руки, погруженный в свои мысли. Достойна внимания одна черта человеческого характера, над которой, однако, почти не задумывались: очень часто мы подчиняем все свои чувства единому стремлению, сами налагаем на себя обязательства, сами творим свою судьбу, и значение случая не так уж велико, как нам то кажется.

— Что-то я не вижу лошадей! — сказала горничная, сидевшая на чемодане.

— А я не вижу, по какой дороге они могут проехать,— ответил слуга.

— Однако же они здесь были,— возразила горничная, указывая на неоспоримые следы присутствия лошадей. — Скажите, пожалуйста, сударь,— обратилась она к Каллисту,— эта дорога ведет в Геранду?

— Да,— ответил Каллист.— А кого вы ждете?

— За нами должны приехать из Туша. Если запоздают прислать лошадей, не знаю уж, как маркиза и переоденется,— добавила, она, обращаясь к слуге.— По-моему, вам надо сейчас пешком пойти к мадемуазель де Туш. Что за дикий край!

Каллист смутно почувствовал, в каком ложном положении он очутился.

— Ваша хозяйка направляется в Туш? — спросил он.

— Мадемуазель де Туш приехала за ней в семь часов,— ответила горничная.— А-а! Вот, наконец, и лошади...

С быстротой лани Каллист бросился по направлению к Геранде, петляя, как заяц, преследуемый охотниками: он боялся, что его узнают слуги Фелисите; и в самом деле, он встретил их на тропинке, вившейся вдоль озера.

«Войти или не войти?» — думал он, когда перед ним возникли сосны, окружавшие усадьбу.

Но он струсил; пристыженный и сокрушенный, поплелся он к Геранде и, не заходя домой, стал прохажи-

ваться по площади, чтобы обдумать на покое создавшееся положение. Он дрожал при виде островерхой кровли Туша и знакомого флюгера.

«А она и не подозревает о моем волнении»,— думал он.

Беспорядочные мысли опутывали, как сетью, его сердце и влекли его к маркизе. Каллист не переживал этих страхов, этих радостей предвкушения, когда он прежде думал о Фелисите; он впервые встретил Фелисите, когда та ехала верхом, и его желание родилось сразу, как будто он увидел прекрасный цветок и захотел его сорвать. Но подобная неизвестность — настоящая поэма для робкой души. Воспламененная первыми искрами воображения, юная душа то воспаряет в восторгах, то гневается, то стихает, мечты разгораются, и в тишине, в уединении любовь достигает высшего предела, еще не достигнув предмета стольких своих желаний.

На другом конце площади Каллист заметил кавалера дю Альга; старик прогуливался с мадемуазель де Пеноэль; вдруг юноша услышал свое имя и проворно спрятался за дерево. Кавалер и старая девица, считая, что вокруг никого нет, беседовали громко, как дома.

— Когда Шарлотта Кергаруэт приедет,— говорил кавалер,— пусть она побудет у вас три-четыре месяца. Как же она может пленить Каллиста, ежели, гостя в Гераиде, не успевает даже повидать его как следует; другое дело, когда они будут встречаться каждый день. Наши милые детки в конце концов влюбятся друг в друга, и мы их поженим следующей зимой. Если вы намекнете об этом самой Шарлотте, она признается Каллисту, а девица в шестнадцать лет всегда будет иметь преимущество перед женщиной в сорок с лишним.

Старики повернули обратно и удалились; Каллист не слышал больше их слов, но он понял замысел мадемуазель де Пеноэль. В том душевном состоянии, в котором он находился, подслушанный разговор подействовал на него роковым образом. Какой юноша среди радостных чаяний любви согласится жениться на девушке, которую прочат ему в супруги? До сих пор Шарлотта де Кергаруэт была ему безразлична. Но теперь он почувствовал к ней даже неприязнь. Ему были чужды корыстные расчеты, с детских лет он привык к скромной жизни под роди-

тельским кровом, и к тому же не знал о том, как богата мадемуазель де Пеноэль,— ведь она казалась, пожалуй, еще беднее, чем сами Геники. Впрочем, юноша, получивший такое воспитание, как Каллист, выше всего ценит чувства, и не удивительно, что все помыслы Каллиста принадлежали маркизе. Кем была незаметная Шарлотта по сравнению с тем великолепным портретом, который набросала Каллисту мадемуазель де Туш? Подругой детства, почти сестрой. Только к пяти часам вернулся Каллист домой. Когда он вошел в залу, мать, грустно улыбаясь, протянула ему письмо из Туша.

«Дорогой мой Каллист,— гласило письмо,— прекрасная маркиза де Рошфид приехала; мы хотим отпраздновать ее прибытие и рассчитываем на вас. Неисправимый насмешник Клод утверждает, что вы будете *Биче*, а она станет вашим Данте. Дело чести Бретани и дю Геников достойно встретить представительницу семейства Катеран. Итак, ждем.

Ваш друг *Камилл Мопен*.

Приходите запросто, а то мы с вами можем попасть в смешное положение».

Каллист показал письмо матери и поспешил в Туш.

— Кто такие эти Катераны? — спросила Фанни мужа.

— Старинный нормандский род, состоящий в отдаленном родстве с Вильгельмом Завоевателем,— ответил дю Геник. — Их герб трехчастный; цвета́ — лазурь, пурпур и чернь; правое поле — пурпурное, на нем изображен скачущий серебряный конь с золотыми подковами. «Молодец» погиб из-за красавицы, незаконной дочери одной из Катеранов,— той самой, которая ушла в Сеэзский монастырь, когда ее бросил герцог де Верней, и стала там настоятельницей.

— А Рошфиды?

— Никогда не слыхал, надо справиться в гербовнике.

У Фанни стало легче на душе, когда она узнала, что маркиза Беатриса де Рошфид принадлежит к старинному роду; но ее терзало беспокойство при мысли, что любимое ее дитя подвергнется новым соблазнам.

Шагая по направлению к Тушу, Каллист испытывал чувства в равной мере сладостные и бурные; дыхание его пресекалось, сердце готово было выпрыгнуть из груди, разум мутился; его била лихорадка. Он пытался замедлить шаг, но какая-то неодолимая сила гнала его вперед. Всем юношам знакомо это неукротимое буйство чувств, вызванное первой, еще неясной надеждой: в душе теплится слабый огонек, и лучи его образуют как бы нимб вроде тех, что пишут художники вокруг чела святой мученицы, но сквозь это сияние молодой глаз различает сверкающую природу, ослепительный лик женщины. Да и сами они разве не уподобляются святым, ведь их так же переполняет вера, надежда, они так же пламенны и чисты. Наш юный бретонец застал все общество в верхней маленькой гостиной на половине Камилла. Было уже около шести часов; лучи заходящего солнца, играя в ветвях, окрашивали все вокруг в багряные тона; воздух был спокоен, и в гостиной стоял тот предвечерний сумрак, который так мил женскому сердцу.

— Вот вам и депутат Бретани,— обратилась с улыбкой Фелисите к своей приятельнице, указывая ей на Каллиста, который в это время как раз подымал портьеру,— и к тому же точен, как король.

— А вы узнаете его по походке? — спросил Клод Виньон.

Каллист поклонился маркизе, которая молча ответила ему легким поклоном, и не осмелился взглянуть на нее. Затем он пожал руку Клоду Виньону.

— А вот тот великий человек, о котором мы с вами так много говорили,— наш Дженаро Конти,— сказала Фелисите, казалось, не расслышав замечания Клода.

Она указала Каллисту на мужчину среднего роста, тонкого и хрупкого; волосы у него были каштановые, глаза какие-то красноватые, нежная белая кожа усеяна веснушками; он чрезвычайно напоминал лорда Байрона, так что нет нужды его описывать; отметим только, что у Конти была, пожалуй, более гордая посадка головы. Он немало кичился своим сходством с знаменитым поэтом.

— Весьма счастлив, что имею случай познакомиться с вами в тот единственный день, что я проведу в Туше,— произнес Дженаро

— Не вы, а я должен благодарить счастливый случай,— ответил Каллист.

— Да он красив, как бог,— сказала маркиза своей подруге.

Стоя возле дивана, на котором сидели дамы, Каллист услышал эти слова, хотя они были произнесены полушепотом. Он уселся в кресло и украдкой взглянул на маркизу. В неясном закатном свете он заметил только какую-то белую и змеистую фигуру, как будто помещенную здесь искусным ваятелем, и на минуту ослеп от восхищения. Фелисите, сама того не подозревая, оказала Беатрисе немалую услугу своим вчерашним описанием. Маркиза была в десятки раз прекраснее того не совсем лестного портрета, который мастерски набросала мадемуазель де Туш. И кто знает, не ради ли юного гостя Беатриса украсила свою поистине царственную шевелюру пучком васильков, которые выгодно оттеняли бледный тон ее длинных легких локонов, спадавших на плечи. Ее веки, окруженные синевой — след дорожной усталости,— были чисты, как перламутр, и так же переливчаты, как он, и окраска их сообщала блеск глазам маркизы. Под белоснежной кожей, нежной и шелковистой, как пленка яйца, по синим, тонким жилкам переливалась сама жизнь. Лицо ее поражало тонкостью черт. Лоб казался прозрачным. Эта пленительная, нежная головка была гордо посажена на длинную шею безупречного рисунка, подвижное лицо то и дело меняло выражение. Тонкая талия, которую можно было охватить двумя пальцами, восхищала своей гибкостью. Открытые плечи отсвечивали в полумраке, как цветок белой камелии в иссиня-черных волосах. Края кружевной косыночки с умыслом расходились, приоткрывая слабо очерченную, но очаровательную грудь. Белое муслиновое платье, вышитое синими цветами, широкие рукава, заостренный мысом корсаж без пояса, туфельки с перекрещивающимися на тонких шелковых чулках лентами — все говорило о превосходном вкусе маркизы де Рошфид. Серебряные филигранные серьги, истинное чудо генуэзского ювелирного искусства, которым, без сомнения, суждено было войти в моду, чудесно гармонировали с воздушным облаком белокурых волос, украшенных васильками. Каллист жадным взором оценил эти красоты и запечатлел их в своем сердце. Белокурая Беатриса и

темноволосая Фелисите являли собой разительный контраст, который так любят изображать в своих кипсеках английские художники и граверы. Здесь были представлены и сила и слабость женщины во всем богатстве их проявлений, в наиболее полном их противопоставлении. Эти две женщины не могли стать соперницами, каждая из них владычествовала в своей области. Глядя на них, вы невольно вспомнили бы бирюзу и рубин, подснежник или белую лилию, рядом с которыми блещет пурпуром пышный мак. В одно мгновение Каллист был охвачен любовью, которая увенчала все его чаяния, страхи и сомнения, все, что долго и втайне переживал он.

Мадемуазель де Туш пробудила его чувства. Беатриса воспламенила его сердце и мысль. Наш юный бретонец почувствовал, что в нем подымается сила, способная все победить, преодолеть все преграды. Он бросил на Конти завистливый, ненавидящий, мрачный и боязливый взгляд, исполненный ревности,— так он никогда не глядел на Клода Виньона. Каллист собрал все свои силы, чтобы сдержаться, и, тем не менее, подумал, как правы турки, запирая женщин, и что следовало бы запретить таким вот прекрасным созданиям показываться во всеоружии своих дразнящих чар перед молодыми людьми, в сердце которых горит пламень страсти. Этот неистовый ураган чувств, впрочем, тут же утих, как только юноша ощутил на себе взгляд Беатрисы и услышал ее тихий голос: бедный мальчик уже трепетал перед ней не меньше, чем перед господом богом. Раздался звонок, призывавший к обеду.

— Каллист, предложите руку маркизе,— сказала Фелисите; сама она пошла к столу, имея по правую сторону Конти, а по левую Виньона, и немного задержалась, чтобы пропустить вперед молодую пару.

Спускаясь по лестнице, Каллист чувствовал себя, как воин в первом бою; сердце у него замирало, он молчал, не зная, что сказать, капли холодного пота выступили у него на лбу и на спине; рука дрожала так сильно, что на последней ступеньке маркиза обратилась к нему с вопросом:

— Что с вами?

— Но я никогда в жизни,— ответил Каллист задыхающимся голосом,— не видал такой прекрасной женщи-

ны, как вы,— конечно, кроме моей матери. Я не в силах владеть своими чувствами.

— А как же Фелисите?

— О, разве можно вас сравнивать! — простодушно воскликнул юноша.

— Отлично, Каллист,— шепнула ему Фелисите.— Я ведь говорила вам, что вы забудете меня, как будто меня и нет на свете. Сядьте здесь, по правую руку маркизы, а слева сядет Виньон. А ты, Дженаро, останешься при мне,— добавила она смеясь,— мы будем наблюдать, как Беатриса кокетничает.

Необычный тон, которым были произнесены последние слова, поразил Клода, и он бросил на Фелисите быстрый и как будто рассеянный взгляд, который служил, однако, верным признаком того, что великий критик — весь внимание. В течение обеда он продолжал неотступно наблюдать за мадемуазель де Туш.

— Кокетничать? — переспросила маркиза, снимая перчатки и показывая свои прелестные ручки.— Вы правы. Ведь с одной стороны у меня поэт,— добавила она, указывая на Клода,— а с другой сама поэзия.

Дженаро Конти бросил на Каллиста льстивый взгляд. При свете зажженных канделябров Беатриса казалась еще красивее. Яркий отблеск свечей играл на ее атласном лбу, зажигал в ее газельих глазах искорки, пронизывал ее шелковистые локоны, переливался и блестел в золотых прядях. Грациозным жестом она откинула легкий газовый шарф, Каллист впервые увидел ее нежную с глубокой ямочкой молочно-белую шею, мягко переходящую в покатые плечи. Эти чудесные перемены, которых женщины добиваются с помощью одного-единственного движения, не производят в свете особо сильного впечатления — там глаз уже давно пресытился всем,— но в неопытной душе, подобной душе Каллиста, они совершают жестокие опустошения. Шея Беатрисы, так не похожая на шею Фелисите, свидетельствовала о резком несходстве их характеров. Здесь чувствовалась гордыня и упрямство, свойственные знати, это была поистине жестокая выя, свидетельствовавшая о былой силе древних завоевателей.

Юноша делал над собой невероятные усилия, чтобы проглотить хоть кусок, но напряжение нервов лишало

его всякого аппетита. Каллист испытывал мучительную внутреннюю судорогу, которая сопутствует зарождению первой любви и навсегда запечатлевает в сердце этот миг. В юном возрасте пыл сердца обуздывается силой нравственного чувства, и это ведет к страшной душевной борьбе; отсюда и долгие, почтительные колебания молодого любовника, глубокие его раздумья, исполненные нежности, отсутствие всякого расчета, что составляет чудесную притягательность юношей, непорочных умом и телом. Изучая украдкой маркизу де Рошфид, чтобы не возбудить ревности Дженаро, и стараясь понять характер ее благородной красоты, Каллист вскоре впал в уныние, почувствовал себя маленьким и ничтожным — так подавляла его величавая осанка любимой женщины и высокомерный взгляд маркизы, ее лицо, где каждая черта дышала аристократизмом; гордость, которую женщина умеет подчеркнуть самым пустячным движением, наклоном головы, восхитительной медлительностью жестов,— все эти эффекты не так уж искусственны и заучены, как думают обычно. Неприметные изменения женского лица отражают нежнейшие изгибы души. Это не только внешность, это выражение чувств. Ложное положение, в котором находилась Беатриса, обязывало ее зорко следить за собой, держаться строго, не становясь при этом смешной; великосветские красавицы умеют добиться желаемой цели, к которой безуспешно стремятся женщины вульгарные.

По взглядам Фелисите Беатриса угадала, какое чувство она внушила своему юному соседу, и сочла, что недостойным было бы с ее стороны поощрить это обожание; поэтому она бросила на Каллиста в подходящий момент строгий, предостерегающий взгляд, который произвел на него действие снежной лавины. Несчастный жалостно посмотрел на мадемуазель де Туш, та поняла, что только нечеловеческим усилием воли юноша удерживается от слез, и спросила его дружеским тоном, почему он ничего не ест. Повинуясь ее красноречивому взгляду, Каллист начал действовать ножом и вилкой и сделал вид, что принимает участие в общем разговоре. Он мечтал понравиться, а досадил маркизе — вот какая мучительная мысль сверлила его мозг. Смущение его еще больше усилилось, когда он заметил за стулом маркизы слугу, которого встретил

утром; наверное, он доложит о расспросах Каллиста. Г-жа де Рошфид не обращала на своего соседа ни малейшего внимания, не заметила даже, счастлив ли он или угнетен. Мадемуазель де Туш навела разговор на путешествие в Италию, и Беатриса, очень к случаю и очень умно, рассказала о том, как к ней во Флоренции воспылал нежданной страстью русский дипломат, и тут же высмеяла молодых людей, которые бросаются к ногам женщин, как кузнечики в зеленую травку. Ее рассказам смеялись Клод Виньон, Дженаро, смеялась даже сама Фелисите, хотя она знала, что эти насмешливые речи могут ранить сердце Каллиста, который с трудом улавливал смысл беседы сквозь непрерывный гул в ушах, болезненно отдававшийся в голове. Бедный мальчик не клялся, подобно многим упрямцам, любой ценой овладеть этой женщиной; о нет,— он не сердился, он страдал. Когда он понял намерение Беатрисы заклать его у ног Дженаро, он подумал: «Пусть я хоть для чего-нибудь пригожусь ей»,— и покорно, как агнец, сносил насмешки и уколы Беатрисы.

— Вы так любите поэзию,— обратился Клод Виньон к маркизе,— почему же вы так дурно обращаетесь с ней? Разве это наивное восхищение, такое прелестное в своем выражении, не таящее ни одной задней мысли, разве оно не подлинная поэзия сердца? Признайтесь же, вы не можете не испытывать радости и удовлетворения.

— Вы правы,— ответила она,— но мы, женщины, были бы несчастными, более того, недостойными созданиями, если бы отвечали каждому на внушенную нами страсть.

— Чем вы разборчивее,— вмешался Конти,— тем более мы гордимся вашей любовью.

«Когда же меня изберет и отличит женщина?» — думал Каллист, с трудом подавляя жестокое волнение.

Он залился краской, как больной, чьей незажившей раны коснулась неосторожная рука. Увидя болезненно исказившееся лицо Каллиста, Фелисите была потрясена и, желая подбодрить и утешить его, бросила на юношу дружеский взгляд. Клод Виньон перехватил этот взгляд. Писатель вдруг развеселился, но шутки его переходили в сарказмы: он стал на сторону Беатрисы, он вслед за ней уверял, что любовь поддерживается только

желанием, что большинство влюбленных женщин обманывает себя, что причины их любви подчас непонятны им самим, а также и мужчинам, что иногда они даже стремятся обманывать себя и что даже самые благородные из них — кривляки.

— Судите о наших книгах, но не критикуйте наших чувств,— прервала писателя Фелисите, бросив на него повелительный взгляд.

Конец обеда прошел невесело. Обе дамы притихли под впечатлением насмешливых речей Клода Виньона. Каллист испытывал невероятные муки, хотя был несказанно счастлив, видя возле себя Беатрису. Конти не спускал глаз с маркизы, стараясь угадать ее мысли. Когда обед окончился, мадемуазель де Туш взяла Каллиста за руку, пропустила вперед маркизу с двумя другими кавалерами и быстро шепнула юному бретонцу:

— Дорогое мое дитя, если маркиза вас полюбит, она выставит Конти за дверь; но вы ведете себя так, что можете только упрочить их связь. Если даже она в восторге от вашего обожания, разве ей позволительно это обнаружить? Умейте же владеть собой.

— Но она жестока со мной, она никогда не полюбит меня,— промолвил Каллист,— а если она не полюбит меня, я умру.

— Умрете?.. Вы? Родной мой Каллист! — воскликнула Фелисите.— Вы дитя. Ведь не собирались же вы умереть ради меня?

— Вы сами пожелали быть только моим другом,— возразил он.

Среди обычных разговоров, которые ведутся за послеобеденной чашкой кофе, Клод Виньон попросил Конти спеть что-нибудь. Мадемуазель де Туш села за рояль. Фелисите и Дженаро спели «Dunque, il mio bene, tu mia sarai»[1] — заключительный дуэт из «Ромео и Джульетты» Цингарелли, одну из самых трогательных арий современной музыки. Пассаж Di tanti palpiti[2] выражает любовь во всем ее величии. Каллист, сидя в том самом кресле, где сидела накануне Фелисите, рассказывая ему о маркизе, слушал певцов с благоговением. Беатриса и

---

[1] «Наконец, мое сокровище, моей ты будешь...» *(итал.)*.
[2] Трепет сердца *(итал.)*.

Виньон стояли по обе стороны рояля. Божественный голос Конти чудесно сплетался с сопрано Фелисите. Они десятки раз пели эту арию, и оба так умели подчеркнуть наиболее выгодные места, так чудесно спелись, что в их исполнении дуэт звучал на редкость трогательно. Они сумели передать как раз то, что хотел сказать композитор, создавая поэму небесной печали, слияние двух лебединых песен. Дуэт вызвал у всех те высокие переживания, которых не выразишь пошлым «браво».

— Нет, музыка — первое среди искусств! — воскликнула маркиза.

— А Фелисите превыше всего ставит молодость и красоту — первую из всех поэм,— вставил Клод.

Мадемуазель де Туш взглянула на Клода с каким-то смутным беспокойством, которое она, впрочем, пыталась скрыть. Беатрисе с ее места не было видно Каллиста, и она обернулась, как бы желая проверить, какое впечатление произвела на него музыка, но не столько ради Каллиста, сколько ради своего тщеславного возлюбленного; в полутемной амбразуре окна она увидела бледное юношеское лицо, по которому катились крупные слезы. Маркизу словно кольнуло в сердце, она отвернулась и взглянула на Дженаро. Сама музыка встала во всем своем величии перед Каллистом и коснулась его своей волшебной палочкой; впервые он видел искусство без таинственных покровов и растворился в нем; не только музыка ошеломила юношу, но и огромный талант Конти. Вопреки всему, что рассказывала о нем Фелисите, юноша поверил, что композитор обладает великой душой, что сердце его исполнено любви. Кому под силу соперничать с таким художником? Как может женщина не обожать его всю свою жизнь? Этот голос проникал в душу, как входит в нее другая душа. Бедный юноша был подавлен в равной мере и силой поэзии и силой своего отчаяния: таким незначительным казался он себе. Сознание собственного ничтожества, смешанное с неподдельным восторгом, читалось на его лице. И он не заметил, как Беатриса, поддавшись обаянию подлинных чувств, знаком указала на него мадемуазель де Туш.

— О, это золотое сердце,— произнесла Фелисите.— Знаете, Конти, сколько вы ни срывали в жизни апло-

дисментов, они — ничто перед поклонением этого ребенка. Споем-ка теперь трио,— Беатриса, дружок, идите сюда.

Когда маркиза, Фелисите и Конти подошли к роялю, Каллист потихоньку поднялся, незаметно прошел в спальню, бросился там на софу и застыл, погруженный в безысходное отчаяние.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ДРАМА

— Что с вами, дитя мое? — спросил Клод, тихонько опускаясь рядом с Каллистом и беря его за руку.— Вы влюблены, вы считаете, что вами пренебрегают; но все это пустяки. Через несколько дней вы останетесь здесь один, у вас будут развязаны руки, вы можете здесь царить, вас полюбят, и не одна; словом, если вы сумеете должным образом вести себя, вы будете просто султаном.

— Что вы говорите? — воскликнул Каллист и покорно последовал за Клодом в библиотеку.— Кто меня любит?

— Камилл,— ответил Клод.

— Камилл меня любит? — переспросил Каллист.— А как же вы?

— А я,— ответил Клод,— я...

Он замолчал. Он сел и в глубокой задумчивости откинулся на подушку.

— Я устал от жизни, но у меня не хватает мужества расстаться с ней,— промолвил он после молчания.— Я хотел бы ошибаться, говоря так, но, к сожалению, уже в течение нескольких дней многое прояснилось. Уверяю вас, друг мой, что я отнюдь не ради удовольствия лазил по круазикским скалам! И если по возвращении в Туш, когда я застал вас в оживленной беседе с Фелисите. я сказал несколько горьких слов,— причиной тому уязвленное самолюбие. Вскоре я объяснюсь с нею. Два таких проницательных ума, как она и я, не могут долго обманываться. Поединок между двумя опытными дуэлянтами длится всего несколько минут. Таким образом, я заранее могу объявить вам о моем отъезде. Да, да,

завтра я уеду из Туша вместе с Конти. И, конечно, во время нашего отсутствия здесь произойдут странные, ужасные вещи; мне от души жаль, что я не буду присутствовать при этой битве страстей, столь редкостной во Франции и столь захватывающей. Вы слишком молоды для такой опасной борьбы, и, право, мне жаль вас. Если бы женщины не внушали мне такого глубокого отвращения, я непременно остался бы, чтобы помочь вам выиграть партию: она сложна, вы можете проиграть, вам придется иметь дело с двумя необыкновенными женщинами, а вы уже и сейчас слишком влюблены в одну из них, чтобы сделать своим орудием другую. В характере Беатрисы преобладает упрямство, а у Фелисите преобладает величие. И, быть может, вы, как хрупкий и беззащитный челн, увлекаемый потоком страстей, разобьетесь между этими двумя скалами. Берегитесь же.

И Клод Виньон, не дав юноше собраться с мыслями, вышел из комнаты. Каллист оцепенел, он испытывал приблизительно то же, что испытывает путешественник в Альпах, когда проводник бросает при нем камень в пропасть с намерением показать ее бездонную глубину. Узнать из уст самого Клода Виньона, что он, Каллист, любим Фелисите, узнать в тот момент, когда сам он почувствовал, как в сердце его зародилась любовь к Беатрисе, любовь до гроба! Такая весть непосильным бременем легла на юную душу. Томимый острой печалью о прошлом, подавленный сложным положением, в котором он очутился,— любить Беатрису, когда его любит Фелисите, которую он не любит,— бедный юноша впал в отчаяние. Он не знал, что предпринять, мысли одна мрачнее другой овладевали им. Он безуспешно пытался понять, почему Фелисите отвергла его любовь и помчалась в Париж за Клодом Виньоном. Временами сквозь закрытые двери до него долетал чистый и свежий голос маркизы. И он снова испытывал тягостное волнение, хотя именно для того, чтобы избежать его, он забрел в спальню. Минутами он не мог совладать с поднимавшимся в нем яростным желанием схватить ее в объятия и унести отсюда. Что же теперь ему делать? Посмеет ли он завтра вернуться в Туш? И как может он обожать Беатрису, сознавая, что его любит Камилл? Он не знал, на что решиться. Мало-помалу в доме воцарилась тишина.

Рассеянно прислушивался юноша к стуку закрывающихся дверей. Потом вдруг часы пробили двенадцать, и одновременно из соседней комнаты до его слуха донесся спор Фелисите и Клода: их голоса вывели Каллиста из оцепенения, в которое он впал, ему показалось, что за дверью блеснул свет, способный рассеять темноту. Он хотел выйти из своего убежища, но его остановили ужасные слова Виньона.

— Когда вы приехали в Париж, вы уже были безумно влюблены в Каллиста,—говорил он,—но вы убоялись последствий этой страсти,— ведь в ваши годы она может привести в бездну, в ад, а быть может, и к самоубийству! Любовь противостоит испытаниям лишь в том случае, если она считает себя вечной, а вы знали, что еще немного, и вам грозит разлука. Пресыщение и старость скоро прервали бы божественную поэму. Вы вспомнили «Адольфа», вспомнили печальную развязку любви мадам де Сталь и Бенжамена Констана, хотя между ними разница лет была меньше, чем между вами и Калли-стом. Вы воспользовались мной, как фашиной, чтобы воздвигнуть укрепление, обороняясь от врага. Но не затем ли вы хотели заставить меня полюбить Туш, чтобы проводить здесь дни в тайном поклонении вашему кумиру? Замысел разом и низкий и возвышенный, но для того чтобы он удался, вам нужен был человек или уж очень заурядный, или же, наоборот, поглощенный высокими мыслями,— такого легче провести. Вы решили, что я прост, что меня легко обмануть, как и всякого талантливого человека. Но я, должно быть, только умный человек — и я вас разгадал. Когда вчера вечером я воздавал хвалы женщинам вашего возраста и разъяснил вам, почему вас полюбил Каллист, неужели вы думаете, что я принял на свой счет ваши восхищенные, блестящие, очарованные взгляды? Я уже тогда читал в вашей душе. Правда, ваш взор был устремлен на меня, но сердце ваше билось для Каллиста. Вы никогда не были любимы, бедная моя Фелисите, и вас никто уже не полюбит; вы сами отказались от прекрасного плода, посланного вам случаем на пороге ада, куда время гонит женщину в вашем возрасте; и при роковой цифре пятьдесят врата ада захлопываются навеки.

— Почему любовь всегда бежала меня? — произнес-

ла Фелисите взволнованным голосом.—Скажите же, ведь вы все знаете.

— А потому, что у вас нет женской кротости,— ответил Клод,— потому что вы не сгибаетесь перед любовью, а хотите согнуть ее. Вы, пожалуй, можете увлечься детскими шалостями и хитростями, но в вашем сердце нет юности, ваш ум слишком глубок, вы никогда не были наивны и не начнете же вы наивничать с нынешнего дня. Вы прелестны, но ваша прелесть бездейственная, вернее, ее воздействие ограничено областью возвышенного и отвлеченного. Ваша сила отвращает от вас сильных людей, ибо они предчувствуют борьбу. Ваша властность может прийтись по вкусу лишь юной душе, подобной Каллисту, которая жаждет покровительства, но в больших дозах она утомляет. У вас есть величие и благородство, так испытайте же на себе бремя этих достоинств — оно подчас тяготит.

— Какой страшный приговор! — воскликнула Фелисите.— Значит, я не женщина? Значит, я чудовище?

— Возможно,— ответил Клод.

— Ну, это мы еще посмотрим! — вскричала мадемуазель де Туш, задетая за живое.

— Прощайте, дорогая моя, завтра я уезжаю. Я не сержусь на вас, Камилл: я считаю вас самой великой среди женщин; но если я соглашусь выполнять при вас роль ширмы или занавеса,— добавил Клод, подчеркнув последние слова,— вы первая станете меня презирать. Расстанемся же без сожаления и укоров: нам не о чем жалеть, ибо мы не были счастливы, и не в чем разочаровываться — ведь мы ни на что и не надеялись. Для вас, как и для других людей великих, высоких дарований, которые ныне так редки, любовь — не то, чем создала ее природа: для вас она не настоятельная потребность, удовлетворение которой сопровождается яркими, но скоропреходящими радостями, кончающимися рано или поздно; в ваших глазах любовь такова, какой ее сделало христианство: царство идеала, полное благороднейших чувств, прелестных пустяков, поэзии, интеллектуальных наслаждений, преданности, добродетели, волшебной гармонии; ваша любовь недосягаема для обыденной грубости и доступна лишь двум избранным существам, которые слились в один ангельский образ и, как ангелы, уно-

сятся ввысь на крыльях наслаждений. Вот на что я надеялся, я верил, что овладел ключом к двери, которая заперта для стольких ищущих и за которой открывается бесконечность. Та бесконечность, думал я, куда вы сами уже вступали. Я возвращаюсь в нищету, в мою обширную темницу, именуемую Парижем. Достаточно единственного разочарования в лучшую пору жизни, чтобы отныне я стал избегать женщин: теперь в моей душе убиты все иллюзии, я навсегда погружаюсь в ужасное одиночество, и нет у меня той веры, что вдохновляла пророков и скрашивала их уединение. Вот, дорогая моя Фелисите, к чему ведет превосходство ума, и мы можем с вами спеть тот страшный гимн, который поэт вложил в уста Моисея, взывающего к богу: «Господь, ты сотворил меня могучим, но одиноким».

При этих словах в дверях показался Каллист.

— Я должен вас предупредить, что я здесь,— сказал он.

Мадемуазель де Туш вздрогнула от испуга, ее невозмутимое лицо запылало ярким румянцем. В течение всей этой сцены она была прекраснее, чем когда-либо за всю свою жизнь.

— А мы думали, что вы уже ушли, Каллист,— сказал Клод,— но наша взаимная нескромность не опасна; быть может даже, узнав, какова Фелисите, вы будете чувствовать себя в Туше спокойнее. Молчание мадемуазель де Туш доказывает, что́ я не ошибся относительно той роли, которую она мне отвела. Она любит вас, как я уже вам говорил, но любит ради вас, а не ради себя; такое чувство доступно лишь редким женщинам: не многие из них знают сладость мук, рожденных страстью; этим великолепным чувством природа наделила только мужчин; но ведь Фелисите сама отчасти мужчина,— добавил он насмешливо.— Ваша любовь к Беатрисе причинит ей немало страданий и сделает ее вместе с тем счастливой.

Слезы выступили на глазах мадемуазель де Туш, которая не осмеливалась взглянуть ни на беспощадного Клода Виньона, ни на простодушного Каллиста. Ее пугала мысль, что она разгадана, она надеялась, что даже самый проницательный мужчина не в силах понять эту утонченную жестокую игру, которую она затеяла и которая гра-

ничит с героизмом. При виде страдания Фелисите, которая чувствовала себя униженной Клодом, потому что он сорвал завесу с ее величия, Каллист почувствовал, как близка ему печаль этой женщины; он так высоко ставил ее и такой жалкой предстала она ему сейчас. В неудержимом порыве он упал на колени перед Фелисите и стал целовать ее руки, прижимая их к своему лицу, залитому слезами.

— Клод,— сказала Фелисите,— не покидайте меня, что станется со мной?

— Чего, в сущности, вы боитесь? — возразил критик.— Каллист уже влюблен в маркизу. Где же найти более мощный барьер между им и собой, тем более, что любовь эта вызвана вами же. Эта страсть вполне заменит вам меня. Еще вчера в опасности были и вы и он, а теперь вас ожидают материнские радости,— добавил он, бросая на Фелисите насмешливый взгляд.— Вы будете гордиться его торжеством.

Мадемуазель де Туш взглянула на Каллиста, который при последних словах поднял голову. Клоду Виньону не требовалось лучшего возмездия,— он наслаждался смущением Каллиста и Фелисите.

— Вы толкнули его к маркизе де Рошфид,— продолжал он,— и сейчас он очарован ею. Вы сами вырыли себе могилу. А доверься вы мне, вы избежали бы тех горестей, что подстерегают вас.

— Несчастный! — вскричала Фелисите. Она взяла обеими руками голову Каллиста и поцеловала его в волосы, заливаясь слезами.— Нет, Каллист, забудьте все, что вы здесь слышали, вы не обязаны мне ничем!

Она поднялась с кресла, выпрямилась, и взгляд ее, метавший молнии, взгляд, в котором блистала вся ее душа, сразил обоих мужчин.

— Слушая Клода,— сказала она,— я постигла красоту и величие безнадежной любви, я поняла, что она— единственное чувство, которое приближает нас к богу. Не надо любить меня, Каллист, но я буду любить тебя так, как никогда не полюбит ни одна женщина.

Эти слова вырвались из ее груди как стон, как крик: так кричит в гнезде раненая орлица. Клод преклонил колени, взял руку Фелисите и поцеловал ее.

— Оставьте нас, друг мой,— сказала мадемуазель де

Туш, обращаясь к юноше,— ваша матушка будет беспокоиться.

Медленным шагом возвращался в Геранду Каллист, и десятки раз оборачивался он в сторону Туша, чтобы увидеть свет, пробивавшийся из окон спальни Беатрисы. Он сам дивился себе, как мало в его душе было сочувствия к Фелисите,— он почти сердился на нее за то, что она лишила его счастья, которым он мог наслаждаться целых полтора года. А временами при воспоминании о страданиях Фелисите его охватывала дрожь, он чувствовал на своих волосах пролитые ею слезы, ему чудилось, что он слышит жалобные стоны, он видел поверженной эту великую женщину, к которой так стремился всего несколько дней назад. Открывая калитку родительского дома, погруженного в глубокую тишину, он заметил в окне при свете старомодной нелепой лампы силуэт матери; она сидела за вышиванием, поджидая сына. При виде ее Каллист не мог удержать слез.

— Что еще с тобой случилось? — воскликнула Фанни, и лицо ее выразило мучительное беспокойство.

Ничего не ответив, Каллист взял мать за руки и поцеловал ее в обе щеки, в лоб, в волосы в том страстном порыве сыновней любви, который так восхищает сердце матери и согревает ей душу нежным пламенем жизни, ею зачатой.

— Просто я люблю тебя,— сказал Каллист, а мать сконфузилась и покраснела.— Люблю тебя, ведь ты живешь только мной, и я хочу, чтобы ты была счастлива.

— Ты нынче сам не свой, мой мальчик,— проговорила баронесса, пристально глядя на сына.— Что с тобой случилось?

— Фелисите любит меня, но я не люблю ее,— ответил он.

Баронесса притянула к себе Каллиста, поцеловала его в лоб, и среди глубокого безмолвия старой мрачной залы сын услышал удары материнского сердца, затрепетавшего от радости. Прекрасная ирландка ревновала сына к Камиллу и угадывала истину. Поджидая вечерами возвращения сына, мать изучила чувства Фелисите; долгие ночные размышления осветили ей сердце этой женщины, и, не будучи в состоянии понять ее, она вообразила, что этой девушкой владеет причудливая мечта о

материнстве. Рассказ Каллиста напугал наивную и прямодушную Фанни.

— Что ж,— сказала она, подумав,— люби маркизу де Рошфид, она не причинит мне страданий.

Беатриса не свободна, она не разрушит тех планов, какие должны были привести Каллиста к счастью — так по крайней мере думала Фанни; она видела в маркизе скорее невестку, которую можно любить, чем мать-соперницу.

— Но Беатриса никогда не полюбит меня! — воскликнул Каллист.

— Кто знает,— ответила баронесса, тонко улыбаясь.— Ведь ты же сам говоришь, что завтра она останется одна.

— Да.

— Так послушай меня, дитя мое,— начала Фанни краснея.— Ревность живет в глубине каждого сердца, и я не подозревала, что она проснется во мне, ибо думала, что никто не может отнять у меня любовь моего Каллиста.— Фанни вздохнула.— Мне казалось,— продолжала она,— что брак для тебя будет тем же, чем был он для меня. Но ты просветил мою душу за эти два месяца, и я увидела, как пышно, как естественно расцвела твоя любовь, мой бедный мальчик! Так вот, сделай вид, что ты по-прежнему влюблен в мадемуазель де Туш; маркиза почувствует ревность и будет твоей.

— О маменька, Фелисите вряд ли сказала бы мне это! — вскричал Каллист, обняв мать и целуя ее в шею.

— Ты развратил меня, скверное дитя,— ответила Фанни, чувствуя себя бесконечно счастливой при виде сына. Каллист с сияющим радостью и надеждой лицом весело подымался по винтовой лестнице.

На следующее утро Каллист приказал Гаслену отправиться на дорогу, ведущую из Геранды в Сен-Назер, дождаться там, когда проедет карета мадемуазель де Туш, и сосчитать, сколько сидит в ней людей.

Гаслен вернулся домой в то время, когда вся семья сидела за завтраком.

— Что случилось? — осведомилась девица дю Геник.— Гаслен бежит, как будто вся Геранда загорелась!

— Верно, поймал мышь-полевку,— сказала Мариотта, подавая на стол кофе, молоко и жаркое.

— Но ведь он явился из города, а не из сада,— возразила Зефирина.

— А мышь-то живет в норе за стеной, со стороны площади,— ответила Мариотта.

— Их было пятеро, господин Каллист,— четверо пассажиров и кучер.

— На заднем сиденье две дамы? — спросил Каллист.

— И два господина на переднем,— ответил Гаслен.

— Живо седлай батюшкину лошадь и скачи во весь дух в Сен-Назер. Помни, что ты должен поспеть к отплытию парохода на Пембеф. Как только увидишь, что те двое господ уехали, скачи немедленно обратно.

Гаслен вышел из комнаты.

— По-моему, племянничек,— сказала старуха Зефирина,— вы что-то уж слишком разыгрались!

— Пускай забавляется, сестрица! — воскликнул барон.— Вчера он сидел нахохлившись, как сова, а нынче веселится, как зяблик.

— Значит, вы сказали ему, что наша милая Шарлотта приезжает? — воскликнула старая девица, обращая свои невидящие глаза к невестке.

— Нет,— ответила та.

— А я-то думала, что Каллист хочет встретить ее на дороге,— продолжала с лукавым видом мадемуазель дю Геник.

— Если Шарлотта проведет у тетки целых три месяца, он успеет еще повидаться с ней,— возразила баронесса.

— Что же это произошло со вчерашнего дня, сестрица? — продолжала старуха.— Вы ведь так радовались, что к мадемуазель де Пеноэль приезжает племянница!

— Жаклина хочет женить меня на Шарлотте, чтобы спасти от погибели, тетушка,— сказал Каллист; он залился веселым смехом и, обменявшись с матерью понимающим взглядом, продолжал: — Я случайно был на площади, когда мадемуазель де Пеноэль беседовала с кавалером дю Альга,— только она не подумала, что если я женюсь в мои годы, вот тогда действительно придет моя погибель.

— Значит, богу угодно, чтобы я умерла в беспокойстве и горе! — вскричала старая девица, прерывая Каллиста.— Мне хотелось бы перед смертью знать, что род

наш не прекратится, что земли наши, хоть не все, а выкуплены, но ничего этого не будет. Что же ты, племянничек, можешь поставить выше своего долга?..

— Неужели,— вмешался барон,— мадемуазель де Туш собирается помешать Каллисту жениться, когда пробьет его час? Придется мне с ней поговорить.

— Могу вас заверить, батюшка, что Фелисите не будет препятствовать моему браку.

— Ничего не понимаю,— сказала слепая старуха; она ведь не знала о внезапно вспыхнувшей страсти своего племянника к маркизе де Рошфид. Мать не выдала секрета сына; в подобных вопросах женщины инстинктивно хранят молчание. Старая девица впала в глубокое раздумье; она прислушивалась к разговорам, старалась по звуку голоса, по шуму шагов разгадать тайну, которую от нее скрывали.

Вскоре вернулся Гаслен и заявил, что его юному хозяину нет нужды ехать в Сен-Назер,— и без того известно, что мадемуазель де Туш и ее гостья вернутся в Туш одни, и узнал это он, Гаслен, в городе от Бернюса,— тот отвозил на пристань вещи обоих господ.

— Они возвращаются одни! — вскричал Каллист.— Скорее седлай мою лошадь!

По тону молодого хозяина Гаслен решил, что происходит что-то важное; он оседлал лошадей, зарядил, ни слова никому не сказав, пистолеты и оделся, чтобы последовать за Каллистом. Каллист был счастлив, что Клод и Конти уехали, он думал только о предстоящей встрече в Сен-Назере и замирал при мысли, что будет сопровождать маркизу; он схватил руки отца и нежно пожал их, расцеловал мать и обнял старуху-тетку.

— По правде говоря, куда приятнее, когда он весел, чем когда он печалится,— произнесла старуха Зефирина.

— Куда ты направляешься, сынок? — осведомился отец.

— В Сен-Назер.

— Черт побери! А когда же свадьба? — спросил барон, который решил, что его сын понесся навстречу Шарлотте де Кергаруэт.— Мне не терпится стать дедом, да и пора бы!

Когда Гаслен появился с явным намерением сопро-

вождать Каллиста, юноша обрадовался,— значит, можно будет передать лошадь слуге и возвратиться в карете Камилла вместе с Беатрисой.

— Да ты парень с головой,— сказал Каллист, хлопнув Гаслена по плечу.

— А то как же,— ответил Гаслен.

— Послушай-ка, сынок,— сказал отец, выходя с Фанни на крыльцо,— береги лошадей, им ведь придется сделать немалый конец — добрых двенадцать лье.

Каллист вскочил на коня, обменявшись с матерью лукавым взглядом.

— Бесценное мое сокровище! — воскликнула она, видя, как Каллист нагнулся к луке седла, проезжая под аркой.

— Да сохранит его господь,— ответил барон,— боюсь, что нам уж не удастся сделать второго Каллиста.

Услышав эту игривую фразу в духе бретонских деревенских острот, баронесса вздрогнула всем телом.

— Мой племянник не так уж влюблен в Шарлотту, чтобы спешить ей навстречу,— сказала старая девица Мариотте, которая убирала со стола.

— Да не в том дело. В Туш приехала одна важная дама, вот он туда и понесся. Ничего не скажешь, по годам она ему больше подходит,— объявила служанка.

— Они убьют там нашего Каллиста,— произнесла мадемуазель дю Геник.

— От этого, мадемуазель, не умирают, напротив,— возразила Мариотта; ее до глубины души обрадовал счастливый вид Каллиста.

Каллист загнал бы своего коня, если бы Гаслен вовремя не спросил хозяина, куда они так торопятся, не к отплытию ли корабля; как раз это меньше всего входило в намерения Каллиста, он отнюдь не желал встречаться ни с Конти, ни с Клодом и тотчас перевел лошадь на рысь. С несказанно приятным чувством вглядывался он в колеи, оставленные колесами кареты на песчаной дороге. «Она проезжала вот здесь,— думал он, охваченный каким-то безумным весельем,— на этих полях, на этих деревьях покоился ее взгляд».

— Какая красивая дорога! — сказал он Гаслену.

— Да уж, сударь, красивей нашей Бретани во всем мире нет края,— ответил слуга.— Ну где вы еще найдете

такие изгороди? Все в цвету, а дороги все в зелени и вон как вьются.

— Ты прав, Гаслен.

— А вот и Бернюс едет.

— Спрячемся скорее, ведь в карете — мадемуазель де Пеноэль с племянницей.

— Где спрячемся-то?.. Бог с вами! Кругом пески.

Действительно, от песчаного берега Сен-Назера двигалась колымага, сколоченная без всяких ухищрений, со всей бретонской простотой. К великому удивлению Каллиста, в карете Бернюса было полно народа.

— Мадемуазель де Пеноэль с сестрицей и племянницей остались на берегу, они очень беспокоятся: все места в карете откупили таможенники,— пояснил возница Гаслену.

— Я пропал! — воскликнул Каллист.

И в самом деле, в карете восседали надсмотрщики таможни, которые, должно быть, спешили на соляные озера сменить своих собратьев. Каллист въехал на небольшую площадь, где стоит сен-назерская церковь,— оттуда открывается вид на Пембеф и живописное устье Луары, с ревом вливающей в море свои воды; он заметил Камилла и маркизу, которые махали на прощание платочками пассажирам, отплывавшим на пароходе. Беатриса была в тот день на редкость восхитительна: шляпка из рисовой соломки, украшенная маками и завязанная под подбородком пунцовыми лентами, бросала на ее лицо легкую тень, муслиновое платье в букетах красиво облегало стройный стан; она выставила вперед маленькую, изящную ножку, обтянутую зеленой гетрой, и стояла, опираясь на зонтик прелестной ручкой в шведской перчатке... Нет более впечатляющего зрелища, чем женская фигура на вершине скалы,— невольно вспоминается статуя на пьедестале. Конти мог с борта видеть Каллиста, подошедшего к Фелисите.

— Я подумал,— сказал юноша, обращаясь к мадемуазель де Туш,— что вам придется возвращаться одним, и поспешил сюда.

— И правильно сделали, Каллист,— ответила Фелисите, пожимая его руку.

Беатриса обернулась и окинула юного обожателя самым высокомерным взглядом из своего репертуара. Од-

нако по легкой улыбке, тронувшей губы Камилла, она поняла вульгарность этого маневра, достойного только мещанки. Тогда госпожа де Рошфид улыбнулась и промолвила:

— Скажите, а разве не дерзость с вашей стороны предположить, что Камилл может заскучать в моем обществе?

— Дорогая моя, один кавалер на двух вдов никогда не лишний,— сказала мадемуазель де Туш, беря под руку Каллиста, и отошла с ним в сторону, оставив Беатрису в одиночестве любоваться отплывающим кораблем.

В эту минуту Каллист услышал на улице, круто спускавшейся вниз, к так называемому сен-назерскому порту, голоса Гаслена, мадемуазель де Пеноэль и Шарлотты, трещавших, как сороки. Старая дева расспрашивала Гаслена и допытывалась, каким образом он и его хозяин очутились в Сен-Назере; карета мадемуазель де Туш произвела сенсацию. И прежде чем Каллист успел скрыться, Шарлотта уже заметила его.

— Вот и Каллист! — воскликнула юная бретоночка.

— Предложите дамам поехать с нами; их горничная сядет рядом с кучером,— сказала Фелисите; она слышала, что г-жа де Кергаруэт, ее дочка и мадемуазель де Пеноэль не достали места в почтовой карете.

Каллист не посмел возразить Фелисите и отправился к прибывшим передать ее приглашение. Как только г-жа де Кергаруэт узнала, что ей предлагают проехаться в карете вместе с маркизой де Рошфид и прославленным Камиллом Мопеном, она и слышать не захотела возражений старшей сестры, которая сурово запретила ей даже подходить к дьявольской колеснице, как называла она экипаж Фелисите. В Нанте, который лежит под иными, чем Геранда, так сказать, более просвещенными широтами, Камиллом Мопеном восхищались; в Нанте она считалась бретонской музой и гордостью края, она возбуждала любопытство и зависть. Прощение грехов, данное ей в Париже светским обществом и модой, подкреплялось огромным состоянием мадемуазель де Туш и, быть может, ее былыми успехами в Нанте, который гордился тем, что стал колыбелью Камилла Мопена. Не удивительно, что виконтесса де Кергаруэт, обезумев от любопытства,

повлекла за собой старшую сестру, не слушая ее причитаний.

— Добрый день, Каллист,— сказала младшая Кергаруэт.

— Здравствуйте, Шарлотта,— ответил Каллист, не предложив ей руки.

Оба они были удивлены — она его холодностью, он своей собственной жестокостью — и молча стали подниматься по крутому обрыву, который носил в Сен-Назере громкое название улицы; за ними на некотором расстоянии шествовали сестры де Пеноэль. В эту минуту юная шестнадцатилетняя девушка поняла, что все воздушные замки, которые она с такой любовью украшала романтическими мечтами, невозвратимо рухнули. Девочкой она играла с Каллистом, они провели вместе детские годы, она так привыкла к нему, что уже считала свое будущее определенным. Она прилетела в Геранду на крыльях бездумного счастья, как жаворонок летит к зреющей ниве; и вдруг этот безмятежный полет прервался без всякой причины, без видимых препятствий.

— Что с тобой, Каллист? — спросила она, беря его за руку.

— Ровно ничего,— ответил юноша, беспощадно отнимая руку; в эту минуту он вдруг вспомнил о замыслах своей тетки и мадемуазель де Пеноэль.

На глазах Шарлотты выступили слезы. Она не сердилась на прекрасного Каллиста, но впервые в жизни была ужалена ревностью и почувствовала невероятную ярость при виде двух прекрасных парижанок, которые, как она догадалась, являлись причиной холодности Каллиста.

Шарлотта де Кергаруэт была шатенка среднего роста, с кругленьким личиком, на котором играл яркий, пожалуй, слишком яркий румянец, какой бывает у девушек ее возраста; ее черные живые глаза светились умом, талия была чуть широкая, спина плоская, руки худые; говорила она резко и уверенно,— впрочем, это обычная манера провинциальных девиц, которые больше всего боятся прослыть простушками. В семье ее баловали, так как считалось, что старуха-тетка отдает ей явное предпочтение. Для путешествия по морю она нарядилась в накидку из клетчатой шотландки, подбитой зеленым

шелком. Ее дорожное, закрытое платье из дешевенькой шерстяной ткани и воротничок в мелких складочках вдруг показались ей ужасными по сравнению с свежими, блистательными туалетами Беатрисы и Фелисите. Она страдала с каждой минутой все сильнее — белые чулки ее запачкались во время переезда в лодке и при высадке на круазикские скалы; такой же жалкий вид был у ее грубых кожаных туфель, которые она, по обычаю провинциалок, нарочно надела в дорогу, чтобы не испортить хорошей обуви. Ее мать, виконтесса де Кергаруэт, в совершенстве представляла тип провинциальной дамы. Высокая, сухая, преждевременно поблекшая, преисполненная тайных претензий, которые проявлялись только тогда, когда их ущемляли, она говорит так много, что нет-нет, да и выскочит какая-нибудь здравая мысль, как случайный шар из-под кия игрока на бильярде,— всем этим она и заслужила репутацию весьма тонкой дамы. Она любит принизить парижан пресловутым благодушием и мудростью провинции, разыгрывая из себя любимицу фортуны; она смиренно склоняется, чтобы другие подхватили ее под руки, и приходит в бешенство, видя, что никто и не думает подымать ее с колен; она старается, как говорят англичане, выудить комплимент, что не всегда ей удается; одевается с претензией, но неряшливо, принимает свое неумение быть любезной за независимость и верит, что тот, кого она не удостоит вниманием, будет бог знает как смущен; когда ей предложат даже что-нибудь очень заманчивое, она непременно откажется, заставит просить себя дважды и согласится с таким видом, будто снисходит к покорным мольбам; она вечно занята тем, о чем все уже давно позабыли, и при этом еще удивляется, что отстала от моды; и сверх всего она часу не может прожить, чтобы не упомянуть о Нанте и всей славе его, о высшем обществе Нанта; она жалуется на Нант, она критикует Нант, но принимает за личное оскорбление случайную фразу, которой рассеянный человек выразит согласие с ее критикой. Ее манеры, язык, воззрения в той или иной степени передались и четырем дочкам. Познакомиться с Камиллом Мопеном и маркизой де Рошфид — да ведь это неисчерпаемый кладезь будущих бесед и пересудов!.. И посему она решительно зашагала к церкви,

словно хотела взять ее приступом, и помахивала при этом носовым платком, который она развернула, чтобы видны были уголки, густо украшенные домашней вышивкой и отделанные обветшалыми кружевами. Походка у нее гренадерская, что, впрочем, для дамы сорока семи лет не так уж важно.

— Господин дю Геник передал нам ваше любезное предложение,— сказала она Камиллу и Беатрисе, указывая на Каллиста, который с самым жалким видом плелся возле Шарлотты. — Но мы, то есть моя сестра, дочь и я, боимся вас стеснить.

— Уж я, сестрица, постараюсь ничем не стеснить этих дам,— ехидно произнесла старая дева.— Надеюсь, в Сен-Назере найдется лошадь, и я как-нибудь доберусь до дому.

Камилл и Беатриса обменялись быстрым взглядом, который не укрылся от Каллиста, и единственного этого взгляда оказалось достаточно, чтобы похоронить все воспоминания детства, всю юношескую веру в могущество рода Кергаруэт-Пеноэль и разрушить до основания планы, взлелеянные двумя почтенными семействами.

— Мы прекрасно разместимся в карете впятером,— любезно ответила мадемуазель де Туш, хотя старуха Жаклина бесцеремонно повернулась к ней спиной. — А если и будет тесно, чего, надеюсь, не случится, принимая во внимание изящество ваших форм, сударыни, я буду вознаграждена уже тем, что могу оказать услугу друзьям Каллиста. Вашей горничной тоже найдется место; а багаж можно привязать на запятках, так как я не взяла слуги.

Виконтесса рассыпалась в благодарностях и тут же посетовала на сестру, которая так торопилась увидеть свою племянницу, что им пришлось ехать водой, вместо того чтобы добраться до Круазика на лошадях; хотя, правда, путешествовать в карете не только утомительно, но и дорого; надо скорее вернуться домой в Нант, где ее с нетерпением поджидают три ее миленькие кошечки,— добавила она, нежно поглаживая шейку Шарлотты. Шарлотта стояла с видом несчастной жертвы, и по тоскливым взглядам, которые она бросала на мать, присутствующие поняли, что виконтесса до смерти наскучила своим четырем «кошечкам», о которых она упоминала

при всяком удобном и неудобном случае, как пресловутый капрал Трим из «Тристрама Шенди» упоминал о своем головном уборе.

— Вы счастливейшая мать и вы должны быть...— начала было Фелисите, но тут же остановилась, вспомнив, что Беатриса, когда последовала за Конти, вынуждена была покинуть своего сына.

— О! — воскликнула виконтесса.— Пусть, по несчастью, я обречена коротать свои дни в деревне и в Нанте, зато я нахожу утешение в моих детях; они просто боготворят меня. А у вас нет детей? — обратилась она к Камиллу.

— Я мадемуазель де Туш,— ответила Фелисите. — А это маркиза де Рошфид.

— В таком случае можно только пожалеть вас, ведь вы не познали самого великого счастья, которое выпадает на долю нам, бедным простым женщинам, не так ли, сударыня? — обратилась г-жа де Кергаруэт к Беатрисе, чтобы загладить свой промах.— Но зато вы имеете столько других преимуществ.

Горячая слеза увлажнила глаза Беатрисы, она резко повернулась и отошла к грубому парапету, высеченному в скале. Каллист последовал за ней.

— Сударыня,— шепнула Фелисите виконтессе,— вы, должно быть, не знаете, что маркиза рассталась с мужем и что она уже два года не видала своего сына, и неизвестно, когда его увидит.

— Вот как! — воскликнула г-жа де Кергаруэт.— Несчастная дама! Что ж это, по решению суда?

— Нет, по влечению сердца,— ответила Камилл.

— Как я понимаю ее! — храбро заключила виконтесса.

Старуха Пеноэль, очутившись в лагере врага, с горя отступила вместе с племянницей на заранее подготовленные позиции. Быстро оглянувшись и видя, что за ним никто не следит, бедный Каллист схватил руку маркизы и прильнул к ней долгим поцелуем. Беатриса обернулась, краска гнева залила ее лицо, глаза мгновенно высохли; с уст ее чуть было не сорвалось ужасное слово, но она не сказала его, увидев, что юноша не может сдержать слез, что и этому прекрасному ангелу так же больно, как и ей.

— Боже мой, Каллист! — шепнула Фелисите, когда он приблизился к ней вместе с г-жой де Рошфид. —И это ваша теща, а эта глупышка — будущая жена?

— Зато у нее богатая тетка,— с горькой иронией ответил Каллист.

Наши путники направились к харчевне, и по дороге виконтесса де Кергаруэт сочла своим долгом набросать перед Камиллом убийственную сатиру на дикарей Сен-Назера.

— Я люблю Бретань, сударыня,— сдержанно возразила ей Фелисите,— я родилась в Геранде.

Каллист невольно залюбовался мадемуазель де Туш; ему достаточно было этого голоса, спокойного блеска глаз и достоинства движений, чтобы снова вздохнуть свободно, как будто и не было страшных признаний прошедшей ночи. Хотя на лице Фелисите лежала печать усталости, черты его обострились, но на спокойном челе нельзя было прочесть следов жестокой внутренней бури.

— Смотрите, вот они, королевы! — сказал Каллист Шарлотте, указывая на маркизу и Камилла, и подал девушке руку, к великому удовольствию мадемуазель де Пеноэль.

— Что это твоей мамаше взбрело на ум,— сказала старуха, продевая под локоть племянницы свою сухонькую ручку,— водиться с этой беспутницей!

— Но, тетушка, ведь эта женщина — слава Бретани!

— Не слава, а позор, детка! Уж не собираешься ли и ты к ней ластиться?

— Мадемуазель Шарлотта права, а вы несправедливы,— сказал Каллист.

— Ну, с вас что взять,— возразила старуха,— вас-то она околдовала.

— Я питаю к ней такие же дружеские чувства, как и к вам,— заявил Каллист.

— С каких это пор дю Геники начали лгать? — спросила старая девица.

— С тех пор как Пеноэли начали глохнуть,— отрезал Каллист.

— Значит, ты в нее не влюблен? — продолжала допрос Жаклина, в совершенном восторге от познания Каллиста.

— Раньше был, а теперь нет,—заявил он.

— Скверный мальчишка, почему же ты нас так долго мучил? Я-то хорошо знаю, что любовь — это вздор, а брак — дело солидное,— добавила она, многозначительно поглядывая на племянницу.

Слова Каллиста отчасти успокоили и Шарлотту; она верила в силу детских воспоминаний и надеялась с их помощью вернуть к себе Каллиста, поэтому она пожала руку юноше, а тот поклялся себе начистоту объясниться с богатой наследницей.

— Ах, Каллист,— промолвила она,— подумай только, мы опять будем играть в мушку! И как весело мы заживем!

Кучер подал карету, Фелисите усадила на заднее сиденье виконтессу и Шарлотту, а сама с маркизой устроилась на передних местах; хватились Жаклины, но старушка как в воду канула. Каллист, вынужденный отказаться от удовольствия, которое он рисовал себе такими радужными красками, поехал рядом с каретой верхом; к счастью, лошади притомились и шли тихой рысцой, так что юноша мог беспрепятственно любоваться Беатрисой. История не сохранила той странной беседы, которую вели дорогой четыре дамы, очутившиеся игрой случая в одном экипаже, ибо вряд ли можно считать достоверными тысячу и одну версию, которые обошли все салоны Нанта с легкой руки виконтессы, без конца повторявшей острые словечки и рассказы, якобы услышанные ею из уст прославленного Камилла Мопена. Однако она поостереглась передать или даже просто понять ответы мадемуазель де Туш на все те нелепые расспросы, которыми обычно осаждают писателей; для них это своего рода расплата, и жестокая расплата, за редкие минуты радостей.

— Как вы пишете книги? — спросила виконтесса.

— Точно так же, как вы вышиваете или вяжете,— ответила Фелисите.

— А откуда вы черпаете столь глубокие наблюдения и столь очаровательные картины?

— Оттуда же, откуда вы черпаете все ваши остроумные речи. Нет ничего легче, чем писать, и если бы вы пожелали...

— Как! Значит, все дело в желании? Вот уж не ду-

мала! А какое ваше произведение вы любите больше других?

— Ну, знаете ли, мне, как и вам, очень трудно отдать предпочтение какой-нибудь одной из своих милых «кошечек».

— Вы пресыщены похвалами, и боюсь, что я не сумею сказать ничего для вас нового.

— Зато, сударыня, никто не умеет лучше вас найти для своих похвал столь изящную форму выражения.

Виконтесса решила, что не следует оставлять без внимания и маркизу, и произнесла, бросив на нее выразительный взгляд:

— Никогда не забуду этого путешествия в обществе ума и красоты!

— Вы льстите мне, сударыня,— возразила маркиза смеясь,— было бы противоестественно заметить обыкновенный ум, когда находишься возле таланта; а я к тому же не сказала еще ничего умного.

Шарлотта живо чувствовала, в какое нелепое положение ставит себя ее мать, и умоляюще смотрела на нее, как бы желая удержать от дальнейших расспросов, но виконтесса смело вступила в состязание с двумя насмешливыми парижанками. Каллист, сдерживая своего коня, ехал рядом с каретой и мог видеть только двух путешественниц, сидевших на передней скамейке; его взгляд, выдававший грустные мысли, подолгу покоился то на одной, то на другой красавице. Со своего места Беатриса невольно видела гарцующего Каллиста и упорно отводила от него глаза; жестом, который может привести влюбленного в отчаяние, она натянула шаль на сложенные руки и, казалось, вся ушла в глубокое раздумье. Но вот за поворотом открылась тенистая и зеленая дорога, влажная, как лесная тропинка; колеса кареты бесшумно покатили по песку, молодые ветви цеплялись за верх экипажа, и ветер приносил откуда-то опьяняющий запах цветов. Фелисите залюбовалась этим очаровательным уголком, затем, коснувшись колена Беатрисы, указала ей на Каллиста.

— Как он прекрасно сидит на коне! — сказала она.

— Кто, Каллист? — подхватила виконтесса. — Он искуснейший наездник.

— О, наш Каллист очень мил,— добавила Шарлотта.

— Такие лица встречаются в Англии на каждом шагу,— вяло произнесла маркиза, даже не закончив фразы.

— У него мать ирландка из рода О'Брайенов,— возразила Шарлотта, которая сочла себя оскорбленной.

Камилл Мопен и маркиза въехали в Геранду в сопровождении виконтессы де Кергаруэт и ее дочери, к величайшему удивлению обывателей сего богоспасаемого городка; они высадили своих спутниц у переулочка, ведущего к дому дю Геников, где собралась чуть ли не половина герандских жителей. Каллист стегнул коня и помчался галопом, чтобы предупредить тетку и мать о прибытии дорогих гостей, которых ждали к обеду. Обед же в этот день перенесли, против обычая, на четыре часа. Впрочем, юноша возвратился, чтобы попрощаться с дамами, отправляющимися в Туш; он поцеловал руку Фелисите, надеясь, что ему удастся прикоснуться и к руке Беатрисы, но маркиза упорно не разнимала сложенных под шалью рук, и напрасно бросал он на жестокую красавицу увлажненные слезой взгляды, в которых читалась отчаянная мольба.

— Дурачок,— шепнула Фелисите, касаясь его виска дружеским поцелуем.

«Она права,— подумал Каллист, глядя вслед отъезжавшей карете,— я забыл советы маменьки; боюсь, что я вечно буду забывать ее советы».

Когда мадемуазель де Пеноэль, бесстрашно проделавшая путь из Сен-Назера на наемных лошадях, появилась в столовой дю Геников, она застала там виконтессу де Кергаруэт и Шарлотту за столом, убранным с необычной роскошью, и рядом с ними улыбающихся радушных хозяев. Старуха Зефирина распорядилась достать из погреба лучшие вина, а Мариотта превзошла самое себя в изготовлении бретонских кушаний. Виконтесса до сих пор не могла прийти в себя от восторга, что ей удалось проехаться в карете со знаменитым Камиллом Мопеном, и все пыталась разъяснить присутствующим, что́ такое современная литература и какое место занимает в ней Мопен; но ее попытки ознакомить герандцев с литературой постигла та же участь, что и злополучный вист: ни сами дю Геники, ни кюре, который был приглашен к обеду, ни кавалер дю Альга не поняли ни слова. Впро-

чем, аббат Гримон и старый моряк порядком приналегли на ликеры, поданные за десертом.

Когда Мариотта с помощью Гаслена и горничной виконтессы убрала со стола, послышались восторженные возгласы: наконец-то можно приступить к любимой мушке. В доме царило необычайное веселье. Все присутствующие думали, что сердце Каллиста свободно, и решили, что в самом скором времени он женится на юной Шарлотте. Один Каллист сидел в раздумье. Впервые в жизни он имел случай сделать сравнение между семейством Кергаруэт и остроумными, утонченными парижанками, и в каком же невыгодном свете представала перед ним нантская львица! А как, должно быть, потешаются сейчас в Туше над двумя жалкими провинциалками! Недаром же маркиза и Фелисите там, в Сен-Назере, так лукаво переглядывались.

Фанни, знавшая тайну сына, подметила его печаль, она видела, что он не обращает внимания ни на кокетство Шарлотты, ни на приставания виконтессы. Ее бедный мальчик тоскует, это ясно: телом он здесь, с ними, в этой зале, где некогда и сам развлекался игрою в мушку, а дух его витает там, в Туше.

«Под каким бы предлогом послать его в Туш?» — думала Фанни, которая жила одними мыслями с сыном. И наконец тревога и нежность подсказали ей решение.

— Ты, я вижу, умираешь от желания удрать в Туш, чтобы повидать *ее*? — шепнула Фанни на ухо Каллисту.

Улыбка юноши и краска, залившая его лицо, были красноречивее слов, и сердце любящей матери затрепетало в груди.

— Сударыня,— обратилась она к виконтессе,— боюсь, что завтра вам будет очень неудобно ехать в почтовой карете и особенно вставать на заре. Не лучше ли попросить коляску у мадемуазель де Туш? Сходи в Туш, Каллист,— добавила она, взглянув на сына,— устрой это дело, но возвращайся поскорее.

— Я вернусь через десять минут! — вскричал Каллист. Он как безумный расцеловал свою мать, когда та вышла за ним на крыльцо.

Словно молодой олень, мчался Каллист; он застал Фелисите и Беатрису в приемной, куда они вышли из

столовой после обеда. У него хватило ума предложить руку Фелисите.

— Как, вы покинули ради нас виконтессу и ее дочь? — спросила та, пожимая его руку.— Поверьте, мы понимаем, как велика ваша жертва.

— Скажите, эти Кергаруэты состоят в каком-нибудь родстве с Портандюэрами и со стариком-адмиралом Кергаруэтом, вдова которого вышла замуж за Шарля де Ванденеса? — спросила г-жа де Рошфид у Камилла.

— Мадемуазель Шарлотта — внучатая племянница адмирала,— ответила Фелисите.

— Прелестная девочка,— произнесла Беатриса, усаживаясь в готическое кресло. — Господин дю Геник сделал неплохой выбор.

— Этому браку никогда не бывать,— возразила с живостью Фелисите.

Сраженный холодным спокойствием маркизы, которая всячески старалась показать, что маленькая бретоночка — единственно подходящее для него существо, Каллист потерял способность говорить и мыслить.

— А почему не бывать этому браку, Камилл? — спросила г-жа де Рошфид.

— Дорогая моя,— сказала Фелисите, видя, как омрачилось лицо Каллиста,— ведь я же не советовала Конти жениться и, надеюсь, вообще была с ним очень мила. Вы просто не великодушны.

Беатриса посмотрела на подругу с удивлением, к которому примешивались пока еще неясные подозрения. Взглянув на Фелисите, Каллист понял, сколько самоотверженности было в ее вмешательстве. На щеках мадемуазель де Туш проступили два розовых пятна, что всегда означало у нее глубочайшее волнение; довольно неловко юноша взял руку Камилла и прижался к ней губами. Фелисите как будто невзначай села за рояль, повернулась спиной к Беатрисе и Каллисту, оставив их как бы наедине. Она держала себя как женщина, уверенная в честности своей подруги и верности своего обожателя. Фелисите импровизировала, она играла вариации на темы, которые приходили ей на ум, очевидно, помимо ее воли, так были они выразительны и печальны. Казалось, что маркиза вся обратилась в слух, но

украдкой она наблюдала за Каллистом, а тот, слишком юный и слишком неопытный, чтобы играть роль, предписанную ему Фелисите, замер в восторженном созерцании своего истинного кумира. Через час Беатриса удалилась к себе, а мадемуазель де Туш не могла удержать нарождавшейся ревности. Она увела Каллиста к себе в спальню, не желая, чтобы их разговор был услышан, ибо, как истая женщина, она руководилась безошибочным инстинктом недоверия.

— Дитя мое,— сказала она,— притворяйтесь же, что вы любите меня, иначе вы погибли. Вы еще ребенок, вы не знаете женщин, вы не умеете любить. Любить и заставить полюбить себя — две совершенно различные вещи. Вы будете жестоко страдать, а ведь я хочу, чтобы вы были счастливы. Вам противостоит не гордость Беатрисы, а ее упрямство. Если вы досадите ей, она упорхнет к Конти и поселится с ним где-нибудь под Парижем. Что будет тогда с вами?

— Я по-прежнему буду ее любить,— ответил Каллист.

— Но вы ее никогда не увидите.

— Увижу! — возразил он.

— Каким же образом?

— Поеду за ней.

— Но ведь ты, дитя мое, беден, как Иов!

— Мы с отцом и Гасленом целых три месяца жили в Вандее на сто пятьдесят франков, шагали дни и ночи по болотам и не умерли.

— Каллист! — сказала мадемуазель де Туш. — Выслушайте же меня хорошенько. Я вижу, вы слишком прямодушны и чисты, чтобы притворяться. Я не хочу развращать такую прекрасную душу, как ваша, я все устрою сама. Беатриса полюбит вас.

— Возможно ли это? — произнес юноша, молитвенно складывая руки.

— Да,— ответила Фелисите,— но прежде всего надо заставить ее отказаться от того обязательства, которое она сама добровольно наложила на себя. Вам не придется лгать, это я беру на себя. Только не расстройте ничего в трудном деле, которое я затеваю. Маркиза наделена аристократической взыскательностью, она не просто недоверчива, но и умна: никогда еще охотнику

не доводилось выслеживать более осторожную дичь; и уж тут, бедный мой мальчик, охотник должен слушаться своей собаки. Вы обещаете беспрекословно повиноваться мне? Отныне я буду вашим Фоксом,— добавила она, намекая на любимую гончую Каллиста.

— А что мне надо делать? — спросил юноша.

— Ничего или почти ничего,— ответила Фелисите.— Каждый день в полдень вы будете приходить сюда. А я, в качестве нетерпеливой любовницы, буду поджидать вас в коридоре, из окон которого видна дорога на Геранду. Завидев вас, я быстро подымусь к себе в спальню, чтобы вы не застали меня и не догадались по моему поведению о силе моей страсти, которая становится вам в тягость; но раза два-три вы заметите меня и помашете платком. Затем пройдете через двор и медленно, со скучающим видом подниметесь по лестнице. В этом, дитя мое, тебе не придется притворяться, не правда ли? — добавила она, опустив голову.— Итак, поднимайся по ступенькам медленно и все время смотри в окно, которое выходит в сад, ища там Беатрису. Если она будет в саду (а она будет там, ручаюсь), если она тебя заметит, ты еще больше замедлишь шаги и пройдешь через маленькую гостиную в мою спальню. А если ты увидишь, что я из окна спальни слежу украдкой за тобой, изменник, ты быстро бросишься наверх, чтобы я не поймала твоего взора, вымаливающего ласку Беатрисы. А тут ты входишь в спальню, ты мой пленник... Да, да, мы не выйдем из спальни до четырех часов. Вы можете читать, а я буду курить; чтобы вы не скучали в ее отсутствие, я подберу для вас самые интересные книги. Ведь вы еще не знаете Жорж Санд, я нынче же ночью пошлю слугу в Нант за ее произведениями и прикажу купить еще несколько книг неизвестных вам авторов. Из спальни первой выйду я, вы все будете читать и появитесь в маленькой гостиной только тогда, когда услышите, что я разговариваю с Беатрисой. Всякий раз, когда вы увидите, что на рояле лежит раскрытая тетрадь нот, вы будете просить у меня разрешения остаться. Позволяю вам быть со мной грубым, если только вы можете быть грубым со мной, и все пойдет как по маслу.

— Я знаю, Камилл, вы питаете ко мне чувство, которое ни с чем не сравнимо, и именно поэтому я огорчен

тем, что увидел Беатрису,— произнес Каллист с подкупающим простодушием.— Но чего вы рассчитываете достичь?

— Через неделю Беатриса будет без ума от вас.

— Бог мой, да возможно ли это? — воскликнул юноша, складывая руки и падая на колени перед Фелисите, которую до глубины души тронула радость Каллиста, хотя эта радость была ее мукой.

— Слушайте же,— продолжала Фелисите.— Если вы будете не только что говорить об этом с маркизой, но хотя бы обмолвитесь неосторожным словом, одним только словом, если вы позволите ей расспрашивать вас, если вы выйдете из той бессловесной роли, которую я вам предназначила и которую, согласитесь, не так уж трудно сыграть,— знайте, вы навсегда потеряете Беатрису,— добавила она серьезным тоном.

— Я ни слова не понял из того, что вы мне сказали, Камилл! — воскликнул юноша, глядя на свою собеседницу с восхитительной наивностью.

— Ты и не можешь этого понять, иначе ты не был бы ребенком, благородным и прекрасным Каллистом,— ответила она, беря его руку и целуя ее.

И тут Каллист сделал то, чего он никогда не делал ранее: он обнял Фелисите за талию и трогательно поцеловал в шею, не испытав при этом ни малейшего волнения любви, словно он ласкал свою мать. Мадемуазель де Туш не могла сдержать слез, потоком хлынувших из ее глаз.

— А теперь идите, дитя мое, и передайте вашей виконтессе, что карета к ее услугам.

Каллисту очень хотелось остаться, но он ушел, повинуясь властному взгляду и повелительному жесту Камилла; домой он возвратился, весь сияя от радости: он знал, что через неделю будет любим — и кем! — прекрасной маркизой Рошфид. Его партнеры по игре в мушку вновь обрели того Каллиста, каким он был два месяца назад. Шарлотта приписала себе эту внезапную перемену. Тетка ее, мадемуазель Пенноэль, мило препиралась с Каллистом. Аббат Гримон напрасно пытался разгадать причину спокойствия Фанни и зорко следил за каждым ее жестом. А кавалер дю Альга потирал с довольным видом руки. Обе старые девицы, шустрые, словно ящерицы,

играли сегодня особенно азартно. Виконтесса сорвала банк в сто су. Скопидомку Зефирину взволновала эта победа, она искренне сожалела, что не может видеть карт, и сердилась на рассеянность невестки, а та совсем потерялась от радости, поглядывая на счастливое лицо Каллиста. Игра длилась до одиннадцати часов. Впрочем, к концу вечера выбыли два игрока: барон и кавалер мирно започивали в креслах. Мариотта напекла печенья из ржаной муки, баронесса принесла шкатулку с чаем. Ради виконтессы де Кергаруэт и ради дорогой гостьи, девицы де Пеноэль, в прославленном доме дю Геников подали пышный ужин — свежее масло, фрукты и сливки, а из поставца достали серебряный чайник и английский сервиз, который прислала в подарок Фанни одна из ее тетушек. Богатая современная сервировка, так странно противоречившая старинному убранству залы, изящные манеры баронессы, которая, как истая дочь Ирландии, умела мастерски заваривать и разливать чай, выполняя, таким образом, священную обязанность англичанок,— вся эта картина была на редкость прелестна. Самая изысканная роскошь не могла бы создать впечатления такой простоты, скромности и благородства, каким дышало гостеприимство этой милой семьи. Когда гости разошлись и в зале остались только Фанни и Каллист, мать взглянула на сына с выражением нескрываемого любопытства.

— Что с тобой случилось в Туше? — спросила она.

Каллист поведал, какие надежды заронила в его сердце Фелисите, и рассказал об удивительных ее наставлениях.

— Бедняжка! — воскликнула ирландка, всплеснув руками; впервые в жизни она почувствовала жалость к мадемуазель де Туш.

Услышав из своей комнаты, что Каллист ушел, Беатриса тут же поднялась к своей подруге; Фелисите полулежала на софе, глаза ее увлажнили слезы.

— Что с тобой, Фелисите? — спросила маркиза.

— Мне сорок лет, и я люблю,— вот что со мной, моя дорогая! — ответила мадемуазель де Туш; в голосе ее прозвучала страшная ярость, а слезы высохли на заблестевших вдруг глазах.— Если бы ты только знала, Беатриса, как я оплакиваю мою ушедшую молодость! Быть люби-

мой из жалости, знать, что твое счастье — плод твоих неусыпных усилий, кошачьей ловкости, улавливать в свои сети невинное и добродетельное дитя, разве это не отвратительно? Но, слава богу, у нас есть оправдание: оно — в безграничной страсти, в неистовстве счастья; мы чувствуем себя выше всех женщин, ибо мы оставляем в юном сердце неизгладимый след своими ласками, своей безумной преданностью. Да, да, если бы он захотел, я бы по первому его знаку бросилась в море. И временами я хочу этого, ловлю себя на мысли, что жду его знака, ибо это было бы жертвоприношением, а не самоубийством... Ах, Беатриса, твой приезд в Туш — тяжелое испытание для меня. Я знаю, как трудно одержать над тобой верх; но ты любишь Конти, ты благородна и великодушна, и ты не обманешь меня; наоборот, ты поможешь мне удержать моего Каллиста. Я знала, какое ты произведешь на него впечатление, но я не совершила ошибки, я не обнаружила своей ревности, это только бы усилило мою боль. Больше того, я, так сказать, предварила твой приезд, нарисовав Каллисту портрет Беатрисы такими яркими красками, чтобы оригинал показался бледным перед живописью, но, к несчастью, ты стала еще прекраснее, чем прежде.

Эта вдохновенная поэма, в которой ложь перемешивалась с правдой, окончательно ввела г-жу де Рошфид в заблуждение. Клод Виньон сообщил композитору причины своего внезапного отъезда, и, конечно, Беатрисе они тоже стали известны, потому-то она великодушно выказывала в отношении Каллиста неумеренную холодность; но сейчас, при словах Фелисите, она вздрогнула от радости, которая вспыхивает в глубине сердца женщины в тот миг, когда она узнает, что кто-то полюбил ее. Любовь, которую женщина внушает мужчине,— это хвала, и хвала нелицеприятная, так что трудно не наслаждаться ею; но когда этот мужчина — возлюбленный вашей подруги, знаки восхищения с его стороны уже больше чем радость — они райская услада. Беатриса присела рядом с Фелисите и льстиво заговорила:

— Но у тебя совсем нет седых волос, даже нет морщин, виски у тебя восхитительно молодые, а сколько я знаю тридцатилетних женщин, вынужденных закрывать виски. Да что там, дорогая моя,— добавила маркиза,

приподымая свои локоны,— полюбуйся, чего стоили мне мои странствия!

И Беатриса указала на еле заметные линии, прорезавшие ее нежную кожу; затем она отогнула кружевную манжетку и показала такие же линии у запястья; под прозрачной и слегка поблекшей кожей вырисовывались набухшие вены, а вокруг кисти три глубокие складки образовали как бы браслетку.

— Ведь недаром же, как сказал один писатель, следопыт наших женских печалей, эти два признака никогда не солгут,— добавила она.— Надо много перестрадать, чтобы убедиться в справедливости столь жестокого наблюдения. Но, к счастью для нас, большинство мужчин ничего не знает, так как не читает этого гадкого автора.

— Твое письмо открыло мне все,— ответила Фелисите. — Истинное счастье не знает тщеславия, а ты слишком кичилась своим счастьем. Ведь истинная любовь всегда глуха, слепа, нема. Вот почему, зная, какие причины могут заставить тебя расстаться с Конти, я так боялась твоего пребывания здесь. Дорогая моя, Каллист ангел, он так же добр, как и красив: нежное дитя не устояло даже перед мимолетным твоим взглядом, и достаточно одного кивка, чтобы он тебя полюбил; оттолкнув Каллиста, ты вернешь его мне. Истинная любовь не скрывает своих страхов,— так знай же: отнять у меня Каллиста, значит меня убить. Бенжамен Констан в страшной своей книге поведал нам только о страданиях Адольфа,— ну, а страдания женщины?.. Писатель не заметил их и не изобразил. Неужели же нам самим унижать себя ненужной исповедью? Мы не смеем бесчестить наш пол, ронять свое достоинство, выставляя напоказ наши пороки. Только страх потерять Каллиста может сравниться с теми страданиями, которые мне принесла любовь к нему. Если же я потеряю его, развязка мне ясна.

— Что же ты сделаешь? — спросила Беатриса с живостью, от которой ее подруга вздрогнула.

При этих словах они обменялись многозначительным взглядом, взглядом инквизиторов венецианского судилища. В это мгновение, казалось, столкнулись также и души двух соперниц, и вспыхнула искра, как от удара камня о камень. Маркиза первая опустила глаза.

— После мужчины остается еще бог,— медленно про-

говорила знаменитая писательница.— Но бог есть нечто неведомое, бездна... Ну что ж, я могу уйти в религию, как бросаются в бездну. Правда, Каллист клялся, что он восхищается тобой, как восхищаются произведением искусства. Но тебе двадцать восемь лет, ты в расцвете красоты. Значит, Каллист солгал, солгал уже в первой схватке со мной, а ведь борьба нам предстоит долгая. К счастью, мне известен секрет победы.

— Какой же это секрет?

— Секрет есть секрет, моя милая. Позволь и мне воспользоваться преимуществом моего возраста. Я верила, что силою ума поднялась до таких высот, которые делают женщину неуязвимой. Я ошиблась. Клод Виньон сбросил меня с моих вершин в пропасть. Но ведь и на дне пропасти растут цветы — бледные, чахлые и все же прекрасные.

Фелисите наслаждалась своим коварством, и маркиза, сама того не зная, поддалась ее хитростям, покорная ей, как воск рукам ваятеля. Камилл Мопен заронила в душу своей подруги любопытство, зависть, сменявшуюся порывами великодушия, и Беатриса уже не могла отделаться от мыслей о прекрасном юноше.

«Она с восторгом предаст меня»,— подумала Фелисите, целуя подругу и желая ей покойной ночи.

Она ушла к себе в кабинет. И тут, оставшись одна, писательница Камилл Мопен превратилась в обыкновенную женщину. Полились слезы. Фелисите набила трубку наргиле табаком с примесью опиума и большую часть ночи просидела в кресле, окружив себя облаками дыма; как ни старалась она усыпить боль оскорбленной любви, в одуряющем тумане вырисовывалось лицо Каллиста.

«Если бы мне удалось описать мои страдания,— думала она,— какая получилась бы прекрасная книга! Но она уже написана. Сафо меня опередила, а Сафо была моложе меня. Роман сорокалетней женщины... не этим ли ты вздумала поразить и растрогать? Кури уж лучше свое наргиле, бедная Камилл Мопен,— тебе сейчас не хватит сил даже в трех строчках рассказать о своей беде. Слишком уж ты несчастна!»

Так прошла вся ночь. Фелисите то обливалась слезами, то вдруг впадала в неистовую ярость; то она готова

была принять самое мужественное решение, то вдруг к этим мыслям примешивались внушения католической религии,— никогда раньше эта беспечная служительница муз, эта неверующая писательница не помышляла о религии.

На следующий день Каллист, решивший, как ему говорила мать, во всем следовать советам Фелисите, в полдень был в Туше. Он с таинственным видом взошел по лестнице в комнату хозяйки дома, где уже была приготовлена для него целая библиотека. Фелисите устроилась в кресле у окна и молча курила: отсюда ей был виден безлюдный, болотистый Круазик, а за ним море; иногда она взглядывала на Каллиста и даже заговаривала с ним — и все о Беатрисе. Увидев, что маркиза гуляет по саду, Фелисите подошла к окну, дождалась, пока подруга взглянет в ее сторону, и опустила занавеску, оставив только узкую длинную щель, сквозь которую солнечный луч освещал книгу, лежавшую на коленях Каллиста.

— Сегодня, дитя мое,— сказала Фелисите, взъерошив кудри Каллиста,— когда я предложу тебе остаться пообедать с нами, ты откажешься и при этом взглянешь на маркизу,— достаточно будет этого взгляда, и она поймет, как тяжело тебе уходить.

Часа в четыре Фелисите вышла из своей комнаты и увела маркизу в гостиную. Здесь несчастная, не щадя себя, разыграла во всех тонкостях роль счастливой избранницы. Каллист, покидая обеих женщин, не мог подавить чувство стыда: он понял, как неблаговидна его роль. Взгляд, который Каллист бросил на Беатрису, был куда более выразительным, чем это могла предвидеть Фелисите, хотя она и ждала этого взгляда.

На Беатрисе было прелестное платье.

— Как вы кокетливо оделись сегодня,— сказала ей Фелисите, когда они остались одни.

Это представление продолжалось целых шесть дней; за кулисами Фелисите, неведомо для Каллиста, без него, вела с подругой хитроумные беседы. Между ними завязался безжалостный поединок, все было пущено в ход: лукавство, притворство, показное великодушие, фальшивые исповеди, лицемерные порывы откровенности,— и все время одна пыталась скрыть свою любовь, а другая ее

выдавала; но Фелисите успела ядом своих слов проникнуть в сердце Беатрисы, задеть в ней те дурные чувства, которые порядочная женщина подавляет в себе лишь ценой больших усилий. В конце концов Беатрису обидели подозрения ее подруги, она сочла их унизительными для обеих; но она упивалась тем, что великой писательнице оказались не чужды мелочные женские побуждения, и не могла удержаться от соблазна показать сопернице, где кончается Камилл Мопен со всем ее превосходством... и как эта великая Мопен может быть унижена.

— Дорогая моя, что же ты скажешь ему сегодня? — спросила Беатриса, зло посмотрев на подругу в ту самую минуту, когда мнимый любовник Фелисите просил позволения остаться.— В понедельник нам надо было побыть с тобой наедине; во вторник — повару не удался обед; в среду ты испугалась, что баронесса разгневается; в четверг ты решила погулять со мной; вчера ты стала прощаться с ним, как только он заговорил о том, чтобы побыть еще. Нет, довольно! Мне хочется, чтобы бедный мальчик хоть сегодня остался у нас.

— Уже?.. Бедная моя девочка! — с колючей иронией сказала Фелисите.

Маркиза покраснела.

— Останьтесь, господин дю Геник,— сказала Фелисите с воинственным и уязвленным видом.

Беатриса держалась холодно, сурово, позволяла себе резкости, насмешничала; особенно доставалось от нее Каллисту, которого Фелисите в конце концов отослала домой — играть в мушку с Шарлоттой де Кергаруэт.

— С ней-то можно быть спокойной — никакой опасности! — сказала, усмехаясь, Беатриса.

Подобно тому как человек, мучимый голодом, досадует на самого гостеприимного хозяина, который просит подождать, объясняя гостю, что не все еще готово к трапезе,— влюбленные юноши видят только блаженную развязку и не желают понимать, что ее требуется подготовить. Возвращаясь из Туша в Геранду, Каллист был полон одной Беатрисой и даже не подозревал, к каким ухищрениям прибегает Фелисите, чтобы помочь ему. За последнюю неделю Беатриса только раз написала своему Дженаро, и эта небрежность или равнодушие не ускользнули от ее подруги. Каллист же дышал и жил, только

когда видел Беатрису. Он впивал в себя эти мгновения, как жаждущий глотает случайные капли влаги, но жажда его только росла. Волшебные слова: «Ты будешь любим»,— сказанные ему его покровительницей, а потом и матерью, стали для него талисманом, который помогал сладить с бурлившей в нем страстью. Он старался убить время, не спал, заполнял ночные часы чтением. Мариотта говорила, что «кавалер тащит книги из Туша целыми возами». Тетушка проклинала хозяйку Туша; одна только мать Каллиста, видевшая, что лампа у него горит всю ночь напролет, знала тайну этих бдений. Хотя Фанни сохранила застенчивость невинной молоденькой девушки и любовь оставалась для нее книгой за семью печатями, материнская нежность кое-что подсказала ей; но все же глубины чувства были ей темны и непонятны, ее пугало состояние, в котором находился Каллист, она со страхом наблюдала неразделенные, одинокие порывы, пожиравшие душевные силы ее сына.

А он мог думать только о Беатрисе, ее образ видел перед собою всюду. Вечерами, играя в мушку, он впадал в глубокую задумчивость, подобную дремоте старика-барона. Видя, как изменился Каллист с тех пор, как он понял, что не любит Фелисите, баронесса почти со страхом узнавала верные приметы подлинной страсти, чувства, доселе неизвестного в их старом замке. Каллист отупел от лихорадочного возбуждения, от постоянных упорных мыслей о своем кумире. Он часами мог сидеть неподвижно, бессмысленно уставившись на узор ковра. Фанни посоветовала ему наконец не посещать больше Туша, расстаться с двумя парижанками.

— Как? Не ходить больше в Туш? — воскликнул Каллист.

— Нет, нет, мой милый, ходи куда хочешь, только не надо сердиться,— ответила Фанни, ласково целуя глаза сына, вдруг загоревшиеся страшным пламенем.

И вот при таких обстоятельствах Каллист чуть было не загубил искусной игры Фелисите своей слишком пылкой, истинно бретонской любовью, совладать с которой он был уже не в состоянии. Он поклялся себе, вопреки обещанию, данному Камиллу, увидеться с Беатрисой и поговорить с ней. Он мечтал прочесть свой приговор в ее глазах, погрузить в них свой взгляд, изучить до послед-

ней складочки ее платье, вдыхать исходящее от нее благоухание, слушать сладчайшую музыку ее голоса, следить за ее изящными движениями, обнять взором эту гибкую талию, наконец, просто глядеть и глядеть на нее, подобно полководцу, обозревающему поле, где разыграется наконец решительная битва; он желал этого как нетерпеливый влюбленный, он был весь во власти желания, которое притупляло его слух, темнило его разум, он чувствовал себя больным, но не сознавал более разделяющего их расстояния, не видел препятствий, перестал ощущать даже свое собственное тело. Наконец он задумал явиться в Туш ранее назначенного часа, надеясь застать Беатрису одну. Он знал, что маркиза перед завтраком обычно гуляет в саду. В это утро мадемуазель де Туш и маркиза отправились посмотреть соляные болота и похожий на маленькое озеро заливчик, окруженный дюнами,— сюда во время прибоя докатывается морская волна; дамы вернулись домой и медленно прохаживались по узким аллеям, идущим вокруг лужайки.

— Если наша местность вас действительно интересует,— сказала Фелисите,— вам следует прогуляться по Круазику с Каллистом. Там чудесные утесы, целые каскады гранита, маленькие бухточки, вокруг которых море вырыло естественные пещеры, словом, много любопытного, удивительного, что умеет создать только природа, а главное — морской простор и волны, пенящиеся вокруг каменных глыб. Вы увидите, как местные жительницы заготовляют топливо, то есть бросают на изгороди лепешки коровьего навоза для сушки, а когда они высохнут, их складывают в кучи, как у нас в Париже складывают комки торфа,— зимой этим «торфом» здесь топят печи.

— Как, вы рискнете отпустить со мной Каллиста? — смеясь, спросила маркиза, и уже по тону ее было видно, что вчерашняя уловка удалась: рассердив Беатрису, мадемуазель де Туш заставила ее обратить внимание на Каллиста.

— О, дорогая моя, когда вы узнаете ангельскую душу этого ребенка, вы поймете меня. Главное в нем не красота; надо проникнуть в это чистое сердце, в эту восхитительную наивность, которую удивляет каждый новый шаг, сделанный в царстве любви. Какая вера! Какое про-

стодушие! Какое обаяние! Древние были правы, возводя в культ божественную красоту. Не помню, кто именно из путешественников пишет, что дикие лошади, живущие на свободе, избирают своим вожаком самого прекрасного коня. Красота, мой дружок, одухотворяет все существующее, она печать, которой природа помечает свои наиболее совершенные творения: она — величайший из символов, подобно тому, как она и величайшая случайность. Можно ли представить себе безобразного ангела? Разве не сочетает в себе ангел силу и прелесть? Что заставляет нас часами простаивать в Италии перед иными картинами, на коих гений после мучительных поисков сумел запечатлеть одну из этих случайностей природы? Положа руку на сердце, скажите, разве не чарует нас определенный идеал красоты, с которым мы связываем моральные совершенства? Так вот, Каллист и есть эта воплощенная мечта. Он наделен храбростью льва, который спокойно возлежит, не подозревая о своем царственном величии; когда он среди своих, он остроумен, и я люблю в нем эту девичью застенчивость. Душа отдыхает с ним от нашей испорченности, от всех ученых измышлений, литературных выдумок, от света, от политики, от всей этой беспо-
лезной бутафории, под которой мы сами душим наше счастье. Я стала тем, чем никогда не была,— ребенком! Я уверена в Каллисте, но мне нравится разыгрывать ревнивицу,— это доставляет ему такую радость! Впрочем, я, кажется, разболтала вам свою тайну.

Беатриса молча шла по аллее, а Камилл продолжала эту невыразимую пытку, бросая на маркизу испепеляющие взгляды.

— Ах, дорогая, ты счастливица! — произнесла Беатриса, опершись на руку Камилла, как будто утомленная внутренней борьбой.

— Да, я счастлива! — с горечью ответила несчастная Фелисите.

Подруги, устав от долгой ходьбы, опустились на скамейку.

— А я-то! Знать об изменах Конти и молча сносить их!

— Почему бы тебе не расстаться с ним? — живо спросила Фелисите, поняв, что наступил наконец долгожданный час, когда пора нанести решительный удар.

— Я не смею.

— О бедное дитя...

Они сидели несколько мгновений неподвижно, глядя на купу деревьев.

— Пойду потороплю завтрак,— сказала Камилл,— ужасно хочется есть после прогулки.

— А я после нашего разговора не смогу проглотить ни куска,— возразила маркиза.

Фигура Беатрисы в прелестном белом утреннем наряде четко выделялась на фоне зеленой листвы. Каллист потихоньку выскользнул из гостиной в сад и с равнодушным видом зашагал по аллее: пусть Беатриса подумает, что он встретился с ней случайно; и в самом деле, когда юноша вдруг возник перед маркизой, она вздрогнула от неожиданности.

— Чем, сударыня, я имел несчастье не понравиться вам вчера? — спросил Каллист после первых незначительных фраз.

— Вы не можете мне нравиться или не нравиться,— произнесла она мягко.

Тон ее голоса, весь ее вид, ее пленительная улыбка ободрили Каллиста.

— Я безразличен вам,— сказал он, и в голосе его задрожали слезы.

— Мы и должны оставаться безразличными друг другу,— ответила маркиза.— Ведь у нас общая с вами привязанность к...

— Нет,— возразил Каллист,— я любил Камилла, но не люблю ее больше.

— Тогда чем же вы занимаетесь каждое утро? — возразила маркиза с вероломной улыбкой.— Не думаю, чтобы Фелисите, при всем ее пристрастии к табаку, предпочла вам, Каллист, сигару. Да боюсь, что и вы, при всем вашем восхищении женщинами-писательницами, не способны читать их романы четыре часа подряд.

— Значит, вы все знаете? — простодушно воскликнул юный бретонец, и все лицо его озарилось счастьем: ведь перед ним был его обожаемый кумир.

— Каллист,— яростно закричала Фелисите; она подошла к скамейке, схватила Каллиста за руку, отвела его в сторону и сказала: — Так-то вы держите ваше слово!

До ушей маркизы долетел этот упрек, она видела, как

мадемуазель де Туш направилась к дому, увлекая за собой Каллиста, ее поразило признание юноши, хотя она ничего в нем не поняла. Г-же де Рошфид было далеко до проницательного Клода Виньона. Подоплека той страшной и возвышенной роли, которую добровольно взяла на себя Фелисите, свидетельствовала о мужестве и вместе с тем о коварстве; на такой шаг женщина идет лишь в самом крайнем случае. И здесь разбивается ее сердце, здесь кончаются ее обычные женские чувства, она вступает на стезю самоотречения, которая ведет в ад или же на небеса.

Во время завтрака, на котором присутствовал и Каллист, маркиза, благородная и гордая от природы, уже справилась с собой и решила задушить ростки любви, пробивавшиеся в ее сердце.

На сей раз она оставила свою жестокость и холодность в отношении Каллиста; она обращалась с ним безразлично ласково, и каждое ее слово еще больше огорчало юношу. Фелисите снова предложила совершить послезавтра прогулку, чтобы полюбоваться весьма своеобразным пейзажем, который открывается взору между Тушем, Круазиком и местечком Батц. Она попросила Каллиста заблаговременно достать лодку и сговориться с матросами на тот случай, если путникам вдруг захочется прокатиться по морю. Сама она обещала позаботиться о припасах, о лошадях, бралась устроить все так, чтобы прогулка не была утомительной. Но Беатриса наотрез отказалась ехать, заявив, что она совсем не расположена бродить по здешним местам. Лицо Каллиста, дышавшее неподдельной радостью в начале их беседы, сразу омрачилось.

— Чего же вы боитесь, дорогая? — осведомилась Фелисите.

— Мое положение слишком сложно, я рискую не только репутацией, но и своим счастьем,— напыщенно произнесла Беатриса, глядя на юного бретонца.— Вы не представляете себе, как ревнив Конти; если он узнает...

— Да кто же ему скажет?

— А вдруг он приедет за мной?

При этих словах Каллист побледнел. Несмотря на настойчивые просьбы Фелисите и не менее настойчивые мольбы юного дю Геника, г-жа де Рошфид оставалась

непреклонной и проявила то, что Камилл Мопен называла «обычным беатрисиным упрямством». Вопреки надеждам, которые внушала ему Фелисите, юноша покинул Туш в полном отчаянии, которое у влюбленных граничит с безумием.

Вернувшись домой, он заперся в своей комнате, сошел вниз только к обеду и, посидев из вежливости с родными, снова удалился к себе. В десять часов вечера Фанни, встревоженная поведением сына, поднялась к нему и увидела, что Каллист что-то строчит, сидя среди скомканных и разорванных бумажек; он писал прямо Беатрисе, не доверяя Фелисите; он вспоминал, как маркиза приняла его признания в саду, и чувствовал себя чуть ли не победителем. Заметим, что, как это ни странно, первое любовное послание никогда не бывает непосредственным, горячим излиянием души. Садясь за письменный стол, молодой влюбленный, сохранивший чистоту сердца и ума, переживает такое бурное кипение чувств, что трудно назвать его послание обычным письмом — это скорее выжимка из множества начатых и незаконченных, переписанных наново и отвергнутых им писем. Вот тот вариант, с которым Каллист познакомил свою бедную мать, остолбеневшую от изумления. Ей казалось, что их старый дом охвачен пламенем, что любовь ее сына пылает в нем, как зловещий пожар.

От Каллиста к Беатрисе.

«Сударыня, я любил вас еще тогда, когда вы были для меня только мечтой; судите же сами, какой силы достигла моя любовь при виде вас. Действительность превзошла самые смелые мечты. И я в отчаянии, ибо, сказав вам, что вы прекрасны, я ничего не смогу добавить к тому, что вы уже давно знаете сами; добавлю одно: ваша красота, быть может, еще никогда не пробуждала ни в ком таких чувств, какие пробудила она во мне. Вы не только прекрасны, вы прекрасны на тысячи ладов; думая о вас денно и нощно, я изучил вас, я проник в тайны вашей души и вашего сердца, постиг неоцененные тонкости вашего характера. Да и понимал ли вас кто-нибудь когда-либо? Вас, столь достойную обожания и поклонения? Так знайте же, каждое ваше достоинство находит под-

ственный отклик в моем сердце: вы так же горды, как и я сам, благородство ваших взглядов, изящество вашей осанки, грация ваших движений — все в вас находится в чудесной гармонии с мыслями, с сокровенными стремлениями вашей души, и, разгадав их, я имею смелость полагать, что достоин вас. Если бы я не стал в течение этих нескольких дней вашим вторым «я», разве осмелился бы я писать вам о себе? Читать мое письмо — это акт эгоизма с вашей стороны, ибо речь здесь идет о вас самой, а не о Каллисте. Чтобы написать вам, Беатриса, я смирил свои двадцать лет, посягнул на самого себя, любовь состарила мою мысль, или, быть может, она постарела по вашей милости за эту неделю мучительных, чудовищных страданий, которые вы причинили мне,— впрочем, помимо своей воли. Не считайте же меня одним из тех заурядных воздыхателей, которых вы совершенно справедливо высмеиваете. Не велика заслуга полюбить молодую, прекрасную, умную, благородную женщину! Увы, я и не мечтаю даже чем-нибудь заслужить вас. Что я для вас? Дитя, которого влечет к себе блеск красоты и величие души, подобно тому, как влечет мотылька к яркому огню. Я знаю, вы растопчете цветы моей души, но я буду бесконечно, безмерно счастлив, чувствуя, как ваши прелестные ножки топчут мою душу. Безграничная преданность, беспредельная вера, пламенная любовь, все эти богатства любящего и искреннего сердца — ничто; они нужны тому, кто страстно любит, но они бессильны вызвать ответную любовь. Минутами мне кажется даже, что мраморный кумир, и тот потеплел бы от такого пламенного поклонения, но нет, когда я встречаю ваш суровый и холодный взгляд, я сам леденею. Моя любовь немеет перед вашим презрением. Почему? Не может же быть ваша ненависть ко мне сильнее моей любви к вам, так почему же более слабое чувство должно взять верх над чувством более сильным? Я любил Фелисите всеми силами своего сердца: увидев вас, я забыл ее в один день, в одну минуту. Она была заблуждением, а вы — вы истина. Вы разрушили, сами того не зная, мое счастье, и я не прошу у вас ничего взамен. Я любил Фелисите, не питая никаких надежд, и вас также я люблю безнадежно: ничто не изменилось, кроме самого божества. Я был идолопоклонником, а стал христианином — вот и все. Однако благодаря вам я знаю

теперь, что любить — это самое высшее счастье, только после него поставлю я счастье быть любимым. По утверждению Камилла, любить на короткий срок — значит не любить совсем; любовь, которая не растет с каждым днем, что это за мелкое и жалкое чувство! Для того чтобы расти, любовь должна верить, что ей нет конца, а Фелисите предчувствовала закат нашего солнца. При виде вас я понял правоту ее слов, против которых я восставал со всей силой моей юности, со всем неистовством моих желаний, со всем неумолимым деспотизмом моих двадцати лет. Я плакал, и несравненная Фелисите плакала вместе со мной. Вас я могу любить на земле и на небесах, как любят самого господа бога. Если бы вы любили меня, вам незачем было бы приводить те соображения, которыми Фелисите старалась умерить мой пыл. Мы оба молоды, у нас у обоих сильные крылья, и мы оба можем воспарить под самый небосвод, не боясь бури, которая страшила эту орлицу. Но что я говорю?

Я унесся слишком далеко от скромных моих желаний! Вы не будете больше верить покорности, терпению, безмолвному поклонению, которое вот этими самыми строками я молил не оскорблять без нужды. Я знаю, Беатриса, что вы не можете меня любить, не уронив себя в своем собственном мнении. Поэтому я не прошу у вас взаимности. Как-то Фелисите говорила по поводу своего имени, что имена имеют свою судьбу. И я почувствовал это, я понял, что ваше имя станет моей судьбой, когда я услышал его на герандской дамбе, у берега океана... Вы пройдете через мою жизнь, как Беатриче прошла через жизнь Данте. Я готов положить свое сердце к подножию белоснежной, мстительной, ревнивой и безжалостной статуи. Вам заказано любить меня; вы перемучаетесь всеми муками, вы будете обмануты, унижены, несчастны; в вас живет демон гордыни, это он приковал вас к колонне храма; посмей вы сотрясти его стены, вы, подобно Самсону, погибнете под развалинами. Всего этого я не видел, моя любовь слепа, совсем слепа; но мне сказала об этом Фелисите. Это догадка ее ума, а не моего: мой ум молчит, когда дело касается вас. Кровь бьет из глубин моего сердца, подымается, затемняя мой разум, лишая меня силы, сковывая мой язык, сгибая перед вами мои ослабевшие колени. Я могу только одно — обожать вас, что

бы вы ни делали. Камилл называет ваше решение упрямством, а я, я встал на вашу защиту, и я считаю, что оно продиктовано добродетелью. От этого вы становитесь еще прекраснее в моих глазах. Я знаю свою участь: велика бретонская гордыня, но ведь и для вас гордость — высшая женская добродетель. Итак, дорогая Беатриса, будьте добры ко мне, утешьте меня. Когда жертву вели на заклание, ее украшали цветами, я заслужил цветы милосердия, жертвенные песни. Разве я не лучшее доказательство вашего величия, и разве не вознесли вас еще выше крылья моей любви, которая отвергнута вопреки ее искренности, вопреки ее неугасимому огню? Спросите у Фелисите, как я вел себя, когда она объявила мне, что любит Клода Виньона. Уста мои сомкнулись, я страдал молча. И уж, конечно, ради вас я обрету еще больше сил, если только вы не повергнете меня в отчаяние, если оцените мой героизм. Одно-единственное слово хвалы или одобрения, и я перенесу самые тяжкие муки. А если вы замкнетесь в ледяное молчание, если будете по-прежнему дарить меня смертоносным презрением, я решу, что, чего доброго, вы боитесь меня. Ах, будьте же со мной такой, какая вы на самом деле — очаровательной, веселой, остроумной, любящей. Говорите мне о Дженаро, как Фелисите говорила со мной о Клоде. Мною движет только любовь, ничто во мне не может стать опасным для вас, я буду вести себя с вами так, как будто вовсе и не люблю вас. Неужели же вы отвергнете мольбу столь робкого чувства, неужели оттолкнете бедного юношу, который просит как единственной милости, чтобы его озарил ваш свет, согрели лучи вашего солнца? Того, кого вы любите, вы можете видеть всегда, а в распоряжении бедного Каллиста всего несколько дней: ведь скоро вы покинете наши края. Итак, завтра я снова явлюсь в Туш. Неужели вы откажетесь принять мою руку и отправиться со мной к берегам Круазика и в местечко Батц? Если вы не пойдете, это будет достаточно ясным ответом, и Каллист поймет его».

Зловещий смысл последних строчек Каллист объяснял еще на четырех страницах, исписанных мелким, убористым почерком, а также рассказывал историю своей короткой жизни. Он пустил в ход весь арсенал восклица-

ний; а сколько там было многоточий, на которые так щедра современная литература! — при передаче скользких мест они играют роль дощечки, которая переносит воображение читателя через опасные бездны. В пересказе это наивное живописание было бы слишком скучно,— оно не тронуло г-жу де Рошфид и вряд ли пришлось бы по вкусу любителям сильных ощущений, но мать Каллиста, прочитав эти строки, зарыдала и спросила сына:

— Значит, ты не был счастлив?

Эта страшная поэма чувств, спаливших, как молнией, сердце ее Каллиста и теперь грозящих ворваться, словно вихрь, в другую душу, испугала баронессу: Фанни впервые в жизни читала любовное письмо. Каллист стоял в ужасном смятении, он не знал, каким образом переправить по адресу свое послание. Кавалер дю Альга еще сидел в зале, где разыгрывался последний круг веселой мушки. Шарлотта де Кергаруэт в отчаянии от равнодушия Каллиста прилагала все силы, чтобы понравиться его родственникам и тем самым закрепить свои позиции в намечаемом браке. Каллист спустился в залу вслед за матерью, письмо, лежащее в кармане куртки, жгло его как огнем; он не находил себе места, он бился, как бабочка, нечаянно влетевшая в комнату. Наконец ему и Фанни удалось заманить кавалера дю Альга в соседнюю залу, откуда они предварительно выслали маленького слугу мадемуазель де Пеноэль.

— Для чего это им понадобился кавалер? — спросила старуха Зефирина у мадемуазель де Пеноэль.

— Каллист нынче совсем с ума сошел,— отрезала Жаклина.— Он не обращает на Шарлотту никакого внимания, словно она дочь болотаря какого-нибудь.

Баронесса совершенно правильно рассудила, что в 1780 году кавалер дю Альга смело бороздил океан галантности, и посоветовала сыну обратиться к нему за советом.

— Как лучше всего незаметно для других передать письмо в собственные руки возлюбленной?— спросил шепотом Каллист кавалера.

— Можно передать письмо горничной, присовокупив к нему парочку золотых, ибо рано или поздно горничная все равно будет посвящена в тайну хозяйки, и гораздо

удобнее поставить ее в известность сразу,— ответил кавалер, и бесстрастное лицо его озарилось улыбкой.— А еще лучше передать письмо самому предмету ваших воздыханий.

— Парочку золотых! — воскликнула баронесса.

Каллист вышел из комнаты, надел шляпу, помчался в Туш и, как привидение, возник на пороге маленькой гостиной, откуда доносились голоса Беатрисы и Камилла. Подруги сидели на диване и беседовали самым дружеским образом. Каллист во внезапном прозрении чувств, дающемся только любовью, с беспечным видом бросился на диван рядом с маркизой, взял ее руку и сунул ей письмо с такой быстротой, что даже Фелисите при всей своей наблюдательности ничего не успела заметить. Сердце Каллиста волновали одновременно мучительные и нежные ощущения: ведь он касался руки Беатрисы, а та, не прервав даже начатой фразы, не проявив ни малейшего смущения, спрятала письмо в разрез перчатки.

— Вы бросаетесь на женщин, как на диван,— проговорила она смеясь.

— И, однако, он не придерживается турецких взглядов,— вмешалась Фелисите, которая даже сейчас не могла удержаться от шутки.

Каллист поднялся, взял руку Камилла и поцеловал ее; потом он подошел к роялю и пробежал пальцами по всей клавиатуре, вызвав немало шуму. Веселый вид Каллиста, его живость заинтересовали Фелисите.

— Что с вами? — шепнула она Каллисту на ухо.

— Ничего,— ответил тот.

«Между ними что-то произошло»,— подумала мадемуазель де Туш.

Маркиза сидела с непроницаемым видом. Фелисите попыталась вызвать Каллиста на разговор в надежде, что он проболтается, но юноша заявил, что его матушка будет беспокоиться, и в одиннадцать часов откланялся, унеся на прощание огненный и проницательный взгляд Камилла,— впервые она услышала от Каллиста подобный ответ.

После тревожного полусна, наполненного мечтами о Беатрисе, после бесплодных блужданий по Геранде в ожидании ответа, который все не приходил, Каллист на-

конец получил долгожданное письмо, которое вручила ему горничная маркизы, и он убежал в глубину сада, в грот, чтобы прочесть приведенное ниже послание.

От Беатрисы к Каллисту.

«Вы благородное дитя, но вы только дитя. Вы всем обязаны Камиллу, которая обожает вас. Вы не найдете во мне тех совершенств, которые отличают ее, ни того счастья, которое она вам так щедро дает. Что бы вы ни говорили, она молода, а стара я; сердце ее полно чудесных сокровищ, а мое пусто, она предана вам, чего вы не можете оценить в полной мере: в ней нет и тени эгоизма, она живет только вами; а я исполнена сомнений, я вовлекла бы вас в орбиту скучной, неблагородной жизни, жизни, которая испорчена совершенной ранее ошибкой. Фелисите свободна, она может жить так, как хочет, а я раба. Наконец, вы забываете, что я люблю и любима. То положение, в каком я нахожусь, обязывает меня защищать себя от всяких проявлений чувств. Любить меня или говорить о своей любви ко мне — оскорбление со стороны мужчины. Ведь новая моя ошибка поставила бы меня на одну ступень с самыми низкими созданиями моего пола! Вы молоды, вы деликатны, как же вы вынуждаете меня говорить вам такие вещи,— ведь, выходя из сердца, они оставляют в нем кровавый след. Я предпочла разрыв, непоправимое несчастье, стыду медленной каждодневной лжи, предпочла погубить себя, чтобы остаться честной; и в глазах большинства людей, уважением коих я дорожу, я стою еще достаточно высоко; однако один ложный шаг, и я упаду, и упаду еще несколькими ступенями ниже. Свет не отказывает в снисхождении тому, кто хотя бы постоянством может прикрыть, как покровом, беззаконность своего счастья; но свет беспощаден к пороку, ставшему привычкой. Я не презираю вас, не испытываю к вам гнева,— видите, я отвечаю вам просто и искренне. Вы молоды, вы не знаете света, вас увлекает фантазия, и вы неспособны, как и все чистые люди, черпать рассудительность в том опыте, который дается несчастьем. Скажу больше. Я была бы самой униженной в мире женщиной, я испытала бы тысячу терзаний, я была бы оставлена друзьями и близкими,

наконец, все отвернулись бы от меня,— все это, благодарение богу, не так и не будет так,— но, если бы свершилась месть небес, свет никогда бы больше не увидел меня. Да, у меня хватит силы убить мужчину, который осмелится заговорить со мной о любви, если только в таком моем положении мужчина посмеет приблизиться ко мне. Теперь вы знаете самую суть моих мыслей. Быть может, я должна быть благодарна вам за ваше письмо. После этого письма, и особенно после моего ответа, я могу чувствовать себя в Туше, даже в вашем присутствии, вполне свободной, могу стать сама собой — такою, какой вы хотите меня видеть. Не буду говорить, в каком нелепом и горестном положении очутилась бы я, если бы мой взор переставал выражать те чувства, на которые вы жалуетесь. Вторично похитить друга у Камилла — да это доказательство бессилия, на которое ни одна женщина вторично не пойдет. Люби я вас безумно, до ослепления, забудь я все,— я все время видела бы перед собою Фелисите! Любовь ее к вам — такая преграда, какую не преодолеть ни на каких крыльях, даже на крыльях ангела: только демон не отступил бы перед столь гнусной изменой. На это, дитя мое, имеются тысячи соображений и причин; благородные и тонко чувствующие женщины берегут их про себя, да, впрочем, мужчины не понимают в этом ровно ничего,— я имею в виду и вас, хотя в данном случае вы больше напоминаете нас, женщин.

Наконец, у вас есть мать, которая являет вам пример, какою должна быть женщина: она чиста и непорочна, она выполнила свое благородное предназначение. Я знаю о ней немного, но и этого достаточно, чтобы на глазах моих выступили слезы, а в глубине сердца шевельнулась зависть. И я могла быть такой же! И такой, Каллист, должна быть ваша жена, и такой должна быть ваша жизнь. Я не буду больше с насмешкой и злобой отсылать вас к этой девочке Кергаруэт, которая наскучит вам в течение месяца,— нет, ваша жена должна быть достойна вас. Если бы я стала вашей, я испортила бы вам всю жизнь. Вам не хватило бы веры, постоянства, или же вы решили бы посвятить мне всего себя, все свое существование: скажу вам с полной искренностью, я бы взяла его, я увела бы вас на край света, далеко от людей; я сдела-

ла бы вас несчастным, я ревнива, я делаю из мухи слона, я впадаю в отчаяние перед лицом неприятностей, с которыми мирятся другие женщины; даже мысли, иные беспощадные мысли, хотя они исходили бы от меня самой, а не от вас, ранили бы меня смертельно. Когда на десятом году счастья мужчина не так почтителен и не так чуток, как накануне того дня, когда он выпрашивал нашей милости,— он отвратителен, он унижает меня в моих собственных глазах: такой любовник уже не Амадис и не Кир моих мечтаний. В наши дни чистая любовь — это сказка, и в вас, если вам угодно знать, говорит самолюбие мужчины, не уверенного в развязке. Мне не сорок лет, я еще не научилась сгибать свою гордость под тяжестью жизненных испытаний, я не умею любить униженной, смиренной любовью, наконец, у меня, как у всех молодых женщин, несносный нрав. Я не могу отвечать за свое настроение, а что касается моего, как вы говорите, очарования,— оно лишь внешность. Быть может, я еще недостаточно страдала и не обладаю тем даром всепрощения и смиренной нежности, который дается нам жестокими изменами мужчин. Счастью свойственна дерзость, и я дерзка.

Фелисите всю жизнь будет вам преданной рабой, а я была бы безрассудным деспотом. К тому же она ниспослана вам ангелом-хранителем, чтобы быть с вами до того времени, когда вы вступите на предназначенный путь, который, не сомневаюсь, сумеете пройти достойно. Я хорошо знаю Фелисите, нежность ее неистощима; возможно, ей неведомы кое-какие чары нашего пола, но она наделена в высшей степени той плодотворной силой, тем даром постоянства и той благородной самоотверженностью, которые заставляют забыть все. Она устроит ваш брак, хоть и будет испытывать при этом жесточайшие муки; она сумеет найти для вас другую, свободную Беатрису, если только именно Беатриса отвечает вашему идеалу, вашим заветным мечтам о женщине; Фелисите устранит все трудности, стоящие на вашем пути. Продав клочок земли, которым она владеет в Париже, она сможет выкупить ваши бретонские владения, она сделает вас своим наследником, уже сейчас она ведь усыновила вас. А что я могу сделать для вашего счастья! Увы, ничего. Не изменяйте же вечной любви, которая изливается в материнских за-

ботах. Я считаю, что Фелисите — счастливица!.. Восхищение, которое внушает вам несчастная Беатриса, не такой уж большой грех, и женщины в возрасте Камилла полны снисхождения к подобным пустякам. Когда они уверены в том, что любимы, они прощают мимолетную неверность ради постоянства; более того, торжествовать над молодыми соперницами — для них подлинное блаженство. Фелисите, конечно, выше прочих женщин: мои слова отнюдь не относятся к ней, я сказала об этом только затем, чтобы успокоить вашу совесть. Я хорошо изучила Фелисите; в моих глазах — это величайший талант нашего времени. Она умна и добра — два качества, почти несовместимые в женщине; она великодушна и проста — еще два высоких достоинства, которые редко встречаются в одном человеке. В ее сердце я вижу надежные сокровища; Данте создал как будто для нее в своем «Раю» прекрасную строфу о вечном счастье, кончающуюся словами: «Senza brama sicura ricchezza!» [1]. Помните, она поясняла их нам как-то вечером?

Она говорила со мной о себе, она рассказала мне о своей жизни, она призналась, что любовь, эта цель наших помыслов и мечтаний, всегда бежала ее, и я ответила, что, на мой взгляд, ее слова доказывают, какие беды грозят людям, стремящимся к нечеловеческому совершенству. Вы именно та ангельская душа, которой трудно найти достойную пару. А Фелисите, мое дорогое дитя, отвратит от вас угрозу одиночества: она найдет вам — пусть даже ценою своей собственной жизни — ту женщину, с которой вы будете счастливы в супружестве.

Протягиваю вам руку, как друг, и рассчитываю не на ваше сердце, а на ваш разум, и, верю, он поможет нам стать братом и сестрой. Закончим на этом нашу переписку. Признайтесь, что достаточно нелепо слать друг другу письма из Туша в Геранду.

Беатриса де Катеран».

Взволнованная до последней степени обстоятельствами, развитием и ходом любви Каллиста к г-же де Рошфид, баронесса не могла дольше оставаться в зале, где она сидела за вышиванием, при каждом стежке вскиды-

---

[1] «О верный клад, без алчности хранимый!» *(итал.)*

вая глаза на Каллиста, который виден ей был из окна; она вышла в сад и приблизилась к сыну с робким и в то же время смелым видом. В эту минуту мать походила на куртизанку, которая силою своей прелести хочет добиться уступок.

— Ну что? — неопределенно спросила она, вся дрожа, но не осмеливаясь первой заговорить о письме.

Каллист показал ей послание Беатрисы и затем прочел его вслух. Две прекрасные, столь наивные и простые души не заметили в этом вероломном и коварном ответе ни хитрости, ни ловушек, которые щедро расставила маркиза.

— О, это великая и благородная женщина! — вскричала баронесса, и глаза ее увлажнились.— Я буду молить за нее бога. Я не верила, что женщина, покинувшая мужа и ребенка, может быть столь добродетельной! Она достойна прощения.

— Разве я не прав, обожая ее? — спросил Каллист.

— Но куда тебя заведет эта любовь? — вскричала баронесса.— О дитя мое, сколько женщин, наделенных самыми благородными чувствами, несут мужчинам гибель! Их следует бояться больше, чем низких созданий. Женись на Шарлотте де Кергаруэт, выкупи заложенные родовые земли. Продав две-три фермы, мадемуазель де Пеноэль поможет нам в этом. Ты восстановишь и расширишь наши владения. Таким образом, ты сможешь оставить своим детям доброе имя, хорошее состояние...

— Забыть Беатрису?..— сказал Каллист глухим голосом, не подымая глаз.

Он покинул мать и поднялся к себе, чтобы ответить маркизе. Письмо г-жи де Рошфид запечатлелось в сердце г-жи дю Геник: ей хотелось знать, на чем зиждутся надежды Каллиста. Обычно в эти часы кавалер дю Альга прогуливал на городской площади свою собачку, и поэтому, надев шляпку, накинув на плечи шаль, баронесса смело отправилась туда. Появление г-жи дю Геник на герандских улицах в столь неурочный час вызвало смятение: баронесса выходила из дома только в церковь или в праздники прохаживалась с мужем и мадемуазель Жаклиной по двум красивым бульварам, излюбленному месту прогулок горожан, и не удивительно, что уже через

два часа герандцы собирались кучками и обсуждали это необычайное происшествие:

— А вы видели, что госпожа дю Геник выходила нынче из дома?

Когда эта новость достигла слуха Жаклины, она заявила племяннице:

— Должно быть, у Геников стряслась беда.

— Каллист безумно влюблен в маркизу де Рошфид,— ответила Шарлотта,— я уеду домой, в Нант.

А тем временем кавалер дю Альга, несказанно удивленный появлением баронессы, отпустил поводок своей любимицы Тисбы, чтобы она не отвлекала его внимания от предстоящего разговора.

— Кавалер, вы сведущи в любовных делах?

Кавалер дю Альга выпрямил свой стан не без фатовства. Фанни, не называя ни сына, ни маркизы, подробно пересказала ему содержание письма и спросила, что бы мог означать подобный ответ. Кавалер слушал сосредоточенно, поглаживая подбородок; сочувственно подымал брови, участливо кривил рот; наконец он взглянул на баронессу проницательным, пристальным взглядом.

— Когда породистым лошадям предстоит взять барьер, они сначала обнюхивают его, приглядываются,— промолвил он.— Наш Каллист сорвет не один цветок блаженства.

— Тише! — шепнула баронесса.

— Нем, как могила. Этим качеством я славлюсь с давних пор,— возразил старый кавалер.— Чудесная погода,— продолжал он, помолчав немного,— начался норд-ост. Бог ты мой, если бы вы видели, как фрегат «Бель Пуль» шел по такому ветру, когда... Впрочем,— прервал он самого себя,— в ушах у меня ужасный звон, и опять начались колики, значит, погода переменится. Если бы вы знали, какую славную победу одержало это судно! Даже дамы стали носить прическу а ла «Бель Пуль». Госпожа де Кергаруэт первая явилась в оперу в таком уборе. «Вы победоносно причесаны»,— сказал я ей. Эта острота облетела все ложи.

Баронесса любезно слушала старика, а он по всем правилам галантности проводил свою даму до самого дома, забыв даже Тисбу. По дороге он вдруг решился посвятить баронессу в тайну рождения Тисбы. Тисба, при-

надлежавшая кавалеру дю Альга, доводилась внучкой прелестной Тисбе, собачке первой супруги адмирала де Кергаруэта. Та Тисба прожила целых восемнадцать лет. Баронесса проворно поднялась к Каллисту, ноги несли ее, как будто она сама стала героиней романа.

Каллиста не было, но Фанни заметила письмо, лежащее на столе, оно было адресовано г-же де Рошфид и не запечатано. Непреодолимое любопытство и беспокойство побудили мать прочесть ответ сына. Ее проступок был жестоко наказан. Она ужаснулась, увидя, в какую бездну толкает любовь ее Каллиста.

От Каллиста к Беатрисе.

«Что мне род дю Геников в наши дни, дорогая! Имя моего рода — Беатриса, счастье Беатрисы — мое счастье, ее жизнь — моя жизнь, а все мое богатство — ее сердце. Наши земли заложены два века тому назад и, очевидно, еще два века останутся в залоге; фермеры владеют ими, и ничто не может изменить существующего положения. Видеть вас, вас любить — вот что я исповедую, во что верю.

Вступить в брак! Одна только эта мысль надрывает мне сердце. Другая Беатриса! Разве есть она на свете? Я женюсь только на вас, и, если потребуется, я буду ждать двадцать лет, я молод, а вы и через двадцать лет будете прекрасны. Моя мать святая, я не имею права ее осуждать. Но она никогда не любила! Я знаю теперь, что́ она потеряла и какие жертвы принесла. Вы научили меня, Беатриса, еще сильнее любить мою мать; ей одной,— кроме вас, понятно,— принадлежит мое сердце, оно вечно будет принадлежать ей, и она будет единственной вашей соперницей; значит, вы владеете мной безраздельно. Таким образом, все ваши доводы не нашли отклика во мне. Что касается Камилла, то по первому вашему знаку я умолю ее, и она сама скажет вам, что я не люблю ее более: она мать и воспитательница моего разума, не менее и не более. С той поры как я увидел вас, она стала мне сестрой, подругой или, если хотите, другом; мы связаны единственными узами — узами дружбы и не имеем друг на друга никаких иных прав. Пока я не знал вас, она была для меня женщиной. Но при виде вас я понял, что

она мужчина: она плавает, охотится, она ездит верхом, она курит, она пьет, она пишет, она разбирает души и книги, в ней нет ни малейшей слабости, она ходит крупным мужским шагом; у ней нет ваших непринужденных движений, ни вашего голоса — голоса любви, ни ваших лукавых взглядов, ни вашей грациозной походки: она — Камилл Мопен и ничто иное; в ней нет ничего от женщины, а в вас есть все, что я люблю в женщине. С первого взгляда, как я вас увидел, мне показалось, что вы моя. Вы будете смеяться, но я и сейчас так чувствую, мне страшно подумать, что мы вынуждены будем расстаться! Вы моя душа, моя жизнь, и я не мыслю своей жизни без вас. Позвольте же мне любить вас. Мы скроемся от всех, мы убежим далеко-далеко, в страну, где вы не встретите никого и где в вашем сердце будут только я и бог. Моя мать, которая уже любит вас, приедет к нам и будет жить вместе с нами. В Ирландии есть замки, и родня моей матери предоставит один из таких замков в наше распоряжение. Ради бога, уедемте! Барка, матросы — и мы будем там завтра, раньше, чем парижский свет, которого вы так боитесь, узнает о том, где мы находимся. Вас не любили; я почувствовал это, перечитывая ваше письмо, я понял, что, не будь обстоятельств, о которых вы говорите, вы позволили бы мне любить вас. Беатриса, святая любовь стирает прошлое. Видя вас, можно ли думать о ком-либо ином, кроме вас! Ах, я люблю вас так сильно, что мне хотелось бы, чтобы вы были в тысячу раз хуже, чем на самом деле, и я мог бы доказать вам силу своей любви, обожая вас как святую. Вы говорите, что моя любовь оскорбляет вас. О Беатриса, ты сама не веришь этому! Любовь благородного ребенка,— а разве не вы сами назвали меня так,— может оказать честь королеве. Итак, завтра мы с вами, как влюбленные, отправимся бродить по скалам и берегу моря, и, ступая по пескам старой Бретани, вы освятите их для меня! Подарите мне этот день счастья; и эта милостыня, о которой, быть может, вы скоро забудете, станет для Каллиста вечным богатством...»

Баронесса выронила письмо из рук, не дочитав его, она преклонила колени тут же, возле кресла, и вознесла богу горячую мольбу, прося его сохранить сыну разум,

оградить от безумств и заблуждений, отвратить Каллиста от пагубного пути, на который он вступил.

— Что ты делаешь, маменька? — спросил вошедший в комнату Каллист.

— Я молюсь о тебе,— ответила Фанни, вскидывая на сына глаза, полные слез,— я жалею, что прочитала твое письмо. Оказывается, мой Каллист безумен!

— Да, но безумие мое сладостно,— ответил юноша, обнимая мать.

— Я хочу видеть эту женщину, дитя мое.

— Хорошо, маменька,— сказал Каллист,— завтра мы отправимся в Круазик, будьте в это время на молу.

Каллист спрятал письмо и понесся в Туш. Баронесса поняла, что чувство, овладевшее Каллистом, как бы вооружило его вторым зрением, которое дается только опытом; бедную мать испугала эта проницательность, пришедшая до времени. Ведь письмо Каллиста было написано как будто под диктовку многоопытного кавалера дю Альга.

Люди мелочные и завистливые испытывают жгучее удовольствие, когда им удается расставить ловушку человеку благородному. Беатриса ясно сознавала, что она много ниже Камилла Мопена. И ниже не только в области душевных совершенств, именуемых *талантом*, но и в области мощных движений сердца, именуемых *страстью*. Когда Каллист явился в Туш со всем пылом первой любви, паря на крыльях надежды, маркиза испытала живейшую радость при мысли, что она любима этим прелестным юношей. Вместе с тем она не хотела разделять это чувство, она полагала своим долгом подавить это «каприччо», как сказали бы итальянцы, и таким образом стать равной Фелисите; Беатриса была счастлива, что может принести жертву подруге. Наконец, маркиза, как истая француженка, черпала в бесцельном кокетстве сознание своего превосходства и наслаждалась этим сознанием; шутка ли сказать, ее окружали самые изысканные соблазны, а она противостояла им. И Беатриса готова была сама слагать хвалу своим женским добродетелям. Северный ветер утих, у открытого окна в маленькой гостиной, являвшей собой чудесную гармонию убранства и красок, среди цветущих жардиньерок полулежали на диване наши подруги, по-видимому, наслаждаясь полным

покоем. Несущий истому южный ветерок слегка морщил поверхность соляного озера, и она расцветала тысячью блесток; яркие лучи солнца зажгли золотом песчаный берег. Души обеих женщин были столь же взволнованы, сколь безмятежной казалась природа, и, как она, обе пылали жаром, предвещавшим грозу.

Захваченная колесом машины, которую она сама пустила в ход, Фелисите теперь следила за каждым своим шагом, ибо знала, как проницательна ее соперница, ее подруга, которую она залучила в свои сети. Чтобы не выдать тайну, мадемуазель де Туш вся отдалась созерцанию природы; она пыталась забыться, ища смысла в движении миров, и обнаруживала бога в величественной пустыне неба. Как только неверующие призна́ют бога, они бросаются во все крайности католицизма в поисках некоей совершенной системы. В то утро Фелисите предстала перед маркизой с просветленным челом: ночные размышления смыли с него следы муки. Как небесное видение, образ Каллиста стоял перед ее взором. Этот прекрасный юноша, которому она предалась, стал для нее ангелом-хранителем. Ведь именно он вел ее к тем высотам, где кончались страдания, растворяясь в безмерности. Однако явно торжествующий вид Беатрисы обеспокоил Камилла: как бы ни притворялась женщина, она не может утаить от соперницы подобное торжество. Странное зрелище являла эта глухая схватка двух приятельниц, скрывавших друг от друга свою заветную тайну и твердо веривших, что каждая пожертвовала собой для блага любимой подруги. Явился Каллист, он спрятал письмо под перчатку, чтобы легче было передать его Беатрисе. Фелисите, от которой не ускользнула перемена, происшедшая с маркизой, делала вид, что не наблюдает за ней, но когда в гостиной появился Каллист, она стала следить в зеркале за каждым движением Беатрисы. Вот камень преткновения для каждой женщины в решающую минуту! Тут самые умные и дурочки и самые искренние и притворщицы перестают владеть собой, и соперница разгадывает их. Слишком сдержанный или слишком непринужденный вид, смелый и сверкающий взгляд, загадочно опущенные веки — словом, все выдает чувство, которое труднее всего скрыть, ибо в равнодушии есть нечто столь бесконечно холодное, что его нельзя ни под-

делать, ни сыграть. Женщины в совершенстве распознают все оттенки чувств, и это не удивительно — так часто и так усердно прибегают они к всевозможным ухищрениям. Одним взглядом женщина охватывает соперницу с ног до головы; она угадает все по легчайшему движению туфельки, скрытой платьем, по неприметному изгибу стана; она поймет, что означает пустяк, который мужчина даже и не заметит. Нет более увлекательной комедии, чем та, какую являют две женщины, наблюдающие друг за другом.

«Что-то здесь кроется! Каллист, должно быть, совершил промах»,— подумала Фелисите, поняв по неуловимым признакам, что между ним и маркизой есть какой-то сговор.

Маркиза держала себя с Каллистом совсем не так, как прежде: исчезла ее надменность, притворное равнодушие, она смотрела на юношу, как на свою собственность. По лицу Каллиста нетрудно было прочитать его мысли, он краснел, как будто провинился в чем-то,— он был счастлив. Он пришел, чтобы окончательно сговориться о завтрашней поездке.

— Значит, вы твердо решили ехать, дорогая? — спросила Фелисите маркизу.

— Да,— ответила Беатриса.

— А вы как об этом узнали? — обратилась мадемуазель де Туш к Каллисту.

— Да вы только что сказали сами,— ответил юноша, повинуясь взгляду, брошенному на него г-жой де Рошфид, которой отнюдь не улыбалось, чтобы Фелисите знала о ее переписке с Каллистом.

«Они спелись,— подумала мадемуазель де Туш, от которой ничто не ускользало. — Все кончено, мне остается только одно — исчезнуть».

Мысль эта была невыносимо тяжела; лицо Фелисите вдруг так исказилось, что Беатриса вздрогнула.

— Что с тобой, душенька? — воскликнула она.

— Ничего! Итак, Каллист, пошлите завтра моих и ваших лошадей в Круазик, оттуда мы в экипаже вернемся домой через Батц. Позавтракаем в Круазике, а пообедаем в Туше. С лодочниками вы условились? Отправимся утром в половине девятого. Какие там прекрасные картины открываются взгляду! — обратилась она к Беат-

рисе.— Кстати, вы увидите знаменитого Камбремера, он убил своего сына, а теперь живет отшельником на скале и кается. О, мы с вами попали в дикий край, где людям незнакомы наши заурядные чувства! Каллист как-нибудь расскажет вам эту историю.

Фелисите прошла в свою комнату, она задыхалась; юноша передал письмо и последовал за ней.

— Каллист, кажется, вы уже любимы, но, боюсь, вы набедокурили. Признайтесь же, нарушили вы мои указания, а?

— Я любим! — воскликнул он, падая в кресло.

Фелисите выглянула за дверь, но Беатрисы в гостиной не оказалось. Это было странно. Женщина не уйдет из комнаты, зная, что может еще раз увидеть возлюбленного, а если она ушла, значит, у нее есть какая-то приманка. «Уж не получила ли маркиза письмо от Каллиста?» — подумала мадемуазель де Туш. Но она тут же решила, что невинный бретонец не осмелится совершить подобную дерзость.

— Если ты не будешь слепо повиноваться мне, все кончено, и по твоей же собственной вине,— строго сказала она.— Иди, готовься к своим завтрашним утехам.

И она жестом отослала Каллиста, который не решился возразить: в молчаливых страданиях есть свое властное красноречие. Юноша поспешил в Круазик сговориться с лодочниками, но и шагая через пески и болота, он не мог унять тревоги. В словах Камилла прозвучало нечто роковое, они были подсказаны внутренним голосом материнства. Когда часа через четыре Каллист, едва держась на ногах от усталости, добрался до Туша, где рассчитывал пообедать, он наткнулся на горничную, которая, как часовой, поджидала его у дверей и сообщила, что ее госпожа и маркиза сегодня вечером принять барона не могут. Пораженный Каллист начал было расспрашивать девушку, но она заперла дверь и ускользнула. На геранд-ской колокольне пробило шесть часов. Каллист вернулся домой, пообедал и в глубоком раздумье сел играть в мушку. Этот переход от счастья к горю, эта внезапная гибель всех его надежд последовали за коротким мигом уверенности в том, что он любим маркизой. Юная душа уже устремилась на широко распростертых крыльях к

небесам и вознеслась так высоко, что падение должно было быть ужасным.

— Что с тобой, Каллист? — шепнула Фанни на ухо сыну.

— Ничего,— ответил он, вскидывая на нее глаза, в которых потух свет души и любовный пламень.

Напрасно полагают, что силою надежд измеряется размах наших притязаний,— они раскрываются полностью в моменты отчаяния. Прекрасные гимны надежде человек слагает втайне, а отчаяние показывает себя без покровов.

— Вы, Каллист, не особенно любезны нынче,— заявила Шарлотта; она напрасно старалась расшевелить юношу и добродушно поддразнивала его, однако у провинциалок самые безобидные шутки превращаются в назойливое приставание.

— Я устал,— промолвил Каллист, вставая с места, и удалился, пожелав всем доброй ночи.

— Наш Каллист сильно переменился,— сказала мадемуазель де Пеноэль.

— Еще бы, ведь мы не носим красивых платьев, отделанных кружевом, мы не размахиваем вот так рукавами, мы не ломаемся, не умеем делать глазки, вертеть во все стороны головой,— сказала Шарлотта, забавно подражая манерам, позам и взглядам маркизы,— мы не умеем говорить тоненьким голоском, не умеем завлекательно покашливать с таким видом, будто вздыхает привидение: кхэ! кхэ! К нашему несчастью, мы пользуемся прекрасным здоровьем, и мы любим наших друзей без всякого кокетства; мы смотрим на них просто, а не жалим их взглядом, не впиваемся в них с лицемерным видом. Мы не умеем никнуть, как плакучая ива, и не умеем пленять, очаровательно вскидывая головку!

Мадемуазель де Пеноэль не могла удержаться от смеха при виде забавных ужимок племянницы; но ни кавалер, ни барон не поняли, что это провинция направляет свою убийственную сатиру против Парижа.

— Однако маркиза де Рошфид очень красива,— сказала старая девица.

— Друг мой,— обратилась баронесса к мужу,— я узнала случайно, что завтра маркиза пойдет прогуляться

к Круазику, давай отправимся туда, я хочу на нее поглядеть.

Пока Каллист ломал себе голову, стараясь угадать, почему двери Туша оказались нынче закрыты для него, между подругами разыгралась сцена, которая должна была отразиться на событиях завтрашнего дня. Письмо Каллиста пробудило в сердце г-жи де Рошфид незнакомые ей доселе чувства. Не часто женщине доводится стать предметом столь юной, столь наивной, столь искренней и безграничной любви. Беатриса сильнее любила сама, чем бывала любима. И теперь, познав рабство, она почувствовала необъяснимое желание стать тираном. Но среди той радости, с какой она читала и перечитывала письмо Каллиста, ее вдруг пронзило жестокое подозрение. Что, в сущности, связывало Каллиста с Фелисите после отъезда Клода Виньона? Если Каллист не любит Фелисите и Фелисите это знает, чем же они заняты по утрам? И лукавая ее память сопоставила возникший перед ней вопрос с некоторыми замечаниями Камилла. Как будто дьяволенок показал ей в волшебном зеркале портрет этой необычайной женщины; и ее взгляды, ее жесты окончательно просветили Беатрису. Она надеялась стать равной Камиллу, а раздавлена ею: не она играла соперницей, а та сделала ее своей игрушкой; она нужна только для того, чтобы Камилл могла доставить удовольствие этому мальчику, которого она любит такой необычной и редкостной любовью. Для такой женщины, как Беатриса, открытие это было равносильно удару молнии. Она самым тщательным образом восстановила в памяти все события этой недели — день за днем. В одну минуту роль Камилла и ее собственная роль предстали перед нею в истинном свете, и она почувствовала себя донельзя униженной. В приступе злобной ревности она подумала было, что Камилл мстит ей за Конти. Быть может, все прошлое, все эти два года сказались в эти две недели. Вступив на опасный путь подозрений, неверия и гнева, Беатриса уже не владела собой; она шагала по комнате во власти непреодолимого смятения души и время от времени присаживалась в кресло, стараясь принять решение; но вплоть до обеда она так ничего и не решила и спустилась к столу, даже не сменив утреннего наряда. При виде соперницы, входящей в столовую, Фелисите поняла все:

небрежный туалет Беатрисы, ее холодный взгляд и замкнутое выражение лица открыли ей всю правду. Фелисите, наделенная великим даром наблюдательности, сумела прочесть вражду в этом ожесточившемся сердце. Вот тогда-то Фелисите вышла из столовой и отдала горничной приказание, столь удивившее Каллиста: она решила, что если наивный бретонец, охваченный безумной любовью, вдруг явится среди их спора, ему, пожалуй, не видать больше Беатрисы, он обязательно загубит все дело какой-нибудь глупой откровенностью; поэтому она хотела начать и кончить эту дуэль обманов без секунданта. Не имея опоры, Беатриса легко станет ее добычей. Камилл знала, как черства эта душа, как мелочна эта великая гордыня, которую она совершенно справедливо называла простым упрямством. Обед прошел мрачно. Обе дамы были слишком умны и обладали слишком хорошим вкусом, чтобы начать объяснения в присутствии слуг или допустить, чтобы их разговор был подслушан. Фелисите была нежна и добра: ведь она чувствовала свое превосходство! Маркиза сидела суровая и едкая, она знала теперь, что ею играют, как малым ребенком. Таким образом, во время обеда шел только поединок взглядов, жестов, полунамеков, из которых слуги, конечно, ничего не поняли, однако ясно было, что буря близка. Дамы встали из-за стола, Фелисите решила, что возьмет Беатрису под руку, но та сделала вид, что не заметила этого любезного жеста, и быстро поднялась по лестнице. Когда кофе был подан, Фелисите приказала лакею удалиться, и слова «Можете идти» прозвучали сигналом к битве.

— Романы, которые вы затеваете, моя дорогая, несколько опаснее тех, которые вы пишете,— начала маркиза.

— Однако они имеют одно большое преимущество,— возразила Фелисите, закуривая пахитоску.

— Какое же? — осведомилась Беатриса.

— Они не предназначены для печати, мой ангел.

— А тот роман, в котором вы выводите меня, будет издан?

— К сожалению, я лишена дара Эдипа, вы умны и прекрасны, как сфинкс, не спорю; но не задавайте мне загадок, говорите начистоту, дорогая Беатриса.

— Когда мы обращаемся за помощью к дьяволу,

чтобы сделать мужчину счастливым, развлечь его, понравиться ему, рассеять его скуку, то...

— Мужчина позднее упрекнет нас за все наши старания, решив, что нами руководит демон испорченности,— перебила ее Камилл, бросив пахитоску.

— Он забудет, что нас влекла любовь, которая не считается ни с какими границами. Ибо мы идем на все!.. Но ведь это их мужское дело — быть неблагодарными и несправедливыми,— продолжала Беатриса.— В отличие от них женщина знает женскую душу, умеет понять, как благородны, исполнены гордости и, я не боюсь сказать, добродетельны поступки женщины при самых различных обстоятельствах. Однако, Камилл, я вынуждена признать основательность критики, на которую вы не раз жаловались. Да, да, моя милая, в вас есть что-то мужское; вы ведете себя, как мужчина, вы не останавливаетесь ни перед чем, и если вы не обладаете всеми преимуществами мужчин, вы думаете на их лад и вместе с ними презираете нас, женщин. Я имею основание быть вами недовольной, мой друг, и я слишком искренна, чтобы скрывать это. Быть может, никто никогда не наносил моему сердцу столь чувствительного удара, никто не причинял мне таких страданий, какие я испытываю сейчас. Если вы не женщина в любви, зато вы поступаете чисто по-женски, когда дело идет о мести. Надо быть гениальной женщиной, чтобы обнаружить самое уязвимое, самое чувствительное место в нашей душе. Я говорю о Каллисте и о ваших проделках, да, именно проделках, моя милая, направленных против меня. До каких низостей опустились вы, Камилл Мопен, и с какою целью?

— Ну разве вы не сфинкс? — возразила, улыбаясь, Фелисите.

— Вам нужно было, чтобы я бросилась на шею Каллисту, но я еще слишком молода для подобных интрижек. Для меня любовь есть любовь, со всей ее яростной ревностью и безграничными желаниями. Я не писательница: я не умею в чувствах находить идеи...

— Значит, по-вашему, вы способны любить, как дурочка? — перебила ее мадемуазель де Туш. — Успокойтесь, в вас достаточно ума. Вы просто клевещете на себя, дорогая, вы достаточно холодны, и ваш рассудок надежно управляет вашими подвижническими деяниями.

Услышав эти насмешливые слова, маркиза вспыхнула, она бросила на Камилла ненавидящий, поистине змеиный взгляд и сразу же, без долгих поисков, обрела в своем колчане самые острые стрелы. Камилл с холодным видом, не выпуская изо рта пахитоски, слушала яростную тираду, которую ее подруга пересыпала такими едкими словами, что их вряд ли стоит приводить. Беатрису взбесило невозмутимое спокойствие соперницы, и в заключение она попыталась сделать ядовитый намек на возраст мадемуазель де Туш.

— Вы кончили? — спросила Фелисите, разгоняя рукой облачко дыма.— Значит, вы любите Каллиста?

— Конечно, нет.

— Тем лучше,— ответила Камилл.— А я его люблю, слишком люблю, даже в ущерб собственному покою. Быть может, вы его каприз, ведь вы самая очаровательная блондинка в мире, а я черна, как галка; у вас гибкий, тонкий стан, а я фигурой, пожалуй, напоминаю матрону; наконец, вы молоды — вот оно нужное слово, и вы подсказали мне его. Вы злоупотребили этим женским преимуществом совершенно так же, как бульварная газетка злоупотребляет остротами. Я делала все, чтобы помешать тому, что произошло,— добавила она, вскидывая глаза к потолку.— Пусть мне недостает женственности, однако я достаточно женщина, дорогая, и вот вам доказательство: соперница не может обойтись без моей помощи, чтобы одержать надо мной победу... (Эти жестокие слова, произнесенные с невиннейшим видом, поразили маркизу в самое сердце.) Вы, должно быть, принимаете меня за простушку, если поверили тому, что наговорил обо мне Каллист. Я не такая уж великая, но и не такая ничтожная,— я женщина, даже очень женщина. Ну, не сидите же с таким высокомерным видом, дайте скорее руку,— добавила Фелисите, беря маркизу за руку.— Вы не любите Каллиста, ведь верно? Так не надо увлекаться! Будьте с ним завтра суровы, холодны, и в конце концов он смирится; я его пожурю сперва и потом помирюсь с ним, ибо я еще отнюдь не исчерпала всего нашего женского арсенала, а ведь достижимые удовольствия всегда восторжествуют над безнадежными желаниями. Каллист — бретонец. Если он по-прежнему будет досаждать вам своим ухаживанием, скажите мне об этом откровенно,

я помогу вам уехать, у меня в шести лье от Парижа есть хорошенький деревенский домик, там вы чудесно проживете, да и Конти сможет к вам приезжать. Пусть Каллист клевещет на меня. Бог мой, самая чистая любовь лжет по десять раз на дню, и чем больше она старается обмануть, тем, значит, она сильней.

Холодное и строгое лицо Фелисите испугало и встревожило маркизу. Она не знала, что и ответить.

Тут Фелисите нанесла Беатрисе последний удар.

— Я более откровенна с вами, чем вы со мной, и менее язвительна,— продолжала Фелисите,— я не думаю, что вы нарочно затеяли ссору, чтобы отвлечь противницу и броситься в атаку, ведь речь идет о моей жизни; вы знаете меня, я не переживу утраты Каллиста, а рано или поздно я потеряю его. Впрочем, Каллист меня любит, я уверена в этом.

— Вот что он ответил на мое письмо, где я говорила только о вас,— возразила Беатриса, протягивая Камиллу листок.

Фелисите взяла письмо и развернула его; но слезы, вдруг выступившие у нее на глазах, помешали ей читать, она заплакала, как плачет каждая женщина, когда ее коснется настоящее горе.

— Боже мой,— воскликнула Фелисите,— он любит ее! Значит, меня никто не поймет, никто не полюбит.

Она прижалась к Беатрисе и замерла на несколько мгновений; эта неподдельная боль пронизала ее сердце, она испытала то же страшное чувство, что и баронесса дю Геник при чтении письма Каллиста.

— Ты любишь его? — воскликнула она, выпрямившись и глядя в глаза Беатрисе.— Испытываешь ли ты то бесконечное обожание, которое торжествует над всеми муками и которому нипочем презрение, измена и самая мысль, что тебя никогда уже не полюбят? Любишь ли ты его ради него самого и ради радости любить его?

— Друг мой...— растроганно сказала маркиза.— Будь спокойна, я завтра же уеду.

— Не уезжай, он любит тебя! А я так люблю его, что для меня будет мукой видеть его тоску, его страдания. Я строила десятки планов относительно его будущего, но если он любит тебя, все кончено.

— Я люблю его, Камилл,— сказала маркиза с очаровательной наивностью, но лицо ее залилось краской.

— Ты любишь его и можешь противиться ему? — воскликнула Фелисите.— Нет, ты не любишь его!

— Я сама не знаю, какие благородные чувства он пробудил во мне, но из-за него я стала стыдиться самой себя,— продолжала Беатриса.— Мне хотелось бы быть чистой и свободной, посвятить ему все мое сердце целиком, а не жалкие остатки чувств, не обрывки гнусных цепей. Я не желаю неполного счастья ни для него, ни для себя.

— Холодный ум: любить и рассчитывать! — произнесла Фелисите с ужасом в голосе.

— Пусть, пусть. Думайте обо мне все, что угодно, но я отнюдь не желаю портить ему жизнь, висеть камнем у него на шее, стать причиной его вечного раскаяния. Если я не могу быть его женой, я не стану его любовницей. Он... Вы не будете смеяться надо мной? Так вот, его восхитительная любовь делает меня чище.

Фелисите бросила на Беатрису дикий, свирепый взгляд — так еще никогда не смотрела на свою соперницу ни одна женщина в мире.

— А я-то думала,— сказала она,— что так чувствую только я одна. Беатриса, ваши слова навеки разлучили нас, отныне мы более не подруги. Мы начинаем ужасную битву. И я говорю тебе: ты либо погибнешь, либо отступишься...

Фелисите быстрым шагом прошла к себе в спальню, но оцепеневшая от изумления Беатриса успела увидеть ее взгляд разгневанной львицы.

— Вы завтра поедете в Круазик? — спустя немного спросила Камилл, приоткрыв дверь.

— Конечно,— гордо ответила маркиза,— я и не отступлю и не погибну.

— Я веду честную игру: предупреждаю, что напишу Конти,— заявила Фелисите.

Беатриса побледнела, как полотно.

— Что ж, мы обе играем своей жизнью,— ответила она, не зная, на что решиться.

Яростные страсти, которые этот диалог пробудил в душе обеих женщин, улеглись за ночь. Соперницы образумились и вновь прибегли к коварному средству, до ко-

торого большинство женщин такие охотницы: они решили выжидать; но эта система, безошибочно действующая в отношениях женщин с мужчинами, не оправдывает себя в отношениях между женщинами. Именно во время этой последней бури мадемуазель де Туш услышала тот голос свыше, который торжествует даже над смелыми душами. Беатриса же подчинилась правилам света, она боялась презрения общества. Итак, последняя ложь Фелисите, к которой примешалась жесточайшая ревность, увенчалась успехом. Ошибка Каллиста была исправлена, но малейшая новая неосторожность с его стороны могла разрушить все надежды юноши.

Стоял конец августа, небо было чудесной чистоты. Там, где воды океана сливались с горизонтом, они, подобно южным морям, принимали оттенок расплавленного серебра, на берег набегали небольшие волны. Солнечные лучи, отвесно падавшие на песок, подымали над землей легкий блестящий пар, и жаркий воздух был напоен тяжелой влагой, как в тропиках. Соль, словно белые маленькие ромашки, проступала на раскаленной почве. Бесстрашные болотари, надев белые балахоны в защиту от палящих лучей, с раннего утра высыпали на свои участки с длинными граблями в руках. Одни, опершись о низкие валики из высохшего ила, служившие межами, терпеливо наблюдали знакомую им с детства картину — на их глазах совершалось замечательное явление природы; другие забавлялись со своими ребятишками, громко переговаривались с женами. Зеленые драконы, именуемые таможенниками, лениво покуривали трубки. Во всей этой картине было нечто восточное, и если бы парижанин чудом перенесся сюда, он наверняка решил бы, что находится за пределами Франции. Барон и баронесса под тем предлогом, что им хочется пойти посмотреть, как добывают соль, добрались до мола и любовались этим мирным пейзажем, тишину коего нарушал только равномерный рев прибоя; лодки бороздили морскую даль, яркая зелень полей придавала этому уголку особое очарование,— ибо трудно, вернее, почти невозможно, встретить на пустынных берегах океана свежий оазис зелени.

— Ну вот, друзья мои, я решил, как видите, перед смертью еще раз посмотреть на герандские озера,— ска-

зал барон болотарям, которые собрались у мола, чтобы приветствовать герандского патриарха.

— Да разве дю Геники умирают! — возразил кто-то из болотарей.

В это время от ворот Туша к берегу направилась маленькая группа гуляющих. Впереди шла маркиза, а за ней под руку следовали Каллист и Фелисите. Сзади, шагах в двадцати, плелся Гаслен.

— А вот и мои родители,— сказал юноша, обращаясь к Фелисите.

Маркиза остановилась. При виде Беатрисы г-жа дю Геник испытала непреодолимое отвращение, хотя маркиза оделась к своему авантажу: на ней была широкополая шляпка из итальянской соломки, отделанная васильками, на плечи спадали золотистые локоны; в скромном платье из небеленого серого полотна, перехваченном в талии синим поясом с длинными развевающимися концами, она напоминала принцессу, одетую пастушкой.

«У этой женщины нет сердца»,— подумала баронесса.

— Мадемуазель,— сказал Каллист, обернувшись к Фелисите,— познакомьтесь,— это моя матушка и мой отец.

Потом он обратился к родителям:

— Мадемуазель де Туш и маркиза де Рошфид, урожденная де Катеран, батюшка.

Мадемуазель де Туш ответила на поклон барона и почтительно, с чувством благодарности склонилась перед баронессой.

«А ведь эта женщина,— подумала Фанни,— действительно любит моего сына: она как будто благодарит меня за то, что я произвела на свет Каллиста».

— Вы, я вижу, тоже пришли посмотреть, хороша ли добыча соли; но у вас куда больше оснований, чем у нас, интересоваться этими делами,— обратился барон к Фелисите,— ведь большая часть промыслов принадлежит вам.

— Мадемуазель богаче всех владельцев,— вмешался один из болотарей,— да сохранит их господь бог, *они хорошие дамы*.

Обе компании раскланялись и разошлись.

— Мадемуазель де Туш никак нельзя дать больше тридцати лет,— заявил старик жене.— Какая же она кра-

сивая! И неужели наш Каллист предпочел этой великолепной дочери Бретани парижскую дылду?

— Увы, предпочел! — ответила баронесса.

У мола наших путешественников уже ожидала лодка, но переезд прошел скучно. Маркиза была холодна и держалась подчеркнуто важно. Фелисите побранила Каллиста за ослушание и разъяснила ему, в каком положении находятся его сердечные дела. Терзаемый мрачным отчаянием, Каллист бросал на Беатрису печальные взгляды, в которых любовь смешивалась с ненавистью. Ни одним словом не обменялись путники во время короткого переезда от герандского мыса до порта Круазик, где грузят на корабли соль; к пристани движутся женщины, поддерживая на голове большие глиняные чаши, что придает им сходство с кариатидами. Местные женщины привыкли ходить босиком и носят короткие юбки. И сегодня они не обращали внимания на то, что ветер свободно играет концами небрежно повязанной косынки, скрещенной на груди; у большинства под косынкой не было ничего, кроме рубашки, но именно они-то и выступали особенно гордо, ибо чем меньше на женщине одежд, тем великолепнее она в своем благородном целомудрии. Небольшое датское суденышко принимало груз. Прибытие двух прекрасных дам вызвало любопытство подносчиц соли; и, чтобы избежать назойливых взглядов, а главное, чтобы сделать приятное Каллисту, Фелисите быстро направилась к скалам, оставив юношу наедине с Беатрисой. Гаслен шел позади своего господина примерно шагах в двухстах.

Со стороны моря полуостров Круазик окружен гранитными скалами столь причудливой формы, что оценить их по достоинству может только бывалый путешественник, который знает, что́ такое величие дикой природы. Позволительно думать, что скалы Круазика не имеют себе равных по первобытной красоте, так же как долина Гранд Шартрез красивее всех долин Франции. Ни берега Корсики, где гранит образует живописные рифы, ни побережье Сардинии, где природа не скупится на величественные и грозные красоты, ни базальтовые скалы северных морей не являют столь удивительного зрелища. Щедрая на выдумки природа нагромоздила здесь утесы самых причудливых форм. Глаз человека, быть может, скоро

утомят эти нескончаемые вереницы гранитных чудищ; в бурю их омывают волны, сгладившие мало-помалу все выступы и неровности. Под естественным сводом, высеченным с такой смелостью, до которой далеко даже Брунеллески, ибо самые великие произведения искусства суть лишь робкое подражание творениям природы, под этим сводом вы обнаружите водоем, отполированный, как мраморная ванна, и усыпанный по дну тонким белым песочком; смело входите в эту теплую воду, достигающую всего лишь четырех футов глубины. Дальше вас пленяют маленькие прохладные бухточки, укрытые, как портиком, грубо очерченными, но величественными скалами, которые напоминают стены дворца Питти, также являющего собой подражание неистощимой фантазии природы. Словом, разнообразие здесь необычайное. Вы найдете тут все, что могло бы измыслить или пожелать самое требовательное воображение. Есть тут даже заросли самшита, явление столь редкое на берегах океана, что его можно считать, пожалуй, исключением. Эта рощица самшита, самая большая достопримечательность безлесного Круазика, находится приблизительно на расстоянии одного лье от порта, там, где берег далеко вдается в море. Один из гранитных мысов вздымается так высоко над водой, что даже в самые сильные штормы волны не доходят сюда: с южной его стороны по какому-то непонятному капризу природы, должно быть, еще в допотопные времена, образовался выступ, имеющий в ширину фута четыре. На этот выступ, то ли случайно, то ли попечениями человека, попало немного плодородной земли; во всяком случае, ее хватило, чтобы дать жизнь низкорослому самшиту, семена которого занесли на одинокий мыс птицы. Судя по чудовищным, узловатым корням, самшит этот насчитывает не меньше трех столетий. Подошва скалы треснула. Вулканические потрясения, следы коих неизгладимыми письменами врезаны в гранит, откололи от берега огромные глыбы. Море, достигающее в этом месте пятисот футов глубины, свободно, не встречая на своем пути препятствий, подходит к самой гранитной стене; возле нее еле выступающим над водой полукольцом рассыпаны камни, и пенный круговорот непрестанно их обегает.

Не всякий решится взойти на вершину этого Гибрал-

тара в миниатюре, ибо порыв ветра может сбросить смельчака с круглой вершины в море или, что еще опаснее, на скалы. Этот гигантский часовой похож на сторожевую башню старинных замков, откуда можно было издали заметить приближение врага, охватывая взглядом все подступы и дороги; отсюда видны колокольня и скудная зелень Круазика, пески и дюны, которые наступают на возделанные нивы и уже заполонили окрестности Батца. Герандские старожилы уверяют, что в незапамятные времена здесь была крепость. Рыбаки, промышляющие сардину, по-своему окрестили этот утес, но теперь его чисто бретонское название уже забыто, что, впрочем, и не удивительно: его трудно произнести и еще труднее запомнить. Сюда и вел Каллист маркизу, зная, что с вершины открывается великолепное зрелище, да и гранитные берега изрезаны здесь так причудливо, как нигде на всем побережье.

Вряд ли стоит объяснять, почему Фелисите убежала вперед от своих спутников. Она, как раненая львица, искала уединения; она забиралась в гроты, подымалась на скалы, распугивала крабов или, не шевелясь, ничем не выдавая своего присутствия, наблюдала их крабью жизнь. Обычный дамский костюм стеснял ее, поэтому она надела панталоны, вышитые по низу, короткую курточку, касторовую шляпу и вместо палки взяла хлыст,— Фелисите любила щеголять своей силой и ловкостью, а в этом наряде она была во сто раз красивее Беатрисы. На плечи она накинула красную шаль китайского шелка и скрестила по-детски ее концы на груди. Долго еще Беатриса и Каллист видели Фелисите,— подобно яркому огоньку она носилась по вершинам, перебиралась через пропасти, как будто искала опасностей, надеясь утишить ими свои душевные муки; она первой взобралась на скалу, поросшую самшитом, и, забившись в расщелину, задумалась. Что оставалось женщине, стоящей на пороге старости и уже испившей от кубка славы? Великие таланты жадно осушают его одним глотком, не замечая даже, как много мути — самолюбия, глупости, тщеславия — оскверняет этот пьянящий напиток. Впоследствии она признавалась, что именно здесь в ней возникла та странная мысль, которая привела в конце концов к тому, что знаменитая писательница Камилл Мопен умерла для общества. Дело

началось с пустяка, многие не придали бы ему никакого значения, но душу Фелисите он поверг в бездну. Фелисите вытащила из кармана коробочку с клубничными леденцами для утоления жажды; и, лакомясь сластями, она невольно подумала, что клубника, пошедшая на изготовление леденцов, уже не существует более, однако она возродилась в свойствах конфет. Отсюда Фелисите заключила, что то же самое может происходить и с людьми. И море к тому же являло ей образ бесконечности. Великий ум, если только он верит в бессмертие души, при виде бесконечности невольно связывает ее с образом будущего и с религией. Эта мысль мелькнула в уме Фелисите и тогда, когда она открыла флакончик с духами. Все уловки, с помощью которых она старалась сделать Беатрису добычей Каллиста, показались ей сейчас смешными и мелкими: она почувствовала, что женщина умерла в ней, что она совлекла с себя все плотское и освободила то, что было в ней благородного и безгрешного. Опыт, знание, неудавшаяся любовь поставили ее лицом к лицу — и с кем же? Кто бы мог подумать? С щедрой матерью, утешительницей всех скорбящих, с римской церковью, которая к раскаивающимся снисходительна, с поэтами поэтична, с детьми наивна, а того, кто дик и беспокоен душой, она завлекает своими тайнами, будя в нем неутолимое любопытство. Фелисите вспомнила те извилистые пути, куда невольно увлек ее Каллист, и сравнила их с крутыми тропками, вьющимися между скал. Каллист в ее глазах был по-прежнему посланцем небес, вестником благости, и она подавила свою земную любовь ради любви небесной.

Каллист и Беатриса некоторое время шли в молчании, однако, когда маркиза бросила несколько слов насчет красоты океана, столь отличной от красот Средиземного моря, юноша не удержался и сравнил чистоту океана, его бесконечную ширь, его вздымающиеся волны, его глубины — со своей любовью.

— Но океан окружен скалами,— смеясь, возразила Беатриса.

— Когда вы так ласково говорите со мной,— ответил дю Геник, бросая на Беатрису восторженный взгляд,— когда я вижу вас, слышу вас, я терпелив, как ангел; но когда я один... О, если бы вы знали, в какое я впадаю

отчаяние, вы сжалились бы надо мной! Моя матушка в такие минуты оплакивает меня.

— Послушайте, Каллист, нам пора покончить со всем этим,— промолвила маркиза, когда они вышли на песчаную дорожку.— Быть может, нигде не найдем мы более подходящего места, чтобы поговорить по душам; признаюсь, впервые природа столь полно гармонирует с моими мыслями. Я видела Италию, где все говорит о любви; видела Швейцарию, где все так ярко и все дышит истинным счастьем, счастьем трудолюбия, где зелень, спокойные воды, смеющаяся природа стеснены снежными Альпами; но ничто так удивительно не походит на опаленную пустыню моей жизни, как вот эта тесная долина, иссушенная морскими ветрами, разъеденная солеными испарениями, бесплодная долина, где скудные нивы борются с океаном, а рядом над перелесками Бретани подымаются башни вашей Геранды. Так знайте же — такова ваша Беатриса. И не стремитесь к ней. Я люблю вас, но я никогда не буду вашей, ибо чувство разочарования переполняет меня. О, если бы вы знали, как мне трудно выговорить эти жестокие слова! Нет, ежели я действительно ваш кумир, вы никогда не увидите кумира во прахе. Я страшусь ныне страсти, которую осуждает и свет и религия, я не желаю более быть униженной, не хочу украдкой наслаждаться счастьем; пусть я прикована цепями, жизнь моя останется песчаной, мертвой пустыней, без цветов, без зелени, как вот эта равнина.

— А если вы будете покинуты? — спросил Каллист.

— Что ж, я вымолю прощение, я буду унижаться перед человеком, которого я оскорбила, но никогда более я не позволю себе опасного увлечения, никогда не побегу за счастьем, в которое я не верю.

— Не верите! — воскликнул Каллист.

Маркиза прервала дифирамб, готовый слететь с уст ее поклонника, повторив: «Не верю!» — таким тоном, что ему пришлось замолчать.

Это противодействие пробудило в юноше приступ немой, внутренней ярости, которая хорошо известна тому, кто любил безнадежно. Шагов триста они с Беатрисой прошли в полном молчании, не замечая ни моря, ни скал, ни полей Круазика.

— Я сделаю вас счастливой! — сказал наконец Каллист.

— Все мужчины начинают с таких слов, они обещают нам счастье, а оставляют нам бесчестье, одиночество, отвращение. Я ни в чем не могу упрекнуть того, кому я должна быть верна; он ничего мне не обещал, я сама пришла к нему; но существует единственное средство смягчить мою вину — это вечно остаться виноватой.

— Скажите прямо, сударыня, что вы совсем не любите меня! Вот я люблю вас и по себе знаю, что любовь не вступает в споры, она видит только самое себя, и нет такой жертвы, которую я бы вам не принес. Прикажите— и я сделаю невозможное. Тот, кто некогда стал презирать свою возлюбленную за то, что она велела ему достать перчатку, брошенную ко львам, тот не любил. Он отрицал за вами, женщинами, право испытывать силу нашей любви, с тем чтобы вознаградить истинно доблестные души. А я всем пожертвую ради вас — семьей, именем, будущим.

— Как оскорбительно слово «жертва»! — произнесла маркиза тоном упрека, дав тем самым понять Каллисту, сколь нелепы изъявления его чувств.

Только женщины, любящие безгранично, или кокетки умеют так искусно воспользоваться случайно брошенным словом, как трамплином, чтобы вознестись на недосягаемые высоты; и ум и чувство действуют в данном случае одинаково; но любящая женщина огорчается, а кокетка *презирает*.

— Вы правы,— сказал Каллист, и слезы покатились по его лицу,— жертвой можно назвать только те жестокие усилия, которых вы от меня требуете.

— Замолчите же,— воскликнула Беатриса; ее потряс ответ юноши; впервые Каллист так полно выразил свою любовь,— я наделала достаточно ошибок, не искушайте же меня более.

Они незаметно добрались до утеса, поросшего самшитом. Каллист испытывал пьянящее блаженство, поддерживая маркизу, решившую добраться до самой вершины скалы.

Бедный юноша был на седьмом небе, ему дано было сжимать эту гибкую талию, он чувствовал трепет Беат-

рисы; он был нужен Беатрисе. Это нечаянное счастье вскружило ему голову, он уже больше ничего не видел и резко схватил Беатрису за широкую ленту ее пояса.

— Что с вами? — осведомилась она гордо.

— Значит, вы никогда не будете моей? — спросил Каллист, голос его прерывался, его душила бурлившая в жилах кровь.

— Никогда, мой друг,— ответила маркиза.— Я могу быть для вас только Беатрисой, только мечтой. Разве это не сладостно? Мы не узнаем ни горечи, ни страданий, ни раскаяния.

— И вы вернетесь к Конти?

— Так надо.

— Так не доставайся же никому! — воскликнул Каллист, толкнув маркизу с неистовой силой.

Ему хотелось услышать звук падения, а потом уже самому броситься в бездну, но он услышал только негромкий крик, треск разрываемой ткани и глухой стук,— Беатриса не полетела в пропасть, она опрокинулась и свалилась в заросль самшита, так как, к счастью, зацепилась платьем за выступ скалы, но она упала всей тяжестью на куст и вот-вот должна была скатиться в море. Свидетельница этой сцены, мадемуазель де Туш, от ужаса не могла даже крикнуть, она успела только сделать знак Гаслену, который немедленно прибежал на ее немой зов. Каллист с каким-то свирепым любопытством нагнулся над бездной, но, увидев, в каком положении очутилась Беатриса, он задрожал: она, казалось, молила о спасении, она думала, что умирает, она чувствовала, что куст не может выдержать тяжести ее тела. С неожиданной ловкостью, которая дается только любовью, с непостижимым проворством, которое обретает юноша перед лицом опасности, Каллист соскользнул с девятифутовой высоты, цепляясь за неровности гранитной стены, добрался до выступа и успел подхватить маркизу, рискуя вместе с ней упасть в море. Когда он взял Беатрису на руки, она была без сознания; но ему верилось, что здесь, на воздушном ложе, она вся принадлежит ему и что их блаженства никто не нарушит,— вот почему первым его чувством было чувство радости.

— Откройте же глаза, простите меня,— умолял Каллист,— или умрем вместе.

— Умрем? — прошептала Беатриса, приподняв веки и с трудом разжимая побелевшие губы.

Каллист ответил на эти слова пламенным поцелуем, и каков же был его восторг, когда он почувствовал, что трепет прошел по телу маркизы. В эту минуту над их головой раздался тяжелый стук сапог, подкованных железом. Гаслен прибежал вместе с Фелисите, и теперь они обсуждали план спасения несчастных влюбленных.

— Тут, мадемуазель, есть только один способ,— заявил Гаслен.— Я спущусь к ним, они встанут мне на плечи, а вы подадите им руку.

— А как же ты сам? — спросила Фелисите.

Слуга с удивлением взглянул на нее: ему и в голову не приходило, что его судьбу можно принимать в расчет, когда в опасности жизнь его юного хозяина.

— Беги лучше в Круазик и принеси лестницу,— посоветовала Фелисите.

«А она ловко сообразила»,— подумал Гаслен, поспешая к Круазику.

Беатриса слабым голосом попросила, чтобы ее положили на землю, она почувствовала себя дурно. Юноша устроил маркизу на свежей траве между гранитной стеной и кустом самшита.

— Я все видела, Каллист,— сказала Фелисите.— Умрет ли Беатриса, удастся ли вам спасти ее,— помните: это был только несчастный случай.

— Она возненавидит меня,— печально ответил юноша, и глаза его налились слезами.

— Она будет тебя обожать,— возразила Фелисите.— Вот наша прогулка и кончилась, надо доставить Беатрису в Туш. А что бы ты сделал, если бы она умерла? —спросила Фелисите, помолчав.

— Я последовал бы за ней.

— А твоя мать?

И затем добавила слабым голосом:

— А я?

Каллист с бледным, как полотно, лицом стоял, опершись спиной о гранит, он не пошевелился, не ответил. Вскоре вернулся Гаслен; на ферме, расположенной неподалеку среди лугов, он раздобыл лестницу и бегом примчался с ней к месту катастрофы. Беатриса почувствовала себя немного лучше. Гаслен приладил лестницу и по-

советовал Каллисту обвязать маркизу красной шалью Фелисите и подать ему концы, таким образом Беатриса смогла с помощью Каллиста добраться до круглой площадки, где Гаслен подхватил ее на руки, как ребенка, и положил на траву.

— Я не прочь умереть, но я страшусь мучений,— слабым голосом сказала Беатриса своей подруге.

Видя слабость и изнеможение Беатрисы, Фелисите распорядилась перенести ее на ту ферму, где Гаслен одолжил лестницу. Каллист, Гаслен и Камилл, сняв с себя всю лишнюю одежду, сложили ее на лестнице в виде матраца, водрузили на это ложе Беатрису и понесли ее, как на носилках. Фермеры предложили свою постель. Гаслен бросился к лощине, где наших путешественников поджидали лошади, оседлал своего коня и поскакал в Круазик за лекарем, а лодочникам он посоветовал подвести лодку как можно ближе к ферме. Каллист, примостившись на табурете, только кивками да односложными восклицаниями отвечал на расспросы Фелисите, которую душевное состояние юноши тревожило не меньше, чем болезнь Беатрисы. После кровопускания больная почувствовала себя лучше; она начала говорить, согласилась, чтобы ее отнесли в лодку, и к пяти часам пополудни ее доставили от герандского мола в Туш, где уже дожидался городской врач. Слух о происшествии разнесся по этому пустынному и почти необитаемому краю с поразительной быстротой.

Каллист провел ночь в Туше, у ног Беатрисы; вместе с ним бодрствовала и Фелисите. Врач пообещал, что назавтра маркиза будет совершенно здоровой, разве что останется еще ломота. Как ни был огорчен Каллист, к его отчаянию примешивалась радость: он был у постели Беатрисы, он видел ее спящею, он видел, как она пробуждается от сна; он мог вглядываться в ее бледное лицо, изучать каждое ее движение! Фелисите горько улыбалась,— она узнавала в поведении Каллиста признаки той страсти, которая навсегда окрашивает наклонности человека в ту пору его жизни, когда ни рассудок, ни будничные заботы еще не противостоят жестоким переживаниям. Никогда Каллист не поймет, что за женщина Беатриса, достаточно посмотреть на его лицо: с какой наивностью юный бретонец выдает свои затаенные мысли!.. Он вооб-

ражал, что Беатриса — его, потому что он может невозбранно находиться в ее спальне, любоваться ее постелью с разбросанными одеялами. С благоговейным вниманием он ловил малейшее движение Беатрисы; все его поведение выражало такое очаровательное любопытство, счастье проступало так откровенно на его лице, что обе женщины порою не могли удержать улыбки. Когда Каллист увидел прекрасные глаза цвета морской воды, в которых странно смешивались смущение, любовь и насмешка, он покраснел и отвернулся.

— Разве я не говорила вам, Каллист, что вы, мужчины, сулите нам блаженство, а на самом деле бросаете нас в бездну.

Услышав эту шутку, произнесенную так мило, и разгадав по тону маркизы, что в сердце ее произошла перемена, Каллист опустился на колени, схватил влажную руку Беатрисы и покрыл ее робкими поцелуями.

— Вы вправе навсегда отвергнуть мою любовь, а я, я не имею больше права говорить вам о ней!

— Ах! — воскликнула Фелисите, приглядываясь к непритворно улыбавшемуся лицу Беатрисы; она вспомнила, к каким уловкам приходилось прибегать ей самой и какое угрюмое выражение вызывали они на этом лице.— Любовь умнее нас всех! Примите, дорогая, успокоительное и постарайтесь заснуть.

Ночь, которую Каллист бодрствовал бок о бок с мадемуазель де Туш, она провела за чтением книги по теологии, а юноша читал «Индиану», первое произведение знаменитой соперницы Камилла Мопена; там описывался молодой человек чудесной души, обожающий свою даму и преданный ей до гроба, а та, подобно Беатрисе, находилась в ложном положении. Какой роковой образец для него, Каллиста! Эта бессонная ночь оставила неизгладимый след в сердце бедного юноши, узнавшего от Фелисите, что если только женщина не чудовище, она не может не быть счастлива и польщена тем, что стала объектом преступления.

— А меня вы никогда не бросили бы в море! — добавила несчастная Фелисите, утирая слезы.

К утру Каллист, утомленный всем случившимся, заснул в кресле. Теперь маркиза, в свою очередь, любовалась прекрасным лицом юноши, побледневшим от всех

переживаний минувшего дня и своего первого любовного бдения; она слышала, как он, засыпая, бормотал ее имя.

— Он любит даже во сне,— сказала Беатриса, указывая своей подруге на спящего юношу.

— Надо отослать его домой, пусть отдохнет,— ответила Фелисите и разбудила Каллиста.

В доме дю Геников никого не взволновало отсутствие Каллиста, Фелисите обо всем предупредила записочкой баронессу. Когда Каллист вернулся в Туш к обеду, он застал Беатрису уже на ногах; она была еще очень бледна, слаба и казалась усталой, но ни во взорах ее, ни в словах не чувствовалось ни малейшей суровости. Фелисите села за рояль, чтобы оставить влюбленного наедине с Беатрисой, и Каллист молча пожимал Беатрисе руки, а она так же молча смотрела на него. С этого вечера, который Фелисите заполнила прекрасной музыкой, в Туше уже не разражались более опустошительные грозы. Фелисите отошла на второй план. Женщинам холодным, черствым, хрупким и худощавым, подобно г-же де Рошфид, гибкая шея придает что-то кошачье; они наделены душой столь же блеклой, как их глаза серо-зеленого оттенка; для того чтобы расплавить, раздробить эти камешки, требуется по меньшей мере сокрушительный удар молнии.

Любовная ярость Каллиста и его покушение на убийство произвели на Беатрису действие громового удара, который властно покоряет себе и преображает даже стойкие натуры. Беатриса полагала, что внутри ее все уже умерло, но чистая и истинная любовь омыла ее сердце горячей, нежной струей. Отныне она жила в сладостной и согревающей атмосфере неведомых ей доселе ощущений и чувствовала, что становится лучше, чище; она вознеслась на небеса, куда Бретань во все века возносила женщину. Она наслаждалась почтительным обожанием этого очаровательного юноши, и ей ничего не стоило дать ему счастье — одного ее взгляда, слова, жеста было достаточно для полного блаженства Каллиста Ее беспредельно трогало, что юный дю Геник дорожит сущими пустяками. Прикосновение ее руки, затянутой в перчатку, значило для этого ангела больше, чем вся она значила для того, кто обязан был бы ее обожать. Как они непохожи! И какая женщина может устоять против такого обожествления? Маркиза была уверена, что ей повинуются, пони-

мают ее. Если бы она потребовала, чтобы Каллист исполнил любую ее прихоть ценой собственной своей жизни, он не задумался бы ни на минуту. И вот в Беатрисе появилось какое-то благородство и достоинство; она познала высокие стороны любви, из нее она создала себе пьедестал, чтобы торжественно возвышаться над всеми женщинами в глазах Каллиста, а Каллистом она хотела владеть вечно. Чем больше слабела она перед Каллистом, тем более упорным становилось ее кокетство. Целую неделю Беатриса с очаровательным притворством разыгрывала из себя больную. Сколько раз она медленно прохаживалась перед домом по зеленой бархатной лужайке, томно опираясь на руку Каллиста, и тут-то она отплатила своей подруге за те страдания, на которые Фелисите обрекла ее в первые недели после приезда.

— Ах, дорогая моя, ты его слишком долго кружишь,— шутила мадемуазель де Туш.

Как-то вечером, незадолго до поездки в Круазик, наши дамы рассуждали о любви и высмеивали различные способы любовных объяснений, к которым прибегают мужчины; они единодушно пришли к заключению, что наиболее ловкие, а следовательно, и наименее любящие не находят никакого удовольствия в бесполезных плутаниях по извилистым тропкам нежных чувств и скорее достигают победы, тогда как мужчины, искренне любящие, встречают сначала довольно холодный прием.

— Они идут кружным путем, как это делал Лафонтен, направляясь в Академию! — сказала тогда в заключение мадемуазель де Туш.

И теперешняя шутка Фелисите напомнила маркизе этот разговор, ибо в ней содержался намек на ее коварную дипломатию. Г-жа де Рошфид имела над Каллистом неограниченную власть и без труда держала его в нужных ей границах; жестом, полунамеком она напоминала юноше о его безумном поступке на берегу моря. И тогда глаза бедного Каллиста наполнялись слезами, он умолкал и оставлял про себя все свои доводы, признания, мýки с таким героизмом, который неминуемо тронул бы любую другую женщину. Своим дьявольским кокетством Беатриса довела юношу до такого отчаяния, что со дня на день он намеревался броситься на колени перед Фелисите и просить у нее совета. Из письма Каллиста

Беатриса хорошо запомнила его слова о том, что любовь — высшее счастье, а быть любимым — второстепенное дело, и она умело пользовалась этим его изречением, чтобы сдерживать страсть Каллиста в пределах почтительного и лестного обожания. Ее душа наслаждалась нежнейшими хвалебными гимнами, которые подсказывает молодым влюбленным сама природа; в них столько неподдельного вдохновения, в их криках, мольбах, в их восклицаниях, в их смелых планах на будущее столько невинных соблазнов, что Беатриса благоразумно предпочитала не отвечать на восторги Каллиста.

Беатриса все говорила ему о своих сомнениях и страхах, а он еще не требовал настоящего счастья: этот ребенок добивался лишь позволения любить, искал самой ценной победы—душевной близости. Женщина, которая бойка на словах, обычно крайне нерешительна в поступках. Может показаться странным, что Каллист, убедившийся, как много он успел в отношениях с Беатрисой после своего неудачного покушения, не пытался завоевать себе счастье дерзким образом действий; но любовь юноши столь возвышенна и благоговейна, что стремится достичь всего только силой нравственного убеждения; в этом и есть красота молодого чувства.

Тем не менее как-то вечером юный бретонец, истомленный своими желаниями, горько пожаловался Фелисите на Беатрису.

— Я думала, чем быстрее ты ее узнаешь, тем легче мне будет исцелить тебя,— ответила мадемуазель де Туш,— но ты сам испортил все своим нетерпением. Десять дней назад ты был ее властелином; а нынче, бедный мой мальчик, ты ее раб. И все потому, что у тебя не хватает силы слушаться меня.

— Что же теперь делать?

— Поссориться с ней. Скажи, что ты не намерен переносить ее суровость. Женщина обязательно увлечется в споре; веди себя так, чтобы она тебя оскорбила, и не возвращайся в Туш, покуда она тебя сама не позовет.

В каждом изнурительном недуге рано или поздно наступает такой момент, когда больной соглашается на любое средство и переносит самую мучительную операцию. Каллист как раз находился в таком состоянии. Он послушался совета Камилла и два дня просидел дома; но уже

на третий он робко, с видом побитой собаки, заглянул в комнату Беатрисы, чтобы сообщить ей, что они с Фелисите ждут ее к завтраку.

«И это средство не помогло!» — вздохнула про себя Фелисите, увидев, как позорно сдал свои позиции Каллист.

В течение двух этих дней Беатриса подолгу простаивала у окна, откуда виднелась дорога в Геранду. Как-то раз Фелисите застала маркизу за этим занятием, и та заявила, что любуется на кусты дрока, окаймляющие тропинку,— золотистые цветы дрока так мило освещены лучами сентябрьского солнца. Таким образом, маркиза выдала свою тайну, и Камилл поняла, что достаточно ей подсказать своему юному другу одно только слово,— и он будет счастлив, но она промолчала: Фелисите была еще слишком женщина и не могла толкнуть Каллиста на подобный шаг, который так труден для молодых людей, словно они боятся потерять все свои иллюзии. На сей раз Беатриса заставила себя ждать. Опоздание это было весьма знаменательным: маркиза лишних полчаса просидела за туалетом, желая окончательно пленить Каллиста и положить конец его долгим отлучкам. Наивный юноша ничего не понял. После завтрака Беатриса вышла в сад, и влюбленный бретонец обрадовался, как дитя, узнав, что его дама хочет еще раз побывать на том утесе, где она чудом спаслась от смерти.

— Только пойдем туда одни,— произнес Каллист прерывающимся голосом.

— Если я откажу вам,— ответила г-жа Рошфид,— вы, чего доброго, вообразите, что я боюсь вас. Увы, я говорила вам тысячи раз: я принадлежу другому и могу принадлежать только ему; когда я остановила на нем свой выбор, я еще не знала любви. Я совершила двойную ошибку и должна нести двойную кару.

Когда Беатриса начинала распространяться на эту тему, ей случалось пролить две—три слезинки,— по-настоящему такого рода женщины не способны плакать. Каллист испытывал к своей подруге такую жалость, что его любовная лихорадка на время утихала; в эти минуты он боготворил Беатрису. Было бы наивно требовать от двух столь различных характеров, чтобы они одинаково выражали свои чувства, как наивно требовать от двух

деревьев различных пород, чтобы они приносили одинаковые плоды. Беатриса переживала ужасную борьбу; приходилось выбирать между самой собой и влечением к Каллисту, между мнением света, куда она надеялась рано или поздно вернуться, и подлинным счастьем; между страхом навсегда загубить себя, вторично уступив страсти, которой общество ей не простит, и надеждой на полное оправдание в глазах света. Она готова была внимать, не сердясь, даже не притворяясь рассерженной, словам слепой любви; не раз ее до слез трогали речи Каллиста, обещавшего возместить своей любовью все то, что она потеряет в глазах света, и скорбевшего, что судьба связала ее, бедняжку, с злым гением, с таким фальшивым человеком, как Конти. Не раз рассказывала она ему о несчастьях и страданиях, пережитых ею в Италии,— когда она убедилась, что не одна владеет сердцем Конти, и позволяла Каллисту возмущаться. Фелисите дала на этот счет соответствующие наставления Каллисту, и он воспользовался ее советами.

— А я,— говорил он Беатрисе,— я буду любить вас вечно. Увы, я не могу положить к вашим ногам лавров искусства, восторгов толпы, взволнованной чудесным талантом; мой единственный талант — это любовь к вам; мне не нужно иных восторгов, кроме вашей радости, я не ищу наград в поклонении женщин; вам не придется опасаться низкого соперничества; вас не ценят, с вами только мирятся, а я прошу одного: примириться с тем, что я буду неразлучен с вами.

Беатриса слушала эти слова, опустив голову, она позволяла целовать свои руки и в душе охотно соглашалась, что и впрямь она непризнанный ангел.

— Я слишком унижена,— твердила она.— Из-за моего прошлого и будущее кажется мне неверным.

Каким же радужным показалось Каллисту то утро! Было семь часов, когда, подходя к дому Фелисите, он меж двух кустов терновника заметил в окне Беатрису в той самой соломенной шляпке, которая была на ней в незабываемый день поездки в Круазик. На минуту он как бы ослеп. Мир не может обойтись без этих маленьких знаков внимания. Быть может, только француженки обладают тайной чисто театральных эффектов, даримых любовью: для этого требуется особая легкость ума, при

которой чувство не лишается силы. Как сладостно невесома была рука, лежавшая в руке Каллиста! Они прошли через садовую калитку, выходившую на дюны. Беатрисе казалось, что пески очаровательны; особенно ей понравились маленькие жесткие кустики, усыпанные розовыми цветочками, она собрала из них букет, присоединив к нему мелкую гвоздику, тоже произраставшую на здешней бесплодной почве. Отделив пучок из своего букета, она со значением протянула цветы Каллисту: пусть эти цветы и эта зелень отныне станут для него зловещим напоминанием.

— Мы прибавим сюда еще веточку самшита,— добавила она, улыбаясь.

На герандском молу, когда они поджидали лодку, Каллист рассказал маркизе о своей ребяческой проделке в день ее приезда.

— Я знала о вашей выходке и потому-то была с вами так холодна в первые дни,— сказала она.

Во все время прогулки г-жа де Рошфид держалась как влюбленная женщина — шутливо, нежно, непринужденно. Все говорило Каллисту: ты любим. Но когда, пройдя по песчаному берегу вдоль скал, они спустились в прелестную ложбину, где волны выложили из кусочков мрамора причудливую мозаику и где они забавлялись, как дети, отыскивая красивые камешки, когда Каллист, опьянев от счастья, предложил Беатрисе немедленно бежать в Ирландию, она вдруг приняла важный, таинственный вид, отняла у него руку, и они направились к скале, которую Беатриса прозвала своей Тарпейской скалой.

— Друг мой,— сказала Беатриса, поднявшись на величественный гранитный утес, как на пьедестал,— я не могу скрывать от вас, чем вы стали для меня. Вот уже десять лет я не испытывала такого счастья, как сейчас, когда мы собирали ракушки у скалы, искали камешки, из которых я с удовольствием сделаю себе ожерелье,— и поверьте, оно будет для меня дороже бриллиантов. Я вдруг стала девочкой-подростком, лет четырнадцати — шестнадцати, и вот такой я достойна вас. Любовь, которую я имела счастье внушить вам, подняла меня в моих собственных глазах. Поймите же всю важность этого слова. Вы сделали из меня самую гордую, самую счаст-

ливую женщину на свете, и, быть может, вы дольше проживете в моей памяти, чем я в вашей.

Как раз в эту минуту они добрались до вершины скалы; с одной стороны перед ними простирался безбрежный океан, с другой — лежала Бретань со своими золотыми островками, феодальными башнями и зарослями терновника. Трудно представить себе более прекрасный фон для признания, в котором раскрывалась целая женская жизнь.

— Но я не принадлежу более себе,— сказала Беатриса,— я связана теперь своим собственным решением сильнее, чем раньше была связана узами закона. Так пусть моя беда будет вашей, и утешьтесь, что мы страдаем вместе. Данте так и не соединился с Беатриче, Петрарка никогда не обладал своей Лаурой: только великим душам выпадает такая бедственная судьба. Ах, если я буду покинута, если я упаду еще на тысячу ступенек ниже, если свет жестоко осудит твою Беатрису, как последнюю женщину... тогда, обожаемое мое дитя,—сказала она, беря Каллиста за руку,— ты узнаешь, что Беатриса лучше всех, что она с твоей помощью может подняться выше всех, и тогда, друг мой,— добавила она, кинув на него непередаваемо прекрасный взгляд,— если ты захочешь сбросить меня в бездну, пусть твоя рука не дрогнет. Если нет твоей любви — пусть приходит смерть!

Каллист обнял Беатрису и прижал ее к сердцу. Как бы желая подкрепить свои слова, маркиза запечатлела на челе Каллиста безгрешный, стыдливый поцелуй.

Затем они спустились с горы и медленно направились к дому, беседуя, как люди, которые согласны во всем и прекрасно понимают друг друга. Беатриса считала, что сумела установить мир, а Каллист не сомневался, что счастье его близко, и оба обманывали себя. Юноша, веря наблюдательной Фелисите, надеялся, что Конти с восторгом воспользуется любым предлогом, чтобы покинуть Беатрису. Маркиза рада была неопределенности создавшегося положения и предоставляла все случаю; однако Каллист был слишком наивен и влюблен, чтобы взять себе в союзники случай. Оба они шагали в самом восхитительном расположении духа и вернулись в Туш через ту же калитку; ключ они захватили с собой. Было около шести часов вечера. Пьянящее благоухание цветов, теп-

лый воздух, золотистые тона заката — все как нельзя лучше отвечало их душевному состоянию и их нежной, ласковой беседе. Они шли согласным и упругим шагом, как ходят влюбленные, их движения выдавали полное согласие мыслей. В Туше царило такое глубокое молчание, что скрип петель, стук калитки прозвучали особенно громко и разнеслись по всему саду. Каллист и Беатриса успели уже переговорить обо всем, долгая прогулка утомила их, и теперь они шли медленно, не произнося ни слова. Вдруг на повороте аллеи Беатриса вздрогнула всем телом, как будто увидела пресмыкающееся; ее страх передался Каллисту, и он похолодел, даже не успев понять, в чем дело. На скамье под плакучей ивой сидел Конти, о чем-то разговаривая с Фелисите. Непроизвольная внутренняя дрожь маркизы выдала больше, чем ей того хотелось: тут только Каллист понял, как он дорог этой женщине, понял, что она воздвигала барьер между ним и собою лишь для того, чтобы выгадать время, еще пококетничать, прежде чем сделать решительный шаг. В несколько мгновений целая драма — действие за действием — разыгралась в их душе.

— Вы, должно быть, не ждали меня так скоро,— сказал музыкант, предлагая Беатрисе руку.

Маркиза вынуждена была отпустить руку Каллиста и оперлась на руку Конти. Этот страшный жест перебежчика, жест, которого властно требовали обстоятельства, бесчестил только что родившееся чувство Каллиста; подавленный своим горем, он все же принудил себя ответить холодным поклоном на поклон соперника и бессильно упал на скамью рядом с Фелисите. Его раздирали самые противоречивые чувства: поняв, как он любим Беатрисой, он испытал непреодолимое желание броситься на Конти и заявить во всеуслышание, что Беатриса принадлежит ему, Каллисту, но, угадывая тайные муки несчастной маркизы, которая заплатила дорогой ценой за все совершенные ею ошибки, юноша испытывал такое волнение, что не мог вымолвить ни слова, сраженный, как и Беатриса, неотвратимостью совершившегося. Эти два противоположные движения души разразились в нем яростной бурей; ничего подобного он еще не испытывал с того самого дня, как полюбил Беатрису. Г-жа де Рошфид и Конти прохаживались по аллее мимо скамей-

ки, на которой окаменел Каллист, и маркиза, проходя, всякий раз бросала на соперницу ужасные в своей красноречивости взгляды, но избегала глядеть на Каллиста и слушала шутливые слова Конти.

— О чем это они говорят? — спросил Каллист у Фелисите.

— Дорогое мое дитя, ты еще не знаешь, какие страшные права дает мужчине над женщиной угасшая любовь! Беатриса не посмела не дать ему руки: без сомнения, он издевается над вашим романом, он угадал его по вашему поведению и по тому, как вы появились здесь вдвоем.

— Издевается над ней? — спросил запальчиво Каллист.

— Успокойся,— ответила Фелисите,— или ты упустишь последние шансы, которые тебе еще остались. Если он слишком оскорбит самолюбие Беатрисы, она растопчет его, как червя. Но он коварен и хитер, он возьмется за дело с умом. Он не может допустить мысли, что гордая госпожа де Рошфид способна ему изменить. По его мнению, любить мужчину за красоту—значит, быть уж чересчур испорченной. Не сомневаюсь, что он изобразит ей тебя как мальчишку, которому взбрела в голову тщеславная мысль обладать маркизой и вершить судьбами двух женщин. Наконец, он пустит в ход арсенал самых оскорбительных предположений. Стремясь опровергнуть их, Беатриса вынуждена будет прибегнуть ко лжи, и он, таким образом, останется хозяином положения.

— Ах! — воскликнул Каллист. — Он не любит ее. А я, я бы оставил ей свободу: в любви мы всегда свободны выбирать, и каждодневно мы подтверждаем свой выбор. Ежедневно пополняется сокровищница наших радостей: завтра мы богаче, чем были вчера. Еще неделя, и он не застал бы нас здесь. Что за причина его приезда?

— Шутка журналиста,— ответила Фелисите.— Видишь ли, опера, на успех которой он рассчитывал, с треском провалилась. А тут еще Клод Виньон заявил в фойе театра: «Невесело разом потерять и репутацию и любовницу». Никто еще так не задевал его тщеславия. Любовь, покоящаяся на низких чувствах, не знает жалости. Я пыталась расспросить его, но кто может разгадать такую

неискреннюю, лживую натуру? Он производит впечатление человека уставшего, ему надоела и его бедность и его любовь,— словом, вся жизнь опротивела. Он сожалеет, что его связь с маркизой получила такую широкую огласку, и, говоря со мной о былом своем счастье, сложил целую жалобную поэму, но она, пожалуй, слишком тонка, чтобы быть правдивой. Уверена, что он хотел выведать у меня тайну вашей любви, он надеялся, что, слушая его лесть, я от радости выболтаю все.

— Ну и что же? — спросил Каллист, глядя на Беатрису и на Конти, которые медленно прохаживались вдоль аллеи, и уже не слушая Фелисите.

Из осторожности Камилл держалась выжидательной тактики, она не выдала тайны Каллиста и Беатрисы. Музыкант мог провести любого, и поэтому мадемуазель де Туш заклинала юношу не доверять Конти.

— Дорогое мое дитя,— начала она,— сейчас наступила для тебя самая критическая минута; тут требуется осторожность, ловкость,— но в этом ты, увы, не слишком силен, не тебе разгадать игру самого хитрого человека на свете, а я ничем больше не могу тебе помочь.

Колокол прозвонил к обеду. Конти предложил руку Фелисите, Беатриса пошла вместе с Каллистом. Камилл с умыслом пропустила маркизу вперед, и та, взглянув на юного бретонца, быстро приложила палец к губам, давая тем самым понять своему возлюбленному, что он должен быть нем, как могила. Во время обеда Конти был на редкость весел,— быть может, он надеялся таким образом скрыть свои подозрения и проникнуть в тайны г-жи де Рошфид, которая весьма неискусно играла свою роль. Если бы она просто кокетничала с Каллистом, ей удалось бы обмануть Конти, но она любила, и выдала себя. Хитрый музыкант, в расчеты которого отнюдь не входило стеснять маркизу, делал вид, что не замечает ее смущения. За десертом он перевел разговор на женщин и стал превозносить благородство их чувств.

— Женщина, которая готова покинуть нас, когда мы благоденствуем, приносит себя в жертву мужчине, когда на него обрушиваются беды,— разглагольствовал он.— Женщина гораздо выше мужчины, ибо она постоянное нас; только будучи жестоко оскорбленной, она решится оставить своего первого возлюбленного; она дорожит

первым чувством, как своей честью, вторая любовная связь покроет ее позором...— и т. д. и т. п.

Он прочитал великолепную мораль, он воскурял фимиам пред алтарем, а на этом алтаре исходило кровью женское сердце, пронзенное тысячью стрел. Только Беатриса и Фелисите понимали ядовитые намеки, которые Конти бросал без промаха среди самых безудержных похвал. Минутами обе краснели, но вынуждены были сдерживать свое негодование; после обеда дамы взялись за руки, поднялись на половину Камилла и, не сговариваясь, прошли в большую гостиную; света еще не зажигали, здесь они могли переговорить с глазу на глаз.

— Я не могу больше позволить ему топтать меня, я не могу допустить, чтобы он был прав, а я виновата,— начала вполголоса Беатриса.— Каторжник, прикованный цепью к другому каторжнику, вынужден всюду следовать за своим товарищем по несчастью. Я пропала, я должна вернуться на каторгу любви. И это вы, вы в этом виноваты! От вас зависело, чтобы он приехал днем позже или днем раньше. Здесь во всем блеске развернулся ваш адский талант сочинителя; возмездие совершено, и лучшую развязку трудно придумать.

— Я действительно сказала вам, что напишу Конти, но написать ему... нет! На это я неспособна,— воскликнула Фелисите.— Ты страдаешь, и я прощаю тебя.

— Что станется с Каллистом? — сочувственно произнесла маркиза с великолепной наивностью самоуверенной женщины.

— Значит, Конти вас увозит? — осведомилась Фелисите.

— А-а, вы надеетесь восторжествовать надо мной? — вскричала Беатриса.

Эти страшные слова с трудом слетели с искривленных гневом губ, лицо ее исказилось, а Фелисите пыталась скрыть свою радость, притворяясь, что она с грустью слушает признания Беатрисы; но слишком уж ярко блестели ее глаза, чтобы можно было поверить этой печали. Беатрису нельзя было обмануть ужимками фальшивой скорби! Подруги уселись на тот самый диван, где они разыграли за эти три недели не одну комедию и где теперь началась скрытая трагедия подавляемых страстей.

При свете внесенной лампы они в последний раз зорко взглянули друг на друга и поняли, что их разделяет глубочайшая ненависть.

— Каллист достанется тебе,— сказала Беатриса, глядя в сияющие глаза подруги,— но я царствую в его сердце, и помни, что ни одна женщина в мире не займет там моего места.

На это смелое заявление Фелисите ответила знаменитыми словами племянницы кардинала Мазарини, обращенными к Людовику XIV: «Ты царствуешь, ты любишь и все-таки уходишь?» Мадемуазель де Туш произнесла эти слова с такой неподражаемой иронией, что Беатриса почувствовала себя уязвленной.

Среди этой жаркой схватки ни Беатриса, ни Фелисите не заметили отсутствия мужчин. Музыкант остался за столом, он попросил своего юного соперника поддержать компанию и распить с ним бутылку шампанского.

— Мне нужно с вами побеседовать,— заявил Конти, чтобы пресечь возможные возражения Каллиста.

В этих обстоятельствах наш бретонец вынужден был согласиться на его требование.

— Так вот, мой милый,— вкрадчиво начал музыкант, после того как бедный Каллист осушил два бокала шампанского подряд,— мы с вами мужчины, и мы можем поговорить откровенно, по-мужски. Я приехал в Туш вовсе не потому, что в чем-либо подозреваю маркизу. Беатриса обожает меня,— добавил он, фатовски махнув рукой.— Но я не люблю ее, я примчался сюда вовсе не за тем, чтобы похитить ее, а чтобы порвать с ней, однако я хочу, чтобы ее честь не пострадала от нашего разрыва. Вы молоды, вы не знаете еще, как полезно и необходимо принять на себя роль жертвы, когда чувствуешь, что ты палач. Бросая женщину, молодые люди мечут гром и молнии, устраивают страшный шум; они не умеют скрыть своего презрения и в конце концов вызывают ненависть к себе; но люди умные ведут себя так, как будто женщина прогоняет их; напустив на себя смиренный, жалкий вид, вы оставите на долю женщины раскаяние и сладостное чувство превосходства. От немилости божества никто не умирает, но поверженный кумир не может воспрянуть. К счастью для вас, вы еще не знаете, как связывают мужчин по рукам и ногам их вздорные клятвы, которые

женщины по недомыслию принимают за чистую монету, забывая, что любовный кодекс обязывает нас добровольно лезть в петлю, чтобы заполнить чем-нибудь часы блаженства! В эти-то часы любовники и клянутся в вечной верности! Если вы заводите интрижку с дамой, вежливость требует, чтобы вы не забыли сказать о вашем желании провести с нею всю свою жизнь: делайте вид, что вы с нетерпением ждете смерти ее мужа, тогда как на самом деле желаете ему долгих лет отменного здоровья. А если муж умрет, всегда найдется провинциалка, упрямица, дурочка или озорница, которая прискачет к вам и заявит: «Вот и я, наконец-то мы свободны!» Глупости! Никто из нас не свободен. Остывшее ядро вдруг взрывается и сражает нас в тот момент, когда мы гордимся прочностью нашего счастья. Я понял — вы влюблены в Беатрису, и я оставил ее в Туше, я знал, что она, не рискуя уронить себя, будет принимать ваши ухаживания хотя бы для того, чтобы подразнить нашего обожаемого ангела Камилла Мопена. Итак, мой дражайший, любите Беатрису, окажите мне эту услугу, мне нужно, чтобы она, жестокая, покинула меня. Меня страшат ее гордость и ее добродетели. При всем моем добром желании, нам с вами все же потребуется время, чтобы по всем правилам протанцевать фигуру кадрили «дама меняет кавалера». Но в таких случаях кто-нибудь должен же начать. Вот только что, час назад, в саду я намекнул Беатрисе, что я знаю все, и поздравил ее с новым счастьем. Ну, и рассердилась же она! Как раз сейчас я безумно влюблен в самую прекрасную, в самую молодую певицу нашей Оперы, в мадемуазель Фалькон, и собираюсь на ней жениться! Да, да, жениться. Приезжайте в Париж, вы сами убедитесь, что я сменил маркизу на настоящую королеву!

Счастье озарило лицо простодушного Каллиста, и он признался в своей любви, а этого только и ждал его собеседник. Как бы ни был испорчен и извращен светский человек, угасающая любовь его непременно вспыхнет, если ей угрожает юный соперник. Одно дело — бросить женщину, но другое дело,— если она бросает вас; когда любовники доходят до этой крайности, каждый — мужчина или женщина — стремится всеми силами сохранить свое преимущество, ибо рана, нанесенная самолюбию, глубока и не скоро заживает. Быть может, это объясняет-

ся той ролью, которую играет в нашем обществе тщеславие; посягая на него, вы посягаете на самое существенное — на будущее человека: он теряет уже не ренту, а капитал.

Подстрекаемый искусными вопросами композитора, Каллист рассказал все, что произошло в Туше за эти три недели, и восхищался благородством Конти, который умело скрывал свою ярость под личиной чарующего добродушия.

— Подымемся к дамам,— сказал он.— Женщины недоверчивы, им, должно быть, кажется странным, как это мы с вами сидим здесь и не вцепляемся друг другу в волосы; чего доброго, они еще подслушают наш разговор. Я сослужу вам двойную службу, друг мой,— буду с маркизой груб, невыносим, ревнив, буду с утра до вечера упрекать ее в изменах; это самый верный путь толкнуть женщину на неверность: в результате вы будете счастливы, а я — свободен. Итак, разыгрывайте нынче вечером раздосадованного любовника; а я беру на себя роль обманутого и подозрительного мужа. Жалейте этого ангела, попавшего в лапы человека грубого, лишенного тонких чувств, оплакивайте ее! Вам пристало плакать, ибо вы молоды. Увы! Я уже больше не могу плакать,— еще одним и весьма завидным преимуществом у меня меньше.

Каллист и Конти поднялись к дамам. Юный бретонец упросил музыканта спеть, и тот исполнил знаменитое «Prima che spunti l' aurora» [1], шедевр итальянской музыки, любимой всеми; сам Рубини не мог без дрожи петь эту арию, а Конти она доставила немало триумфов. Никогда еще Дженаро не пел так проникновенно, как в эту минуту, когда в груди его кипели столь разноречивые чувства. Каллист был в восторге. При первых же звуках этой каватины Конти бросил на маркизу взгляд, который придал словам арии жестокий смысл; она поняла его. Фелисите, аккомпанировавшая певцу, угадала этот приказ, заставивший Беатрису потупить взгляд; она посмотрела на Каллиста и решила. что юноша пренебрег ее наставлениями и попал в ловушку, расставленную Конти. Она еще больше уверилась в своем предположении,

---

[1] «Когда взойдет заря» *(итал.)*.

когда юный бретонец, прощаясь, поцеловал Беатрисе руку и пожал ее с доверчивым и лукавым видом. А когда Каллист добрался до Геранды, горничная и слуги уже уложили в дорожную карету Конти вещи Беатрисы, и музыкант, как он и обещал, увез маркизу еще *до зари* на лошадях Камилла. В предрассветном тумане г-жа де Рошфид могла незаметно для Конти бросить прощальный взгляд на Геранду, башни которой, освещенные первыми проблесками зари, белели среди уходящей ночной тьмы; она могла на свободе предаваться глубокой скорби: здесь она оставляла самый прекраснейший цветок своей жизни, свою чистую любовь, о которой грезят юные девы. Ради того, чтобы сохранить уважение света, эта женщина задушила страсть и знала, что эта любовь — последняя и единственная в ее жизни. Светская женщина повиновалась законам света, она принесла любовь в жертву приличиям, подобно тому как иные женщины жертвуют любовью ради религии или ради долга. Нередко гордость подымается до добродетели. С этой точки зрения описанная нами драма не исключение, ее переживают очень многие женщины. На следующий день Каллист явился в Туш около полудня. Когда он дошел до поворота дороги, откуда вчера заметил в окне Беатрису, он увидел Фелисите, которая бросилась ему навстречу. Они встретились у лестницы, и она произнесла ужасное слово:

— Уехала!

— Кто?! Беатриса?!—спросил Каллист, которого сообщение Фелисите поразило как громом.

— Вы сыграли на руку Конти, вы дали себя одурачить, а мне вы ничего не сказали, и я не могла вам помочь.

Она провела несчастного юношу в маленькую гостиную; он бросился на диван — туда, где так часто сидела маркиза, и залился слезами. Фелисите молча закурила свой кальян, она знала, что любые слова утешения бессильны в первые минуты безмолвной и глухой ко всему скорби.

Каллист целый день пробыл в состоянии глубочайшего оцепенения, не зная, на что решиться. Перед обедом Фелисите попросила юного бретонца выслушать ее и обратилась к нему со следующими словами:

— Друг мой, ты причинил мне жесточайшее страдание, а ведь у меня нет впереди целой жизни, прекрасной жизни, как у тебя. Для меня уже нет весны на земле и нет в душе моей любви. И я должна искать утешения не здесь, а выше. Накануне приезда Беатрисы я нарисовала тебе в этой самой гостиной ее портрет; я не хотела говорить о ней ничего дурного, ты бы мог подумать, что я ревную. Но нынче выслушай всю правду. Госпожа де Рошфид недостойна тебя. Ее разрыв с мужем вовсе не должен был сопровождаться таким шумом, но без этого шума она — ничто, она с холодным расчетом пошла на эту огласку, чтобы обратить на себя внимание; Беатриса принадлежит к тем женщинам, которые предпочитают совершить ошибку, лишь бы о них трубили, чем наслаждаться мирным счастьем; они оскорбляют общество, лишь бы получить роковую милостыню злословия; они хотят заставить говорить о себе любой ценой. Ее снедает тщеславие. Ее богатство, ее ум не могли дать ей того королевского положения в салонах, которое она стремилась занять: она надеялась сравняться известностью с герцогиней де Ланже и виконтессой де Босеан, но свет справедлив, он почитает своим вниманием только истинные чувства. Маркизу, играющую комедию, свет расценил как второстепенную актрису. Ее бегство не было вызвано необходимостью, ей никто не чинил ни в чем препятствий. Среди шумных празднеств над ее головой не блестело лезвие дамоклова меча, да к тому же в Париже очень легко устроить свои любовные дела без шума, когда любишь по-настоящему и искренне. А если она знает, что такое любовь и нежность, как же могла она уехать сегодня ночью с Конти?

Еще долго Фелисите расточала цветы своего красноречия, но поняла, наконец, что все ее усилия бесполезны, и замолчала, увидев, каким решительным жестом прервал ее речь Каллист; в каждом движении юноши горела непоколебимая вера в правоту и добродетели Беатрисы; Фелисите уговорила его сойти в столовую и усадила за стол, но он не мог проглотить ни одного куска. Только в ранней юности наш организм может испытывать такую внутреннюю нервную судорогу. С возрастом наши органы ко всему приспособляются и как бы грубеют. Воздействие моральных страданий на физическую сторону

недостаточно сильно, чтобы привести зрелого человека к смертельному исходу, потому что организм не сохраняет свою юношескую хрупкость. Мужчина справится с ужасным горем, которое убьет юношу, и не потому, что у взрослого человека слабее душевные переживания, а потому, что органы его крепче. Поэтому-то мадемуазель де Туш была так напугана спокойствием и покорностью Каллиста, наступившими после первого приступа отчаяния, выразившегося в слезах. Простившись с Фелисите, Каллист пожелал еще раз взглянуть на спальню Беатрисы. Он бессильно припал лбом к подушке, на которой еще вчера покоилась хорошенькая головка Беатрисы.

— Я, кажется, схожу с ума,— сказал он, пожав руку Камилла и печально спускаясь с крыльца.

Дома он застал обычное общество за партией мушки и весь вечер молча просидел возле матери. Кюре, кавалер дю Альга, мадемуазель де Пеноэль уже знали об отъезде маркизы де Рошфид и от души радовались: Каллист вернется к ним; все они исподтишка наблюдали за юношей, непривычно хмурым и молчаливым в этот вечер. Никто из собравшихся в этом старом доме не мог представить, чем кончится первая любовь для такого нетронутого, для такого чистого сердца, как сердце Каллиста.

В течение недели Каллист каждый день отправлялся в Туш; он бродил вокруг клумб и лужаек, где некогда гулял об руку с Беатрисой. Иногда он уходил далеко, в Круазик, и забирался на ту скалу, откуда он чуть не сбросил маркизу в море: он изучил каждый кустик, каждый выступ, за который цеплялась в своем падении маркиза, спрыгивал вниз и часами лежал в зарослях самшита. Его одинокие прогулки, его молчаливость, угрюмый вид в конце концов обеспокоили Фанни. Каллист метался, как дикий зверь в клетке, но в клетке безнадежно влюбленного, где, говоря словами Лафонтена, *в каждом углу звучат шаги, светят взоры возлюбленной;* так прошло недели две. Затем Каллист перестал ходить к заливчику; с трудом добирался он до поворота тропинки, откуда увидел в окне Беатрису. Семейство дю Геников, сверх меры обрадованное отъездом «парижан» — да будет разрешено нам воспользоваться этим чисто провинциальным определением,— не замечало ни мрачности, ни

болезненного состояния Каллиста. Обе старые девицы и священник не отказывались от своих планов; они удержали в Геранде Шарлотту де Кергаруэт, и та вечерами по обыкновению поддразнивала Каллиста, но ничего, кроме советов относительно игры в мушку, добиться от него не могла. Все вечера Каллист просиживал между матерью и юной бретонкой, уже считавшей себя невестой, не замечая, что за ним неотступно наблюдают священник и тетка Шарлотты; на обратном пути домой старики обсуждали поведение Каллиста, его унылые ответы и истолковывали его безразличие как согласие с их взглядами на устройство его жизни. Однажды вечером, когда Каллист, сославшись на усталость, раньше обычного встал из-за стола, все присутствующие, не сговариваясь, положили карты и молча посмотрели вслед юноше, выходившему из гостиной. Они с тревогой прислушивались к затихающему шуму его шагов.

— Что ж это происходит с Каллистом? — сказала баронесса, вытирая слезы.

— Ничего не происходит,— отрезала девица де Пеноэль,— просто его нужно женить поскорее.

— А вы думаете, это его утешит? — спросил кавалер.

Шарлотта сердито взглянула на г-на дю Альга. Как бы ни защищала тетя Жаклина почтенного кавалера, он просто безнравственный, испорченный, безбожный старик, не говоря уже о его дурных манерах и вечных рассказах о своей собачонке.

— Завтра утром я пожурю Каллиста,— вдруг заявил барон, к великому удивлению присутствующих, которые думали, что старик спит.— Я не хочу покидать этот мир, прежде чем не увижу внука в колыбельке, маленького дю Геника, беленького, розового, в нашем бретонском чепчике.

— Он все молчит,— вмешалась в разговор старуха Зефирина,— не угадаешь, что с ним, чего он хочет, он почти ничего не ест. Чем он только живет? Если он кормится в Туше, значит, дьявольская кухня не идет ему впрок.

— Он влюблен,— робко заметил кавалер, сам испугавшись смелости своего замечания.

— Ладно, ладно, старый проказник, вы бы лучше ставку поставили,— оборвала его девица де Пеноэль.—

Стоит вам заговорить о былых временах, и вы все на свете готовы забыть.

— Приходите к нам завтракать,— обратилась старуха Зефирина к Шарлотте и Жаклине,— братец образумит своего сынка, и мы обо всем сговоримся. Клин клином вышибают.

— Только не у бретонцев! — возразил кавалер.

На следующее утро Шарлотта, одетая особенно нарядно и тщательно, застала Каллиста в столовой, где барон развивал перед сыном свои идеи о браке, а тот не знал, что и ответить: он видел теперь, как ограничены понятия тетки, отца, матери и их друзей. Сам Каллист уже вкусил от древа познания и чувствовал, что здесь он одинок, что уже говорит на разных языках со своими домашними. Он лишь попросил несколько дней отсрочки: старый барон вне себя от радости шепотком сообщил баронессе эту благую весть, и та расцвела от счастья. Завтрак прошел весело. Шарлотта, с которой барон успел перекинуться словечком, безудержно резвилась. Гаслен разнес по всей Геранде слух о том, что дю Геники и Кергаруэты сговорились. После завтрака Каллист вышел из зала на крыльцо и спустился в сад, за ним последовала Шарлотта; он подал девушке руку и повел ее в беседку. Родители стояли у окна и с умилением наблюдали за молодой парочкой. Обеспокоенная молчанием своего суженого, Шарлотта растерянно обернулась и, заметив в окне стариков, воспользовалась этим обстоятельством, чтобы завязать разговор.

— Они смотрят сюда,— обратилась она к Каллисту.

— Они нас не услышат,— возразил юноша.

— Да, но они нас видят.

— Присядемте, Шарлотта,— тихо заметил Каллист, беря девушку за руку.

— Правда, что раньше над домом развевался ваш флаг, вот на той витой колонне? — спросила Шарлотта, оценивая дом взглядом будущей жены и невестки.— Хорошо было бы восстановить этот обычай. И как здесь можно счастливо жить! А как вы думаете устроиться, Каллист? Вы не собираетесь заново отделать комнаты?

— У меня не будет на это времени, дорогая Шарлотта,— возразил юноша, целуя руки девушки.— Я хочу доверить вам свою тайну. Я слишком люблю ту особу, ко-

торую вы видели, и она любит меня, поэтому я не могу составить счастье другой женщины, хотя и знаю, что нас с вами с детства предназначили друг другу.

— Но ведь она замужем, Каллист! — воскликнула Шарлотта.

— Что ж, я буду ждать,— ответил юноша.

— И я тоже буду ждать,— прошептала Шарлотта, и глаза ее налились слезами.— Вы не сможете долго любить подобную женщину, ведь она, говорят, убежала из дома с каким-то певцом.

— Выходите замуж, дорогая Шарлотта,— прервал ее Каллист.— Тетушка откажет вам все свое состояние. Для Бретани это огромное богатство, и вы найдете себе лучшего мужа, чем я, и не менее знатного. Я не намереваюсь повторять вам то, что вы сами знаете, я лишь заклинаю вас во имя нашей детской дружбы: возьмите на себя почин в нашем разрыве и откажите мне. Объявите им, что вы не желаете выходить за человека, чье сердце не свободно, и пусть мое несчастье поможет вам выйти с честью из неприятного положения. Вы не можете представить себе, как тяжела мне жизнь! Я уже не способен бороться, я ослабел, как человек, который лишился души, лишился главного в жизни. Если бы я не знал, что моя смерть причинит ужасные страдания матери и тетке, я бы уже давно бросился в море, и с тех пор как это желание стало непреодолимым, я не хожу больше в Круазик. Впрочем, не будем говорить об этом. Прощайте, Шарлотта.

Каллист обеими руками взял голову девушки и нежно поцеловал ее в лоб, затем незаметно проскользнул в калитку. Он убежал к Фелисите и долго пробыл у нее.

Только после полуночи вернулся он домой и застал Фанни за вышиванием — она по обыкновению поджидала сына. Каллист на цыпочках вошел в зал, пожал руку матери и спросил:

— Шарлотта уехала?

— Уезжает завтра с теткой, обе они в отчаянии. Поезжай в Ирландию, Каллист,— ответила баронесса.

— Сколько раз я мечтал скрыться там! — ответил Каллист.

— Да? — вскричала баронесса.

— С Беатрисой,— добавил юноша.

Через несколько дней после отъезда Шарлотты Кал-

лист отправился погулять с кавалером дю Альга за крепостной стеной. Они сели под нежаркими лучами солнца на скамейке, откуда видна была вся округа и флюгер Туша, а дальше на горизонте — рифы, окаймленные белой пеной, вскипавшей вокруг подводных камней. Каллист похудел и побледнел, силы его падали с каждым днем, теперь его часто била легкая дрожь, предвещавшая лихорадку. Глубоко запавшие глаза горели тем особенным блеском, который бывает только у людей одиноких, поглощенных какой-нибудь одной неотступной мыслью, или в глазах смелых борцов нашей эпохи, вдохновляемых грозными схватками. Кавалер стал отныне единственным собеседником Каллиста, с ним юноша делился своими мыслями: он чувствовал в этом старце апостола той же веры и видел на нем печать вечной любви.

— Многих ли женщин любили вы на своем веку?— спросил Каллист кавалера во вторую их прогулку, когда они, по выражению моряка, шли «борт к борту».

— Только одну,— ответил кавалер дю Альга.

— А она была свободна?

— Нет,— вздохнул кавалер. — Ах, как же я страдал! Она была женой лучшего моего товарища, моего покровителя, моего начальника... Но мы так любили друг друга!

— Значит, и она любила вас? — осведомился Каллист.

— Страстно,— ответил старик с несвойственной ему живостью.

— И вы были счастливы?

— До самого дня ее кончины; она умерла в сорок девять лет в Санкт-Петербурге, не перенеся суровой зимы. Как, должно быть, холодно ей лежать в могиле! Сколько раз я думал перевезти ее прах сюда, в нашу дорогую Бретань, поближе ко мне! Но все равно — образ ее вечно покоится в моем сердце.

Кавалер смахнул слезу, и Каллист крепко обнял его.

— Я больше жизни дорожу своей собачкой,— продолжал старик, указывая на Тисбу.— Моя Тисбочка как две капли воды похожа на ту болонку, которую ласкали любимые мной прекрасные руки. И каждый раз, когда я посмотрю на свою Тисбу, я вспоминаю руки адмиральши.

— Вы видели маркизу де Рошфид? — спросил кавалера Каллист.

— Нет,— ответил тот.— Вот уже пятьдесят восемь лет, как я полюбил, и для меня не существует никакой иной женщины, за исключением вашей матушки: цветом волос она напоминает адмиральшу.

Три дня спустя, когда наши друзья вновь прогуливались по набережной, кавалер сказал юноше:

— Дитя мое, у меня есть сто сорок луидоров. Когда вы узнаете, где находится госпожа де Рошфид, возьмите у меня деньги и поезжайте к ней.

Каллист поблагодарил старика, он завидовал его беспорочному существованию. Но день ото дня юноша становился все мрачней; казалось, он разлюбил своих родных, всякое общение с ними стало для него мукой, он был нежен и ласков только с матерью. Баронесса с растущей тревогой наблюдала за сыном, который, казалось, все глубже и глубже погружался в черную бездну безумия. Она одна могла умолить его съесть хоть что-нибудь. К началу октября юноша прекратил свои прогулки с кавалером по набережной, и напрасно дю Альга заходил за ним, стараясь завлечь его добродушными стариковскими шутками.

— Мы с вами поговорим о госпоже де Рошфид,— соблазнял он юношу.— Я расскажу вам о своем первом любовном приключении.

— Ваш сын серьезно болен,— заявил наконец кавалер дю Альга баронессе, видя, что его усилия пропадают втуне.

На все расспросы Каллист отвечал, что чувствует себя превосходно, и, подобно всем юным меланхоликам, лелеял мысль о скорой своей кончине; теперь он совсем не выходил из дома, целыми днями просиживал на скамейке в саду, греясь в неярких лучах по-осеннему теплого солнца, думая в одиночестве свою невеселую думу и чуждаясь всякого общества.

Когда Каллист перестал появляться в Туше, Фелисите попросила герандского кюре навестить ее. Теперь кюре Гримон проводил у Камилла почти все утра и нередко оставался в Туше обедать — эта поразительная новость облетела всю округу, ее обсуждали даже в Нанте. Тем не менее каждый вечер священник аккурат-

но появлялся у дю Геников, в доме которых царила теперь печаль. И хозяева и слуги, все были удручены упрямством Каллиста, хотя никто не представлял себе всей глубины опасности: в головах герандцев никак не укладывалась мысль, что бедный юноша может умереть от любви. Даже старый кавалер за время своих долгих путешествий не слыхал о подобных случаях и не сохранил в памяти подобных примеров. Все единодушно считали, что Каллист худеет из-за отсутствия аппетита. Баронесса чуть не на коленях умоляла сына сесть за стол. Бедный юноша в угоду матери мужественно старался преодолеть свое отвращение к еде. Между тем пища, проглоченная насильно, только обостряла медленную лихорадку, терзавшую прелестного Каллиста.

В последних числах октября любимейшее чадо дю Геников перестало ночевать в спальне,— кровать Каллиста перенесли в залу, и он проводил все дни в кругу семьи; Фанни наконец решила обратиться за помощью и советом к герандскому врачу. Последний прописал хинин, чтобы прекратить лихорадку, и она действительно через несколько дней прекратилась. Кроме того, врач порекомендовал Каллисту движения и велел его развлекать. Отец собрал последние силы и вышел из своей дремоты: он как будто помолодел, в то время как его сына поразила старческая немощь. Барон сам повез на охоту Каллиста и Гаслена, захватив двух прекрасных охотничьих псов. Юноша повиновался отцу, и в течение нескольких дней все трое рыскали по лесам, навещали старых друзей в соседних замках; но Каллист был по-прежнему невесел, ничто не вызывало улыбки на его губах, его мертвенно-бледное и искаженное мукой лицо выдавало глубокое ко всему безразличие. Во время этой вылазки старик окончательно обессилел и вернулся домой полумертвый. Каллист чувствовал себя не лучше. Через несколько дней и отец и сын так сильно разболелись, что, по совету герандского врача, пришлось пригласить двух прославленных докторов из Нанта. Барона как громом сразила перемена, происшедшая в Каллисте. Со страшной силой прозрения, которой природа наделяет умирающих, отец сознавал, что род его угасает, и трепетал, как беззащитное дитя; он упорно молчал и, не поднимаясь с кресел, к которым его прико-

вала все увеличивающаяся слабость, горячо молился богу. Повернувшись к кровати, где лежал Каллист, старый барон часами не спускал с юноши глаз. При каждом движении обожаемого сына старик испытывал страшнейшее потрясение, будто снова в нем разгорался пламень угасающей жизни. Баронесса не покидала больше залу, а старуха Зефирина, сидя в углу, возле камелька, продолжала вязать, хотя беспокоилась ужасно; от нее то и дело требовали дров, потому что отец и сын мерзли, Мариотта посягала на запасы провизии, а ноги отказывались служить Зефирине, так что она в конце концов решилась отдать служанке ключи; но ей хотелось все знать самой, и она вполголоса расспрашивала то Мариотту, то невестку, каждую минуту отрывала их от дела, требуя рассказать, как чувствуют себя ее брат и племянник. Как-то вечером, когда Каллист и его отец забылись сном, Жаклина де Пеноэль объявила своей подруге, что на все воля божия и следует примириться с близкой кончиной барона,— ведь в последние дни лицо его стало совсем восковым. Испуганная Зефирина уронила спицы и клубок, полезла в карман, вытащила оттуда четки из черного дерева и начала так истово молиться, что ее морщинистое и иссохшее лицо просветлело, и Жаклина невольно последовала примеру подруги; затем и все присутствующие, по знаку священника, присоединились к молитве двух старых дев.

— Я уже молила бога,— произнесла баронесса, вспомнив роковое письмо Каллиста к Беатрисе,— но он не внял моей мольбе.

— Быть может, нам следовало бы,— сказал вдруг кюре Гримон,— попросить мадемуазель де Туш навестить Каллиста.

— Попросить ее?! — вскричала старуха Зефирина.— Да она причина всех наших бед, она украла у нас нашего Каллиста, отвлекла от семьи, заставила читать безбожные книги, научила всей ихней ереси! Будь она проклята, пусть господь бог не отпустит ей грехов! Она разрушила дом дю Геников.

— Кто знает, быть может, именно она возродит ваш род,— мягко произнес священник.— Это святая и добродетельная особа, я ручаюсь за нее. В отношении ва-

шего Каллиста она питает лишь самые благие намерения. Дай-то бог, чтобы ей удалось осуществить их!

— Предупредите меня, когда она переступит порог нашего дома, и я тогда уйду прочь! — вскричала старуха.— Она убила и отца и сына! Разве я не слышу, каким слабым голосом говорит Каллист? Он едва языком ворочает.

В это время в залу вошли врачи. Они замучили Каллиста расспросами, зато осмотр старика-барона не отнял много времени: в отношении его они пришли к единодушному выводу — их удивляло, что старый дю Геник еще жив. Геранд ский врач преспокойно объявил баронессе, что Каллиста следовало бы свозить в Париж, посоветоваться со столичными светилами или пригласить их сюда,— но это обойдется в сто луидоров.

— Так ведь ни с того ни с сего не умирают,— заявила девица де Пеноэль,— любовь — ведь это пустяки.

— Увы, какова бы ни была причина болезни Каллиста, он умирает,— возразила баронесса,— я узнаю тут все признаки истощения; эта ужасная болезнь не редкость на моей родине.

— Каллист умирает? — проговорил барон, вдруг отворачивая глаза; две крупные слезы, быть может, первые слезы в его жизни, медленно потекли по старческому лицу и, не скатившись на грудь, затерялись где-то среди бесчисленных морщин. Он поднялся с кресла, подошел к постели сына, взял Каллиста за руку и стал пристально смотреть на него.

— Что вы хотите, батюшка? — спросил Каллист.

— Хочу, чтобы ты жил! — воскликнул барон.

— Я не могу жить без Беатрисы,— ответил Каллист старику, и тот бессильно упал в кресло.

— Где же взять сто луидоров, чтобы пригласить парижских врачей? А то будет уже поздно,— произнесла баронесса.

— Сто луидоров! — воскликнула Зефирина.— Значит, сто луидоров его спасут?

Не дожидаясь ответа, старая девица быстро сунула руку в карман, расстегнула нижнюю юбку, которая упала с глухим стуком. Слепая так хорошо знала место, куда она зашила свои луидоры, что выпорола их из тайника со сказочной быстротой. Золотые монеты

со звоном посыпались ей на колени. Старуха де Пеноэль следила за действиями подружки с каким-то глуповатым недоумением.

— На вас смотрят! — шепнула она на ухо Зефирине.

— Тридцать семь,— продолжала считать мадемуазель дю Геник, не отвечая.

— Все будут знать, сколько у вас денег!

— Сорок два...

— Луидоры совсем новые. Где вы их взяли, как это вы их различаете?

— На ощупь. Вот сто четыре луидора! — вскричала Зефирина.— Хватит или нет?

— Что это у вас происходит? — спросил, появляясь в дверях, кавалер дю Альга. Моряк растерялся, его смутил вид старой его приятельницы, на коленях которой лежала кучка золотых монет.

Мадемуазель де Пеноэль в двух словах объяснила кавалеру смысл происходящего.

— Я знал об этом,— промолвил он,— и пришел, чтобы передать Каллисту сто сорок луидоров, которые я для него приберег; ему, впрочем, об этом уже известно.

С этими словами кавалер вытащил из кармана два свертка и показал их всем присутствующим. При виде таких богатств Мариотта велела Гаслену запереть входные двери.

— Да, но золото не вернет ему здоровья,— сквозь слезы проговорила баронесса.

— Зато он поедет к своей возлюбленной,— возразил кавалер.— А ну-ка, Каллист, собирайтесь!

Юноша приподнялся на кровати и радостно вскричал:

— Едем, скорее!

— Он будет жить,— сказал барон, задыхаясь,— теперь я смогу умереть спокойно. Бегите за священником.

Эти слова вызвали общий переполох. Каллист, видя, как побледнел старый барон, сраженный жестокими переживаниями, залился слезами. Кюре, который знал приговор врачей, пошел к мадемуазель де Туш, ибо насколько он поносил раньше эту заблудшую душу, настолько сейчас открыто выказывал ей уважение и защищал ото всех нападок, как и подобает пастырю защищать возлюбленную свою овечку.

Когда по Геранде прошел слух о том, что старик-барон отходит, в переулке собралась толпа: крестьяне, болотари, горожане преклоняли колени во дворе, пока кюре Гримон напутствовал умирающего. Весь город был в волнении — старик-отец скончался на руках безнадежно больного сына. Для старых герандцев угасание древнего бретонского рода было их общим бедствием. Это прощание с умирающим поразило Каллиста. На минуту горе заставило его забыть о своей любви; упав на колени возле кресла, он наблюдал, как постепенно угасает жизнь в этом бретонском воине, как разливается по его чертам смертельная бледность, и горько плакал. Вокруг кресла, где умирал старик, собралась вся семья.

— Я умираю верным королю и религии. Воззри, господи, на дела мои и спаси жизнь Каллисту,— проговорил он.

— Я буду жить, батюшка, я во всем готов повиноваться вам,— ответил юноша.

— Если ты хочешь, чтобы кончина была мне сладкой, как сладостной была мне жизнь с моей Фанни, поклянись, что ты женишься.

— Обещаю вам это, батюшка.

Трогательно было видеть Каллиста, вернее, тень его, когда, поддерживаемый своим другом кавалером дю Альга, шел он за гробом отца во главе похоронной процессии. Вся церковь и маленькая площадь перед ней были забиты народом; за десять лье бретонцы сошлись отдать последний долг барону дю Генику.

Баронесса и Зефирина погрузились в глубокую скорбь, видя, что, вопреки всем их стараниям заставить Каллиста последовать воле отца, юноша не выходит из зловещего оцепенения. В первый же день, когда семейство надело траур, баронесса отвела сына в сад, усадила на скамью и начала его расспрашивать. Каллист отвечал на все вопросы матери нежно и покорно, но слова его дышали глубокой безнадежностью.

— Матушка,— промолвил он,— во мне больше не осталось жизни: пища, которую я ем, не насыщает меня более, воздух, который входит в мои легкие, не освежает мою грудь, солнце — и то не греет меня, стены нашего дома кажутся мне окутанными туманом,— я уже не ви-

жу на них милой твоему взору резьбы ваятелей даже в ясный день. Будь здесь Беатриса, все заблестело бы снова. Только одна-единственная вещь во всем свете еще имеет для меня цвет и форму — вот этот цветок и листочки,— добавил он, вынимая завядший букет, который дала ему маркиза и который он свято хранил на груди.

Баронесса не осмеливалась больше ни о чем расспрашивать сына: если его молчание выражало скорбь, то его ответы говорили, что он потерял разум. Вдруг Каллист задрожал: на перекрестке дороги он увидел мадемуазель де Туш, и она напомнила ему Беатрису. Итак, именно Камиллу Мопену обе дамы дю Геник были обязаны единственной светлой минутой среди их глубокой скорби.

— Ну, что же, Каллист,— сказала мадемуазель де Туш, подходя к скамье,— карета ждет, поедемте вместе искать Беатрису. Собирайтесь быстрее!

Бледное, худое лицо юноши, одетого в глубокий траур, порозовело, губы его тронула улыбка.

— Мы спасем его,— обратилась мадемуазель де Туш к баронессе, которая, плача от радости, пожимала ей руки.

Через неделю после смерти барона мадемуазель де Туш, баронесса дю Геник и Каллист выехали в Париж, поручив все дела старухе Зефирине.

Преданность Фелисите уготовила прекрасное будущее Каллисту. Дело в том, что Фелисите была связана родственными узами с семейством де Гранлье: герцогская ветвь рода де Гранлье должна была угаснуть, так как у супругов было пять дочерей, но ни одного наследника мужского пола. Фелисите написала письмо герцогине де Гранлье, в котором подробно изложила историю Каллиста, а также сообщила ей, что продает свой дом на улице Мон-Блан,— дельцы предлагали ей за это владение два с половиной миллиона франков. Ее поверенный купил взамен красивый особняк на улице Бурбон, заплатив за него семьсот тысяч. Миллион франков из суммы, оставшейся после продажи дома, Фелисите истратила на выкуп земель дю Геников и решила все свое состояние передать девице Сабине де Гранлье. Фелисите знала планы герцога и герцогини: они прочили

младшую дочь за виконта де Гранлье, который должен был унаследовать их титул; знала она также, что вторая дочь, Клотильда-Фредерика, решила остаться девушкой, но не поступила в монастырь, как старшая ее сестра, и что таким образом на выданье оставалась только предпоследняя дочь, прелестная двадцатилетняя Сабина, которая, как надеялась Камилл Мопен, сумеет исцелить Каллиста от его страсти к г-же де Рошфид.

Во время пути Фелисите поделилась с баронессой своими замыслами. По прибытии в Париж прежде всего был обставлен особняк на улице Бурбон: мадемуазель де Туш предназначала его Каллисту, если ее планы увенчаются успехом. Затем все трое отправились к Гранлье, где баронесса была встречена с уважением, которого заслуживало ее девичье имя, а также имя дю Геников. Понятно, что мадемуазель де Туш посоветовала Каллисту осмотреть Париж, пока она будет наводить справки о теперешнем местожительстве Беатрисы, и предоставила его тем многочисленным соблазнам, которые поджидают юношу в столице. Герцогиня, ее дочери и их друзья взяли на себя труд представить провинциалу Париж в момент, когда там начинался сезон балов. Парижская жизнь решительно отвлекла юного бретонца от его скорбных мыслей. Каллист нашел сходство душевных качеств г-жи де Рошфид и Сабины де Гранлье, которая, безусловно, была в то время одной из самых красивых и очаровательных девушек парижского света; он стал замечать ее милое кокетство, на что не могли рассчитывать другие женщины. Впрочем, Сабине де Гранлье тем легче было играть свою роль, что Каллист действительно понравился ей. События шли своим чередом и так успешно, что в течение зимы 1837 года барон дю Геник, который вновь обрел яркие краски цветущей юности, уже без отвращения выслушивал мать, когда та напоминала ему о клятве, данной умирающему отцу, и прямо переходила к планам его брака с Сабиной де Гранлье. Правда, баронесса чувствовала, что Каллист еще верен своей любви и в душе безразличен ко всему, но надеялась, что радости супружеской жизни восторжествуют над этим равнодушием. В тот день, когда семейство де Гранлье и баронесса, вызвавшая для этой цели из Ирландии свою род-

ню, собрались в огромном зале особняка Гранлье и Леопольд Анекен, нотариус герцога, разъяснял отдельные пункты брачного контракта, прежде чем его огласить, Каллист, погруженный в тяжелое раздумье, вдруг наотрез отказался принять дары мадемуазель де Туш; он до последней минуты рассчитывал на великодушие Фелисите и надеялся, что она разыщет ему Беатрису. Оба семейства стояли, как громом пораженные, но тут вошла Сабина, в прелестном туалете, одетая с явным расчетом походить на Беатрису, вопреки темному цвету своих волос, и подала юноше следующее письмо:

От Фелисите к Каллисту.

«Каллист, прежде чем затвориться в келье послушницы, да будет разрешено мне бросить взгляд на тот мир, который я оставляю. И взгляд этот я обращаю к вам, ибо в последнее время вы были для меня всем на свете. Если только расчеты не обманут меня, мой голос дойдет до вас как раз во время той церемонии, на которой мне невозможно присутствовать. В тот день, когда вы станете у алтаря рука об руку с юной и прелестной девушкой, которой ничто не мешает любить вас перед лицом неба и земли, я уйду в Нантский монастырь, где меня нарекут невестой того, кто не обманывает и не изменяет. Я ничем не хочу огорчить вас и потому прошу об одном — не поддавайтесь ложному самолюбию и позвольте мне сделать вам добро; я приняла это решение давно, с тех пор как узнала вас. Не оспаривайте у меня прав, за которые я заплатила дорогой ценой. Если любовь — страдание, значит, я любила только вас; но пусть вас не мучит совесть: единственными радостями, которые я вкусила в жизни, я обязана вам, Каллист, а в своих страданиях я сама виновата. Вознаградите же меня за все былые муки, подарив мне вечную радость. Позвольте бедному Камиллу, который уже не существует более, хоть что-то сделать ради вашего материального благополучия. Пусть я останусь ароматом цветов вашей жизни и незаметно примешаю к ней свое существование. Я буду обязана вам вечным блаженством: почему же мне, в знак благодарности, не принести вам в дар преходящие и тленные земные блага? Неуже-

ли у вас не хватит великодушия принять их? Неужели вы усмотрите в них последнюю ложь отвергнутой любви? Каллист, без вас мир для меня — ничто, вы превратили его в ужасную пустыню, но вы привели неверующего Камилла Мопена, автора книг и пьес, от которых я торжественно отрекусь, вы привели бесстрашную и испорченную деву пред лицо господа. Ныне я стала тем, чем должна была быть,— невинным ребенком. Да, я омыла свои одежды слезами раскаяния, и к алтарю меня поведет ангел — мой обожаемый Каллист. Как сладостно мне произносить это имя, отныне освященное моим обетом! Я люблю вас без всякой корысти, как любит мать своего сына, как церковь любит свои чада. Я могу молиться за вас и за ваших близких, руководствуясь лишь одним желанием — желанием вашего счастья.

Если бы вы знали, среди какого небесного покоя я живу ныне, поднявшись духом над всеми мелкими интересами света, и как сладостна мне мысль, что я выполнила свой долг (вспомните благородный девиз вашего семейства),— если бы вы знали это, вы, не колеблясь, вступили бы в новую прекрасную жизнь и даже не оглянулись бы на прошлое. Итак, пишу вам прежде всего для того, чтобы умолить вас быть верным себе и своим. Дорогой мой, общество, в котором вы должны жить, не может существовать, если оно не верит в святость долга, и вы измените этой вере, как изменила я, если уступите голосу страстей и своеволия. Женщина только тогда равна мужчине, когда жизнь ее — постоянная жертва, подобно тому как жизнь мужчины должна быть непрерывным действием. А моя жизнь была нескончаемой судорогой эгоизма. Итак, быть может, господь привел вас ко мне на закате моих дней, как благого вестника, принесшего мне и кару и милость.

Выслушайте же признание женщины, которой слава, вернее, мираж славы, как маяк, осветила настоящий путь. Будьте достойны себя, пожертвуйте вашими мечтами ради долга главы семьи, мужа и отца! Подхватите древнее знамя дю Геников, покажите людям нынешнего века, не знающим ни религии, ни принципов, что такое дворянин во всей славе и великолепии. Возлюбленное дитя моей души, позвольте мне быть ва-

шей матерью: обожаемая Фанни не будет более ревновать к женщине, умершей для света и на коленях воздевающей руки к небесам,— только такою может отныне предстать перед вами ваша Фелисите.

Ныне дворянство больше чем когда-либо нуждается в богатстве, примите же часть моего состояния, Каллист, и найдите ему достойное применение. Это не дар, а наследство, будьте моим душеприказчиком. Я пекусь больше о ваших детях, о вашем старом бретонском доме, нежели о вас самом. С этой мыслью я и предлагаю вам доходы с моих парижских владений».

— Подписывайте! — произнес юный барон к великой радости всех родных.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

ЗАПОЗДАЛЫЙ РОМАН

На следующей неделе сразу же после бракосочетания, состоявшегося, по обычаю лучших семейств Сен-Жерменского предместья, в семь часов вечера в церкви св. Фомы Аквинского, Каллист и Сабина, после объятий, поздравлений и слез, уселись в красивую дорожную карету, сопровождаемые напутствиями двадцати гостей и родственников, столпившихся на ступенях особняка Гранлье. Поздравляли новобрачных четыре шафера и с ними прочие мужчины, а слезы проливала сама герцогиня де Гранлье и ее дочь Клотильда, которых терзала одна и та же печальная мысль.

— Вот и началась ее супружеская жизнь! Бедная Сабина! Теперь она во власти человека, который и женился-то на ней не по своей воле.

Супружество состоит не только из удовольствий, столь же преходящих в семейной жизни, как и в жизни вообще,— оно предполагает общие склонности, взаимное страстное влечение, сходство характеров,— вот что превращает это необходимое обществу установление в извечную проблему. Девушки, выходящие замуж, так же как и их матери, отлично знают сроки и опасности этой лотереи; вот почему женщины, присутствующие на свадьбе, обычно плачут, тогда как мужчины улыбаются; мужчинам кажется, что они ничем не рискуют,

а женщины догадываются, как велик ожидающий их риск.

В другой карете, которая отъехала раньше экипажа, увозящего молодоженов, находилась баронесса дю Геник, которой герцогиня шепнула на прощание:

— У вас нет дочери, а только сын, постарайтесь же заменить моей дорогой Сабине родную мать!

На козлах кареты восседал егерь, который должен был служить при случае и курьером, а позади — две горничные. Четыре форейтора — ибо каждая карета была запряжена четверкой лошадей — вырядились в парадные ливреи и украсили шляпы лентами, а в петлицы вдели букеты, и напрасно пытался герцог де Гранлье заставить их снять эти нелепые украшения, даже заплатил изрядную сумму: французские возницы почтовых карет — народ весьма смышленый, но любит пошутить. Поэтому форейторы взяли у герцога деньги, а проехав заставу, снова нацепили ленты.

— Ну, прощай, Сабина,— прошептала герцогиня,— помни же о своем обещании, пиши мне почаще. Вам, Каллист, я ничего не скажу, вы и без слов поймете меня!

Клотильда стояла, обнявшись с самой младшей сестрой, Атенаис, на которую с улыбкой смотрел виконт Жюст де Гранлье, и бросила на молодую проницательный взгляд увлажненных слезами глаз; долго еще следила она за каретой, исчезавшей среди многократного щелканья четырех бичей, которое отдавалось в воздухе громче, чем пистолетная стрельба. Минута -- и веселый поезд пересек площадь Инвалидов, проехал по набережной, потом через Иенский мост, миновал заставу Пасси, свернул к Версалю и, наконец, покатил по дороге, ведущей на Бретань.

Разве не примечательно, что швейцарские и немецкие ремесленники, равно как и представители английской и французской аристократии, следуют одному и тому же обычаю и после совершения брачной церемонии пускаются в путешествие? Великие мира сего забираются в тесный ящик на колесах. Простые же люди весело идут пешком, отдыхают под лесной сенью, пируют во всех встречных харчевнях, пока есть охота или, вернее, деньги. Исследователь нравов не сразу решит, кто же

обладает большей целомудренностью,— тот ли, кто прячется от посторонних глаз, освящая домашний очаг и брачное ложе, как это принято у наших славных буржуа, или тот, кто, прячась от близких, объявляет зато во всеуслышание о своем счастье на всех перекрестках, перед лицом незнакомых людей? Тонкие души жаждут одиночества и бегут равно и от глаз света и от глаз родни. Быстротечное счастье первых дней брачной жизни — это бриллиант, перл, драгоценность, созданная искусством любви, высшим среди прочих искусств, это сокровище, которое надлежит хранить в глубинах сердца.

Кто может лучше и полнее рассказать о медовом месяце, чем сама новобрачная? И сколько женщин вспомнят тогда, что эта пора, продолжительность коей весьма различна (бывают случаи, когда она длится одну только ночь!), является предисловием к супружеской жизни. Три первых письма, которые Сабина отправила матери, свидетельствуют о том, что молодая баронесса дю Геник очутилась в странном положении, которое, к несчастью, знакомо иным новобрачным и многим стареющим женщинам. Немало их оказывается, так сказать, на положении сиделок при раненом сердце, но не все, как Сабина, замечают это сразу. Ибо молодые девицы из Сен-Жерменского предместья, в том случае, если они неглупы и не лишены наблюдательности, еще задолго до брака усваивают образ мысли вполне зрелой женщины. Прежде чем выйти замуж, девушка сначала в материнском доме, а потом в свете получает второе крещение: обучается хорошим манерам. Герцогини, которые ревностно пекутся о том, чтобы передать дочерям свои заветы, подчас и не подозревают, к чему ведут их наставления. «Не держите так руки: это некрасиво. Не смейтесь громко. На диван не бросаются, а опускаются плавно. Оставьте эти отвратительные манеры. Но так не принято, дитя мое», и т. д., и т. п. Таким образом, критически настроенные буржуа несправедливо нападают на невинность и добродетели юных дев, которые, подобно Сабине, являются именно девами, но, так сказать, усовершенствованы воспитанием, которое прививает им хороший вкус, благородство осанки и умение уже в шестнадцать лет ловко пользоваться лорнетом. Сабина не случайно оказалась восприимчивой к брач-

ным планам Фелисите. Девушка прошла школу мадемуазель де Шолье. Сабина, пожалуй, представит такой же интерес для читателя, как и героиня «Переписки двух молодых жен», ибо на ее примере мы увидим, сколь бесполезны такие социальные преимущества, как врожденная тонкость, а также то, что дается аристократическим воспитанием: все это бессильно перед великими катастрофами супружеской жизни и иной раз рассыпается прахом под двойным бременем несчастья и страстей.

I

Герцогине де Гранлье.

«Геранда, апрель 1838 г.

Дорогая маменька, вы, должно быть, сами понимаете, почему я не писала вам с дороги,— ведь в пути и мысли наши бегут, как колеса. Вот уже два дня, как я нахожусь в самом сердце Бретани, в доме дю Геников; он похож на резной ящик из кокосового ореха. Хотя семейство дю Геник относится ко мне с редким вниманием и любовью, мне ужасно хочется упорхнуть к вам и рассказать вам очень много такого, что можно доверить, как я чувствую теперь, только матери. Каллист женился, дорогая маменька, затаив в сердце глубокую печаль, о которой, впрочем, все мы отлично знали. Ведь вы сами предупреждали меня о том, как трудно будет мое положение; но, увы, оно гораздо труднее, чем вы думали. Ах, дорогая маменька, как опытны становимся мы в течение каких-нибудь нескольких дней, или, вернее, нескольких часов. Все ваши добрые советы здесь бесполезны, и чтобы объяснить вам — почему, достаточно будет одной-единственной фразы: я люблю Каллиста так, словно он не стал моим мужем. Другими словами, если бы я вышла замуж за другого, то, путешествуя с Каллистом, я любила бы его и ненавидела бы своего мужа. Представьте же себе женщину, любящую страстно, безумно, беспредельно, не говоря уже о всех прочих наречиях, которые вы, если вам угодно, можете тут добавлять без конца. Вот я и стала, вопреки всем вашим благим пожеланиям, настоящей ра-

быней. Вы советовали мне быть величественной, благородной, полной достоинства и гордости, чтобы добиться от Каллиста тех чувств, которые не подвержены изменениям на протяжении всей жизни, и прежде всего — глубокого уважения, возвышающего женщину как мать и супругу. Вы осуждали — и несомненно вполне справедливо — нынешних молодых женщин за то, что они, желая мирно жить с мужем, с первых же дней становятся сговорчивыми, снисходительными, безвольными, фамильярными, развязными, словом, слишком «податливыми особами», как вы говорите (признаюсь вам, что я еще не понимаю, что это означает, но, вероятно, скоро пойму), и, по вашим же словам, они мчатся к пропасти: мужья сначала охладевают к ним, а потом начинают и презирать их.

«Помни, что ты — де Гранльe!» — шепнули вы мне на прощание.

Ваши советы, полные материнского красноречия, постигла та же участь, что и наставления Дедала своему сыну. Дорогая, любимая маменька, могли ли вы хоть помыслить, что я начну именно с той самой катастрофы, которой, по вашим словам, оканчивается медовый месяц нынешних новобрачных.

Когда мы с Каллистом очутились одни в карете, мы в равной степени почувствовали себя беспомощными до глупости; мы поняли, как много будет зависеть от первого произнесенного нами слова, первого взгляда, и оба в смятении, все еще переживая церемонию венчания, глядели он — в свое, а я — в свое окошко. Это было, должно быть, так нелепо, что у заставы г-н дю Геник слегка дрожащим голосом обратился ко мне с речью, без сомнения приготовленной заранее, как, впрочем, и все импровизации, а я слушала его с бьющимся сердцем. Эту речь Каллиста я передам вам в сокращенном виде:

«Дорогая моя Сабина, я хочу, чтобы вы были счастливы, и прежде всего хочу, чтобы вы были счастливы так, как вы сами того желаете,— начал он.— В том положении, в котором мы с вами находимся, вместо того чтобы обманываться взаимно относительно наших характеров и склонностей, прикрывая их благородными уступками, будем тем, чем мы станем друг для друга

через несколько лет. Представьте себе, что я — ваш брат, а я буду видеть в вас сестру».

Хотя все это было сказано весьма деликатно, я не обнаружила в этом первом брачном спиче ничего, что бы могло ответить устремлениям моей души, и, ответив своему супругу, что и я горю теми же чувствами, я погрузилась в глубокую задумчивость. После этой декларации наших прав на взаимную холодность мы самым милым образом заговорили о погоде, о пыльных дорогах, о смене лошадей на почтовых станциях, о пейзаже, причем я смеялась чуть принужденно, а он был очень задумчив.

Наконец, когда мы проехали Версаль, я попросила Каллиста (я называю его «мой дорогой Каллист», а он зовет меня «моя дорогая Сабина») рассказать мне о тех событиях, которые чуть было не свели его в могилу и которым я обязана счастью быть его женой. Он довольно долго колебался. Таким образом мы слегка препирались на протяжении трех перегонов, и я старалась доказать супругу, что я особа настойчивая и умею дуться; а он раздумывал над тем же роковым вопросом, который, словно вызов, повторяли газеты, обращаясь к Карлу X: «Уступит король или нет?» Наконец, после того как в Вернее нам в четвертый раз сменили лошадей и после того как я дала клятвенное обещание, которое успокоило бы целых три королевских династии,— я торжественно заявила, что никогда не попрекну его прошлыми безумствами, не буду с ним холодна и т. д., и т. п.,— он начал повествование о своей любви к г-же де Рошфид.

«Я не хочу,— в заключение добавил он,— чтобы между нами были тайны».

Бедный мой Каллист, значит, он не подозревал, что его друг мадемуазель де Туш и вы, вы сами выдали мне тайну, ибо не одевают же девушку моих лет так, как вы одели меня в день подписания брачного контракта, не посвятив ее заранее в предназначенную ей роль. Такой любящей матери, как вы, можно и должно говорить все. Словом, я была сильно уязвлена, видя, что он повиновался не столько моему желанию, сколько своей потребности поговорить об этой неразделенной страсти. Неужели вы будете бранить меня, милая маменька, за

то, что я пожелала узнать, сколь глубока его печаль, не зарубцевалась ли та рана, о которой вы меня предупреждали? Итак, через восемь часов после того, как священник из церкви св. Фомы благословил вашу Сабину, я очутилась в положении в достаточной мере ложном. Представьте себе: молодая новобрачная из уст собственного супруга выслушивает признание в обманутой любви к другой, узнает о жестокосердии своей соперницы? Да, я пережила драму молодой жены, узнавшей, так сказать, официально, что своим замужеством она обязана тому, что некая пожилая блондинка отвергла ее мужа. Этот рассказ я повернула к своей выгоде, как мне того и хотелось! «Какой выгоде?» — спросите вы. Ах, милая маменька, я достаточно видела шаловливых амуров, догоняющих друг друга на каминных часах, и сумела применить урок на практике.

Каллист закончил поэму своих воспоминаний пламенными заверениями в том, что он полностью забыл свое, как он выразился, безумство. Каждое заверение должно быть скреплено подписью и печатью. Счастливый несчастливец взял мою руку, поднес к губам и долго затем держал ее в своих ладонях. А засим последовало второе признание. Оно показалось мне более уместным в нашем положении, чем первое, хотя уста наши не произнесли ни слова. Этим счастьем я обязана своему вдохновенному негодованию против дурного вкуса этой женщины, которая к тому же еще и глупа, раз она могла не любить моего прелестного, моего восхитительного Каллиста...

Зовут играть в карты. Я до сих пор еще никак не могу понять их любимую игру. Письмо окончу завтра. Расстаться с вами, чтобы сесть пятым партнером за мушку!.. Нет, это возможно только в глуши Бретани!»

«Май.

Принимаюсь за описание моей одиссеи. Третий день ваши дети посвятили на то, чтобы перейти от церемонного «вы» к сладостному «ты» любовников. Моя свекровь в восхищении, видя наше счастье; она пытается заменить мне вас, дорогая маменька, и, подобно всем, кто стремится вытеснить воспоминания о других, она просто очаровательна, ей почти удается быть для меня вто-

рой матерью. Думаю, что она с самого начала разгадала мое героическое поведение, ибо во время нашего путешествия она слишком пыталась скрыть свое беспокойство, и чем больше она старалась, тем очевиднее оно становилось.

Когда перед нами возникли башни Геранды, я шепнула на ухо мужу:

— Ты действительно забыл ее?

Мой муж, ставший моим ангелом, должно быть, еще не знал, как богата оттенками наивная и искренняя привязанность, ибо, услышав это слово, чуть не сошел с ума от радости. К несчастью, желание вытеснить из его сердца г-жу де Рошфид завело меня слишком далеко. Что вы хотите! Я люблю, и я почти португалка, ибо я больше похожа на вас, чем на отца. Каллист все принял от меня, как принимают балованные дети, ведь он прежде всего единственный сын. Признаюсь вам, если у меня будет дочь, я никогда не выдам ее за единственного сына. Уж если вообще трудно руководить тираном, то единственный сын — это тиран втройне. Итак, мы переменялись ролями, я веду себя, как преданная жена. Того, кто избрал оружием преданность, подстерегают опасности,— он теряет свое достоинство. Сим объявляю вам о крушении, которое потерпела эта пресловутая добродетель. Она не что иное, как ширма, которая нужна нашему самолюбию, а за ней мы вольны негодовать сколько угодно. Вы не осудите меня, маменька, вас здесь не было, я видела пред собой бездну. Если бы я упорствовала в ограждении своего достоинства, я познала бы холодное сочувствие, братскую привязанность, а она, само собой разумеется, превратилась бы в равнодушие. Какое будущее ждало бы меня тогда? Но моя покорность привела к тому, что я стала рабой Каллиста. Сумею ли я когда-либо изменить это положение? Увидим. А пока что оно мне по душе. Я люблю Каллиста, люблю его без всяких оговорок, безумной любовью матери, которая считает хорошим все, что бы ни делал ее сын, даже если он потихоньку и поколачивает ее».

«15 мая.

До сих пор, дорогая маменька, супружество оборачивается ко мне самой очаровательной своей стороной.

Я расточаю свою нежность прекраснейшему из мужчин; и подумать только, что нашлась такая дура, которая предпочла ему какого-то музыкантишку, ибо ясно, что она дура, и дура с рыбьей кровью, а это самый мерзкий род глупых женщин. Я жена, я милосердна в своей страсти, я исцеляю его раны, но мои раны будут гореть вечно. Да, чем больше я люблю Каллиста, тем сильнее чувствую, что умру от горя, если наше счастье кончится. Впрочем, здесь меня обожают и боготворят — и все семейство и все друзья, посещающие особняк дю Геников, словом, все эти милые люди, которые так похожи на персонажей, вытканных на здешних старинных гобеленах, что кажется, будто они сошли с этих ковров, украшающих стены, желая доказать, что невозможное возможно. Когда-нибудь на досуге я опишу вам тетушку Зефирину, мадемуазель де Пеноэль, кавалера дю Альга, барышень де Кергаруэт и прочих. Всех, включая двух здешних слуг — Мариотту и Гаслена, которых, надеюсь, мне разрешат взять с собой в Париж. Они смотрят на меня, как на ангела, спустившегося в их края прямо с небес, и до сих пор вздрагивают, когда я обращаюсь к ним. Словом, все здесь заслуживает быть выставленным в кунсткамере. Свекровь торжественно уступила нам покои, которые раньше занимали она и ее супруг. Произошла крайне трогательная сцена.

— Я прожила здесь всю свою счастливую женскую жизнь,— заявила она,— пусть это послужит для вас счастливым предзнаменованием, милые мои детки!

Сама она поселилась в комнате Каллиста. Это поистине святая женщина, она готова отказаться в нашу пользу от всего, включая и все реликвии ее незапятнанной супружеской жизни. Бретонская провинция, этот городок, это семейство, хранящее старинные нравы, все это, вопреки забавным черточкам, которые подмечаем только мы, парижские насмешницы, все, даже в мелочах, таит в себе нечто необъяснимое, величественное, что можно определить только словом «священный». Все арендаторы обширных владений дю Геников, владений, ныне выкупленных, как вы знаете, попечениями мадемуазель де Туш (ее мы обязательно навестим в монастыре), приходили приветствовать нас. Эти славные люди,

нарядившиеся в праздничные одежды, выразили неподдельную радость, узнав, что Каллист стал их настоящим хозяином, и благодаря им я поняла Бретань, феодальные нравы, старую Францию. Это был настоящий праздник; вряд ли я сумею вам его описать, лучше расскажу при встрече. Условия всех договоров были предложены самими крестьянами, мы подпишем их после осмотра наших земель, которые находились в залоге полтораста лет! Мадемуазель де Пеноэль сообщила нам, что фермеры показали свои доходы с правдивостью, которая покажется невероятной нашим парижанам. Через три дня мы отправляемся в путь и поедем верхами. По возвращении, дорогая маменька, напишу вам опять; но что я могу вам сказать, если уже сейчас счастье переполняет меня? Напишу вам лишь то, что вы уже знаете. то есть, как я люблю вас».

II

От Сабины дю Геник к герцогине де Гранлье.

«Нант, июль.

После того как я разыгрывала роль владелицы замка, обожаемой вассалами, как будто революции 1830 и 1789 годов не сломали древка феодального знамени; после скачек по лесу, после привалов на фермах, после обедов на пожелтевших от времени скатертях, за старинными столами, гнущимися под богатырскими кусками мяса и похлебками, поданными в допотопной посуде; испробовав тончайших вин из кубков, похожих на те, которыми орудуют у нас фокусники; после ружейных выстрелов во время десерта, почти оглохнув от бесконечных «Да здравствуют дю Геники!»; после балов, где весь оркестр заменяет одна-единственная волынка, в которую музыкант дудит по десять часов без передышки; после букетов; после новобрачных, которых мы, по их просьбе, собственноручно благословляли; после приятной усталости, которую прогоняет сон (раньше я и не подозревала, что можно так сладко спать); после радостных пробуждений, когда любовь светла, как само солнце, лучи которого затопляют наше ложе и несут с

собою полчища мух, жужжащих басом, по-бретонски; наконец, после забавного времяпрепровождения в замке дю Геников, где окна величиной с настоящие ворота, а в залах проросла такая густая трава, что там может пастись стадо коров (но мы поклялись все привести в порядок, чтобы каждое лето приезжать сюда под восторженные крики «молодцов» клана дю Геников, и один из них пусть держит наше фамильное знамя),— после всего этого я, слава господу, наконец, отдышалась в Нанте!..

Как описать наше прибытие в поместье Геник! Весь клир, разукрашенный цветами, явился, маменька, нас встретить, и священник, сияя от радости, благословил нас. У меня и сейчас на глазах наворачиваются слезы. А мой гордый Каллист в роли владетельного феодала напоминал героя Вальтера Скотта. Барон принимал знаки уважения с таким видом, словно мы живем в XIII веке. Я сама слышала, как девушки и женщины говорили: «Какой хорошенький у нас сеньор!» — словом, настоящий хор из комической оперы.

Старики затеяли спор, похож ли Каллист на какого-то древнего дю Геника. О благородная и возвышенная Бретань, край веры и благочестия! Но прогресс все-таки подстерегает ее на каждом углу. Здесь строят мосты, прокладывают дороги; а там и новые веяния проникнут сюда, и тогда — прощай, возвышенная Бретань! Крестьяне все равно никогда не будут такими счастливыми и гордыми, как в день встречи с нами, сколько им ни доказывай, что они ровня Каллисту,— если только они вообще захотят этому поверить. После этой поэмы мирной реставрации и после подписания контрактов мы покинули этот восхитительный край, то цветущий и веселый, то мрачный и пустынный, и прибыли сюда, в Нант, дабы преклонить колени перед той, которой мы обязаны своим счастьем. Мы с Каллистом оба испытывали потребность поблагодарить послушницу из монастыря Благовещения. В честь ее Каллист прибавил к своему гербу часть герба де Тушей: он трехчастный, зелено-золотой, одного из серебряных орлов муж взял в качестве щитодержателя и вложил ему в клюв очаровательный, чисто женский девиз: «Помните!» Итак, вче-

ра мы посетили монастырь, куда нас свел аббат Гримон, старинный друг дю Геников, и он сказал нам, маменька, что ваша любимица Фелисите — настоящая святая; впрочем, было бы удивительно, если бы он называл ее иначе: благодаря этому прогремевшему обращению заблудшей овцы аббат получил должность главного викария. Мадемуазель де Туш не пожелала принять Каллиста, и видела ее только я. По-моему, она немного изменилась, похудела, побледнела; кажется, мое посещение обрадовало ее.

— Скажи Каллисту,— начала она совсем тихо,— что хотя мне разрешили его видеть, я не пожелала нарушить обета послушания и идти против совести; я не хочу платить за несколько минут счастья долгими месяцами муки. Ах, если бы ты знала, как больно мне отвечать на вопрос: «О чем вы думаете?» Игуменья не может понять всей широты и бескрайности моих мыслей, которые, как вихрь, проносятся в мозгу. Временами я вновь вижу чудесные картины Италии или Парижа и вспоминаю о Каллисте: ведь он солнце всех моих воспоминаний,— добавила она с той очаровательной поэтичностью, которой вы не раз восхищались.— Я слишком стара, чтобы пойти в кармелитки, и я вступила в орден святого Франциска Сальского единственно из-за того, что он сказал: «Не ноги разую вам, а помыслы ваши очищу от скверны». Я отказалась, таким образом, от бичевания плоти. Ибо действительно мы грешим именно помыслами. Достойный старец, наш епископ, правильно назначил мне суровое послушание для ума и воли!.. Этого-то я и хотела; истинный виновник — моя голова: она обманывала мое сердце до рокового возраста — до сорока лет. Теперь я поняла, что, если сорокалетняя женщина бывает ненадолго в сорок раз счастливее молодой, зато потом она становится в пятьдесят раз несчастнее и... Ну, как, дитя мое, ты довольна?— спросила она меня, с явным удовольствием прекратив разговор о себе.

— Я в полном упоении любви и счастья! — ответила я.

— Каллист столь же добр и наивен, сколь благороден и прекрасен,— серьезно сказала она.— Я сделала тебя своей наследницей, я отдала тебе не только мое со-

стояние, но и тот двойной идеал, о котором я мечтала... Я сама готова хвалить себя за то, что я сделала,— продолжала она, помолчав немного.— Только не заблуждайся. Вам легко досталось счастье, вы только протянули руки, и оно стало вашим, но подумай теперь о том, как его сохранить. Если даже ты приехала сюда только затем, чтобы получить советы, подсказываемые моей опытностью, то ты уже вполне вознаграждена за это путешествие. Сейчас Каллист отзывается на твою страстную любовь, но сам не испытывает ее. Только когда ты добьешься и этого, моя крошка, твое блаженство будет прочным. В интересах вас обоих постарайся быть капризной, кокетливой, неуступчивой; так нужно. Я отнюдь не советую тебе прибегать к гнусным расчетам, тирании, я говорю об уме. Между ростовщичеством и расточительностью, дитя, лежит разумная экономия. Попытайся честно взять власть над Каллистом. Это последние светские слова, которые я произношу, я хранила их для тебя, ибо совесть моя была неспокойна — я ведь принесла тебя в жертву, чтобы спасти Каллиста; привяжи его хорошенько к себе, пусть у вас будут дети, пусть он уважает в тебе мать своих детей... И, наконец,— добавила она взволнованным голосом,— постарайся устроить так, чтобы он никогда не увидел больше Беатрису.

При этом имени мы обе с Фелисите оцепенели и стояли, глядя друг другу в глаза, терзаемые смутной тревогой.

— Вы собираетесь вернуться в Геранду? — спросила она меня.

— Собираемся,— ответила я.

— Так вот, никогда не ездите в Туш... Я очень сожалею, что отдала вам это имение.

— Почему же?

— Дитя! Ведь Туш для тебя — запретная комната Синей Бороды: нет ничего опаснее, чем разбудить уснувшую страсть.

Понятно, маменька, я передаю вам только самый смысл нашего разговора. Если мадемуазель де Туш заставила меня о многом сказать, то еще сильнее она побудила меня думать,— а ведь я, упиваясь путешествием и моими чарами над Каллистом, совсем забыла о том

серьезном нравственном осложнении, о котором я писала вам в первом моем письме.

После того как мы осмотрели Нант, великолепный и очаровательный город, и полюбовались Бретонской площадью, где сложил свою голову Шарет, мы решили возвратиться в Сен-Назер по Луаре, поскольку мы уж совершили сухопутное путешествие из Геранды в Нант. Право же, пароход не идет ни в какое сравнение с почтовой каретой. Путешествие на глазах публики — изобретение современного чудовища, именуемого Монополией. Две молоденькие нантские дамочки, надо сказать, довольно хорошенькие, бог знает что вытворяли на палубе, охваченные тем, что я называю «кергаруэтизмом»,— впрочем, эту шутку вы поймете, только когда я опишу вам при встрече семейство Кергаруэт. Каллист вел себя очень хорошо. Как истый джентльмен, он был благородно сдержан со мной. Хотя я гордилась его хорошими манерами, как ребенок радуется подаренному ему первому барабану, я решила, что настал великолепный случай применить систему, порекомендованную мне Камиллом Мопеном,— ибо не послушница, а именно Камилл Мопен давала мне в ту минуту советы. Я надулась, и Каллист страшно мило огорчился по этому поводу. Он шепнул мне на ухо: «Что с тобой?» И на этот вопрос я ответила чистую правду:

— Ничего!

И тут я поняла, как трудно добиться успеха с помощью правды. Ложь — незаменимое оружие в том случае, когда только быстрота действий может спасти женщину или империю. Каллист стал очень настаивать, очень беспокоиться. Я повела его на нос корабля, где лежала груда канатов, и там голосом, полным тревоги, если не слез, я объяснила ему, какие муки, какие страхи должна переживать женщина, если ее супруг самый красивый на свете мужчина...

— Ах, Каллист,— воскликнула я,— в нашем браке есть для меня одна темная сторона: вы не любили меня, не вы меня выбрали! Вы не окаменели, как статуя, увидев меня в первый раз. Это я сама, мое сердце, моя привязанность, моя нежность вызвали в вас ответное чувство, и вы рано или поздно накажете меня за то, что я отдала вам сокровище моей чистой, моей беззавет-

ной любви, любви юной девушки!.. Мне следовало быть с вами нехорошей, кокетливой, а я бессильна против вас... Если бы та ужасная женщина, которая пренебрегла вами, находилась здесь, на моем месте, вы, конечно, не заметили бы этих двух отвратительных бретонок, которых, поверьте мне, парижская таможня пропустила бы в столицу только в стаде коров...

У Каллиста, маменька, на глазах выступили слезы, и он отвернулся, чтобы скрыть их от меня,— он заметил, что мы уже подплывали к Нижней Эндре, и побежал сказать капитану, что мы здесь будем сходить. Слезы красноречивее всякого ответа, особенно, когда вы проводите целых три часа в убогой эндрской харчевне, завтракаете свежей рыбой в крошечной комнатке, совсем такой, какие рисуют наши жанристы, а под окнами расстилается широкая гладь Луары, и на другом берегу грохочут эндрские кузницы. Видя, как удачно обернулись опыты Опытности, я воскликнула:

— Ах, какое чудо!

Я имела в виду Фелисите, а так как Каллист ничего не мог подозревать ни о советах монахини, ни о моем коварном поведении, он прервал меня великолепным каламбуром:

— Сохрани же это чудо в памяти! Мы пошлем сюда художника, пусть он напишет нам этот пейзаж.

Ах, маменька, я стала хохотать, как сумасшедшая, и хохотала до тех пор, пока Каллист не обиделся и чуть было не рассердился на меня.

— Этот пейзаж, эта сцена и так запечатлятся в моем сердце,— ответила я,— и время никогда не изгладит их неповторимые краски!

Маменька, я просто не в силах прибегать к военным хитростям в любви. Каллист может делать со мной все, что захочет. Он впервые пролил слезы из-за меня — разве это не стоит вторичной декларации наших женских прав? Бессердечная женщина сумела бы стать владычицей и хозяйкой после сцены на пароходе, а я, я потеряла все.

Чем больше я становлюсь женщиной, тем более становлюсь «податливой» в вашем смысле слова, ибо я непростительно малодушна перед лицом своего счастья, я не могу устоять против одного-единственного

взгляда моего повелителя. Нет, я не отдаюсь свободно своей любви, я ухватилась за нее, как мать, прижимающая к груди свое дитя в предчувствии какого-то несчастья»

III

От Сабины дю Геник герцогине Гранлье.

«Июль. Геранда.

Ах, добрая маменька! Узнать через три месяца муки ревности! Мое сердце переполнено, в нем живет и глубокая ненависть и глубокая любовь! Мне больше чем изменили, меня разлюбили! Как я счастлива, что у меня есть мать, любящее сердце, с которым я могу наплакаться вволю... Нам, женщинам,— я имею в виду молодых, только что вышедших из девичества,— нам достаточно сказать: «Среди связки ключей, отпирающих двери всех покоев вашего замка, есть заржавленный ключик воспоминаний, можете входить повсюду, наслаждаться всем, но поостерегайтесь заглянуть в Туш!..» — и мы стремимся именно туда, куда нам запрещено, бежим, не чуя под собой ног, с горящими глазами, гонимые извечным любопытством Евы. Зачем так неосторожно раздразнила мою любовь мадемуазель де Туш? Почему именно мне заказано бывать в Туше? Что такое мое счастье, если оно зависит от прогулки, от посещения какой-то бретонской дыры? И чего мне бояться? Добавьте, наконец, ко всем этим доводам г-жи Синей Бороды желание, которое гложет каждую женщину,— узнать, преходяще или незыблемо ее могущество, и вы поймете, почему в один прекрасный день я спросила с самым равнодушным видом:

— А что это такое — Туш?

— Туш теперь принадлежит вам,— ответила мне моя милейшая свекровь.

— Ах, если бы Каллист никогда не ступал ногой в Туш! — вскричала моя тетушка Зефирина, покачивая головой.

— Тогда бы он не стал моим мужем,— ответила я ей.

— Значит, вы знаете, что там произошло? — деликатно осведомилась моя свекровь.

— Это пагубное место,— вмешалась в разговор мадемуазель де Пеноэль,— мадемуазель де Туш немало там нагрешила, но сейчас она вымаливает у бога прощение.

— Ну что ж, эта благородная девица спасет свою душу и обогатит монастырь! Вам этого мало? — вскричал кавалер дю Альга.— Аббат Гримон говорил мне, что она пожертвовала монастырю сто тысяч франков.

— Хотите побывать в Туше? — спросила меня свекровь.— Его стоит посмотреть.

— Нет, нет! — быстро ответила я.

Разве эта коротенькая сценка не кажется вам страницей из какой-то драмы, измышленной самим дьяволом? Она возобновлялась еще раз двадцать по самым различным поводам. Наконец свекровь сказала мне:

— Я понимаю, почему вы не хотите ехать в Туш, и вы правы.

О, согласитесь же со мной, маменька, что этот удар кинжала, впрочем нанесенный совершенно неумышленно, заставил бы даже вас удостовериться, наконец, действительно ли ваша любовь покоится на столь шаткой основе, что может рухнуть от первого дуновения ветерка. Надо отдать справедливость Каллисту, он никогда не предлагал мне посетить эту обитель, ставшую отныне его собственностью. Поистине, когда мы любим, мы лишаемся всякого соображения; ибо это молчание, эта осторожность меня больно задели, и в один прекрасный день я заявила Каллисту:

— Что тебя так пугает в Туше? Ведь только ты один никогда о нем не говоришь. Почему ты не хочешь побывать там?

— Что ж, поедем,— ответил он.

Итак, я попалась в ловушку, потому что хотела в нее попасться, как и все женщины, которые, мучась нерешительностью, представляют случаю разрубить гордиев узел. И мы отправились в Туш.

Это очаровательное место, здесь все исполнено художественного вкуса, и мне очень понравилась эта бездна, к которой мадемуазель де Туш запретила мне приближаться! Все ядовитые цветы манят, сам сатана сеет их,— ведь есть цветы дьявола и цветы божьи! И достаточно нам заглянуть в самих себя, чтобы убедиться,

что дьявол и бог сотворили мир исполу. Какое жгучее наслаждение испытывала я, играя не с огнем даже, а с пеплом!.. Я наблюдала за Каллистом, мне хотелось знать, окончательно ли все потухло, и, поверьте, я зорко следила, чтобы не подул внезапный ветер! Я наблюдала за выражением лица Каллиста, переходя вместе с ним из комнаты в комнату, рассматривая одну вещь за другой,— так ищет дитя спрятанный от него предмет. Каллист, казалось мне, был задумчив, но сначала я решила, что победа на моей стороне. Я почувствовала себя настолько сильной, что сама заговорила о г-же де Рошфид, которую, кстати, со времени приключения на скале, когда она расшиблась и оцарапала себе лицо, зовут г-жа Рожефид. Под конец мы отправились посмотреть на знаменитый куст, за который зацепилась Беатриса, когда Каллист хотел сбросить ее в море, чтобы она никому не досталась.

— Должно быть, она была чересчур легковесна, раз ее мог удержать такой кустик,— заявила я смеясь.

Каллист хранил молчание.

— Отдадим мертвым дань уважения,— закончила я свою речь.

Каллист по-прежнему молчал.

— Ты недоволен моими словами?

— Нет, но зачем без конца оживлять эту страсть? — ответил он.

Ужасные слова!.. Каллист, видя, что я загрустила, стал еще внимательнее, еще нежнее ко мне».

«Август.

Я была, увы! на дне бездны и забавлялась, подобно простушкам из мелодрам, собирая там цветы. Вдруг ужасная тень омрачила мое счастье, как будто проскакал призрак на черном коне, как в немецких балладах. Я поняла, что любовь Каллиста возросла от этих воспоминаний, что он перенес на меня бурные чувства, которые я оживила, напомнив ему кокетство этой ужасной Беатрисы. И эта нездоровая и холодная натура, настойчивая и податливая, смесь моллюска с кораллом, еще смеет называться Беатрисой!.. И вот, дорогая маменька, я вынуждена подозрительными глазами следить за Каллистом, хотя ему принадлежит все мое сердце. А ведь это величайшая из катастроф, когда гла-

за берут верх над сердцем, когда подозрения оправдываются. И вот как это случилось.

— Место это дорого мне,— сказала я наутро Каллисту,— ибо ему я обязана своим счастьем, и я прощаю тебе, что ты иногда принимаешь меня за другую...

Мой честный бретонец покраснел, я бросилась ему на шею, но я уехала из Туша и никогда туда не возвращусь.

По силе ненависти, которая заставляет меня желать смерти г-же де Рошфид (о бог мой, ну, конечно, какое-нибудь воспаление легких, какой-нибудь несчастный случай!), по силе этой ненависти, повторяю, я узнала силу безграничной своей любви к Каллисту. Эта женщина смущает мой сон, я вижу ее в ночных кошмарах! Встречу ли я ее в жизни? Ах, как права послушница из монастыря Благовещения: Туш — роковое место! У Каллиста возродились былые чувства, и они сильнее, чем радости нашей любви. Узнайте, пожалуйста, маменька, в Париже г-жа де Рошфид или нет; если она там, я останусь в наших бретонских поместьях. Бедная мадемуазель де Туш, которая раскаивается теперь, что в день подписания контракта меня, по ее настоянию, нарядили «под Беатрису»! Что скажет она, узнав, до какой степени я одержима мыслями о нашей общей мерзкой сопернице! Но ведь это осквернение любви! Я уже более не я, мне стыдно! Меня охватывает сильнейшее желание бежать из Геранды и от песков Круазика».

«25 августа.

Итак, решено — мы возвращаемся в развалины Геников. Каллист, которого в достаточной мере обеспокоило мое беспокойство, увозит меня. Или он слишком мало знает свет, раз он ни о чем не догадывается, или, если он знает причину моего бегства, он не любит меня. Я дрожу, я ужасаюсь при мысли, что моя догадка перейдет в уверенность, и поэтому я, как ребенок, закрываю руками глаза, чтобы не услышать звук выстрела. Ах, маменька, я чувствую, что Каллист не любит меня той любовью, которая живет в моем сердце! Он очарователен, это так; но какой мужчина, если только он не просто чудовище, не будет, подобно Каллисту, лю-

безным и милым, когда ему отданы в дар все цветы, распустившиеся в душе двадцатилетней девушки, воспитанной вами, чистой, как я, и которая, по уверению многих дам, хороша собою».

«Поместье Геник, 18 сентября.

Забыл ли он ее? Эта мысль завладела всем моим существом, звучит как упрек в моей душе! Ах, дорогая маменька, неужели же всем женщинам приходится сражаться против воспоминаний? На чистых девушках должны жениться только чистые, невинные юноши! Но это наивная утопия; лучше уж иметь соперницу в прошлом, чем в настоящем. Пожалейте меня, маменька, хотя сейчас я счастлива, как может быть счастлива женщина, которая боится потерять свое счастье и цепляется за него!.. Так можно убить счастье, говорит наша глубокомысленная Клотильда.

Я заметила, что в последние пять месяцев я думаю только о себе, то есть о Каллисте. Передайте сестрице Клотильде, что временами я проникаюсь ее печальной мудростью; она счастлива тем, что хранит верность мертвецу, ей нечего бояться соперницы. Нежно целую мою милую Атенаис, я вижу, что Жюст без ума от нее. Из вашего последнего письма я поняла, что он стал бояться, как бы Атенаис не выдали за другого. Взращивайте эту боязнь, как редкостный цветок. Атенаис будет госпожой, а я, трепетавшая от страха, что не получу Каллиста, стала его рабой. Нежно целую вас, милая маменька. Ах! если все мои страхи не напрасны, Камилл Мопен дорогой ценой продала мне свое сокровище... Передайте папеньке мой сердечный привет».

Эти письма как нельзя лучше раскрывают тайну отношений жены и мужа. Для Сабины их брак был браком по любви, а Каллист подчинился требованиям света. Вместе с тем радости медового месяца взяли свое. Во время пребывания молодых супругов в Бретани знаменитый архитектор Грендо, под неусыпным наблю-

дением Клотильды, герцогини и герцога де Гранлье, самолично руководил работами по восстановлению и убранству парижского особняка дю Геников. Общими усилиями все было подготовлено, и в декабре 1838 года молодая чета возвратилась в Париж. Сабина с удовольствием поселилась на улице Бурбон, ей даже не столько нравилась роль хозяйки дома, сколько хотелось увидеть, каким покажется их брак ее близким. Каллист в качестве равнодушного, разочарованного красавца охотно предоставлял своей теще и свояченице Клотильде вывозить его в свет, а те были признательны за такое послушание. Он занял в обществе заметное положение, в полном соответствии со своим именем, состоянием и связями. Успехи Сабины, которая считалась одной из первых парижских красавиц, светские развлечения и светские обязанности, все те утехи, на которые так щедр зимний сезон в Париже, укрепили их семейное счастье, ибо и возбуждали чувство и давали ему роздых. Сабина, видя, что мать и сестра радуются ее счастью, а холодность Каллиста приписывают просто его английскому воспитанию, оставила свои мрачные мысли: она знала, что ей завидуют десятки молодых женщин, неудачно вышедших замуж, и прогнала все свои страхи в страну химер. Наконец беременность Сабины добавила к гарантиям, даваемым бездетным бракам — этим полусоюзам,— новую гарантию, которую очень рекомендуют опытные женщины. В октябре 1839 года молодая баронесса дю Геник разрешилась от бремени сыном и настояла на том, чтобы самой его кормить. Это было безумие по мнению большинства дам! Но настоящая женщина хочет быть матерью во всей полноте, особенно когда ребенок рождается от боготворимого мужа. К концу следующего лета, в августе 1840 года, Сабина собиралась отнять от груди своего первенца. За время двухлетнего пребывания в Париже Каллист окончательно освободился от той наивности, которая украшала его первые шаги в мире чувств. Он сдружился с молодым герцогом Жоржем де Мофриньезом, который тоже недавно женился на богатой наследнице, Берте де Сен-Синь, с виконтом Савиньеном де Портандюэром, с герцогом и герцогиней де Реторе, с герцогом и герцогиней де Ленонкур-Шолье, со всеми завсегдатаями салона его

тещи, и тут только он понял, насколько провинциальная жизнь отлична от жизни парижской. Богатство приносит с собой часы злополучной праздности, и никакая столица в мире не умеет лучше Парижа позабавить вас, очаровать и рассеять. От длительного общения с молодыми мужьями, которые преспокойно покидают самое благородное, самое прекрасное создание ради сигары и партии в вист, ради удовольствия клубной беседы или ради волнений скачек, семейные добродетели молодого бретонского дворянина сильно потускнели. Чисто материнское желание женщины не докучать и не стеснять ни в чем своего мужа всегда способствует рассеянному образу жизни юных супругов. А женщина так гордится, когда муж, которому она предоставляет полную свободу, возвращается именно к ней!..

В октябре того же года, чтобы спастись от криков только что отнятого от груди ребенка, Каллист, по совету Сабины, которая не могла без боли видеть нахмуренное чело своего супруга, отправился в театр Варьете, где как раз давали новую пьесу.

Лакею поручили достать место в партере, и он купил кресло в той части зала, что зовется авансценой. В первом же антракте, оглядывая зал, Каллист заметил в одной из двух нижних лож авансцены, в четырех шагах от себя, г-жу де Рошфид. Беатриса в Париже! Беатриса в обществе! Эти две мысли, как две отточенные стрелы, пронзили сердце Каллиста. Увидеть ее вновь через три года! Как передать смятение, охватившее душу влюбленного, который не только не забыл Беатрисы, но десятки раз сливал ее образ с женой, так что сама жена наконец заметила это! Кто поймет, каким образом поэма оборвавшейся, непризнанной, но не угасшей любви сделала пресным супружеское счастье и неиссякаемую нежность молодой жены? Беатриса была светом, солнцем, движением, самой жизнью, чем-то неизведанным; а Сабина — это повинность, сумерки, нечто заранее известное. Одна — наслаждение, другая — скука. Неожиданная встреча была ударом молнии.

Исполненный честности, муж Сабины возымел благородное намерение покинуть театр. Он вышел из зала, но увидел полуоткрытую дверь ложи, и ноги сами понес-

ли его туда, наперекор рассудку. Беатриса сидела в ложе с двумя знаменитостями — Каналисом и Натаном, так сказать, между политикой и литературой. За те три года, что Каллист не видел г-жу де Рошфид, она до странности изменилась, и метаморфоза была не в ее пользу. Но она показалась Каллисту по-прежнему поэтичной и притягательной. Хорошенькие парижанки до тридцатилетнего возраста носят свои туалеты просто как одежду, но, перейдя роковой порог четвертого десятка, они хватаются за тряпки, как за оружие, как за средство соблазна, они стараются восполнить увядающую красоту, создают ее искусственно, умело пользуются ею, и вот что отныне определяет их нрав! С помощью нарядов они возвращают себе молодость, изучая до тонкости каждую мелочь женского туалета,— словом, они переходят от природы к искусству. Г-жа де Рошфид испытала все перипетии драмы, которая в этой истории французских нравов девятнадцатого века носит название «Покинутая женщина». Конти первый оставил ее, и не удивительно, что она стала великим мастером по части туалета, кокетства и всех видов мишуры.

— Как! Конти здесь нет? — шепнул Каллист на ухо Каналису, после того как сидящие в ложе обменялись с ним банальными приветствиями, которыми начинаются самые торжественные встречи в общественных местах.

Бывший великий поэт Сен-Жерменского предместья два раза побывал министром и ныне, в четвертый раз став депутатом, возлагал надежды на свое ораторское искусство, чтобы снова стать членом кабинета министров. Он многозначительно приложил палец к губам. Этот жест объяснял все.

— Как я рада, что встретилась с вами,— вкрадчиво сказала Беатриса Каллисту.— Я увидела вас прежде, чем вы заметили меня, и сразу подумала, что вы не отречетесь от меня. Ах, Каллист, зачем вы женились, да еще на какой-то дурочке! — шепнула она ему на ухо.

Когда дама шепчет что-то вошедшему к ней в ложу кавалеру и усаживает его подле себя, остальные мужчины, если только они люди светские, всегда найдут предлог удалиться.

— Идемте, Натан! — сказал Каналис.— Маркиза, надеюсь, позволит нам оставить ее ненадолго, мне нужно поговорить с д'Артезом, вот он в ложе княгини де Кадиньян. Мы должны условиться с ним относительно выступления в палате на завтрашнем заседании.

Этот поступок весьма хорошего тона позволил Каллисту прийти в себя от потрясения, испытанного при виде Беатрисы; однако он снова терял разум и силы, вдыхая очаровательный, но ядовитый аромат поэзии, которым окружила себя маркиза. За время их разлуки г-жа де Рошфид сделалась костлявой и жилистой, цвет лица ее испортился, она похудела, поблекла, глаза ее потухли; но в тот вечер она расцветила свои преждевременные мощи, прибегнув к изобретениям парижской моды. Подобно всем покинутым дамам, она почему-то находила, что ей больше всего пристало изображать из себя юную девицу; поэтому Беатриса оделась во все белое и напоминала оссиановских дев, которых столь поэтически изображал Жироде. Свои белокурые волосы она причесала на английский манер; на пышных локонах, окаймлявших ее продолговатое лицо и блестевших от душистой помады, заманчиво играли огни рампы. На бледный лоб падали отблески света. Щеки Беатриса чуть подкрасила, и румяна придавали обманчивую свежесть ее бесцветному, белому лицу, промытому миндальными отрубями. Шелковый шарф такой прозрачности, что казалось, он сделан без вмешательства человеческих рук, она обмотала вокруг шеи, надеясь скрыть ее длину, и слегка приоткрыла взорам прелести, ловко поддерживаемые корсетом. Талия Беатрисы была верхом мастерства. Что сказать о ее позе? Немало часов потратила маркиза, чтобы найти этот поворот головы, этот изгиб туловища. Худые, костлявые руки едва виднелись из-под широких рукавов с пышными манжетами; Беатриса являла собой смесь фальшивого блеска и переливчатых шелков, воздушного тюля и взбитых локонов, живости, спокойствия и резвости — словом, в ней было то, что называется «изюминкой». Все понимают, что значит эта никому не понятная «изюминка»: бездна ума, бездна вкуса и еще больше темперамента! Беатриса представляла собой как бы пьесу с пышными

декорациями, с частыми сменами картин и прекрасно поставленную. Подобные феерии, оживляемые легким диалогом, сводят с ума чистых, простодушных людей, так как, по закону противоположности, их страстно влечет эта игра искусственных огней. Пусть это фальшиво, зато увлекательно, пусть надуманно, зато приятно; и многие мужчины обожают женщин, которые играют в соблазны, как другие играют в карты. И вот почему. Желание побуждает мужчину строить некий силлогизм: по внешнему очарованию заключать о скрытой силе страсти. Мы говорим себе: «Женщина, которая умеет сделать себя такой прекрасной, без сомнения, должна быть непревзойденной и в науке страсти». И это справедливо. Женщины покинутые просто любят, женщины, сохраняющие свою власть над мужчиной, умеют любить. Урок, преподанный итальянцем, был достаточно жестоким для самолюбия Беатрисы, но она принадлежала к натурам, так сказать, натурально искусственным и сумела воспользоваться своим печальным опытом.

— Дело не в том, чтобы любить вас, мужчин,— говорила она за несколько минут до того, как Каллист вошел в ложу,— вас надо мучить, пока вы в наших руках. Вот секрет удержать мужчину. Ведь недаром драконов, хранителей сокровищ, изображают с когтями и крыльями!

— Ваши слова можно переложить в сонет,— сказал Каналис как раз в тот момент, когда на пороге появился Каллист.

С первого же взгляда Беатриса разгадала состояние Каллиста, поняла, что ошейник, который она некогда надела на кавалера дю Геника в Туше, оставил незаживающие, глубокие следы. Слова маркизы о его женитьбе задели Каллиста, оскорбили в нем достоинство мужа; он не знал, выступить ли ему в защиту Сабины, не ранит ли он суровым словом сердце женщины, о которой он хранил столько сладких воспоминаний, сердце, которое, как он верил, еще кровоточит. Маркиза подметила его колебание; она произнесла эту фразу с умыслом, желая проверить свою власть над Каллистом, и, убедившись, что он безоружен перед ней, сама пришла ему на помощь.

— Итак, друг мой, как видите, я одна,— сказала она, когда два парижских льва вышли из ложи,— да, да, одна на свете!

— Одна? Вы, значит, забыли обо мне? — сказал Каллист.

— О вас? — ответила Беатриса.— Но ведь вы женились. Признаюсь, что, когда до меня дошла весть об этом, я пережила одну из самых тяжелых минут в жизни. Значит, подумалось мне, я потеряла не только любовь, но и дружбу, а я-то думала, что это крепкая бретонская дружба. Впрочем, человек ко всему привыкает. Сейчас я уже не так сильно страдаю, но я вся разбита. Сегодня в первый раз после долгого времени вновь расцвело мое сердце. Я обязана быть гордой перед лицом равнодушных, дерзкой с теми, кто пытается ухаживать за мной, хотя в их глазах я пала, и к тому же я потеряла несравненную мою Фелисите; у меня нет никого, кому я могла бы шепнуть: «Как я страдаю!» Представьте же, какую муку я испытала, увидя, что вы рядом и не узнаете меня, и вы поймете, как я рада, что вы сейчас здесь, со мной... Да,— продолжала она в ответ на горящий взгляд Каллиста,— это верность, верность! Таковы мы, несчастные! Какой-нибудь пустяк — простой визит — для нас все. Ах, вы любили меня! Вы любили меня так, как должен был бы любить меня тот, кто растоптал сокровища моей души. И на мое несчастье, я не могу вас забыть, я люблю, и я хочу сохранить верность прошлому, которое никогда не вернется.

Проговорив залпом эту уже сотни раз импровизированную тираду, Беатриса закатила глаза, чтобы еще больше усилить впечатление; казалось, слова вырывались из ее души необоримым, долго сдерживаемым потоком. Каллист промолчал, но из глаз его выкатились две слезы. Беатриса взяла его руку, пожала, и Каллист побледнел от этого прикосновения.

— Благодарю вас, Каллист, благодарю вас, доброе мое дитя! Именно так истинный друг отвечает на горе друга!.. Не нужно слов. Молчите! Уходите скорей, на нас глядят, ваша жена может огорчиться, если ей сообщат, что нас видели вместе, хотя встреча на глазах многочисленной публики — это так невинно! Прощайте. Как видите, я тверда духом.

Она утерла слезы и засмеялась, что в приемах женской риторики можно назвать антитезой в действии.

— Видите, я смеюсь, смеюсь горьким смехом всем шуткам равнодушных: пусть забавляют меня! — продолжала она.— Я встречаюсь с художниками, с писателями — словом, с людьми того сорта, с которыми познакомилась у нашей бедняжки Мопен. Быть может, она и права! Облагодетельствовать того, кого любишь, и исчезнуть со словами: «Я слишком стара для него!» — согласитесь же, что это мученический конец. И самый лучший исход для женщин, когда не можешь кончить свою жизнь в девичестве.

Тут Беатриса снова разразилась смехом, как бы желая развеять тяжелое впечатление, которое произвели на ее бывшего поклонника эти слова.

— Скажите,— спросил Каллист,— где и когда могу я вас видеть?

— Я скрылась от людей на улице Шартр, возле парка Монсо; живу я в маленьком домике, по моим скромным средствам, и забиваю себе голову литературой, впрочем, читаю я для развлечения. Да сохранит меня господь от судьбы наших умниц!.. Идите, бегите, оставьте меня, я не хочу привлекать внимания людей, а каждый, кто увидит нас, будет злословить. Уходите же, Каллист; если вы останетесь еще хоть минуту, я, право, заплачу.

Каллист вышел из ложи, пожав руку Беатрисы, и он вторично испытал глубокое, странное волнение от этого пожатия, отдавшегося трепетом во всем его теле.

«Боже мой, никогда Сабина не умела так взволновать меня!» — подумал он, выйдя в коридор.

В течение вечера маркиза де Рошфид не посмотрела открыто на Каллиста и трех раз, но она бросала исподтишка взгляды, которые разрывали сердце этому бретонцу, верному своей первой, отвергнутой любви.

Когда барон дю Геник вернулся домой и, при виде роскошной обстановки, вспомнил слова Беатрисы, что она стеснена в средствах, он вдруг почувствовал ненависть к своему богатству, которое не могло принадлежать этому падшему ангелу. Узнав, что Сабина уже давно легла спать, он безмерно обрадовался: перед ним долгая ночь; он сможет всецело отдаться своим пе-

реживаниям. Он клял проницательность, которую черпала Сабина в силе своей любви. Ведь случается иной раз, что жена боготворит мужа, и тогда его лицо для нее открытая книга: она изучила самую незаметную смену выражений на его лице, она знает, почему он спокоен, или умеет допытаться, откуда это облачко печали, набежавшее на его чело, и, поняв, что именно является тому причиной, зорко всматривается в глаза мужа; в них она читает самое важное: любима она или не любима. И Каллист, зная, что он является предметом глубокого, наивного и ревнивого обожания, не сомневался, что ему не удастся скрыть перемену, происшедшую в его чувствах.

«Что-то будет завтра утром?» — думал он, засыпая; он страшился испытующего взгляда Сабины.

Сабина имела обыкновение по нескольку раз на день спрашивать мужа: «Скажи, ты все еще любишь меня?» или: «Я не надоела тебе?» Очаровательные сомнения, которые выражаются по-разному в зависимости от характера и ума женщины и полны притворной или подлинной тревоги.

Нередко на поверхность души, даже наиболее чистой и благородной, всплывает тина, поднятая со дна ураганом. И Каллист на следующее утро, хотя и любил своего сына, задрожал от радости, узнав, что Сабина всю ночь не отходила от мальчика: у него появились судороги, предвещающие круп, и она не захотела покинуть ребенка. Под предлогом неотложных дел барон ушел из дома, даже не позавтракав. Он выскользнул из подъезда, как вырвавшийся на свободу узник, с удовольствием зашагал к мосту Людовика XVI, пересек Елисейские поля и, наконец, зашел в кафе, где с аппетитом позавтракал по-холостяцки. Итак, что же такое любовь? Быть может, человек стремится таким путем вырваться из-под ярма, налагаемого обществом? Или человеческая природа требует, чтобы течение жизни было стихийным, свободным,— пусть несется она бурным потоком, разбиваясь о скалы противоречий, коварства, женского притворства, а не течет мирной речкой среди двух берегов — мэрии и церкви. Вероятно, природа не без умысла накапливает лаву, которая, извергаясь, обогащает дух человека, а иной раз даже делает его вели-

ким. Трудно было найти юношу, получившего более строгое воспитание, чем Каллист; он вырос среди людей самых чистых нравов, его не коснулось веяние неверия; и все же Каллиста тянуло к недостойной женщине, тогда как милосердный, солнечный случай послал ему в лице Сабины девушку подлинно благородной красоты, наделенную тонким и изощренным умом, благочестивую, любящую, безгранично привязанную, обладающую ангельски кротким характером, смягченным к тому же любовью, любовью страстной, не охладевшей в замужестве, такой любовью, которую Каллист питал к Беатрисе. Быть может, характеры даже самых великих людей лепятся не без примеси глины,— ведь тянет же их к себе грязь! В таком случае нельзя упрекать женщину в несовершенстве, каковы бы ни были ее ошибки и сумасбродство. Но ведь г-жа де Рошфид, несмотря на свое падение, принадлежала к высшей знати: она казалась сотканной из эфира, а не слепленной из грязи, она умела под самой аристократической личиной надежно прятать в себе куртизанку, которой не прочь была стать. Таким образом, наше толкование не проливает достаточно света на поведение Каллиста. Быть может, следует искать причину его удивительной страсти в тщеславии, которое таится где-то так глубоко, что моралисты не замечают этой пружины человеческих пороков. Есть мужчины, которые, подобно Каллисту, исполнены благородства, которые так же прекрасны, как Каллист, богаты, изысканны, хорошо воспитаны, но для которых, возможно, даже помимо их сознания, становится скучным супружеский союз с женщиной во всем им подобной, с женщиной, чье благородство не удивляет уже потому, что они и сами наделены им, чья душевная чистота и деликатность, созвучные их моральным качествам, оставляют их спокойными; такие мужчины ищут утверждения своего превосходства у натур низменных или падших, а то и прямо вымаливают у них похвалы себе. Контраст моральной низости и их собственных добродетелей доставляет им приятное разнообразие, тешит их. Чистое так ярко блестит, рядом с нечистым! Каллисту нечего было прощать Сабине, безупречной Сабине, и все потерянные втуне силы его души трепетали только ради Беатрисы. Если даже вели-

кие люди зачастую разыгрывают на наших глазах роль Христа, поднявшего блудницу, почему же требовать от людей обыкновенных большего благоразумия?

Каллист едва дождался двух часов и все время подбадривал себя коротенькой фразой: «Я сейчас увижу ее!»,— звучащей как поэма, твердя которую влюбленный может незаметно промчаться семьсот лье!.. Быстрым шагом, почти бегом, он дошел до улицы Шартр и сразу узнал дом Беатрисы, хотя никогда не видел его раньше; он, зять герцога де Гранлье, он, богач, он, аристократ родом не ниже Бурбонов, как вкопанный остановился на первой ступени лестницы, услышав вопрос старого швейцара:

— Как прикажете доложить о вас, сударь?

Каллист понял, что он должен предоставить Беатрисе свободу действий, и в ожидании стал разглядывать сад, оштукатуренные стены особняка, испещренные неровными бурыми и желтыми полосами — следами парижских дождей.

Госпожа де Рошфид, подобно всем светским дамам, разрывающим супружеские узы, бежала из дома, оставив мужу все свое состояние. Она не желала протягивать руку за милостыней к своему тирану. Конти и мадемуазель де Туш избавляли маркизу от забот о материальной стороне жизни, да и мать Беатрисы время от времени высылала дочери кое-какие деньги. Оставшись одна, Беатриса вынуждена была жестоко экономить на всем, а это было нелегко для женщины, привыкшей к роскоши. Таким образом, она постепенно добралась до вершины холма, по склонам которого разбит парк Монсо, и поселилась в маленьком особняке, выстроенном некогда важным господином; особняк выходил окнами на улицу, но во дворе был прелестный садик, и все помещение сдавалось за тысячу восемьсот франков в год. В услужении у Беатрисы состояли старый слуга, горничная и кухарка, родом из Алансона, делившие с госпожой все невзгоды; то, что маркиза считала бедностью, для многих честолюбивых буржуазок было бы верхом роскоши. Каллист поднялся по навощенным ступеням на площадку, всю уставленную цветами. Старый слуга провел барона в комнаты, распахнув двухстворчатую дверь, обитую красным бархатом, выстеганным ром-

бами и с позолоченными гвоздиками. Шелком и бархатом были обиты и все комнаты, через которые прошел Каллист. Ковры строгих тонов, полуспущенные занавеси на окнах, портьеры — все это являло резкий контраст с убогим домиком, к тому ж содержавшимся небрежно.

Каллист поджидал Беатрису в гостиной, отделанной в темных тонах, где роскошь обстановки подчеркивалась простотой. Стены комнаты были обтянуты снизу бархатом гранатового цвета, а сверху — желтым матовым шелком; на полу лежал темно-красный ковер, окна походили на оранжереи, столько на них было цветов в жардиньерках, а занавеси пропускали такой слабый свет, что Каллист с трудом рассмотрел на камине две вазы старинного красного фарфора; между ними блестел серебряный кубок, который Беатриса вывезла из Италии,— чеканку его приписывали Бенвенуто Челлини. Золоченая мебель, обитая бархатом, великолепные консоли, на которых стояли часы причудливой формы, стол, накрытый персидской скатертью,— все говорило о былом изобилии, остатки которого умело выставлены напоказ. На низеньком столике Каллист заметил несколько драгоценных вещиц и открытую книгу, на которой лежал кинжал с усыпанной алмазами рукояткою — грозный символ критики; очевидно, Беатриса пользовалась этим кинжалом для разрезания страниц. Около десятка акварелей в богатых рамах свидетельствовали о великолепной дерзости маркизы, ибо все это были изображения спальных комнат в различных домах, куда заносила Беатрису ее бродячая жизнь.

Шуршание шелковых юбок возвестило о приходе несчастливицы. Она показалась на пороге гостиной в тщательно обдуманном туалете, при виде которого любой мужчина, сколько-нибудь наделенный хитростью, понял бы, что его ждали. Платье из серебристого атласа, скроенное наподобие пеньюара, позволяло видеть полоску белой груди; из широких откидных рукавов выходили волны тюля, собранного буфиками, складочками, и заканчивались у кистей рук кружевами. Прекрасные волосы, искусно заколотые гребнем, падали локонами из-под крохотного чепчика, украшенного кружевом и цветами.

— Уже! — произнесла Беатриса улыбаясь.— Самый пылкий любовник не мог бы так торопиться... Очевидно, вы хотите сообщить мне что-то важное, не так ли?

И г-жа де Рошфид уселась на кушетку, жестом пригласив Каллиста занять место с ней рядом. По случайности, должно быть, предумышленной (ибо женщины обладают двумя родами памяти — памятью ангелов и памятью демонов), Беатриса благоухала теми же духами, которыми душилась в Туше во время встреч с Каллистом. Прикосновение ее платья, этот аромат, эти глаза, которые в полутемной комнате, казалось, вбирали в себя весь свет, свели Каллиста с ума. Несчастный вдруг почувствовал себя во власти того безумия, которое чуть было не стоило жизни Беатрисе; но на сей раз маркиза сидела на краю кушетки, а не над океаном; она поднялась и дернула сонетку, приложив пальчик к губам. Увидев этот жест, призывавший к благоразумию, Каллист овладел собой; он понял, что Беатриса отнюдь не имеет воинственных замыслов.

— Антуан, никого не принимать, меня нет дома,— сказала она старому слуге.— Подложите в камин дров. Вот видите,— с достоинством продолжала она, когда старик удалился,— я считаю вас своим другом, так не обращайтесь же со мной, как с любовницей. Я хочу сказать вам две важные вещи. Во-первых, глупо постоянно спорить с чувствами любимого человека; а во-вторых, я не желаю больше принадлежать ни одному мужчине в мире; я верила, что я любима, что Конти — это Ридзио, не связанный никакими узами, совершенно свободный,— и вот видите, куда завело меня это роковое увлечение. Вы — другое дело, вы под охраной самого святого долга; у вас молодая, прелестная, любящая жена; наконец, у вас есть сын. Мне, да и вам, было бы непростительно это безумие...

— Дорогая моя Беатриса, все ваши доводы разрушит одно-единственное слово: я никогда никого, кроме вас, не любил, и меня женили вопреки моей воле.

— Да, мадемуазель де Туш сыграла с нами злую шутку,— сказала с улыбкой Беатриса.

В течение трех часов г-жа де Рошфид проповедовала Каллисту свои воззрения на супружество, предъявив ему страшный ультиматум — полностью отказаться от

Сабины. Какие возможны иные гарантии, восклицала маркиза, в том страшном положении, в которое ее поставила бы любовь Каллиста? Впрочем, жертву, которую должна была принести Сабина, маркиза считала сущим пустяком. Она прекрасно знает Сабину!

— Она, дорогое мое дитя, принадлежит к числу женщин, которые в замужестве все те же, что и в девичестве. Она — слишком Гранлье, смуглая, как ее матушка-португалка, чтобы не сказать оранжевая, и костлявая — вся в отца! По правде говоря, ваша жена никогда не пропадет, этот младенец прекрасно может обойтись без помочей. Бедный Каллист, да разве вам такая жена нужна?.. Верно,— у нее красивые глаза, но, бог мой, такие глаза встречаются на каждом шагу в Италии, в Испании, в Португалии! Не может быть женщина нежной при такой-то худобе! Не забывайте — Ева была блондинкой; брюнетки — дочери Адама, а блондинки — чада господни; сотворив мир, он воплотил в Еве свой самый сокровенный замысел.

В шесть часов Каллист в отчаянии взялся за шляпу.

— Да, иди, иди, бедный мой друг, не огорчай ее, ей будет так грустно обедать без тебя!..

Каллист остался. Он был еще очень молод, и было так легко управлять им, воздействуя на его слабости.

— Как, вы отважитесь пообедать со мной? — воскликнула с наигранным изумлением Беатриса.— Значит, моя скромная трапеза вас не пугает и вы, оказывается, настолько независимы, что можете доставить мне огромную радость этим маленьким знаком внимания!

— Позвольте мне только написать несколько слов Сабине,— попросил Каллист,— а то она будет ждать меня до девяти часов.

— Что ж, пишите. Садитесь сюда, к письменному столу,— ответила Беатриса.

Она собственноручно зажгла свечи и поставила одну на стол, чтобы прочесть то, что написал Каллист.

«Дорогая Сабина...»

— «Дорогая»! Значит, эта женщина вам все еще дорога? — произнесла она таким тоном, что Каллиста обдало ледяным холодом.— Идите, идите домой, обедайте с ней!

«Я пообедаю с приятелями в ресторане...»

— Ложь! Фи, вы недостойны того, чтобы вас любила я или даже Сабина!.. Как вы, мужчины, всегда трусливы с нами! Идите же, сударь, обедайте с вашей «дорогой Сабиной».

Каллист, побледнев как мертвец, откинулся на спинку кресла. Бретонцы от природы наделены храбростью, и именно она-то и заставляет их упорствовать в трудных положениях. Молодой барон выпрямился, положил локоть на стол, уперся подбородком на руку и взглянул сверкающим взглядом на неумолимую Беатрису. Он был так прекрасен, что любая женщина юга или севера упала бы перед ним на колени со словами: «Владей мной!» Но Беатриса, рожденная на границе Нормандии и Бретани, принадлежала к породе Катеранов,— позор пробудил в ней жестокость франков и злость нормандцев: она жаждала отомстить за свое унижение и вот почему не пленилась очарованием Каллиста.

— Продиктуйте, что я должен написать, я повинуюсь,— произнес несчастный юноша.— Но зато...

— Хорошо,—ответила она,—ибо теперь ты снова будешь любить меня так, как любил в Геранде. Пиши: «Обедаю в гостях, не ждите меня».

— А дальше? — спросил Каллист; он решил, что воспоследует продолжение.

— Все. Подпишитесь. Прекрасно,— добавила она, бросаясь, как коршун, на письмо; на лице ее горела сдержанная радость,— сейчас я отошлю письмо с посыльным.

— А теперь...—вскричал Каллист, подымаясь с места со счастливым видом.

— Надеюсь, я сохраняю за собой свободу действий,— возразила Беатриса. Она отошла и, остановившись между столом и камином, дернула сонетку.— Возьмите, Антуан, велите отнести записку по адресу. Барон обедает у меня.

Каллист вернулся домой около двух часов ночи. Прождав мужа до половины первого, Сабина легла, сломленная усталостью, и заснула; хотя ее больно поразил лаконизм записки Каллиста, она нашла ему объяснение!.. Истинная любовь женщины начинается тогда,

когда она научилась все объяснять в пользу любимого мужа.

«Он просто торопился»,— думала она.

На следующее утро мальчик почувствовал себя лучше, материнская тревога улеглась. Смеющаяся Сабина с маленьким Каллистом на руках появилась в столовой за несколько минут до завтрака, желая показать ребенка отцу. Она сама ребячилась, говорила нежные слова, короче, делала и говорила все то, что свойственно молодым счастливым матерям. Эта милая семейная сценка позволила Каллисту овладеть собой. Каллист был очарователен с женой, сознавая себя в душе чудовищем. Он и сам, как дитя, начал забавляться с маленьким кавалером дю Геником, и, пожалуй, забавлялся слишком уж долго. Он явно переигрывал, но Сабина еще не дошла до той степени недоверия, когда женщина сразу разбирается в таких неприметных тонкостях.

За завтраком Сабина спросила:

— А что ты делал вчера?

— Портандюэр уговорил меня у них пообедать,— ответил Каллист,— потом мы пошли в клуб, сыграли несколько партий в вист.

— Но ведь это неразумная жизнь, дорогой Каллист,— сказала Сабина.— Молодые дворяне должны сейчас думать о том, как вернуть себе в своей стране положение, которое потеряли их отцы. А вы курите сигары, играете в вист, глупеете от праздности, довольствуетесь тем, что высмеиваете какого-нибудь выскочку, а он гонит вас отовсюду, со всех позиций. Вы отгородились от простого народа, которому должны бы служить душой и разумом, играть для него роль провидения... И вы еще надеетесь уцелеть! Вместо того чтобы быть партией, вы станете говорунами, по выражению де Марсе. Ах, если бы ты только знал, как расширился горизонт моих мыслей, с тех пор как я вынянчила, выкормила твоего сына! Мне хочется теперь, чтобы древнее имя дю Геников прославило себя!

И вдруг, погрузив свой взор в глаза Каллиста, который слушал ее с задумчивым видом, Сабина спросила:

— Признайся же, что эта первая твоя записка ко мне немного суха.

— Но ведь я только в клубе догадался предупредить тебя...

— Однако ты написал на бумаге, принадлежащей женщине, от письма пахло духами.

— Разве ты не знаешь, какие чудаки эти директора клубов!..

Виконт де Портандюэр и его жена, очаровательная пара, стали близкими друзьями дю Геников и даже вместе с ними абонировали ложу в Итальянской опере. Молодые женщины — Урсула и Сабина — были связаны прелестной дружбой, возникающей между юными матерями: они советовались относительно воспитания детей, поверяли друг другу свои материнские заботы и невинные тайны. В то время как Каллист, еще новичок во лжи, думал: «Побегу к Савиньену, надо его предупредить»,— Сабина вспомнила: «На бумаге была корона, ведь не могло же мне показаться...» Эта мысль, как вспышка молнии, озарила ее сознание; Сабина упрекала себя, но все же решила отыскать письмо, которое накануне, в состоянии ужасной тревоги, небрежно швырнула в шкатулку с письмами.

После завтрака Каллист ушел из дома, сказав жене, что скоро вернется. Он сел в маленькую низкую карету, запряженную одной лошадью,— в ту пору такие экипажи начали, благодарение богу, вытеснять неудобные кабриолеты, в которых разъезжали наши деды. Через несколько минут он уже был на улице Сен-Пэр, у виконта, и упросил его оказать маленькую услугу — солгать Сабине, буде она спросит об их вчерашнем времяпрепровождении, и обещал в случае надобности отплатить тем же. Выйдя от Савиньена, он отправился на улицу Шартр, приказав кучеру гнать лошадей; ему не терпелось узнать, как провела Беатриса ночь. Счастливая несчастливица только что вышла из ванны, была свежа, прелестна и завтракала с большим аппетитом. Каллист восхищался грацией, с которой этот ангел кушал яйца всмятку, и был поражен золотой посудой — подарком одного лорда, любителя музыки: Конти сочинил для него несколько романсов; лорд-меломан издал эти романсы под своим именем на том основании, что он якобы подсказал композитору две — три мысли. Барон с удовольствием слушал забавные и игривые рассказы обо-

жаемой Беатрисы, которая считала своей священной обязанностью развлекать Каллиста и всякий раз гневалась и плакала, как только он собирался уходить. Каллист думал посидеть у маркизы минут двадцать, а вернулся домой в три часа. Его прекрасная английская лошадь, подарок виконтессы де Гранлье, вся взмокла, будто ее только что выкупали. Случай всегда подстерегает ревнивых жен. Сабина стояла у окна, выходящего во двор, нетерпеливо поджидая Каллиста, и беспокоилась, сама не зная почему. Увидев взмыленную лошадь, с губ которой падали клочья пены, она удивилась.

«Откуда это он?» — подумала Сабина.

Какая-то сила шепнула ей на ухо этот вопрос, и эта сила — не разум, не демон и не ангел,— эта сила все видит, все предчувствует, она открывает нам неведомое, благодаря ей мы начинаем верить в какие-то особые нравственные явления, возникающие в нашем мозгу и живущие в невидимой сфере идей.

— Откуда ты, дружок? — спросила Сабина, спустившись ему навстречу до половины лестницы.— Твой Абдэль-Кадер еле жив, ты обещал скоро вернуться, а я жду тебя целых три часа...

«Ну что же,— подумал Каллист, который уже сделал немалые успехи в искусстве притворства,— надо выходить из положения; преподнесем ей какой-нибудь подарок».

— Дорогая моя Сабина, милая наша кормилица,— сказал он жене, беря ее за талию с несвойственной ему нежностью, ибо он чувствовал себя виноватым,— я вижу теперь, что нельзя иметь тайну, как бы ни была она невинна, от любящей жены...

— Но кто же поверяет свои тайны на лестнице? — смеясь, прервала его Сабина.— Пойдем наверх.

Посреди гостиной, которая сообщалась со спальней, висело зеркало, и в нем Сабина увидела лицо Каллиста: не зная, что за ним наблюдает пара внимательных глаз, он шел с усталым, неулыбающимся лицом, выдавшим жене его подлинные чувства.

— Что же это за тайна?..— спросила Сабина, оборачиваясь.

— Ты героически выкормила моего сына, будущий наследник дю Геников сделался мне еще дороже, и по-

этому мне захотелось сделать тебе сюрприз,— видишь, я точно какой-нибудь буржуа с улицы Сен-Дени. Скоро у тебя будет новый туалетный столик, над ним работают лучшие мастера своего дела; матушка и тетя Зефирина принимают участие в моем подарке.

Сабина обняла Каллиста, прижала его к сердцу и положила головку ему на плечо, слабея под бременем счастья,— конечно, не из-за нового туалета, а потому, что рассеялось первое ее подозрение. Это был один из тех великолепных, памятных каждой любящей душе порывов, которые редки даже при самой безмерной любви,— иначе человек сгорел бы до времени! В такие минуты мужчины должны бы упасть к ногам женщин, молиться на них; ведь это минуты величайшего подъема: все силы сердца и ума изливаются тогда, как струя воды из наклоненного кувшина мраморной нимфы на фонтане. Сабина была вся в слезах.

Вдруг, словно ужаленная ядовитой змеей, она отскочила от Каллиста, упала на диван и лишилась сознания. Сердце ее как будто сжала холодная рука и чуть не остановила его навеки. Обнимая Каллиста, почти не помня себя от радости, она прижалась лицом к его галстуку и вдруг почувствовала тот же самый аромат духов, которым было пропитано письмо! Значит, другая женщина припадала к груди Каллиста, от ее лица и от ее волос исходил этот преступный запах прелюбодеяния. И она, Сабина, целовала то место, на котором еще не остыли поцелуи соперницы.

— Что с тобой? — спросил Каллист, когда Сабина, лоб которой он вытер намоченным полотенцем, пришла в себя.

— Скорее поезжайте за доктором и за моим акушером, позовите их обоих! О, я чувствую, что молоко бросилось мне в голову... Они не приедут, если вы сами лично не попросите их...

Слово «вы» поразило Каллиста, и он в тревоге отправился за врачами. Когда Сабина услышала, что ворота, пропустив карету, закрылись, она вскочила, как испуганная козочка, и, точно безумная, забегала по гостиной с криком:

— Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Только эти два слова и подсказывал ей ее разгоря-

ченный мозг. Болезнь, которую она назвала наобум, желая удалить мужа, действительно началась. Ей чудилось, что каждый волос на ее голове превратился в раскаленную иглу. Разбушевавшаяся кровь, казалось, прилила к нервам и готова была выступить изо всех пор! На несколько минут она потеряла зрение. Она закричала:

— Умираю!

Когда на этот страшный крик смертельно раненной супруги и матери вбежала горничная, когда Сабину отнесли в спальню и уложили в постель, к ней вернулись зрение и разум: она прежде всего послала свою девушку к г-же де Портандюэр. Сабина чувствовала, что мысли ее кружатся в голове, как соломинки, уносимые вихрем.

— Я видела их,— рассказывала она потом,— их было мириады.

Сабина позвонила лакею и, вся пылая от лихорадки, еще нашла в себе силы написать письмо, потому что была одержима одной яростной мыслью — узнать правду. Вот это письмо.

Баронессе дю Геник.

«Дорогая маменька, когда вы приедете в Париж, на что мы оба надеемся, я лично поблагодарю вас за прекрасный подарок, который вы, тетя Зефирина и Каллист решили сделать мне за то, что я выполнила свой материнский долг. Правда, я вознаграждена уже тем счастьем, которое испытывает мать. Не могу в письме выразить вам всего удовольствия, которое доставил мне этот прелестный туалетный столик, но когда вы будете здесь, я лично выражу вам свое восхищение. Поверьте мне, что, наряжаясь перед этим туалетом, надевая драгоценности, я всегда буду думать, как Корнелия, что лучшее мое украшение — это мой маленький ангелочек...» и т. д.

Сабина приказала горничной отнести письмо на почту и отправить его в Геранду. Когда в спальню вошла виконтесса де Портандюэр, Сабину трясла страшная лихорадка, сменившая первый приступ безумия.

— Урсула, мне кажется, я умираю! — воскликнула Сабина.

— Да что с тобой, дорогая?

— Скажи мне, что́ Савиньен и Каллист делали вчера после обеда? Ведь Каллист обедал у вас?

— У нас? — удивилась Урсула, которую муж не успел предупредить, не предполагая, что расспросы начнутся так скоро.— Мы обедали вчера вдвоем с Савиньеном, а потом поехали в Итальянскую оперу, опять-таки без Каллиста.

— Урсула, дорогая моя, ради твоей любви к Савиньену, сохрани в тайне то, что ты мне только что сказала, и то, что я тебе сейчас скажу. Ты одна будешь знать причину моей смерти... Я обманута, обманута на третьем году брака, в двадцать два с половиной года!..

Зубы ее стучали, помутившиеся глаза застыли; лицо позеленело и приняло оттенок старинного венецианского стекла.

— Ты, такая красавица — и обманута!.. С кем же он изменил тебе?

— Не знаю! Но Каллист солгал мне дважды... Молчи! Не жалей меня, не сердись на него, сделай вид, что ты ничего не знаешь: быть может, тебе удастся выведать у Савиньена, кто она. Ах да, вчерашнее письмо!..

Дрожа от озноба, в одной сорочке, она бросилась к шкатулке и достала записку.

— Корона маркизы! — произнесла она, упав на постель.— Узнай, в Париже ли госпожа де Рошфид... Слава богу, у меня есть родная душа, с которой я могу поплакать, все высказать! О, дорогая, видеть, что все твои верования, твоя поэзия, твой кумир, твоя добродетель, счастье, все, все, разбито, поругано, погибло!.. Нет больше бога на небесах! Нет больше любви на земле, нет больше жизни в сердце, ничего больше нет... Я не знаю, день ли сейчас на дворе, есть ли в небе солнце... У меня так тяжело на сердце, что я почти не чувствую боли, а меж тем грудь и лицо у меня как ножом режет. К счастью, я отняла от груди маленького, мое молоко отравило бы его!

При этой мысли слезы градом хлынули из глаз Сабины, хотя до сих пор она не пролила ни слезинки.

Хорошенькая госпожа де Портандюэр сидела, держа в руке роковое письмо, которое Сабина понюхала раз десять; гостья была потрясена этой искренней мукой

сердца, этой агонией любви, хотя ничего не поняла из несвязных речей Сабины. Вдруг Урсулу осенила мысль, которая может прийти в голову только истинному другу.

«Надо ее спасти!» — подумала она.

— Подожди меня, Сабина,— вскричала она,— я сейчас узнаю всю правду!

— Спасибо, даже за гробом я буду любить тебя!— крикнула Сабина.

Урсула помчалась к герцогине де Гранлье и, взяв с нее слово, что та будет хранить молчание, рассказала, в каком положении находится Сабина.

— Согласитесь, сударыня,— закончила свою речь виконтесса,— что для того, чтобы не допустить столь ужасной болезни — а кто знает, может быть и безумия...— мы должны посвятить во все врача и выдумать какую-нибудь небылицу в оправдание этого ужасного Каллиста. Пусть Сабина хоть ненадолго поверит, что он ни в чем не виноват.

— Дорогая крошка,— ответила герцогиня, которая, выслушав Урсулу, вся похолодела от страха,— дружба сделала из вас опытную женщину, мою ровесницу. Я знаю, как Сабина любит своего мужа, вы правы, она может лишиться рассудка.

— И, что еще хуже, она может лишиться красоты!— добавила виконтесса.

— Едемте скорее! — вскричала герцогиня.

К великому счастью, виконтесса и герцогиня приехали на несколько минут раньше знаменитого акушера Доманже; второго врача Каллист не застал дома.

— Урсула мне все рассказала,— начала герцогиня,— и ты, Сабина, ошибаешься... Прежде всего Беатрисы нет в Париже. А если хочешь знать, мой ангел, правду, так вот она — Каллист вчера проиграл огромную сумму и теперь не знает, где ему достать денег, чтобы уплатить за подарок, который он заказал для тебя.

— А это? — спросила Сабина, протягивая матери письмо.

— Это? — со смехом переспросила герцогиня.— Это написано на бумаге Жокей-клуба; ныне все пишут на бумаге с коронами; скоро все лавочники будут носить титулы...

Благоразумная мать бросила в огонь злосчастное письмо.

Когда явились Каллист с акушером Доманже, герцогиня, которой доложили, как она велела, об их приходе, вышла им навстречу; оставив дочь на попечение г-жи де Портандюэр, она задержала в гостиной акушера и Каллиста.

— Дело, сударь, идет о жизни Сабины! — обратилась она к Каллисту.— Вы изменили ей с госпожой Рошфид...

Каллист покраснел, как юная девица, впервые уличенная в любовном грехе.

— И так как,— продолжала герцогиня,— вы не умеете лгать, то наделали глупостей, и Сабина обо всем догадалась; к счастью, я исправила ваш промах. Надеюсь, вы не хотите, чтоб дочь моя умерла?.. Я говорю это для того, господин Доманже, чтобы вы знали, чем вызвана болезнь... А вам я вот что скажу, Каллист. Я старая женщина и могу понять ваш поступок, но простить его не могу. Такие ошибки искупаются целой жизнью безоблачного счастья. Если вы хотите, чтобы я сохранила к вам уважение, сначала спасите мою дочь, а затем забудьте госпожу де Рошфид,— такой женщиной достаточно обладать один раз!.. Умейте хоть лгать, умейте проявить сейчас смелость и бесстыдство преступника. Ведь я-то солгала, да, я солгала Сабине и теперь вынуждена наложить на себя строгое покаяние, чтобы искупить этот смертный грех.

И она посвятила Каллиста и врача в свой план. Искусный акушер у изголовья больной изучал симптомы болезни и искал надежные способы борьбы с недугом. Пока он назначал лечение, успех коего зависел от быстроты применения советов врача, Каллист примостился в ногах кровати и не спускал с Сабины глаз, стараясь придать им самое нежное выражение.

— Значит, это у вас от игры в карты такие круги под глазами? — произнесла Сабина слабым голосом.

Врач, мать и виконтесса испуганно переглянулись. Каллист покраснел, как вишня.

— Вот что значит самой кормить ребенка! — вдруг сказал умный акушер.— Мужья скучают без жен,

ну, вот и ходят по клубам, играют в карты... Но не жалейте тридцати тысяч франков, которые проиграл барон.

— Тридцать тысяч франков! — воскликнула с наигранным изумлением Урсула.

— Да, я об этом уже слышал,— продолжал Доманже.— Нынче утром мне рассказали у молодой герцогини Берты де Мофриньез, что вы проиграли не кому иному, как господину де Трай,— обратился он к Каллисту.— Как это вы могли сесть за карты с таким человеком? Откровенно говоря, барон, я понимаю, что вам должно быть стыдно.

Видя, что все они: теща — благочестивая герцогиня, молодая виконтесса — счастливая женщина, и старый акушер — закоренелый эгоист, лгут, как антиквары, расхваливающие поддельные древности,— добрый и благородный Каллист понял всю опасность положения жены, и из глаз его покатились крупные слезы, обманувшие Сабину.

— Сударь,— обратилась она к акушеру, приподнявшись на постели и гневно глядя на старика,— господин дю Геник, если ему заблагорассудится, волен проиграть тридцать, пятьдесят, сто тысяч франков, и никто не смеет видеть в этом ничего худого и читать ему наставления. Пусть лучше господин де Трай выигрывает у него, чем мы стали бы выигрывать у господина де Трай.

Каллист поднялся, обнял жену, поцеловал ее в обе щеки и шепнул ей:

— Ты ангел, Сабина!

Два дня спустя врач объявил, что молодая женщина спасена. А еще через день Каллист явился к госпоже де Рошфид и похвалялся, как заслугой, своей низостью.

— Беатриса,— говорил он,— вы обязаны дать мне счастье. Я пожертвовал ради вас моей бедной женой. Она все узнала и все из-за той злосчастной бумаги, на которой вы заставили меня написать записку: на ней были ваши инициалы и ваша корона, а я их не заметил!.. Я видел только вас!.. К счастью, буква «Б» стерлась. Но запах ваших духов, но ложь, в которой я запутался, как последний глупец, выдали мою тайну. Сабина чуть было не умерла, молоко бросилось ей в голову, у нее сдела-

лась рожа, и, кто знает, следы могут остаться на всю жизнь...

Беатриса выслушала эту речь с таким холодным видом, что, взгляни она в эту минуту на воды Сены, их немедленно сковало бы льдом.

— Что ж, тем лучше,— возразила она,— может быть, ваша Сабина хоть от болезни побелеет.

И Беатриса, став вдруг жесткой, как ее кости, изменчивой, как цвет ее кожи, резкой, как звук ее голоса, продолжала в том же тоне нанизывать одну безжалостную насмешку на другую. Нет большей бестактности со стороны мужа, чем говорить о жене, особенно, если она добродетельна, со своей любовницей, или говорить о любовнице, если она красива, со своей женой. Но Каллист не усвоил еще правил парижского воспитания, всего того, что следовало бы назвать вежливостью любовных страстей. Он не умел ни лгать жене, ни говорить правду любовнице, словом, не овладел еще наукой, с помощью которой можно держать женщину в руках. Ему пришлось употребить всю силу своей страсти, чтобы добиться прощения у Беатрисы, он вымаливал его битых два часа и все время лицезрел перед собой неумолимого, разгневанного ангела, возводившего очи горè, чтобы не видеть подобной низости, слушал высшие соображения, которые полагается излагать маркизам,— и все это говорилось голосом, полным слез или чего-то, очень напоминающего слезы, которые г-жа де Рошфид как бы украдкой утирала кружевным платочком.

— Говорить со мной о жене чуть ли не на другой же день после моего падения!.. Скажите уж прямо, что она перл добродетели! Я знаю, она находит вас прекрасным, она без ума от вас! Вот это-то и есть греховная любовь! А я, я люблю вашу душу, ибо, знайте, мой друг, вы просто уродливы. Любой итальянский пастух красивее вас...

И начала...

Быть может, читатель удивится подобным приемам, но Беатриса сознательно прибегала к ним. При третьем своем воплощении (ибо с каждой новой страстью женщина становится иной) Беатриса уже не имела себе равных по части уловок — слово, наиболее точно определяющее долгий опыт, который дают женщине любовные приключения. Маркиза де Рошфид умела ви-

деть себя в зеркале. Умные женщины никогда не заблуждаются относительно перемен в своей внешности; они знают наперечет все морщины; они замечают, как возле глаз образуются «гусиные лапки», видят, как блекнет кожа,— они знают себя наизусть, и самые их усилия сохранить молодость выдают их страх перед надвигающейся старостью. Таким образом, вступая в борьбу с молодой и блестящей женщиной, желая одержать над ней по шести побед на неделе, Беатриса вынуждена была черпать свои соблазны в искусстве куртизанок. Не признаваясь даже себе в своих черных замыслах, готовая в страстном влечении к Каллисту пустить в ход самые сомнительные средства, Беатриса решила уверить барона, что он некрасив, неуклюж, уродлив, что ей он противен,— наилучшая система в отношении мужчин-завоевателей. Преодолеть искусно разыгрываемое презрение женщины,— да ведь это значит ежедневно одерживать над ней победу, равную победе первого свидания. Больше того, это лесть, скрытая под маской ненависти и в ней черпающая красоту и правду, свойственные всем метаморфозам, которые создавались вдохновенными и безвестными поэтами. Ведь мужчина решает тогда: «Я неотразим» или: «Я умею любить, раз я победил ее отвращение». Если вы отрицаете полезность этого метода, применяемого обольстительницами и куртизанками всех слоев общества, чем же, в таком случае, объясните вы страдания тех мужчин, которые годами пытаются побороть равнодушие своих избранниц, ищут разгадки каких-то особых тайн, словно существует наука завоевания взаимности.

Беатриса удвоила презрение, которым она пользовалась, как своего рода моральным оружием, и непрерывно сравнивала свой поэтический, уютный уголок с особняком дю Геников. Каждая покинутая женщина в той или иной мере опускается и в отчаянии забрасывает свой дом. Предвидя это, г-жа де Рошфид исподтишка повела атаку на блеск Сен-Жерменского предместья, на всю эту глупую, как она говорила, роскошь. Сначала Беатриса заставила Каллиста поклясться в ненависти к жене, которая, как она уверяла, просто разыграла комедию, а на самом деле вовсе и не болела. Затем состоялась трогательная сцена примирения.

Маркиза жеманилась и ластилась к Каллисту среди восхитительных цветов — целый зимний сад в гостиной! Беатриса была мастерица по части всяких модных пустячков, ухищрений, нарядов и манер — она даже злоупотребляла всем этим. Оставленная своим композитором, маркиза чувствовала на себе презрение света, и теперь она жаждала славы любой ценой, хотя бы даже ценой распутства. Несчастье молодой супруги, прекрасной, богатой Сабины де Гранлье, должно было послужить ей пьедесталом.

Когда женщина кончает кормить ребенка, она возвращается к привычной жизни и к обществу во всей своей женской прелести. Период материнства молодит даже женщину, перешагнувшую за тридцать, а молодые приобретают какую-то особую, весеннюю нарядность, живость, веселье, некое brio, если позволительно применить к физическим качествам то выражение, которым итальянцы обозначают блеск ума. Сабина пыталась вернуть прелестную пору медового месяца, но Каллист стал другим. Да и бедняжка Сабина не могла уже отдаться полностью супружескому счастью. Она не переставала наблюдать даже в минуты блаженства. Она искала запах роковых духов и обнаруживала его. Она решила не говорить больше откровенно ни с матерью, ни с подругой, которые из милосердия обманули ее в тот раз. Ей нужна была уверенность, и подозрения ее вскоре подтвердились. Уверенность всегда явится в свой час,— она как солнце: рано или поздно приходится опускать штору. В своей любви мы напоминаем дровосека в басне, который призывал Смерть; в конце концов мы начинаем молить жестокую Достоверность, чтобы она ослепила нас.

Как-то утром, недели через две после первого приступа болезни, Сабина получила нижеследующее ужасное письмо:

Баронессе дю Геник

«Геранда.

Дорогая дочка, мы с моей невесткой Зефириной ломаем себе голову — о каком туалете вы говорите в своем письме; я запрашиваю об этом Каллиста и прошу вас, не обижайтесь на нашу неосведомленность. Наде-

юсь, вы не сомневаетесь в нашей любви. Мы копим для вас деньги. Благодаря советам мадемуазель де Пеноэль относительно управления вашим имуществом, через несколько лет вы будете владеть значительным состоянием, причем мы не трогаем наличного капитала.

Дорогая Сабина, я вас люблю не меньше, чем если бы сама выносила и выкормила вас, и ваше письмо удивило меня своей краткостью; особенно же беспокоит ваше молчание о нашем малютке, обожаемом Каллисте; вы ничего не написали мне и о большом Каллисте. Я знаю, он счастлив, но...» и т. д.

Сабина написала поперек этого письма: «Благородная Бретань! Ложь там — исключение!..» — и положила листок на письменный стол мужа. Каллист нашел письмо и прочел. Узнав почерк Сабины, он бросил бумагу в огонь, решив сделать вид, что ничего не получал. Целую неделю Сабина прожила в тоске, ведомой только неземным или одиноким душам, которых никогда не касался своим крылом демон зла. Молчание мужа напугало Сабину.

«Я ему докучаю, я оскорбляю его! И это называется заботливая супруга... Моя добродетель стала злобной, я унижаю свой кумир!» — думала она.

Эти мысли терзали ее. Ей уже хотелось вымолить прощение за свою вину, но все же Достоверность поспешила доставить Сабине новые доказательства.

Дерзкая и не останавливающаяся ни перед чем Беатриса прислала как-то Каллисту письмо прямо на дом; записка попала в руки г-жи дю Геник; она подала мужу нераспечатанный конверт и при этом сказала дрожащим голосом, чувствуя, что у нее разрывается от боли сердце:

— Друг мой, тебе опять письмо из Жокей-клуба... я узнала духи и бумагу.

На сей раз Каллист покраснел и спрятал письмо в карман.

— Почему же ты его не прочтешь?

— Я знаю, о чем оно!

Молодая женщина молча опустилась в кресло. Ее не лихорадило, она не плакала, но ее охватил безумный гнев: слабые создания в такие минуты мечтают о

преступлениях, и в их руке ненароком оказывается мышьяк,— для себя или для соперницы... Принесли крошку Каллиста, матери хотелось его понянчить. Ребенок, которого она недавно перестала кормить, стал искать сквозь платье грудь.

— Он-то помнит! — прошептала она.

Каллист прошел в кабинет и там распечатал письмо. Сабина залилась слезами,— так плачут женщины, только когда остаются одни. Горе, так же как и наслаждение, имеет свои законы. Первый приступ отчаяния, который чуть не погубил Сабину, не повторился, как не повторяется первая весенняя гроза. Это западня для сердца, позже сердце уже не застать врасплох, тяжкое состояние подавленности уже пережито, нервы окрепли и душевные силы напряжены для стойкого сопротивления. И Сабина, уверившись в измене мужа, просидела, сама того не заметив, три часа возле камина с малюткой-сыном на руках и очень удивилась, когда Гаслен, произведенный в лакеи, доложил ей, что кушать подано.

— Позовите барона.

— Барон нынче не обедают дома, сударыня.

Знают ли люди, какие муки, какую пытку испытывает молодая жена, двадцатитрехлетняя женщина, сидя в огромной столовой старинного особняка одна, совсем одна, если не считать молчаливых слуг, бесшумно сменяющих блюда?

— Велите заложить карету,— вдруг сказала Сабина,— я еду в Итальянскую оперу.

Сабина надела свое лучшее платье, она особенно тщательно занялась туалетом: ей хотелось появиться перед публикой, одной, улыбающейся, счастливой. Ее мучила совесть за надпись, сделанную на письме свекрови, и она решила победить, вернуть себе Каллиста своей беспримерной нежностью, добродетелями супруги, кротостью агнца. Она хотела обмануть весь Париж. Она любила, любила, как любят куртизанки и ангелы, любила гордо, любила униженно. Давали «Отелло». Но когда Рубини запел: «Il mio cor si divide» [1], она выбежала из ложи. Подчас музыка, объединяющая в себе

---

[1] «Сердце мое раскалывается надвое» *(итал.)*.

гений поэта и певца, могущественнее их обоих! Савиньен де Портандюэр проводил Сабину до подъезда и усадил в карету, так и не догадавшись о причине этого поспешного бегства.

С того дня для г-жи дю Геник начались дни мучений, известных только аристократкам. Вы завидуете их богатству, вы бедны, вы страдаете, но когда вы увидите на руках светской женщины золотые змейки с бриллиантовыми головками, увидите ожерелья и драгоценные пряжки, знайте же, что эти змейки жалят, что жемчужины ожерелья напоены ядом, что эта полувоздушная мишура умеет впиваться в живое, нежное тело. Вся эта роскошь дорого обходится. Женщины, находящиеся в положении Сабины, проклинают свое богатство, они не замечают роскошного убранства своей гостиной, шелк диванов кажется им дерюгой, а редкостные цветы — крапивой; духи издают зловоние, чудесные творения искусника-повара царапают горло, как корка черствого хлеба, и сама жизнь становится горькой, как воды Мертвого моря. Кто из женщин этого круга, переживающих семейную трагедию, не знает, как под влиянием горя меняются они сами и их роскошное обрамление. Поняв ужасную действительность, Сабина стала присматриваться к мужу, когда он уходил из дома, чтобы угадать, чем кончится нынешний день. И с каким неистовством обманутая женщина сама бросается на дыбу! И какая пьянящая радость, если Каллист не идет на улицу Шартр! А вернется Каллист — зоркий осмотр его прически, глаз, лица, движений; сущий пустяк, каждая мелочь его туалета приобретают страшное значение,— наблюдательность, притупляющая чувство женского достоинства и благородства. Эти горестные наблюдения, хранимые в глубине сердца, сушат и подрывают нежные ростки, и тогда уж не распуститься голубым цветам святого доверия, не сиять больше золотым звездам единственной любви, пышным розам воспоминания.

В один прекрасный день Каллист остался дома; он сидел с недовольным видом, оглядывая гостиную. Сабина ласкалась к нему, вымаливала улыбку, стараясь казаться веселой, шутила.

— Ты на меня сердишься, Каллист, разве я плохая

жена?.. Может быть, тебе что-нибудь здесь не нравится? — допытывалась она.

— Какие у нас холодные и голые комнаты,— ответил он,— вы ничего не смыслите в этих делах.

— Но чего же все-таки недостает?

— Цветов.

«Ага,— подумала Сабина,— значит, госпожа де Рошфид — любительница цветов».

Два дня спустя комнаты особняка дю Геников неузнаваемо изменились: никто в Париже не мог похвастаться такими прекрасными цветами и в таком количестве.

Еще через некоторое время Каллист как-то после обеда пожаловался, что ему холодно. Он вертелся на кушетке, высматривая, откуда дует,— казалось, он искал чего-то.

Сначала Сабина не могла разгадать, что означает эта новая фантазия,— ведь в их особняке был калорифер, который нагревал и лестницы, и передние, и коридоры. Наконец на третий день Сабина сообразила, что ее соперница, должно быть, расставила в комнатах ширмы, чтобы создать полумрак, спасительный для ее увядающего лица, и Сабина тоже приобрела ширмы, но не простые, а зеркальные, роскошные, как у еврейских банкиров.

«Откуда в следующий раз придет гроза?» — думала она.

Она не знала, как неистощима в своих лукавых нападках на ее дом любовница мужа. Каждый раз за обедом Сабина чуть не плакала,— Каллист еле прикасался к пище и отдавал слугам тарелку, слегка расковыряв вилкой кушанье.

— Разве не вкусно? — спрашивала Сабина в отчаянии оттого, что напрасны все ее заботы, все ее тайные совещания с поваром.

— Я этого не говорю, мой ангел,— миролюбиво отвечал Каллист,— я просто не голоден.

Женщина, поглощенная страстью к законному супругу, доходит в своей борьбе с соперницей до неистовства и не останавливается ни перед чем, даже в самом сокровенном. Эта жестокая, пламенная, непрекращающаяся битва, начавшаяся на открытом поле семейной

жизни, в делах домашних и хозяиственных, перешла с такой же силой в сферу чувств. Сабина изучала свои позы, туалеты, она следила за собой даже в бесконечно малых величинах любви.

Борьба в области гастрономии длилась почти целый месяц. Сабина при поддержке Мариотты и Гаслена изобретала всевозможные, чисто водевильные хитрости, лишь бы узнать, чем именно кормит г-жа де Рошфид ее Каллиста. Кучер Каллиста по приказанию баронессы сказался больным, и его заменил Гаслен, который завел дружбу с кухаркой Беатрисы. Наконец Сабина победила, но тут Каллист снова закапризничал.

— Что тебе еще нужно? — допытывалась Сабина.

— Ничего,— отвечал Каллист, окидывая стол ищущим и недовольным взглядом.

— А-а! — воскликнула Сабина, проснувшись на следующее утро.— Каллисту нужны английские приправы из толченых жуков, которые подают на стол в судках; видно, госпожа де Рошфид пускает в ход пряности всех видов.

Сабина приобрела английские судки и всевозможные острые специи; но не все изобретения, к которым прибегала соперница, были доступны Сабине.

Так продолжалось несколько месяцев; и пусть это никого не удивляет,— ведь борьба имеет свою прелесть. Бороться — значит жить; пусть борьба приносит горе, пусть она ранит,— все лучше, чем беспросветный мрак отвращения, яд презрительной замкнутости, холод тех, кто отрекся от борьбы, чем смерть сердца, которая зовется равнодушием. И все же мужество покинуло Сабину. Как-то вечером она вышла к Каллисту в изящном наряде, каждая мелочь которого была подсказана желанием восторжествовать над соперницей, а тот со смехом заявил:

— Напрасно ты стараешься, Сабина, ты всегда будешь прекрасной андалузкой, и только.

— Что ж,— ответила она, бессильно опустившись на кушетку,— я не могу сделаться блондинкой; но я знаю, что если и дальше все будет идти у нас так, то мне тридцать пять лет исполнится очень скоро.

Сабина отказалась ехать в Оперу, она решила весь вечер просидеть дома. Оставшись одна, она сорвала с

головы цветы и растоптала их ногами; раздевшись, побросала на пол платье, шарф, весь свой пышный туалет, запутавшись в шелках, как козочка, бьющаяся на привязи, которая вот-вот удушит ее. Затем она легла в постель. Можете судить, как была удивлена горничная, когда вошла в спальню Сабины.

— Ничего,— сказала г-жа дю Геник,— это барон!

Женщины несчастные обладают высшим тщеславием; и когда начинается борьба между стыдом женским и обычным, женский всегда берет верх.

Играя эту ужасную драму, Сабина похудела, горе подтачивало ее; но она ни разу не вышла из той роли, которую взяла на себя. Ее поддерживала внутренняя лихорадка, она не давала горьким словам сорваться с уст, хотя и задыхалась от боли; она тушила блеск своих великолепных черных глаз, научилась придавать им ласковое, смиренное выражение. В конце концов ее худоба и бледность стали бросаться в глаза. Хотя с годами герцогиня де Гранлье становилась все более набожной, на свой особый, португальский лад, она, как любящая мать, поняла, что болезненное состояние, которое почти с умыслом поддерживала в себе Сабина, грозит смертью. Герцогиня знала, что Каллист находится в связи с Беатрисой. Она старалась залучить дочь к себе, чтобы смягчить ее горе, а главное — помешать ей замкнуться в этом добровольном мученичестве; но Сабина упорно молчала, опасаясь постороннего вмешательства в ее отношения с Каллистом. Она даже уверяла, что счастлива!.. В своем горе она обрела былую гордость и душевные силы. Целый месяц Клотильда и герцогиня нежно ухаживали за Сабиной, ласкали ее, и, наконец, не выдержав, она поведала сестре и матери все свои муки, призналась в своих страданиях, прокляла жизнь и заявила, что с радостью видит приближение смерти. Она умоляла Клотильду, пожелавшую остаться в девушках, заменить мать ее сыну; крошка Каллист рос прелестнейшим ребенком, любая королевская чета не отказалась бы от такого наследника.

Как-то вечером, беседуя в семейном кругу с Клотильдой, с матерью и младшей сестрой Атенаис, брак которой с молодым виконтом де Гранлье должен был состояться после поста, Сабина не удержалась и выдала

агонию своего сердца, вызванную пережитыми унижениями.

— Атенаис,— сказала она, когда около одиннадцати часов молодой виконт Жюст распрощался и ушел,— ты скоро выйдешь замуж, пусть мой пример послужит тебе уроком! Бойся пуще огня показать мужу свои достоинства; если тебе захочется наряжаться, чтобы понравиться Жюсту, подави это желание. Будь спокойной, гордой и холодной, измеряй счастье, которое ты даешь, тем счастьем, которое сама получаешь! Это низко — пусть! — но так нужно... Посмотри на меня, я гибну, и меня погубили мои достоинства. Все, что было во мне хорошего, святого, чистого, все мои добродетели стали подводными камнями, о которые разбилось мое счастье. Я уже не нравлюсь, потому что мне не тридцать шесть лет! Да, да, есть мужчины, в глазах которых молодость — недостаток! Что можно прочесть на невинном личике? Ничего! Я смеюсь искренне, от души, и в этом также моя вина! Ведь чтобы соблазнить мужчину, надо заранее разучить печальную полуулыбку падшего ангела, а на самом деле ангелу просто нужно скрыть свои длинные желтые зубы. Свежий цвет лица так однообразен! Куда приятнее неподвижная, как у куклы, маска, состряпанная из румян, белил и кольд-крема. У меня открытое сердце, а мужчинам нравится порок! Как всякая порядочная женщина, я честна в своей страсти, а нужно быть хитрой, лживой и ломаться, как провинциальная актриса. Я пьянею от счастья при мысли, что муж мой — один из самых обаятельных мужчин Франции, и чистосердечно говорю ему, как он изящен, как красивы его движения, словом, говорю ему, что он прекрасен; но оказывается, чтобы нравиться, надо отворачиваться, разыгрывать отвращение, не любить по-настоящему и твердить мужчине, что он вовсе не изящен от природы, а просто болезненно худ и похож на чахоточного, дразнить его, расхваливая при нем торс Геркулеса Фарнезского, и не уступать ему, отталкивать прочь в минуту счастья,— словно для того, чтобы скрыть какие-то физические недостатки, могущие убить любовь в сердце мужчины! Я имею несчастье восхищаться тем, что достойно восхищения, и не стараюсь поразить возлюбленного, ядовито и завистливо крити-

куя все, что блещет поэзией и красотой. Я не нуждаюсь в том, чтобы Каналис и Натан в стихах и в прозе доказывали, что я существо высшего порядка! Я бедное наивное дитя, мне нужен только Каллист! Ах, если бы я, как та женщина, носилась по всему свету, если бы я твердила, как она, «люблю тебя» на всех европейских языках,— не сомневайся, меня бы утешали, жалели, обожали, и тогда я стала бы изысканным лакомством для поклонников космополитической любви. Нежность наша заметна только тогда, когда мы умеем оттенить ее злостью. И вот я, честная женщина, вынуждена учиться всяким гадостям, перенимать у девок их уловки!.. И подумать только, Каллист восторгается всеми этими кривляньями... Маменька! дорогая моя Клотильда, я смертельно оскорблена. Моя гордость лишь обманчивая броня, я беззащитна перед горем, я по-прежнему, как безумная, люблю Каллиста, а чтобы вернуть его, мне следует быть холодной и проницательной.

— Дурочка,— шепнула ей на ухо Клотильда,— сделай вид, что ты собираешься ему отомстить...

— Я хочу умереть безупречной, я не желаю, чтобы меня коснулась даже тень вины,— ответила Сабина.— Наша женская месть должна быть достойна нашей любви.

— Дитя мое,— сказала герцогиня дочери,— мать обязана смотреть на жизнь несколько более трезво. Любовь не цель, а средство для создания семейного очага; не вздумай подражать этой бедняжке баронессе де Макюмер. Чрезмерная страсть бесплодна и гибельна. Одному господу ведомо, ради чего он посылает нам горести... Судьба Атенаис устроена, я могу теперь заняться тобой... Я уже говорила с твоим отцом и герцогом Шолье, а также с нашим другом д'Ажуда о том щекотливом положении, в котором ты находишься, и мы, конечно, найдем способ вернуть тебе Каллиста...

— Счастье еще, что мы имеем дело с госпожой де Рошфид,— сказала, улыбаясь, Клотильда,— она не очень-то умеет удерживать поклонников.

— Д'Ажуда, мой ангел,— продолжала герцогиня,— был женат на дочери господина де Рошфида... Если наш духовник разрешит нам маленькие хитрости, ко-

торые необходимы для того, чтобы удался план, одобренный твоим отцом, я ручаюсь, что Каллист вернется к тебе. Не скрою, моя совесть восстает против подобных средств, и вот почему мне хотелось бы посоветоваться с аббатом Броссетом. Мы не можем ждать, мое милое дитя, пока ты будешь в крайности, тогда уже трудно помочь беде. Не теряй же мужества! Мне так больно видеть твое горе, что я невольно выдала нашу тайну; но было бы жестоко не подать тебе хоть какую-то надежду.

— А Каллисту от этого не будет слишком больно? — спросила Сабина, с беспокойством глядя на герцогиню.

— О, боже мой, неужели и я стану такой же дурой? — простодушно воскликнула Атенаис.

— Бедная моя девочка, ведь ты еще не знаешь, в какие лабиринты нас увлекает добродетель, когда ее ведет любовь,— ответила Сабина, не замечая в своей печали, что говорит почти уже стихами.

Эти слова были произнесены как-то горестно и проникновенно, и герцогиня по тону, по звуку голоса, по взгляду дочери поняла, что та скрывает какое-то новое несчастье.

— Полночь, дети, пора спать! — обратилась она к двум дочерям, хотя глаза их при столь интересном обороте беседы разгорелись.

— Значит, мне не полагается слушать ваши разговоры, хотя мне, слава богу, тридцать шесть лет? — насмешливо спросила Клотильда.

Пока Атенаис целовала на прощание мать, Клотильда нагнулась к Сабине и шепнула:

— Расскажешь?.. Завтра я приеду к тебе обедать. Если маменька сочтет, что совесть не позволяет ей заниматься такими делами, я сама вырву Каллиста из рук неверных.

— Поговорим, Сабина,— сказала герцогиня, уводя дочь в свою спальню.— Что с тобой опять стряслось, дитя мое?

— Ах, маменька, я погибла!

— Да почему же? Как можешь ты так говорить!

— Я хотела восторжествовать над этой ужасной женщиной и восторжествовала, но теперь я беремен-

на, а Каллист так любит ее, что пойдет на разрыв со мной, я это знаю, чувствую. Когда она узнает о его «неверности», она еще больше разъярится! Ах, я терплю такую муку и не в силах бороться! Я всегда знаю, когда он идет к ней,— это видно по его радостному лицу, а когда он возвращается от нее, он такой угрюмый, неласковый. Да что говорить!.. Он перестал стесняться, он просто не выносит меня. Она оказывает на Каллиста тлетворное влияние, этот тлен у нее в душе и в теле. Вот увидишь, она потребует в награду за примирение, чтобы он официально расстался со мной, потребует разрыва, ведь она сама пошла на разрыв с мужем, она увезет от меня Каллиста в Швейцарию или в Италию. Недаром он последнее время все твердит, что нелепо не знать Европу: я понимаю, что значат все эти разговоры. Если Каллист не исцелится в течение трех месяцев, я и представить себе не могу, что будет дальше... Я покончу с собой!

— Несчастное дитя, а ты подумала о своей душе? Самоубийство — смертный грех.

— Да ты пойми меня! Она решится подарить ему ребенка. А что, если Каллист будет любить ее ребенка больше, чем моих? О, тогда... тогда уже конец моему терпению, моей покорности!

Сабина бессильно упала на стул, она высказала все свои тайные мысли, все горе, ей уже нечего было больше таить, а горе подобно тому железному стержню, который скульпторы вставляют внутрь глиняной глыбы,— он поддерживает всю статую.

— А теперь, бедная моя страдалица, поезжай домой! Когда аббат узнает о всех твоих муках, он, без сомнения, даст мне отпущение грехов, на которые нас толкает светская жизнь со всеми ее хитросплетениями. Оставь меня одну, детка,— сказала герцогиня, преклоняя колени на маленькую скамеечку,— я помолюсь нашему создателю и святой деве за тебя,— да, только за тебя. Прощай, дорогая Сабина; смотри, не пренебрегай своими религиозными обязанностями, если хочешь, чтобы мы добились успеха.

— Если мы и не восторжествуем, маменька, то хоть спасем наш семейный очаг. Каллист убил во мне священный жар любви, все чувства мои притупились, я да-

же горя не воспринимаю. Хорош же был наш медовый месяц,— ведь уже в первые сутки я почувствовала всю горечь измены, которою Каллист вознаградил себя за прошлое!

На следующий день, в первом часу дня, к особняку Гранлье подходил аббат Броссет, один из самых известных в Париже священников, имевший приход в Сен-Жерменском предместье, а в 1840 году согласившийся, наконец, принять назначение на епископскую кафедру, от которой он отказывался трижды. Самую его поступь следовало бы назвать пастырской, так явно в каждом движении сказывались осторожность, сдержанность, спокойствие, степенность, даже больше — достоинство. Это был невысокого роста, худощавый человек, лет пятидесяти с очень белым, как у старух, лицом, высохший от постов и обремененный страданиями своей паствы. Черные глаза, горящие верой, но умудренные человеческими тайнами больше, нежели церковными таинствами, оживляли эту апостольскую внешность. Подымаясь по ступеням крыльца, он тихонько улыбался, ибо отнюдь не верил, что его вызвали по важному делу; но так как рука герцогини была щедра на пожертвования, стоило оставить серьезные дела прихода ради ее невинных излияний. Когда слуга доложил о госте, герцогиня поднялась с кресла и сделала несколько шагов ему навстречу — честь, которой удостаивались только кардиналы, епископы, священники, герцогини более зрелого возраста, чем сама г-жа Гранлье, и особы королевской крови.

— Дорогой мой аббат,— сказала она, указывая на кресло и понижая голос,— я хочу заручиться вашим мудрым одобрением, прежде чем пойти на одну довольно некрасивую интригу, следствием которой, впрочем, явится великое благо. Мне хотелось бы знать, не встретится ли тут слишком много шипов на пути к спасению.

— Поверьте, мне, герцогиня,— прервал ее аббат Броссет,— не следует смешивать духовные принципы со светскими — они часто непримиримы. Но сначала скажите, о чем идет речь?

— Моя дочь Сабина умирает от горя; господин дю Геник оставил ее ради маркизы де Рошфид.

— Случай действительно ужасный и очень серьезный; но вам известно, что говорит о подобных вещах наш возлюбленный пастырь, святой Франциск Сальский? И, наконец, вспомните, как госпожа Гюйон жаловалась, что в ее супружеском союзе недостает мистического, духовного начала; бедняжка была бы счастлива, если бы какая-нибудь госпожа де Рошфид завладела ее мужем.

— Сабина — сама кротость, поистине супруга-христианка, даже чересчур; но у нее нет ни малейшей склонности к мистицизму.

— Бедная женщина! — лукаво произнес священник.— А что же вы предполагаете сделать, чтобы исцелить ее страдания?

— Я согрешила, дорогой отец, я подумала, что хорошо бы напустить на госпожу де Рошфид какого-нибудь красивого молодчика с крутым нравом, какого-нибудь шалопая, развратника... ну, она и прогнала бы моего зятя.

— Дочь моя,— произнес аббат, медленно поглаживая подбородок,— здесь не церковный суд, и я вам не судья. С точки зрения света, я считаю, что это вполне надежное средство...

— Но очень гадкое, на мой взгляд,— прервала герцогиня.

— Почему же? Без сомнения, христианке более пристало отвратить падшую женщину от греха, нежели толкать ее на этот путь; но когда бóльшая часть сего пути давно пройдена, тут уж человек бессилен,— только сам создатель может вывести грешницу на стезю добродетели: для подобных особ обыкновенного удара небесной молнии недостаточно.

— Отец мой,— продолжала герцогиня,— как мне благодарить вас за вашу терпимость! Но я вот что думаю: зять мой храбр и сверх того бретонец; он вел себя крайне мужественно во время злосчастной затеи герцогини Беррийской. И если какой-нибудь юный повеса решит покорить госпожу де Рошфид, ему придется иметь дело с Каллистом, и тот вызовет его на дуэль...

— Вы высказали, герцогиня, мудрую мысль, и она лишний раз служит доказательством того, что на извилистых путях всегда бывают камни преткновения.

— Так вот, мой дорогой аббат, я нашла средство сделать добро госпоже де Рошфид, помочь ей сойти с той пагубной стези, на которой она стоит, вернуть Каллиста жене и тем, быть может, спасти от ада заблудшую женщину...

— Но тогда к чему спрашивать моего совета? — возразил, улыбаясь, священник.

— Ах,— воскликнула герцогиня,— придется совершать довольно неприглядные действия...

— Надеюсь, вы никого не собираетесь ограбить?

— Напротив,— мне придется израсходовать кучу денег.

— Никого не собираетесь оклеветать, или...

— О нет, нет!

— И не сделаете зла вашему ближнему?

— Вот в этом-то я как раз и не уверена.

— Тогда обсудим ваш новый план,— предложил аббат, любопытство которого задели слова герцогини.

— «Зачем вышибать клин клином?» — подумала я, после того как в жаркой молитве просила пресвятую деву наставить меня. Не лучше ли будет, если сам маркиз де Рошфид прогонит от своей супруги Каллиста,— маркиза надо убедить вернуться к Беатрисе; вместо того чтобы совершить зло ради блага моей дочери, не лучше ли, подумала я, совершить благо ради другого блага, столь же великого...

Аббат вопросительно взглянул на португалку и погрузился в раздумье.

— Право же, эта мысль пришла к вам с таких высот, что...

— Вот почему,— перебила его смиренная и добрая герцогиня,— я возблагодарила святую деву! И я приняла на себя обет — в случае успеха дать какому-нибудь бедному семейству тысячу двести франков, не считая обычной милостыни. Но, когда я сообщила свой план господину де Гранлье, он рассмеялся и сказал: «Можно подумать, что у вас на посылках сам дьявол, а в ваши годы это бывает нечасто!»

— Герцог на правах мужа сказал вам то же, что собирался сказать и я, когда вы меня прервали,— ответил аббат и не мог удержаться от улыбки.

— Ах, отец мой, если вы одобряете самую мысль,

одобрите ли вы также и образ действия? Ведь речь идет еще о некоей госпоже Шонтц,— это своего рода Беатриса из квартала Сен-Жорж,— причем с этой госпожой Шонтц придется проделать то же, что и с госпожой де Рошфид, чтобы последняя вернулась к своему супругу.

— Я уверен, что вы не можете совершить дурного поступка,— ответил умный аббат, который не хотел знать подробностей, считая, что достаточно знать и одобрить цель.—Если ваша совесть возропщет, тогда посоветуйтесь со мной,— добавил он.— А что если этой самой даме с улицы Сен-Жорж не давать повода к новому скандалу, а дать ей лучше мужа?

— Ах, отец мой, вы исправили единственную мою ошибку, единственное черное пятно, которое было в моем плане. Вы достойны быть архиепископом, и я надеюсь еще дожить до того дня, когда назову вас: «Ваше высокопреосвященство».

— Я нахожу в вашем плане только одно уязвимое место,— продолжал священник.

— Какое же?

— А что если госпожа де Рошфид вернется к мужу, но не расстанется с бароном?

— Это уж мое дело,— возразила герцогиня.— Когда впервые начинают вести интригу, ее ведут...

— Неискусно, весьма неискусно,— перебил аббат.— Во всем нужна опытность. Постарайтесь завербовать на вашу сторону какого-нибудь сомнительного человека, завзятого интригана и воспользуйтесь его услугами, не выдавая себя.

— Ах, господин аббат, если мы призываем на помощь силы ада, будут ли нам покровительствовать небеса?

— Вы не в исповедальне,— воскликнул аббат,— спасайте вашу дочь!

Добрая герцогиня, в восторге от своего духовного наставника, проводила его до дверей гостиной.

Итак, над головой г-на де Рошфида собиралась гроза, а он в это время вкушал самое полное счастье, какого только может пожелать себе парижанин: он состоял при г-же Шонтц на положении мужа, как если бы оставался с Беатрисой, и герцог де Гранлье совершенно

справедливо заметил супруге, что крайне трудно и, пожалуй, даже невозможно нарушить столь приятное и блаженное существование. План герцогини обязывает нас вкратце описать жизнь, которую вел г-н де Рошфид с той поры, когда он волею Беатрисы превратился в брошенного мужа. Известно, что наши нравы и обычаи ставят мужчину и женщину в совершенно разное положение при равных обстоятельствах. Все, что оборачивается бедой для покинутой женщины, становится счастьем для покинутого мужчины. Этот разительный контраст должен, вероятно, подсказать женщине решение не разрушать свою семью и бороться за нее, подобно Сабине, пуская в ход любые средства, самые безобидные и самые безжалостные.

Несколько дней спустя после скандального бегства Беатрисы муж ее, Артур де Рошфид, оставшийся единственным наследником после смерти сестры, первой жены маркиза д'Ажуда-Пинто, не имевшей в браке детей, оказался законным владельцем, во-первых, особняка Рошфидов на улице Анжу-Сент-Оноре, затем двухсот тысяч франков ренты, оставшейся после отца. Это богатейшее наследство, прибавившееся к тому состоянию, которым владел сам Артур, вступая в брак, плюс состояние маркизы, приносило ежедневно по тысяче франков дохода. Для дворянина, наделенного характером, который известен нам со слов мадемуазель де Туш, такое состояние — уже счастье. В то время как Беатриса отдавала свое время любви и материнским заботам, Рошфид единолично распоряжался огромным состоянием, но не расходовал его, как не расходовал он и своего ума. Его добродушно-грубоватое тщеславие было удовлетворено — во-первых, он считался красивым мужчиной и своей внешности обязан был кое-какими успехами у дам, что, впрочем, дало ему повод презирать женщин; во-вторых, он полагал, что в равной мере преуспевает и в силу умственных качеств. Ум у него был, что называется, зеркальный, он смело выдавал за свои лучшие остроты, услышанные в обществе, в театре или вычитанные из юмористических листков, и действительно умел пересказать их по-своему; маркиз как бы сам насмехался над ними, как говорится, «шаржировал», пользуясь ими для суждений критического

свойства; наконец его чисто военная удаль (Артур служил некогда в королевской гвардии) очень мило оживляла его красноречие; в конце концов глупые женщины объявили его умным, а все остальные не смели спорить. Своей системой Артур пользовался во всех случаях жизни; природа наградила его приятным даром подражать, однако без всякого обезьяньего кривлянья; он передразнивал, сохраняя серьезность. Лишенный вкуса, он все-таки первым ухитрялся воспринять новую моду и первым отказывался от нее. Его обвиняли в том, что он слишком много времени тратит на туалеты и чуть ли не носит корсет; и, тем не менее, маркиз являл собой образец человека, который всем в достаточной мере приятен, ибо умеет уловить выдумки и глупости всего Парижа и так к месту повторять их, что они не стареют. Такие люди — подлинные гении посредственности. Несчастного мужа жалели, обвиняли Беатрису в том, что она бросила такого славного малого, и все насмешки обрушились на нее одну. Член всех клубов, участник всех затей, которые порождает атмосфера лжепатриотизма и раздутых политических страстей, Рошфид всегда оказывался на виду; сей честный, бойкий и крайне глупый дворянин, с которым, к несчастью, сходны сотни богачей, естественно возжелал отличиться какой-нибудь модной манией. И действительно он прославился своим положением султана в серале четвероногих, которым единовластно управлял старый наездник-англичанин; эта слабость обходилась хозяину в четыре-пять тысяч франков ежемесячно. Его специальностью были бега, он всячески покровительствовал лошадиной породе, поддерживая значительными суммами издание журнала, посвященного коневодству; на деле же Артур слабо разбирался в лошадях и полагался во всем, начиная с уздечки и кончая подковами, на своего наездника. Теперь вам понятно, что у этого полухолостяка не было ничего по-настоящему своего,— ни своего ума, ни своих вкусов, ни своего положения, даже смешные стороны были не его; да и богатство досталось ему от отца! Изведав неприятности супружеской жизни, он был так рад очутиться вновь на холостяцком положении, что не раз говорил приятелям: «Нет, видно, я в сорочке родился!» Особенно же

Артур радовался тому, что не приходилось расходоваться на поддержание казовой стороны жизни, в противоположность людям семейным; после смерти старика де Рошфида сын ничего не изменил, ничего не улучшил в особняке, и дом приобрел нежилой вид, словно хозяин находится в длительной отлучке; маркиз проводил в нем мало времени, никогда не обедал, даже ночевал там редко. Объясним же это равнодушие.

После многочисленных любовных приключений, охладев к светским дамам, которые и впрямь скучны и к тому же окружают любовь чересчур высокой изгородью с торчащими во все стороны острыми колючками, Артур сошелся, как мы сейчас увидим, со знаменитой г-жой Шонтц — знаменитой, понятно, в том кругу, где подвизаются всякие Фанни Бопре, Сюзанны дю Валь-Нобль, Мариетты, Флорентины, Женни Кадин и т. д. Это мир, о котором один из наших рисовальщиков выразился весьма остроумно, указывая на дам и девиц, порхающих в вихре вальса на традиционном балу в Опере: «Как подумаешь, что все это ест, пьет и живет припеваючи, хорошее же мнение можно себе составить о человеке»; этот столь опасный мир уже вторгся однажды в нашу историю нравов в лице наиболее типичных его представительниц — Флорины и знаменитой Малаги, изображенных в «Дочери Евы» и «Мнимой любовнице»,— но, желая изображать верно, историк обязан соразмерять разнообразие всех этих характеров с разнообразием развязок, которыми обычно заканчивается их необычное существование, а заканчивается оно или нуждой в самых отвратительных ее проявлениях, преждевременной смертью или же довольством, счастливым браком, а иной раз и богатством.

Госпожа Шонтц, известная вначале под именем крошки Орели,— так ее звали в отличие от другой Орели, ее соперницы, девицы не особенно великого ума,— принадлежала к наиболее высокому рангу тех дам, чья социальная полезность не вызывает ни малейшего сомнения ни у префекта департамента Сены, ни у тех, кто заинтересован в процветании города Парижа. Кстати сказать, «крысы», которым приписывается уничтожение богатств, притом зачастую воображаемых, скорее могут соперничать с бобром. Не будь этих Аспа-

вий из квартала Нотр-Дам де Лорет, в Париже не строилось бы столько красивых зданий. Эти дамы — прирожденные новоселы — взбираются вслед за спекулянтами-домостроителями на монмартрские холмы, раскидывают, так сказать, палатки среди каменной пустыни новых улиц в европейских городах — Амстердаме, Милане, Стокгольме, Лондоне, Москве, когда в этой архитектурной пустыне еще гуляет ветер, шурша бесчисленными бумажками с роковой надписью: «Сдается в наем»! Положение таких дам определяется тем положением, которое они занимают в этих призрачных кварталах: если дом стоит, скажем, неподалеку от улицы Прованс, значит, дама имеет ренту, денежные ее дела в порядке; но ежели она поселилась ближе к линии внешних бульваров или в мрачных тупиках Батиньоля, значит, она сидит без гроша. Итак, когда г-н де Рошфид встретил г-жу Шонтц, она занимала третий этаж единственного дома на Берлинской улице, иными словами, обитала на границе, которая отделяет благоденствующий Париж от его пасынков. Как вы, должно быть, уже догадались, эта дама, она же девица, конечно, звалась и не Шонтц и не Орели. Она скрывала имя своего отца, старого солдата Империи (какой-нибудь апокрифический полковник обязательно украшает зарю этих странных жизней,— то в качестве отца, то в качестве соблазнителя). Г-жа Шонтц училась на казенный счет в институте Сен-Дени, откуда выпускали превосходно воспитанных девиц, но не предоставляли этим воспитанным девицам ни мужа, ни средств по выходе из института; этому «великолепному творению» императора недоставало только одного — самого императора! «Я не премину обеспечить дочерей моих легионеров»,— ответил Наполеон одному из своих министров, который предвидел мрачное будущее. Наполеон сказал «не премину» так же и академикам, которым лучше уж не давали бы никакого жалованья, чем посылать восемьдесят три франка в месяц, то есть содержание более нищенское, чем жалованье какого-нибудь конторского писца. Орели была самой настоящей дочерью бесстрашного полковника Шильтца, начальника отважных эльзасских партизан, которые чуть было не спасли императора во время его французской кампании. Сам полковник скончался в Ме-

це, ограбленный, обворованный, разоренный дотла. В 1814 году Наполеон поместил в Сен-Дени малютку Жозефину Шильтц, которой минуло тогда всего девять лет. Круглая сирота, не имеющая ни крова, ни средств к существованию, Жозефина не была изгнана из института при втором возвращении Бурбонов. До 1827 года она числилась помощницей классной дамы; но тут ее терпение лопнуло, собственная красота вскружила ей голову. Достигнув совершеннолетия, Жозефина Шильтц, крестница императрицы, вступила на полный приключений путь куртизанок, последовав роковому примеру некоторых своих подруг; когда-то такие же нищие и бездомные, как и она сама,— теперь они не могли нахвалиться своим новым положением. Она смело заменила буквы «иль» в родительской фамилии буквами «он» и отдала себя под покровительство святой Орели. Живая, остроумная, довольно образованная, она все же наделала больше промахов и ошибок, чем ее тупоголовые подруги, у которых все проказы имели под собой прочную основу корысти. Познакомившись с писателями бедными, но нечестными, умными, но погрязшими в долгах; попытав счастья с богачами, столь же глупыми, сколь и расчетливыми; отдав дань подлинной любви в ущерб выгоде; пройдя по всем жизненным тропинкам, где приобретается опыт, Орели дошла до крайней нищеты и очутилась однажды на танцах у Валентино, предшественника Мюзара, где она плясала в платье, мантилье и шляпке, взятых напрокат. Здесь-то она и привлекла внимание Артура, пришедшего посмотреть знаменитый галоп. Своими бойкими речами она свела с ума этого дворянина, который уж и сам не знал, в какую прихоть удариться, и вот после двухлетней разлуки с Беатрисой, ум которой столь часто унижал его мужское достоинство, маркиз «женился в тринадцатом округе», на этой, так сказать, случайной Беатрисе, не вызвав в обществе ничьих нареканий.

Попытаемся набросать четыре поры этого счастья. Заметим первым долгом, что теория брака, осуществляемая в тринадцатом округе, применима ко всем мужчинам в равной степени. Пусть вы маркиз и вам уже стукнуло восемьдесят лет, или же вам шестьдесят и вы торговец, отошедший от дел, трижды миллионер или

рантье (смотри «Первые шаги в жизни»), вельможа или буржуа,— стратегия страсти, исключая различия, присущие тому или иному социальному кругу, все та же. Сердце и кошелек всегда находятся в точных и строго определенных соотношениях. Одним словом, вам ясно, с какими трудностями предстояло встретиться герцогине при выполнении ее человеколюбивого плана.

Нелегко представить, какую власть имеют во Франции иные слова над человеком заурядным и какое зло совершают острословы, пуская их в оборот. Самый искусный бухгалтер не сумел бы исчислить суммы, которые лежат втуне под замком у людей самых щедрых, не говоря уже о кассах богачей, только благодаря устрашающему слову «нагреть». Это словечко нынче так распространено, что нам простят, если мы запятнаем им страницы нашей книги. Впрочем, раз уж мы вступили в тринадцатый округ, приходится пользоваться местным жаргоном. Маркиз де Рошфид, как и все люди мелочного ума, ужасно боялся, что его «нагреют». Поэтому с самого начала своего увлечения Орели Артур был все время начеку и в ту пору выказал себя в высшей степени «крысой»,— еще одно словечко, принятое в мастерских веселья и в мастерских художников. Слово «крыса», примененное к девице, просто означает, что ее содержат, а в применении к мужчине оно говорит о том, что содержатель — прижимистый малый. Г-жа Шонтц была очень умна, хорошо знала мужчин и сразу поняла, что подобное начало сулит блистательное будущее. Артур назначил г-же Шонтц пятьсот франков в месяц, снял для нее и обставил на улице Кокнар довольно убогую квартирку во втором этаже, которая ходила за тысячу двести франков, и принялся изучать Орели; а та, заметив, что за ней наблюдают, сумела представить для изучения прекраснейший характер. Таким образом, Рошфид был счастлив: шутка ли встретить девицу столь благонравную! Впрочем, удивляться не приходилось: мать Жозефины была урожденная Барнхейм, вполне порядочная женщина. К тому же Орели была так прекрасно воспитана!.. Она говорила по-английски, по-немецки и по-итальянски, хорошо знала иностранную литературу. Она была музыкантша и могла сыграть не хуже любого пианиста из второсортных. И заметьте,

она знала не хуже графинь, как надлежит вести себя особе, одаренной столь многими талантами: она никогда о них не говорила. Она брала из рук художника кисть и скорее в шутку, чем всерьез, ловко делала набросок головы, приводя всех в изумление.

Еще в те времена, когда Орели прозябала в должности помощницы классной дамы, она от безделья взялась за науки; но с тех пор как ей пришлось вести существование содержанки, эти добрые семена покрылись толстым слоем соли, и, естественно, она оказала честь своему Артуру, вновь взрастив для него драгоценные ростки. Итак, Орели для начала выказала поразительное бескорыстие, что и помогло этому утлому суденышку надежно пришвартоваться к мощному кораблю дальнего плавания. Тем не менее к концу первого года, всякий раз когда маркиз поджидал Орели у нее на дому, она, при возвращении, нарочно долго топотала в прихожей деревянными башмаками и с искусным смущением старалась скрыть невероятно запачканный грязью подол юбки. Наконец Орели сумела убедить своего толстяка, что самая заветная ее мечта, после стольких падений и взлетов, обзавестись, как честной буржуазке, своим домком; в результате чего на десятый месяц их связи началась вторая фаза.

Теперь г-жа Шонтц жила в прекрасной квартире на улице Нев-Сен-Жорж. Артур не мог больше скрывать от г-жи Шонтц размеры своего состояния, он подарил ей богатую мебель, столовое серебро, стал давать тысячу двести франков в месяц, в ее распоряжении была маленькая одноконная коляска, правда, наемная, и он великодушно согласился даже оплачивать грума. Но Шонтц отнюдь не растаяла от этой щедрости, она поняла, что́ именно руководит ее Артуром, и разглядела в нем доподлинную «крысу». Маркизу прискучили рестораации, где обычно кормят отвратительно, где маломальски сносный обед обходится в шестьдесят франков, а если пригласишь трех друзей, то и в двести франков, и он предложил г-же Шонтц за сорок франков кормить его и еще кого-нибудь из приглашенных приятелей. Орели благоразумно согласилась, выдав, таким образом, г-ну де Рошфиду моральные векселя под его привычки. Орели не прогадала. Маркиз довольно благосклонно

выслушал ее, когда она заявила, что ей необходимо еще пятьсот франков в месяц на туалеты: не может же она позорить «своего толстяка», у которого друзья состоят членами Жокей-клуба.

— Представьте,— говорила она,— к нам заедут Растиньяк, Максим де Трай, д'Эгриньон, Ла-Рош-Югон, Ронкероль, Лагинский, Ленонкур или еще кто-нибудь из ваших приятелей и застанут вас с какой-то замарашкой! Красивое будет зрелище! Впрочем, положитесь на меня, вы на этом только выиграете!

В самом деле, Орели в новой фазе проявила новые качества. Став хозяйкой, она сумела извлечь из этого положения немало выгод. Хотя Орели имела в своем распоряжении всего лишь две тысячи пятьсот франков в месяц, она сводила концы с концами, не делая долгов,— вещь неслыханная в этом Сен-Жерменском предместье тринадцатого округа, и обеды у нее были гораздо лучше, чем у Нусингенов, вина подавались отличные, по десяти — двенадцати франков за бутылку. Не мудрено, что Рошфид был на седьмом небе, он мог чуть ли не каждый день приглашать приятелей к своей любовнице и при этом экономить. Не раз, обнимая Орели, он восклицал:

— Вот оно, истинное сокровище!

Вскоре он абонировал для нее треть ложи в Итальянской опере, потом стал водить даже на первые представления. Он начал советоваться со своей Орели по делам и признавал ее советы превосходными; Орели в изобилии снабжала его остротами, которые были еще не затрепаны в парижских салонах; возродилась слава Артура как остроумца. В конце концов он уверился, что любим искренне и любим за свои достоинства: Орели отказалась составить счастье русского князя, предлагавшего ей пять тысяч франков в месяц.

— Вам везет, дорогой маркиз,— вскричал старый князь Галатион, заканчивая в клубе обычную партию в вист.— Вчера, когда вы оставили нас с госпожой Шонтц наедине, не скрою, я хотел ее у вас отбить; и представьте, что она мне заявила: «Вы, говорит, князь, не так красивы, как де Рошфид, и притом вы старше; неизвестно еще, говорит, какой у вас характер, а он относится ко мне прямо как отец,— ну, скажите на

милость, какой мне смысл покидать его?.. Правда, у меня нет к Артуру той безумной страсти, которую я питала к разным шалопаям в лакированных, говорит, ботинках и чьи долги я платила; но я люблю его, как жена любит мужа, если только она честная женщина». И, вообразите,— вытолкала меня за дверь.

Эта речь не показалась Артуру преувеличением и возымела немаловажные последствия. Запустение некогда славного особняка Рошфидов дошло до пределов, ибо вскоре Артур перенес свое местопребывание и все свои развлечения к г-же Шонтц и блаженствовал. Еще бы! К концу третьего года он сэкономил четыреста тысяч франков и мог выгодно поместить их.

Началась третья фаза. Г-жа Шонтц стала самой нежной матерью маленькому сыну Артура, она сама провожала его в школу, заходила за ним после уроков; задаривала мальчика игрушками, сластями, деньгами, а он называл ее мамочкой и просто обожал. Постепенно она стала распоряжаться состоянием своего Артура, подговорила его играть на бирже, когда бумаги упали в цене перед пресловутым соглашением с Лондоном, свалившим министерство первого марта; Артур заработал на этом деле двести тысяч франков, а Орели не попросила для себя ни гроша. Но, будучи, как-никак, дворянином, Рошфид, поместив нажитые шестьсот тысяч франков в банк, перевел половину на имя мадемуазель Жозефины Шильтц. Небольшой особнячок на улице Лабрюйера поручили отделать архитектору Грендо, великому мастеру на малые поделки, и приказали превратить дом в роскошную бонбоньерку. Отныне де Рошфид перестал давать на жизнь г-же Шонтц,— она сама получала деньги и платила по счетам. Жена-поверенный блестяще оправдала это высокое звание, она сделала своего «толстяка» счастливейшим в мире человеком; изучив все его прихоти и капризы, она неукоснительно выполняла их, подобно тому, как мадам де Помпадур потакала всем фантазиям Людовика XV. Наконец, она стала официальной любовницей, любовницей признанной и самодержавной. Тогда она разрешила себе покровительствовать очаровательным юношам — художникам, молодым писателям, только что вкусившим славы, которые с пеной у рта отрицали всех масте-

ров, и старого и нового времени, и пытались создать себе громкое имя, ничего не делая. Поведение г-жи Шонтц, обнаружившей незаурядный тактический талант, лишний раз доказывало ее ум. Во-первых, десяток, а может быть, дюжина молодых людей забавляли Артура, поставляли ему остроты и тонкие суждения обо всем на свете, и в то же время их присутствие не могло бросить тень на безупречную репутацию хозяйки дома; во-вторых, все они считали Орели женщиной выдающегося ума. Таким образом, благодаря этой живой рекламе, этой ходячей светской хронике, г-жа Шонтц прослыла самой очаровательной дамой из всех прелестниц, когда-либо проживавших на границе, отделяющей тринадцатый округ Парижа от двенадцати остальных. Ее соперница Сюзанна Гайар, которая в 1838 году одержала над ней верх, сочетавшись законным браком с законным мужем (без этого плеоназма нельзя объяснить, что это было вполне официальное супружество), так вот эта Сюзанна, а также Фанни Бопре, Мариетта и Антония распускали слухи, более чем нелепые, о красоте этих молодых людей и злословили насчет того, что де Рошфид слишком уж охотно их принимает. Г-жа Шонтц, по ее собственному выражению, могла «дать три очка вперед» всем этим дамочкам по части остроумия; как-то за ужином, который Натан устроил у Флорины, после бала в Опере, Орели объяснила своим товаркам, как она добилась успеха и как сумела составить себе состояние. В заключение она бросила всего одну, ставшую знаменитой фразу: «Ну-ка, попробуйте, догоните!» В этот период Орели заставила маркиза продать своих скаковых лошадей, представив на этот счет соображения, которые она, несомненно, позаимствовала у критически мыслящего Клода Виньона, одного из ее завсегдатаев.

— Я еще допускаю,— сказала она Рошфиду как-то вечером, предварительно поиздевавшись над его страстью к лошадям,— что принцы крови и богатые люди усердно изучают коневодство для блага своей страны, но не для того же, чтобы удовлетворить ребяческое самолюбие игрока. Если бы еще у вас в имении был конский завод и вы бы вырастили там, ну, тысячу, тысячу двести лошадей, если бы каждый владелец выводил на состязания лучших питомцев своих заводов, если бы все

конские заводы по всей Франции состязались на наших празднествах, тогда это было бы действительно прекрасно и величественно; но вы покупаете случайные экземпляры, совсем как директора театров заключают договоры с актерами; вы унижаете благородное коневодческое дело, сводя его к простой игре, у вас своя лошадиная биржа, как есть, скажем, биржа фондовая. Это недостойно вас. Неужели нужно расходовать десятки тысяч франков, чтобы прочесть в газетах: «Лелия» господина де Рошфида побила по резвости «Флер-де-Жене» герцога де Реторе»? Уж лучше отдать эти деньги поэтам, они обессмертят вас своими стихами и прозой, как покойного Монтиона.

Замученный этими наставлениями, как рысак назойливым слепнем, маркиз признал всю бессмыслицу наездннческих забав и отказался от них, сэкономив тем самым шестьдесят тысяч франков. На следующий год г-жа Шонтц сказала ему:

— Я теперь уже ничего тебе не стою, Артур!

Многие богатые парижане стали завидовать маркизу, владевшему г-жой Шонтц, и пытались отбить ее; но, подобно князю Галатиону, они напрасно тратили на это последние годы жизни.

За две недели до своей декларации Орели сказала разбогатевшему Фино:

— Послушай, дружок, я уверена, что Артур простил бы мне маленькую интрижку, если бы я потеряла вдруг голову, но кто же бросит маркиза-младенца ради такого выскочки, как ты? Ты не можешь создать мне положение, а Рошфид сделал из меня вполне порядочную полудаму; тебе это не удастся, если даже ты на мне женишься.

Этот разговор оказался как бы последним гвоздем, заклепавшим наглухо оковы на нашем счастливом каторжнике. Ибо речи Орели дошли до слуха того, кому они и предназначались.

Итак, началась четвертая фаза — фаза привычки, решительная победа, когда подобного сорта дамы, заканчивая кампанию, говорят про мужчину: «Теперь уж не вырвется!» Рошфид купил на имя мадемуазель Жозефины Шильтц особнячок-игрушечку за восемьдесят тысяч франков, а к тому времени, когда герцогиня замы-

слила свой план, он уже просто называл свою любовницу не иначе как «Нинон Вторая», прославляя тем самым ее безукоризненную честность, прекрасные манеры, образованность и остроумие.

С г-жой Шонтц он познал самого себя — свои недостатки и достоинства, свои вкусы, горе и радости — и пришел к тому переломному периоду жизни, когда мужчина, то ли из-за усталости, то ли из равнодушия, если не из философических соображений, уже не меняется более и остается до конца дней со своей женой или любовницей.

За эти пять лет г-жа Шонтц приобрела такой вес, что в ее дом можно было попасть, только будучи задолго представленным хозяйке,— этим сказано все. Так, она наотрез отказывалась принимать людей богатых, но казавшихся ей скучными, людей с запятнанной репутацией; она нарушала свои строгие правила только ради носителей громких аристократических фамилий.

— Они имеют право быть глупыми,— заявила Орели,— потому что даже это получается у них шикарно.

Официально у Орели было всего триста тысяч франков, подаренных ей Рошфидом, и биржевой маклер, «наш славный Гобенхейм», единственный, кого признавала г-жа Шонтц среди дельцов подобного рода, пустил эту сумму в оборот; но она еще прикопила за три года двести тысяч франков, и вместе с доходами, получившимися от оборота с вышеуказанных трехсот тысяч, деньги эти составляли тайный капитал Орели, ибо она скрывала свои финансовые операции.

— Чем больше вы наживаете, тем меньше богатеете,— сказал ей как-то Гобенхейм.

— Овес нынче дорог,— отрезала Орели.

Эти тайные сокровища еще росли за счет драгоценностей и бриллиантов, которые Орели носила месяц — другой, а затем продавала, и наконец за счет сумм, выдаваемых Рошфидом на ее прихоти, от каковых она уже давно отказалась. Когда г-же Шонтц говорили о ее богатстве, она неизменно отвечала, что по курсу рента с трехсот тысяч составляет двенадцать тысяч франков и что она израсходовала их в те суровые дни своей жизни, когда еще любила Лусто.

Поведение г-жи Шонтц доказывало, что у нее имелся какой-то план, и уж, поверьте, у нее был свой план. В течение двух лет она завидовала г-же дю Брюэль, и ее терзало тщеславное желание обвенчаться в мэрии и в церкви. Какое бы общественное положение ни занимал человек, есть для него свой запретный плод; какая-нибудь мелочь в силу нашего необузданного желания вырастает до огромных размеров и становится по тяжести равной земному шару. Для осуществления тщеславных замыслов требовалось наличие какого-нибудь второго, достаточно тщеславного Артура, но даже при самой внимательной разведке такового обнаружить не удавалось. Бисиу считал, что избранником Орели является художник Леон де Лора; художник, наоборот, подозревал в том же самом Бисиу, которому уже перевалило за сорок и, значит, пора ему было подумать о своей судьбе. Подозревали также Виктора Верниссе, юного поэта школы Каналиса, который был страстно, до сумасшествия влюблен в г-жу Шонтц, а поэт утверждал, что его счастливым соперником является скульптор Штидман. Сей красивенький юноша работал на ювелиров, на торговцев бронзовыми статуэтками, на золотых дел мастеров,— он хотел стать вторым Бенвенуто Челлини. Время от времени подозрение падало то на Клода Виньона, то на юного графа Ла Пальферина, то на Гобенхейма, то на философа-циника Вермантона и на многих других завсегдатаев приятного салона г-жи Шонтц, но за неимением улик их объявляли невиновными. Словом, никто не был достоин г-жи Шонтц, даже сам Рошфид, который лично считал, что Орели неравнодушна к красивому и остроумному графу Ла Пальферину; на самом же деле Орели была добродетельна по расчету и мечтала только о том, как бы сделать хорошую партию.

В салоне г-жи Шонтц можно было встретить лишь одного человека с сомнительной репутацией, а именно некоего Кутюра, на которого весьма косились на бирже, но Кутюр был первым другом Орели, и она хранила ему верность. В 1840 году ложная тревога унесла последние капиталы этого спекулянта, который поверил в трюк первого марта; Орели, видя его мрачное настроение, посоветовала Рошфиду, как мы видели, играть на

понижение. Именно с ее легкой руки этого незадачливого организатора командитных товариществ стали тогда называть «чур-чур, Кутюр!» Кутюр хорошо знал, что у г-жи Шонтц всегда найдется для него тарелка супа и что Фино, самый ловкий или, если хотите, самый удачливый среди всех выскочек, ссудит его иной раз двумя-тремя тысячами франков, и Кутюр был единственным, кто по расчету решился бы предложить руку Орели. Она же присматривалась к несчастливому дельцу, желая угадать, хватит ли у него смелости попытать счастья в политике, а также признательности, чтобы не покинуть своей супруги.

Кутюр, мужчина лет сорока трех, весьма уже потрепанный, не мог бы искупить неблагозвучности своего имени блеском происхождения и потому не особенно распространялся о «виновниках своих дней». Г-жа Шонтц скорбела о том, как редки в наше время способные люди. и Кутюр сам представил ей некоего провинциала. Орели быстро поняла, что за него, если понадобится, не трудно будет ухватиться, как за кувшин с двумя ручками.

Набросать беглыми штрихами портрет этого нового действующего лица — значит, в какой-то мере обрисовать известный круг современной молодежи. Таким образом, читатель простит нам отступление, которое обогатит историю.

В 1838 году Фабиен дю Ронсере, сын председателя судебной палаты в городе Кан, умершего за год до того, покинул родной Алансон и, выйдя в отставку с должности, на которой прозябал по воле покойного родителя, отправился в Париж. Здесь он намеревался пробить себе дорогу, наделав тем или иным способом побольше шуму,— чисто нормандская идея и к тому же неосуществимая, ибо Фабиен с трудом мог рассчитывать лишь на ренту в восемь тысяч франков, так как матушка его еще здравствовала и занимала в центре Алансона большой дом, доходы с которого по завещанию мужа шли в ее пользу. Юный Ронсере уже не раз бывал в Париже, постепенно приноравливаясь к столице, как уличный гимнаст к своему канату. Он почувствовал подоплеку социальной встряски 1830 года и решил извлечь из нее выгоду, следуя примеру прославленных пролаз

из буржуазии. Здесь требуется кратко описать одно из характерных проявлений нового порядка вещей.

Современное равенство, развившееся сверх меры в наши дни, вызвало в частной жизни, в соответствии с жизнью политической, гордыню, самолюбие, тщеславие — три великие составные части нынешнего социального «я». Глупец жаждет прослыть человеком умным, человек умный хочет быть талантом, талант тщится быть гением; а что касается самих гениев, то последние не так уже требовательны: они согласны считаться полубогами. Благодаря этому направлению нынешнего социального духа палата пополняется коммерсантами, завидующими государственным мужам, и правителями, завидующими славе поэтов, глупец хулит умного, умный поносит таланты, таланты поносят всякого, кто хоть на вершок выше их самих, а полубоги — те просто грозятся потрясти основы нашего государства, свергнуть трон и вообще уничтожить всякого, кто не согласен поклоняться им, полубогам, безоговорочно. Как только нация весьма неполитично упраздняет признанные социальные привилегии, она открывает шлюзы, куда устремляется целый легион мелких честолюбцев, из коих каждый хочет быть первым; аристократия, если верить демократам, являлась злом для нации, но, так сказать, злом определенным, строго очерченным. Эту аристократию нация сменила на десяток аристократий, соперничающих и воинственных — худшее из возможных положений. Провозглашая равенство всех, тем самым как бы провозгласили «декларацию прав зависти». Ныне мы наблюдаем разгул честолюбия, порожденного революцией, но перенесенного в область внешне вполне мирную — в область умственных интересов, промышленности и политики, а поэтому известность, основанная на труде, на заслугах, на таланте, рассматривается как привилегия, полученная в ущерб остальным. Вскоре аграрный закон распространится и на поле славы. Итак, еще никогда, ни в какие времена, не было такого стремления отвеять на социальной веялке свою репутацию от репутации соседа, и притом самыми ребяческими приемами. Лишь бы выделиться любой ценой: чудачествами, притворной заботой о польских делах, о карательной системе, о судьбе освобожденных каторжников, о мало-

летних преступниках — младше и старше двенадцати лет, словом, о всех социальных нуждах. Эти разнообразные мании порождают поддельную знать — всяких президентов, вице-президентов и секретарей обществ, количество коих превосходит ныне в Париже количество социальных вопросов, подлежащих разрешению. Разрушили одно большое общество и теперь создают на его трупе и по его же образцу тысячи мелких обществ. Но разве эти паразитические организации не свидетельствуют о распаде? Разве это не есть кишение червей в трупе? Все эти общества суть детища единой матери — тщеславия. Не так действуют католическое милосердие или любая подлинная благотворительность; они изучают зло на тех самых язвах, которые стараются исцелить, а не разглагольствуют на собраниях о болезнетворных началах ради удовольствия поразглагольствовать.

Фабиен дю Ронсере, не будучи человеком выдающимся, разгадал инстинктом стяжателя, свойственным нормандцу, какие выгоды можно извлечь из описанных выше социальных пороков. У каждой эпохи есть свой особый характер, которым пользуются ловкие люди. Фабиен жаждал одного: чтобы о нем заговорили.

— Послушайте, друг мой, для того, чтобы стать кем-то, надо заставить говорить о себе,— поучал он, отъезжая в Париж, знаменитого в Алансоне Дюмускье, товарища своего покойного отца.— Знайте же, через полгода я буду более известен, чем даже вы сами!

Фабиен не пытался подчинить себе дух времени, он повиновался, следовал ему. Карьеру он начал среди парижской богемы, в этой особой области моральной топографии Парижа. (Смотри «Принц богемы» в «Сценах парижской жизни».) Здесь он был известен под кличкой «Наследник» по причине мотовских выходок, которые он заранее рассчитывал до гроша. Дю Ронсере воспользовался страстью Кутюра к хорошенькой г-же Кадин, одной из новых артисточек, которая считалась звездой в двух-трех захудалых театрах. Кутюр в пору своего кратковременного благоденствия устроил ей очаровательное гнездышко на улице Бланш, в первом этаже, с окнами в сад. Как раз в это время Ронсере и по-

знакомился с Кутюром. Нормандец, которому весьма улыбалось приобрести парижский шик готовеньким, купил у Кутюра мебель и все роскошества, по необходимости оставленные им в квартире Кадин, как-то: беседку для курения, куда вела деревянная резная галерея в сельском вкусе, застланная индийскими циновками и уставленная целой коллекцией прелестных глиняных ваз, —эта галерея предохраняла курильщиков от дождя в ненастную погоду. Когда «Наследнику» хвалили его жилище, он небрежно называл его своей берлогой. Провинциал благоразумно умалчивал, что в убранство этой квартиры архитектор Грендо вложил весь свой талант, скульптурные ее украшения были работы Штидмана, а роспись — Леона де Лора, ибо основным недостатком Фабиена было тщеславие, и ради того, чтобы возвеличить себя, он не прочь был солгать. Ко всей этой роскоши «Наследник» добавил еще теплицу, которая шла вдоль дома с южной стороны, и вовсе не потому, что он любил цветы, а потому, что решил поразить общественное мнение своей страстью к садоводству. В описываемое нами время он был почти уже у цели. Став вице-президентом какого-то общества садоводов, где председательствовал сам герцог Висембургский — брат князя Кьявари, младший сын покойного маршала Вернона,— Фабиен в скором времени украсил петлицу своего вице-президентского фрака ленточкой ордена Почетного легиона; произошло это после выставки цветов, на открытии которой Ронсере выступил с речью, кстати сказать, написанной за пятьсот франков журналистом Лусто, но произнесенной с подлинным вдохновением импровизатора. Он был награжден за цветок, который уступил ему старик Блонде из Аланcона, отец Эмиля Блонде, но Фабиен смело выдал эту прелестную розу за питомицу своей теплицы. Однако это еще не был настоящий успех. «Наследнику» страстно хотелось прослыть человеком умным, и он составил целый план, цель коего заключалась в том, чтобы проникнуть в круг людей прославленных и заблистать их блеском,— план тем более трудно выполнимый, что в основе его лежал скромный бюджет в восемь тысяч франков. Тогда-то Фабиен дю Ронсере начал просить поочередно, но безуспешно Бисиу, Штидмана, Леона де Лора

представить его г-же Шонтц; в этом зверинце он надеялся встретить хищников разных пород. Он до тех пор угощал в ресторанах Кутюра, пока тот решительно не заявил Орели, что ей не следует упускать такого чудака — ведь он может сослужить службу хотя бы в роли элегантного лакея, которым можно безвозмездно воспользоваться для кое-каких поручений, когда под рукой нет свободного слуги.

Через три вечера г-жа Шонтц разгадала Фабиена. «Вот кого я оседлаю, если с Кутюром сорвется. Теперь мое будущее обеспечено, как в банке!»

Этот дурак, над которым все издевались, вдруг стал любимчиком Орели; бедняга не знал, как оскорбительно это предпочтение, а остальным и в голову ничего не приходило,— настолько этот выбор казался неправдоподобным. Г-жа Шонтц очаровывала Фабиена улыбками, которые украдкой посылала ему, сценками, разыгрываемыми на пороге гостиной, когда он уходил последним, а г-н де Рошфид оставался ночевать. Она часто возила Фабиена вместе с Артуром в свою ложу в Итальянскую оперу и даже на первые представления; при этом мило извинялась и заявляла, что Фабиен оказывает ей столько услуг, что она просто не знает, чем его отблагодарить. Мужчинам свойственно глупое тщеславие; впрочем, оно роднит их с женщинами: им очень хочется быть любимыми беспредельно. И не может быть более лестной, более ценимой страсти, чем страсть таких дам, как г-жа Шонтц, ибо здесь вы становитесь предметом бескорыстной любви в противоположность той, другой... Такая женщина, как Орели, которая разыгрывала из себя светскую даму и, во всяком случае, превосходила свой круг, должна была льстить и льстила гордости Фабиена; нормандец влюбился в нее до такой степени, что всегда появлялся перед своей повелительницей в полном параде: в лакированных ботинках, в светло-желтых перчатках, в вышитой сорочке и жабо, в жилетах самых невероятных расцветок, словом, в облачении, достойном его преклонения перед обожаемым кумиром. За месяц до того дня, когда герцогиня де Гранлье совещалась с духовником, г-жа Шонтц открыла Фабиену тайну своего рождения и свое настоящее имя, и он никак не мог уразуметь, чему обязан таким

доверием. Две недели спустя Орели, пораженная тупостью нормандца, воскликнула:

— Боже мой, да я просто дурочка! Он, кажется, вообразил, что его можно полюбить за его несуществующие достоинства.

И тогда-то она повезла «Наследника» в Булонский лес в своей собственной коляске, ибо уже больше года у нее была хорошенькая коляска и маленькая низенькая каретка с парой лошадей.

Здесь, во время этого свидания, происходившего на глазах у многочисленной публики, она завела разговор о своей судьбе и прямо заявила, что хочет вступить в законный брак.

— У меня семьсот тысяч франков,— сказала она,— и уверяю вас, если я встречу человека честолюбивого, который сумеет меня понять, я переменю свою теперешнюю жизнь. Знаете, о чем я мечтаю? Я хочу стать честной женщиной, хочу войти в порядочное семейство и дать счастье своему мужу и детям.

Нормандец бесспорно стремился добиться милостей г-жи Шонтц; но жениться на ней! — этот замысел показался весьма несуразным тридцативосьмилетнему холостяку, которого Июльская революция произвела в судьи. Заметив эти колебания, г-жа Шонтц сделала Фабиена мишенью своих шуточек, острот, презрения и перенесла свою благосклонность на Кутюра. Через неделю этот делец, которому она намекнула на свои капиталы, предложил ей руку, сердце и будущее — три дара. в равной мере ничего не стоящие.

Все эти маневры г-жа Шонтц производила как раз в то время, когда герцогиня де Гранлье собирала подробные сведения о жизни и нравах Беатрисы с улицы Сен-Жорж.

По совету аббата Броссета герцогиня попросила маркиза д'Ажуда привести к ней короля политических бандитов, прославленного графа Максима де Трай, принца богемы, самого молодого из всех парижских молодых людей, хотя ему уже стукнуло пятьдесят. Господин д'Ажуда нарочно пошел в клуб на улице Бон, чтобы встретиться там с Максимом, пообедал с ним и предложил ему отправиться «помирать со скуки» к герцогу де Гранлье, который сидит дома один, потому что у него с

утра разыгралась подагра. Хотя д'Ажуда был зятем герцога де Гранлье и двоюродным братом герцогини и, следовательно, мог в любое время представить им Максима, прежде в их дом не допускавшегося, последний не заблуждался относительно причин этого внезапного приглашения. «Раз меня зовут,— думал де Трай,— значит, я понадобился герцогу или герцогине». Вот еще характерная черта нашего времени: особая клубная жизнь, где вы играете в карты с тем, кого не решитесь пригласить к себе домой.

Герцог де Гранлье оказал Максиму немалую честь: он появился перед своим гостем в приступе подагры. После пятнадцати партий виста герцог ушел к себе, оставив свою супругу наедине с Максимом и д'Ажуда. Герцогиня при содействии маркиза изложила г-ну де Трай свой проект и попросила его помощи, причем сделала вид, что ждет от него только дельного совета. Максим молча слушал речь герцогини, выжидая, пока она открыто не заговорит о его сотрудничестве.

— Сударыня, я понял все,— сказал он, бросив на герцогиню и на маркиза хитрый, глубокий, коварный, загадочный взгляд, которым подобные пройдохи умеют смущать своих собеседников.— Д'Ажуда подтвердит вам, что если есть в Париже человек, который может успешно провести эту двойную операцию, то этот человек — я, и притом я проведу ее так, что вы не будете ни в чем замешаны. Никто не узнает даже, что я был у вас сегодня. Однако прежде всего выработаем некоторые условия. Сколько вы рассчитываете пожертвовать...

— Столько, сколько понадобится.

— Прекрасно, герцогиня. Тогда, в качестве оплаты моих услуг, прошу вас удостоить меня чести — принять у себя и оказать покровительство моей жене.

— Как, ты женат?..— вскричал д'Ажуда.

— Я женюсь через две недели на единственной наследнице очень богатого, но крайне буржуазного семейства,— ничего не поделаешь, надо принести жертву на алтарь общественного мнения, я становлюсь опорой правительства. Решил, видите ли, сменить кожу. Итак, герцогиня, вы понимаете, сколь важно для меня, чтобы вы и ваша семья приняли мою жену. Мне намекну-

ли, что я стану депутатом в связи с тем, что мой тесть предполагает удалиться на покой, и обещали, кроме того, дипломатический пост, соответствующий моему новому состоянию. Не вижу никаких оснований к тому, чтобы моя жена не была принята так же любезно, как госпожа де Портандюэр, в том обществе молодых дам, где блистают супруги де Лабасти, Жоржа де Мофриньез, де Лесторада, дю Геника, д'Ажуда, Ресто, Растиньяка и Ванденеса! Моя жена — хорошенькая женщина, и я берусь ее разбуржуазить!.. Подходит это вам, герцогиня?.. Вы верующая, и если вы скажете мне просто «да», ваше обещание, которое для вас священно, много поможет мне в переломную минуту моей жизни. Вот вам и еще одно доброе дело, совершите же его!.. Увы!.. Я достаточно долго подвизался в роли короля шалопаев, пора с этим покончить. Что ни говорите, но наш герб — лазурное поле с химерой, мечущей огонь, пересеченное зелеными полосами, навершье — горностаевая мантия. Этот герб у нас со времен Франциска Первого, который счел необходимым возвести в дворянство постельничьего Людовика Одиннадцатого, а графский титул мы носим со времен Екатерины Медичи.

— Я приму, я буду всячески опекать вашу жену,— торжественно произнесла герцогиня,— и никто из моей семьи не отвернется от нее, даю вам в этом слово!

— Ах, герцогиня! — воскликнул Максим, заметно растроганный.— Если и герцог пожелает отнестись ко мне благосклонно, обещаю вам уладить ваше дело так, чтобы оно не обошлось вам особенно дорого. Но,— продолжал он помолчав,— вы должны следовать всем моим указаниям... Пусть это будет последней интригой в моей холостяцкой жизни, и ее я проведу блестяще... тем более что речь идет о добром деле,— добавил он с усмешкой.

— Следовать вашим указаниям? — переспросила герцогиня.— Значит, я буду явно замешана во всем этом?

— Ах, сударыня, я вас не скомпрометирую,— живо возразил Максим,— я слишком уважаю вас и приму все меры. Речь идет единственно о том, чтобы вы следовали моим советам. Надо, чтобы госпожа дю Геник увезла своего супруга и чтобы он года два был в отсутствии: пусть она отправится с ним в путешествие, посмот-

рит Швейцарию, Италию, Германию: словом, чем больше стран они посетят, тем лучше.

— Значит, вы разделяете страхи моего духовника?— наивно вскричала герцогиня, вспомнив здравое замечание аббата Броссета.

Максим де Трай и д'Ажуда не могли удержаться от улыбки при мысли о таком совпадении,— в данном случае небеса и ад были в полном согласии.

— Чтобы госпожа де Рошфид никогда больше не виделась с Каллистом,— продолжала герцогиня,— мы отправимся путешествовать всей семьей — Жюст с женой, Каллист с Сабиной и я. А Клотильду мы оставим с отцом...

— Не будем заранее праздновать победу, сударыня,— остановил ее Максим,— я предвижу огромные трудности, но, без сомнения, я справлюсь. Ваше уважение и ваше покровительство — достаточно высокая награда, и я готов совершить самые страшные мерзости; но это будут...

— Мерзости? — переспросила герцогиня, прерывая этого современного кондотьера, и лицо ее выразило одновременно брезгливость и удивление.

— И вам придется окунуться в них, сударыня, поскольку я лишь уполномоченный. Но вы не знаете, должно быть, до какой степени ослеплен ваш зять прелестями госпожи де Рошфид; мне об этом рассказывали Натан и Каналис, между которыми колебался ее выбор, пока Каллист не бросился очертя голову в пасть этой львицы. Беатриса сумела внушить простодушному бретонцу, что она никого никогда, кроме него, не любила, что она — сама добродетель, что Конти она любила умом, что в этой любви сердце и все прочее оставалось в стороне, словом, любила его чисто музыкальной любовью!.. Ну, а Рошфида она любила по обязанности. В итоге она, по ее словам, просто девственница! И доказывает это как нельзя убедительней; она не помнит, что у нее есть сын, и вот уже целый год даже не пыталась увидеть его. Добавлю, что маленькому графу уже двенадцать лет и в госпоже Шонтц он нашел настоящую мать, тем паче что материнство, как вы знаете, у девиц такого рода — настоящая страсть. Дю Геник даст себя изрубить в куски и изрубит в куски свою жену ради

Беатрисы! И вы полагаете, что легко вернуть мужчину, когда он погряз в пучине слепой доверчивости... В этом случае, сударыня, сам шекспировский Яго зря подбросил бы дюжину носовых платков. Принято считать, что истинные представители великой любви — это Отелло, младший его брат Оросман, Сен-Пре, Ренэ, Вертер и прочие! Нет, у их творцов были ледяные сердца, они не знали, что такое безграничная любовь! Один Мольер ее понимал! Любовь, сударыня,— это, ей-богу же, не значит любить благородную женщину: великое ли дело обожать какую-нибудь Клариссу? Нет, подлинная любовь говорит: «Я люблю ее, пусть она низкое существо, пусть обманывает меня и будет обманывать впредь, пусть она видала виды, пусть она прошла огонь и воду!» И все-таки бежишь к ней и видишь синеву небес, райские цветы. Вот так любил Мольер, вот так любим мы, шалопаи, ибо я плачу, когда мне показывают на сцене Арнольфа!.. И так любит ваш зять Беатрису!.. Мне трудно будет оторвать де Рошфида от госпожи Шонтц, но госпожа Шонтц сама, без сомнения, нам поможет: я изучу их отношения. Ну, а для Каллиста и Беатрисы требуется нечто более сильное — удар топора, измена страшная и столь гнусная, что ваше благочестивое воображение не может опуститься на такое дно, разве что ваш духовник сведет вас туда за руку... Вы требуете невозможного,— я к вашим услугам... И хотя я пущу в ход железо и пламень, я не могу твердо обещать вам успеха. Я знавал любовников, которые не отступались от своих возлюбленных даже перед лицом самых ужасных разочарований. Вы полны добродетели и не можете знать, как порабощают нас женщины, у которых ее нет...

— Не приступайте ко всем этим мерзким делам, прежде чем я не посоветуюсь с аббатом Броссетом, он мне объяснит, до каких пределов мне позволительно дойти в качестве вашей соучастницы! — вскричала герцогиня, и в этом наивном восклицании сказался весь эгоизм благочестивой дамы.

— Вы ничего и знать не будете, любящая мать! — добавил маркиз д'Ажуда.

На крыльце, в ожидании кареты, д'Ажуда сказал Максиму:

— Вы совсем запугали нашу добрую герцогиню.

— Но ведь она не знает, чего, в сущности, требует, насколько это сложное дело... Заедемте в Жокей-клуб... Я хочу, чтобы де Рошфид пригласил меня завтра на обед к госпоже Шонтц, ибо к утру мой план будет готов, и я намечу, с какой пешки начинать партию, которую нам предстоить разыграть. В пору своего расцвета Беатриса, видите ли, не желала меня принимать,— я сведу нынче с ней счеты и так отомщу вашей невестке, что она, пожалуй, признает меня чересчур уж мстительным...

На следующий день де Рошфид заявил Орели, что у них обедает Максим де Трай; он сказал это с умыслом, желая, чтобы г-жа Шонтц показала себя во всем блеске и приготовила самый тонкий обед для этого заслуженного чревоугодника и волокиты, перед которым трепетали все дамы такого сорта, как Орели; г-жа Шонтц на сей раз особенно позаботилась как о своем туалете, так и об обеде.

В Париже существует столько же королей, сколько имеется различных искусств, видов морали, наук, профессий; у самого видного и преуспевающего специалиста в той или иной области есть свой двор, свои почтительные придворные, которые прекрасно знают, как трудна роль короля, и отдают дань уважения тому, кто умеет хорошо ее играть. В глазах «крыс» и куртизанок Максим слыл человеком могущественным и способным, ибо обладал даром привлекать сердца. Им восхищались все те, кто знал, как трудно нынче жить в Париже в добром согласии со своими кредиторами; наконец по части элегантности, манер и ума у Максима был только один соперник, а именно знаменитый де Марсе, который пользовался Максимом для различных политических поручений. Этим и объясняется, почему герцогиня де Гранлье решила посоветоваться с графом де Трай, почему его так высоко ставила г-жа Шонтц и почему его слова должны были произвести сильнейшее впечатление на некоего юношу, уже достигшего известности, хотя и новичка в парижской богеме; именно с ним Максим де Трай и рассчитывал побеседовать завтра на Итальянском бульваре.

На следующее утро, когда граф де Трай только что поднялся с постели, ему доложили о приходе Фино, вызванного еще накануне. Максим попросил своего почи-

тателя как бы случайно свести его за завтраком в «Английском кафе» с Кутюром и Лусто и поболтать с ними в его присутствии. Фино, который состоял при графе де Трай на положении младшего адъютанта при маршале, не посмел отказаться; к тому же было бы слишком опасно раздразнить этого льва. Итак, когда Максим явился в кафе, он застал Фино и двух его приятелей уже за столиком; разговор с помощью Фино зашел о г-же Шонтц. Кутюр, подстрекаемый Фино и Лусто, который, сам того не подозревая, играл на руку Фино, сообщил графу все, что тот хотел знать об Орели.

В час дня Максим, покусывая кончик зубочистки, беседовал уже с банкиром дю Тийе на террасе кафе Тортони, где спекулянты открыли свою маленькую биржу — преддверье настоящей. Казалось, он весь углубился в дела, но в действительности мысли его были заняты графом Ла Пальферином, который в этот час обычно проходил здесь. В наше время Итальянский бульвар — то же, чем был в 1650 году Новый мост: все знаменитости появляются здесь хоть раз в день. И в самом деле, через десять минут Максим отошел от дю Тийе и, дружески кивнув юному принцу богемы, сказал с улыбкой:

— На минутку, граф...

Два соперника, два светила — одно на ущербе, а другое — восходящее, уселись за столик у входа в «Кафе де Пари». Максим с умыслом поместился подальше от старичков, которые по привычке выползают в эти часы на солнышко, чтобы прогреть свои ревматизмы. Он имел достаточно оснований не доверять старикам (смотри «Деловой человек» в «Сценах парижской жизни»).

— У вас есть долги? — обратился Максим к своему собеседнику.

— Если бы у меня их не было, разве был бы я достоин стать вашим преемником?..— ответил Ла Пальферин.

— Задавая этот вопрос, я ничуть не сомневался в вашем ответе,— возразил Максим,—я только хочу знать, достаточно ли солидна общая сумма долга? Пять или шесть?

— Чего «шесть»?

— Шесть цифр. Сколько вы должны—пятьдесят или сто тысяч?.. Я, например, был должен около шестисот тысяч.

Ла Пальферин снял шляпу скорее с уважением, чем с насмешкой.

— Будь у меня кредит в сто тысяч,— ответил он,— я забыл бы о своих кредиторах и уехал бы в Венецию, проводил бы там жизнь среди прекраснейших творений искусства, ходил по вечерам в театры, коротал ночи с хорошенькими женщинами и...

— И кем бы вы стали в мои годы? — перебил его Максим.

— Мне никогда не сравняться с вами! — ответил молодой граф.

Максим отдал дань вежливости своему сопернику: он тоже слегка приподнял шляпу, с комической торжественностью.

— Ну что ж, можно по-разному относиться к жизни,— произнес он таким тоном, каким знаток говорит со знатоком.— Итак, вы должны?..

— О, жалкие пустяки, в которых я не посмел бы признаться даже дяде, будь у меня таковой,— он лишил бы меня наследства, услышав эту ничтожную цифру: шесть тысяч!

— Долг в шесть тысяч тяготит больше, чем долг в сто тысяч! — наставительно изрек Максим.— Ла Пальферин, у вас смелый ум, у вас ума даже больше, чем смелости, вы можете пойти очень далеко, сделать карьеру в политике. Знаете, среди тех, кто вступил на путь, с которого я схожу, и кого хотят мне противопоставить, вы — единственный пришлись мне по душе.

Ла Пальферин покраснел, так польстило ему это признание, которое с подкупающим добродушием сделал главарь парижских авантюристов. Самолюбие юноши было польщено, но в то же время он почувствовал себя униженным. Максим сразу разгадал опасный поворот, неизбежный при столь тонком уме, как у Ла Пальферина, и старый пройдоха решил спасти дело, выказав высокое доверие преемнику.

— Хотите оказать мне одну услугу и тем помочь мне покинуть парижское ристалище ради выгодного брака? В дальнейшем я сделаю для вас все! — добавил он.

— Я, чего доброго, возгоржусь: ведь это все равно, что разыграть басню «Лев и мышь»,— ответил Ла Пальферин.

— Прежде всего я дам вам взаймы двадцать тысяч франков,—продолжал Максим.

— Двадцать тысяч?.. Я так и знал, что, прогуливаясь по бульварам, я...— произнес Ла Пальферин как бы про себя.

— Дорогой мой, вас надо поставить на ноги,— сказал, улыбаясь, Максим,— но не следует ограничиваться парой ног, их требуется по крайней мере полдюжины; посмотрите на меня,— я никогда не вылезаю из своего тильбюри...

— Боюсь, что вы попросите от меня чего-нибудь такого, что превышает мои силы!

— Нет, не попрошу! Речь идет о том, чтобы в течение двух недель влюбить в себя женщину.

— Девицу легкого поведения?

— Почему вы спрашиваете?

— Потому, что с такой это было бы невозможно; но если речь идет о вполне порядочной да к тому же еще и умной женщине...

— Да, об одной очень известной маркизе.

— Вам нужны ее письма? — спросил молодой граф.

— Ах, умница! — воскликнул Максим.— Нет, речь не о том.

— Значит, нужно ее любить?

— Да... притом в самом реальном смысле.

— Если придется выйти за рамки моих эстетических воззрений, то это для меня просто невозможно,— возразил Ла Пальферин.— Видите ли, в отношении женщин я сохранил кое-какую честность: мы можем им изменять, но не...

— Вот именно! — снова вскричал Максим.— Неужели я похож на человека, которому нужны грошовые подлости? Нет, ты должен прийти, ослепить, победить... Мой дружочек, я дам тебе двадцать тысяч франков сегодня вечером и десять дней сроку. До свидания. Встретимся у госпожи Шонтц.

— Я там обедаю сегодня.

— Отлично,— сказал Максим.— Позже, когда вам, граф, потребуется моя помощь, смело обращайтесь ко

мне,— добавил он тоном короля, милостивое обещание которого равносильно обязательству.

— Должно быть, эта несчастная женщина причинила вам много зла? — осведомился Ла Пальферин.

— Не пытайся забрасывать лот в мои воды, дитя, и позволь добавить следующее: в случае успеха тебе обеспечено такое могущественное покровительство, что ты тоже сможешь сделать блестящую партию, когда тебе наскучит жизнь богемы...

— Стало быть, наступает такая минута, когда уже ничто не веселит? — спросил Ла Пальферин.— Когда надоедает быть беспечальным повесой, жить, как птица, носиться по Парижу, как дикарь за добычей, и хохотать по любому поводу?

— Все приедается, даже ад,— сказал со смехом Максим.— До вечера!

Оба авантюриста, старый и молодой, поднялись с места. Усаживаясь в маленькую изящную каретку, Максим вспомнил: «Госпожа д'Эспар не переносит Беатрису, она поможет мне!»

— К особняку Гранлье! — громко крикнул он кучеру, заметив проходившего мимо Растиньяка.

Всякому великому человеку свойственны слабости.

Максим застал герцогиню, г-жу дю Геник и Клотильду в слезах.

— Что случилось? — спросил он.

— Каллист не ночевал дома! Этого еще никогда не бывало, и моя бедняжка Сабина в отчаянии.

— Послушайте, герцогиня,— тихо произнес Максим де Трай, увлекая благочестивую даму к окну,— во имя самого господа бога, нашего высшего судьи, сохраните в глубочайшей тайне, и вы и д'Ажуда, мою преданность в отношении вас; пусть ваш зять никогда не узнает о наших кознях, в противном случае нам с ним придется драться на дуэли и драться насмерть. Когда я говорил вам, что это дело не будет стоить особенно дорого, я имел в виду, что вам не придется расходовать бешеных денег, мне потребуется приблизительно двадцать тысяч франков; во всем остальном доверьтесь мне. Придется также устроить двух-трех человек на хорошие должности, возможно, даже на должность начальника налогового управления.

Герцогиня в сопровождении Максима удалилась. Когда она вернулась в гостиную к дочерям, то услышала взволнованную речь Сабины: бедняжка жаловалась на свою семейную жизнь и рассказывала сестре, что Каллист позволяет себе поступки еще более жестокие, чем в тот раз, когда она впервые узнала о своем несчастье.

— Будь спокойна, моя крошка,— сказала герцогиня дочери,— Беатриса дорогой ценой заплатит за все твои слезы и муки; рука сатаны покарает ее, за каждое твое унижение она испытает десять горших.

Госпожа Шонтц пригласила на обед Клода Виньона, который неоднократно высказывал желание познакомиться с Максимом де Трай; были приглашены также Кутюр, Фабиен, Бисиу, Леон де Лора, Ла Пальферин и Натан. Этого последнего позвал сам де Рошфид для Максима. Таким образом, у Орели собралось девять человек гостей, и всё особы выдающиеся, за исключением одного только дю Ронсере; но нормандское тщеславие и грубая самоуверенность «Наследника» не уступали литературному таланту Клода Виньона, поэтичности Натана, тонкому уму Ла Пальферина, финансовой сметке Кутюра, остроумию Бисиу, расчетливости Фино, изощренности Максима де Трай и блеску Леона де Лора.

Стремясь показаться особенно молодой и прекрасной, г-жа Шонтц выбрала в тот день наряд, соответствующий высшему идеалу дам подобного сорта. На ней была пелеринка из тонкого, словно паутина, гипюра, синее бархатное платье с опаловыми пуговицами на корсаже; блестящие, как черное дерево, волосы были причесаны на пробор и спущены на уши. Своей репутацией хорошенькой женщины Орели была прежде всего обязана удивительно свежей коже матовых и теплых, как у креолки, тонов; только уроженки юга могут похвалиться такой выразительностью и живостью черт, несколько резких, зато долго сохраняющих юность,— законченный образец этой красоты являла неувядающая графиня Мерлен. К несчастью, г-жа Шонтц была небольшого роста да еще стала полнеть, с тех пор как ее жизнь потекла спокойно и мирно. Соблазнительно пухленькая шея и плечи уже начали заплывать жиром. Французы — верные поклонники кр-

сивых женских лиц, и их не смущает испортившаяся с годами фигура.

— Дорогая детка,— сказал Максим, входя в гостиную и отечески целуя г-жу Шонтц в лоб,— Рошфид пригласил меня полюбоваться вашим домом, ведь я еще ни разу не был у вас; ну что ж, здесь все достойно его ренты в четыреста тысяч франков. Ведь когда он познакомился с вами, ему до этой суммы не хватало пятидесяти тысяч; благодаря вам он их приобрел за пять лет, а какая-нибудь Антония, Малага, Кадин или Флорентина промотали бы эти деньги.

— Я не кокотка, я артистка! — не без достоинства возразила г-жа Шонтц.— Я надеюсь, как говорят авторы комедий, на счастливый конец; почему бы мне не стать родоначальницей почтенной французской фамилии!

— Это ужасно, все женятся! — сказал Максим, усаживаясь на кресло возле камина.— Я и сам намерен подарить свету графиню де Трай.

— Ах, как бы мне хотелось ее видеть! — воскликнула г-жа Шонтц.— Но позвольте,— продолжала она,— представить вам Клода Виньона. Клод Виньон — господин де Трай.

— Ага, это из-за вас Камилл Мопен, трактирщица нашей литературы, удалилась в монастырь? — промолвил Максим.— Прямо от вас да к господу богу... Мне никто не оказывал такой чести. Так поступали только ради Людовика Четырнадцатого...

— Вот как пишется история! — прервал его Клод Виньон.— Да разве вы не знаете, что она потратила свое состояние на то, чтобы выкупить земли дю Геников? Если бы Фелисите знала, кому достался Каллист (тут Максим толкнул критика ногой, указав ему взглядом на г-на де Рошфида), она бежала бы из кельи, чтобы вырвать его из объятий своей бывшей подруги.

— Ей-богу, Рошфид,— сказал Максим, видя, что Клод Виньон, несмотря на предупреждение, не собирается молчать,— я на твоем месте, друг мой, вернул бы жене ее состояние, а то, чего доброго, в свете могут подумать, что она цепляется за Каллиста по бедности.

— Максим совершенно прав,— вмешалась г-жа Шонтц, взглянув на Артура, который весь побагро-

вел.— Заработала же я для вас несколько тысяч франков ренты, вот вам лучшее их применение. Я составила бы счастье жены и мужа,— чем не награда за добродетель!

— Я никогда не думал об этом,— проговорил маркиз,— но вы правы, дворянин прежде всего дворянин, а уже затем — муж.

— Разреши подсказать тебе, когда настанет время сотворить это доброе дело,— сказал Максим.

— Послушай, Артур,—продолжала Орели,—Максим прав... не забудь, уважаемый: наши великодушные поступки подобны биржевым операциям Кутюра,— добавила она, глядя в зеркало, чтобы видеть входящих,— тут важно не упустить время.

В гостиную вошел Кутюр в сопровождении Фино. Через несколько минут гости перешли в прекрасный, голубой с золотом зал, гордость «Особняка Шонтц» (так прозвали свое пристанище художники и писатели с тех пор, как де Рошфид купил этот дом для своей Нинон Второй). Заметив вошедшего Ла Пальферина, который несколько запоздал, Максим направился к нему, отвел его в сторону и вручил двадцать банковых билетов.

— Главное, дружок, не прячь их под тюфяк,— присовокупил он с циничной грацией, присущей подобным шалопаям.

— Никто, кроме вас, преподнося дар, не умеет так удвоить его ценность,— ответил Ла Пальферин.

— Значит, ты решился?

— Иначе я не взял бы денег,— ответил молодой граф с высокомерным и насмешливым видом.

— Натан, который как раз сейчас здесь, через два дня представит тебя маркизе де Рошфид,— шепнул Максим де Трай графу.

Услышав это имя, Ла Пальферин так и подскочил.

— Не забудь, что ты безумно влюблен в нее; чтобы не возбуждать подозрений, пей вино, пей ликеры, напейся до положения риз! Я скажу Орели, чтобы она посадила тебя рядом с Натаном. Только, мой мальчик, нам теперь придется встречаться с тобой ежедневно на бульваре Мадлен, после часа ночи: ты будешь осведомлять меня о своих успехах и получать указания.

— Рад служить, маэстро...— сказал с поклоном юный граф.

— Как это ты решилась посадить нас с этим типом? Он одет, как лакей из ресторана,— шепнул Максим г-же Шонтц, указывая взглядом на Фабиена.

— Разве ты никогда его не видел? Это дю Ронсере из Алансона, по прозвищу «Наследник».

— Сударь,— обратился Максим к Фабиену,— вы, должно быть, знаете моего друга д'Эгриньона?

— Мы уже давно раззнакомились с ним,— ответил Фабиен,— но в дни ранней юности мы были неразлучны.

Обед был из тех, которые даются только в Париже и только у великих расточительниц,— их выдумки изумляют самых требовательных гастрономов. Именно о таком же ужине, у такой же красивой и богатой куртизанки, как г-жа Шонтц, Паганини заявил как-то, что он ничего подобного не едал ни у одного из владык мира, не пивал подобных вин ни у одного князя, нигде не слышал таких умных разговоров, не видел такой блистательной и кокетливой роскоши.

В десятом часу вечера Максим и Орели вышли из столовой первыми и уселись в гостиной, оставив сотрапезников за столом; а те, с трудом отрывая липкие губы от рюмок с ликером, рассказывали уже без обиняков самые скабрезные анекдоты и хвастались друг перед другом своими достоинствами.

— Ты не ошиблась, крошка,— сказал Максим,— да, я пришел сюда ради твоих прекрасных глаз. Речь идет об одном крупном деле: тебе придется бросить Артура; но зато я устрою так, что он предложит тебе двести тысяч франков.

— А чего ради мне бросать моего горемыку?

— Чтобы выйти замуж за этого болвана, который приехал из Алансона именно с целью брака. Он уже был судьей, я сделаю его председателем суда вместо Блонде,— старику перевалило за восемьдесят; и, если ты умно поведешь свою семейную ладью, твой муженек станет со временем депутатом. Вы войдете в почет, и ты перещеголяешь графиню дю Брюэль...

— Едва ли! — воскликнула г-жа Шонтц.— Ведь она графиня.

— А у этого Фабиена есть какие-нибудь основания стать графом?

— Постой-ка, у него имеется герб,— ответила Орели. Она порылась в великолепной корзиночке, висевшей возле камина, достала оттуда письмо и протянула его Максиму.— Что это значит? Там какие-то гребешки...

— На серебряном поле три червленые гребня — два и один, перекрещенные с тремя пурпуровыми виноградными гроздьями с зелеными листочками — одна и две; внизу — по лазоревому полю четыре золотых пера, образующих решетку, девиз — «Служить» и шлем оруженосца. Не больно-то жирно! Дворянство они, по-видимому, получили при Людовике Пятнадцатом. Вероятно, один из дедов был галантерейщик, а по материнской линии — они разбогатевшие виноторговцы; первый дю Ронсере, возведенный в дворянство, служил в суде — какой-нибудь приказный... Но если тебе удастся отделаться от Артура, господа дю Ронсере будут по меньшей мере баронами,— ручаюсь тебе в том, кошечка. Видишь ли, дитя мое, придется лет пять—шесть прокоптеть в провинции, если ты хочешь, чтобы госпожа Шонтц умерла и возродилась уже в облике супруги председателя суда. Этот дуралей так пялит на тебя глаза, что сомневаться в его намерениях не приходится: он у тебя в руках...

— Ты ошибаешься,— возразила Орели,— когда я предложила ему жениться на мне, он отнесся к этому чересчур вяло,— вот так же, как нынче идут акции винокуренных заводов на бирже.

— Ну так я постараюсь подогреть его; он, должно быть, захмелел... Впрочем, пойди взгляни, как там чувствуют себя твои гости?..

— Мне нечего и ходить, я отсюда слышу голос Бисиу, он острит, хотя никто не обращает на него внимания, кроме моего Артура: он считает, что надо быть любезным с Бисиу; сам, небось, засыпает, а старается показать вид, что слушает.

— Тогда пойдем к ним!

— Кстати, в чьих интересах я буду работать, Максим?

— В интересах госпожи де Рошфид,— отрезал де

Трай,— ее невозможно помирить с Артуром, пока ты его держишь; она должна стать хозяйкой дома и ренты в четыреста тысяч франков!

— А мне предлагает всего двести тысяч франков? Нет уж, от нее я меньше трехсот тысяч не возьму. Как! Я заботилась о ее мальчишке и о ее супруге, я замещала ее во всем и везде, а она скряжничает! Нет, дружок! Я хочу сколотить миллион — вот и давайте сколько мне не хватает. А если ты вдобавок пообещаешь нам место председателя суда в Алансоне, я смогу поважничать в роли госпожи дю Ронсере.

— Идет,— ответил Максим.

— И натерплюсь же я скуки в этой дыре,— философски заметила Орели.— Д'Эгриньон и наша Валь-Нобль столько рассказывали об этой богоспасаемой провинции, что мне кажется, будто я прожила там уже лет десять.

— А что, если я пообещаю тебе поддержку и покровительство алансонской знати?

— Ах, Максим, ты столько мне уже наобещал!.. Да ведь мой голубок не хочет взлетать...

— Ничего, взлетит, он достаточно безобразен: черномазый, толстый, вместо бакенбардов — свиная щетина, да и вообще он похож на свинью, хоть и смотрит коршуном. Вот это настоящий председатель суда! Не беспокойся, через десять минут он споет тебе арию Изабеллы из четвертого акта «Роберта Дьявола»: «Я у ног твоих...» Но удастся ли тебе кинуть Артура к ногам Беатрисы?

— Трудновато, но общими усилиями, пожалуй, добьемся.

В половине одиннадцатого гости перешли в залу, где был сервирован кофе. Имея в виду взаимоотношения г-жи Шонтц, Кутюра и дю Ронсере, нетрудно себе представить, что почувствовал честолюбивый нормандец, подслушав разговор между Максимом и Кутюром. Вот что сказал незадачливому дельцу де Трай, отведя его в уголок и понизив голос, впрочем, с таким расчетом, чтобы его слова долетели до Фабиена:

— Дорогой мой, если вы человек с головой, вы согласитесь принять должность главного сборщика налогов в каком-нибудь отдаленном департаменте,— это устроит

госпожа де Рошфид. Орели принесет вам в приданое миллион, и вы легко сможете внести залог, а при женитьбе добейтесь в контракте раздельного владения имуществом. Со временем, если вы умело поведете дела, вы станете депутатом, и в качестве единственной награды за то, что я спасаю вас, прошу предоставить в мое распоряжение ваш голос.

— Я горжусь тем, что буду солдатом гвардии де Трай...

— Ах, дорогой мой, вам повезло! Представьте себе только,— наша Орели влюбилась в этого нормандца из Алансона, и подумайте, чего она потребовала: сделать его бароном, председателем суда в его родном городе и кавалером ордена Почетного легиона! А этот болван не понял, чего стоит госпожа Шонтц. Она, конечно, страшно раздосадована, а вам это на руку; только торопитесь, а то она девица умная, что доброго, раздумает. Ну-с, будем ковать железо, пока горячо.

Максим оставил опьяневшего от счастья Кутюра и обратился к Ла Пальферину:

— Хочешь, я подвезу тебя, дружок?

В одиннадцать часов в гостиной остались только Орели с Кутюром, Фабиен и Рошфид. Артур дремал в глубоком кресле, а оба поклонника всячески старались выжить один другого, но безуспешно... Г-жа Шонтц положила конец этой борьбе,— она отослала Кутюра со словами «До завтра, дорогой мой!», что тот принял за доброе предзнаменование.

— Сударыня,— вполголоса произнес Фабиен,— не отрицаю, что, когда вы меня осчастливили предложением,— правда, в косвенной форме,— я впал в некоторое раздумье; верьте, я лично не колебался бы ни минуты, но вы не знаете моей матушки,— она никогда не согласится на мое счастье...

— По-моему, вы достигли такого возраста, когда человек сам распоряжается собой,— дерзко ответила Орели.— Но если вы боитесь маменьки, тогда нам не о чем разговаривать.

— Жозефина! — нежно произнес «Наследник», смело обвивая рукой талию г-жи Шонтц.— Ведь вы любите меня?

— Ну?

— Быть может, мне удастся образумить мою мать и получить не только ее согласие...

— А каким образом?

— Если вы захотите употребить свое влияние...

— И сделать тебя бароном, кавалером Почетного легиона, председателем суда,— не так ли, дружок? Выслушай же меня: я столько на своем веку испробовала, что и добродетель мне по плечу! Могу стать честной, порядочной женщиной, могу добиться для своего мужа очень высокого положения; но я хочу, чтобы он любил меня, чтобы все его взгляды, все его чувства были прикованы ко мне, чтобы он не грешил ни словом, ни делом, ни помышлением... Согласен? Смотри, не связывай себя опрометчиво, ведь дело идет, миленький, о всей твоей жизни.

— С такой женой, как вы, я соглашусь на что угодно,— ответил Фабиен, пьянея от взглядов Орели больше, чем от поглощенных им ликеров.

— И тебе никогда не придется раскаиваться, котик! Ты будешь пэром Франции... А этот несчастный старикашка,— добавила она, посмотрев на дремлющего Рошфида,— отныне не получит ни-че-го!

Это было сказано так мило, так задорно, что Фабиен схватил г-жу Шонтц и в порыве бурной радости поцеловал ее; двойное опьянение, от вина и любви, уступало более крепкому хмелю — счастья и тщеславия.

— Постарайся, дорогой мой,— сказала Орели,— с сегодняшнего дня хорошо вести себя с твоей женушкой, не разыгрывай влюбленного и не мешай мне благопристойно выбраться из грязины. А наш Кутюр уже вообразил себя богачом и главным сборщиком налогов!

— Я ненавижу этого человека,— промолвил Фабиен,— и не желаю его больше видеть.

— Хорошо, я не буду принимать его,— ответила куртизанка с ужимками, изображавшими целомудренное достоинство.— А теперь, дорогой Фабиен, раз уж мы обо всем условились, иди домой,— час ночи.

В семейной жизни Орели и Артура, доселе ничем не омрачаемой, после этой сцены началась эра супружеских стычек, которые разгораются у каждого домашнего очага, когда одной из сторон движет тайный расчет.

На следующее утро Артур проснулся один в супруже-

ской постели, и г-жа Шонтц встретила его пробуждение таким холодом, на который способны только дамы подобного сорта.

— Что произошло за ночь? — спросил во время завтрака маркиз де Рошфид, украдкой бросая взгляды на Орели.

— То, что всегда происходит в Париже,— ответила она.— С вечера засыпаешь при сырой погоде, а утром смотришь — на улице сухо, все подмерзло, даже пыль летает. Не угодно ли вам щетку?

— Да что с тобой, моя крошка?

— Можете отправляться к вашей долговязой кляче, к вашей супруге.

— К моей супруге?..— воскликнул несчастный маркиз.

— Неужели вы думаете, что я не догадалась, зачем вы привели Максима?.. Вы просто хотите помириться с госпожой де Рошфид; ей, очевидно, требуется ваше присутствие, чтобы прикрыть свой грех, возможно, даже какого-нибудь прижитого ублюдка. А я-то, я-то еще советовала вам отдать ей деньги! Хороша умница, как вы меня называете!.. Не беспокойтесь, я вижу, что вы задумали! К концу пятого года я вам прискучила, сударь. Я, видите ли, располнела, а у Беатрисы — кости торчат, вот вас и потянуло к ней, для разнообразия. Вы не первый и не последний любитель скелетов. Ваша Беатриса, впрочем, хорошо одевается, а вы из тех мужчин, что обожают вешалки. Потом вам не терпится прогнать господина дю Геника. Еще бы, такое торжество!.. Да вы прославитесь, о вас станут говорить, вы будете героем дня!

Г-жа Шонтц не давала Артуру открыть рта и только к двум часам дня истощила запас своих издевательств. Она заявила, что обедает в городе. Орели выразила надежду, что ее «неверный» сумеет обойтись без нее в Опере, она же намерена отправиться на первое представление в Амбигю-Комик, где ее познакомят с прелестной г-жой де Бодрэ, любовницей Лусто. Стремясь доказать вечную преданность своей «крошке Орели» и отвращение к жене, Артур предложил г-же Шонтц завтра же уехать в Италию. Они поселятся, как законные супруги, в Риме, в Неаполе, во Флоренции — по выбору

Орели, он запишет за ней ренту в шестьдесят тысяч франков.

— Все это штучки,— отрезала та.— Это ничуть не помешает вам помириться с вашей супругой. Ну и хорошо сделаете.

После этого беспримерного диалога Артур и Орели расстались. Он поплелся в клуб пообедать и сыграть партию в вист, а она стала переодеваться, так как этот вечер решила провести наедине с Фабиеном.

Господин де Рошфид встретил Максима в клубе и начал жаловаться ему на свою судьбу; он чувствовал, как у него прямо из груди вырывают сердце, а с ним и блаженство. Максим слушал сетования маркиза, как умеют слушать только вежливые люди, то есть с самым внимательным видом глядел на собеседника и думал о чем-то своем.

— Ты не ошибся, обратившись ко мне за советом в таком вопросе, дорогой мой,— сказал он.— Так знай же: ты сделал непростительную оплошность, показав Орели, как она тебе дорога. Дай-ка я познакомлю тебя с Антонией. У нее сердце как раз сдается внаем. И ты увидишь, что твоя Шонтц станет шелковая. Ей ведь тридцать семь лет, а Антонии не больше двадцати шести. И какая женщина! У нее только голова глупая, а вообще-то она... Впрочем, она моя ученица. Если госпожа Шонтц упрется, знаешь, что это значит?..

— Ей-богу, не знаю.

— А это значит, что она решила выйти замуж, и ничем ты тогда ее не удержишь. После шести лет контракта она, бедняжка, имеет на это право... Но если ты захочешь послушать меня, я посоветую тебе кое-что получше. Твоя жена нынче в тысячу раз заманчивее, чем все эти Шонтцы и Антонии из квартала Сен-Жорж. Правда, борьба будет нелегкая, но победа все же возможна, и на сей раз твоя жена сделает тебя счастливым, как Эльмира — Оргона! При всех обстоятельствах, если ты не хочешь попасть в дурацкое положение, ты должен нынче вечером поужинать у Антонии.

— Нет, я слишком люблю Орели, я не желаю, чтобы она могла меня хоть в чем-нибудь упрекнуть.

— Ах, дорогой мой, какую же страшную судьбу ты себе готовишь!..— вскричал Максим.

— Одиннадцать часов, она, должно быть, уже вернулась из театра,— сказал Рошфид, уходя из клуба.

И он громовым голосом приказал кучеру гнать во весь опор на улицу Лабрюйера.

Г-жа Шонтц дала прислуге точные указания, и маркиз де Рошфид возвратился домой, как будто он был в добром согласии с Орели; но, предупрежденная о его появлении в прихожей, она постаралась, чтобы до слуха Артура долетел громкий стук двери, ведущей в туалетную комнату,— именно так захлопывают двери застигнутые врасплох жены. Потом, как раз когда Артур завел разговор с Орели, горничная очень неловко унесла из гостиной шляпу Фабиена, умышленно забытую им на рояле.

— Значит, ты не была в театре, крошка?

— Да, дорогой, я передумала, я решила немножко помузицировать.

— А кто у тебя был? — добродушно спросил маркиз, видя, что горничная уносит из гостиной мужскую шляпу.

— Да никто.

Услышав эту наглую ложь, Артур понурил голову; он вступил на торную дорожку попустительства. Истинная любовь имеет свои возвышенные слабости. Артур вел себя в отношении г-жи Шонтц так же, как Сабина в отношении Каллиста и как Каллист в отношении Беатрисы.

В течение недели молодой, остроумный и прекрасный граф Шарль-Эдуард Рустиколи де Ла Пальферин претерпел настоящую метаморфозу, превратившись из куколки в бабочку, но, поскольку он является героем рассказа «Принц богемы» (смотри «Сцены парижской жизни»), нам нет необходимости рисовать здесь его портрет и его характер. До сего времени он жил в нищете и с мужеством Дантона отбивался от кредиторов; теперь он заплатил долги; следуя совету Максима де Трай, граф завел низенькую каретку, стал членом Жокей-клуба и клуба на улице Граммона, начал одеваться у лучшего портного; наконец поместил в «Журналь де Деба» рассказ, и это сразу же принесло ему славу, о которой и мечтать не могут профессиональные писатели, добиваю-

щиеся успеха упорным трудом, ибо в Париже вызывает шум именно то, что мимолетно.

Натан отлично знал, что граф никогда ничего больше не напишет и не напечатает, и поэтому так расхвалил у г-жи де Рошфид очаровательного и дерзкого юношу, что Беатриса, заинтересованная рассказами поэта, выразила желание видеть этого юного короля светских бродяг.

— Он придет с тем бóльшим удовольствием,— заявил Натан,— что до безумия влюблен в вас, я знаю это.

— Говорят, что он и так уж немало наделал безумств...

— Как вам сказать...— ответил Натан,— он еще никогда не любил порядочной женщины.

Через несколько дней после начала заговора, подготовленного на Итальянском бульваре Максимом и неотразимым графом Шарлем-Эдуардом, этот юноша, которому природа как бы по иронии дала очаровательное, полное тихой грусти лицо, впервые проник в гнездо голубки с улицы Шартр, пригласившей гостя в свободный вечер, когда Каллист должен был сопровождать свою супругу в свет. Если вы встретитесь с Ла Пальферином или познакомитесь с ним в «Принце богемы», в третьей книге пространной истории наших нравов, вы не удивитесь, что его искрометный ум, его бурный темперамент одержали победу в первый же визит, особенно если вы вспомните, что руководил им такой мастер своего дела, как Натан. Натан повел себя как добрый друг, он искусно «подавал» молодого графа во всем его блеске, как ювелир, предлагая покупателю драгоценное ожерелье, искусно поворачивает его так, чтобы заиграл каждый камешек. Ла Пальферин скромно удалился первым; он оставил маркизу наедине с Натаном, уверенный в поддержке и помощи знаменитого поэта, который и в самом деле выказал себя с наилучшей стороны. Видя, что маркиза ошеломлена, Натан всякими недомолвками и намеками заронил в ее сердце искру такого любопытства, которого Беатриса в себе и не подозревала. Так, Натан намекнул, что успеху у женщин Ла Пальферин обязан не столько своему уму, сколько умению любить, и тут поэт не поскупился на похвалы. Здесь уместно будет

подчеркнуть, как много душевных потрясений и просто странностей порождается великим законом контрастов, заслуживающим поэтому не меньше внимания, чем закон сходства. И вот еще один пример тому. Куртизанки (если иметь в виду определенный тип представительниц прекрасного пола, которых каждую четверть века отлучают от добродетели, прощают и отлучают вновь), хранят в глубине сердца неутолимое желание обрести свободу и любить чистой, святой и благородной самоотверженной любовью (смотри «Блеск и нищета куртизанок»). Эта противоречивая потребность владеет ими столь сильно, что почти каждая мечтает через любовь выйти на стезю добродетели. Даже самый страшный обман не может их разочаровать. И, напротив, женщины, которых сдерживает воспитание, а также положение, занимаемое ими в обществе, или родовитость, женщины, живущие среди роскоши, в ореоле добродетели, тянутся — тайком, разумеется,— к тропической зоне страстей. В этих двух столь противоположных женских мирах живет или робкая мечта о добродетели,— я имею в виду куртизанок,— или робкое влечение к распутству — у светских дам, о чем имел смелость первым заявить Жан-Жак Руссо. У куртизанки — это последний отблеск небесного луча; у светской дамы — следы нашей первородной грязи. Натан сумел ухватиться как раз за этот последний коготь зверя, за остаток дьяволова копыта. Маркиза серьезно забеспокоилась — уж не перемудрила ли она в жизни, так и не постигнув полностью науки нежных чувств Порок? Возможно, что это просто желание изведать все. На следующий день Каллист явился Беатрисе тем, чем он и был на самом деле,— честным и превосходным дворянином, но лишенным блеска и остроумия. В Париже обладать этими качествами — означает извергать остроумие фонтанами, ибо светские люди, да и вообще парижане, сплошь остроумны; но Каллист любил слишком сильно, он был слишком поглощен своим чувством и, не заметив перемену, происшедшую в Беатрисе, не сумел открыть перед нею новые, еще неведомые ей источники наслаждения; он показался маркизе тускловатым в отблеске вчерашнего вечера, и жаждавшая страстей Беатриса была разочарована. Великая любовь — это кредит, от-

крываемый столь ненасытной силе, что разорение неизбежно. Хотя день прошел утомительно скучно (день женщины, впервые заскучавшей в обществе любовника!), Беатриса трепетала при мысли, что к ней явится Ла Пальферин: встреча между достойным преемником Максима де Трай и храбрым без рисовки Каллистом могла оказаться роковой. И Беатриса раздумывала, следует ли впредь принимать у себя юного графа; но этот узел был разрублен волею случая.

Беатриса абонировала в Итальянской опере ложу в бенуаре, чтобы ее не видно было из зала. Осмелев со временем, Каллист стал сопровождать маркизу и обычно садился в ложе позади нее; они являлись в театр после поднятия занавеса, чтобы войти незамеченными. Не дожидаясь конца последнего акта, Беатриса покидала ложу, а Каллист издали следовал за ней, хотя старик Антуан всякий раз встречал свою хозяйку. Максим и Ла Пальферин проведали об этом маневре, подсказанном не только желанием соблюсти приличия, но и извечной склонностью влюбленных к уединению, а также страхом, преследующим каждую женщину, которую любовь вырвала из хора прославленных светил и бросила в разряд второстепенных. Муки позора могут тогда сравниться только с агонией, более жестокой, чем сама смерть; эта агония гордости, это презрение, которым женщины, оставшиеся на светском Олимпе, умеют обдать изгнанницу, вообще ужасны, а Максим постарался, чтобы Беатриса испила чашу унижения до дна. После представления «Лючии», заканчивающейся, как известно, триумфом Рубини, г-жа де Рошфид, одна, без Антуана, который почему-то замешкался, вышла из своей ложи в тот самый момент, когда целая толпа нарядных женщин заполнила лестницу и вестибюль, ожидая, пока слуга выкрикнет карету.

Сотни глаз разом устремились на Беатрису. То там, то здесь пробегал шепот, превратившийся в смутный гул. В мгновение ока толпа рассеялась, и маркиза вдруг очутилась одна, как зачумленная. Каллист заметил на ступенях лестницы свою жену и поэтому не осмелился приблизиться к отверженной. Напрасно Беатриса бросала на него затуманенные слезами взгляды и безмолвно молила прийти ей на помощь. В эту минуту Ла Паль-

ферин, изящный, великолепный, очаровательный Ла Пальферин, покинул двух своих спутниц, поклонился маркизе и заговорил с ней.

— Позвольте предложить вам руку. Постарайтесь пройти гордо,— произнес он,— я сейчас разыщу вашу карету.

— Хотите закончить вечер у меня? — спросила его Беатриса, усаживаясь в экипаж, и подвинулась, чтобы дать ему место рядом с собой.

Ла Пальферин крикнул своему груму: «Поезжай следом!» — и уселся в карету г-жи де Рошфид, к великому изумлению Каллиста, который не мог двинуться с места, словно ноги его вдруг налились свинцом. Беатриса заметила его бледное, помертвевшее лицо и именно поэтому пригласила с собой графа. Наши голубицы — это Робеспьеры с белыми перышками. Три кареты с молниеносной быстротой помчались на улицу Шартр — карета Каллиста, карета Ла Пальферина и карета маркизы.

— А-а, вы здесь? — сказала Беатриса, входя в гостиную под руку с юным графом и увидев там Каллиста, которому удалось обогнать два других экипажа.

— Значит, вы знакомы? — в бешенстве спросил Каллист Беатрису.

— Графа де Ла Пальферина мне представил Натан только несколько дней назад,— ответила Беатриса,— а вы, сударь, вы знаете меня уже четыре года.

— И поверьте, сударыня,— вмешался в разговор Шарль-Эдуард,— я еще припомню сегодняшний вечер маркизе д'Эспар, ее внукам и правнукам! Ведь это она первая бросилась от вас прочь...

— Ах, так это она! — воскликнула Беатриса.— Я отплачу ей.

— Для того, чтобы мстить, надо сначала отвоевать мужа, и я берусь примирить вас с вашим супругом,— шепнул юный граф на ухо маркизе.

Начавшаяся так беседа продолжалась до двух часов ночи, и Каллист, гнев которого, готовый вот-вот прорваться наружу, затихал под повелительным взглядом Беатрисы, не сумел вставить в разговор и двух слов. Ла Пальферин, ничуть не влюбленный в Беатрису, с величайшей непринужденностью расточал свое остроумие, очаровывал, блистал хорошим вкусом, а несчастный,

униженный Каллист извивался на стуле, как червяк, разрубленный надвое, и уже раза три приподнимался с места, чтобы дать пощечину Ла Пальферину. В третий раз, когда Каллист чуть не подскочил к своему сопернику, юный граф спросил: «Уж не больны ли вы, барон?» Этот вопрос пригвоздил Каллиста к стулу, и он просидел остаток вечера неподвижно, как истукан. Маркиза болтала весьма мило, наподобие Селимены, делая вид, что не замечает присутствия Каллиста. Ла Пальферин проявил высший такт: он ушел первым, сказав на прощание изящную остроту и предоставив любовникам ссориться сколько им будет угодно.

Таким образом, благодаря ловкости Максима пламя раздора разгоралось все ярче в домах обоих супругов де Рошфид. На следующий день в Жокей-клубе Максим, услышав об этой сцене от Ла Пальферина, который в этот вечер играл счастливо в вист, отправился на улицу Лабрюйера, в особняк г-жи Шонтц, чтобы узнать, как обстоят там дела.

— Дорогой мой,— смеясь, сказала Максиму г-жа Шонтц,— я истощила все свои таланты. Рошфид неисправим. На исходе своей прежней карьеры я убеждаюсь, что в делах любви ум — величайшее несчастье.

— Что ты имеешь в виду?

— Во-первых, друг мой, я целую неделю мучила Артура, пилила его на все лады, даже проповедовала добродетель. Чего только не приходится делать нам, «женам из тринадцатого округа»! «Ты, должно быть, больна,— сказал он мне наконец нежно, как добрый папаша.— Ведь я стараюсь делать тебе одно только хорошее и люблю тебя до обожания».— «И зря, мой милый,— ответила я,— вы мне надоели».— «Да разве,— говорит он мне,— ты не развлекаешься с самыми остроумными и самыми красивыми мужчинами Парижа?» — вот что он мне ответил. Я так и села. И почувствовала, что люблю его.

— Эге! — произнес Максим.

— Что же делать, это сильнее нас! Такое поведение обезоруживает. Тогда я нажала на другую педаль. Я стала поддразнивать моего будущего супруга, этого судейского вепря, и тоже обратила его в ягненка; по моему приказанию он уселся в кресло де Рошфида и за-

бавлял меня. Боже, до чего же он глуп! Как мне было скучно с ним!.. Но ничего не поделаешь, я хотела, чтобы Артур застал нас вместе...

— Ну, ну,— прервал ее Максим,— рассказывай скорей. Что же сделал де Рошфид, когда он вас застал?..

— Не подумай ничего худого, дружок. Я следую твоим урокам, оглашение уже сделано, контракт готов к подписи, так что святая дева нашего квартала может быть спокойна. А когда брак решен, не зазорно дать и задаток... Застав меня с Фабиеном, бедняжка мой Артур на цыпочках вышел в столовую и начал там кашлять, да громко так, и с грохотом передвигать стулья. Этот болван Фабиен — не могу же я ему всего рассказывать — перепугался...

Вот, милый друг Максим, дела у нас какие...

Уверена, что если Артур застанет меня утром в спальне с кем-нибудь, он спросит: «Ну, как вы, детки, провели ночь?»

Максим покачал головой и несколько минут молча вертел в руках свою тросточку.

— Я знаю таких людей,— наконец произнес он.— Остается одно — выбросить твоего Артура в окошко и запереть перед его носом дверь. Ты повторишь еще раз сцену с Фабиеном?

— Вот каторга! Не забудь, что таинство брака еще не освятило нас...

— Ты вот что сделай,— продолжал Максим.— Когда Артур застанет вас, ты обязательно посмотри на него. Если он рассердится, все в порядке. А если снова начнет кашлять, так это еще лучше...

— Почему же?

— Потому что тогда *ты* рассердишься и скажешь ему: «Я-то думала, что вы меня любите, уважаете, но у вас нет ко мне никаких чувств,— даже ревности, и той вы не испытываете». Словом, не мне тебя учить... «Да при подобных обстоятельствах Максим (да, да, упомяни мое имя) убил бы на месте любовника обожаемой женщины (здесь — слезы). И Фабиен (тут ты должна устыдить Артура, сравнив его с Фабиеном), Фабиен, которого я люблю, Фабиен вонзил бы вам в грудь кинжал. Ах, вот она, подлинная любовь! Итак, про-

щайте, всего хорошего, берите обратно ваш особняк, я выхожу замуж за Фабиена, я буду носить его имя, он пренебрежет волей своей матери». Наконец, ты...

— Поняла, поняла! Жалко, что ты не увидишь меня в это время! — вскричала г-жа Шонтц.— Ах, Максим, вот это Максим! Никогда не будет второго Максима, как не было и не будет второго де Марсе.

— Ла Пальферин мне не уступит,— скромно возразил граф де Трай,— он делает огромные успехи.

— У него только язык хорошо подвешен. А у тебя хватка, да и дубленый ты! Доставалось тебе, наверно, крепко! Зато и ты, конечно, в долгу не оставался! — восхищалась г-жа Шонтц.

— Ла Пальферин молодец, он умен и образован; а я невежда,— ответил Максим.— Да, кстати. Я видел Растиньяка, он уже сговорился с министром юстиции. Фабиена скоро назначат председателем суда, и через год он будет кавалером ордена Почетного легиона.

— Я дам обет благочестия! — произнесла Орели торжественным тоном, чем очень угодила Максиму.

— Куда нам, грешным, до священников,— ответил Максим.

— В самом деле? — сказала г-жа Шонтц.— Значит, я не умру от скуки в провинции? Итак, я вхожу в роль. Фабиен сообщил своей маменьке, что на меня снизошла благодать; он уже ослепил эту добрую даму моим миллионом и своим председательством; она согласилась, чтобы мы поселились вместе с нею, попросила выслать мой портрет и прислала мне свой; если бы амур взглянул на ее изображение, он упал бы в обморок. Теперь, Максим, отправляйся домой: нынче вечером — казнь моего бедного Артура. Прямо душа болит, как подумаю об этом.

Два дня спустя, встретив Максима на пороге Жокей-клуба, Ла Пальферин сказал:

— Свершилось.

Это слово, за которым скрывалась ужасная, мерзкая драма, разыгрываемая подчас ради мести, вызвало улыбку на губах Максима.

— Скоро мы услышим сетования Рошфида,— произнес он,— ибо вы с Орели пришли к цели голова в голову! Орели выставила Артура за дверь, теперь его надо

загнать в клетку. Он должен, во-первых, выдать триста тысяч франков будущей госпоже дю Ронсере и, во-вторых, вернуться к своей супруге; а наше с тобой дело доказать ему, что Беатриса гораздо лучше Орели.

— У нас впереди еще десять дней,— тонко заметил Ла Пальферин,— по совести говоря, это не слишком много для такого нелегкого дела. Теперь, когда я узнал маркизу, я могу сказать, что бедняга Артур здорово прогадает.

— А что ты сделаешь, когда бомба разорвется?

— Было бы время, а придумать можно. Меня врасплох не застигнешь.

Заговорщики прошли в гостиную клуба и застали там маркиза де Рошфида; он состарился за несколько дней на два года, он не надевал корсета, потерял весь свой лоск, даже не брился.

— Ну как, дорогой маркиз? — спросил Максим.

— Ах, дружок, жизнь моя разбита...

Артур говорил минут десять, и Максим слушал его с самым серьезным видом: он думал о своей свадьбе, которая должна была состояться через неделю.

— Послушай-ка, милый Артур, я уже предлагал тебе испробовать единственное средство удержать Орели, а ты не захотел...

— Какое средство?

— Ведь я советовал тебе поужинать у Антонии.

— Правда, советовал... Но что ты хочешь! Я люблю, а ты просто занимаешься любовью, как Гризье фехтованием.

— Вот что, Артур, дай Орели триста тысяч франков... за ее особняк, а я обещаю найти тебе нечто лучшее, чем госпожа Шонтц... Но о моей прекрасной незнакомке поговорим позже, вот идет д'Ажуда, мне нужно сказать ему два слова.

Максим оставил безутешного обожателя Орели и подошел к посланцу столь же безутешного семейства Гранлье.

— Дорогой мой,— шепнул д'Ажуда на ухо Максиму,— герцогиня в отчаянии. Каллист потихоньку складывает чемоданы, взял даже заграничный паспорт. А Сабина решила преследовать беглецов, догнать Беатрису и расцарапать ей физиономию. По-видимому, Сабина бе-

ременна, но капризы, обычные в ее положении, принимают ужасный оборот; она дошла до того, что открыто купила пистолеты.

— Сообщи герцогине, что госпожа де Рошфид никуда не уедет и что через две недели все будет кончено. А теперь, д'Ажуда, дай мне руку. Помни, что ни ты, ни я, мы ничего не знаем, ни о чем не говорили! Мы лишь благородные свидетели игры случая.

— Герцогиня уже заставила меня поклясться на евангелии и распятии.

— А ты примешь в своем салоне мою жену?

— С удовольствием.

— Вот все и будут довольны,— промолвил Максим.— Предупреди только герцогиню об одном обстоятельстве, которое задержит на полтора месяца ее путешествие в Италию и которое касается господина дю Геника; позже я открою тебе причину.

— Что же это такое? — спросил д'Ажуда, глядя на Ла Пальферина.

— Вспомните слова Сократа, которые он произнес перед уходом: «Принесем в жертву Эскулапу петуха», но ваш зять отделался петушиным гребнем,— ответил Ла Пальферин, и глазом не моргнув.

В течение десяти дней Каллист жил под бременем гнева Беатрисы, тем более неодолимого, что питался он подлинной страстью. Маркиза действительно испытывала ту любовь, которую грубо, но верно нарисовал Максим герцогине де Гранлье. Быть может, не существует ни одного нормального человека, который хоть раз в течение своей жизни не познал бы этой ужасной страсти. Маркиза чувствовала, что ее безраздельно подчинила себе высшая сила, покорил молодой человек, который не признавал ее достоинств; будучи столь же благородного происхождения, как и она сама, он смотрел на нее спокойным и властным оком; все ее женские ухищрения вызывали у этого юноши лишь вежливую улыбку. Словом, она стала жертвой настоящей тирании, ибо Ла Пальферин всякий раз оставлял ее плачущую, оскорбленную, исполненную сознания вины. Ла Пальферин играл с г-жой де Рошфид ту же комедию, которую г-жа де Рошфид играла в течение полугода с Каллистом. С того рокового дня, когда Беатриса была

публично унижена в Итальянской опере, она беспрестанно твердила Каллисту:

— Раз вы предпочли мне свет и вашу жену, значит, вы меня не любите. Если вы хотите доказать свою любовь, пожертвуйте светом и женой: бросьте Сабину и уедемте куда-нибудь — в Швейцарию, Италию или в Германию!

Своим жестоким ультиматумом Беатриса установила положение блокады, которая превращает женщину в неприступную крепость, ограждаемую леденящими взглядами и высокомерными жестами. Она считала, что избавилась от Каллиста, что он никогда не решится порвать с семейством Гранлье. Покинуть Сабину, которой мадемуазель де Туш передала все свое состояние,— не значило ли это обречь себя на нищету? Но Каллист, обезумев от отчаяния, тайно от всех взял заграничный паспорт и умолил свою мать выслать ему крупную сумму. В ожидании денег из Геранды, он неотступно следил за Беатрисой, терзаясь яростной, чисто бретонской ревностью. Наконец через девять дней после рокового признания, которое сделал в Жокей-клубе юный Ла Пальферин Максиму, барон дю Геник, получив от матери триста тысяч франков, примчался к Беатрисе с намерением прорвать блокаду, выгнать Ла Пальферина и уехать из Парижа вместе со своим ублаготворенным идолом. Тут страшная альтернатива для женщины, сохранившей еще уважение к себе: она или погружается в пучину порока, или может вернуться на путь добродетели. До сего времени Беатриса считала себя вполне порядочной женщиной, испытавшей дважды в жизни страстную любовь, но обожать Шарля-Эдуарда и принимать любовь Каллиста значило потерять уважение к самой себе, ибо там, где начинается ложь, начинается бесчестье. Она дала Каллисту известные права над собой, и никакая сила не могла помешать ему упасть к ее ногам со слезами глубочайшего раскаяния. Мы часто удивляемся, с какой ледяной бесчувственностью женщины вырывают из сердца любовь; но если лишить женщину права зачеркнуть прошлое,— как иначе уберечь ей свое достоинство, как освободиться от роковой близости, ставшей ярмом? В том положении, в котором очутилась Беатриса, ее могло бы спасти появление Ла

Пальферина, но ее погубила сообразительность старого Антуана.

Услышав стук кареты, подъехавшей к крыльцу, маркиза сказала Каллисту:

— Кто-то приехал!

И бросилась в переднюю, чтобы предупредить взрыв.

Но Антуан, в качестве человека осмотрительного, уже успел объявить Шарлю-Эдуарду, что маркизы нет дома. А тому только этого и нужно было.

Когда Беатриса узнала, что приезжал юный граф и Антуан отказал ему в приеме, она промолвила:

— Ну что ж, очень хорошо,— а сама по дороге в гостиную решила: «Уйду в монастырь!»

Каллист тем временем не постеснялся распахнуть окошко и заметил своего соперника.

— Кто это приезжал? — спросил он.

— Не знаю, Антуан еще внизу.

— Это Ла Пальферин...

— Возможно, что и он.

— Ты в него влюблена, вот почему я тебе прискучил... Я его видел!

— Каким образом?

— В окно...

Беатриса, как подкошенная, упала на диван. Чтобы развязать себе руки, она пошла на уступки и объявила, что откладывает отъезд только на неделю для окончания неотложных дел, но себе поклялась не принимать больше Каллиста, если ей удастся успокоить Ла Пальферина. Страшна эта жгучая тоска, эти темные расчеты, являющиеся уделом людей, сбившихся с пути, по которому движется жизнь общества.

Когда Беатриса осталась одна, она почувствовала себя такой несчастной, такой униженной, что слегла в постель — она и в самом деле заболела; противоречивые чувства рвали на части ее сердце, ей показалось, что она умирает, и она велела позвать врача, но в то же время послала Ла Пальферину следующее письмо, в котором с какой-то яростью мстила Каллисту:

«Друг мой, приезжайте ко мне, я в отчаянии. Антуан отказал вам в тот момент, когда ваше появление могло положить конец самому страшному кошмару моей жиз-

ни; вы могли освободить меня от человека, которого я ненавижу и с которым, надеюсь, никогда больше не встречусь. Я люблю и буду любить только вас одного, хотя и знаю, что, к несчастью, не нравлюсь вам так, как мне того бы хотелось...»

Засим следовало еще четыре страницы. Письмо заканчивалось восторженными излияниями, слишком поэтическими, чтобы их можно было привести здесь, а последние строчки бесповоротно скомпрометировали обезумевшую женщину: «Я вся в твоей власти! Ах, я не остановлюсь ни перед чем, лишь бы доказать тебе, как ты любим!» И она подписалась полным именем, чего никогда еще не делала ни для Каллиста, ни для Конти.

На следующий день, когда юный граф явился к маркизе, она принимала ванну. Антуан попросил гостя подождать. Теперь уже Ла Пальферин распорядился отказать Каллисту, который с сердцем, жаждавшим любви, примчался пораньше к Беатрисе, и Шарль-Эдуард смотрел из окна, как несчастный дю Геник в отчаянии садится в карету.

— Ах, Шарль,— воскликнула маркиза, входя в гостиную,— вы погубили меня!

— Я это знаю, сударыня,— спокойно ответил Ла Пальферин.— Вы клялись, что любите только меня, вы даже выразили желание вручить мне письмо, где вы изложили бы причины, побудившие вас к самоубийству, дабы в случае неверности я мог вас отравить, не боясь людского правосудия, как будто людям незаурядным требуется яд, чтобы отомстить. Вы написали мне: «Я не остановлюсь ни перед чем, лишь бы доказать тебе, как ты любим!» Не находите ли вы, что эти слова противоречат вашему восклицанию: «Вы погубили меня!» Теперь я узна́ю, хватит ли у вас мужества порвать с Калли-стом...

— Ну что ж, ты отомстил ему заранее,— воскликнула Беатриса, бросаясь графу на шею.— И отныне мы с тобой связаны навек...

— Сударыня,— холодно ответил принц богемы,— если вы желаете принимать меня в качестве друга, я к вашим услугам, но при условии...

— Условии?

— Да, и вот при каком. Вы помиритесь с господином де Рошфидом, вы вернете себе прежнее положение, вы переедете в ваш прекрасный особняк на улице д'Анжу, вы будете там одной из королев Парижа; и вам это удастся, если вы заставите Рошфида заняться политикой и если вы сумеете повести свои дела так же искусно и настойчиво, как госпожа д'Эспар. Вот положение, какого я желаю для женщины, удостоенной моего внимания...

— Но вы забываете, что для этого необходимо согласие господина де Рошфида.

— Дорогое дитя мое,— ответил Ла Пальферин,— он подготовлен, я дал ему честное слово, что вы сто́ите в тысячу раз больше, чем все Орели из квартала Сен-Жорж, и теперь моя честь в ваших руках.

В течение недели Каллист каждый день являлся к Беатрисе и всякий раз выслушивал отказ Антуана, который с печальной миной сообщал: «Маркиза опасно больны». Тогда Каллист мчался к Ла Пальферину, но его лакей заявлял: «Граф уехали на охоту». И каждый раз бретонец оставлял Ла Пальферину письмо.

На девятый день Каллист получил от Ла Пальферина приглашение явиться для переговоров и застал у него Максима де Трай,— очевидно, юный авантюрист решил сделать своего наставника свидетелем этой сцены, желая показать, каких успехов он достиг.

— Послушайте, барон,— спокойно начал Шарль-Эдуард,— вот шесть писем, которые я имел честь от вас получить; они целы и даже не распечатаны, я и так знал их содержание, знал, что вы повсюду ищете меня с того самого дня, как я из окна увидел вас у дверей известного вам дома, у которого накануне вы из того же окна видели меня, стоящим у дверей. Я решил, что моя обязанность игнорировать ваше непристойное и вызывающее поведение. Между нами говоря, вы человек слишком хорошего вкуса, чтобы таить злобу против женщины, которая разлюбила вас. Смею вас заверить, что вы становитесь на ложный путь,— никогда не пытайтесь вернуть себе расположение женщины, затеяв ссору с более счастливым соперником. Но в нынешних обстоятельствах ваши письма ко мне страдают одним коренным пороком,— они «недействительны», как говорят

адвокаты. Вы человек здравомыслящий и не можете пенять на мужа, который решил вернуть себе жену. Господин де Рошфид понял, что маркиза очутилась в положении, ее недостойном. Вы не застанете больше госпожу де Рошфид на улице Шартр; через полгода, следующей зимой, можете посетить ее в особняке Рошфидов. Вы слишком опрометчиво вторглись в отношения супругов в тот момент, когда они пошли на примирение, которому вы сами же способствовали, допустив унизительную сцену в Итальянской опере. При выходе из театра Беатриса, которой я еще до того передавал дружественные предложения ее мужа, усадила меня в свою карету, и первые слова ее были: «Разыщите поскорее Артура».

— О боже мой!..— воскликнул Каллист.— Она права, я не проявил достаточно преданности...

— К сожалению, сударь, несчастный Артур жил с одной из этих ужасных женщин, с некоей Шонтц, которая уже давно понимала, что он вот-вот ее покинет. Надеясь на болезненное состояние Беатрисы, госпожа Шонтц рассчитывала стать в один прекрасный день маркизой де Рошфид. Вообразите же ее ярость, когда она увидела, что эти мечты рухнули; понятно, она захотела отомстить и мужу и жене! Подобные женщины, сударь, способны выколоть себе глаз, лишь бы выколоть оба глаза своему врагу, а Шонтц, которая сейчас, должно быть, уже за пределами Парижа, выколола бы целых три пары глаз!.. А если бы я имел неосторожность полюбить Беатрису, эта женщина выколола бы четыре пары глаз. Вам следовало бы своевременно понять, что вы нуждаетесь в окулисте...

Максим не мог удержать улыбки, следя за переменами в лице Каллиста: уразумев свое положение, он весь залился краской, а потом вдруг побледнел, как мертвец.

— А знаете ли вы, барон, что эта гнусная женщина вышла замуж за человека, который обещал помочь ей в ее мстительных замыслах?.. О женщины!.. Теперь, надеюсь, вы поймете, почему Беатриса удалилась с Артуром на несколько месяцев в Ножан-Сюр-Марн; там у них очаровательный домик, и там они окончательно прозреют. Тем временем особняк Рошфидов отделают за-

ново, и Беатриса будет жить в княжеской роскоши. Когда искренне любишь такую благородную, такую незаурядную, такую очаровательную женщину, жертву супружеской любви,— обязанность тех, кто ее обожает, подобно вам, и уважает, подобно мне, остаться ее другом, и только другом, в тот решительный час, когда она нашла в себе мужество вернуться к своим священным обязанностям... Надеюсь, вы извините меня, что я попросил графа де Трай быть свидетелем нашего объяснения, но для меня крайне важно внести полную ясность в эту историю. Кстати, хочу сообщить вам, что я восхищаюсь незаурядным умом госпожи де Рошфид, но как женщина она мне решительно не нравится.

— Вот как кончаются самые прекрасные наши мечты, наша небесная любовь! — воскликнул Каллист, которого ошеломил этот поток разочаровывающих открытий.

— Они кончаются фарсом,— сказал Максим,— или, того хуже, пузырьком с ядом! Я не знаю ни одной первой любви, которая не кончалась бы глупо. Ах, барон, все, что есть в человеке небесного, может найти себе достойную пищу лишь на небесах!.. Вот почему правы мы, повесы. Я лично долго размышлял над этим вопросом и, как видите, вчера вступил в законный брак. Я буду верен своей жене, и я советую вам вернуться к госпоже дю Геник... Но не сейчас... месяца через три. Не жалейте о Беатрисе — это натура тщеславная, вялая. Если хотите,— это вторая госпожа д'Эспар, только без ее политичности; женщина без сердца и без головы, кокетство ее самое мелкое, а легкомыслие ее всегда во зло. Госпожа де Рошфид любит только самое себя. Она окончательно поссорила бы вас с женой, а потом бросила бы без зазрения совести,— одним словом, это ни рыба ни мясо. У нее нет силы ни в чем — ни в пороке, ни в добродетели.

— Я не согласен с тобой, Максим, — возразил Ла Пальферин,— Беатриса будет самой очаровательной хозяйкой лучшего из парижских салонов.

Каллист ушел, дружески пожав руку Шарлю-Эдуарду и Максиму де Трай, он даже поблагодарил их за то, что они рассеяли его иллюзии.

Через три дня герцогиня де Гранлье, которая не видалась с дочерью с того самого дня, когда произошел описанный выше разговор, приехала к дю Геникам рано утром. Каллист был еще в халате, а Сабина, сидя возле него, вышивала распашонки для будущего отпрыска дю Геников.

— Ну как вы живете, дети мои? — спросила добрая герцогиня.

— Все хорошо, дорогая маменька,— ответила Сабина, подняв на мать сияющие счастьем глаза,— мы разыграли басню «Два голубка»,— вот и все.

Каллист подошел к Сабине и нежно пожал ее руку.

1838—1844 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

МНИМАЯ ЛЮБОВНИЦА

Над повестью «Мнимая любовница» Бальзак работал в конце 1841 года. Хотя повесть датирована январем 1842 года, она была опубликована в газете «Сьекль» в номерах от 24—28 декабря 1841 года. В 1842 году повесть была напечатана в первом томе «Сцен частной жизни» (первое издание «Человеческой комедии»).

Стр. 5. *Маффеи* Клара (1814—1886) — жена итальянского поэта, графа Андреа Маффеи. В ее доме в Милане Бальзак бывал во время своих путешествий в Италию в 1837 и 1838 годах.

Битва при Макте — поражение французских войск в Алжире в 1835 году.

...таково неожиданное последствие Гражданского кодекса.— Согласно Гражданскому кодексу, введенному Наполеоном в 1804 году, было уничтожено право первородства, то есть преимущественное право старшего сына наследовать состояние отца. Право наследования получали все дети. Это вело к раздроблению владений старой аристократии.

Стр 6. *...на службе у новой династии* — то есть у Орлеанской династии, возведенной на престол французской буржуазией в результате Июльской буржуазной революции 1830 года и сменившей старую династию Бурбонов.

Сарматская знать. — Сарматы — кочевые ираноязычные племена, населявшие с VI века до нашей эры Поволжско-Приуральские степи. В IV—II веках до нашей эры сарматы распространились в Прикубанье, центральных областях Северного Кавказа, в Причерноморских степях. Термин «сарматы» долгое время существовал для обозначения многочисленных народов, в разное время живших

на нынешней территории Восточной Европы. Бальзак пользовался этой терминологией, условно называя польскую знать сарматской.

«Движение» и *«Сопротивление»* — буржуазные политические партии, возникшие сразу же после установления Июльской монархии. «Партия Движения», возглавляемая Ж. Лаффитом, пыталась провести некоторые реформы; «Партия Сопротивления», возглавляемая К. Перье, считала, что с приходом к власти короля Луи-Филиппа Орлеанского все задачи, стоявшие перед Июльской революцией, решены.

Стр. 7. *Понятовский Станислав-Август* (1732—1798) — в 1764—1795 годах польский король. Проводил политику в интересах русского царизма и польского реакционного магнатства. Нерешительно и непоследовательно поддерживал некоторые реформы, предпринятые в целях укрепления государственного строя Речи Посполитой. В 1795 году отрекся от престола.

...поляки-республиканцы, сыны Лелевеля, и поляки-аристократы, которые принадлежат к партии, возглавляемой Чарторыйским.— *Лелевель Иоахим* (1786—1861) — крупнейший деятель польского национально-освободительного движения, видный историк. После подавления польского освободительного восстания 1830—1831 годов возглавил в Париже эмигрантский Национальный польский комитет, который по его инициативе принял воззвание «К братьям-русским», призывавшее к совместной борьбе русских и поляков против царизма. За это был выслан в 1833 году из Франции в Бельгию; был идейным руководителем польских эмигрантских организаций демократического направления. *Чарторыйский Адам-Ежи* (1770—1861) — польский политический деятель, князь, участник польского освободительного восстания 1830—1831 годов. После подавления восстания эмигрировал в Париж, где возглавил польскую консервативно-монархическую эмиграцию. Программа его партии сводилась к восстановлению независимой Польши путем военно-дипломатического нажима западноевропейских государств на Россию и была враждебна демократическому освободительному движению польского народа.

Изгнанник Данте охотно бы заколол противника белых.— После победы во Флоренции гвельфов над гибеллинами (гвельфы — политическая партия, боровшаяся на стороне римских пап, против германских императоров и их приверженцев гибеллинов) в самой партии гвельфов произошел раскол на две фракции: «черных» и «белых». Поэт Данте (1265—1321) принадлежал к партии «белых»; «белые» поддерживали императора, «черные» — папскую курию. После победы «черных» Данте вынужден был покинуть Флоренцию (1302).

Стр. 10. *Фаланстер*—здесь здание, в котором, согласно планам социалиста-утописта Шарля Фурье (1772—1837), должна была жить община (фаланга).

Июльский пэр Франции — член палаты пэров, образованной после июльской революции 1830 года.

Стр. 15. *Фактотум* — человек, беспрекословно исполняющий желания и приказания другого человека.

Стр. 16. *Транстеверинцы* — уроженцы Транстевера, предместья Рима.

Стр. 18. *Республиканская монархия* — под этим термином Бальзак подразумевает конституционную монархию.

Когда Варшаву предали. — Освободительное восстание в Польше 1830—1831 годов началось в Варшаве 29 ноября 1830 года. 8 сентября 1831 года Варшава была взята царскими войсками. Одной из причин поражения восстания была контрреволюционная тактика шляхетско-аристократических предводителей восстания.

Стр. 25. *mille e tre* — слова из арии Лепорелло (опера «Дон-Жуан» Моцарта), в которой он сообщает донне Эльвире о множестве женщин, ставших жертвой обольщения его хозяина Дон-Жуана.

Стр. 34. *«Певериль Пик»* — роман Вальтера Скотта (1771—1832). Героиня Алиса Бридженар оказывается в центре политической и религиозной борьбы XVII века.

Стр. 35. *Понятовский, бросающийся в Эльсгер...—Понятовский Юзеф* (1762—1813) — польский политический и военный деятель, князь. Принимал участие в 1794 году в восстании Т. Костюшко. В 1809 году командовал польскими войсками, сражавшимися на стороне Франции, против Австрии. Участвовал в захватническом походе наполеоновской армии в Россию в 1812 году. В битве при Лейпциге (1813) прикрывал отход французских войск; не желая сдаться в плен, раненный, бросился в реку Эльстер и утонул.

Стр. 42. *Д'Ассас* — капитан французской армии. Во время Семилетней войны (XVIII век), будучи в разведке, он обнаружил вражеских солдат; попав в плен, несмотря на угрозы, д'Ассас громко крикнул французам, предупреждая их об опасности, и тут же был заколот врагами.

Стр. 45. *Пандемоний.*— В поэме английского поэта Джона Мильтона (XVII век) «Потерянный рай» Пандемониум — обиталище демонов, духов зла.

Стр. 46. *Робер-Макер* — персонаж мелодрамы «Адретская гостиница» (1823) Сент-Амана, Антье и Полианта, а также пьесы «Робер-Макер» (1835) Сент-Амана и Ф. Леметра — ловкий мошенник и проходимец.

АЛЬБЕР САВАРЮС

Повесть «Альбер Саварюс» печаталась отдельными фельетонами в газете «Сьекль» с 29 мая по 11 июня 1842 года. В газетном варианте она была разделена на 60 небольших глав. В том же году повесть была включена Бальзаком в первый том «Сцен частной жизни» (первое издание «Человеческой комедии»). Деление на главы было уничтожено.

Действие повести происходит в 1834—1838 годах. Бальзак с присущим ему мастерством и глубоким проникновением в сущность социальной жизни изображает провинциальную знать эпохи Июльской монархии. Большое место в повести занимает описание закулисных махинаций, связанных с парламентскими выборами. Несмотря на декларированные симпатии к католической церкви, писатель убедительно показывает неблаговидную роль служителей церкви в различных политических интригах, в предвыборной борьбе.

Главный герой повести, Альбер Саварюс, принадлежит к плеяде молодых честолюбцев, жадно и неудержимо рвущихся к славе и

богатству, часто встречающихся на страницах «Человеческой комедии». Но в отличие от них Альбер Саварюс несколько идеализирован. Писатель объясняет его честолюбие, его борьбу за успех в политической карьере не корыстными целями, а лишь любовью к прекрасной итальянке, наделяет его титанической силой воли, целеустремленностью и талантливостью.

В реалистическую повесть о жизни косного и консервативного Безансона включена романтическая вставная новелла «Честолюбец из-за любви», рассказывающая предысторию Альбера Саварюса.

Бальзак постоянно резко выступал против субъективизма в литературе, стремясь к созданию образов большого социального обобщения. Однако в ряде произведений писателя встречаются отдельные автобиографические моменты («Шагреневая кожа», «Лилия долины», «Фачино Кане», «Луи Ламбер»). В истории любви Родольфа (Альбера Саварюса) и Франчески отражены некоторые моменты взаимоотношений Бальзака с Ганской. В связи с этим он писал Ганской 15 мая 1842 года: «Почему я не поместил Франческу на вилле Диодати [1]? Увы, я не смог этого сделать, так как тогда все стало бы слишком понятным».

Стр. 57. *Эмиль де Жирарден* (1804—1855) — французская писательница и журналистка; в своих очерках, печатавшихся в газете «Ла Пресс» под псевдонимом «виконт де Лоней», защищала Бальзака от нападок критика Жюля Жанена.

Ватвиль Жан (1613—1702) — французский военачальник, известный своей жестокостью и необузданным нравом; обвиненный в нескольких убийствах, бежал в Турцию, где принял мусульманство и перешел на службу к турецкому султану. Позже, предав турок, вернулся во Францию, получил от папы отпущение грехов и стал аббатом.

Стр. 59. *...когда подавляющее большинство легитимистов ушло в отставку.*— Легитимисты, то есть сторонники «законной» (легитимной) династии Бурбонов, не признавали прав на трон короля Луи-Филиппа Орлеанского — представителя младшей линии Бурбонов, посаженного на престол финансовой буржуазией после Июльской революции 1830 года.

Стр. 60. *Капитул* — коллегия духовных лиц, состоящих при епископе в католической церкви.

Люлли, Жан-Батист (1633—1687) — французский композитор, приближенный Людовика XIV. Бальзак имеет в виду легенду, согласно которой музыка к хорам трагедий Расина «Аталия» и «Эсфирь», приписываемая Люлли, будто бы вдохновила композитора Генделя на создание английского национального гимна.

...после заключения мира в 1815 году.— Имеется в виду мирный договор между Англией и Францией, подписанный в Париже 20 ноября 1815 года после разгрома войск Наполеона при Ватерлоо.

Стр. 61. *...во времена испанского владычества.*— Провинция Франш-Конте принадлежала некогда герцогам Бургундским, затем вошла в состав владений испанского короля, к Франции была присоединена в 1678 году.

---

[1] На вилле Диодати в Швейцарии Бальзак был с Ганской в 1834 году.

Стр. 64. *Нодье*, Шарль (1780—1844) — французский писатель-романтик.

Стр. 65. *Талейран*, Шарль-Морис (1754—1838) — французский дипломат, отличавшийся беспринципностью и вероломством, был большим мастером различных дипломатических интриг.

...благодаря большой парижской «Газете».—Речь идет о «Газетт де Франс», во время Июльской монархии органе легитимистов, сторонников старшей ветви Бурбонов.

«Шаривари» — сатирическая газета республиканского направления, основанная в 1832 году Шарлем Филипоном, критиковала режим Июльской монархии.

...многоречивые писания из «Ревю де Де Монд».— «Ревю де Де Монд» — консервативный журнал, печатал многочисленные критические и философские статьи, нередко чрезвычайно путаные и наукообразные.

Стр. 67. *Катон* Старший (234—149 годы до нашей эры) — политический деятель Римской республики, был известен своим презрением к роскоши и строгим образом жизни.

Гютри, Вильям (1708—1770) — шотландский географ-компилятор, автор элементарного учебника по географии.

«Нравоучительные письма» — ежегодные отчеты французских католических миссионеров; имеется в виду восьмитомное издание 1808 года.

Стр. 68. *Дюрер*, Альбрехт (1471—1528) — немецкий художник.

Предшественники Перуджино — то есть художники раннего Возрождения; лица их святых и мадонн имели еще много общего с угловатыми, аскетическими фигурами, созданными художниками средневековья. *Перуджино*, Пьетро Ваннуччи (1446—1523) — итальянский художник Возрождения, учитель Рафаэля.

Маршал де Сакс (1696—1750) — французский полководец. Писательница Жорж Санд была его правнучкой по отцу.

Стр. 76. *...как у Агнессы, так хорошо изображенной Мольером.*— Имеется в виду комедия Мольера «Школа жен» (1662)

Стр. 82. *Сеид* — то есть приверженец, слепо преданный человек, от имени Сеида, раба Магомета. Образ Сеида был создан Вольтером в трагедии «Магомет» (1741).

Стр. 87. *Ловлас* — имя героя романа английского писателя Ричардсона (1689—1761) «Кларисса, или История молодой леди». Ловлас стал нарицательным именем соблазнителя.

Стр. 90. *...опасаться австрийской или сардинской полиции.*— Венский конгресс (1814—1815) закрепил раздробленность Италии. Бóльшая ее часть попала в сферу влияния Австрийской империи. На севере Италии находилось Сардинское королевство (Пьемонт).

Стр. 94. *Великий Леонардо* — то есть Леонардо да Винчи (1452—1519), итальянский художник; к числу его шедевров относится портрет Моны Лизы Джоконды, которая изображена художником с легкой, едва уловимой улыбкой, как бы скользящей по ее лицу.

Стр. 95. *...свободы, совершившей тройную революцию в Неаполе, Пьемонте и Испании.*— В июле 1820 года итальянские карбонарии, ободренные успехом революции в Испании, подняли восста-

ние в Неаполитанском королевстве. Революция была подавлена в марте 1821 года австрийскими войсками. 10 марта 1821 же года восстание вспыхнуло на севере Италии, в Пьемонте, оно вскоре было также подавлено. Восставшие карбонарии требовали независимости Италии и введения конституции.

Стр. 101. *...играть в Париже времен Империи с Бурьеном, княгиней Мюрат, г-жой д'Абрантес...* — то есть со знатью Империи Наполеона. *Бурьен Луи-Антуан* (1769—1834) — секретарь Наполеона I. *Мюрат Иоахим* (1771—1815) — один из приближенных Наполеона, маршал, неаполитанский король. *Д'Абрантес Лаура* (1784—1838) — жена генерала Жюно, имевшая большое влияние при дворе императора.

Стр. 105. *...жертвой последней революции* — то есть революции 1820 года в Неаполе.

Священный Союз — организация международной реакции для подавления революционного движения в Европе, созданная в 1815 году. Священный Союз осуществлял решения Венского конгресса.

Коппе и Ферней.— *Коппе* — швейцарская деревня на берегу Женевского озера. Здесь провела последние годы жизни французская писательница Жермена де Сталь (1766—1817), автор романтических романов «Коринна» и «Дельфина». *Ферней* — имение французского просветителя Вольтера, расположенное на франко-швейцарской границе. В Фернее Вольтер прожил почти безвыездно с 1758 по 1778 год.

Стр. 109. *...об этих-то гвоздях и думал Боссюэ.*— Имеются в виду слова французского проповедника XVII века Боссюэ из его «Размышления о быстротечности нашей жизни». Боссюэ сравнивает редкие минуты счастья человеческой жизни с количеством гвоздей, рассеянных по поверхности стены: «Вы скажете, что стена очень большая, но соберите все имеющиеся на ней гвозди, их будет не больше горсти».

Стр. 110. *Амадис* — герой многотомного рыцарского романа «Амадис Галльский» (XV век), авторство которого приписывается различным португальским, испанским и французским писателям; в переносном смысле — верный, нежный возлюбленный.

Стр. 113 *...министерство Виллеля пало.*— В начале 1828 года министерство ультрамонархиста Виллеля потерпело поражение на выборах и должно было уйти в отставку.

Стр. 114 *...при восшествии на престол нового короля...*— В 1830 году неаполитанским королем стал Фердинанд II, проводивший менее реакционную политику, чем его предшественник.

...разразилась гроза 1830 года — то есть Июльская революция, свергнувшая режим Реставрации.

Стр. 120. *...как страдал Наполеон, но не на острове Св. Елены, а на набережной Тюильри десятого августа, когда видел жалкую защиту Людовика XVI...*—10 августа 1792 года в Париже восставший народ овладел королевской резиденцией, дворцом Тюильри. Король Людовик XVI был низложен.

Вандемьер — 5 октября (месяц вандемьер по революционному календарю) 1795 года, когда Бонапарт подавил мятеж монархистов в Париже.

Сен-Мерри.— 5—6 июня 1832 года вспыхнуло в Париже рес-

публиканское восстание. Центром героического вооруженного сопротивления республиканцев стали баррикады, примыкавшие к монастырю Сен-Мерри.

Стр. 124. *Тантал* — персонаж греческой мифологии. За оскорбление богов Тантал был низвергнут в загробное царство и осужден испытывать вечные муки жажды и голода, находясь среди яств, которые он ие мог достать.

Стр. 126. *«Мане, Тэкел, Фарес»* — по библейской легенде эта надпись, обозначающая «подсчитано, взвешено, подслено», была начертана невидимой рукой на стене пиршественной залы царя Вавилона Валтасара; она предвещала ему близкую, неотвратимую гибель.

Стр. 127. *Сикст V* — римский папа с 1585 по 1590 год. Кардиналы избрали его, так как считали его очень немощным и близким к смерти. Согласно преданию, Сикст V, узнав о своем избрании, отбросил костыли, выпрямился и запел громовым голосом псалмы.

Стр. 130. *Чичисбей* — в Италии в XVI—XVIII веках постоянный спутник, кавалер знатной замужней женщины.

Стр. 134. *Мэтр Жак* — персонаж комедии Мольера «Скупой», служивший своему хозяину Гарпагону одновременно и кучером и поваром.

Стр. 138. *Участвовать в выборах! Приносить присягу!* — Во время Реставрации и Июльской монархии депутаты и государственные чиновники должны были приносить присягу на верность королю.

Стр. 142. *...принадлежал к пресловутой группе, состоявшей из двухсот двадцати одного депутата.*— Речь идет о парламентской оппозиции во время Реставрации, выступавшей с критикой политики Карла X. Члены этой парламентской группировки после Июльской революции 1830 года поддержали избрание короля Луи-Филиппа Орлеанского.

Стр. 147. *Мирабо,* Онорэ-Габриэль-Рикетти (1749—1791) — видный деятель первого этапа французской буржуазной революции конца XVIII века, руководитель либерального дворянства и крупной буржуазии.

...один из вдохновителей Июльской революции.— Имеется в виду Тьер Адольф (1797—1877).

Стр. 162. *Памятник Элоизы на Пер-Лашез.—Элоиза* (XII век)— возлюбленная средневекового философа, богослова и поэта Пьера Абеляра; насильственно разлученная с ним, она постриглась в монахини. Останки Абеляра и Элоизы позже были перевезены на кладбище Пер-Лашез в Париже; на могиле был воздвигнут памятник в виде готической часовни, в глубине которой находился мраморный саркофаг.

Стр. 169. *Цивильный лист* — при конституционной монархии ежегодно определяемая парламентом денежная сумма для личного пользования короля, на содержание королевского двора и придворных.

БЕАТРИСА

Бальзак работал над романом «Беатриса» в период с 1838 по 1844 год. Впервые он опубликовал это произведение (датирован-

ное 1839 годом) в виде фельетонов в газете «Сьекль» 13—26 апреля и 10—19 мая 1839 года. Оно было озаглавлено «Беатриса, или Вынужденная любовь», разделялось на три части: «Былые нравы», «Современные нравы», «Соперничество» — и состояло из 27 небольших глав. В том же году роман появился отдельным изданием. В 1842 году Бальзак включил его в третий том первого издания «Человеческой комедии», в «Сцены частной жизни», под названием «Беатриса» (с указанием: «Часть первая»); при этом он упразднил деление на главы. Эта редакция романа соответствовала нынешним двум первым частям произведения: «Действующие лица» и «Драма». Позднее Бальзак написал продолжение романа «Беатриса», которое печаталось в виде фельетонов в газете «Мессаже» с 24 декабря 1844 года по 23 января 1845 года под названием «Проделки добродетельной женщины». В 1845 году эта последняя часть романа вышла отдельным изданием под заглавием «Медовый месяц». В том же году она была включена писателем в четвертый том первого издания «Человеческой комедии» под названием «Беатриса» (с указанием: «Последняя часть»). Эта часть соответствует нынешней третьей части произведения — «Запоздалый роман».

В основу сюжета произведения положена любовь молодого бретонского дворянина Каллиста дю Геника к Беатрисе, маркизе де Рошфид. Действие первых двух частей произведения происходит в Бретани, в третьей части романа Бальзак переносит своих героев в Париж. Именно в этой, последней части содержатся наиболее интересные страницы книги, посвященные описанию парижского общества периода Июльской монархии. Рассуждая о судьбах французского дворянства и его исторических перспективах, Бальзак пишет:

«Пятнадцать лет Реставрации явились поистине нечаянной радостью для того общества, к которому принадлежала Беатриса, возродиться же оно не могло, и маркиза хорошо понимала, что ему предстояло рассыпаться в прах под ударами буржуазной дубинки».

Показывая лживость и лицемерие «общественных деятелей» периода Июльской монархии, Бальзак подчеркивает, что скрытыми двигателями любой формы общественной деятельности в буржуазном обществе являются — наряду со стремлением извлечь из всего выгоду — суетность, мелкое самолюбие и тщеславие. Воспроизводя в романе беседу между герцогиней де Гранлье и аббатом Броссетом, Бальзак вскрывает беспринципность и лицемерие духовного пастыря, благословляющего герцогиню на «гадкие» и «неприглядные», по ее собственному определению, поступки и действия.

Стр. 171. *Сарра* — Сарра Ловель, в замужестве графиня Гидобони-Висконти (1804—1883), друг Бальзака По делам семьи Гидобони-Висконти Бальзак ездил в Италию в 1836, 1837 и 1839 годах.

Стр. 174. *...оконных проемов, заложенных кирпичом во избежание налога.*— В описываемое Бальзаком время налог с домовладельцев взимался во Франции в зависимости от количества окон и дверей в доме.

Стр. 176. *...городок является как бы Геркуланумом феодализма...*— то есть памятником далекого прошлого. *Геркуланум* — город в Италии; был засыпан лавой во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Стр. 177. *...где был подписан знаменитый в истории договор.*—

Речь идет о договоре 1365 года, положившем конец военной распре между французским королем и бургундским герцогом по вопросу о наследнике бургундского престола.

Стр. 178. *...во времена дю Гескленов.*— *Дю Гесклены* — старинный дворянский род в Бретани. Бертран дю Гесклен прославился своими подвигами в борьбе с англичанами (XIV век).

Друиды — жрецы у древних кельтов. *Долмены* — древние сооружения из плоских камней, предназначенные для культовых обрядов кельтов.

Гуго Капет (род. ок. 940 — умер в 996) — французский король (987—996), основатель династии Капетингов.

Стр. 179. *«Шуаны, или Бретань в 1799 году»* (1829) — первый роман Бальзака, принесший ему литературную известность; объяснение имени дю Геников имеется только в первых изданиях «Шуанов», из позднейших изданий Бальзак его исключил.

Стр. 181. *Фаблио* — небольшие стихотворные рассказы, в которых сатирически изображаются быт и нравы; изобилуют грубыми шутками. Наиболее популярный в средние века во Франции жанр городской литературы.

Стр. 186. *...когда Вандея и Бретань взялись за оружие.*— Во время французской буржуазной революции конца XVIII века Вандея и Бретань были центрами контрреволюционных восстаний 1793 года.

Стр. 188. *Синими* называли во время французской буржуазной революции конца XVIII века солдат республиканской армии по цвету их мундира.

Жорж — Жорж Кадудаль (1771—1804), один из главарей контрреволюционного Вандейского восстания, участник роялистского заговора против Наполеона в 1804 году.

Герцогиня Беррийская (1798—1870)— в период Июльской монархии сделала неудачную попытку поднять в Вандее восстание против Луи-Филиппа с целью возвращения к власти старшей линии Бурбонов (1832 год).

Стр. 190. *...вплоть до второй реставрации Бурбонов* — то есть вторичного возвращения Бурбонов 8 июля 1815 года.

Стр. 191. *«Котидьен»* — в период Реставрации и Июльской монархии газета крайних роялистов.

Стр. 203. *Генрих V* — внук короля Карла X, которого монархисты-легитимисты хотели провозгласить французским королем под именем Генриха V.

Стр. 224. *Мадемуазель Скюдери* — *Мадлена де Скюдери* (1607—1701), французская писательница, автор галантно-героических романов, написанных выспренним («прециозным») стилем.

Стр. 226. *Пифия* — в древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона.

Стр. 228. *«Нельская башня»* — историческая драма Александра Дюма-отца и Фредерика Гайарде (1832). Легенда о Нельской башне связана с именем жены французского короля Людовика X Маргариты Бургундской, обвиненной королем в измене и по его приказанию задушенной.

Клара Гасуль — псевдоним, под которым французский писатель Проспер Мериме (1803—1870) издал свою первую книгу

«Театр Клары Гасуль» — сборник небольших пьес, проникнутых антифеодальной и антиклерикальной тенденцией (1825).

Стр. 229. *Г-жа де Сталь.— Жермена де Сталь* (1766—1817) — французская либеральная писательница, принадлежавшая к романтическому направлению.

10 августа.— См. примечание к стр. 120.

Стр. 230. *Питт, Кобург* — вдохновители и организаторы контрреволюционной борьбы против республиканской Франции. *Питт Вильям-Младший* (1759—1806) — английский политический деятель, премьер-министр. *Герцог Кобургский* — австрийский генерал, командовал войсками коалиции.

Девятое термидора (27 июля 1794 года) — день контрреволюционного переворота, когда революционная диктатура якобинцев была низвергнута и к власти пришла реакционная буржуазия.

Стр. 233. *...события двадцатого марта.*— 20 марта 1815 года Наполеон, бежавший с острова Эльбы, вступил в Париж. Начался период так называемых Ста дней. 22 июня 1815 года, после поражения при Ватерлоо, Наполеон вторично отрекся от престола.

Стр. 241. *Констан Бенжамен* (1767—1830) — французский либеральный писатель, принадлежавший к романтическому направлению. «Адольф» — психологический роман Констана (1816).

Стр. 242. *Сафо,* или Сапфо,— древнегреческая поэтесса, жившая в конце VII — начале VI века до нашей эры. Большинство ее произведений относится к жанру любовной лирики.

Стр. 249. *...подобная любви Керубино.*— *Керубино* — персонаж комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», юноша, влюбленный в свою крестную мать, графиню Альмавива.

Стр. 256. *...разделявшая восточные вкусы другой нашей прославленной писательницы.*— Речь идет о Жорж Санд. Бальзак относился к Жорж Санд с большой симпатией и очень ценил ее дружбу. Современная Бальзаку критика называла Жорж Санд прототипом образа Камилла Мопен.

Стр. 260. *Жироде Луи* (1767—1824)—французский художник.

«Тысяча и один день»—сборник персидских сказок (XVII век); издан во Франции в начале XVIII века.

Стр. 263. *Карлоне* — итальянский художник XVII века.

Стр. 264. *Рубини,* Джаванни-Баттиста (1795—1854) — известный итальянский певец, тенор.

Персей и Андромеда.— По древнегреческим мифологическим сказаниям, герой Персей (сын Зевса и дочери аргосского царя Данаи) спас от страшного морского чудовища красавицу Андромеду, ставшую затем его женой.

Стр. 269. *Макиавелли* (1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель Возрождения. В своих трактатах провозглашал идеал правителя, не считающегося для достижения своей цели ни с законами, ни с моральными нормами.

Стр. 272. *«Ла Скала», «Фениче», «Сан-Карло»* — оперные театры в Милане, Венеции и Неаполе.

Стр. 278. *Паризина* — героиня одноименной поэмы Байрона. *Эффи Динс* — героиня романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница». *Минна* — героиня его романа «Пират».

Стр. 290. *Кипсек* — альбом гравюр и рисунков, изображающих главным образом женские головки.

Стр. 298. *«Адольф»* — см. примечание к стр. 241.

Стр. 300. *...гимн, который поэт вложил в уста Моисея.*— Имеется в виду поэма французского поэта-романтика Альфреда де Виньи «Моисей» (1822).

Стр. 312. *«Тристрам Шенди»* («Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена») — роман английского писателя Лоуренса Стерна (1713—1768).

Стр. 350. *Камбремер* — герой рассказа Бальзака «Драма на берегу моря» (из раздела «Философские этюды»).

Стр. 353. *...я лишена дара Эдипа.*— Эдип — персонаж древнегреческой мифологии, герой трагедии Софокла «Царь Эдип». Эдип завоевал уважение фиванцев, освободив город Фивы от власти сфинкса. Эдип разгадал загадку сфинкса и тем самым лишил его власти.

Стр. 361. *Брунеллески*, Филиппо (1377—1446) — выдающийся итальянский архитектор и скульптор, яркий представитель зодчества раннего Возрождения.

Стр. 369. *«Индиана»*—роман французской писательницы Жорж Санд (1832). Произведение это получило высокую оценку Бальзака, написавшего на него рецензию.

Стр. 375. *Тарпейская скала* — высокая скала на склоне Капитолийского холма, с которой в древнем Риме сбрасывали государственных преступников.

Стр. 404. *«Переписка двух молодых жен»* — роман Бальзака (1841).

Стр. 405. *Наставления Дедала своему сыну.*— По древнегреческим мифологическим сказаниям, Дедал изобрел крылья для полета в воздухе. Его сын Икар, вопреки запрету и наставлениям отца, поднялся слишком высоко вверх, и солнечные лучи растопили воск, которым были скреплены крылья; Икар упал в море и утонул.

Стр. 414. *Шарет* (1763—1796) — один из главарей Вандейского контрреволюционного восстания, казнен в 1796 году.

Стр. 424. *Оссиан* — легендарный шотландский певец, живший, по преданию, в III веке нашей эры. Под его именем поэт Макферсон в 1762 году издал сборник своих поэтических произведений, написанных в романтическом духе.

Стр. 432. *Ридзио*, Давид (XVI век) — итальянский музыкант.

Стр. 439. *Корнелия.*— По преданию, римлянка Корнелия, мать народных трибунов Кая и Тиберия Гракхов (II век до нашей эры), отвечая на вопрос богатой патрицианки, есть ли у нее драгоценности, указала на своих сыновей со словами: «Вот мои сокровища и драгоценности».

Стр. 448. *«Отелло»* — опера Россини (1816).

Стр. 458. *Госпожа Гюйон*, Жанна-Мария (1648—1717) — автор религиозно-мистических сочинений.

Стр. 463. *«Как подумаешь, что все это ест, пьет и живет припеваючи...»* — подпись к одному из рисунков знаменитого французского рисовальщика Поля Гаварни (1804—1866).

«Дочь Евы» (1839) и *«Мнимая любовница»* (1841) — произведения Бальзака.

«Крыса» — содержанка. В романе «Блеск и нищета куртиза-

нок» Бальзак так объясняет это слово: «Крыса, прозвище уже устаревшее, обозначало девочку в возрасте десяти — одиннадцати лет, статистку какого-либо театра, чаще всего оперы; развратники растили ее для порока и бесчестья».

Стр. 465. *«Женился в тринадцатом округе»* — ироническое выражение, обозначающее любовную связь, так как во времена Бальзака Париж делился только на двенадцать округов.

Стр. 466. *«Первые шаги в жизни»* (1842) — повесть Бальзака.

Стр. 469. *...министерство первого марта.*— 1 марта 1840 года, после отставки Сульта, кабинет министров во Франции возглавил Тьер, который пошел на обострение отношений с Англией из-за Египта, однако внешнеполитическая ситуация сложилась для Франции неблагоприятно, и Тьер вынужден был уйти в отставку.

Стр. 471. *Монтион*, Жан-Батист (1733—1820)—крупный французский делец, учредивший несколько небольших премий, в частности литературную.

Стр. 473. *...трюк первого марта.*— См. примечание к стр. 469.

Стр. 483. *Оросман, Сен-Пре, Рене.*— *Оросман* — герой трагедии Вольтера «Заира» (1732); *Сен-Пре* — герой романа Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761); *Рене* — герой одноименного романа Шатобриана (1802).

Стр. 498. *Эльмира* и *Оргон* — действующие лица комедии Мольера «Тартюф» (1669).

Стр. 504. *...наподобие Селимены.*— Селимена — действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп» (1666).

Стр. 515. *«Два голубка»* — басня Лафонтена, в которой говорится о злоключениях голубя. Натерпевшись всяких бед, он возвращается в свое родное гнездо.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

Мнимая любовница. *Перевод И. Татариновой* 5
Альбер Саварюс. *Перевод В. Дмитриева* 57
Беатриса. *Перевод Н. Жарковой* 171
Примечания 516

БАЛЬЗАК.

Собрание сочинений
в 24 томах. Том IV.

Редактор тома
И. А. Лилеева.

Иллюстрации художника
Д. Д. Штеренберга.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 20/I 1960 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 144. Зак. 2861.
Форм. бум. 84×108 1/32. Бум. л. 8,25. Печ. л. 27,06 + 2 вкл. (0,2 п. л.).
Уч.-изд. л. 29,11.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.